М·Н
ЗАГОСКИН
1

М·Н
ЗАГОСКИН
СОЧИНЕНИЯ

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84 Р1
З-14

Составление, вступительная статья,
комментарии
А. Пескова

Иллюстрации художника
Ю. Игнатьева

Оформление художника
Д. Шимилиса

З $\frac{4702010100-396}{028(01)-88}$ 8-87

ISBN 5-280-00869-9 (Т. 1)
ISBN 5-280-00871-0

© Состав, вступительная статья, комментарии, иллюстрации, оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАГОСКИН

Загоскин — один из известнейших писателей 20—30-х годов XIX века, автор восьми романов, более двух десятков комедий и повестей, не раз переиздававшихся. Самое знаменитое произведение Загоскина — исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — только при жизни автора выдержало восемь изданий и было переведено на шесть европейских языков. Ни одно из сочинений великих современников Загоскина — Пушкина, Гоголя — не имело тогда подобного успеха.

Разумеется, если судить с точки зрения большой литературы, «Юрий Милославский» слабее и «Капитанской дочки», и «Арапа Петра Великого», и «Тараса Бульбы». «Все лица романа — осуществление личных понятий автора... Познакомившись с таким лицом на одной странице романа, вы знаете, что он будет говорить и делать на другой, на третьей — и так до последней,— писал В. Г. Белинский в 1842 году; но и добавлял: — а все-таки с удовольствием следите за ним... ничему не верите, а читаете, словно «Тысячу и одну ночь». Его и теперь можно перелистовать с удовольствием, как, вероятно, вы перелистываете иногда «Робинзона Крузо», который в детстве доставлял вам столько чистейшего и упоительнейшего наслаждения» [1].

* * *

М. Н. Загоскин родился 14 (25) июля 1789 года в нескольких верстах от губернского города Пензы — селе Рамзай, принадлежавшем его отцу. Неполных тринадцати лет он был отправлен в Петербург на службу: 15 мая 1802 года стал канцеляристом в канце-

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., Художественная литература, 1975, с. 366—367.

лярии государственного казначея; затем служил в Горном департаменте, в Государственном заемном банке, снова в Горном департаменте, к 1811 году достигнув чина 12-го класса — губернского секретаря.

В июне 1812 года началась Отечественная война. 9 августа Загоскин вступил в петербургское ополчение. В сражении под Полоцком он был ранен, получил за храбрость орден; вылечившись, вернулся к своему полку, участвовал в осаде Данцига.

По окончании войны Загоскин вышел в отставку и отправился на родину — в Рамзай. Здесь он и сочинил комедию «Проказник». Возвратившись в Петербург в начале 1815 года, где снова вступил в статскую службу (в Горный департамент), он показал свой труд известному комедиографу тех времен — А. А. Шаховскому, ведавшему репертуарной частью императорских театров.

Загоскин не осмелился сам представиться сочинителем, а отдал рукопись вместе с письмом от неизвестного, где просил «прочесть прилагаемую пиесу и, приняв в соображение, что это первый опыт молодого сочинителя, сказать правду: есть ли в нем талант и заслуживает ли его комедия сценического представления? Если нет, то, не спрашивая об имени автора, возвратить рукопись человеку, который будет прислан в такое-то время»[1]. Шаховской пьесу оставил у себя, а с «молодым сочинителем» пожелал познакомиться. Загоскин, который сам принес рукопись и сам же приходил за ответом, помчался домой и, переодевшись, через два часа явился к Шаховскому с визитом.

Первой комедией Загоскина, с которой познакомился петербургский зритель, была написанная в поддержку Шаховского «Комедия против комедии, или Урок волокитам» (3 ноября 1815 года). Комедия же «Проказник» до нас не дошла. Известно лишь, что она была поставлена в Петербурге 15 декабря 1815 года и успеха не имела.

«Комедия против комедии» принесла Загоскину известность, однако продержалась на сцене недолго. Зато постановка следующей комедии — «Г-н Богатонов, или Провинциал в столице» — имела действительный успех. Впервые поставленная 27 июня 1817 года в Петербурге и 17 января 1818 года в Москве, она шла затем почти ежегодно до 1831 года в северной столице и до 1829 года — на московской сцене. За «Г-ном Богатоновым» последовали новые комедии (1817—1821 гг.): «Вечеринка ученых», «Ро-

---

[1] Аксаков С. Т. Биография Михаила Николаевича Загоскина <1852>.— Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. М., Правда, 1966, с. 155. Потом, в 1821 г., подобным же образом Загоскин замыслил ознакомить Н. И. Гнедича со своими стихами (см. письмо Гнедичу от 10 февраля 1821 г. в т. 2 наст. изд.).

ман на большой дороге», «Добрый малый», «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе».

Между тем Загоскин продолжал служить: в 1817—1818 годах — в Дирекции императорских театров; затем (до 1820 г.) — в императорской Публичной библиотеке (участвовал в упорядочении библиотеки и составлении каталога русских книг).

В 1816 году Загоскин женился на А. Д. Васильцовской — дочери Д. А. Новосильцова, человека богатого и честолюбивого, который противился этому браку. Новосильцов считал Загоскина «ничтожным молодым человеком без состояния и общественного положения» [1] и не стеснялся в выражении своих чувств, чем доставил ему немало горьких минут, ибо из-за недостатка собственных средств Загоскин вынужден был долгое время жить в доме тестя. В начале лета 1820 года он переехал в Москву.

В 1821 году, уже в Москве, Загоскин написал свои стихотворные произведения: «Послание к Н. И. Гнедичу» и «Авторскую клятву». Для той эпохи редкий случай — чтобы в возрасте тридцати с лишним лет писатель впервые сочинил стихи. Он и не умел их писать: каждый стих «разделял черточками на слоги и стопы, и над каждым слогом ставил ударение» [2]. Тем не менее стихи получились. Крылов слушал их с удовольствием; Гнедич похвалил, выразив надежду на то, что теперь Загоскин напишет стихотворную комедию. Загоскин ее написал: одноактная комедия «Урок холостым, или Наследники» была поставлена в Москве 4 мая 1822 года.

Вскоре Загоскин был определен чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе Д. В. Голицыне на место экспедитора по театральному отделению, а в 1823 году продолжил свою службу в московской дирекции театров, занимаясь тою же «хозяйственной частью». 23 января 1823 года был поставлен водевиль Загоскина «Деревенский философ».

Новые произведения Загоскина появляются на сцене лишь через четыре года. Особенным успехом пользовалась стихотворная комедия «Благородный театр», впервые поставленная в Москве 27 декабря 1827 года и не сходившая со сцены до 1841 года. Перерыв в драматической работе был вызван бесконечными хлопотами по театру.

В 1827 году Загоскин задумал написать исторический роман. «Он был весь погружен в эту мысль, охвачен ею совершенно; его всегдашняя рассеянность, к которой давно привыкли и которую уже не замечали, до того усилилась, что все ее заметили... Встре-

---

[1] Загоскин С. М. Воспоминания.— Исторический вестник, 1900, № 1, с. 50.

[2] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 163.

чаясь на улицах с короткими приятелями, он не узнавал никого, не отвечал на поклоны и не слыхал приветствий: он читал в это время исторические документы и жил в 1612 году»[1].

«Юрий Милославский» вышел в конце 1829 года и, создав автору славу, много способствовал его служебному продвижению, что для Загоскина было немаловажно, ибо средства к существованию он получал от службы. В 1830 году, в чине надворного советника, он был назначен управляющим конторой театров Москвы, а в 1832 году произведен в коллежские советники и определен директором московских театров. Милостивое внимание к «Юрию Милославскому» самого императора повлекло за собой пожалование Загоскину придворного звания действительного камергера. В 1842 году, уже в чине действительного статского советника, он распростился с должностью театрального директора, выхлопотав себе более спокойное директорское кресло — в Оружейной палате, где служил до самой смерти.

Писал Загоскин постоянно. Первое время после «Юрия Милославского» от него ждали блистательных шедевров. Но «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) был встречен менее восторженно, а «Аскольдова могила, повесть из времен Владимира I» (1833) вовсе всех разочаровала. Впрочем, спустя два года по либретто Загоскина была поставлена опера А. Н. Верстовского, одно из высших достижений русского оперного искусства тех лет. В 1834 году в «Библиотеке для чтения» был напечатан цикл «страшных» новелл «Вечер на Хопре», вошедший в 1837 году с повестью «Кузьма Рощин» и «провинциальными очерками» «Три жениха» в отдельную книгу «Повести Михаила Загоскина».

В середине 1830-х годов Загоскин вернулся к драматургии. Он переделал повесть «Три жениха» в комедию «Урок матушкам», написал стихотворную комедию «Недовольные». Новые романы «Искуситель» (1838) и «Тоска по родине» (1839) успеха ему не принесли. В 1840-е годы Загоскин, хотя и много работал, у взыскательного читателя поддержки не находил. А написал он почти столько же, сколько в предыдущее десятилетие: это исторические романы «Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II» (1841), «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» (1846), «Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I» (1848); четыре «выхода» рассказов о Москве — «Москва и москвичи» (1842—1850), комедии «Поездка за границу», «Женатый жених», «Заштатный город» (переделка рассказа 1841 г. «Официальный обед»).

Зимой 1851 года Загоскин заболел, но лечиться он не любил,

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 168.

надеясь на то, что организм сам справится со всеми напастями. 23 июня 1852 года Загоскин умер. Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря.

* * *

Главное, за что ценил себя сам Загоскин, что бросалось в глаза всякому при чтении его произведений, что делало их широко известными, — *русское направление*. Однако Загоскин был неудержим в превосхвалении всего национального. И хорошее и плохое на Руси было ценно для него уже потому, что оно русское. С. Т. Аксаков, сильно преувеличивая, писал: «...талант Загоскина — самобытный, оригинальный, исключительно русский; в этом отношении он не имеет соперника, и потому я считаю его единственным исключительно русским народным писателем... Загоскин проводил русское направление, как он понимал его, везде, во всяком сочинении, и восставал, сколько мог, против подражания иностранному»[1]. Всякий, кто прочтет Загоскина, убедится в справедливости последних слов. И всякий усомнится в верности похвалы. Да и сам Аксаков, хотя любил Загоскина, хотя и считал его одним из лучших русских писателей, нередко бывал настроен к его произведениям куда более критично. О «Юрии Милославском» он писал в 1830 году С. П. Шевыреву: «Роман Загоскина имеет большое достоинство: воображение, жизнь, теплоту и веселость, но часть художническая — в младенческом положении, глубины также нет». А в письме сыну Ивану в 1846 году он еще резче отзывается о третьем «выходе» «Москвы и москвичей»: «Мысли детские, допотопные, невежество непостижимое... Ему назначено умереть, не понюхав искусства»[2].

Это противоречие в оценках — совсем не результат какого-то личного, особенного отношения Аксакова к Загоскину, а следствие противоречия самого творчества Загоскина — противоречия между «большим достоинством» и «допотопными мыслями», которое видел любой серьезный читатель. Это обстоятельство определило и оценку современниками творчества первого русского исторического романиста. Даже критики, писавшие о безвкусице и ограниченности Загоскина, говорили об очевидных достоинствах его сочинений. *В. Г. Белинский:* «Юрий Милославский» был первым хорошим русским романом... он отличается необыкновенным искусством в изображении быта наших предков, когда этот быт сходен с нынешним, и проникнут необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите к этому увлекательность рассказа, новость избран-

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 196—197.
[2] Там же, с. 436.

ного поприща...»[1] *П. А. Вяземский:* «В Загоскине точно есть талант...»[2] *А. А. Григорьев:* «У Загоскина... есть вещи наивные, восхитительно милые, весело добродушные, даже... человечески страстные»[3]. Эти хвалы особенно ощутимы на фоне общей суровой оценки таланта Загоскина теми же критиками. «В Загоскине точно есть талант,— писал Вяземский Пушкину по поводу «Рославлева»,— но зато как он и глуп». Белинский, всегда подчеркивавший свое уважительное отношение к «Юрию Милославскому» как к произведению, открывшему новую эпоху в русской беллетристике, считал новые романы и повести Загоскина «совершенно безнадежными», видя в них «бедность содержания», «повторение того, что читатель знает уже по прежним романам», говорил, что талант его «повыбился из сил». Да и достоинства «Юрия Милославского» Белинский учитывал как факт скорее общественный, чем литературный, считая его сочинением «почти нехудожественным»: «Исторического в нем... очень мало, если исключить собственные имена, числа и внешние события... Герой — образ без лица, не человек и не тень... герои добра и зла ужасно неудачны»[4] «У него был и комический талант, небольших, конечно, размеров, и добродушный юмор, и жар увлечения, и даже, пожалуй, своего рода поэтическая манера,— писал А. А. Григорьев в статье, опубликованной в 1861 году,— но... представьте себе русский быт и русскую историю с точки зрения Павла Афанасьевича Фамусова...— вы получите совершенно верное, нисколько даже не карикатурное понятие о взгляде загоскинского направления на быт предков и быт народа. Любовь к застою и умиление перед застоем... взгляд на всякий протест как на злодеяние и преступление... признание заслуги в одной покорности, оправдание возмутительнейших явлений старого быта, какое-то тупо-добродушное спокойствие и достолюбезность в изображении этих явлений...— вот существенные черты загоскинского общественного взгляда»[5].

Но лишь речь заходила о самой личности Загоскина, тон оценок менялся. О Загоскине в человеческом отношении никто бы не сказал того, что говорили о Загоскине-писателе.

«Основными качествами характера Загоскина были: честность, веселость, неограниченное добродушие и доверчивость». Это слова С. Т. Аксакова, рассказывавшего, как Загоскин готов был разыски-

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 118.

[2] Вяземский П. А. Письмо А. С. Пушкину от 24 августа 1831 г.— Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. 15, с. 29.

[3] Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., Искусство, 1980, с. 212.

[4] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 3, с. 79; т. 5, с. 210; т. 4, с. 367; т. 8, с. 582; т. 4, с. 366.

[5] Григорьев А. А. Эстетика и критика, с. 212—213.

вать по всему городу человека, нечаянно им обиженного, чтобы броситься ему на шею и просить прощения. «Будучи сам не способен не только к чувству зла, но даже к минутному недоброжелательству, он никогда не предполагал этих свойств в других людях... он был бесцеремонен, прост в обращении... Бывая иногда по своему положению в свете... Загоскин не мог не грешить против его законов и принятых форм, потому что был одинаков во всех слоях общества; его одушевленная и громкая речь, неучтивая точность выражений, простота языка и приемов часто противоречили невозмутимому спокойствию холодного этикета... Загоскин был постоянно весел в обществе и семейном кругу... Веселость не оставляла Загоскина даже в мучительной болезни; рассказывая о своих страданиях, он нередко употреблял такие оригинальные выражения, что заставлял смеяться окружающих и самого врача»[1]. Аксаков — друг Загоскина. Но вот суждения о Загоскине-человеке тех же взыскательных критиков Загоскина-писателя, чьи высказывания о его творчестве уже приведены. «Никакое злопамятство не могло устоять против его цветущего и румяного добродушия»[2],— вспоминал Вяземский, рассказывая о своем сближении с Загоскиным после нескольких лет литературной вражды. Белинский, язвительно-иронически сопоставляя произведения Загоскина и Булгарина, считал нужным сделать серьезную оговорку: «Во всем нелитературном мы не видим ни малейшего сходства между г. Загоскиным и г. Булгариным, как между белым и черным, майским днем и октябрьскою ночью!»[3] «М. Н. Загоскин как человек — одно из отраднейших явлений нашего старого быта,— писал А. А. Григорьев,— натура в высшей степени нежная и добродушная, хотя и ограниченная»; «человек... гораздо более замечательный, чем его произведения»[4].

Разные критики, разные поколения, разные взгляды; а сочетание *точно, хотя и, но, зато* — очень схоже. «Мы уважаем, хотя...»; «точно есть талант, зато...»; «одно из отраднейших явлений, хотя и...».

Главная причина такого противопоставления — соединение в произведениях Загоскина незаурядного бытописательства, добродушного юмора, умело закрученной интриги, теплоты чувства — с прямолинейностью общественных и нравственных понятий, лобовым морализаторством в решении сложных философских вопросов, официозностью патриотических идей. Проблемы, извечно вол-

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 197, 200—201.

[2] Вяземский П. А. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1982, с. 233.

[3] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4, с. 76.

[4] Григорьев А. А. Эстетика и критика, с. 210, 212.

новавшие литературу — смысл бытия, цель жизни, нравственные коллизии долга, чести, страсти,— решались Загоскиным без колебаний и рефлексии. «Имея ум простой, здравый и практический, он не любил ни в чем отвлеченности и был всегда врагом всякой мечтательности и темных, метафизических, трудных для понимания, мыслей и выражений» [1]. Свойства натуры — простота в общении с людьми, бесцеремонность в обращении с «трудными мыслями» становились свойствами сочинений Загоскина, делая их и предметом справедливой критики и вместе с тем позволяя Загоскину быть одним из самых читаемых авторов, прежде всего в тех слоях русского общества, которые в 30-е и 40-е годы только начинали приобщаться к чтению.

* * *

Литературный дебют Загоскина был не вполне обычен для того времени. Во-первых, Загоскину было уже 26 лет — возраст для начинающего писателя тогда немалый. Во-вторых, он начинал не со стихов, как большинство его современников, а с прозаической комедии. В-третьих, он сразу же вступал в литературную полемику.

Дело было так. 23 сентября 1815 года на петербургской сцене состоялась премьера комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Один из эпизодических персонажей комедии читал балладу — пародию на стихи Жуковского, воспринятую как новый выпад Шаховского против сторонников Карамзина. Главой антикарамзинского — «славянского» — направления в первое 15-летие XIX века был А. С. Шишков, организовавший в 1811 году литературное общество — «Беседу любителей русского слова». Шаховской, хотя и состоял членом «Беседы», не был прямым последователем Шишкова в литературном творчестве: не призывал современников к возрождению ломоносовской теории трех стилей и к отделению литературного языка от языка светских салонов, не писал высоким слогом. Шаховской писал языком, близким языку светского общества — во всяком случае, в тех комедиях, где героями были люди светские. Но Шаховской был давним насмешником Карамзина и карамзинистов, а теперь открыто выступил против Жуковского.

Друзья Жуковского были возмущены и в ответ Шаховскому и «Беседе» организовали пародийное общество «Арзамас». Сам Жуковский стал участником «Арзамаса», были приняты Вяземский, Батюшков, юный Пушкин, почетным «арзамасцем» был назван Карамзин. Придумали шутовской устав, нововступавший произносил

---

[1] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 201.

надгробную речь одному из «беседчиков», затем «покойного» хоронили в стеклянной чернильнице Жуковского. «Арзамасцы» не были, говоря современным языком, официально зарегистрированной организацией; они не имели ни объявленной программы, ни серьезно сформулированной цели. Их соединяла не уставная присяга, а личная дружба, молодость, сознание того, что, несмотря на малочисленность, они, а не «беседчики» — создатели литературы, которую будут читать будущие поколения. «Арзамасцы» были европейцами в русской литературе, справедливо полагая, что ориентация на вкус европейски просвещенного и мыслящего читателя не означает ни рабского копирования чужеземных образцов, ни принижения достоинств родного языка. Жуковский переводил немецкие баллады, Батюшков — французские «легкие» стихи, но тот и другой создавали *русскую* литературу, русский поэтический язык.

Один из учредителей «Арзамаса» — Ф. Ф. Вигель — приходился родственником Загоскину. «Я любил бесить его,— вспоминал Вигель впоследствии,— позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей <«арзамасцев»> насчет его патрона <Шаховского>. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних»[1]. Загоскин, недавно обласканный Шаховским, вступился за «Липецкие воды», сочинив «Комедию против комедии». Никому не ведомый писатель сразу оказался в центре литературных споров. И хотя сам он в предисловии к отдельному изданию «Комедии против комедии» (СПб., 1816) подчеркивал, что не принадлежит никакой партии, «арзамасцы» немедленно записали нового автора в антикарамзинисты. Д. В. Дашков писал Вяземскому 26 ноября 1815 года: «Представьте, что после первого представления «Комедии против комедии» Хлыстов <Д. И. Хвостов> ухватил за руку сочинителя — которого неизвестное нам имя Загоскина мы переменили в Гвоздушкина — и потащил его в директорскую ложу, где во всей славе сидел Мешков <А. С. Шишков>, и представил молодца, как ниспосланного с небес мстителя. Мешков... вскочил, принял мстителя с распростертыми объятиями и обещал ему первую вакансию сотрудника в «Беседе»[2]. Загоскин не стал «мстителем» «Беседы», хотя по умонастроению, по пристрастию к Шаховскому и по общей своей антиевропейской направленности не мог симпатизировать «арзамасцам». Загоскин не склонен был к длительной литературной вражде. И не случайно он сблизился с Н. И. Гнедичем, И. А. Крыловым, М. Е. Лобановым — сослуживцами по Публичной библиотеке, собиравшимися у директора библиотеки А. Н. Оленина.

---

[1] Вигель Ф. Ф. Воспоминания, ч. IV. М., 1864, с. 167.
[2] Русский архив, 1866, с. 500—501.

«Оленинский» кружок занимал особенную позицию. «Здесь бранят Шишкова, и если не бранят Карамзина, то по крайней мере спорят с теми, кто его хвалит» [1],— писал Жуковский летом 1815 года (между прочим, Гнедич и Крылов знали о том, что в «Липецких водах» прозвучит пародия на Жуковского, еще до премьеры спектакля). В Гнедиче и Лобанове Загоскин нашел людей близких и сочувствующих. Им он будет писать из Москвы о своих невзгодах, Гнедичу пошлет первые стихи, будет хлопотать о распродаже в Москве лобановского перевода Расиновой «Федры», любимым писателем Загоскина останется на всю жизнь Крылов.

В июле 1816 года на страницах «Сына отечества» завязался спор о достоинствах и недостатках балладного жанра. С отдельной статьей выступил Гнедич. В подтверждение одной из своих мыслей он процитировал слова Загоскина о балладах из «Комедии против комедии» [2]. Мнение начинающего писателя поддерживал уже признанный автор. Однако, если говорить о более широких литературных кругах, никто еще не относился к Загоскину серьезно. Да вряд ли и ему самому были ясны эстетические и идейные подтексты современной литературной жизни. Поздний дебют, отсутствие литературного окружения в юношеские годы, недостаточность общего образования (вплоть до орфографических ошибок в письме) — все это сказывалось и на литературной репутации, и на литературной позиции. И когда в июне 1817 года Загоскин стал издателем журнала «Северный наблюдатель», он не имел отчетливой программы. Загоскин печатал здесь короткие нравоучительные повести и вел раздел «Еженедельный репертуар», в котором помещал краткие рецензии на шедшие в Петербурге в течение недели спектакли.

В первом номере журнала была напечатана похвальная рецензия на новую комедию Загоскина «Господин Богатонов». В ответ с резкой критикой комедии выступил в «Сыне отечества» А. Е. Измайлов [3]. Измайлов критиковал Загоскина за неправдоподобие характера главного героя пьесы, за то, что Загоскин смешит зрителя

---

[1] Уткинский сборник. М., 1904, с. 13.

[2] Сын отечества, 1816, № 27, с. 5. Противопоставляя балладам Катенина баллады Жуковского, Гнедич сочувственно пересказывал строки из 1 явл. 2 действия комедии Загоскина: «Одни красоты поэзии могли до сих пор извинить в сем роде сочинений (балладах) странный выбор предметов». Друг Катенина А. С. Грибоедов отвечал Гнедичу статьей, в которой защищал Катенина и весьма иронически комментировал эти строки (Сын отечества, 1816, № 30, с. 151).

[3] Сын отечества, 1817, № 29. «Северный наблюдатель» отвечал антикритикой; «Сын отечества» продолжил свое наступление, и полемика между двумя журналами растянулась на несколько месяцев (см. коммент. к повести «Неравный брак» в т. 2 наст. изд.).

гримасами и буффонством», за безграмотность и грубый вкус. «Мужиковатый»[1] Измайлов сам прослыл, по выражению остроумца Воейкова, «писателем не для дам». И нападки его на Богатонова, который «выставлен слишком глупым провинциалом»[2], нападки на слог комедии, а затем и нападки на «Северного наблюдателя» имели в виду прежде всего личность самого Загоскина. Измайлов не был одинок. Еще в более резкой форме высмеял площадной уровень притязаний нового драматурга и издателя Грибоедов в сатирическом стихотворении «Лубочный театр», написанном в форме монолога балаганного зазывалы (Грибоедов был взбешен критикой Загоскиным ряда стихов в его комедии «Молодые супруги»).

«Северный наблюдатель» просуществовал полгода. Больше Загоскин в издании журналов не участвовал. Путь его в литературе на ближайшие годы определился на комедийном поприще. Почти 25 лет он служил в театре, и даже когда стал признанным романистом, все равно не мог отстать от сцены: последняя комедия написана за два года до смерти.

Почти все пьесы Загоскина — и те, что были написаны в 1810—1820-е годы, и те, которые он сочинял позже, построены по традиционной для комедий того времени сюжетной схеме. Главная героиня — воспитанница, племянница или дочь богатого дворянина. Она любит — и взаимно — честного, умного и благородного юношу. Но ее отец (дядюшка) намерен выдать девушку за расчетливого негодяя или самонадеянного болтуна. Возлюбленным помогает родственник юноши или родственница девушки, служанка или старый друг отца (дядюшки). Все кончается благополучно в пьесах Загоскина. Как сказано в развязке «Комедии против комедии», «осмеянный повеса уходит, степенный молодой человек женится на своей любезной».

В комедиях Загоскина нет сатиры или обличения. Он мастер забавного. И лучше всего у него получались характеры чудаков, попадающих впросак, типа Мольерова Журдена (Богатонов, Любский из «Благородного театра»). Загоскин высмеивает ветреников, проматывающих деньги, светских кокеток, недалеких провинциальных помещиков, барынь, пишущих стихи. Главные недостатки таких персонажей — неумеренность и нездравомыслие; характерное их желание — блистать. Одни — как Богатонов или Люб-

---

[1] Спустя 16 лет, в 1833 г., «Сын отечества» за 1817 г. перечитывал ссыльный Кюхельбекер, заметивший по поводу полемики о «Господине Богатонове»: «А. Е. Измайлов был истинно добрый мужик... Но в своих перебранках с «Наблюдателями» он из рук вон мужиковат!» (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 265).

[2] Сын отечества, 1817, № 29, с. 91.

ский — ради этого готовы поставить под угрозу собственное благосостояние. Другие — как Фольгин («Комедия против комедии»), Вельский («Добрый малый») или Вечеславин («Вечеринка ученых») — ищут невесту с хорошим приданым, ибо собственных денег уже нет. Эти люди не способны здраво оценить самих себя.

Противостоят комическим героям здравомыслящие резонеры, выражающие авторский взгляд на вещи. Чаще всего это дядюшка героя или героини или старинный друг отца — Мирославский («Г-н Богатонов», «Богатонов в деревне»), Стародубов («Добрый малый»), Здравосудов («Урок холостым»), Честонов («Благородный театр»). Мораль загоскинских резонеров проста: «Идти вперед не должно торопливо». Это говорит в комедии 1835 года «Недовольные» Глинский. Но и резонеры ранних комедий высказывались в том же роде. Их позиция — позиция хозяйственных и рассудительных помещиков. Они не проматывают имений, не восхищаются парижскими модами и ни в коем случае не проповедуют вольность. Они любят все истинно русское, и, по мысли Загоскина, эти добродетельные господа являют собою те положительно русские характеры, которых так не хватает модному петербургскому свету.

Вообще Загоскин — против всякого увлечения Европой: если и заимствовать, то в высшей степени умеренно, но главное — чтобы заимствованное пришлось впору русскому человеку, соответствовало бы национальным запросам. Это касается и одежды и идей. Светские щеголи и европейски настроенные «либералисты» — люди одной когорты, с точки зрения Загоскина. Щегольство и «либерализм» ведут к развращению нравов и космополитизму. Прямо об этом будет сказано в «Недовольных» — единственной «общественной» комедии, без любовной интриги. *Недовольные* для Загоскина — это и те, кто грезит парижскими модами, и те, кто составляет политическую оппозицию; в частности же, комедия метила в П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова. Резонеру Глинскому (по ходу действия он становится товарищем министра) поручена здесь роль единственного здравомыслящего человека на двадцать пять глупцов. «О господи! Когда избавишь нас // От этих вздорных фраз», — восклицает Глинский в своем главном монологе, направленном против русского европейства:

От этих выходцев из чужеземных кра́ев,
Полуфранцузских сорванцов,
Да от затянутых в шнуровки попугаев,
А пуще и того, от юных мудрецов,
Которые в сужденьях так свободны,
За веком вслед идут, смеются надо всем,
Зовут негодным все — затем,
Что сами ни к чему не годны.

Словесная и стиховая зависимость рассуждений Глинского от монологов грибоедовского Чацкого очевидна; только произносит эти речи резонер фамусовского круга.

Уже в 20-е годы одни только театральные занятия не удовлетворяли Загоскина. Перед глазами был пример Гнедича, занятого переводом «Илиады»: «Ты служишь и занимаешься постоянно своим Омиром. Я же ничего не делаю»,— писал Загоскин Гнедичу 28 августа 1820 года. Много времени занимали хлопоты по театру: «Едва ли в месяц раз удается мне написать несколько стихов. Костюмы, декорации, сборы, ссоры и всякие закулисные дрязги до того завладели моей головой, что для бедных муз не осталось в ней и уголка свободного» (письмо Гнедичу 6 ноября 1826 года). Мысль написать исторический роман открывала новое поприще.

* * *

Первая треть XIX века в России — время небывалого дотоле внимания к отечественной старине. Национально-исторические темы воплощались и в собственно исторических штудиях (главный труд эпохи — «История государства Российского» Карамзина), и в опытах исторической поэзии и прозы (среди них — «Думы» Рылеева, незавершенный роман Пушкина «Арап Петра Великого»), и в драматургии («Борис Годунов» Пушкина).

Первым в России к беллетристическому воссозданию исторического «колорита» и нравов прошедших времен обратился Карамзин («Наталья, боярская дочь»; «Марфа-посадница»). Карамзин же в повестях 1790-х годов, в «Письмах русского путешественника» создал прозу, которая не только удовлетворила вкусу образованных читателей, но и совершила в умах целый переворот. Однако хорошей прозы после карамзинской не было долго, хотя повести и путешествия стали сочинять многие. В то время в России по-прежнему главенствовала поэзия, и проза пробивала дорогу медленно. Отсутствие хорошей отечественной прозы особенно ощущалось на фоне прозы западноевропейской, с которой русский читатель был хорошо знаком (Руссо, Ричардсон, Стерн, мадам де Сталь, Шатобриан, Констан).

В 1820-е годы с особенным увлечением в России читали исторические романы В. Скотта[1]. «Может быть, Вальтер Скотт — пре-

---

[1] О популярности В. Скотта в России см.: Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России.— В кн.: Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975, с. 5—67.

восходнейший писатель всех народов и всех веков,— писал Вяземский, читатель разборчивый и строгий.— Карамзин говаривал, что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саде своем благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное им в чтении его романов»[1].

И когда в декабре 1829 года явился «Юрий Милославский», похожий на романы «шотландского барда», восхищение читательской публики было почти всеобщим. Этим романом Загоскин получал от современников не право на главенство в прозе (как Карамзин в конце XVIII века), а право на первооткрытие нового литературного пути. Единственность Загоскина была недолгой. Вскоре появились исторические романы И. И. Лажечникова, Н. А. Полевого, «Тарас Бульба» Гоголя, «Капитанская дочка» Пушкина. Да и в целом в 30-е годы проза начала вытеснять поэзию.

Но зимой 1829/1830 года, когда все читали «Юрия Милославского», Загоскин отовсюду получал самые лестные комплименты. Впрочем, надо помнить, что выгодным фоном для «Юрия Милославского» послужили романы Ф. В. Булгарина — автора, известного своими пасквилями, литературного коммерсанта, готового компрометировать противников любыми средствами, вплоть до доносов. «Нравственно-сатирический» роман Булгарина «Иван Выжигин» (1827) и его исторический роман «Дмитрий Самозванец» (1830; опубликован через несколько месяцев после «Юрия Милославского») были одинаково плохо восприняты литераторами разных взглядов. Уже первые читатели «Юрия Милославского» обратили внимание на то, что «его успеху, конечно, содействовало немало и предварительное появление «Ивана Выжигина», которого (по выражению кн. Вяземского) оставляешь, как смирительный дом»[2]. Сам Булгарин увидел в Загоскине опасного конкурента, и не случайно единственная целиком враждебная рецензия на «Юрия Милославского» появилась в «Северной пчеле», редактируемой Булгариным. Рецензент советовал Загоскину не браться более за исторические романы и «не верить тем, которые станут в глаза хвалить его»[3].

---

[1] Вяземский П. А. Записные книжки. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 136—137 (запись от 12 августа 1826 г.).

[2] Денница. Альманах на 1831 год. М., 1831, с. XVII—XVIII.

[3] Северная пчела, 1830, 21 января, № 9. Враждебно был встречен в «Северной пчеле» и «Рославлев» (1831, № 125, 130, 139). В 1843 г. Булгарин запоздало просил у Загоскина прощения, возлагая всю вину за появление пристрастных рецензий на соиздателя «Северной пчелы» Н. И. Греча и на авторов отзывов о романах Загоскина — А. Н. Очкина (о «Юрии Милославском») и В. А. Ушакова (о «Рославлеве») (см.: Русская старина, 1902, т. 111, с. 632—633).

В результате — «Самозванец» не понравился, а «Милославский» принят был с рукоплесканием». Н. А. Полевой, которому принадлежат эти слова и который враждовал и с Загоскиным и с Булгариным, объяснял торжество «Юрия Милославского» тем, что «эпоха 1612 года есть один из главных коньков нашего народного самолюбия... Колокольчик народного самохвальства и богатырства должен нравиться. И «Юрий Милославский» звонил в этот колокольчик из всех сил» [1].

Именно в первую треть XIX века проблема народности в литературе стала пунктом серьезных раздумий и споров. К 1820-м годам вырисовались два смысла этой проблемы. Первый определялся тем, изображается ли в произведении простой народ и какова степень художественной стилизации повествования под речь простонародья. С этой точки зрения народными могли считаться и басни Крылова, и идиллия Жуковского «Овсяный кисель», и баллады Катенина. Другой смысл был связан с изображением эпохальных событий в жизни нации. Потому произведения с национально-исторической основой могли также расцениваться именно как народные. Такая народность есть и в «Марфе-посаднице» Карамзина, и в «Димитрии Донском» Озерова. Именно национально-героический смысл был связан с идеей народности для декабристов. Их привлекал прежде всего «непреклонный и славолюбивый дух народа», но не «домашний быт» и «вседневный ум» (А. А. Бестужев) русского крестьянина.

В 1820-е годы вопрос о народности стал предметом бурных дискуссий. «Местный» колорит, народное искусство, крестьянский быт, героика народных движений в годы общегосударственных потрясений, национальная неповторимость характера и склада мышления русского человека — все это было в поле зрения спорящих сторон. Русской литературе требовались произведения, которые могли бы совместить *простонародное* и *национально-патриотическое*. Жанром, способствовавшим такому совмещению, стал исторический роман вальтер-скоттовского типа.

Изображение жизни частных лиц и любовная интрига, составлявшие основу всякого романа, сохранены В. Скоттом, но все *частное* дано в перспективе *исторической:* вымышленные герои — люди прошлых столетий — действуют рядом с историческими лицами и участвуют в действительных событиях. Особое значение у В. Скотта приобрели «археологические» и «этнографические» подробности: местность со всеми особенностями, костюмы, позы героев — все должно было соответствовать своему времени. К такому соответствию стремился романист и при изображении «старых нравов»,

---

[1] Московский телеграф, 1831, ч. XXXVIII, № 8, с. 540, 541. О взаимоотношениях Загоскина и Полевого см. коммент. к с. 482 наст. тома.

воссоздавая привычки, обычаи, понятия, предрассудки людей прошлого.

Но исторический колорит и исторические нравы еще не составляют романа. От хорошего романа ждали «занимательности для *любопытства,* то есть хорошо запутанных и хорошо распутанных происшествий, и занимательности для *ума»* [1]; «театральной занимательности» и «удовольствия» [2]: хороший романист «никогда не утомляет внимания читателя» (А. С. Пушкин в рецензии на «Милославского» [3]) — он должен «заставить читателя забыться, думать, что он живет, действует вместе с действующими лицами» [4]. Наполнить историческую «археологию» занимательностью, дав читателю возможность сопереживать героям, можно, по идее В. Скотта, если «изложить избранную вами тему языком и в манере той эпохи, в какую вы живете», «переложить старые нравы на язык современности». «Важнейшие человеческие страсти», с точки зрения исторического романиста, «общи для всех сословий, состояний, стран и эпох» [5]. И потому внимание сосредоточено на характерах и страстях, которые «свойственны людям на всех ступенях общества и одинаково волнуют человеческое сердце, бьется ли оно под стальными латами пятнадцатого века, под парчовым кафтаном восемнадцатого или под голубым фраком и белым канифасовым жилетом наших дней» [6]. За «домашним бытом» и «вседневным умом» предков читатель должен был видеть не только то особенное, что отличает людей прошлого от людей настоящего, но и общее, что сближает их.

У Загоскина — это *русские* чувства, не менее значимые и по прошествии веков: любовь к отечеству, благочестие, отчаянная храбрость («русский человек на том и стоит: где бедовое дело, там-то удаль свою показать»), терпеливость в голоде («русский человек в случае нужды готов довольствоваться куском хлеба») и холоде («мы, русские, привыкли к внезапным переменам времени»), широта натуры, «радушие, природный ум, досужество, сметливость и русский толк». Потому особенно важны в историческом

---

[1] Письмо В. А. Жуковского М. Н. Загоскину от 12 января 1830 г.— Раут. Исторический и литературный сборник. Кн. 3. М., 1854, с. 302.

[2] Вестник Европы, 1930, № 3, с. 240.

[3] Литературная газета, 1830, № 5, 21 января.

[4] Московский телеграф, 1829, ч. XXX, № 24, с. 464. Характерны упреки Булгарину в том, что читатель испытывает при чтении его романов «скуку, усталость и тоску» (Денница на 1831 г., с. XIX; концовка одной из эпиграмм Пушкина на Булгарина: «Беда, что скучен твой роман»).

[5] Скотт В. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 8. М.— Л., 1962, с. 25, 27.

[6] Там же, т. 1, с. 70.

романе были нравы народа — наименее подверженные изменениям, сохраняющие черты общенационального характера в наиболее чистом от примесей иностранного воздействия виде [1].

Последователи у В. Скотта появились в 1820-е годы во всех просвещенных нациях. «Успех знаменитого шотландского романиста породил соревнование... везде явились ему подражатели... у нас одних доселе видны были только попытки, только начинания в романах исторического рода, несмотря на богатство русских летописей в предметах и обстоятельствах истинно романических. Наконец, г. Загоскин... вполне заменил сей недостаток в нашей литературе» [2]. В том, что Загоскин напишет нечто «в роде В. Скоттовом», почти не сомневались и желали «посмотреть, как будет он соперничать с патриархом исторических романов» [3].

Правила этого соперничества требовали выполнения жанровых условий исторического романа. В центре произведения — действия обыкновенных людей избранной для повествования эпохи (вымышленных персонажей); исторические лица и события — на втором плане; автор «старается характеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы в эпоху, взятую им в основание его романа» (письмо Загоскина Жуковскому от 20 января 1830 г.). Пир в феодальном замке (у Загоскина в хоромах боярина Кручины-Шалонского), ссора на постоялом дворе (Юрия с паном Копычинским), встреча героя с незнакомцем, оказывающим впоследствии ряд услуг (встреча с Киршей), нападение разбойников, пленение героя, заточение его в подземелье, подслушанный разговор, дающий возможность упредить замыслы тайных врагов, — схожие ситуации можно найти в романах В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад», «Легенда о Монтрозе», «Айвенго», «Квентин Дорвард» и других. Однако подражание превратилось бы в плагиат, если бы не было в «Юрии Милославском» оригинального сцепления «вальтер-скоттовых» сюжетных ходов, умелой беллетризации повествования и национального содержания: русской истории и «археологии», русских характеров. «Опытом русской народности» и пленил Загоскин современников, повторявших, что явленная в романе «любовь к отечеству» и ко всему, носящему «имя русского», «находит себе приветный отзыв в душе читателя русского» [4], что «Загоскин первый угадал тайну писать русских с натуры» [5]: «видишь... что

[1] Характерно замечание В. Скотта по поводу исторического романа французского писателя А. де Виньи «Сен-Мар». Он сказал, что находит в «Сен-Маре» «только один недостаток: народ в нем не занимает должного места» (цит. по кн.: Реизов Б. Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958, с. 258).

[2] Отечественные записки, 1830, ч. 41, с. 166—167.

[3] Московский телеграф, 1829, ч. XXX, № 24, с. 463.

[4] Северные цветы на 1831 год. СПб., 1830, с. 61—62

[5] Телескоп, 1831, № 14, с. 226.

ему самый дым отечества сладок и приятен»[1]. «Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни!» (А. С. Пушкин). «Поздравляю публику с одним из лучших романов нашей эпохи» (В. А. Жуковский). «Это небывалое явление на горизонте нашей словесности» (С. Т. Аксаков).

Первоначальный успех «Юрия Милославского» был столь велик, что немедленно потребовалось второе издание, а следующий роман — «Рославлев» — был напечатан огромным для того времени тиражом — почти 5 тысяч экземпляров. Но «Рославлева» публика встретила почти разочарованно. «Исторические лица 1812 года вам не дадутся! — писал Жуковский Загоскину еще до выхода романа,— мы слишком к ним близки; мы уже предупреждены на счет их, и существенность для нас загородит вымысл»[2]. Слова Жуковского в основном подтвердились, хотя Загоскин и использовал в новом романе уже опробованные вальтер-скоттовские приемы.

Впрочем, главным в «Рославлеве» стал не сюжет, нет здесь и народно-сказочного героя, каким был в «Юрии Милославском» Кирша; любовная интрига заслонена эпизодами войны 1812 года, которые должны, по замыслу автора, выразить тот патриотизм, который охватил все слои русского общества во время нашествия французов. Русская идея владеет всем ходом повествования. Во всех поступках и разговорах все истинно русские люди выказывают истинную любовь к отечеству: и ямщики на постоялом дворе, и солдаты из передовой цепи, и резонер Сурский, и молчаливый артиллерийский офицер, и сам Рославлев, и французоман (но русский в душе!) Зарецкий.

В Руси должна быть только Русь, а французское воспитание, французские моды, французский язык извращают русское начало в дворянах — подобные мысли были присущи не одному Загоскину. В своем понимании событий 1812 года он следовал утвердившейся еще в 1810-е годы общей точке зрения на причины народной войны и основы национального характера. Русский человек живет настоящей жизнью, когда наступает опасность для всей нации. «В жизни русского народа были также моменты, когда внутренняя полнота его, почивающая в безмятежной тишине, воздымалась, потрясенная чудною силою,— писал Н. И. Надеждин, обобщая прочитанное им в «Рославлеве»,— сила, производящая в нем сии чудные потрясения, достойна великого народа. Это любовь к отечеству!.. У других наций сии достопримечательные эпохи всеобщего движения бывают обыкновенно следствиями внутреннего разъединения... Не так бывает с народом русским... Русский человек, не умеющий составлять для себя отдельную атмосферу бытия,

---

[1] Северные цветы на 1831 год. СПб., 1830, с. 62.
[2] Раут, кн. 3, т. 302—303.

может потрясаться только общим колебанием сферы, к коей принадлежит, может жить полною жизнию только в единстве жизни отечества»[1].

Единение русских людей во время Отечественной войны и победа над наполеоновской армией воспринимались в обществе как победа *порядка* жизни над раздробленностью и хаосом. Ощущение русскими своей правоты как защитников незыблемых основ бытия от наполеоновской «вольницы», сознание связи личной судьбы каждого с судьбой нации — было главным у всех, кто вспоминал Отечественную войну по горячим следам. Русские дали «целому свету великий и редкий пример мужества, добродетели и устойчивости»[2]. «Французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностию твердейших стен... Дрогнули поля, но сердца покойны были»[3].

Порядок, устойчивость, единение нации и многие другие вопросы, выдвинутые войной 1812 года, дадут потом пищу философским размышлениям Л. Н. Толстого в романе «Война и мир». У Загоскина философской рефлексии нет, и сам он, осмысляя написанное, в конечном счете сводит эти важные общенациональные проблемы к официальной доктрине порядка — «неколебимой верности к престолу, привязанности к вере предков и любви к родимой стороне». Главное, с точки зрения Загоскина, в народной жизни — это послушание старшим. «Мы покорны судьям да господам; они — губернатору, губернатор — царю, так испокон веку ведется... как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет», — говорит старый ямщик в сцене на постоялом дворе.

Мысль о подлинно «полной жизни в единстве жизни отечества» имеет для Загоскина значение прежде всего как мысль о единении всех сословий в борьбе с врагом. Показательна сцена боя крестьян с французами: бок о бок сражаются дворянин Рославлев, студент риторики и старик крепостной. Единение русских — следствие их общего патриотизма. Французов же соединяет только воля Наполеона. Наполеон в «Рославлеве» лишен того романтического обаяния, которое появилось в отношении к нему в 1820-е годы («страдалец, опоэтизированный судьбою и карою, на которую был осужден он местью победителей своих»[4]). В «Рославлеве» — тот облик французского императора, каким он запечатлелся в сознании русского общества 1810-х годов. Акцент в то время ста-

---

[1] Телескоп, 1831, № 14, с. 219.

[2] Глас московского жителя в октябре месяце 1812 года, вечной славы России. М., 1812, с. 13.

[3] Глинка Ф. Н. Письма русского офицера, ч. IV. М., 1815, с. 65, 67—68.

[4] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 2. СПб., 1879, с. 256.

вился на дерзостности помыслов Наполеона: ослепленный жаждой власти, он возмечтал управлять миром. «Увидя во власти своей всю Европу, кроме Севера, Наполеон обезумел в гордости и зверстве. Прежде говорили: «Человек располагает, бог совершает»; Наполеон возгласил: «Бог располагает, я совершаю»[1]. В таком контексте не случайной была интерпретация образа французского полководца как дьявола в человеческом облике, как исчадия ада, как Антихриста (у Загоскина о Наполеоне-Антихристе вспоминают ямщики на постоялом дворе).

Антихрист — «зверь, выходящий из бездны», как сказано в последней из новозаветных книг — Апокалипсисе, особенно часто вспоминавшейся в год французского нашествия.

Французы — хищники, Наполеон — Антихрист, зверь, волк. «Текут стада волков России грудь терзать»,— писал Ф. Н. Глинка в трагическом для России июле 1812 года[2]. Но рядом жила пародийно-басенная насмешка. Когда в конце сентября 1812 года в Петербурге было получено известие о попытке Наполеона вступить в мирные переговоры, И. А. Крылов написал басню «Волк на псарне»[3]. Бегство Наполеона усилило это сходство с хищным басенным зверем: «Он устремился вспять, аки голодный волк, не смея даже несытым оком своим озираться на предмет своей алчности»[4]. «Они,— говорит молчаливый офицер в «Рославлеве» о французах,— начнут рыскать вокруг Москвы, как голодные волки, а мы станем охотиться». Ополченный помещик Буркин догадывается: «Москва-то приманка. Светлейший хочет заманить в нее Наполеона, как волка в западню». О переговорах Мюрата с русским генералом Рославлев спрашивает: «А ведь это хорошая примета, когда волки становятся лисицами?» Волка, забредшего в овчарню, вспоминает и один из добродетельных загоскинских купцов.

Хищные звери — персонажи притчи, басни, аполога — жанров, не претендующих на психологический анализ поступков, характеров и ситуаций. В притче важно дать обобщенную модель должного и недолжного поведения. И звери, каждый из которых получил в человеческом сознании определенный характер, служат удобным примером, наглядно выражающим идею автора.

Загоскин не писал басен и притчей. Но недаром любимым его писателем был Крылов и недаром он любил высказывать через своих резонеров нравоучительные истины. У Загоскина нет сложных психологических коллизий, есть коллизии только ситуативные, связанные с трудностью положений, в которые попадают его ге-

---

[1] Русский вестник, 1813, № 1, с. 62.
[2] Глинка Ф. Н. Письма русского офицера, ч. IV, с. 24.
[3] Сын отечества, 1812, ч. I, № 2, с. 79—80.
[4] Штейнгель В. И. Записки касательно составления и самого похода санкт-петербургского ополчения, ч. I. СПб., 1814, с. 16.

рои; нет ни анализа душевной жизни, ни философских проблем. «Философия для плохого христианина наука сбивчивая, шаткая и решительно неудовлетворительная»,— сказано в одном из его писем 1840 года[1]. И характеры героев Загоскина ясны читателю с первого знакомства. Особенную притчевую ясность придает героям сближение их с животными. В «Рославлеве» хищные звери — Наполеон и французы, в «Юрии Милославском» — изменники и враги. Глаза боярина Кручины-Шалонского сверкают, «как у тигра», и голос его в гневе подобен «рыканию львову». Стремянный боярина Омляш «ухватками» похож «на медведя», и в облике его нет «ничего человеческого». Истома-Туренин «то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь». Гетман Гонсевский «желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие, так же, как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защиты». Мужество Сапеги и Лисовского — «зверское». Лжедмитрий «спрятался» в Калугу после поражения под Тушином, «как медведь в свою берлогу». Казаки Трубецкого по взятии Кремля, «словно волки, рыщут вокруг Грановитой палаты»; они рассеиваются по всей России, «как стая хищных зверей».

Притчевая определенность героев — следствие уверенности Загоскина в безусловной ясности бытия, убежденности в том, что нравственные вопросы не требуют раздумий. «Добродетельные люди в его романе — точно добродетельны, а злодеи — не шутя злодеи»[2]. И противоречия жизни, которых касался Загоскин, укладывались в рамки четких нравственных понятий: добро есть добро, зло есть зло.

Начало 1830-х годов — кульминация творчества Загоскина. От романов он обращается к повестям. Впрочем, и «Вечер на Хопре» и «Кузьма Рощин» выросли из первых романов. «Кузьма Рощин» — повесть историческая. «Вечер на Хопре» — по-новому обрамленный цикл «таинственно-ужасных» новелл. Первый опыт такого рода был предпринят Загоскиным в «Рославлеве», где герои во время осады Данцига развлекали друг друга рассказами о необычных случаях своей жизни.

«Страшная» романтическая новелла в 1820—1830-е годы стала популярным жанром. Свои варианты ее были у Пушкина («Гробовщик»; устная новелла «Уединенный домик на Васильевском острове»), у Гоголя («Страшная месть», «Портрет», «Вий»), у Лермонтова (<«Штосс»>). В «Рославлеве» все таинственное поддается разумному объяснению; в этом Загоскин следует за А. Радклиф, чьи романы ужасов были популярны в России первой трети XIX века. Однако, в отличие от «Рославлева», в «Вечере на Хопре» воз-

---

[1] Маяк, 1840, ч. VII, с. 104.

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5, с. 210.

можность однозначного рационального объяснения событий ставится под сомнение. Во всяком случае, Загоскин оставляет за собой право держать читателя в неведении относительно собственной точки зрения на иррациональное в жизни. Так и непонятно, снились черти или явились наяву герою повести «Нежданные гости»; подстроили конфедераты пир чертей в новелле «Пан Твардовский» или это на самом деле выходцы с того света потчевали героя живой головой; галлюцинацией или реальностью был ночной поезд восставших из гробов мертвецов; можно ли от черта отделаться крестным знамением, не имея в душе благих помыслов?

Ни для русской литературы, ни для Загоскина «Вечер на Хопре» не стал этапным произведением, хотя незаурядность этого цикла очевидна. Более того, «Вечер на Хопре» выглядит произведением едва ли не самым глубоким по насыщенности «трудными мыслями». Здесь можно прочитать о сверхчувственном общении на расстоянии, о власти судьбы над человеком, о предопределении и личной воле, здесь и попытка воспроизвести бред сумасшедшего, и рассказ о воздаянии грешнику. Впрочем, глубина, конечно, относительная, а «занимательность для ума» уступает «занимательности для любопытства». И недаром очень важная для 1830-х годов проблема *судьбы* — соотношения личной воли и предопределения — в «Вечере на Хопре» представлена в самой сказочной из новелл — «Ночном поезде».

К фантастике Загоскин больше не обращался: внутренне она была ему чужда, как вообще была чуждой всякая алогичность: Загоскин — писатель мира конкретного, бытового, вещественного. Но вопрос о предопределении в «Ночном поезде» остался недорешен. И следующая по времени создания за таинственно-ужасным циклом повесть «Кузьма Рощин» направляла к размышлению над этим вопросом. Здесь речь идет о том же, что и в «Страшной мести» (1832) Гоголя — о родовом наказании преступника. И у гоголевского колдуна, и у загоскинского разбойника гибнет потомство, и тот и другой (при всем их различии) стараются избежать кары. Кузьма Рощин, бросив разбойничий промысел, хочет искупить благонравной жизнью прошлое зло. И Рощин и колдун обречены, как бы они ни желали уйти от предопределенного им высшего суда. Но если у Гоголя месть *страшная*: за злодеяния предков и родителей гибнут неповинные, у Загоскина такое же наказание преступнику — осуществление высшей правды. Вообще-то «Кузьма Рощин» — одно из лучших, хотя вместе с тем одно из самых притчевых сочинений Загоскина: здесь ему важно доказать мысль о неизбежности наказания за содеянное зло. Если в «Рославлеве» вопрос этот решался на материале войны двух народов, здесь — на примере частной судьбы. Личная воля, особенно если она противостоит установленному порядку вещей, у Загоскина

всегда терпит крах. Наполеон в «Рославлеве», Кузьма Рощин, Глинский в «Ночном поезде», барон Брокен в «Искусителе» — все это нарушители незыблемого строя жизни. Такая интерпретация соотношения предопределения и личной воли, судьбы и свободы была связана у Загоскина в 1830—1840-е годы с постоянной внутренней полемикой с идеями романтизма и западноевропейской философии. Загоскин последовательно и с неослабевающим жаром отстаивал идею родового единения в противовес идеям свободы и независимости индивидуума. Если, например, младшие современники Загоскина — Баратынский, Тютчев, Лермонтов,— обостренно чувствовавшие одиночество мыслящей личности, стремились постичь глубинные причины трагического разлада души с миром, то для Загоскина индивидуальный интеллектуализм и философская рефлексия были «решительно неудовлетворительны» и объяснялись не более чем погоней за модами европейского просвещения.

Обретя после успеха начала 1830-х годов твердый писательский статус, Загоскин — чем далее, тем более — сознавал ценность собственного таланта в отстаивании русского направления. Пылкий враг всякого недовольства современным порядком в стране, Загоскин видел себя борцом «против наших скептиков, европейцев, либералов, ненавистников России, апологистов всех неистовых страстей и поэтов сладострастья»[1]. Нелюбовь к «отвлеченным умствованиям» и «мудрованиям западных философов» во всех случаях, когда Загоскин претендовал на проповедь здоровой религиозности, нерассуждающего патриотизма и верности престолу, приводила его к художественным неудачам. И недаром хуже всего был принят самый «идейный» роман Загоскина — «Искуситель», написанный, по уверению автора, с целью «показать, что в нынешнем так называемом просвещении участвует сам сатана»[2], и «бороться с новыми идеями, которые наводняют наше отечество,— идеями, разрушающими порядок, повиновение к властям, к закону»[3]. Недаром Загоскин, прочитав разбор «Героя нашего времени» издателем журнала «Маяк» С. А. Бурачком, «так бы и бросился к Бурачку на шею», когда прочитал о Лермонтове: «Как не жаль такое хорошее дарование посвящать таким гадким нелепостям»[4]. Для Загоскина все это означало «говорить то, что внушает... совесть и здравый смысл, которого французские либералы и русские европейцы терпеть не могут»[5].

---

[1] Маяк, 1840, ч. VII, с. 103.
[2] Домашняя беседа для народного чтения, 1860, вып. 25, с. 325.
[3] Цит. по кн.: Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, т. 2. СПб., 1913, с. 288.
[4] Маяк, 1840, ч. VII, с. 101.
[5] Цит. по кн.: Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, т. 2, с. 288.

Загоскин не враг просвещения. Нет, как сказано в «Искусителе», «просвещение, основанное на религии, есть величайший дар творца; но просвещение без всякой веры — о!.. об этом страшно и подумать!..». Загоскин и не апологет допетровской Руси. В последнем его историческом романе — «Русские в начале осьмнадцатого столетия» он ратует за здравомыслящий и основательный подход к европейским заимствованиям и, подчеркивая словами почтенного боярина Прокудина, что царь Петр «знает лучше всякого, что для нас пригодно и полезно», легко соединяет европейские нововведения Петра с русскими национальными интересами. Повествуя о перевоспитании противников петровских реформ, Загоскин занимает привычную позицию: всякий истинно русский человек, выполняя волю своего монарха, будет поступать правильно,— его здравый русский смысл поможет ему понять, что слепая и «безотчетная привязанность ко всем древним обычаям и предрассудкам старины» есть проявление «невежественной спеси и закоренелого упрямства».

* * *

Выработав в начале 1830-х годов свою систему литературных приемов, Загоскин в дальнейшем оставался в пределах этой системы. Особенно это относится к историческим его романам. Если в «Юрии Милославском» и «Рославлеве» Загоскин открывал новые темы, новые сюжеты, новых героев, то в следующих исторических романах новой была избранная для повествования эпоха — ее быт прежде всего. А герои разных веков, одетые в разные одежды, вновь, как и в «Юрии Милославском», влюблялись с первого взгляда, вновь им мешали соединиться обстоятельства, вновь благородного героя ждал плен, а его возлюбленную собирались выдать замуж за нелюбимого. Новые исторические романы, особенно «Русские в начале осьмнадцатого столетия»,— «занимательны для любопытства» не менее первых. Талант не стерся. Более того, в 1840-е годы Загоскин пишет цикл «Москва и москвичи», в котором он — один из первых в русской литературе — выступает историком московского быта. Таких описаний Марьиной рощи, Нескучного, Петровского парка, сокольнических гуляний на 1 мая в русской литературе не было до Загоскина. На фоне его исторических романов московские рассказы выглядят почти как дагерротип рядом с лубочной картинкой. И даже привычная назидательность здесь смягчена тем, что не сам Загоскин обо всем рассказывает, а его герой — чудаковатый московский старожил Богдан Ильич Бельский, подполковник в отставке. Белинский в отзыве о «Москве и москвичах» даже, оговорившись, назвал Богдана Ильича не Бельским, а Белкиным [1] — по аналогии с пушкинским повествователем. Но, конечно, если говорить о литературных прототипах Бельского,

[1] Современник, 1847, т. III, № 5, отд. IV, с. 131.

надо вспоминать не Белкина, а Лужницкого старца — героя, от лица которого писал свои полемические статьи в «Вестнике Европы» конца 1810-х М. Т. Каченовский.

Но ни исторические романы, ни историческая этнография «Москвы и москвичей» уже не могли вернуть Загоскину прежней славы. Загоскин и сам понимал, что его репутация зиждется во многом на былых заслугах. В предисловии к «Москве и москвичам» один из его героев говорит о своем авторе: «Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель,— нет, есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал «Юрия Милославского», попал в народность, да и пошел пописывать разные романчики». Вообще самоирония была одним из достойнейших качеств Загоскина. Он никогда не стремился к первенству на Парнасе и всегда говорил о скромности своих заслуг. Только когда литературные неприятели слишком удручали его своей язвительностью, Загоскин готов был бороться без пощады (в 1832 году он даже написал письмо министру просвещения с жалобой на Полевого), но, благодаря природному миролюбию, быстро остывал.

На фоне разнообразия стилевых манер, психологических и социологических художественных открытий русской литературы 40-х годов произведения Загоскина блекнут, хотя новые его сочинения читают не только уездные любители словесности. Читает сосланный и забытый уже в столице Кюхельбекер: «Загоскин не блистательный талант,— но человек, хотя несколько и ограниченный, с теплою душою и русским умом: его «Мирошев» принадлежит к лучшим романам на русском языке»[1]. Читает Белинский. «Кстати, о г. Загоскине,— пишет он об отрывках из «выхода третьего» «Москвы и москвичей», напечатанных в одном из номеров «Библиотеки для чтения» за 1847 год.— В этих статьях талант г. Загоскина является верным своему направлению и своему характеру. От этого читать их — невыразимое наслаждение, хотя оно и совершенно особого рода... О Москве и москвичах г. Загоскин заставляет говорить Богдана Ильича Белкина — лицо, которого нельзя не полюбить за наивность его убеждений в деле всем известных истин. Эта наивность придает неизъяснимую прелесть запискам Богдана Ильича,— и вы с наслаждением читаете даже его выходки против вас самих, выходки, выраженные таким языком, который у других кажется неприличным, грубым и оскорбляющим достоинство книгопечатания... грациозно, по-своему, выходит даже то, что у других бывает отвратительно,— и, читая его записки, вы никогда не сердитесь, но всегда смеетесь»[2].

---

[1] Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи, с. 429; запись от 4 июня 1845 г.

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, с. 583—584.

Умиление Кюхельбекера и Белинского по отношению к произведениям Загоскина — разного «качества». Кюхельбекер оторван от живой литературной жизни; Белинский — во главе нового литературного поколения. Белинский уже пережил период решительного недовольства Загоскиным, когда во всеуслышание заявлял по поводу того самого «Кузьмы Петровича Мирошева», которого с удовольствием прочитал Кюхельбекер: «Скоро о подобных явлениях уже не будут ни говорить, ни писать, как уже не говорят и не пишут больше о Выжигиных,— и цель нашей статьи — ускорить по возможности это вожделенное время, которое будет свидетельством, что наша литература и общественный вкус сделали еще шаг вперед...» [1]

Белинский в 1847 году добродушно рад «Москве и москвичам» не потому, что это сочинение достойно серьезного разбора. Для Белинского Загоскин так и остался наивно-милым автором романов «доброго старого времени», где «добродетель всегда торжествовала, а порок наказывался». Наслаждение Белинского источником имеет совершенно определенную эстетическую оценку деятельности Загоскина: «Для меня нет ничего умилительнее привычки людей на всю жизнь оставаться детьми, потому что эта привычка основывается на невыразимой прелести детского возраста... Сядет дитя на палочку верхом — и уверено, что оно скачет не на своей собственной паре ног, а на четырех ногах лихого коня,— и вы ничем так не разодолжите ребенка, как сделавши вид, будто верите, что он скачет на лошади, и даже посторонитесь торопливо, как бы из опасения, чтоб он не задавил вас» [2].

В 1840-е годы первенствующую роль в литературе играет новое литературное поколение (Герцен, Тургенев, Некрасов, Гончаров), которое стремится писать так, чтобы читатель мог воскликнуть, подобно Макару Девушкину из «Бедных людей» (1846) Достоевского: «...читаешь — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как!.. Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке...» О произведениях Загоскина Макар Девушкин так бы не сказал. И тем более не сказал бы так читатель, воспитанный на сочинениях Пушкина, Байрона, Гоголя, знакомый с трудами Гегеля, Окена, Фихте. Такому читателю нужны были в исторических романах не исторические имена и факты в качестве фона любовной интриги, а художественное исследование исторических закономерностей общественного развития России. От литературы ждали «верности действительности», проблемной глубины, социологического и психологического анализа.

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4, с. 381.
[2] Там же, т. 8, с. 585.

Ничего этого не было в сочинениях Загоскина. Да и «Юрий Милославский» казался теперь безусловным анахронизмом. «Милостивые государи! — восклицал двадцатичетырехлетний критик В. Н. Майков в 1847 году по поводу 7-го издания «Юрия Милославского».— Если вам лет сорок от роду, вы читали его лет пятнадцать назад; если же вы значительно моложе, то при чтении его вам могло быть лет пятнадцать». Лет пятнадцать было и Майкову, когда он впервые прочитал роман Загоскина. Теперь он его перечитывает: «...это уж не тот роман, который читали мы когда-то в первый раз. Ах, какой это был тогда прекрасный роман! Сколько он возбуждал в нас сочувствия! Каким великим писателем казался нам г. Загоскин!.. Уж не переделан ли «Юрий Милославский» в этом седьмом издании? Не вздумал ли автор его из исторического романа, за который, семнадцать лет назад, произвели его в русские Вальтеры Скотты, сделать сказку из произвольно взятого времени для удовольствия публики, восхищающейся в наше время произведениями французских беллетристов второй руки в русских переводах?» [1]

Через пятнадцать лет А. А. Григорьев будет еще беспощаднее: «М. Н. Загоскин... пользовался как романист успехом, в наше время и с нашей точки зрения совершенно невероятным и необъяснимым... Что может быть бесцветнее и сахарнее по содержанию, смешнее и жалостнее по выполнению, ходульнее и вместе слабее по представлению грандиозных народных событий «Юрия Милославского»? Ведь этой книги в наше время и детям, право, давать не следует, чтобы не испортить их вкуса! [2] Непроходимая пошлость всех чувств, даже и патриотических, фамусовское благоговение перед всем существующим — даже до кулака, восторженное умиление перед теми сторонами старого быта, которые были недавно и правдиво казнены великим народным комиком Грибоедовым, не китайское даже, а зверское отношение ко всему нерусскому без малейшего знания настоящего русского, речь дворовой челяди вместо народной речи...— вот черты другого его романа «Рославлев»... Чем дальше шел покойный Загоскин в своей деятельности, чем больше писал он, тем все ярче и ярче выступали в произведениях его черты невежественного барства и умиления перед пошлостью доброго старого времени...» [3]

Все так. Но не зря же Пушкин защищал Загоскина в письмах

---

[1] Майков В. Н. Литературная критика. Л., Художественная литература, 1985, с. 237, 240.

[2] Ср. с тем, что писал Белинский в начале 40-х годов о «Юрии Милославском»: «Теперь он — преприятное и преполезное чтение для детей от 7 до 12 лет включительно и для простого народа» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4, с. 316).

[3] Григорьев А. А. Эстетика и критика, с. 210—211.

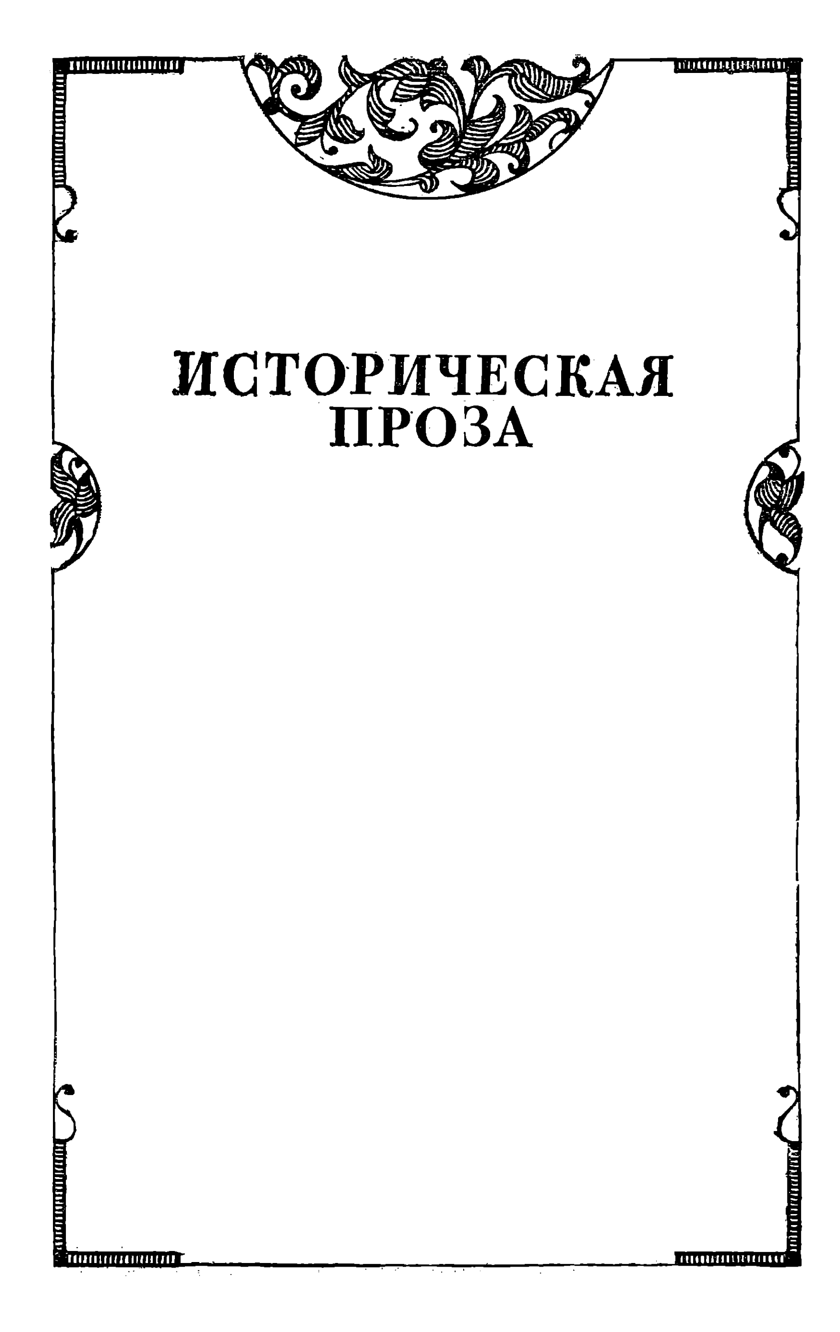
Вяземскому: «Ты бранишь «Милославского», я его похвалил. Где гроза, тут и милость. Конечно, в нем многого недостает, но многое и есть: живость, веселость, чего Булгарину и во сне не приснится» (конец января 1830 года); «То, что ты говоришь о «Рославлеве», сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов... пишут книги о романе, которого ты оценил в трех строчках совершенно полно, но к которым можно прибавить еще три строчки: *что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что все можно прочесть с удовольствием*» (3 сентября 1831 года).

Живость, занимательность, веселость, жар увлечения, теплота чувства, талантливое бытописательство, сама простота миропонимания и сделали Загоскина одним из популярнейших авторов в самых широких слоях русского общества: «... нет в нем ничего необыкновенного, поразительного, но умилительного много, но забавного много, и вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете, зачем так скоро пресекает он ваше удовольствие» [1].

Историко-литературная ценность сочинений Загоскина несомненна. Но существует еще и система ценностей непосредственно читательская, требующая от художественных произведений удовлетворения любопытства, занимательности, живости, удовольствия. И в этой системе ценностей сочинения Загоскина смысла своего не утратили.

А. Песков

[1] Слова А. А. Бестужева (Марлинского).— Московский телеграф, 1833, ч. LIII, № 18, с. 218.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале 17-го столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие — все угрожало неизбежной погибелью земле русской. Верный сын отечества, боярин Михайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот, по тогдашнему времени, важный своими укреплениями город был уже во власти польского короля Сигизмунда, войска которого под командою гетмана Жолкевского, впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание[1] *. Им не уступали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или, лучше сказать, опустошали, Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недальнем расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором; на севере — шведский

* Цифры отсылают к примечаниям, приложенным Загоскиным к роману (см. с. 283). Подстрочные примечания, отмеченные звездочками, кроме перевода иностранных слов и специально оговоренных случаев, принадлежат автору.

генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей, и одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета * пана Лисовского, упорно защищалась; малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель. Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили наконец усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные слова: «Умрем за веру православную и святую Русь!» — не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.

В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень **, ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушивался со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны.

— Полегче, боярин,— сказал он наконец с некоторым нетерпением,— твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит.

Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал:

— Прогневали мы господа бога, Юрий Дмитрич! Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шестьдесят, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем — бог весть!

* Так назывались в то время партизаны.
** Верхнее платье с длинными рукавами и капюшоном.

— Не кручинься, Алексей,— отвечал другой путешественник,— завтра мы отдохнем вдоволь.

— Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский?

— Я думаю.

— Дай-то бог!.. Ну, ну, Серко, ступай!.. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?

— Да, и очень скоро.

— Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят, православные ропщут, того и гляди, пойдет резня... Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли?..

Оба путешественника остановились; Алексей спрыгнул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг остановился как вкопанный.

— Ну, что? — спросил другой путешественник.

— Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг... Ах, батюшки святы, какая круть! Как бог помиловал!

— Так мы заплутались?

— Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам теперь делать?

— Искать дороги.

— Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видно!

В самом деле, вьюга усилилась до такой степени, что в двух шагах невозможно было различать предметов. Снежная равнина, взрываемая порывистым ветром, походила на бурное море; холод ежеминутно увеличивался, а ветер превратился в совершенный вихрь. Целые облака пушистого снега крутились в воздухе и не только ослепляли путешественников, но даже мешали им дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которые на каждом шагу оступались и вязнули в глубоких сугробах, они прошли версты две, не отыскав дороги.

— Я не могу идти далее,— сказал наконец тот из путешественников, который, по-видимому, был господином. Он бросил повода своей лошади и в совершенном изнеможении упал на землю.

— Уж не прозяб ли ты, боярин? — спросил другой испуганным голосом.

— Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах.

Послушай... если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю божию и думай только о себе.

— Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою!

— Да, мой добрый Алексей, если мне суждено умереть без исповеди, то да будет его святая воля! Ты устал менее моего и можешь спасти себя. Когда я совсем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если господь поможет тебе найти приют, то ступай завтра в отчину боярина Кручины-Шалонского,— она недалеко отсюда,— отдай ему...

— Как, Юрий Дмитрич! чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью? Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места!

— Алексей! ты должен исполнить последнюю мою волю.

— Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать — так умирать обоим. Но что это?.. Не послышалось ли мне?

Алексей снял шапку, наклонил голову и стал прислушиваться с большим вниманием.

— Хотя б на часок затих этот окаянный ветер! — вскричал он с нетерпением.— Мне показалось, что налево от нас... Чу, слышишь, Юрий Дмитрич?

— В самом деле,— сказал Юрий, приподнимаясь на ноги,— кажется, там лает собака...

— И мне тоже сдается. Дай-то господи! Завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею... поставлю фунтовую свечу... пойду пешком поклониться Печерским чудотворцам... Чу, опять! Слышишь?

— Точно, ты не ошибаешься.

— А где лает собака, там и жилье. Ободрись, боярин; господь не совсем нас покинул.

Кого среди ночного мрака заставала метель в открытом поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной зимней ночи, тот поймет восторг наших путешественников, когда они удостоверились, что точно слышат лай собаки. Надежда верного избавления оживила сердца их; забыв всю усталость, они пустились немедленно вперед. С каждым шагом прибавлялась их надежда, лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего пути.

— Кажется, недалеко отсюда,— сказал Юрий,— я слышу очень ясно...

— И я слышу, боярин,— отвечал Алексей, приоста-

новясь на минуту,— да только этот лай мне вовсе не пó сердцу.

— А что такое?

— Ничего, ничего; дай-то бог, чтоб было тут жилье!

Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать и потом с воем побежала назад. Алексей пошел за нею, но едва он ступил несколько шагов, как вдруг вскричал с ужасом:

— С нами крестная сила! Ну, так... сердце мое чуяло... посмотри-ка, боярин!

Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка в суконном чехле висела у него за спиною, а с правой стороны к поясу привязана была толстая казацкая плеть; татарская шапка, с густым околышем, лежала подле его головы. Собака остановилась подле него и, глядя пристально на наших путешественников, начала выть жалобным голосом.

— Ах, боже мой! — сказал Юрий.— Несчастный, он замерз! — Забыв собственную опасность, Юрий наклонился заботливо над прохожим и старался привести его в чувство.

Этот плачевный вид, предвестник собственной их участи, усталость, а более всего обманутая надежда — все это вместе так сильно подействовало на бедного Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянию, он начал называть по именам всех родных и знакомых своих.

— Простите, добрые люди! — вопил он.— Прости, моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому: пропали наши головы!

— Полно реветь, Алексей,— сказал Юрий,— поди сюда... Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам удастся разбудить его...

— Эх, родной! и мы скоро заснем, чтоб век не просыпаться.

— Не греши, Алексей, бог милостив! Посмотри хорошенько: разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.

— Дорога? Постой, боярин... в самом деле... Слава богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать нечего.

— А этот бедный прохожий?

— Дай бог ему царство небесное! Уж, видно, ему так на роду написано. Поедем, боярин.

— Нет, я попытаюсь спасти его,— сказал Юрий, стараясь привести в чувство полузамерзшего незнакомца.

Минуты две прошло в бесплодных стараниях; наконец прохожий очнулся, приподнял голову и сказал несколько невнятных слов. Юрий, при помощи Алексея, поставил его на ноги, но он не мог на них держаться.

— Ну, видишь, Юрий Дмитрич,— сказал Алексей,— нам с ним делать нечего! поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани.

— А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть.

— Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу ближе!

— Алексей, побойся бога! Разве ты не крещеный?

— Да послушай, Юрий Дмитрич: за тебя я готов в огонь и воду,— ты мой боярин, а умирать за всякого прохожего не хочу; дело другое отслужить по нем панихиду, пожалуй!..

— Молчи... и пособи мне посадить его на твою лошадь.

Алексей замолчал и принялся помогать своему господину. Они не без труда подвели прохожего к лошади; он переступал машинально и, казалось, не слышал и не видел ничего; но когда надобно было садиться на коня, то вдруг оживился и, как будто бы по какому-то инстинкту, вскочил без их помощи на седло, взял в руки повода, и неподвижные глаза его вспыхнули жизнию, а на бесчувственном лице изобразилась живая радость. Черная собака с громким лаем побежала вперед.

— Посмотри, боярин,— сказал Алексей,— он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне: видно, что ездок!.. Ого, да он начал пошевеливаться! Тише, брат, тише! Мой Серко и так устал. Однако ж, Юрий Дмитрич, или мы поразогрелись, или погода становится теплее.

— И мне то же кажется.

— Как бы снег не так валил, то нам бы и думать нечего. Эй ты, мерзлый! Полно, брат, гарцевать, сиди смирнее! Ну, теперь отлегло от сердца; а давеча при-

шлось было так жутко, хоть тут же ложись да умирай... Ахти, постой-ка: никак, дорога пошла направо. Мы опять едем целиком.

Тут налево от них послышался лай собаки; незнакомый поворотил в ту сторону.

— Куда ты, земляк? Постой! — вскричал Алексей, схватив за повод лошадь.— Или хочешь опять замерзнуть?

Но незнакомый махнул плетью и, протащив несколько шагов за собою Алексея, выехал на большую дорогу.

— Видишь ли,— прошептал он едва внятным голосом,— что моя собака лучше твоего знает дорогу?

— Эге, да ты стал поговаривать! Ну, что, брат, ожил?

Незнакомый не отвечал ничего и, продолжая ехать молча, старался беспрестанным движением разогреть свои оледеневшие члены; он приподнимался на стременах, гнулся на ту и другую сторону, махал плетью и спустя несколько минут запел потихоньку, но довольно твердым голосом:

Гой ты море, море синее!
Ты разгулье молодецкое!
Ты прости, моя любимая,
Красна девица-душа!
Не трепать рукою ласковой
Щеки алые твои:
А трепать ли молодцу
Мне широким веслом
Волгу-матушку...

— Ого, товарищ! — сказал Алексей.— Да ты, никак, совсем оттаял — песенки попеваешь!

— Да, добрые люди, спасибо вам! Долго бы мне спать, если бы вы меня не разбудили.

— Откуда ты? — спросил Юрий.— И куда пробираешься?

— Из-под Москвы; а куда иду, и сам еще путем не знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой товарищ, добрый конь, выбился из сил и пал; я хотел кой-как добрести до первой деревни...

— А кто ты таков?

— Кто я? Как бы вам сказать... Зовут меня Киршею; родом я из Царицына; служил казаком в Батурине, а теперь запорожец.

— Запорожец! — вскричал Алексей, отскочив в сторону.

— Да,— продолжал спокойно прохожий,— я приписан в Запорожской Сечи к Незамановскому куреню и без хвастовства скажу, не из последних казаков. Мой родной брат — куренной атаман, а дядя был кошевым.

— Помилуй господи! — сказал Алексей.— Запорожский казак и, верно, разбойник!

— Нет, товарищ, напрасно. В удальстве я от других не отставал, а гайдамаком никогда не был.

— Как же ты попал в здешнюю сторону? — спросил с любопытством Юрий.

— А вот как: я года два шатаюсь по белу свету, и там и сям; да что-то в руку нейдет. До меня дошел слух, что в Нижнем Новгороде набирают втихомолку войско; так я хотел попытать счастья и пристать к здешним.

— Против кого?

— А мне что за дело? Про то панство знает, была бы только пожива; ведь стыдно будет вернуться в мой курень с пустыми руками. Другие выставят на улицу чаны с вином и станут потчевать всех прохожих, а мне и кошевому нечего будет поднести.

— Зачем же ты не пристал к войску гетмана Жолкевского?

— Спроси лучше, зачем отстал?

— Так ты беглый?

— Кто? я беглый? — сказал прохожий, приостановя свою лошадь. Этот вопрос был сделан таким голосом, что Алексей невольно схватился за рукоятку своего охотничьего ножа.— Добро, добро, так и быть,— продолжал он,— мне грешно на тебя сердиться. Беглый! Нет, господин честной, запорожцы — люди вольные и служат тому, кому хотят.

— Но разве вы не должны служить королю Сигизмунду?

— Должны! Так говорят и старшие, только вряд ли когда запорожский казак будет братом поляку. Нечего сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все божье, да наше! Но жгли ли мы храмы господни? ругались ли верою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы! Как бог еще терпит!

— Но все эти беспорядки скоро прекратятся: московские жители добровольно избрали на царство сына короля польского.

— Добровольно! Хороша воля, когда над тобой стоят с дубиною... нехотя закричишь: давай нам королевича Владислава! Нет, господин честной, не пановать над Москвою этому иноверцу. Дай только русским опериться!

— Но, кажется, дело кончено, и когда вся Москва присягнула польскому королевичу...

— Мало ли что кажется! Вот и мне несколько раз казалось, что там направо светит огонек, а теперь ничего не вижу.

— Огонь! где ты видишь? — вскричал Алексей.

— А вон, посмотри: опять показался; видишь — там, как свечка теплится?

Путешественники остановились. Направо, с полверсты от дороги, мелькал огонек; они поворотили в ту сторону, и через несколько минут Алексей, который шел впереди с собакою, закричал радостным голосом:

— Сюда, Юрий Дмитрич, сюда! Вот и плетень! Тише, боярин, тише! околица должна быть левее — здесь. Ну, слава тебе господи! — продолжал он, отворяя ворота.— Доехали!.. и вовремя: слышишь ли, как опять завыл ветер? Да пусть теперь бушует, как хочет; нам и горюшки мало: в избе не озябнем.

— А разве мы одни теперь в дороге? — сказал Юрий, глядя с беспокойством на ужасный вихрь, который снова свирепствовал в поле.

— Кому быть убиту, тот не замерзнет,— прошептал Кирша, въезжая в околицу.

II

Деревушка, в которую въехали наши путешественники, находилась в близком расстоянии от зимней дороги, на небольшом возвышении, которое во время разлива не понималось водою. Несколько дымных лачужек, разбросанных по скату холма, окружали избу, менее других походящую на хижину. Красное окно, в котором вместо стекол вставлена была напитанная маслом полупрозрачная холстина, обширный крытый двор, а более всего звуки различных голосов и громкий гул довольно шумной беседы, в то время как во всех других хижинах царствовала глубокая тишина,— все доказывало, что это постоялый двор и что не одни

наши путешественники искали в нем приюта от непогоды.

Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, те же полати, большой стол, лавки и передний угол, украшенный иконами святых угодников. В течение двух столетий изменились только некоторые мелкие подробности: в наше время в хорошей белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены украшаются иногда картинками, представляющими «Шемякин суд» или «Мамаево побоище»; в 17-м веке эта роскошь была известна одним боярам и богатым купцам гостиной сотни [2]. Следовательно, читателям нетрудно будет представить себе внутренность постоялого двора, в котором за большим дубовым столом сидело несколько проезжих. Пук горящей лучины, воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на все общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно было догадаться, что они только что отужинали и вместо десерта запивали гречневую кашу брагою, которая в большой медной ендове стояла посреди стола. Вдоль стены на лавке сидели трое проезжих; один из них, одетый в лисью шубу, говорил с большим жаром, не забывая, однако же, подливать беспрестанно из ендовы в свою дорожную серебряную кружку. Оба его соседа, казалось, слушали его с большим вниманием и с почтением отодвигались каждый раз, когда оратор, приходя в восторг, начинал размахивать руками. С первого взгляда можно было отгадать, что человек в лисьей шубе — зажиточный купец, а оба внимательные слушатели — его работники. Насупротив их сидел в красном кафтане, с привешенною к кушаку саблею, стрелец; шапка с остроконечною тульею лежала подле него на столе; он также с большим вниманием, но вместе и с приметным неудовольствием слушал купца, рассказ которого, казалось, производил совершенно противное действие на соседа его — человека среднего роста, с рыжей бородою и отвратительным лицом. В косых глазах его, устремленных на рассказчика, блистала злобная радость; он беспрестанно вертелся на скамье, потирал руки и казался отменно довольным. Трудно было бы отгадать, к какому классу людей принадлежал этот последний, если б от беспрестанного движения не распахнулся его смурый однорядок и не открылись вышитые красной

шерстью на груди его кафтана две буквы: *З* и *Я*, означавшие, что он принадлежит к числу полицейских служителей, которые в то время назывались... я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей, но, соблюдая, сколь возможно, историческую истину, должен сказать, что их в 17-м столетии называли земскими ярыжками. В переднем углу, под образами, сидел человек лет за сорок, одетый весьма просто; черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствие человека, уверенного в необычайной своей силе; широкие плеча, жилистые руки, высокая богатырская грудь — все оправдывало эту последнюю догадку. Облокотясь небрежно на стол, он, казалось, не обращал никакого внимания на своих соседей и только изредка поглядывал на полицейского служителя: ничем не изъяснимое презрение изображалось тогда в глазах его, и этот взгляд, быстрый, как молния, которая, блеснув, в минуту потухает, становился снова неподвижным, выражая опять одну задумчивость и совершенное равнодушие к общему разговору.

— Помилуй господи!..— вскричал стрелец, когда человек в лисьей шубе кончил свой рассказ.— Неужто в самом деле вся Москва целовала крест этому иноверцу? [3]

— Разве ты не слышишь? — сказал земский.— И чему дивиться? Плетью обуха не перешибешь; да и что нам, мелким людям, до этого за дело?

— Как что за дело! — возразил купец, который между тем осушил одним глотком кружку браги.— Да разве мы не православные? Мало ли у нас князей и знаменитых бояр? Есть из кого выбрать. Да вот недалеко идти: хоть, например, князь Димитрий Михайлович Пожарский...

— Нашел человека! — подхватил земский.— Князь Пожарский!..— повторил он с злобной улыбкою, от которой безобразное лицо его сделалось еще отвратительнее.— Нет, хозяин, у него поляки отбили охоту соваться туда, куда не спрашивают. Небойсь хватился за ум, убрался в свою Пурецкую волость да вот уже почти целый год тише воды ниже травы, чай, и теперь еще бока побаливают.

— Да и поляки-то, брат, не скоро его забудут,— ска-

зал стрелец, ударив рукой по своей сабле.— Я сам был в Москве и поработал этой дурою, когда в прошлом марте месяце, помнится, в день святого угодника Хрисанфа, князь Пожарский принялся колотить этих незваных гостей. То-то была свалка!.. Мы сделали на Лубянке, кругом церкви Введения божией матери, засеку и ровно двое суток отгрызались от супостатов...

— А на третьи насилу ноги уплели!

— Что ж делать, товарищ: сила солому ломит. Сам гетман нагрянул на нас со всем войском...

— И, чай, Пожарский первый дал тягу? Говорят, он куда легок на ногу.

Тут молчаливый проезжий бросил на земского один из тех взглядов, о которых мы говорили; правая рука его, со сжатым кулаком, невольно отделилась от стола, он сам приподнялся до половины... но прежде чем кто-нибудь из присутствовавших заметил это движение, проезжий сидел уже, облокотясь на стол, и лицо его выражало по-прежнему совершенное равнодушие.

— Послушай, товарищ,— сказал стрелец, посмотрев молча несколько времени на земского,— кажется, ты не о двух головах!

— Так что ж?

— А то, любезный, что другой у тебя не останется, как эту сломят. Ну, пристало ли земскому ярыжке говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек смирный, а у другого бы ты первым словом подавился! Я сам видел, как князя Пожарского замертво вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый, хотя бы повстречался с самим сатаною, на которого, сказать мимоходом, ты с рожи-то очень похож.

Осанистый купец улыбнулся, его работники громко захохотали, а земский, не смея отвечать стрельцу, ворчал про себя: «Бранись, брат, бранись, брань на вороту не виснет. Вы все стрельцы — буяны. Да недолго вам храбровать... скоро язычок прикусите!»

— Господин земский,— сказал с важностию купец,— его милость дело говорит: не личит нашему брату злословить такого знаменитого боярина, каков светлый князь Димитрий Михайлович Пожарский.

— Да я не свои речи говорю,— возразил земский, оправясь от первого испуга.— Боярин Кручина-Шалонский не хуже вашего Пожарского,— послушайте-ка, что о нем рассказывают.

— Боярин Кручина-Шалонский? — повторил купец.— Слыхали мы об его уме и дородстве!.. У нас в Балахне рассказывали, что этот боярин Шалонский...

— Ведет хлеб-соль с поляками,— подхватил стрелец.— Ну да, тот самый! Какой он русский боярин! хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои отчины, забыл бога и даже — прости господи мое согрешение! — прибавил он, перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом,— и даже говорят, будто бы он... вымолвить страшно... ест по постам скоромное?

— Ах он безбожник! — вскричал купец, всплеснув руками.— И господь бог терпит такое беззаконие!

— Потише, хозяин, потише! — сказал земский.— Боярин Шалонский помолвил дочь свою за пана Гонсевского, который теперь гетманом и главным воеводою в Москве: так не худо бы иным прочим держать язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна не за тридевять земель от Москвы, да и сам боярин шутить не любит: неравно прилучится тебе ехать мимо его поместьев с товарами, так смотри, чтоб не продать с накладом!

— Оборони господи! — вскричал купец, побледнев от страха.— Да я, государь милостивый, ничего не говорю, видит бог, ничего! Мы люди малые, что нам толковать о боярах...

— А куда ваша милость едет? — продолжал земский.— Не назад ли в Балахну?

— На что тебе, добрый человек?

— Да так!.. Большая дорога идет через боярское село, а проселочных теперь нет; так волей или неволей, а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны всякие товары.

— Да со мною ничего нет; видит бог, ничего! Все продал в Костроме.

— И, верно, на чистые денежки?

— Какие чистые! Всё в долг! Разоренье, да и только!

— А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой целый мешок денег: посмотри, как левая сторона отдулась!

Холодный пот выступил на лбу у бедного купца; он невольно опустил руку за пазуху и сказал вполголоса, стараясь казаться спокойным:

— Смотри, пожалуй... в самом деле! кажись, буд-

то много, а всего-то навсе две-три новогородки * да алтын пять медных денег: не знаю, с чем до дому доехать!

— Жаль, хозяин,— продолжал земский,— что у тебя в повозках, хоть, кажется, в них и много клади,— прибавил он, взглянув в окно,— не осталось никаких товаров: ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонский и богат и тороват. Уж подлинно живет по-барски: хоромы — как царские палаты, холопей полон двор, мяса хоть не ешь, меду хоть не пей; нечего сказать — разливанное море! Чай, и вы о нем слыхали? — прибавил он, оборотясь к хозяину постоялого двора.

— Как-ста не слыхать, господин честной,— отвечал хозяин, почесывая голову.— И слыхали и видали: знатный боярин!..

— А уж какой благой, бог с ним! — примолвила хозяйка, поправляя нагоревшую лучину.

— Молчи, баба, не твое дело.

— Вестимо, не мое, Пахомыч. А каково-то нашему соседу, Васьяну Степанычу? Поспрошай-ка у него.

— А что такое он сделал с вашим соседом? — спросил стрелец.

— А вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик, один сын у матери. Ономнясь боярин зазвал его к себе пображничать: что ж, батюшка?.. для своей потехи зашил его в медвежью шкуру, да и ну травить собакою! И, слышь ты, они, и барин и собака, так остервенились, что насилу водой разлили. Привезли его, сердечного, еле жива, а бедная-то барыня уж вопила, вопила!.. Легко ль! неделю головы не приподымал!

— Ах ты простоволосая! — сказал земский.— Да кому ж и тешить боярина, как не этим мелкопоместным? Ведь он их поит и кормит да уму-разуму научает. Вот хотя и ваш Васьян Степанович, давно ли кричал: «На что нам польского королевича!» — а теперь небойсь не то заговорил!..

— Да, кормилец, правда. Он говорит, что все будет по-старому. Дай-то господь! Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик — остался, не люб — пошел куда хошь.

— А вам бы только шататься да ничего не платить,— сказал стрелец.

---

* Мелкая серебряная монета.

— Как-ста бы не платить,— отвечал хозяин,— да тяга больно велика: поборы поборами, а там, как поедешь в дорогу: головщина, мыт, мостовщина...

— Вот то-то же, глупые головы,— прервал земский,— что вам убыли, если у вас старшими будут поляки? Да и где нам с ними возиться! Недаром в Писании сказано: «Трудно прать против рожна». Что нам за дело, кто будет государствовать в Москве: русский ли царь, польский ли королевич? было бы нам легко.

Тут деревянная чаша, которая стояла на скамье в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры обратились на молчаливого проезжего: глаза его сверкали, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали; казалось, он хотел одним взглядом превратить в прах рыжего земского.

— Что с тобою, добрый человек? — сказал стрелец после минутного общего молчания.

Незнакомый как будто бы очнулся от сна: провел рукою по глазам, взглянул вокруг себя и прошептал глухим, отрывистым голосом:

— Тьфу, батюшки! Смотри, пожалуй! никак, я вздремнул!

— И, верно, тебе померещилось что ни есть страшное? — спросил купец.

— Да!.. я видел и слышал сатану.

Купец перекрестился, работники его отодвинулись подалее от незнакомца, и все с каким-то ужасом и нетерпением ожидали продолжения разговора; но проезжий молчал, а купец, казалось, не смел продолжать своих вопросов. В эту минуту послышался на улице конский топот.

— Чу! — сказал хозяин.— Никак, еще проезжие! Слышишь, жена, Жучка залаяла! ступай посвети.

Ворота заскрипели, громкий незнакомый лай, на который Жучка отвечала робким ворчаньем, раздался на дворе, и через минуту Юрий вместе с Киршею вошли в избу.

III

— Хлеб да соль, добрые люди! — сказал Юрий, помолясь иконам.

— Милости просим! — отвечал хозяин.

— Ах, сердечный! — вскричала хозяйка.— Смотри, как тебя занесло снегом! То-то, чай, назябся!

— А вот отогреемся,— сказал Кирша, помогая Юрию скинуть покрытый снегом охабень.

— Да это, никак, боярин,— шепнула хозяйка своему мужу.

Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом, обшитом галунами полукафтанье; к шелковому кушаку привешена была польская сабля; а через плечо на серебряной цепочке висел длинный турецкий пистолет. Остриженные в кружок темно-русые волосы казались почти черными от противоположности с белизною лица, цветущего юностью и здоровьем; отвага и добродушие блистали в больших голубых глазах его; а улыбка, с которою он повторил свое приветствие, подойдя к столу, выражала такое радушие, что все проезжие, не исключая рыжего земского, привстав, сказали в один голос: «Милости просим, господин честной, милости просим!» — и даже молчаливый незнакомец отодвинулся к окну и предложил ему занять почетное место под образами.

— Спасибо, добрый человек! — сказал Юрий.— Я больно прозяб и лягу отогреться на печь.

— Откуда твоя милость? — спросил купец.

— Из Москвы, хозяин.

— Из Москвы! А что, господин честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?

— Правда.

— Вот тебе и царствующий град! — вскричал стрелец.— Хороши москвичи! По мне бы, уже лучше покориться Димитрию.

— Покориться? кому? — сказал земский.— Самозванцу?.. Тушинскому вору?..

— Добро, добро! называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк; а этот королевич Владислав, этот еретик...

— Слушай, товарищ! — сказал Юрий с приметным неудовольствием.— Я до ссор не охотник, так скажу наперед: думай что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори.

— А почему бы так?

— А потому, что я сам целовал крест королевичу Владиславу и при себе не дам никому ругаться его именем.

Сожаление и досада изобразились на лице молчаливого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным участием на Юрия, который, во всей красоте отвагой кипя-

щего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым взглядом, казалось, вызывал смельчака, который решился бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором все собрание и не замечая ни на одном лице охоты взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут никто не пытался возобновить разговора; наконец земский, с видом величайшего унижения, спросил у Юрия:

— Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град Москву?

— Его ожидают,— отвечал Юрий отрывисто.

— А что, ваша милость, чай, уж давным-давно и послы в Польшу отправлены?

— Нет, не в Польшу,— сказал громким голосом молчаливый незнакомец,— а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский в то время, как в Москве целуют крест его сыну.

Юрий приметным образом смутился.

— Уж эти смоляне! — вскричал земский.— Поделом, ништо им! Буяны!.. Чем бы встретить батюшку, короля польского, с хлебом да с солью, они, разбойники, и в город его не пустили!

— Эх, господин земский! — возразил купец.— Да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей отчиной.

— Так что ж? — продолжал земский.— Уж если мы покорились сыну, так отец волен брать, что хочет. Не правда ли, ваша милость?

Лицо Юрия вспыхнуло от негодования.

— Нет,— сказал он,— мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части святую Русь! Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если б он не обещал сохранить землю Русскую в прежней ее славе и могуществе?

— И, государь милостивый! — подхватил земский.— Можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленском. Не важное дело один городишко! Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол-Москвы можно отступиться.

— Я повторяю еще,— сказал Юрий, не обращая никакого внимания на слова земского,— что вся Москва присягнула королевичу; он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдержит свое

обещание, то я первый готов положить за него мою голову. Но тот,— прибавил он, взглянув с презрением на земского,— тот, кто радуется, что мы для спасения отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не православный и даже — хуже некрещеного татарина!

Молчаливый незнакомец с живостию протянул свою руку Юрию; глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать; но Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола, взобрался на печь и, разостлав свой широкий охабень, лег отдохнуть.

— А что,— спросил Кирша у хозяина,— чай, проезжие гости не все у тебя приели?

— Щей нет, родимый,— отвечал хозяин,— а есть только толокно да гречневая каша.

— И на том спасибо! Давай-ка их сюда.

— А его милость что будет кушать? — спросила заботливо хозяйка, показывая на Юрия.

— Не хлопочи, тетка,— сказал Алексей, войдя в избу,— в этой кисе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь, поставь в печь... Послушайте-ка, добрые люди,— продолжал он, обращаясь к проезжим,— у кого из вас гнедой конь с длинной гривою?

— Это мой жеребец,— отвечал молчаливый незнакомец.

— Ой ли? Ну, брат, какой знатный конь! Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорет! Ступай-ка скорей: он отвязался и бегает по двору.

Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы.

— Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? — спросил земский у хозяина.

— А бог весть кто! — отвечал хозяин.— Кажись, не наш брат крестьянин: не то купец, не то посадский...

— Откуда он едет?

— Господь его знает! Вишь, какой леший, слова не вымолвит!

— Да! у него лицо не миловидное,— заметил купец.— Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться.

— А какой ражий детина! — примолвил стрелец.— Я таких богатырских плеч сродясь не видывал.

Между тем Алексей и Кирша сели за стол.

— Ну, брат,— сказал Алексей,— тесненько нам бу-

дет: на полатях лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам сидя.

— Молчи! Будет просторно,— шепнул Кирша, принимаясь есть толокно.

Купец, который не смел обременять вопросами Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить первый голод, он спросил его: давно ли они из Москвы?

— Седьмой день, хозяин,— отвечал Алексей.— Словно волов гоним! День стоим, два едем. Вишь, какую погоду бог дает!

— А что, вы московские уроженцы?

— Как же! мы оба с барином природные москвичи.

— Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?

— Вестимо, хозяин! Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу полетел, проклятый!

— Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки,— сказал стрелец.— Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!.. Чему ж ты ухмыляешься? — продолжал он, обращаясь к купцу.— Чай, и до тебя этот слух дошел?

— Не всякому слуху верь,— сказал с важностию купец.

— Знаю, знаю! Вы люди грамотные, ничему не верите.

— Ученье свет, а неученье тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует! Так и надо всему верить? Ну, рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева.

— Оно, кажись, и так, хозяин,— продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством,— однако ж вся Москва говорит об этом.

— Да она и теперь еще около Москвы летает,— сказал Кирша, положа на стол деревянную ложку, которою ел толокно.

— Неужели в самом деле? — вскричал купец.

— Я сам ее видел,— продолжал спокойно запорожец.

— Как видел?

— А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея. Не правда ли?

— Ну, да; так что ж?

— Ничего.

— Но где ж ты ее видел?

— Где? Как бы тебе сказать?.. Не припомню... у меня морозом всю память отшибло.

— Добро, добро,— сказал купец,— дай-ка сюда свой стакан...

— Спасибо! Да наливай полнее... Хорошо! Ну, слушай же,— продолжал запорожец, выпив одним духом весь стакан,— я видел Маринку в Тушине, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походит.

— В Тушине?

— Да, в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем.

— Вот что!.. Так ты и Тушинского вора знаешь?

— Как не знать!

— Правда ли, что он молодчина собою? — спросил стрелец.

— Какой молодчина!.. Ни дать ни взять польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский, так нечего сказать — удалая голова!

— Лисовский! — вскричал купец.— Этот злодей!.. душегубец!..

— Да, хозяин, где он пройдет с своими сорванцами, там хоть шаром покати! — все чисто: ни кола ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головою — лихой наездник!

— Так ты его знаешь? — спросил купец.

— Как не знать! Дай-ка, хозяин, стаканчик... За твое здоровье!..

— Говорят, у этого Лисовского,— сказал купец, спрятав за пазуху свою фляжку,— такое демонское лицо, что он и на человека не походит.

— Да, он не красив собою,— продолжал Кирша.— Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись...

— А теперь? — спросил купец.

— Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен только для вашей братьи купцов.

— Кто ж этот человек?

— Кто этот человек?.. Кой прах! у меня опять в горле пересохло... Дай-ка, хозяин, свою фляжку... Спаси-

бо! — продолжал Кирша, осушив ее до дна.— Ну, что бишь я говорил?

— Ты говорил о каком-то человеке,— сказал купец,— который, по твоим словам, страшнее Лисовского.

— Да, да, вспомнил! Этот верзила был есаулом у разбойничьего атамана Хлопки...

— У которого,— сказал земский,— было в шайке тысяч двадцать разбойников и которого еще при царе Борисе...

— Разбил боярин Басманов,— прервал Кирша.— Ну да; самого Хлопку-то убили, а есаул его ускользнул. Да вы, чай, о нем слыхали? Он прозывается Чертов Ус.

— Как не слыхать,— сказал купец.— Оборони господи! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана.

— А пуще-то всего он не жалует губных старост да земских,— примолвил Кирша.— Кругом Калуги не осталось деревца, на котором бы не висело хотя по одному земскому ярыжке.

— Разбойник! — закричал земский.

— А разве ты его знавал? — спросил купец запорожца.

— Знакомства с ним не водил, а видать видал.

— Где же ты видел?

— Я видел его два раза,— отвечал Кирша.— Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань; а во второй...— прибавил он вполголоса, но так, что все его слышали,— а во второй раз — я видел его здесь.

— Как здесь?..— вскричал купец, помертвев от ужаса.

— Давно ли? — спросил земский, заикаясь.

— Сегодня,— отвечал равнодушно Кирша.

— Сегодня?..— повторил купец глухим, прерывающимся голосом.— С нами крестная сила! Да где ж он?..

— Сейчас сидел вон там — в переднем углу, под образами.

— Так это он! — вскричал купец, и все взоры обратились невольно на пустой угол. Несколько минут продолжалось мертвое молчание, потом все пришло в движение на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он успокоился. Купец и его работники едва дышали

от страха; земский дрожал; стрелец посматривал молча на свою саблю; но хозяин и хозяйка казались совершенно спокойными.

— Да чего мы так перепугались? — сказал стрелец, собравшись с духом.— Нас много, а он один.

— А бог весть, один ли! — возразил земский.— Он что-то часто в окно поглядывал.

— Да, да,— подхватил дрожащим голосом купец,— он точно кого-то дожидался. А за поясом у него... видели, какой ножище? аршина в два!

— Слушай, хозяин,— сказал торопливо земский,— беги скорей на улицу, вели ударить в набат!..

— Эк-ста, что выдумал! В набат! — отвечал хозяин.— Да разве здесь село? У нас и церкви нет.

— Все равно! сделай тревогу, сбери народ!.. Да скачи скорей к губному старосте; * он верстах в пяти отсюда и мигом прикатит с объезжими.

— Что ты, бог с тобою! — вскричала хозяйка.— Да разве нам белый свет опостылел! Станем мы ловить разбойника! Небойсь ваш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу деревню! Нет, кормилец, ступай себе, лови его на большой дороге; а у нас в дому не тронь.

— Дура! — сказал стрелец.— Да разве ты не боишься, что он вас ограбит?

— И, батюшка, около нас какая пожива! Проводим его завтра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо скажет.

— Да нам и не впервой,— прибавил хозяин.— У нас стаивали не раз,— вот эти, что за польским-то войском таскаются... как бишь их зовут?.. да! лагерная челядь. Почище наших разбойников, да и тут бог миловал!

— Ну, как хотите,— сказал купец,— ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей! Да бога ради проворнее.

— Так и я с тобою,— сказал стрелец.— Тебе будет поваднее со мною ехать; видишь, у меня есть чем оборониться.

— Возьмите уж и меня,— прибавил вполголоса земский,— я здесь ни за что один не останусь. Видите ли,—

* Почти то же, что нынешний капитан-исправник.

продолжал он, показывая на Киршу и Алексея,— мы все в тревоге, а они и с места не тронулись; а кто они? Бог весть!

— Правда, правда! — шепнул купец, поглядывая робко на Киршу.— Посмотрите-ка, у этого озорника, что вытянул всю мою флягу, нож, сабля... а рожа-то какая, рожа!.. Ух, батюшки! Унеси господь скорее!..

Двери отворились, и незнакомый вошел в избу. Купец с земским прижались к стене, хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами; а стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подостлал под голову свою шубу и расположился на скамье, у передних окон. Все проезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы.

— Теперь растолкуй мне, Кирша,— сказал вполголоса Алексей,— что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего?

— Как что? Посмотри, какой простор!.. На любой лавке ложись!

— Ну, а как он об этом узнает?

— Так мне же скажет спасибо.

— Есть за что; а если его схватят?..

— Ах ты голова, голова! То ли теперь время, чтоб хватать разбойников? Теперь-то им и житье: все их боятся, а ловить их некому. Погляди, какая честь будет этому проезжему: хозяин с него и за постой не возьмет.

Через несколько минут купец, в провожании земского и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора. Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака вбежала в избу.

— Теперь и тебе будет место,— сказал он, бросив ей большой ломоть хлеба.— Поужинай, Зарез, поужинай, голубчик! Ты, чай, больно проголодался.

Это напомнило Алексею, что барин его также еще не ужинал; но, видя, что Юрий спит крепким сном, он не решился будить его.

— Скажи-ка мне,— спросил запорожец, ложась на скамью подле Алексея,— верно, у твоего боярина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен.

— Да, брат, есть горе.

— Что, чай, сокрушила молодца красна девица?

— Вот то-то и беда! Изволишь видеть...

Тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказывать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал:

— Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак! У нас в куренях от этого не сохнут; живем, как братья, а сестер нам не надобно [4]. От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!

Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от времени до времени на полатях принимались реветь ребятишки; но заботливая мать попеременно то колотила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту приходило в прежний порядок и тишину.

IV

Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей, и, в то время как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения.

— Гей! отпирайте проворней!..— раздался под окном грубый голос.— Да ну же, поворачивайтесь! не то ворота вон!

Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с полатей, нетерпение вновь приехавших дошло до высочайшей степени: они стучали в ворота, бранили хозяина, а особливо один, который испорченным русским языком, примешивая ругательства на чистом польском, грозился сломить хозяину шею. На постоялом дворе все, кроме Юрия, проснулись от шума. Наконец ворота отворились, и толстый поляк, в провожании двух казаков, вошел в избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал сиповатым басом:

— Гей! хозяин! что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда!.. Эй вы! оглохли, что ль? Вон, говорят вам!

Молчаливый проезжий приподнял голову и, взглянув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на изголовье. Алексей и Кирша вскочили; последний, протирая глаза, глядел с приметным удивлением на пана, который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше, опоясанном богатым кушаком.

Если б нужно было живописцу изобразить воплощенную — не гордость, которая, к несчастию, бывает иногда

пороком людей великих, но глупую спесь — неотъемлемую принадлежность душ мелких и ничтожных,— то, списав самый верный портрет с этого проезжего, он достиг бы совершенно своей цели. Представьте себе четвероугольное туловище, которое едва могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах; величественно закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое, багровое лицо; огромные, оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, похожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые щеки, разрумяненные природою и частым употреблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в каждом движении и даже в самом голосе, который, переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый дишкант, изображал попеременно то надменную волю знаменитого вельможи, уверенного в безусловном повиновении, то неукротимый гнев грозного повелителя, коего приказания не исполняются с должной покорностью.

Меж тем как этот проезжий отдавал казакам какие-то приказания на польском языке, Кирша не переставал на него смотреть. На лице запорожца изображались попеременно совершенно противоположные чувства: сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить; потом презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они заблистали веселостью и почти в то же время, при встрече с гордым взглядом поляка, изъявляли глубочайшую покорность, которую, однако ж, трудно было согласить с насмешливой улыбкою, едва заметною, но не менее того выразительною.

— Ну, что ж вы стали? — сказал пан грозным басом, оборотясь снова к Алексею и Кирше.— Иль не слышали?.. Вон отсюда!

Повелительный голос поляка представлял такую странную противоположность с наружностию, которая возбуждала чувство, совершенно противное страху, что Алексей, не думая повиноваться, стоял как вкопанный, глядел во все глаза на пана и кусал губы, чтоб не лопнуть со смеху.

— Цо то есть! — завизжал дишкантом поляк.— Ах вы москали! Да знаете ли, кто я?

— Не гневайся, ясновельможный пан! — сказал с

низким поклоном Кирша.— Мы спросонья не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассветет, так мы и в дорогу.

— А это что за неуч растянулся на скамье? — продолжал пан, взглянув на молчаливого прохожего.— Гей ты, олух!

Незнакомый приподнялся, но, вместо того чтобы встать, сел на скамью и спросил хладнокровно у поляка: чего он требует?

— Пошел вон из избы!

— Мне и здесь хорошо.

— И ты еще смеешь рассуждать! Вон, говорят тебе!

— Слушай, поляк,— сказал незнакомый твердым голосом,— постоялый двор не для тебя одного выстроен; а если тебе тесно, так убирайся сам отсюда.

— Цо то есть? — заревел поляк.— Почекай, москаль, почекай *. Гей, хлопцы! вытолкайте вон этого грубияна.

— Вытолкать? меня?.. Попытайтесь! — отвечал незнакомый, приподымаясь медленно со скамьи.— Ну, что ж вы стали, молодцы? — продолжал он, обращаясь к казакам, которые, не смея тронуться с места, глядели с изумлением на колоссальные формы проезжего.— Что, ребята, видно — я не по вас?

— Рубите этого разбойника! — закричал поляк, пятясь к дверям.— Рубите в мою голову!

— Нет, господа честные, прошу у меня не буянить,— сказал хозяин.— А ты, добрый человек, никак, забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь, вторые петухи поют?

— И впрямь пора запрягать,— сказал торопливо проезжий и, не обращая никакого внимания на поляка и казаков, вышел вон из избы.

— Ага! догадался! — сказал поляк, садясь в передний угол.— Счастлив ты, что унес ноги, а не то бы я с тобою переведался. Нех их вшисци дьябли везмо! ** Какие здесь буяны! Видно, не были еще в переделе у пана Лисовского.

— Пана Лисовского? — повторил Кирша.— А ваша милость его знает?

— Как не знать! — отвечал поляк, погладив с важностью свои усы.— Мы с ним приятели: побратались на ратном поле, вместе били москалей...

---

* Подожди, москаль, подожди *(пол.)*.

** Ну их к дьяволу! *(пол.)*

— И, верно, под Троицким монастырем? — прервал запорожец.

Поляк поглядел пристально на Киршу и, поправя свою шапку, продолжал важным голосом:

— Да, да! под Троицким монастырем, из которого москали не смели днем и носу показывать.

— Прошу не погневаться,— возразил Кирша,— я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицею, и, помнится, русские колотили нас порядком; бывало, как случится: то днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру, на монастырском капустном огороде?.. Что это ваша милость изволит вертеться? Иль неловко сидеть?

— Ничего, ничего...— отвечал поляк, стараясь скрыть свое смущение.

— Как теперь, гляжу,— продолжал Кирша,— на этом огороде лихая была схватка, и пан Лисовский один за десятерых работал.

— Да, да,— прервал поляк,— он дрался как черт! Я смело это могу говорить потому, что не отставал от него ни на минуту.

— Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки, словно заяц, притаился между гряд, и как пан Лисовский отпотчевал этого труса нагайкою?

Оловянные глаза поляка завертелись во все стороны, а багровый нос засверкал, как уголь.

— Как нагайкой? — вскричал он.— Кого нагайкой?.. Это вздор!.. Этого никогда не было!

— Помилуй, как не было! — продолжал Кирша.— Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка служил в регименте Лисовского товарищем и, помнится, прозывался... да, точно так... паном Копычинским.

— Неправда, не верьте ему! — закричал поляк, обращаясь к казакам.— Это клевета!.. Копычинского не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою: он никого не боится!

— Да что ж за нелегкая угораздила его завалиться между гряд в то время, как другие дрались?

— Что? как что?.. Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд?

— Ага! так это ты, ясновельможный? Прошу покорно, чего злые люди не выдумают! Ведь точно говорят,

что Лисовский тебя поколотил и что если б на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил.

— Какой вздор, какой вздор! — перервал поляк, стараясь казаться равнодушным.— Да что с тобою говорить! Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать.

— Ахти, кормилец! — отвечал хозяин.— Да у меня ничего, кроме хлеба, не осталось.

— Как ничего?

— Видит бог, ничего!.. Была корчага каши, толокно и горшок щей, да всё проезжие поели.

— Быть не может, чтоб у тебя ничего не осталось. Гей, Нехорошко! — продолжал он, взглянув на одного из казаков.— Пошарь-ка в печи: не найдешь ли чего-нибудь.

Казак отодвинул заслонку и вытащил жареного гуся.

— Цо то есть? — закричал поляк.— Ах ты лайдак! Как же ты говорил, что у тебя нет съестного?

— Да это чужое, родимый,— сказала хозяйка.— Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на печи.

— А кто он? Поляк?

— Нет, кормилец, кажись, русский.

— Москаль?.. Так давай сюда!

Алексей хотел было вступиться за право собственности своего господина, но один из казаков дал ему такого толчка, что он едва устоял на ногах.

— Разбуди своего барина,— шепнул Кирша,— он лучше нашего управится с этим буяном.

Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи, спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку приказание Алексею, который в ту же минуту вышел из избы, подошел к столу.

— Доброго здоровья! — сказал он, поклонясь вежливо пану.

Поляк, не переставая есть, кивнул головою и показал молча на скамью; Юрий сел на другом конце стола и, помолчав несколько времени, спросил: по вкусу ли ему жареный гусь?

— Как проголодаешься, так все будет вкусно,— отвечал поляк.— А что, этот гусь твой?

— Мой, пан.

— Нечего сказать, вы, москали, догадливее нас: всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно; для нас, поляков, нет ничего заветного.

— Конечно, пан, конечно. Да что ж ты перестал? Кушай на здоровье!

— Не хочу: я сыт.

— Не совестись, покушай!

— Нет, ешь сам, если хочешь.

— Спасибо! Я не привык кормиться ничьими объедками да не люблю, чтоб и другие не доедали. Кушай, пан!

— Я уж тебе сказал, что не хочу.

— Не прогневайся: ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного, то есть: у них в обычае брать чужое, не спросясь хозяина... быть может; а мы, русские,— хлебосолы, любим потчевать: у всякого свой обычай. Кушай, пан!

— Да что ж ты пристал, в самом деле...

— И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся.

— Как всего?

— Да! всего,— повторил Юрий, вынимая пистолет.— Прошу покорно: принялся есть, так ешь!

— Цо то есть? — завизжал поляк.— Гей, хлопцы!

Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад, закричал казакам:

— Стойте, ребята! ни с места!

Эти слова были произнесены таким повелительным голосом, что казаки, которые хотели броситься на Юрия, остановились.

— Слушайте, товарищи! — продолжал Юрий.— Если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову. А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон, я угощаю одного тебя. Ну, что ж ты молчишь?.. Слушай, поляк! Я никогда не божился понапрасну; а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ль мне дожидаться? — прибавил он, направляя дуло пистолета прямо в лоб поляку.

— Иезус, Мария! — закричал поляк, стараясь спрятать под стол свою обритую голову.— Ступайте вон!.. ступайте вон!..

— Эй, ребята, убирайтесь! — сказал Кирша.— А не

то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб: он шутить не любит.

— Ступайте вон, злодеи! ступайте вон! — продолжал кричать поляк, закрывая руками глаза, чтоб не видеть конца пистолета, который в эту минуту казался ему длиннее крепостной пищали.

Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым проезжим, который, посмотрев с удивлением на это странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хозяина.

— Теперь, Кирша,— сказал Юрий,— между тем как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтоб эти молодцы не воротились. Ну, пан, прошу покорно! Да поторапливайся: мне некогда дожидаться.

Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий, не переменяя положения, продолжал его потчевать. Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился. Несколько раз принимался он просить помилования; но Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета, взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно читал свой смертный приговор.

— Позволь хоть отдохнуть...— пропищал он наконец, задыхаясь.

— И, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай!..

— Смелей, пан Копычинский, смелей! — сказал Кирша.— Ты видишь, немного осталось. Что робеть, то хуже... Ну, вот и дело с концом! — примолвил он, когда поляк проглотил последний кусок.

— И, кстати ли! — прервал Юрий.— Угощать так угощать! Там в печи должен быть пирог. Кирша, подай-ка его сюда.

— Взмилуйся! — завопил поляк отчаянным голосом.— Не могу, як пана бога кохам, не могу!

— Что, пан, будешь ли вперед непрошеный кушать за чужим столом? — сказал незнакомый проезжий.— Спасибо тебе,— продолжал он, обращаясь к Юрию,— спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него; брось этого негодяя! У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец! Авось ли бог приведет нам еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что присяга, вынужденная обманом и силою, ничтожна пред господом и что умереть за веру православную и

святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой,— примолвил он, бросив на стол несколько медных денег.

— Не надо, кормилец! — сказал хозяин с низким поклоном.— Мы и так довольны.

Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина; но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо постоялого двора.

Меж тем поляк успел выбраться из-за стола и пробирался к дверям. Юрий остановил его.

— Не уходи, пан,— сказал он,— я сейчас еду, и ты можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько хочешь. Прощай, Кирша!

— Нет, боярин, прошу не прогневаться,— сказал запорожец,— я по милости твоей гляжу на свет божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь.

— По мне, пожалуй! Но пеший конному не товарищ.

— Да у меня есть на что купить лошадь.

— А я продам,— сказал хозяин.— Знатный конь! Немного храмлет, а шагист, и хоть ему за десять, а такой строгий, что только держись! Ну, веришь ли богу! если б он не окривел, так я бы с ним ни за что в свете не расстался.

— Добро, добро! — прервал Кирша.— Лишь бы только он дотащил меня до первого базара.

— Мы поедем шагом,— сказал Юрий,— так ты успеешь нас догнать. Прощай, пан,— продолжал он, обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться, сидел смирнехонько на лавке.— Вперед знай, что не все москали сносят спокойно обиды и что есть много русских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном гусе. До зобаченья, ясновельможный пан!

V

Утренняя заря румянила снежную равнину; вдали, сквозь редеющий мрак, забелелись верхи холмов, и звезды, одна после другой, потухали на чистом небосклоне. Дорога, по которой ехал Юрий в сопровожде-

нии верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против них дремучий бор, как черная бесконечная полоса, обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты две, они очутились при въезде в темный бор; дорога шла опушкою леса; среди частого кустарника, подобно огромным седым привидениям, угрюмо возвышались вековые сосны и ветвистые ели; на их исполинских вершинах, покрытых инеем, играли первые лучи восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю дорогу, далеко ложились в чистом поле.

Алексей несколько раз начинал говорить с своим господином; но Юрий не отвечал ни слова. Погруженный в глубокую думу, он ехал медленно, опустя поводья своей лошади. Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его; тысячи различных мыслей и противуположных желаний волновали его грудь. «Русские — рабы иноплеменных!» Ах! эти слова, как похоронная песнь, как смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и отечеству. «Нет,— сказал он наконец, как будто б отвечая на слова незнакомца,— нет, господь не допустит нас быть рабами иноверцев! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера православная — его верою. Так! он будет отцом нашим; он соединит все помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь?»

— Кой черт! — вскричал Алексей, наехав на колоду, через которую лошадь его с трудом перескочила.— Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось сегодня?.. Всходит — не всходит.

— Мы едем в тени,— отвечал Юрий.— Вот там, кажется, поворот, и нам будет ехать светлее.

— И теплее, боярин: а здесь так ветром насквозь и прохватывает. Ну, Юрий Дмитрич,— продолжал Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разговаривать,— лихо же ты отделал этого похвальбишку поляка! Вот что называется — угостить по-русски! Чай, ему недели две есть не захочется. Однако ж, боярин, как мы выезжали из деревни, так в уши мне наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся деревушка не набита конными поляками.

— Ты слышал конский топот?

— Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего доброго!.. Кострома недалеко отсюда, а там стоят поляки: не диво им завернуть и в здешнюю сторону.

— Да, это быть может.

— Ну, если этот трус Копычинский им нажалуется и они пустятся за нами в погоню? А за проводником у них дело не станет: Кирша недаром остался на постоялом дворе.

— И, Алексей, побойся бога! Неужели ты думаешь, что тот, кто по милости нашей глядит на свет божий, не посовестится...

— Эх, боярин! захотел ты совести в этих чертях запорожцах; они навряд и бога-то знают, окаянные! Станет запорожский казак помнить добро! Да он, прости господи, отца родного продаст за чарку горелки. Ну вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба — зги божьей не видно! То-то приволье, боярин: есть где поохотиться!.. Чай, здесь медведей и всякого зверя тьма-тьмущая!

Наши путешественники въехали по узкой просеке в средину леса. С каждым шагом темный бор становился непроходимее, и несмотря на то, что сильный ветер колебал вершины деревьев, внизу царствовала совершенная тишина. От времени до времени, прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего солнца; но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы. Все было мертво вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от конского топота, перелетал с одной сосны на другую, осыпая пушистым инеем Юрия и Алексея, который при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался на все стороны. Не замечая охоты в своем господине продолжать разговор, он принялся насвистывать песню. Несколько минут ехали они молча, как вдруг Алексей, осадив свою лошадь, сказал робким голосом:

— Слышишь, боярин?

— Что такое? — спросил Юрий, как будто пробудясь от сна.

— Чу! слышишь? Кто-то скачет за нами!

— Да, и очень шибко... Это, верно, Кирша.

— Нет, Юрий Дмитрич! Я видел клячу, которую продавал ему хозяин постоялого двора: на ней далеко не ускачешь. Глядь-ка сюда, боярин, видишь —

чернеется вдали? Какой это Кирша! Словно птица летит.

Всадник, который действительно с необычайной быстротою приближался к нашим путешественникам, выскакал на небольшую поляну, и солнечный луч отразился на лице его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца, который, припав к седельной луке, вихрем мчался по дороге.

— Ну, не говорил ли я тебе, что это Кирша? — сказал он Алексею.

— Вижу, боярин, вижу! Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь... Эк его черти несут! Тише ты, тише, дьявол! Совсем было смял боярина.

— Не теряйте времени,— сказал торопливо Кирша, осадя с трудом свою лошадь,— за вами погоня.

— Ну, так... чуяло мое сердце! — вскричал Алексей.— В деревне поляки?..

— Да! три хоругви * и человек двести лагерной челяди.

— С нами крестная сила! Что ж мы мешкаем, боярин? По лошадям, да унеси господь!

— Чего ж ты боишься? — сказал Юрий.— Когда поляки узнают, кто я...

— Оно так, Юрий Дмитрич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих: у поляков расправа короткая.

— А особливо,— прибавил Кирша,— когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег.

— Да еще вдобавок,— прервал Алексей,— чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем.

— За труса Копычинского,— продолжал Кирша,— они бы не вступились, да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Я вместе с другими втерся на постоялый двор и все это слышал своими ушами. Пока региментарь ** отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминучей; вышел на двор, гляжь... у крыльца один шеренговый держит за повод этого коня; посмотрел —

* конные роты.
** полковой командир.

парень щедушный; я подошел поближе, изноровился да хвать его по лбу кулаком! Не пикнул, сердечный! А я прыг на коня, в задние ворота, проселком, выскакал на большую дорогу, да и был таков! Однако ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! да неужели они все пустились за вами в погоню?

В самом деле, казалось, весь лес оживился: глухой шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавшей плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили стаи птиц, которые с громким криком пронеслись над головами наших путешественников.

— Живей, боярин, живей! — закричал Кирша, понуждая свою лошадь.— Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ощетинился Зарез: недаром он бросается во все стороны. Назад, Зарез, назад! Ну, так и есть!.. берегись, боярин!

Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия повалилась мертвая на землю. Шагах в восьмидесяти перед толпою конных поляков летел удалый наездник.

— Стойте! — закричал он, прицеливаясь вторым пистолетом в Киршу.

Быстрее молнии соскочил запорожец на землю.

— Садись на моего коня, боярин,— сказал он,— а я переведаюсь с этим налетом!

Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и почти в ту же самую минуту испуганная лошадь без седока пронеслась мимо наших путешественников.

— Ну, теперь с богом! — сказал Кирша.

— А ты? — спросил Юрий.

— Пешему везде дорога.

— Но если тебя убьют?..

— Так что ж? долг платежом красен. С богом!

— Ради Христа, боярин,— закричал Алексей,— поспешим: вот они!

Толпа конных поляков с громким криком быстро приближалась к нашим путешественникам.

— Да что тут растабарывать! Не погневайся, боярин,— сказал Кирша, ударив нагайкою лошадь, на которой сидел Юрий. Лихой конь взвился на дыбы и, как из лука стрела, помчался вдоль дороги.

— Ловите пешего! подстрелите его! — заревели из толпы дикие голоса, и пули посыпались градом; но Кирша был уже далеко; он пустился бегом по узенькой тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глубину

леса. Пробежав шагов двести, Кирша остановился; он прилег наземь и стал прислушивать: чуть-чуть отзывался вдали конский топот, отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников; вскоре все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ног его. Уверясь наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился; потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг Зарез поднял уши, заворчал, опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину.

— Что ты, что ты, Зарезушка? — сказал Кирша, погладив его ласково рукою.— Что с тобою сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя? Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься?.. Неужели... да нет! Я и пеший насилу сквозь эту дичь продирался... Однако ж и мне кажется... уж не медведь ли?.. Нет, черт возьми!.. Молчать, Зарез!

Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник, и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по лесу. Кирше нетрудно было догадаться, что несколько спешенных всадников послано за ним в погоню и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тропинке, которая час от часу становилась незаметнее и наконец при выходе на большую поляну совсем исчезла. Кирша остановился в недоумении; он чувствовал всю опасность выйти на открытое место; но на другой стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок, пробираясь сквозь густых ветвей, обещал ему убежище, а может быть, и защиту. Меж тем шум приближался, рассуждать было некогда: он решился и вышел из лесу.

— Вот он! держите его! схватите живого! — загремели позади грубые голоса.

Кирша оглянулся: человек десять вооруженных поляков выбежали на поляну; нельзя было и помышлять об обороне; двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его; еще несколько шагов — и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, он споткнулся и упал.

— Ага, лайдак! попался! — закричал один из поляков, вырывая у него из рук винтовку.

— Скрути хорошенько этого поганого москаля! — заревел другой; но верный Зарез, как тигр, кинулся на

грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь. Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что происходило на поле; но слышал ясно крик и ругательства поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего Зареза. Сердце его обливалось кровью; несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Между тем, сколько мог он расслушать, поляки, собравшись в кружок, рассуждали меж собою: должны ли воротиться или продолжать его преследовать? К счастию Кирши, прошло несколько минут в спорах, и, когда они решились, по-видимому, продолжать свои поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился к тому месту, над которым носилось прозрачное дымное облако.

VI

Кирша, с трудом пробираясь сквозь чащу, дошел наконец до высокого плетня, обрытого глубокою канавою. Не теряя времени, он перелез чрез плетень, за которым дюжины две ульев, без всякого порядка расставленных, окружали небольшую избушку, до половины занесенную снегом. Дым, выходя из слухового окна, крутился над ее соломенною кровлею; а у самых дверей огромная цепная собака, пригретая солнышком, лежала подле своей конуры. Почуя незнакомого, она громко залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь выйдет из избы, но никто не появлялся; он, вынув из своей дорожной сумы кусок хлеба, бросил его собаке, и умилостивленный цербер, ворча, спрятался в свою конуру. «Бедный Зарез! — сказал Кирша, входя в избу.— Ты так же, бывало, сторожил мой дом, да не так легко было тебя задобрить!» С первого взгляда запорожец уверился, что в избе никого не было; но затопленная печь, покрытый ширинкою стол и початый каравай хлеба, подле которого стоял большой кувшин с брагою,— все доказывало, что хозяин отлучился на короткое время. От печи, вдоль избы, шла перегородка, за которою стояли пустые улья, кадки и несколько бочонков. Кирша не успел еще порядком осмотреться, как вдруг послышались в близком расстоянии голоса. Не зная, кто подходит,

друг или недруг, он спрятался за перегородку и прилег между двух ульев, за которыми нельзя было его никак приметить. Кто-то вошел в избу. Запорожец притаил дыхание и стал внимательно прислушивать.

— Входи смелей, Григорьевна,— сказал грубый голос.— Не бойся: кто приходит ко мне с хлебом да солью, тому порчи бояться нечего.

— Вестимо, батюшка Архип Кудимович,— отвечал женский голос, перерываемый частым кашлем,— вестимо! ты человек добрый; да дело-то мое непривычное.

— Садись добро, тетка. Да что это у тебя за пазухой?

— Так, кой-что, родимый! Просим покорно принять. Вот в этом кулечке пирог, а это штофик вишневки с боярского погреба.

— Спасибо, Григорьевна, спасибо!

— Кушай на здоровье, кормилец! Это шлет тебе Аграфена Власьевна.

— Нянюшка нашей молодой барышни?

— Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить с тобой словечка, так просила меня... О, ох, родимый! сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимофеевна. Бог весть, что с ней поделалось: плачет да горюет — совсем зачахла. Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка — рудомета, что ль?.. не знаю; да и тот толку не добьется. И нашептывал, и заморского зелья давал, и мало ли чего другого — все проку нет. Уж не с дурного ли глазу ей такая немочь приключилась? Как ты думаешь, Архип Кудимович?

— Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хворает?

— Власьевна сказывала, что о зимнем Николе, когда боярин ездил с ней в Москву, она была здоровехонька; приехала назад в отчину — стала призадумываться; а как батюшка просватал ее за какого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная.

— Вот что! А не в примету ли было, что в Москве кто ни есть пристально на ее барышню поглядывал?

— Как же, родимый! Она с Настасьей Тимофеевной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил.

— Вот что! А не знает ли она, кто этот детина?

— Нет, батюшка; однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем; а по платью и обычью, кажись, он не из простых.

Эти последние слова удвоили любопытство Кирши и принудили его остаться в чулане, из которого он хотел было уже выйти.

— Ну, как ты мекаешь, кормилец! — продолжала Григорьевна,— болезнь, что ль, у нее какая, или она сохнет...

— С глазу, Григорьевна, с глазу!

— И нянюшка то же тростит, чему и быть другому! Да ты, батюшка, сам на это дока, и если захочешь пособить...

— Нет, Григорьевна, плохо дело: кто испортил, тому ее и пользовать надо. Однако я все-таки поговорю сам с Власьевной.

— Поговори, родимый, поговори: ум хорошо, а два лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебе челом! Не оставь меня, горемычную! Ведь и у меня есть до тебя просьба.

— Что такое, Григорьевна?

— Вымолвить не смею.

— Говори, не бойсь!

— Я пришла к тебе уму-разуму поучиться, кормилец.

— Как так?

— Ты знаешь: дело мое вдовье, ни за мной, ни передо мною — вовсе голая сирота... подчас перекусить нечего.

— Знаю, знаю.

— Тебя умудрил господь, Архип Кудимович; ты всю подноготную знаешь: лошадь ли сбежит, корова ли зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли парень жениться, начнет ли молодица выкликать — всё к тебе да к тебе с поклоном. Да и сам боярин нет-нет, а скажет тебе ласковое слово; где б ни пировали, Кудимович тут как тут: как, дескать, не позвать такого знахаря — беду наживешь!..

— Конечно, так, Григорьевна. Да о чем же ты хлопочешь?

— А вот о чем, кормилец: научи ты меня, глупую, твоему досужеству, так и меня чаркою никто не обнесет, и меня не хуже твоего чествовать станут.

— Эк с чем подъехала, старая хреновка! Смотри пожалуй! уж не хочешь ли со мной потягаться!

— И, что ты, кормилец! Выше лба уши не растут. Что велишь, то и буду делать.

— Ой ли?

— Видит господь, Архип Кудимович! что б со мной ни было, а из твоей воли не выступлю.

— Ну, ну, быть так! рожа-то у тебя бредет: тебя и так все величают старою ведьмой... Да точно ли ты не выступишь из моей воли?

— В кабалу к тебе пойду, родимый!

— То-то же, смотри! Слушай, Григорьевна, уж так и быть, я бы подался, дело твое сиротское... да у бабы волос длинен, а ум короток. Ну если ты сболтнешь?..

— Кто! я, батюшка?.. Да иссуши меня господь тоньше аржаной соломинки!.. чтоб мне свету божьего не видать!.. издохнуть без исповеди!..

— Добро, добро, не божись!.. Дай подумать... Ну, слушай же, Григорьевна,— продолжал мужской голос после минутного молчания,— сегодня у нас на селе свадьба: дочь нашего волостного дьяка идет за приказчикова сына. Вот как они поедут к венцу, ты заберись в женихову избу на полати, прижмись к уголку, потупься и нашептывай про себя...

— А что же, кормилец, шептать мне велишь?

— Да что на ум взбредет; и о чем бы тебя ни стали спрашивать — смотри, ни словечка! Бормочи себе под нос да покачивайся из стороны в сторону.

— Слушаю, батюшка!

— Вот как поезд воротится из церкви, я взойду в избу, и лишь только переступлю через порог, ты в тот же миг — уж не пожалей себя для первого раза — швырком с полатей, так и грянься о пол!

— О пол? Ах, мой родимый! да я этак и косточек не сберу!

— Вот еще боярыня какая! а тебе бы, чай, хотелось, лежа на боку, сделаться колдуньей? Ну, если успеешь, подкинь соломки, да смотри, чтоб никому не в примету.

— Слушаю, батюшка, слушаю!

— Что б я ни говорил, кричи только «виновата!», а там уж не твое дело. Третьего дня пропали боярские красна; если тебя будут о них спрашивать, возьми ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня, и как я мотну

головою, то отвечай, что они на гумне Федьки Хомяка запрятаны в овине.

— Ах, батюшки светы! неужто в самом деле Федька Хомяк?..

— Ономнясь он грозился поколотить меня, так пусть теперь разведается с приказчиком.

— Постой-ка! да ты, никак, шел оттуда, как я с тобой повстречалась?

— Молчи, старая карга! Ни гугу об этом! Слышишь ли? видом не видала, слыхом не слыхала!

— Слышу, батюшка, слышу!

— Завтра приходи опять сюда: мне кой-что надо с тобой перемолвить, а теперь убирайся проворней. Да смотри: обойди сторонкою, чтоб никто не подметил, что ты была у меня — понимаешь?

— Разумею, кормилец, разумею.

— Ну, то-то же, ступай!

— Прощенья просим, батюшка Архип Кудимович!

— Постой-ка, никак, собака лает?.. так и есть! Кого это нелегкая сюда несет?.. Слушай, Григорьевна, если тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Спрячься скорей в этот чулан, закинь крючок и притаись как мертвая.

Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнув дверь, прижалась к улью, за которым лежал Кирша. Чрез минуту несколько человек, гремя саблями, с шумом вошли в избу.

— Гей, москаль! — закричал один голос.— Нет ли у тебя кого-нибудь здесь?

— Никого, батюшка.

— Ты врешь! У тебя спрятан мошенник, которого мы ищем.

— Видит бог, нет!

— Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу из тебя душу. Гей, Будила! и ты, Сума, осмотрите чердак, а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой перегородкой?

— Пустые ульи да кой-какая старая посуда.

— Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: там кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, в плети его, так он заговорит.

— Помилуйте, господа честные! Всю правду скажу: там сидит женщина.

— Женщина! Да на кой же черт ты ее туда запрятал?

— Не погневайся, кормилец; вы люди ратные: дальше от вас — дальше от греха.

— Давай ее сюда,— закричали грубые голоса.

— Да, кстати: вот, кажется, штоф наливки,— сказал тот, который допрашивал хозяина.— Мы его разопьем вместе с этой затворницей. Выходи, красавица, а не то двери вон!.. Эк она приперлась, проклятая!.. Ну-ка, товарищи, разом!

— Стойте, ребята,— сказал кто-то хриповатым голосом.— Штурмовать мое дело; только уговор лучше денег: кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!

От сильного натиска могучего плеча пробой вылетел и дверь растворилась настежь.

— Ай да молодец, Нагиба! — закричали поляки.— Ну, выводи скорее пленных!

— Полно ж упираться, лебедка, выходи! — сказал широкоплечий Нагиба, вытащив на средину избы Григорьевну.— Кой черт! Да это старая колдунья! — закричал он, выпустив ее из рук.

— Твоим бы ртом да мед пить, родимый! — отвечала Григорьевна с низким поклоном.

— Поздравляем, пан Нагиба!— закричали с громким хохотом поляки.— Подцепил красотку!

— Ах ты беззубая! Ну с твоей ли харей прятаться от молодцов? — сказал Нагиба, ударив кулаком Григорьевну.— Вон отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая борода, ступай с нами да выпроводи нас на большую дорогу.

— Постой, брат,— сказал другой голос,— все ли мы осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегородкой?

— Видит бог — нет, кормилец! — отвечал хозяин, посматривая с беспокойством на темный угол чулана, в котором стояли две кадки с медом.— Кроме пустых ульев и старой посуды, там ничего нет.

— И впрямь,— сказал Нагиба,— кой черт велит ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом он может от нас спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э! да слушай ты, хозяин, чай, у тебя денежки водятся?

— Как бог свят, ни одного пула * нет, родимый.

— Ну, ну, полно прижиматься! отдавай волею, а не то...

* Самая мелкая медная монета.

— Помилосердуй, кормилец! вот те Христос, вчера последние деньжонки отнес боярину моему, Тимофею Федоровичу Шалонскому.

— Слушай, москаль, подавай сейчас...

— Что ты, Нагиба, в уме ли! — сказал один из поляков.— Иль забыл, что наказывал пан региментарь? Если этот старик служит боярину Кручине-Шалонскому, так мы и волосом не должны от него поживиться.

— Пан региментарь! пан региментарь!.. Э, нех его вшисци дьябли!..

— Тс, тише! что орешь, дуралей! — перервал тот же поляк.— Иль ты думаешь, что от твоего лба пуля отскочит? Смотри, ясновельможный шутить не любит. Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай пéредом да выведи нас на большую дорогу.

Через несколько минут изба опустела, и Кирша мог вздохнуть свободно. Он вышел потихоньку из чулана; шелест шагов едва был слышен вдали; вскоре все утихло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на солнышке и, вертя приветливо хвостом, пропустила мимо себя Киршу, как старого знакомца. Запорожец не сомневался, что тропинка, идущая прямо от пчельника, выведет его в отчину боярина Шалонского, где, по словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему удалось спастись от преследования поляков. Он прошел версты четыре, не встретив никого; но лес редел приметным образом, и вдали целые облака дыма доказывали близость обширного селения. Наконец тропинка привела его к огородам. Пробираясь вдоль плетня, он подошел к небольшой часовне, против которой, сквозь растворенные ворота гумна, виднелся ряд низких, покрытых соломою хижин. Желая скорей добраться до жилья, он решился пройти задами. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится... Она сбылась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идет; первое движение запорожца было спрятаться в овин. Прежде чем Кирша мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не преследует, он очутился на дне овинной ямы и, может быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок, если б не упал на что-то мягкое. Несмотря на темноту, он тот же час узнал ощупью, что под ним лежат несколько кусков тонкой холстины. Тут вспомнил он чудный разговор, который слышал на пчельнике. «Добро ты, поддельный колдун! — подумал Кирша.— Посмотрим, шепнет ли тебе черт на

ухо, что боярские красна перешли из овина Федьки Хомяка в другое место?» Эта мысль его развеселила. Он вытащил из ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле часовни, пошел по проложенной между двух огородов узенькой тропинке.

Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась от окружающих ее изб одним крестом и низкою, похожею на голубятню колокольнею. Вся паперть и погост были усыпаны народом; священник в полном облачении стоял у церковных дверей; взоры его, так же, как и всех присутствующих, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Оружие и воинственный вид запорожца обратили на себя общее внимание, и, когда он подошел к церковному погосту, толпа с почтением расступилась, и все передние крестьяне, поглядывая с робостью на Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кроме одного плечистого детины, который, взглянув довольно равнодушно на запорожца, оборотился снова в ту сторону, откуда приближалось несколько саней и человек двадцать конных и пеших. Открытый и смелый вид крестьянина понравился Кирше; он подошел к нему и спросил:

— Для чего православные толпятся вокруг церкви?

— Да так-ста,— отвечал крестьянин.— Народ глуп: вишь, везут к венцу дочь волостного дьяка, так и все пришли позевать на молодых. Словно диво какое!

— Она выходит за сына вашего приказчика?

— А почему ты знаешь?

— Слухом земля полнится, товарищ.

— Да ты, верно, здешний?

— Нет, я сейчас пришел в вашу деревню и никого здесь не знаю.

— Ой ли?

— Право, так! А скажи-ка мне: вон там, налево, чьи хоромы?

— Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалонского.

— Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня?

— Бог весть! Мы к боярскому двору близко и не подходим.

— Что так? разве он человек лихой?

— Не роди мать на свет! Нам и от холопей-то его житья нет.

— Что ты, Федька Хомяк, горланишь! — перервал другой крестьянин с седой, осанистой бородою.— Не слушай его, добрый человек: наш боярин — дай бог ему долгие лета! — господин милостивый, и мы живем за ним припеваючи.

— Да, брат, запоешь, как последнюю овцу потащат на барский двор.

— Замолчишь ли ты, глупая башка! — продолжал седой старик.— Эй, брат, не сносить тебе головы! Не потачь, господин честной, не верь ему: он это так, сдуру говорит.

— Небойсь, дедушка,— сказал Кирша, улыбаясь,— я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть ли у него детки?

— Одна дочка, родимый, Анастасья Тимофеевна — ангел небесный!

— Да, неча сказать,— прибавил первый крестьянин,— вовсе не в батюшку: такая добрая, приветливая; а собой-то — красное солнышко! Ну, всем бы взяла, если б была подороднее, да здоровья-то бог не дает.

— Глядь-ка, Хомяк! — закричал старик.— Вон едет дьяк с невестою, да еще и в боярских санях. Шапки долой, ребята!

Поезд приближался к церкви. Впереди в светло-голубых кафтанах с белыми ширинками через плечо ехали верхами двое дружек; позади их в небольших санках вез икону малолетний брат невесты, которая вместе с отцом своим ехала в выкрашенных малиновою краскою санях, обитых внутри кармазинною объярью; под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов. Ряд саней со свахами и родственниками жениха и невесты оканчивался толпою пеших и всадников, посреди которых красовался жених на белом коне, которого сбруя обвешана была разноцветными кистями, а поводы заменялись медными цепями — роскошь, перенятая простолюдинами от знатных бояр, у которых эти цепи бывали не только из серебра, но даже нередко из чистого золота.

Кирша вслед за женихом кое-как продрался в церковь, которая до того была набита народом, что едва оставалось довольно места для совершения брачного обряда. Все шло чин чином, и крестьяне, несмотря на тесноту, наблюдали почтительное молчание; но в ту са-

мую минуту, как молодой, по тогдашнему обычаю, бросил наземь и начал топтать ногами стклянку с вином, из которой во время венчанья пил попеременно со своей невестою, народ зашумел, и глухой шепот раздался на церковной паперти. «Раздвиньтесь! посторонитесь, дайте пройти Архипу Кудимовичу!» — повторяли многие голоса. Толпа отхлынула от дверей, и на пороге показался высокого роста крестьянин с рыжей окладистой бородою. Наружность его не обещала ничего важного; но страх, с которым смотрели на него все окружающие, и имя, произносимое вполголоса почти всеми, тотчас надоумили Киршу, что он видит в сей почтенной особе хозяина пчельника, где жизнь его висела на волоске. Кудимыч остановился в дверях, беглым взглядом окинул внутренность церкви и, заметя в толпе Федьку Хомяка, улыбнулся с таким злобным удовольствием, что Кирша дал себе честное слово — спасти от напраслины невинного крестьянина и вывести на свежую воду подложного колдуна. Меж тем обряд венчанья кончился, и молодые отправились тем же порядком в дом приказчика. Кудимыч, по приглашению жениха, присоединился к поезду, а Кирша вмешался в толпу пеших гостей и отправился также пировать у молодых.

На половине дороги крестьянская девушка, с испуганным лицом, подбежала к саням приказчика и сказала ему что-то потихоньку; он побледнел как смерть, подозвал к себе Кудимыча, и вся процессия остановилась. Они довольно долго говорили меж собой шепотом; наконец Кудимыч сказал громким голосом:

— Пусти, я пойду передом; не бойся ничего: я знаю, что делать!

Весь порядок шествия нарушился: одни вылезли из саней, другие окружили колдуна, и все крестьяне, вместо того, чтоб разойтись по домам, пустились вслед за молодыми; а колдун важно выступил вперед и, ободряя приказчика, повел за собою всю толпу к дому новобрачных.

VII

Мы оставили Юрия и слугу его, Алексея, в виду целой толпы поляков, которые считали их верной добычею; но они скоро увидели, что ошиблись в расчете.

В несколько минут наши путешественники потеряли их из виду. Беспрестанные изгибы и повороты дороги, которая часто суживалась до того, что двум конным нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться от преследования густой толпы всадников, которые, стесняясь в узких местах, мешали друг другу и должны были поневоле останавливаться. Проскакав несколько верст, наши путешественники стали придерживать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина, их окружающая, и едва слышный, отдаляющийся конский топот уверили их, что поляки воротились и им нечего опасаться.

— Ну, боярин,— сказал Алексей,— помиловал нас господь!

— А бедный Кирша?

— И, Юрий Дмитрич! он детина проворный... Да и как поймать его в таком дремучем лесу?

— Но если он ранен?

— Бог милостив! Он, верно, уцелел!

— Я дорого бы дал, чтоб увериться в этом. Ну, Алексей, не совестно ли тебе? Ты подозревал Киршу в измене...

— Каюсь, боярин, грешил на него; да и теперь думаю...

— Что такое?

— Что он не запорожец.

— Везде есть добрые люди, Алексей.

— Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми.

— Конечно; я знаю многих, на которых хотел бы походить.

— И так же, как они, гнаться за проезжими, чтоб их ограбить?

— Шайка русских разбойников или толпа польской лагерной челяди ничего не доказывают. Нет, Алексей: я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков, славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие поколения древних владык всего севера сольются в один великий и непобедимый народ!

— Не погневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю. Но, воля твоя, что будет вперед, то бог весть; а теперь куда бы хорошо, если б эти не-

званые гости убрались восвояси. Покойный твой батюшка — дай бог ему царство небесное! — не так изволил думать. Ты после смерти боярыни нашей, а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу; а он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя, единородного своего сына, в ранней могиле, чем слугою короля польского или мужем неверной полячки!

— Мужем!..— повторил вполголоса Юрий, и глубокая печаль изобразилась на лице его.— Нет, добрый Алексей! Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла мне по сердцу: так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться.

— И, боярин, боярин! Не одна звезда на небе светит, не одна красная девица на святой Руси. Ты все еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую видал в Москве у Спаса на Бору?.. Вольно ж тебе было не проведать, кто она такова; откладывал да откладывал, а она вдруг сгинула да пропала. И то сказать, неужели от этого зачахнуть с тоски такому молодцу, как ты, боярин? Кликни только клич, что хочешь жениться, так не оберешься невест, а может быть... почему знать? суженого конем не объедешь... и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу...

— Обвенчанную с другим!.. Нет, лучше век ее не видать, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо, которым она поменялась не со мною!

— Что бог велит, то и будет. Но теперь, боярин, дело идет не о том: по какой дороге нам ехать? Вот их две: направо в лес, налево из лесу... Да кстати, вон едет мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя! По которой дороге выедем мы в отчину боярина Кручины-Шалонского?

При этом грозном имени крестьянин снял шапку, поклонился в пояс проезжим и молча показал налево. Чрез полчаса наши путешественники выехали из лесу, и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу небольшой речки, представился их взорам. Широкая поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостный палисад. Вокруг господского двора разбросаны были жилые избы дворовых людей, конюшня, псарня и огромный скотный двор. Все эти строения, с их пристройками, клетьми и загород-

ками, занимали столь большое пространство, что с первого взгляда их можно было почесть вторым селом, не менее первого. Переехав через мост, утвержденный на толстых сваях, путешественники поднялись в гору и въехали на обширный боярский двор. Лицевая сторона главного здания занимала в длину более пятнадцати саженей, но вышина дома нимало не соответствовала длине его. Небольшие четвероугольные окна с красными рамами и разноцветными ставнями разделялись широкими простенками. С левой стороны дом оканчивался крыльцом с огромным навесом, поддерживаемым деревянными столбами, которым дана была форма нынешних точеных баляс, употребляемых иногда для украшения наружности домов. С правой стороны дом примыкал к двухэтажному терему, которого окна были почти вдвое более окон остальной части дома. По обеим сторонам забора выстроены были длинные застольни, приспешная и погреба с высокой голубятнею, а посреди двора стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим читателям, что гордый боярин Кручина славился своей роскошью и что его давно уже упрекали в подражании иноземцам и в явном презрении к простым обычаям предков; а посему описание его дома не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр. Их дома не удивляли огромностью и великолепием: большая комната, называемая светлицею, отделялась от черной избы просторными и теплыми сенями, в которых живали горничные, получившие от сего название *сенных девушек.* Иногда узкая и крутая лестница вела из сеней в терем; кругом дома строились погреба, конюшни, клети и бани. Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр и дворян того времени, которые крепко держались старинной русской пословицы: не красна изба углами, а красна пирогами.

Проезжая двором, Юрий заметил большие приготовления: слуги бегали взад и вперед; в приспешной пылал яркий огонь; несколько поваров суетилось вокруг убитого быка; все доказывало, что боярин Кручина ожидает к себе гостей. Те из челядинцев, с которыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смотрели на него с удивлением: измятый и поношенный охабень, коим с ног до головы он был окутан, некрасивая одежда Алексея — одним словом, ничто не оправдывало дерзости незнакомого гостя, который, вопреки обычаю про-

столюдинов, не сошел с лошади у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина. Отдав своего коня Алексею, Юрий взошел по отлогой лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг стен на широких скамьях сидело человек двадцать холопей, одетых в цветные кафтаны; развешанные в порядке панцири, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственным украшением голых стен сего покоя. Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым голосом Юрия: кого ему надобно?

— Боярина Тимофея Федоровича,— отвечал Юрий.

— А от кого ты прислан?

Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал, и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены — покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа; никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной, по тогдашнему времени, живописи. Почти все представляли поляков, а один — короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венец Мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке: «Сигизмунд король польский и царь русский». Не помышляя о последствии первого необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились, и человек лет тридцати, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из *знакомцев* боярина *, он спросил: какую надобность имеет приезжий до хозяина?

— Я должен сам говорить с Тимофеем Федоровичем,— отвечал Юрий.

---

* Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные дворяне: они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу.

— Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.

— Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского.

— От пана Гонсевского? А, это другое дело! Милости просим! Я тотчас доложу боярину. Дозволь только спросить: при тебе, что ль, получили известие в Москве о славной победе короля польского?

— О какой победе?

— Так ты не знаешь? Смоленск взят.

— Возможно ли?

— Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом...

— И, верно, не был награжден как следует за такую услугу? — сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование.

— О нет! он теперь в большой милости у короля польского.

— Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника.

— Что ты! какой он изменник! Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя и все сгибли до единого. Туда им и дорога!.. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.

— Верные смоляне! — сказал Юрий, оставшись один.— Для чего я не мог погибнуть вместе с вами! Вы положили головы за вашу родину, а я... я клялся в верности тому, чей отец, как лютый враг, разоряет землю русскую!

Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика; несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая престранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался бы, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили

в застольную. Вслед за сим *потешным* зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскою позолоченною кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, необузданных страстей; редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия запылать бешенством,— все это вместе составляло наружность вовсе не привлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану придавали ему вид богатого польского пана; но в то же время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклонясь вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского.

— Давно ли ты из Москвы? — спросил боярин, развертывая письмо.

— Осьмой день, Тимофей Федорович.

— Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому...

— Я служу одному царю русскому, Владиславу,— перервал хладнокровно Юрий.

— В самом деле! Да кто же ты таков, верный слуга царя Владислава? — спросил насмешливо Кручина.

— Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.

— Димитрия Милославского!.. закоснелого ненавистника поляков?.. И ты сын его?.. Но все равно!.. Садись, Юрий Дмитрич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.

— Я из дружбы к нему взялся отвезти к тебе эту грамоту.

— Сын боярина Милославского величает польского королевича царем русским... зовет Гонсевского своим другом... диковинка! Так поэтому и твой отец за ум хватился?

— Его уж нет давно на свете.

— Вот что!.. Не осуди, Юрий Дмитрич: я прочту, о чем ко мне пан Гонсевский в своем листу пишет.

Юрий заметил, что боярин, читая письмо, становился час от часу пасмурнее: досада и нетерпение изображались на лице его.

— Нет,— сказал он, дочитав письмо,— с ними добром не разделаешься! По мне бы, с корнем вон! Я бы вспахал и засеял место, на котором стоит этот разбойничий городишко!.. Вот что в своем листу пишет ко мне Гонсевский,— продолжал он, обращаясь к Юрию,— до него дошел слух, что неугомонные нижегородцы набирают исподтишка войско, так он желает, чтоб я отправил тебя в Нижний поразведать, что там делается, и, если можно, преклонить главных зачинщиков к покорности, обещая им милость королевскую. Он, дескать, сын боярина московского, который славился своею ненавистью к полякам, так пример его может вразумить этих малоумных: когда-де сын Димитрия Милославского целовал крест королевичу польскому, так уж, видно, так и быть должно.

— Я с радостию готов исполнить поручение Гонсевского,— отвечал Юрий,— ибо уверен в душе моей, что избрание Владислава спасет от конечной гибели наше отечество.

— Да, да,— прервал боярин,— мирвольте этим бунтовщикам! уговаривайте их! Дождетесь того, что все низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их унять. Нет, господа москвичи! не словом ласковым усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевский прислал сюда пана Тишкевича с региментом; но этим их не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем бревна на бревне, камня на камне!

— Не весело, боярин, правой рукой отсекать себе левую; не радостно русскому восставать противу русского. Мало ли и так пролито крови христианской! Не одна тысяча православных легла под Москвою! И не противны ли господу богу молитвы тех, коих руки облиты кровию братьев?

Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия и с насмешливой улыбкою спросил его: на котором году желает он сделаться схимником? и ради чего вместо четок прицепил саблю к своему поясу?

— Что я умею владеть саблею, боярин,— сказал Юрий,— это знают враги России; а удостоюсь ли быть схимником, про то ведает один господь.

— Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского,— продолжал боярин,— что нижегородцы будут к тебе так же милосерды и побоятся умертвить тебя как предателя и слугу короля польского?

— И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского.

— Ого, молодчик!.. Да ты что-то крупно поговариваешь! — сказал Кручина, нахмурив свои густые брови.

— Да, боярин,— продолжал Юрий,— я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.

— Но Сигизмунд разве не отец его?

— Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские.

— Полегче, молодец, полегче! За всех не ручайся. Ты еще молоденек, не тебе учить стариков; мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу: я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истоме-Туренину. Он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу; а там... что бог даст! От сына до отца недалеко...

— Нет, боярин, пока русские не переродились...

— Добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела... итак, не взыщи... прощай покамест! Не с ума ли сошел Гонсевский! — продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия,— прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве! Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел! Добро, молодчик! ты поедешь в Нижний, и что б у тебя на уме ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудке, или...

Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: приехал ли из города его стремянный Омляш?

— Сейчас слез с лошади, государь,— отвечал служитель.

— Скажи, чтоб он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был бы готов к отъезду. Ступай!.. Да позови ко мне Власьевну.

Через несколько минут вошла в покой старушка лет шестидесяти, в шелковом шушуне и малиновой, обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина.

— Ну что, Власьевна,— спросил боярин,— порадуешь ли ты меня? Какова Настенька?

— Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ничего не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем — сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое дитятко, что ты, моя радость? Что с тобою делается?..» — «Больна, мамушка!» — вот и весь ответ; а что болит, бог весть!

Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского; она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла ли больная снадобья, которые оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву?

— Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! — отвечала старушка, покачав головою.— С этих-то снадобьев, никак, ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье Тимофеевне попритчилось недаром. Нет, отец мой, несprоста она хворать изволит.

— Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?

— Испорчена, батюшка, видит бог, испорчена!

— Я плохо этому верю; ну да если ничто не помогает, так делать нечего: поговори с Кудимычем.

— Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе у приказчика Фомы пирует с молодыми.

— Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы у меня чего хочет; но если ей сделается хуже, то, даром что он колдун, не отворожится... запорю батогами!.. Ну, ступай,— продолжал боярин, вставая.— Через час, а может быть, и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную.

Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов.

— Вот здесь,— сказал он,— отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется.

— Благодарю,— отвечал Юрий,— я не голоден, а желал бы отдохнуть.

— Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня прибыл сюда с своим региментом. Доброго сна, Юрий Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней.

Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовитых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами — вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если б этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду, и, как будто бы с робостию, оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце; все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастие отечества — все, что наполняло восторгом

его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение отечества во всей ужасной истине своей представились его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши, кровь волновалась в его жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства Русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом; что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к Грановитой палате; что на высоком царском тереме развевается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отвращает свои взоры... и вот перед ним древний храм Спаса на Бору; церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу?.. *Она!* Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый! поспешим... Священник готов; он ждет нас у налоя; пойдем!» С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку... и вот уже они стоят рядом... им подают брачные свечи... Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым хохотом окружает невесту; Юрий ищет своей сабли — ее нет; хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на хладный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто б пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса... кругом толпится народ... радость на всех лицах... тихое, очаровательное пение раздается в храмах господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце... *Она* опять возле него; на правой руке ее обручальный перстень... Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, скоро заблистает в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе...» Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слы-

шит вопли отчаяния... *Она* опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»

VIII

Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попеременно то терзают, то услаждают его душу, мы должны возвратиться к новобрачным, которых оставили посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая молодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дети выбегали из хижин; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребятишки, дрожа от страха и холода, забегали вперед и робко посматривали на колдуна, который, приближаясь к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. Не дойдя несколько шагов до ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборотясь назад, закричал диким голосом:

— Стойте, ребята! никто ни с места!

Глухой шепот пробежал по толпе; передние стали пятиться назад, задние полезли вперед, следуя народной пословице: «на людях и смерть красна», каждый прижимался к своему соседу, и, несмотря на ужасную тесноту, один Кирша вышел вперед.

Меж тем Кудимыч делал необычайные усилия, чтоб подойти к воротам; казалось, какая-то невидимая сила тянула его назад, и каждый раз, как он подымал ногу, чтоб перешагнуть через подворотню, его отбрасывало на несколько шагов; пот градом катился с его лица. Наконец после многих тщетных усилий он, задыхаясь, повалился на землю и прохрипел едва внятным голосом:

— Ох, неловко!.. Неладно, ребята!.. Чур меня, чур!.. Никто не моги трогаться с места!.. Ох, батюшки, недаровое! быть беде!..

От этих ужасных слов шарахнулась вся толпа; у многих волосы стали дыбом, а молодая почти без чувств

упала на руки к своему отцу, который трясся и дрожал, как в злой лихорадке.

— Что нам делать? — спросил дьяк, заикаясь от страха.

— Погоди! дай попытаюсь еще,— отвечал Кудимыч, приподнимаясь с трудом на ноги. Он пробормотал несколько невнятных слов, дунул на все четыре стороны и вдруг с разбега перепрыгнул через подворотню.

— Ну, теперь не бойтесь ничего! — закричал он.— Наша взяла! Все за мной!

Он несколько раз должен был повторить это приглашение, прежде чем молодые, родня и гости решились за ним следовать; наконец пример Кирши, который по первому призыву вошел на двор, подействовал над всеми. Кудимыч, подойдя к дверям избы, остановился, и когда сени наполнились людьми, то он, оборотясь назад, сказал:

— Я войду последний, а вы ступайте вперед и посмотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой.

Тут снова начались церемонии: приказчик предлагал дьяку идти вперед, дьяк уступал эту честь приказчику.

— Помилуй, батюшка,— сказал наконец последний,— я здесь хозяин в дому, а ты гость: так милости просим.

— Ни, ни, Фома Кондратьич! — отвечал дьяк.— Ты первый служебник боярский, и непригоже мне, как фальшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебе чести.

— Ну, если так, пожалуй, я войду,— сказал приказчик, в котором утешенное самолюбие победило на минуту весь страх. Он перекрестился, шагнул через порог и вдруг, отскоча с ужасом, закричал:

— Чур меня, чур! Там кто-то нашептывает... Иди кто хочет, я ни за что не пойду...

— Пустите меня,— сказал Кирша,— я не робкого десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.

— Ступай, молодец, ступай! — закричали многие из гостей.

— Пускай идет,— шепнул приказчик дьяку.— Над ним бы и тряслось! Это какой-то прохожий, так не велика беда!

Кирша вошел и расположился преспокойно в перед-

нем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся свадебная компания перебрались понемногу в избу, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на полатях, покачивалась из стороны в сторону и шептала какие-то варварские слова. Кирша заметил на полу, под самыми полатями, несколько снопов соломы, как будто без намерения брошенных, которые тотчас напомнили ему, чем должна кончиться вся комедия.

— Ну, теперь садитесь все по лавкам,— закричал из сеней Кудимыч,— да сидите смирно! никто не шевелись!

Едва приказ был исполнен, как он с одного скачка очутился посреди избы, и в то же время старуха с диким воплем стремглав слетела с полатей и растянулась на соломе.

Все присутствующие, выключая Кирши, вскрикнули от удивления и ужаса.

— Что, Григорьевна, будешь ли напредки со мною схватываться? — сказал торжественно Кудимыч.

— Виновата, виновата! — завизжала старуха.

— Ага, покорилась, старая ведьма!

— Виновата, отец мой! виновата!

— То-то, виновата! Знай сверчок свой шесток.

— Виновата, Архип Кудимович!

— Ну, так и быть! повинную голову и меч не сечет; я ж человек не злой и лиха не помню. Добро, вставай, Григорьевна! Мир так мир. Дай-ка ей чарку вина, посади ее за стол да угости хорошенько,— продолжал Кудимыч вполголоса, обращаясь к приказчику.— Не надо с ней ссориться: не ровен час, меня не случится... да, что грех таить! и я насилу с ней справился: сильна, проклятая!

— Милости просим, матушка Пелагея Григорьевна! — сказал приветливо хозяин.— Садись-ка вот здесь, возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста: за что такая немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали.

— Нет, батюшка! — отвечала с низким поклоном старуха.— Против тебя у меня никакого умысла не было; а правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Кудимовичем.

— Да, видно, не под силу пришел! — перервал, усмехаясь, колдун.— Вперед наука: не спросясь броду, не суйся в воду. Ну, да что об этом толковать! Кто старое помянет, тому глаз вон! Теперь речь не о том: пора за хозяйский хлеб и соль приниматься.

В одну минуту весь стол покрылся разными похлебками. Сначала все ели молча; но дружки так усердно потчевали гостей вином и брагою, что вскоре все языки пришли в движение и общий разговор становился час от часу шумнее. Один Кирша молчал; многим из гостей и самому хозяину казалось весьма чудным поведение незнакомца, который, не будучи приглашен на свадьбу, занял первое место, ел за двоих и не говорил ни с кем ни слова; но самое это равнодушие, воинственный вид, а более всего смелость, им оказанная, внушали к нему во всех присутствующих какое-то невольное уважение; все посматривали на него с любопытством, но никто не решался с ним заговорить.

В числе гостей была одна пожилая сенная девушка, которая, пошептав с хозяином, обратилась к Кудимычу и спросила его: не может ли он пособить ее горю?

— Неравно горе, матушка Татьяна Ивановна! — отвечал Кудимыч, которого несколько чарок вина развеселили порядком.— Если ты попросишь, чтоб я убавил тебе годков пяток, так воля твоя — не могу.

— Вот еще что вздумал! — сказала сенная девушка с досадою.— Разве я перестарок какой! Не о том речь, Кудимыч; на боярском дворе сделалась пропажа.

— Уж не коня ли свели?

— Нет, красна пропали. Вчера я сама их видела: они белились на боярском огороде, а сегодня сгинули да пропали. Ночью была погода, так и следу не осталось: не знаем, на кого подумать.

— Что, видно, без меня дело не обойдется?

— То-то и есть, Архип Кудимович: выкупи из беды, родимый! Ведь я за них в ответе.

— Пожалуй, я не прочь!.. Иль нет: пускай на мировой вся честь Григорьевне. Ну-ка, родная, покажи свою удаль!

— Смею ли я при тебе, Архип Кудимович! — отвечала смиренно Григорьевна.

— Полно ломаться-то, голубушка! Я уж поработал, теперь очередь за тобою.

— Ну, если ты велишь, родимый, так делать нечего. Подайте мне ковш воды.

При самом начале этого разговора глубокая тишина распространилась по всей избе: говоруны замолкли, дружки унялись потчевать, голодные перестали есть;

один Кирша, не обращая ни малейшего внимания на колдуна и колдунью, ел и пил по-прежнему. Григорьевне подали ковшик с водой. Пошептав над ним несколько минут, она начала пристально смотреть на поверхность воды.

— Ах, батюшки светы! — сказала она наконец, покачав головою.— Кто бы мог подумать!.. Мужик богатый, семейный, а пустился на такое дело!..

— Кого ж ты видишь? — спросил с нетерпением приказчик.— Говори!

— Нет, батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вот, смотри сам.

— Я ничего не вижу,— сказал приказчик, посмотрев на воду.

— А видишь ли ты, где боярские красна? — спросила сенная девушка.

— Вижу,— отвечала Григорьевна,— они в овине, на гумне у Федьки Хомяка.

— Так это он? — вскричал приказчик.— Тем лучше! Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу этого буяна; сущий разбойник, и перед моим писарем шапки не ломает!.. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на гумно к Хомяку!

Один из дружек вышел поспешно из избы.

— Ну, Григорьевна! я не ожидал от тебя такой пryти,— сказал Кудимыч,— хоть бы мне, так впору. Точно, точно! — прибавил он, посмотрев в ковш с водою,— красна украл Федька Хомяк, и они теперь у него запрятаны в овине.

— Вы лжете оба! — закричал громовым голосом Кирша. Кудимыч вздрогнул, Григорьевна побледнела, и все взоры обратились на запорожца.— Я вас выучу колдовать, негодные! — продолжал Кирша.— Вы говорите, что красна в овине у Федьки Хомяка?

— Ну да,— сказал Кудимыч, оправясь от первого замешательства.— Что ты, лучше моего, что ль, это знаешь?

— Видно, лучше. Их там нет.

— Как нет? — вскричала Григорьевна.

— Да, голубушка! — отвечал спокойно Кирша.— Не за свое ремесло ты принялася, да и за выучку больно дешево платишь. Нет, тетка, одним штофом наливки и пирогом не отделаешься.

От этих неожиданных слов Кудимыч и Григорьевна едва усидели на лавке; их страх удвоился, когда вошед-

ший дружка объявил, что не нашел красен в показанном месте.

— Да где ж они? — спросила торопливо сенная девушка.

— Небойсь найдутся,— сказал Кирша.— Пошлите кого-нибудь разрыть снег на задах, подле самой часовни.

Несколько гостей, не ожидая приказания, побежали вон из избы.

— Послушай, господин приказчик,— продолжал Кирша,— не греши на Федьку Хомяка: он ни в чем не виноват. Не правда ли, Кудимыч?.. Ну, что ты молчишь? Ты знаешь, что не он украл красна.

Несчастный колдун сидел неподвижно, как истукан, поглядывал с ужасом на Киршу и не мог выговорить ни слова.

— Эге, брат! так ты вздумал отмалчиваться! — закричал запорожец.— Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу! Подайте-ка мне решето да кочан капусты; у меня и сам вор заговорит!

Кудимыч затрясся, как осиновый лист.

— Помилуй! — прошептал он трепещущим голосом.— Твой верх — покоряюсь!

— Что, брат, жутко пришло!

— Не губи меня, окаянного!

— А ты разве не хотел погубить Федьку Хомяка? Нет, нет... давайте решето!

— Пусти душу на покаяние! — продолжал Кудимыч, повалясь в ноги запорожцу.— Не зарежь без ножа! Да кланяйся, дура! — шепнул он Григорьевне, которая также упала на колена перед Киршею.

— И слушать не хочу! — отвечал запорожец.— Нет вам милости, негодные! Ну, что ж стали? подавайте кочан капусты!

— Помилуй! — завопил Кудимыч.— Зарок тебе даю, родимый,— век не стану колдовать.

— Полно, не будешь ли?

— Видит бог, не буду!

— И других не станешь учить?

— Не стану, батюшка!

— Ну, так и быть! пусть на свадьбе никто не горюет. Бог тебя простит, только вперед не за свое дело не берись и знай, хоть меня здесь и не будет, а если я проведаю, что ты опять ворожишь, то у тебя тот же час язык отымется.

В продолжение этой странной сцены удивление при-

сутствующих дошло до высочайшей степени: они видели ужас Кудимыча, но никто не понимал настоящей его причины.

— Что это значит? — спросил наконец дьяк приказчика.

— Как что! разве не видишь, что дока на доку нашел.

— Вот что! Ну, Фома Кондратьич! мудрец этот прохожий. Смотри-ка, смотри! Вон и холст несут.

Сенная девушка с радостным криком схватила холст, который внесли в избу.

— Слава тебе господи! — сказала она, осмотрев все куски.— Целехонек!.. Побегу к Власьевне и обрадую ее; а то мы не знали, как и доложить об этом боярину.

— Чего ж вы дожидаетесь? — спросил Кирша Кудимыча и Григорьевну.— Я вас простил, так убирайтесь вон! Чтоб и духу вашего здесь не пахло!

Пристыженный колдун, не отвечая ни слова, вышел вон из избы; но Григорьевна, наклонясь к Кирше, сказала вполголоса:

— Не погневайся, отец мой! я вижу, Кудимыч плохой знахарь: вот если б твоя милость взял меня на выучку...

— Молчи, старая дура! — закричал Кирша.— Пошла вон! а не то у меня опять полетишь с полатей, да только солому-то я велю прибрать.

Григорьевна, не смея продолжать разговора с грозным незнакомцем, отвесила низкий поклон всей компании и побрела вслед за Кудимычем.

— А позволь спросить твою милость, имени и отчества не знаю,— сказал приказчик запорожцу,— откуда изволишь идти и куда?

— Издалека, добрый человек; а иду туда, куда бог приведет.

— По всему видно, что ты путем пошатался на белом свете.

— Да, и так пошатался, что пора бы на покой.

— А что, господин честной, верно, ты за морем набрался такой премудрости?

— Бывал и за морем; всего натерпелся и у басурманов был в полону.

— Ой ли! Где же это? Чай, далеко отсюда?

— Далеконько... за Хвалынским морем.

— Что это, за Казанью, что ль?

— Нет, подалее: за Астраханью.

— Что, ваша милость, какова там земля? Неужли-то господь бог также благодать свою посылает и на этот поганый народ, как и на нас, православных?

— Видно, что так. Знатная земля! Всего довольно: и серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого съестного. Зимой только бог их обидел.

— Как так? Да неужели у них вовсе зимы нет?

— Ни снегу нейдет, ни вода не мерзнет.

— Ах, батюшки светы! — вскричал приказчик, всплеснув руками.— Экая диковинка! Вовсе нет зимы! Подлинно божье наказанье! Да поделом им, басурманам!

— Эх, Фома Кондратьич! — шепнул дьяк приказчику.— Да разве не видишь, что он издевается над нами!

— Порасскажи-ка нам, добрый человек,— сказал один из гостей,— что там еще диковинного есть?

— Пожалуй, да вот если б здесь нашлась чарка-другая романеи, так веселей бы рассказывать.

— Для дорогого гостя как не найти,— сказал приказчик.— Эй, Марфа! вынь-ка там из поставца, с верхней полки, стклянку с романеею. Да смотри,— прибавил он потихоньку,— подай ту, что стоит направо: она уж почата.

Романею подали; гости придвинулись поближе к запорожцу, который, выпив за здоровье молодых, принялся рассказывать всякую всячину: о басурманской вере персиян, об Араратской горе, о степях непроходимых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и верблюдах; мешал правду с небылицами и до того занял хозяина и гостей своими рассказами, что никто не заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работницею Марфою, подошел к Кирше и, поклонясь ему ласково, объявил, что его требуют на боярский двор.

IX

Мы попросим теперь читателей последовать за нами во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи Тимофеевны. Занимаемая ею половина состояла из двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен первой, на широких лавках, сидели за пряжею дворовые девушки; глубокая тишина, наблюдаемая в этом покое, прерывалась только изредка тихим шепотом двух соседок или стуком веретена, падающего на пол. Вторая комната была вся обита красным сукном; в правом углу

стоял раззолоченный кивот с иконами, в богатых серебряных окладах; несколько огромных, обитых жестью сундуков, с приданым и нарядами боярышни, занимали всю левую сторону покоя; в одном простенке висело четырехугольное зеркало в узорчатых рамках и шитое золотом и шелками полотенце. Прямо против дверей стояла высокая кровать с штофным пологом; кругом ее, на небольших скамейках, сидели Власьевна и несколько ближних сенных девушек; одни перенизывали дорогие монисты * из крупных бурмитских зерен, другие разноцветными шелками и золотом вышивали в пяльцах. На их румяных лицах цвела молодость, красота и здоровье; но веселость не оживляла ясных очей их. Утирая украдкою слезы, они посматривали печально на молодую госпожу свою, которая, облокотясь правой рукой на изголовье, была погружена в глубокую задумчивость. Краса садов, пышная роза, и, увядая, прекраснее свежих полевых цветов: так точно, несмотря на изнурительную болезнь, дочь боярская казалась прекраснее всех ее окружающих девиц. Изредка грустная улыбка, напоминающая прелестное сравнение одного русского стихотворца:

Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам...—

появлялась на розовых устах ее. Восточный жемчуг, которым украшены были ее блестящие зарукавья и белое как снег покрывало, не превосходили белизною ее бледного лица, на котором ясно изображались следы беспрерывных душевных страданий. Казалось, в ее потухших, неподвижных взорах можно было сосчитать все ночи, проведенные без сна в терзаниях мучительной тоски, понятной только для тех, которые, подобно ей, страдали, не разделяя ни с кем своей горести. Богатый парчовый опашень **, небрежно накинутый сверх легкой объяринной ферязи ***, широкая золотая лента с жемчужной подвязью, большие изумрудные серьги, драгоценные зарукавья, одним словом, весь пышный наряд ее представлял разительную противоположность с видом глубокого уныния, которое изображалось во всех чертах лица ее.

---

* ожерелья.

** Женское верхнее платье с длинными, висячими до земли рукавами и большим капюшоном.

*** Женская ферязь, платье почти одинакового покроя с нынешними сарафанами.

— Ну, что ж ты молчишь, Терентьич? — сказала Власьевна, оборотясь к дверям, подле которых стоял слепой старик в поношенном синем кафтане.— Видишь, боярышня призадумалась; начни другую сказку, да, смотри, повеселее.

— Слушаю, матушка Аграфена Власьевна,— отвечал слепой с низким поклоном.— Да, кажись, и та, что я рассказывал...

— И, полно, батюшка, что в ней хорошего! «Царевна полюбила доброго молодца, злые люди их разлучили... а там Змей Горыныч унес ее за тридевять земель в тридесятое государство, и она, бедная сиротинка, без милого дружка и без кровных, зачахла с тоски-кручины...» Ну, что тут веселого?

— Из сказки слова не выкинешь, матушка Аграфена Власьевна.

— Вот то-то и есть: расскажи другую.

— В угоду ли вам будет повесть о славном князе Владимире, Киевском Солнышке, Святославиче, и о сильном его, могучем богатыре Добрыне Никитиче?

— Ну, ну, рассказывай! Мы послушаем.

Слепой рассказчик разгладил свою бороду, выправил усы и начал:

— «Не вихри, не ветры в полях подымаются, не буйные крутят пыль черную: выезжает то сильный, могучий богатырь Добрыня Никитич на своем коне богатырском, с одним Торопом-слугой; на нем доспехи ратные как солнышко горят; на серебряной цепи висит меч-кладенец в полтораста пуд; во правой руке копье булатное, на коне сбруя красна золота. Он подъезжает ко святому граду Киеву... глядит: в заповедных лугах княженетских раскинуты шатры басурманские, несметно войско облегает стены киевские. Завидя силу поганую, могучий Добрыня вскрикивает богатырским голосом, засвистывает молодецким посвистом. От того ли посвисту сыр-бор преклоняется и лист с деревьев осыпается; он бьет коня по крутым ребрам; богатырский конь разъяряется, мечет из-под копыт по сенной копне; бежит в поля, земля дрожит, изо рта пламя пышет, из ноздрей дым столбом. Богатырь гонит силу поганую: где конем вернет — там улица, где копьем махнет — с переулками, где мечом рубнет — нету тысячи...»

— Довольно; будет, Терентьич,— прервала тихим голосом прекрасная Анастасья.— Ты уж устал. Мамушка, вели дать ему чарку водки.

— Да выслушай, родная,— сказала Власьевна.— Может статься, он и поразвеселит тебя.

— Нет, мамушка, меня ничто не развеселит.

— Ну, власть твоя, сударыня! Ступай, Терентьич. Эй вы, красные девицы! сведите его вниз; ведь он, пожалуй, сослепу-то расшибется. Ну, матушка Анастасья Тимофеевна,— продолжала она,— уж я, право, и не придумаю, что с тобою делать! Не позвать ли Афоньку-дурака?

— Ах, нет! не надобно.

— Сем кликнем, родная! да позовем дуру Матрешку; они поболтают, побранятся меж собой; а чтоб распотешить тебя, так, пожалуй, и подерутся, матушка.

— Зачем ты меня сегодня нарядила, мамушка? — сказала со вздохом Анастасья.— Мне и без нарядов так тяжело... так тошно!..

— И, светик мой! да как же тебе сегодня не быть нарядною? Авось бог поможет нам вниз сойти. Ведь у батюшки твоего сегодня пир горой: какой-то большой польский пан будет.

— Какой пан?.. откуда? — вскричала Анастасья.

— Чего ж ты испугалась, родимая? Ну, так и есть! Ты, верно, подумала?.. Вот то-то и беда! пан, да не тот.

— Слава богу!

— Ох вы, девушки, девушки! Все-то вы на одну стать! Не он, так слава богу! А если б он, так и нарядов бы у нас недостало! Нет, матушка, сегодня будет какой-то пан Тишкевич; а от жениха твоего, пана Гонсевского, прислан из Москвы гонец. Уж не сюда ли он сбирается, чтоб обвенчаться с тобою? Нечего сказать: пора бы честным пирком да за свадебку... Что ты, что ты, родная? Христос с тобой! Что с тобой сделалось? На тебе вовсе лица нет!

— Ничего, мамушка, пройдет!.. Все пройдет!..— прошептала Анастасья едва слышным голосом.— Только, бога ради! не говори мне о пане Гонсевском!..

— Не говорить о твоем суженом? Ох, дитятко, нехорошо! Я уж давно замечаю, что ты этого не жалуешь... Неужли-то в самом деле?.. Да нет! где слыхано идти против отцовой воли; да и девичье ли дело браковать женихов! Нет, родимая, у нас благодаря бога не так, как за морем: невесты сами женихов не выбирают: за кого благословят родители, за того и ступай. Поживешь, боярышня, замужем, так самой слюбится.

— Нет, мамушка! Не жилица я на этом свете.

— И, полно, матушка! теперь-то и пожить! Жених твой знатного рода, в славе и чести; не нашей веры — так что ж? прежний патриарх Гермоген не хотел вас благословить; но зато теперешний, святейший Игнатий, и грамоту написал к твоему батюшке, что он разрешает тебе идти с ним под венец. Так о чем же тебе грустить?

— А разве ты знаешь, что он пришел мне по сердцу?.. что я люблю его?

— И, что ты, родимая! Как не любить! Мало ли он дарил тебя и жемчугом, и золотом, и дорогими парчами, и меня старуху вспомнил. Легко ль, подумаешь! отсыпал мне, голубчик, пятьдесят золотых корабленников [5] да на три телогреи заморского штофа подарил. И этакой суженый тебе не люб! Эх, матушка Анастасья Тимофеевна! не гневи господа бога! И что в нем охаить можно? Собою молодец: такой дородный, осанистый! Ну, право, сродясь лучше не видала; разве только... и то навряд — вот тот молодой барин, что к Спасу на Бору к обедне ходил — помнишь?.. такой еще богомольный; всегда, бывало, придет прежде нас и станет у левого клироса... Что, боярышня, повеселей стала! То-то же! слушайся нас, старух! Самой будет радостно, как на твоего муженька станут все засматриваться... Ну вот, опять нахмурилась! О, ох, родимая! Обошел тебя дурной человек!.. Да вот посмотрим, что-то бог даст сегодня!

— Анюта,— сказала Анастасья одной молодой и прекрасной девушке, которая ближе всех к ней сидела,— спой эту песню... ты знаешь... ту, что я так люблю.

Анюта, не переставая вышивать в пяльцах, запела тихим, но весьма приятным голосом:

Не сиди, мой друг, поздно вечером,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до полуночи!

Ах, прошли, прошли
Наши красны дни;
Наши радости
Буйный ветр унес!
Мне отец родной
И родная мать
Под венец идти
Не с тобой велят.
Не горят в небесах
По два солнышка —
Не любить двух разов

Добру молодцу!..
Я послушаюсь
Отца, матери:
Под венец пойду
Не с тобой, душа...
Обвенчаюся
Я с иной женой;
Я с иной женой —
С смертью раннею!..
Не ручей журчит,
Не река шумит:
Льются слезы
Красной девицы;
Во слезах она
Слово молвила:
«Ах ты, милый мой!
Ты сердечный друг!
Не жилица я
На белом свету!..
Нет у горлинки
Двух голубчиков —
Нет у девицы
Милых двух дружков!..»

Не сидит она поздно вечером,
А горит свеча воску ярого:
На столе стоит нов тесовый гроб —
Во гробу лежит красна девица!

— Перестань, Аннушка,— сказала Власьевна.— Ты и на здорового человека тоску нагонишь. Что это, прости господи! словно панихиду поешь!

Тут вошла одна пожилая женщина и шепнула ей что-то на ухо.

— Хорошо, хорошо! — отвечала Власьевна.— Скажи ему, чтоб он подождал. Анастасья Тимофеевна,— продолжала она,— знаешь ли что, матушка? у нас на селе теперь есть прохожий, про которого и невесть что рассказывают. Уж Кудимыч ли наш не мудрен, да и тот перед ним язычок прикусил. Позволь ему, сударыня, словечка два с тобою перемолвить... Да полно же, родная, головкою мотать! Прикажи ему войти.

— Зачем, мамушка? на что?

— А на то, моя радость, что если он подлинно человек досужий, то и твоей болезни поможет.

— Моей болезни... Нет, мамушка... мне поможет одна смерть!..

— И, полно, боярышня! Спозаранков умирать собираешься! Ну что, родная, не кликнуть ли его?

— Не надобно.

— Послушай, Анастасья Тимофеевна, ведь государь твой батюшка изволил приказать: так власть твоя, сударыня, ослушаться не смею!

— О! если батюшке угодно... так позови.

Двери отворились, и наш знакомец, Кирша, вошел в комнату. Поклонясь на все четыре стороны, он остановился у порога.

— Милости просим! — сказала Власьевна.— В добрый час! Милости просим!.. Вот наша больная...

— Вижу, бабушка,— отвечал Кирша, бросив быстрый взгляд на Анастасью.— Вижу... Гм, гм!

— Ну, что ты скажешь, отец мой?

— Что я скажу?.. Гм, гм!

— Ахти! что это, батюшка, ты мычать изволишь? Уж к добру ли?

— А вот посмотрим. Мне надобно с вашей боярышней словца два перемолвить, да так, чтоб никто не слыхал.

— Как? чтоб никто не слыхал?

— Да, да; ворожбе так надобно. Станьте-ка все поодаль.

— Нельзя ли хоть мне?..

— Нет, бабушка, никому.

— Ну, ну! быть по-твоему. Вставайте, девушки, отойдемте к дверям.

Кирша подошел к Анастасье и попросил ее показать ему правую руку. Нехотя и с приметным отвращением она исполнила его желание. Кирша, посмотрев пристально на ладонь, сказал вполголоса:

— Анастасья Тимофеевна, я должен объявить правду: тебя сглазили.

Больная взглянула с презрением на запорожца и отворотилась.

— Да, да, боярышня,— повторил важно Кирша.— Тебя, точно, сглазили голубые глаза одного русоволосого молодца. Болезнь твоя вот тут — в сердце.

Бледные щеки больной вспыхнули; она взглянула недоверчиво на Киршу, хотела что-то сказать, но слова замерли на устах ее.

— Ты нынешней зимой,— продолжал запорожец,— в первый раз встретилась с ним в Москве.

Анастасья вздрогнула, кинула робкий взгляд вокруг себя и устремила удивленные взоры на Киршу, который после минутного молчания прибавил весьма тихо:

— Ты видала его почти каждый день в соборной церкви... кажется... точно так: у Спаса на Бору.

Больная, отдернув торопливо свою руку, вскрикнула от ужаса.

— Что ты, Анастасья Тимофеевна? — спросила Власьевна, подбежав к кровати.— Что с тобою?

— Ничего,— отвечала Анастасья.— Отойди, мамушка, отойди!

— Если ты еще хоть раз подойдешь, старуха, то испортишь все дело,— сказал сердито Кирша.— Стой вон там да гляди издали! Пожалуй-ка мне опять свою ручку, боярышня,— продолжал он, когда Власьевна отошла прочь.— Вот так... гм, гм! Ну, Анастасья Тимофеевна, тебе жаловаться нечего; если он тебя сглазил, то и ты его испортила: ты крушишься о нем, а он тоскует по тебе.

— Смотрите-ка, смотрите! — шепнула Власьевна девушкам.— Что это с боярышней делается? Лицо как жар горит! Ни дать ни взять, как бывало прежде... Слава тебе господи!

— Постой-ка, боярышня,— продолжал после небольшой остановки запорожец.— Да у тебя еще другая кручина, как туман осенний, на сердце лежит... Я вижу, тебя хотят выдать замуж... за одного большого польского пана... Не горюй, Анастасья Тимофеевна! Этой свадьбы не бывать! Я скажу словца два твоему батюшке, так он не повезет тебя в Москву, а твой жених сюда не приедет: ему скоро будет не до этого.

— Ах, дай-то бог! — вскричала Анастасья, сложив набожно свои руки.

— Да, да, боярышня. Нынче времена шаткие: кто сегодня вверху, тот завтра внизу.

— Глядите-ка,— сказала Анюта,— Анастасья Тимофеевна плачет, а лицо такое веселое. Что за диво!

— Нишни, Анюта, не мешай! — шепнула Власьевна, стараясь вслушаться в разговор, который, по-видимому, становился час от часу занимательнее.

— Однако ж, боярышня,— продолжал запорожец,— ты до тех пор совсем не оправишься, пока не увидишь опять того, кто тебя сглазил, и не обойдешь вместе с ним вокруг церковного налоя.

— С ним!..— повторила Анастасья трепещущим голосом.

— Да, да, с ним! И я вижу,— прибавил Кирша,— что это рано или поздно, а будет.

Больная не могла выговорить ни слова: внезапная радость оковала уста ее; в немом восторге она устремила к небесам свои взоры. Но вдруг на лице ее изобразилось глубокое уныние, глаза померкли, и прежняя безжизненная бледность покрыла снова ее увядшие ланиты.

— Нет,— сказала она, отталкивая руку запорожца,— нет!.. покойная мать моя завещала мне возлагать всю надежду на господа, а ты — колдун; языком твоим говорит враг божий, враг истины. Отойди, оставь меня, соблазнитель,— я не верю тебе! А если б и верила, то что мне в этой радости, за которую не могу и не должна благодарить спасителя и матерь его, пресвятую богородицу!

— О! если так, боярышня,— сказал Кирша,— так знай же — я не колдун и ты без греха можешь верить словам моим.

— Ты не колдун?.. Но кто же ты?

— Для других пока останусь колдуном: без этого я не мог бы говорить с тобою; но вот тебе господь бог порукою, и пусть меня, как труса, выгонят из Незамановского куреня или, как убийцу своего брата, казака,— живого зароют в землю [6], если я не такой же православный, как и ты.

— Но каким чудом ты мог отгадать то, что знала я одна и ведал один господь?

— Долго рассказывать, боярышня; да поверь уж моей совести: право, я не колдун! А все-таки знаю, что Юрий Дмитрич Милославский тебя любит, что, может статься, вы скоро увидите друг друга... Молись богу и надейся! А что ты не будешь за паном Гонсевским, за это тебе ручается Кирша, запорожец, который знает наверное, что его милости и всем этим иноверцам скоро придет так жутко в Москве, как злому кошевому атаману на раде *, когда начнут его уличать в неправде. Где ему о свадьбе думать! О своей голове призадумается!.. Ну, что, боярышня, полегче ли тебе?

— Ах... да! — отвечала Анастасья, приложив к сердцу свою руку.

— Теперь вы можете все подойти,— сказал Кирша, оборотясь к дверям.

— Ну, что, дитятко мое?..— спросила торопливо Власьевна, подбежав к больной.

---

* Так назывались общие собрания запорожских казаков.

— Ах, мамушка, мамушка! — отвечала, всхлипывая, Анастасья.— Боже мой!.. Мне так легко... так весело!.. Поздравь меня, родная!..— продолжала она, кинувшись к ней на шею.— Анюта... вы все... подите ко мне... дайте расцеловать себя!.. Боже мой!.. Боже мой! Не сон ли это?.. Нет, нет... Я чувствую... мое сердце... Ах, я дышу свободно!

Слезы градом катились из прелестных очей ее, устремленных на святые иконы.

— Подите, подите,— сказала она наконец тихим голосом.— Я хочу остаться одна... мне надобно... я должна... Ступайте, милые, оставьте меня одну!

Все вышли в другую комнату.

— Ну, батюшка, тебе честь и слава! — сказала Власьевна запорожцу.— На роду моем такого дива не видывала! С одного разу как рукой снял!.. Теперь смело проси у боярина чего хочешь.

— Я за многим не гонюсь,— отвечал Кирша,— и если боярин пожалует мне доброго коня...

— За трех не постоит! Да не нужно ли будет тебе еще поговорить с Анастасьей Тимофеевной?

— Нет, не надобно. С боярином мне нужно словцо перемолвить, а для нее... постой-ка на часок... На вот тебе...

— Что это, батюшка?.. Сухарь!

— Да, да, сухарь. Смотри: семь дней сряду давай своей боярышне пить с этого сухаря, что ей самой вздумается: воды, квасу, меду ли, все равно.

— Слушаю, батюшка.

— Кружку наливай вровень с краями и подноси левой рукой.

— Слушаю, батюшка.

— Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды; а об наливке забудь и думать!

— Как, отец мой! и перед обедом?

— И перед обедом, и после обеда. Слышишь ли? ни капельки!

— Слышу, батюшка, слышу! Ведь я еще не оглохла! Шесть дней не пить ничего, кроме воды!

— Не шесть, а ровно семь, бабушка.

— Да бишь, да! Целую неделю... Делать нечего! Недаром говорят,— прибавила Власьевна сквозь зубы,— что все эти колдуны с причудами. Семь дней!.. легко вымолвить!

Тут двое слуг, войдя поспешно, растворили дверь настежь, и боярин Кручина вошел в комнату. Все присутствующие вытянулись в нитку и отвесили молча по низкому поклону; одна Власьевна, забыв должное к нему уважение, закричала громким голосом:

— Милости просим, государь Тимофей Федорович! милости просим!.. Что пожалуешь за радостную весточку?

— Что ты, старуха, в уме ли? — сказал боярин.

— Без ума, родимый, без ума! Ведь боярышня совсем выздоровела!

— Возможно ли?

— Да, батюшка! изволь сам на нее взглянуть.

Боярин вошел к своей дочери и, поговоря с нею несколько минут, возвратился назад. Радость, удивление и вместе какая-то недоверчивость изображались на лице его; он устремил проницательный взгляд на Киршу, который весьма равнодушно, хотя и почтительно, смотрел на боярина.

— Как тебя зовут? — спросил наконец Кручина.

— Киршею,— отвечал запорожец.

— Давно ли ты здесь?

— С сегодняшнего утра.

— Куда идешь?

— На мою родину, в Царицын.

— Когда ты проходил двором, то повстречался с слугою боярина Милославского и говорил с ним. Ты его знаешь?

— Вчера мы ночевали вместе на постоялом дворе.

— Он объявил, что ты запорожец.

— Да, я запорожский казак; но в Царицыне у меня отец и мать.

— Не желаешь ли остаться здесь и служить мне?

— Нет, Тимофей Федорович, я хочу пожить дома.

Высокий лоб боярина покрылся морщинами; он взглянул угрюмо на запорожца и, помолчав несколько времени, продолжал:

— Ты облегчил болезнь моей дочери: чем могу наградить тебя?

— Я сгубил моего коня, боярин; а пешком ходить не привык...

— Выбирай любого на моей конюшне. Я не спрашиваю тебя, как ты умудрился помочь Анастасье; колдун ли ты или обманщик — для меня все равно; но кто будет мне порукою, что болезнь ее не возвратится? Ты дол-

жен остаться здесь, пока я не уверюсь в совершенном ее выздоровлении.

— Нельзя, боярин: я спешу домой.

— Вздор! ты останешься.

— Нет, Тимофей Федорович, не останусь.

Боярин взглянул с удивлением на Киршу. Привыкнув к безусловному повиновению всех его окружающих, он не мог надивиться дерзости простого казака, который, находясь совершенно в его власти, осмеливался ему противоречить.

— Посмотрим,— сказал он с презрительною улыбкою,— посмотрим, удастся ли бродяге переупрямить боярина Шалонского!

— Власть твоя, Тимофей Федорович! — продолжал спокойно Кирша.— Ты волен насильно меня оставить; но смотри, чтоб после не пенять!

Глаза боярина Кручины засверкали, как у тигра.

— Молчи, холоп! — заревел он громким голосом.— Ты смеешь грозить мне!.. Знаешь ли ты, бродяга, что я могу всякого колдуна, как бешеную собаку, повесить на первой осине!

— А разве от этого тебе будет легче,— отвечал Кирша, устремив смелый взор на боярина,— когда единородная дочь твоя зачахнет и умрет прежде, чем ты назовешь знаменитого пана Гонсевского своим зятем?

Боярин побледнел как смерть; он пожирал глазами запорожца. Несколько минут продолжалось глубокое молчание, похожее на ту мертвую тишину, которая предшествует ужасному громовому удару. Наконец страх потерять единственную дочь, а вместе с ней и все надежды на блестящую будущность победил в нем желание наказать дерзкого незнакомца. «Тот, кто излечил в несколько минут таким чудесным образом дочь его, вероятно, мог столь же легко сделать противное». Эта мысль спасла Киршу. Лицо боярина, обезображенное судорожными движениями гнева, доведенного до высочайшей степени, начало мало-помалу принимать свой обыкновенный мрачный, но спокойный вид. Он бросил грозный взгляд на всех предстоящих, как будто желая напомнить им, что дерзость Кирши не должна служить для них примером; потом, взглянув довольно ласково на запорожца, сказал:

— Ну, голубчик, ты не робкого десятка. Добро, добро! если ты не хочешь остаться, так ступай с богом! Я не стану тебя держать.

— Так-то лучше, боярин! — сказал Кирша.— Неволею из меня ничего не сделаешь; а за твою ласку я скажу тебе то, чего силою ты век бы из меня не выпытал. Анастасью Тимофеевну испортили в Москве, и если она прежде шести месяцев и шести дней опять туда приедет, то с нею сделается еще хуже, и тогда прошу не погневаться, никто в целом свете ей не поможет.

— Шесть месяцев! — вскричал боярин.— Но в будущем месяце я должен непременно ехать с нею в Москву.

— Не езди, Тимофей Федорович!

— Не могу: я дал слово пану Гонсевскому.

— Возьми его назад.

— Нет, я не изменял никогда моему обещанию.

— Ну, воля твоя! Было бы сказано, а там делай что хочешь.

— Но не знаешь ли ты какого способа?..

— Никакого, боярин. Если ты прежде шести месяцев и шести дней привезешь боярышню в Москву, хоть, например, в понедельник, то на той же неделе в пятницу будешь ее отпевать.

— Ты лжешь, бездельник!

— А из чего мне лгать, боярин? Гневить тебя прибыли мало; и что мне до этого, поедешь ли ты в Москву или останешься здесь?.. Я и знать об этом не буду.

Боярин призадумался, а Кирша продолжал:

— Я кончил свое дело, Тимофей Федорович; теперь позволь мне идти.

— Андрюшка! — сказал Кручина одному из слуг.— Отведи его на село к приказчику; скажи, чтоб он угостил его порядком, оставил завтра отобедать, а потом дал бы ему любого коня из моей конюшни и три золотых корабленика. Да крепко-накрепко накажи ему,— прибавил боярин вполголоса,— чтоб он не спускал его со двора и не давал никому, а особливо приезжим, говорить с ним наедине. Этот колдун мне что-то очень подозрителен!

Кирша вышел вместе с слугою, и почти в то же время на боярский двор въехали верхами человек пять поляков в богатых одеждах; а за ними столько же польских гусар, вооружение которых, несмотря на свое великолепие, показалось бы в наше время довольно чудным маскарадным нарядом. Все гусары были в латах и шишаках; к латам сзади приделаны были огромные крылья;

по обеим сторонам шишака точно такие же, но гораздо менее, а за плечьми вместо плащей развевались леопардовые кожи. Каждый гусар был вооружен палашом и длинным дротиком, украшенным цветным флюгером.

— Вот и пан Тишкевич с своими товарищами! — сказал боярин Кручина, взглянув в окно.— Но кто это едет по левую его сторону?.. Мне помнится, этой красной рожи я никогда не видывал!

Сказав эти слова, Шалонский отправился навстречу к своим гостям, а Власьевна и сенная девушка вошли опять в комнату к своей боярышне.

X

Дворецкий и несколько слуг встретили гостей на крыльце; неуклюжий и толстый поляк, который ехал возле пана Тишкевича, не доезжая до крыльца, спрыгнул, или, лучше сказать, свалился с лошади и успел прежде всех помочь региментарю сойти с коня. Вероятно, каждый из читателей наших знает, хотя по слуху, известного Санхо-Пансу; но если в эту минуту услужливый поляк весьма походил на этого знаменитого конюшего, то пан Тишкевич нимало не напоминал собою Рыцаря Плачевного Образа. Он был среднего роста, плечист и сидел молодцом на коне. Быстрые движения, смелый взгляд, смуглое откровенное лицо — все доказывало, что пан Тишкевич провел бо́льшую часть своей жизни в кругу бесстрашных воинов, живал под открытым небом и так же беззаботно ходил на смертную драку, как на шумный и веселый пир своих товарищей. Трое других молодцеватых поляков отличались огромными усами и надменным видом, совершенно противоположным добродушию, которое изображалось на открытом и благородном лице их начальника. Боярин Кручина встретил гостей в столовой комнате. При виде портрета польского короля, с известной надписью, поляки взглянули с гордой улыбкой друг на друга; пан Тишкевич также улыбнулся, но когда взоры его встретились со взорами хозяина, то что-то весьма похожее на презрение изобразилось в глазах его: казалось, он с трудом победил это чувство и не очень торопился пожать протянутую к нему руку боярина Кручины. После первых приветствий Тишкевич представил хозяину сначала

своих сослуживцев, а потом толстого поляка, который исправлял при нем с таким усердием должность конюшего.

— Этот краснощекий весельчак,— сказал он,— пан Копычинский, который и без меня был бы твоим гостем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы с известием, что царик * убит.

— Как! — вскричал Кручина.— Тушинский вор?..

— Да! его убили в Калуге, куда он всякий раз прятался, как медведь в свою берлогу.

— Насилу-то калужане за ум взялись!

— Не калужане, боярин,— сказал с важным видом Копычинский,— спроси меня, я это дело знаю: его убил перекрещенный татарин Петр Урусов; а калужские граждане, отомщая за него, перерезали всех татар и провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна Дмитриевича, царем русским.

— Безумные! — вскричал боярин.— Да неужели для них честнее служить внуку сандомирского воеводы, чем державному королю польскому?.. Я уверен, что пан Гонсевский без труда усмирит этих крамольников; теперь Сапега и Лисовский не станут им помогать... Но милости просим, дорогие гости! Не угодно ли выпить и закусить чего-нибудь?

Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в которой большой круглый стол уставлен был блюдами с холодным кушаньем и различными водками. Когда гости закусили, разговор снова возобновился.

— Знаешь ли, боярин,— сказал пан Тишкевич, обтирая свои усы,— что сегодня поутру мы охотились в твоих дачах?

— Милости просим! — отвечал боярин.— Забавляйтесь, сколько душе вашей угодно.

— И чуть-чуть,— продолжал Тишкевич,— не заполевали красного зверя.

— Так вам не удалось?

— Вот то-то и досадно! А такие зверьки не часто попадаются.

— Так что ж, пан? Если хочешь, завтра мы поохотимся вместе, и я ручаюсь тебе...

— Не ручайся, боярин: теперь этот зверь далеко. Мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается с казною в Нижний Новгород.

---

* Так называли поляки второго самозванца.

— В Нижний?..— вскричал Кручина.

— Да, в Нижний,— повторил Тишкевич.— Вот пан Копычинский лучше это расскажет; он совсем было подтенетил его.

— Да,— сказал Копычинский, вытянув чарку водки.— Он у меня сквозь пальцев проскользнул. Я застал его с двумя провожатыми на постоялом дворе, верстах в десяти отсюда; с первого взгляда он показался мне подозрительным, вот я и принялся допрашивать его порядком; он забормотал, сбился в речах и занес такую околесную, что я тот же час его и за ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорил и то и се, да я не кто другой! прижал его к стене, приставил к роже пистолет, крикнул... трусишка испугался и покаялся мне во всем.

— Да как же ты их упустил? — спросил с нетерпением боярин.

— А вот как: я велел их запереть в холодную избу, поставил караул, а сам лег соснуть; казаки мои — нех их вшисцы дьябли везмо! *— также вздремнули; так, видно, они вылезли в окно, сели на своих коней, да и до лесу... Что ж ты, боярин, качаешь головой? — продолжал Копычинский, нимало не смущаясь.— Иль не веришь? Далибук **, так! Спроси хоть пана региментаря.

— На меня не ссылайся, пан,— сказал Тишкевич,— я столько же знаю об этом, как и боярин, так в свидетели не гожусь; а только, мне помнится, ты рассказывал, что запер их не в избу, а в сени.

— Ну, да не все ли это равно! — прервал Копычинский.— Дело в том, что они ушли, а откуда: из сеней или из избы, от этого нам не легче. Как ты прибыл с своим региментом, то они не могли быть еще далеко, и не моя вина, если твои молодцы их не изловили.

— У одного из них убили коня,— сказал Тишкевич,— но зато и у меня лучший налет в регименте лежит теперь с простреленным плечом.

— Вылезли в окно... и с оружием! — прошептал боярин.— А не в примету ли тебе, каковы они собою?

— Один из провожатых — малый дородный, плотный...

---

* ну их к дьяволу! *(пол.)*
** Ей-богу *(пол.)*.

— И также вылез в окно?..

— У страха очи велики, боярин! И в щелку пролезешь, как смерть на носу. Другой похож на казака; а самый-то главный — детина молодой, русоволосый, высокого роста, лицом бел... или, может статься, так мне показалось: он больно струсил и побледнел как смерть, когда я припугнул его пистолетом; одет очень чисто, в малиновом суконном кафтане...

— Одним словом,— перервал боярин,— точь-в-точь, как этот молодец, что стоит позади тебя.

Копычинский обернулся и, отпрыгнув назад, закричал с ужасом:

— Вот он!.. держите! схватите его!.. у него за пазухою пистолет!

— Неправда, пан,— сказал с улыбкою Юрий.— Теперь со мною нет пистолета: я чужим добром никого не угощаю.

— Что все это значит? — спросил пан Тишкевич.— Растолкуйте мне...

— Прежде всего прошу познакомиться,— сказал Кручина.— Это Юрий Дмитрич Милославский; он прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от пана Гонсевского.

Поляки отвечали довольно вежливо на поклон Милославского; а пан Тишкевич, оборотясь к Копычинскому, спросил сердитым голосом: как он смел сочинить ему такую сказку? Копычинский не отвечал ни слова; устремя свои бездушные глаза на Юрия, он стоял как вкопанный, и только одна лихорадочная дрожь доказывала, что несчастный хвастун не совсем еще претворился в истукана.

— Я вижу, от него толку не добьешься,— продолжал Тишкевич.— Потрудись, пан Милославский, рассказать нам, как он допытался от тебя, что ты везешь казну в Нижний Новгород, как запер тебя и служителей твоих в холодную избу и как вы все трое выскочили из окна, в которое, чай, и курица не пролезет?

Юрий рассказал им все подробности своей встречи с Копычинским; разумеется, угощение и жареный гусь не были забыты. Пан Тишкевич хохотал от доброго сердца; но другие поляки, казалось, не очень забавлялись рассказом Юрия; особливо один, который, закручивая свои бесконечные усы, поглядывал исподлобья вовсе не ласково на Милославского.

— Черт возьми! — вскричал он наконец.— Я не ве-

рю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собою так ругаться!

— И, пан ротмистр! — сказал Тишкевич.— Не все поляки походят друг на друга.

— Если б я был на месте этого мерзавца,— продолжал сердитый ротмистр, бросив презрительный взгляд на Копычинского, который пробирался потихоньку к дверям комнаты,— то клянусь моими усами...

— Скорей дал бы себе раздробить череп,— перервал региментарь,— чем съел бы гуся! Я в этом уверен так же, как и в том, что всякий правдивый поляк порадуется, когда удалый москаль проучит хвастунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. Давай руку, пан Милославский! Будем друзьями! Ты не враг поляков; но если б был и врагом нашим, я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим; с ними и драться-то веселее! А ты, храбрый пан Копычинский... Ага, да он уж дал тягу!.. Тем лучше... Надеюсь, боярин, ты не заставишь нас сидеть за одним столом с этим негодяем; он, я думаю, сытехонек, а если, на беду, опять проголодался, то прикажи его накормить в застольне; да потешь, Тимофей Федорыч, вели его попотчевать жареным гусем!.. Кстати, пан,— прибавил он, обращаясь снова к Юрию,— мы, кажется, поменялись с тобою конями? Только на твоем недалеко уедешь: он и теперь еще лежит в лесу, на большой дороге... Нет, нет,— продолжал он, не давая отвечать Юрию,— дело кончено; я плохой барышник, вот и все тут! Владей на здоровье моим конем. Не ты виноват, что я поверил этому хвастуну Копычинскому, который должен благодарить бога за то, что не висит теперь между небом и землею; а не миновать бы ему этих качелей, если б мои молодцы подстрелили самого тебя, а не твою лошадь.

— Позволь спросить, пан региментарь,— сказал Юрий,— что сделалось с одним из моих провожатых, который остался пешим в лесу?

— Он, я думаю, и теперь еще разгуливает по лесу.

— Так он уцелел?.. Слава богу!

— Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему слуге, увел моего коня и подстрелил лучшего моего налета; но я не сержусь на него. Если б ему нечем было заменить твоей убитой лошади, то вряд ли бы я теперь с тобою познакомился.

Меж тем число гостей значительно умножилось при-

ездом соседей Шалонского; бо́льшая часть из них были: поместные дети боярские, человек пять жильцов и только двое родословных дворян: Лесута-Храпунов и Замятня-Опалев. Первый занимал некогда при дворе царя Феодора Иоанновича значительный пост стряпчего с ключом [7]. Наружность его не имела ничего замечательного: он был небольшого роста, худощав и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походил нимало на важного царедворца; он говорил беспрестанно о покойном царе Феодоре Иоанновиче для того, чтоб повторять как можно чаще, что любимым его стряпчим с ключом был Лесута-Храпунов. Второй, Замятня-Опалев, бывший при сем царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный: он был роста высокого и чрезвычайно дороден; огромная окладистая борода, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого пояса; все движения его были медленны; он говорил протяжно и с расстановкою. Служив при одном из самых набожных царей русских, Замятня-Опалев привык употреблять в разговорах, кстати и некстати, изречения, почерпнутые из церковных книг, буквальное изучение которых было в тогдашнее время признаком отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже природные способности, необходимые для государственного человека. Борис Феодорович Годунов, умея ценить людей по их достоинствам, вскоре по восшествии своем на престол уволил их обоих от службы. С тех пор из уклончивых придворных они превратились в величайших, хотя и вовсе не опасных, врагов правительства. Все, что ни делалось при дворе, становилось предметом их всегдашних порицаний; признание Лжедимитрия царем русским, междуцарствие, вторжение врагов в сердце России,— одним словом, все бедствия отечества были, по их мнению, следствием оказанной им несправедливости. «Когда б блаженной памяти царь Феодор Иоаннович здравствовал и Лесута-Храпунов был на своем месте,— говаривал отставной стряпчий,— то Гришка Отрепьев не смел бы и подумать назваться Димитрием». «Если б дворянин Опалев заседал по-прежнему в царской думе,— повторял беспрестанно Замятня,— то не поляки бы были в Москве, а русские в Кракове. Но,— прибавлял он всегда с горькой улыбкою,— блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» В царствование Лжедимитрия, а потом Шуйского оба заштатные чиновника стара-

лись опять попасть ко двору; но попытки их не имели успеха, и они решились пристать к партии боярина Шалонского, который обнадежил Лесуту, что с присоединением России к польской короне число сановников при дворе короля Сигизмунда неминуемо удвоится и он не только займет при оном место, равное прежней его степени, но даже, в награду усердной службы, получит звание одного из дворцовых маршалов его польского величества. А Замятню-Опалева уверил, что он непременно будет заседать в польском сенате, в котором по уничтожении думы учредятся места сенаторов по делам, касающимся до России.

Когда хозяин познакомил этих двух отставных сановников с поляками, Замятня после некоторых приветствий, произнесенных со всею важностию будущего сенатора, спросил пана Тишкевича: не из Москвы ли он идет с региментом?

— Из Москвы,— отвечал отрывисто поляк, которому надутый вид Опалева с первого взгляда не понравился.

— Итак, справедливо,— спросил, в свою очередь, Лесута-Храпунов,— что в Москве целовали крест не светлейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Владиславу?

— Справедливо.

— Хороши же там сидят головы! — воскликнул Замятня.— «Горе тебе, граде, в нем же царь твой юн!» — вещает премудрый Соломон; да и чего ждать от бояр, которые заседали в думе при злодее Годунове?

— Для чего же ты не едешь сам в Москву? — сказал насмешливо пан Тишкевич.— Ты бы их наставил на путь истинный.

— Чтоб я стал якшаться с этими малоумными?.. Сохрани господи!.. Недаром говорит Сирах: «Касаяйся смоле очернится, а приобщаяйся безумным, точен им будет».

— Вот то-то и есть! — подхватил Лесута.— При блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче были головы, а нынче... Да что тут говорить!.. Когда я служил при светлом лице его, в сане стряпчего с ключом, то однажды его царское величество, идя от заутрени, изволил мне сказать...

— Ты расскажешь нам это за столом,— перервал хозяин.— Милости просим, дорогие гости! чем бог послал!

Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цветною скатертью стол уставлен был множеством различных кушаньев. Все блюда, тарелки и чаши были оловянные; но напротив стола в открытом поставце расставлены были весьма красиво: серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. Против каждых двух приборов стояли также серебряные сосуды: один с солью, другой с перцем, а третий, стеклянный, с уксусом. Лучшим и роскошнейшим блюдом был жареный павлин; им и начался обед; потом стали подавать лапшу с курицею, ленивые щи, разные похлебки, пирог с бараниной, курник, подсыпанный яйцами, сырники и различные жаркие. Множество блюд составляло все великолепие столов тогдашнего времени; впрочем, предки наши были неприхотливы и за столом любили только одно: наедаться досыта и напиваться до упаду. Обед оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое место марципаны, цукаты, инбирь в патоке, шептала и леденцы; пряники и коврижки, так же как и ныне, подавались после обеда у одних простолюдинов и бедных дворян.

Когда все наелись, началась попойка. Сколько Юрий, сидевший подле пана Тишкевича, ни отказывался, но принужден бы был пить не менее других, если б, к счастию, не мог ссылаться на пример своего соседа, который решительно отказался пить из больших кубков, и хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться, но из уважения к региментарю оставил их обоих в покое и выместил свою досаду на других. Один седой жилец не допил своего кубка,— боярин принудил его самого вылить себе остаток меда на голову; боярскому сыну, который отказался выпить кружку наливки, велел насильно влить в рот большой стакан полынной водки и хохотал во все горло, когда несчастный гость, задыхаясь и почти без чувств, повалился на пол. Между тем и пан Тишкевич, несмотря на свою умеренность, стал поговаривать веселее.

— Боярин! — сказал он.— Если б супруга твоя здравствовала, то, верно б, не отказалась поднести нам по чарке вина и допустила бы взглянуть на светлые свои очи; так нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям; но ведь ты, боярин, почти наш брат поляк: дозволь полюбоваться невестою пана Гонсевского.

— И выпить из башмачка ее,— прибавил усатый ротмистр,— за здравие знаменитого жениха и счастливое окончание веселья.

— Она не очень здорова,— отвечал Кручина.

— Мы все тебя об этом просим! — закричали поляки.

— Быть по-вашему,— сказал хозяин, подозвав к себе одного служителя, который, выслушав приказание своего господина, вышел поспешно вон из комнаты.

— А скоро ли, боярин, веселье? — спросил региментарь.

— Я хотел было в будущем месяце ехать в Москву...

— Не советую: там что-то все не ладится; того и гляди, начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит.

— Как так! — сказал Лесута-Храпунов.— Да разве не вы господа в Москве?

— Да, покамест! — отвечал Тишкевич.— Войти-то в нее мы вошли...

— «В граде крепкий вниде премудрый,— перервал, заикаясь, Опалев,— и разруши утверждение, на неже надеяшася нечестивии!»

— Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили,— продолжал Тишкевич.— Ну, да что об этом говорить! Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас старшие.

— И ведомо так,— сказал Лесута.— Когда я был стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти царь Феодор Иоаннович, идя к обедне, изволил сказать мне: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься». В другое время, как он изволил отслушать часы и я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль...

— Не о шапке речь,— перервал хозяин,— изволь допивать свой кубок! Да и ты, любезный сосед,— продолжал он, обращаясь к Замятне,— прошу от других не отставать. Допивай... Вот так! люблю за обычай! Теперь просим покорно вот этого...

— Ни, ни, боярин! — отвечал Замятня, с трудом пошевеливая усами,— сказано бо есть: «Не упивайся вином».

— Да это не вино, а наливка!

— Ой ли? Ну, если так, пожалуй! Наливку пить закон не претит.

— Вестимо, нет,— примолвил Лесута.— Покойный государь Феодор Иоаннович всегда, отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал...

— Моя хоть и не на золотом подносе,— перервал хозяин,— а прошу прикушать!.. Ну что, какова?

— «Не красна похвала в устах грешника»,— глаголет премудрый Сирах,— сказал Замятня, осуша свой кубок,— а нельзя достойно не восхвалить: наливка, ей-жеей, преизрядная!

Когда к концу обеда все гости порядком подгуляли, боярин Кручина велел снова наполнить серебряные стопы и сказал громким голосом:

— Кто любит Кручину-Шалонского, тот за мной!.. За здравие победителей Смоленска!

— Виват! — закричали поляки.

— Да здравствуют все неустрашимые воины! — примолвил Тишкевич, подняв кверху свой кубок.

Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы.

— Пей, Юрий Дмитрич! — закричал боярин.

— Я пью на погибель врагов, а смоляне — русские и братья наши,— отвечал спокойно Юрий.

— Твои, а не мои,— возразил Кручина, бросив презрительный взгляд на Юрия.— Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского.

— Жаль, молодец,— сказал Тишкевич, пожав руку Юрия,— жаль, что ты не наш брат поляк!

Угрюмое чело боярина Кручины час от часу становилось мрачнее; несколько минут продолжалось общее молчание: все глядели с удивлением на дерзкого юношу, который осмеливался столь явно противоречить и не повиноваться грозному хозяину.

— Посмотрим, как ты не выпьешь теперь! — прошептал наконец сквозь зубы боярин. Он спросил позолоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальвазии, встал с своего места; все последовали его примеру.

— Ну, дорогие гости! — сказал он.— Этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него,— прибавил он, бросив грозный взгляд на Юрия,— тот друг наш; кто не пьет, тот враг и супостат! За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского! Да здравствует!

— Виват! — воскликнули поляки.

— Да здравствует! — повторили все русские, кроме Юрия.

— «И да расточатся врази его! — заревел басом Замятня-Опалев.— Да прейдет живот их, яко след облака и яко мгла разрушится от луч солнечных».

— Аминь! — возгласил хозяин, опрокинув осушенный кубок над своей головою.

Юрий едва мог скрывать свое негодование: кровь кипела в его жилах, он менялся беспрестанно в лице; правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а левая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, глаза благородного юноши заблистали необыкновенным огнем; он окинул беглым взором всех пирующих и сказал твердым голосом:

— Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского; итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги отечества!

— Стой, Милославский! — закричал хозяин.— Или пей, как указано, или кубок мимо!

— Подавай другим,— сказал Юрий, отдавая кубок дворецкому.

— Слушай, Юрий Дмитрич! — продолжал боярин с возрастающим бешенством.— Мне уж надоело твое упрямство; с своим уставом в чужой монастырь не заглядывай! Пей, как все пьют.

— Я твой гость, а не раб,— отвечал Юрий.— Приказывай тому, кто не может тебя ослушаться.

— Ты будешь пить, дерзкий мальчишка! — прошипел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручина.— Да, клянусь честию, ты выпьешь или захлебнешься! Подайте кубок!.. Гей, Томила, Удалой, сюда!

Двое огромного роста слуг, с зверскими лицами, подошли к Юрию.

— Боярин! — сказал Милославский, взглянув презрительно на служителей, которые, казалось, не слишком охотно повиновались своему господину.— Я без оружия, в твоем доме... и если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть; но не забудь, боярин: обидев Милославского, берегись оставить его живого!

— В последний раз спрашиваю тебя,— продолжал едва внятным голосом Шалонский,— хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так, как пьем мы все?

— Нет.

— Пей, говорю я тебе! — повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие глаза.

— Милославские не изменяли никогда ни присяге, ни отечеству, ни слову своему. Не пью!

— Так влейте же ему весь кубок в горло! — заревел неистовым голосом хозяин.

— Стойте! — вскричал пан Тишкевич.— Стыдись, боярин! Он твой гость, дворянин; если ты позабыл это, то я не допущу его обидеть. Прочь, негодяи! — прибавил он, схватясь за свою саблю.— Или... клянусь честию польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час вылетят за окно!

Оробевшие слуги отступили назад, а боярин, задыхаясь от злобы, в продолжение нескольких минут не мог вымолвить ни слова. Наконец, оборотясь к поляку, сказал прерывающимся голосом:

— Не погневайся, пан Тишкевич, если я напомню тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем дому, где, кроме меня, никто не волен хозяйничать.

— Не взыщи, боярин! Я привык хозяйничать везде, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы, поляки, можем и должны желать, чтоб наш король был царем русским; мы присягали Сигизмунду, но Милославский целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет, то бог весть, а теперь он делает то, что сделал бы и я на его месте.

Казалось, боярин Кручина успел несколько поразмыслить и догадаться, что зашел слишком далеко; помолчав несколько времени, он сказал довольно спокойно Тишкевичу:

— Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недруга твоего государя.

— Да, боярин, я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой; а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский, хотя б он был родным моим братом.

— Но неужели ты поверил, что я в самом деле решусь обидеть моего гостя? И, пан Тишкевич! Я хотел только попугать его, а по мне, пожалуй, пусть пьет хоть за здравие татарского хана: от его слов никого не убудет. Подайте ему кубок!

Юрий взял кубок и, оборотясь к хозяину, повторил снова:

— Да здравствует законный царь русский, и да погибнут все враги и предатели отечества!

— Аминь! — раздался громкий голос за дверьми столовой.

— Что это значит? — закричал Кручина.— Кто осмелился?.. Подайте его сюда!

Двери отворились, и человек средних лет, босиком, в рубище, подпоясанный веревкою, с растрепанными волосами и всклоченной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший: глаза его блистали умом, а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души.

— Ба, ба, ба, Митя! — вскричал Замятня-Опалев, который вместе с Лесутой-Храпуновым во все продолжение предыдущей сцены наблюдал осторожное молчание.— Как это бог тебя принес? Я думал, что ты в Москве.

— Нет, Гаврилыч,— отвечал юродивый,— там душно, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле! Молись на все четыре стороны, никто не помешает.

— Зачем впустили этого дурака? — сказал Кручина.

— Кто он таков? — спросил Тишкевич.

— Тунеядец, мироед, который бог знает почему прослыл юродивым.

— Не выгоняй его, боярин! Я никогда не видывал ваших юродивых: послушаем, что он будет говорить.

— Пожалуй; только у меня есть дураки гораздо его забавнее. Эй ты, блаженный! зачем ко мне пожаловал?

— Соскучился по тебе, Федорыч,— отвечал Митя.— Эх, жаль мне тебя, видит бог, жаль!.. Худо, Федорыч, худо!.. Митя шел селом да плакал: мужички испитые, церковь набоку... а ты себе на уме: попиваешь да бражничаешь с приятелями!.. А вот как все приешь да выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью?.. Хвать, хвать — ан в погребе и вина нет! Худо, Федорыч, худо!

— Что ты врешь, дурак?

— Так, Федорыч, Митя болтает что ему вздумается, а смерть придет, как бог велит... Ты думаешь — со двора, а голубушка — на двор: не успеешь стола накрыть...

Здравствуй, Дмитрич,— продолжал он, подойдя к Юрию.— И ты здесь попиваешь?.. Ай да молодец!.. Смотри не охмелей!

— Мне помнится, Митя, я видал тебя у покойного батюшки? — сказал ласково Юрий.

— Да, да, Дмитрич. Жаль тезку: раненько умер; при нем не залетать бы к коршунам ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль! Связал себя по рукам, по ногам!.. Да бог милостив! не век в кандалах ходить!.. Побывай у Сергия — легче будет!

— Эй ты, Митя! — сказал Тишкевич.— Полно говорить с другими. Поговори со мной.

— А что мне говорить с тобою? Вишь ты какой усатый!.. Боюсь!

— Не бойся!.. На-ка вот тебе! — продолжал поляк, подавая ему серебряную монету.

— Спасибо!.. На что мне?.. Я ведь на своей стороне: с голоду не умру; побереги для себя: ты человек заезжий.

— Возьми, у меня и без этой много.

— Ой ли? Смотри, чтоб достало!.. Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу... Не близко место, не скоро до дому дойдешь... Да еще неравно и проводы будут... Береги денежку на черный день!

— Я черных дней не боюсь, Митя.

— И я, брат, в тебя! Не боюсь ничего; пришел незваный, да и все тут!.. А как хозяин погонит, так давай бог ноги!

— И давно пора! — сказал Кручина, которому весьма не нравились двусмысленные слова юродивого.— Убирайся-ка вон, покуда цел!

— Пойду, пойду, Федорыч! Я не в других: не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. А жаль мне тебя, голубчик, право жаль! То-то вдовье дело!.. Некому тебя ни прибрать, ни приходить!.. Смотри-ка, сердечный, как ты замаран!.. чернехонек!.. местечка беленького не осталось!.. Эх, Федорыч, Федорыч!.. Не век жить неумойкою! Пора прибраться... Захватит гостья немытого, плохо будет!

— Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный!.. Пошел вон!

— Послушай-ка, Гаврилыч! — продолжал юродивый, обращаясь к Замятне.— Ты книжный человек; где бишь это говорится: «Сеявый злая, пожнет злая»?

— В притчах Соломоновых,— отвечал важно Замят-

ня,— он же, премудрый Соломон, глаголет: «Не сей на браздах неправды, не имаши пожати ю с седмерицею».

— Слышишь ли, Федорыч! что говорят умные люди? А мы с тобой дураки, не понимаем как не понимаем!

— Вон отсюда, бродяга! или я размозжу тебе голову!

— Бей, Федорыч, бей! А Митя все-таки свое будет говорить... Бедненький ох, а за бедненьким бог! А как Федорычу придется охать, то-то худо будет!.. Он заохает, а мужички его вдвое... Он закричит: «Господи помилуй»,— а в тысячу голосов завопят: «Он сам никого не миловал...» Так знаешь ли что, Федорыч? из-за других-то тебя вовсе не слышно будет!.. Жаль мне тебя, жаль!

— Молчи, змея!— вскричал боярин, вскочив из-за стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него с видом величайшей кротости и душевного соболезнования; вдруг двери во внутренние покои растворили, и кто-то громко вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться, и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против самых дверей: он видел, что пышно одетая девица, покрытая с головы до ног богатой фатою, упала без чувств на руки к старухе, которая шла позади ее. В минуту общего смятения юродивый подбежал к Юрию.

— Смотри, Дмитрич! — сказал он.— Крепись... Терпи!.. Стерпится — слюбится! Ты постоишь за правду, а тезка-то, вон там, и заговорит. «Ай да сынок! утешил мою душеньку!..» Прощай покамест!.. Митя будет молиться богу, молись и ты!.. Он не в нас: хоть и высоко, а все слышит!.. А у Троицы-то, Дмитрич! У Троицы... раздолье, есть где помолиться!.. Не забудь!..— Сказав сии слова, он выбежал вон из комнаты.

Юрий едва слышал, что говорил ему юродивый; он не понимал сам, что с ним делалось; голос упавшей в обморок девицы, вероятно, дочери боярина Кручины, проник до глубины его сердца: что-то знакомое, близкое душе его отозвалось в этом крике, который, казалось Юрию, походил более на радостное восклицание, чем на вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться; но против воли Москва, Кремль, Спас на Бору и прекрасная незнакомка представились его воображению. Более получаса боярин не показывался, и когда он во-

шел обратно в столовую комнату, то, несмотря на то что весьма скоро притворил дверь в соседственный покой, Юрий успел разглядеть, что в нем никого не было, кроме одного высокого ростом служителя, спешившего уйти в противуположные двери. Милославскому показалось, что этот служитель походит на человека, замеченного им поутру в боярском саду.

— Дочь моя,— сказал Шалонский пану Тишкевичу,— весьма жалеет, что не может тебя видеть; она не совсем еще здорова и очень слаба; но надеюсь, что скоро...

— Заалеет опять, как маков цвет,— перервал Лесута-Храпунов.— Нечего сказать, всякий позавидует пану Гонсевскому, когда Анастасья Тимофеевна будет его супругою.

— «Жена доблия веселит мужа своего,— примолвил Замятня,— и лета его исполнит миром».

— Да будет по глаголу твоему, сосед! — сказал с улыбкою Кручина.— Юрий Дмитрич,— продолжал он, подойдя к Милославскому,— ты что-то призадумался... Помиримся! Я и сам виню себя, что некстати погорячился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть отцу — оба мы желаем блага нашему отечеству: так ссориться нам не за что, а чему быть, тому не миновать.

Юрий, в знак примирения, подал ему руку.

— Ну, дорогие гости,— продолжал боярин,— теперь милости просим повеселиться. Гей, наливайте кубки! подносите взварец *, да песенников — живо!

Толпа дворовых, одетых по большей части в охотничьи платья польского покроя, вошла в комнату. Инструментальную часть хора составляли: гудок, балалайка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина раздались удалые волжские песни, и через несколько минут столовая комната превратилась в настоящий цыганский табор. Все приличия были забыты: пьяные господа обнимали пьяных слуг; некоторые гости ревели наразлад вместе с песенниками; другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи, и даже важный Замятня-Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать голуб-

* Горячий напиток, род пунша, в состав которого входили: пиво, мед, вино и пряные коренья. В Малороссии и до сих пор еще в употреблении сей национальный пунш под именем варенухи.

ца; но, видя, что все его усилия напрасны, пробормотал: «Сердце мое смятеся и остави мя сила моя!» Пан Тишкевич хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в свою комнату; он желал этого тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему должно было отправиться чем свет в дорогу.

Громкие восклицания возвестили появление плясунов и плясуньев. Бесстыдство и разврат, во всей безобразной наготе своей, представились тогда изумленным взорам Юрия. Он не смел никогда и помыслить, чтоб человек, созданный по образу и по подобию божию, мог унизиться до такой степени. Все гости походили на беснующихся; их буйное веселье, неистовые вопли, обезображенные вином лица — все согласовалось с отвратительным криком полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен. Боярину Кручине показалось, что один из плясунов прыгает хуже обыкновенного.

— Эге, Андрюшка! — закричал он.— Да ты, никак, стал умничать? Погоди, голубчик, у меня прибавишь провору! Гей, Томила! Удалой! в плети его!

Приказание в ту ж минуту было исполнено.

— Что, брат? — сказал с громким хохотом Кручина несчастному плясуну, которого жалобный крик сливался с веселыми восклицаниями пирующих.— Никак, под эту песенку ты живее поплясываешь!.. Катай его!..

Юрий хотел было умилостивить боярина; но он не стал его слушать, а Замятня-Опалев закричал:

— Не мешайся, молодец, не в свои дела! Писано есть: «Непокорливому рабу сокруши ребра»; и Сирах глаголет: «Пища и жезлие и бремя ослу; хлеб и наказание и дело рабу».

— Но он же, премудрый Сирах, вещает,— перервал Лесута, радуясь, что может также похвастаться своей ученостию,— «Не буди излишен над всякою плотию и без суда не сотвори ни чесо же». Это часто изволил мне говаривать блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Как теперь помню, однажды, отстояв всенощную, его царское величество...

— Верно, пошел спать,— перервал Тишкевич.— Кажется, и нам пора. Прощай, боярин! Пусть мои товари-

щи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык вставать рано, так мне пора на покой.

Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике, на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину; но сон бежал от глаз его: впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось; мысль, что, может быть, он провел весь день под одною кровлею с своей прекрасной незнакомкой, наполняла его душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Но вскоре самая простая мысль уничтожила все его догадки: он много раз видал свою незнакомку, но никогда не слышал ее голоса, следовательно, если б она была и дочерью боярина Кручины, то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному только голосу; а сверх того, ему утешительнее было думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнакомка — дочь боярина Кручины и невеста пана Гонсевского. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его, воображение охладело, и Юрий наконец заснул крепким и спокойным сном.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Порядок нашего повествования требует, чтоб мы возвратились несколько назад. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша, поддержав с честию славу искусного колдуна, отправился в провожании одного слуги обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского и когда оставит его, то по какой отправится дороге. Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить; но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда,

это случалось иногда зимою, в трескучие морозы; но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра — вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтоб оказать ему хотя малейшую услугу; а посему и не удивительно, что ему весьма хотелось знать: скоро ли и куда поедет Юрий? Когда он сошел с боярского двора, то спросил своего провожатого: не знает ли он, как долго пробудет у них Милославский?

— Не знаю,— отвечал отрывисто слуга.

— А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя?

— Нет.

— Нет? Ну, если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить?

— Нет.

— А если я пойду сам искать его?

— Я не пущу тебя.

— А если я тебя не послушаюсь?

— Я возьму тебя за ворот.

— За ворот! А если я хвачу тебя за это кулаком?

— Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра.

— Коротко и ясно! Так мне никак нельзя его видеть?

— Нет.

— А скажи, пожалуйста: все ли боярские холопи такие медведи, как ты?

— Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь.

— Спасибо за ласку!

— Неначем.

В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе; слуга, сдав Киршу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретило его с громкими восклицаниями. Все уже знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба запорожца; старая сенная девушка, бывшая свидетельницею этого чудного излечения, бегала из двора во двор как полоумная, и радостная весть со всеми подробностями и прикрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу.

— Милости просим! батюшка, милости просим! — сказал хозяин, сажая его в передний угол.— Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена?

— Да, хозяин, испорчена.

— Правда ли,— спросил дьяк,— что лишь только ты вошел в терем, то Анастасья Тимофеевна залаяла собакою?

— И, нет, Мемнон Филиппович! — возразил один из гостей.— Татьяна сказывала, что боярышня запела петухом.

— Ну, вот еще! — вскричал хозяин.— Неправда, она куковала кукушкою, а петухом не пела!

— Помилуй, Фома Кондратьич! — перервала одна толстая сваха.— Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами?

— Татьяна врет! — сказал важно Кирша.— Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит. Да и пристало ли боярской дочери лаять собакою и петь петухом! Она не ваша сестра холопка: будет с нее и того, что почахнет да потоскует.

— Истинно так, милостивец! — примолвил дьяк.— Не пригоже такой именитой боярышне быть кликушею... Иная речь в нашем быту: наше дело таковское, а их милость...

— Что толковать о боярах! — перервал приказчик.— Послушай-ка, добрый человек! Тимофей Федорович приказал тебе выдать три золотых корабленика да жалует тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни.

— Знаю, хозяин.

— Ну то-то же, смотри не позарься на вороного аргамака, с белой на лбу отметиной.

— А для чего же нет?

— Он, правда, конь богатый: персидской породы, четырех лет и недаром прозван Вихрем — русака на скаку затопчет...

— Что ж тут дурного?

— А то, что на нем не усидел бы и могучий богатырь Еруслан Лазаревич. Такое зелье, что боже упаси! Сесть-то на него всякий сядет, только до сих пор никто еще не слезал с него порядком: сначала и туда и сюда, да вдруг как взовьется на дыбы, учнет бить передом и

задом — батюшки светы!.. хоть кому небо с овчинку покажется.

В продолжение этого рассказа глаза запорожца сверкали от радости.

— Давай его сюда! — закричал он.— Его-то мне и надобно! Черт ли в этих заводских клячах! Подавай нам из косяка... зверя!

— Вот еще что! — сказал приказчик, глядя с удивлением на восторг запорожца.— Видно, брат, у тебя шея-то крепка! Ну, что за потеха...

— Что за потеха! Эх, хозяин! не арканил ты на всем скаку лихого коня, не смучивал его в чистом поле, не приводил овечкою в свой курень, так тебе ли знать потехи удалых казаков!.. Что за конь, если на нем и баба усидит!

— Да, да! — шепнул дьяк приказчику.— Ему легко: не сам сидит, черти держут.

Меж тем молодые давно уже скрылись, гости стали уходить один после другого, и вскоре в избе остались только хозяин, сваха, дружка и Кирша. Приказчик, по тогдашнему русскому обычаю[8], которому не следовал его боярин, старавшийся во всем подражать полякам, предложил Кирше отдохнуть, и через несколько минут в избе все стихло, как в глубокую полночь.

Кирша проснулся прежде всех. Проведя несколько часов сряду в душной избе, ему захотелось наконец поосвежиться. Когда он вышел на крыльцо, то заметил большую перемену в воздухе: небо было покрыто дождевыми облаками, легкий полуденный ветерок дышал теплотою; словом, все предвещало наступление весенней погоды и конец морозам, которые с неслыханным постоянством продолжались в то время, когда обыкновенно проходят уже реки и показывается зелень. В то время как он любовался переменою погоды, ему послышалось, что на соседнем дворе кто-то вполголоса разговаривает. Узнав по опыту, как выгодно иногда подслушивать, он тихонько подошел к плетню, который отделял его от разговаривающих, и хотя с трудом, но вслушался в следующие слова, произнесенные голосом, не вовсе ему не знакомым:

— Жаль, брат Омляш, жаль, что ты был в отлучке! Без тебя знатная была работа: купчина богатый, а клади-то в повозках, клади! Да и серебреца нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу?

— Да, черт побери!..— отвечал кто-то сиповатым басом.— Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался,— не тут-то было! Боярин посылает меня в ночь на нижегородскую дорогу, верст за сорок.

— Зачем?

— А вот изволишь видеть...— Тут несколько слов было сказано так тихо, что Кирша не мог ничего разобрать, потом сиповатый голос продолжал: — Он было сначала велел мне за ним только присматривать, да, видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай, верстах в десяти от Нижнего овражек в лесу?

— Как не знать!

— Туда передом четырех молодцов уж отправили, а я взялся поставить им милого дружка!.. понимаешь?

— Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про все отвечай нижегородцы: их дело, да и все тут!

— Не вовсе так, любезный! С слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить.

— Да кто этот Милославский?

— Какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы от Гонсевского, да что-то под лад не дается. Детина бойкий! Говорят, будто б он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином.

— С боярином?.. Ну, брат, видно же, сорвиголова!

— Видно, так! И правду-матку сказать, если он живой в руки не дастся...

— Так что ж? Рука, что ль, дрогнет?

— Не то чтоб дрогнула... да пора честь знать, Прокофьич!

— Полно, брат Омляш, прикидывайся с другими! Не он первый, не он последний...

— А что ты думаешь! И то сказать: одним меньше, одним больше — куда ни шло! Вот о спожинках стану говеть, так за один прием все выскажу на исповеди; а там, может статься...

— В монахи, что ль, пойдешь?..

— В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич; душа надобна.

Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе; он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в

лицо; а в другом с первого взгляда узнал земского ярыжку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решился пуститься наудачу и во что б ни стало отыскать Юрия или Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиною крестьянин заступил ему дорогу.

— Пусти-ка, товарищ! — сказал Кирша, стараясь пройти.

— Не велено пускать,— отвечал крестьянин.

— Не велено! Как так?

— Да так-ста! Не приказано, вот и все тут!

— Не приказано, так не пускай! — сказал Кирша, возвращаясь во двор.

— Да не пройдешь и в задние ворота,— закричал ему вслед крестьянин,— и там приставлен караул.

— Так я здесь в западне! Ах, черт побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице.

— Я те толком говорю, слышь ты: заказано.

— Да кто заказал?

— Приказчик.

— Зачем?

— А лукавый его знает; вон спроси у него самого.

— Э, дорогой гость!.. куда? — закричал приказчик, показавшись в дверях избы.— Скоренько проснуться изволил.

— Господин приказчик,— сказал весьма важно Кирша.— Ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой?

— Не погневайся! Я приставил караул, пока спал, а теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка! Ступай домой!

— Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону и волен идти, куда хочу.

— Вот то-то и есть, что нет, любезный! Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю.

— Да неужто в самом деле он хочет задержать меня насильно?

— От него приказано, чтоб я угощал тебя и сегодня и завтра; а послезавтра, хоть чем свет, возьми деньги да коня и ступай себе с богом на все четыре стороны.

— Ну, было из чего караул приставлять! Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут!

— Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показывался гостям.

— Так вот что! Он опасается, чтоб я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена.

— Видно, что так.

— Стану я толковать об этом! Да из меня дубиною слова не вышибешь!.. Что это, хозяин, никак, на барском дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то веселятся!

— Что ты, брат! Неравно Тимофей Федорович тебя увидит — сохрани боже... беда!

— Так господь с ними! Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя... Да, кстати, вон и гости опять идут.

— Как же, любезный! И сегодня и завтра целый день все бражничают у меня.

Толпа родственников, перед которою важно выступал волостной дьяк, подошла к приказчику; молодые вышли их встречать на крыльцо; и через минуту изба снова наполнилась гостьми, а стол покрылся кушаньем и различными напитками.

Тем из читателей наших, которым не удалось постоянно жить в деревне и видеть своими глазами, как наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сомнения покажется невероятным огромное количество браги и съестных припасов, которые может поместить в себе желудок русского человека, когда он знает, что пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый человек, который съест за один прием то, чего какой-нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его плохой колодезной водою. В храмовые праздники церковный причет обходит обыкновенно все домы своего селения; не зайти в какую-нибудь избу — значит обидеть хозяина; зайти и не поесть — обидеть хозяйку; а чтоб не обидеть ни того, ни другого, иному церковному старосте или дьячку придется раз двадцать сряду пообедать. Это невероятно, однако ж справедливо, и мы должны были сделать это небольшое отступление для того, чтоб заметить нашим читателям, что нимало не погрешаем против истины, заставив гостей приказчика почти беспрерывно целый день пить, есть и веселиться.

Но не все гости веселились. На сердце запорожца лежал тяжелый камень: он начинал терять надежду спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым: рассеянные ответы, беспокойные взгляды, нетерпение, задумчивость — все изобличало необыкновенное волнение души его. К счастию, прежде чем хозяин мог это заметить, одна счастливая мысль оживила его надежду; взоры его прояснились, он взглянул веселее и, обращаясь к приказчику, сказал:

— Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню?

— Нельзя, любезный! Я должен быть при тебе неотлучно; а ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось?

— А вот что: помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней, ну да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет?

— Да, брат, больно лих.

— Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привести.

Приказчик задумался.

— Привести-то можно,— сказал он наконец,— но уговор лучше денег: любуйся им как хочешь, но верхом не садись.

— Да как же я узнаю: годится ли он для меня или нет? Позволь на нем по улице проехать.

— Нет, дорогой гость, нельзя.

— Нельзя так нельзя, вели хоть так привести.

— Андрюшка! — сказал приказчик одному молодому парню, который прислуживал за столом.— Сбегай, брат, на конный двор да вели конюхам привести сюда вороного персидского жеребца.

Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяином и гостьми, встал потихоньку из-за стола; он тотчас заметил, что хотя караул был снят от ворот, но зато у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо которого прокрасться было невозможно. Запорожец отыскал свою саблю, прицепил ее к поясу, надел через плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил первого: весело ли ему будет называться дедушкою?

— Как же! — отвечал приказчик.— Я и сплю и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора — шестой десяток доживаю.

— А что бы ты хотел для первой радости,— продолжал запорожец,— внука или внучку?

— Вестимо, внука! Девка — товар продажный: не успеет подрасти, ан, глядишь, и сбывай с рук.

— А я, прошу не погневаться,— сказал дьяк,— хочу не внука, а внучку.

— А почему так? — спросил хозяин.

— Да так! Скоро ли от внука-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее.

— Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь! Пустое, сват: дай господи внука!

— Пошли господи внучку!

— Так не будет же по-твоему!

— Ан будет! и если святые угодники услышат грешные мои молитвы...

— Послушайте, господа честные,— перервал Кирша,— ну, если я услужу вам обоим?

— Как так? — спросили вместе дьяк и приказчик.

— А вот как: если я захочу, то молодая родит двойни — мальчика и девочку.

— То-то бы знатно! — вскричал приказчик.— Я стал бы лелеять внука...

— А я нянчить внучку! — примолвил дьяк.— Да не издеваешься ли ты над нами?

— Право, нет! Послушай, хозяин,— продолжал Кирша вполголоса,— припаси мне завтра крупичатой муки да сотового меду; я изготовлю пирожок, и как молодые его покушают, то чрез девять месяцев ты с внуком, а он с внучкою.

— Неужто в самом деле? — вскричал приказчик.

— Уж я вам говорю. Припасите две зыбки да приискивайте имена для новорожденных.

— Я назову внука Тимофеем, в честь боярина,— сказал приказчик.

— А я внучку — Анастасией, в честь боярышни,— примолвил дьяк.

— Так за здравие Тимофея и Анастасьи! — возгласил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный ковш с брагою.— Многие лета!

— Многие лета! — воскликнули все гости.

— Ах ты, родимый! — сказал приказчик, обнимая запорожца.— Чем мне отслужить тебе? Послушай-ка: если

я к трем боярским корабленикам прибавлю своих два... три... ну, куда ни шло!.. четыре алтына...

— Нет, хозяин, не такое дело: за это мне денег брать не велено; а если хочешь меня потешить, так не пожалей завтра за обедом романеи.

— И вишневки, и романеи, и фряжского вина... и что твоей душеньке угодно будет!

— Ой ли так? Ладно же, хозяин,— по рукам!

— По рукам, любезный! Постой-ка: вот, кажется, и Вихря привели... Что за конь!

Кирша и все гости встали из-за стола и вышли вслед за хозяином на улицу. Два конюха с трудом держали под уздцы вороного жеребца. Он был среднего роста, но весьма красив собою: волнистая грива, блестя, как полированный агат, опускалась струями с его лебединой шеи; он храпел, взрывал копытом землю, и кровавые глаза его сверкали, как раскаленное железо. При первом взгляде на борзого коня Кирша вскрикнул от удивления; забилось сердце молодецкое в груди удалого казака; он забыл на несколько минут все свои намерения, Милославского, самого себя,— и в немом восторге, почти с подобострастием смотрел на Вихря, который, как будто бы чувствуя присутствие знатока, рисовался, плясал и, казалось, хотел совсем отделиться от земли.

— Ну, что? — спросил приказчик.— Не правду ли я тебе говорил? Смотреть любо, знатный конь!.. А на что он годится?

— Почему знать, хозяин? Мы и не таких зверей умучивали, и если б ты дозволил мне дать на нем концов десяток вдоль этой улицы, так, может статься...

— Нет, любезный, помни уговор.

— Да чего ты боишься?

— Как чего? Бог весть, что у тебя на уме. Как вздумаешь дать тягу, так куда мне будет деваться от боярина?

— Тьфу пропасть! Да на кой черт мне тебя обманывать? Ведь послезавтра я волен ехать куда хочу?

— То дело другое, приятель! Послезавтра, пожалуй, я сам тебя подсажу, а теперь — ни, ни!..

— Ну, хозяин! ты не хочешь меня потешить, так не погневайся, если и я тебя тешить не стану.

— Эх, любезный! и рад бы радостью, да рассуди сам... Как ты думаешь, сват,— продолжал приказчик,

обращаясь к дьяку,— дать ли ему промять Вихря или нет?

— Как ты, Фома Кондратьич, а я мыслю так: когда тебе наказано быть при нем неотлучно, то довлеет хранить его как зеницу ока, со всякою опасностию, дабы не подвергнуть себя гневу и опале боярской.

— Ну вот, слышишь, что говорят умные люди? Нельзя, любезный!

— Я вижу, господин дьяк,— сказал Кирша,— ты уж раздумал и в прадеды не хочешь; а жаль, была бы внучка!

— Я ничего не говорю,— возразил дьяк,— видит бог, ничего! Как хочет сват.

— И я дурак! — продолжал Кирша.— Есть о чем просить! Не нынче, так послезавтра, а я все-таки с конем, и вы все-таки без внучат.

— Как так? Помилуй! — вскричали приказчик и дьяк.

— Да так! Пословицу знаете? «Как аукнется, так и откликнется!..» Пойдемте назад, в избу!

— Не троньте его,— сказал вполголоса один из конюхов.— Вишь, какой выскочка! Не хуже его пытались усидеть на Вихре, да летали же вверх ногами. Пускай сядет: я вам порукою — не ускачет из села.

— Да, да,— примолвил другой конюх,— видали мы хватов почище его! Мигнуть не успеете, как он хватится оземь, лишь ноги загремят!

— Добро, так и быть, любезный! — сказал приказчик Кирше.— Если уж ты непременно хочешь... Да что тебе загорелось?

— Бегите, ребята,— шепнул дьяк двум крестьянским парням,— ты на тот конец, а ты на этот; покараульте да приприте хорошенько околицу.

— Ох, сват! — сказал приказчик.— Недаром у меня сердце замирает! Ну, если... упаси господи!.. Нет,— продолжал он решительным голосом, схватив Киршу за руку,— воля твоя, сердись или нет, а я тебя не пускаю! Как ускачешь из села...

— Право! А золотые-то боярские корабленики? Небось вам оставлю! Вот дурака нашли!

— А что ты думаешь, сват? — продолжал приказчик, убежденный этим последним доказательством.— В самом деле, черт ли велит ему бросить задаром три корабленика?.. Ну, ну, быть так: оседлайте коня.

В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных расступилась; Кирша оправился, подтянул кушак, надвинул шапку и не торопясь подошел к коню. Сначала он стал его приголубливать: потрепал ласково по шее, погладил, потом зашел с левой стороны и вдруг, как птица, вспорхнул на седло.

— Дальше, ребята, дальше! — закричали конюхи.— Смотрите, какая пойдет потеха!

Народ отхлынул, как вода, и наездник остался один посреди улицы. Не дав образумиться Вихрю, Кирша приударил его нагайкою. Как разъяренный лев, дикий конь встряхнул своей густою гривой и взвился на воздух; народ ахнул от ужаса; приказчик побледнел и закричал конюхам:

— Держите его, держите! Ахти! не быть ему живому! Держите, говорят вам!

— Да! черт его теперь удержит! — сказал один из конюхов.— Как слетит наземь, так мы его подымем.

— Ах, батюшки! — продолжал кричать приказчик.— Держите его! Слышите ль, боярин приказал мне угощать его завтра, а он сегодня сломит себе шею! Господи, господи, страсть какая!.. Ну, пропала моя головушка!

Меж тем удары калмыцкой плети градом сыпались на Вихря; бешеный конь бил передом и задом; с визгом метался направо и налево, загибал голову, чтоб схватить зубами своего седока, и вытягивался почти прямо, подымаясь на дыбы; но Кирша как будто бы прирос к седлу и продолжал не уставая работать нагайкою. Толпа любопытных зрителей едва переводила дух, все сердца замирали... Более получаса прошло в этой борьбе искусства и ловкости с силою; наконец полуизмученный Вихрь, соскучив бесноваться на одном месте, пустился стрелою вдоль улицы и, проскакав с версту, круто повернул назад; Кирша пошатнулся, но усидел. Казалось, неукротимый конь прибегнул к этому способу избавиться от своего мучителя как к последнему средству, после которого должен был покориться его воле; он вдруг присмирел и, повинуясь искусному наезднику, пошел шагом, потом рысью описал несколько кругов по широкой улице и наконец на всем скаку остановился против избы приказчика.

— Жив ли ты? — вскричал хозяин.

— Ну, молодец! — сказал один из конюхов, смотря

с удивлением на покрытого белой пеною аргамака.— Тебе и владеть этим конем!

— А я так не дивлюсь,— продолжал дьяк, обращаясь к приказчику,— ведь я говорил тебе: не сам сидит, черти держут!

— Слезай проворней, любезный,— продолжал приказчик.— Пока ты не войдешь в избу, у меня сердце не будет на месте.

— Не торопись, хозяин,— сказал Кирша,— дай мне покрасоваться... Не подходите, ребята! — закричал он конюхам.— Не пугайте его... Ну, теперь не задохнется,— прибавил запорожец, дав время коню перевести дух.— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль! береги мои корабленики да не поминай лихом!

— Как!.. Что?..— закричал приказчик.

Вместо ответа запорожец ослабил поводья, понагнулся вперед, гикнул и как молния исчез из глаз удивленной толпы.

— Держите его, держите! — раздался громкий крик приказчика, заглушаемый общим восклицанием изумленного народа.

Но Кирша не опасался ничего: поставленный на въезде караульный, думая, что сам сатана в виде запорожца мчится к нему навстречу, сотворив молитву, упал ничком наземь. Кирша перелетел на всем скаку через затворенную околицу, и когда спустя несколько минут он обернулся назад, то построенный на крутом холме высокий боярский терем показался ему едва заметным пятном, которое вскоре совсем исчезло в туманной дали густыми тучами покрытого небосклона.

II

Все спали крепким сном в доме боярина Кручины. Многие из гостей, пропировав до полуночи, лежали преспокойно в столовой: иные на скамьях, другие под скамьями; один хозяин и Юрий с своим слугою опередили солнце; последний с похмелья едва мог пошевелить головою и поглядывал не очень весело на своего господина. Боярин Кручина распрощался довольно холодно с своим гостем.

— Желаю тебе, Юрий Дмитрич, благополучно съездить в Нижний,— сказал он,— но я опасаюсь, чтоб ты

не испытал на себе самом, каковы эти нижегородцы. Прощай!

— Ты хотел, Тимофей Федорович, дать мне грамоту к боярину Истоме-Туренину,— сказал Юрий.

— Да, да! Но я передумал; теперь это лишнее... иль нет...— продолжал боярин, спохватясь и чувствуя, что он некстати проговорился.— Благо уж лист мой готов, так все равно: вот он, возьми! Счастливой дороги! Да милости просим на возвратном пути,— прибавил он с насмешливой улыбкою и взглядом, в котором отражалась вся злоба адской души его.

Никогда и ни с кем Юрий не расставался с таким удовольствием: он согласился бы лучше снова провесть ночь в открытом поле, чем вторично переночевать под кровлею дома, в котором, казалось ему, и самый воздух был напитан изменою и предательством. Раскланявшись с хозяином, он проворно вскочил на своего коня и, не оглядываясь, поскакал вон из селения.

Мы, русские, привыкли к внезапным переменам времени и не дивимся скорым переходам от зимнего холода к весеннему теплу; но тот, кто знает север по одной наслышке, едва ли поверит, что Юрий, захваченный накануне погодою и едва не замерзший с своим слугою, должен был скинуть верхнее платье и ехать в одном кафтане. Во всю ночь, проведенную им в доме боярина Кручины, шел проливной дождь, и когда он выехал на большую дорогу, то взорам его представились совершенно новые предметы: тысячи быстрых ручьев стремились по скатам холмов, в оврагах ревели мутные потоки, а низкие поля казались издалека обширными озерами. Когда наши путешественники потеряли из виду отчину боярина Шалонского, Алексей, сняв шапку, перекрестился.

— Ну, теперь отлегло от сердца! — сказал он.— Хвала творцу небесному! Вырвались из этого омута. Если б ты знал, боярин, чего я вчера наслушался и насмотрелся...

— Я также слышал и видел довольно, Алексей.

— Да тебе, Юрий Дмитрич, хорошо было пировать с хозяином; заглянул бы к нам, в застольную: ни дать ни взять лобное место! Тот пролил стакан меду — дерут! этот обмишурился и подал травнику вместо наливки — порют! Чихнул громко, кашлянул — за все про все катают! Ах ты, владыко небесный! Ну, ад кромешный, да и только! Правда, и холопи-то хороши: как подпили

да начали похваляться, так у меня волосы дыбом стали! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Ведь дневной разбой; сам боярин обозы останавливает, и если купец, проезжая чрез его отчину, не зайдет к нему с поклоном, так уж наверное выедет из села в одной рубашке. Помнишь вчерашнего купца, которого мы застали на постоялом дворе? Он было хотел втихомолку проехать мимо села задами, ан и попался в беду! Облупили его как липку да из четырех лошадей двух выпрягли: ты, дескать, поедешь теперь налегке, так и две довезут!

— Возможно ли? И на него нет управы?..

— И, Юрий Дмитрич, кому его унимать! Говорят, что при царе Борисе Феодоровиче его порядком было скрутили, а как началась суматоха, пошли самозванцы да поляки, так он принялся буянить пуще прежнего. Теперь времена такие: нигде не найдешь ни суда, ни расправы.

— Однако ж, Алексей, мне кажется, тебе вчера вовсе не было скучно: ты насилу на ногах стоял.

— Виноват, боярин! В этом проклятом доме только и хорошего что одно вино. Как не выпьешь лишней чарки? А нечего сказать: каково вино и мед!.. Хоть у кого с двух стаканов в голове затрещит!

— Не узнал ли ты чего-нибудь о Кирше?

— Как же! Я вчера встретился с ним на боярском дворе, да не успел двух слов перемолвить: его вели к боярину.

— Зачем?

— Не знаю; мне только проболтался один пьяный слуга, что Кирше большая честь была: боярин подарил ему коня и велел приказчику угощать его, как самого себя.

— Что б это значило?

— Кто его знает; уж не остался ли служить у боярина? Товарищами у него будут всё сорванцы да разбойники, он сам запорожский казак, так ему житье будет привольное; глядишь — еще боярин сделает его есаулом своей разбойничьей шайки! Рыбак рыбака далеко в плёсе видит!

— Нет, Алексей, Кирша добрый малый; он не может быть разбойником; и после того, что он для меня сделал...

— А что такое он сделал? Он был у тебя в долгу, так диво ли, что вздумал расплатиться? Ведь и у раз-

бойника бывает подчас совесть, боярин: а чтоб он был добрый человек — не верю! Нет, Юрий Дмитрич, как волка ни корми, а он все в лес глядит.

Юрий не отвечал ни слова; погруженный в глубокую задумчивость, он старался не помышлять о настоящем, искал — но тщетно — утешения в будущем, и только изредка воспоминание о прошедшем услаждало его душу. Милославский был свидетелем минутной славы отечества; он сам с верными дружинами под предводительством юноши-героя, бессмертного Скопина, громил врагов России; он не знал тогда страданий безнадежной любви; веселый, беспечный юноша, он любил бога, отца, святую Русь и ненавидел одних врагов ее; а теперь... Ах! сколько раз завидовал он участи своего полководца, который, как будто б предчувствуя бедствия России, торопился украсить лаврами юное чело свое и, обремененный не летами, но числом побед, похоронить вместе с собою все надежды отечества!

Наши путешественники, миновав Балахну, от которой отчина боярина Кручины находилась верстах в двадцати, продолжали ехать, наблюдая глубокое молчание. Соскучив не получать ответов на свои вопросы, Алексей, по обыкновению, принялся насвистывать песню и понукать Серко, который начинал уже приостанавливаться. Проведя часа два в сем занятии, он потерял наконец терпение и решился снова заговорить с своим господином.

— Пора бы нам покормить коней,— сказал он.— В Балахне ты не хотел остановиться, боярин, и вот уж мы проехали верст пятнадцать, а жилья все нет как нет.

— Мне кажется, вон там... подле самого лесу... Ты зорок, Алексей, посмотри: не изба ли это?

— Нет, Юрий Дмитрич: это простой шалаш или стог сена, а только не изба.

— Не ошибаюсь ли я? Мне кажется, подле этого шалаша кто-то стоит... видишь?

— Вижу, боярин: вон и конь привязан к дереву... Ну так и есть: это стог сена. Верно, какой-нибудь проезжий захотел покормить даром свою лошадь... Никак, он нас увидел... садится на коня... Кой прах! Что ж он стоит на одном месте? ни взад, ни вперед!.. Он как будто нас дожидается... Полно, добрый ли человек?.. Смотри! он скачет к нам... Берегись, боярин!.. Что это? с нами крестная сила! Не дьявольское ли наваждение?..

Ведь он остался в отчине боярина Шалонского?.. Ах, батюшки светы!.. Точно, это Кирша!

— Подобру ли, поздорову, Юрий Дмитрич? — закричал запорожец, подскакав к нашим путешественникам.

— Эк тебя нелегкая носит! — сказал Алексей.— Что ты, с неба, что ль, свалился?

— Нет, товарищ, не с неба свалился, а вырвался из ада,— отвечал запорожец, повернув свою лошадь.

— Мы думали, что ты остался у боярина Шалонского,— сказал Юрий.

— Он было хотел меня задержать, да Кирша себе на уме! По мне, лучше быть простым казаком на воле, чем атаманом под палкою какого-нибудь боярина. Ну что, Юрий Дмитрич,— вам, чай, пора дать коням вздохнуть?

— Доедем до первой станции, так остановимся.

— Отсюда близехонько есть небольшой выселок — вон там... за этим лесом. Я боялся вас проглядеть, так стоял постоем на большой дороге.

— И, как видно, не больно исхарчился, любезный,— примолвил Алексей.— Смотри, как растрепал стог сена! Навряд ли хозяин скажет тебе спасибо.

— А вольно ж ему ставить стога на большой дороге,— отвечал хладнокровно запорожец.

— Скажи, Кирша,— спросил Юрий,— за что ты попал в милость к боярину Кручине?

— За то, что взялся не за свое дело.

— Как так?

— А вот как, Юрий Дмитрич: я был смолоду рыбаком, не знал устали, трудился день и ночь; раз пять тонул, заносило меня погодою к басурманам; словом, натерпелся всякого горя, а деньжонок не скопил. Пошел в украинские казаки, служил верой и правдой гетману, рубился с поляками, дрался с татарами, сносил холод и голод — и нечего было послать моим старикам на одежонку. Записался в запорожцы, уморил с горя красную девицу, с которой был помолвлен, терпел нападки от своих братьев казаков за то, что миловал жен и детей, не увечил безоружных, не жег для забавы дома, когда в них не было вражеской засады,— и чуть было меня не зарыли живого в землю с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою... да, к счастию, он отдохнул. Потом таскался два года с польским войском, лил кровь христианскую, спас

от смерти пана Лисовского,— и все-таки не разбогател. А вздумал однажды на роду прикинуться колдуном — так мне за это дали три золотых корабленика да этого аргамака, которому, веришь ли, Юрий Дмитрич, цены нет,— примолвил Кирша, лаская своего борзого коня и поглядывая на него с нежностию страстного любовника.

— Что за вздор! — сказал Юрий.— Как ты мог прикинуться колдуном?

— И, боярин! мало ли чем прикидываются люди на белом свете, да не всем так удается, как мне. Знаешь ли, что я не на шутку сделался колдуном и, если хочешь, расскажу сейчас по пальцам, что у тебя на душе и о чем ты тоскуешь?..

— Мудрен бы ты был, если б отгадал.

— А вот увидишь.

Кирша посмотрел на него пристально и продолжал:

— Боярин! Тебя сокрушила черноглазая красавица — не правда ли?

Юрий поглядел с удивлением на запорожца.

— Что ты, боярин, слушаешь этого балясника? — сказал Алексей.— Большое диво отгадать, когда я сам ему об этом проболтался!

— Что дашь, боярин,— продолжал запорожец, не слушая Алексея,— если я скажу тебе, кто такова родом и где живет теперь твоя чернобровая боярышня?

— Перестань шутить, Кирша!

— Я не шучу, Юрий Дмитрич: ты видал ее в Москве, в соборном храме Спаса на Бору.

— Вот те раз! — вскричал Алексей.— Да этого я ему не сказывал! Видит бог, не сказывал! От кого ты узнал?..

— То ли еще я знаю! Вот ты, Юрий Дмитрич, не ведаешь, любит ли она тебя, а я знаю.

— Возможно ли? — вскричал Милославский, остановя свою лошадь.

— Да, боярин; она по тебе сохнет пуще, чем ты по ней.

— Итак, она еще не замужем?

— Нет.

— Но кто она? где живет? как ты мог узнать?.. Говори, говори скорее!..

— И сердце твое не чуяло, что ты ночевал с ней под одной кровлею?.. Она дочь боярина Кручины-Шалонского.

— Невеста пана Гонсевского? — вскричал Алексей.

— Невеста, а не жена.

— Дочь боярина Кручины!..— прошептал Юрий, побледнев, как приговоренный к смерти.— Боярина Кручины!..— повторил он с отчаянием.— Итак, все кончено!..

— Нет, не все, Юрий Дмитрич! Мало ли что может случиться? И если тебе суждено на ней жениться...

— На ней!.. Никогда, никогда! — перервал Милославский.— Но, может быть, ты обманулся... да, добрый Кирша, ты, точно, обманулся... Эта кроткая девица, этот ангел красоты... дочь Шалонского... Невозможно!..

— Да что мы остановились, боярин? Лошадей балясами не кормят. Поедем шажком вперед; до деревушки версты три, так я успею тебе рассказать все, и тогда ты поверишь, что я тебя не обманываю.

Юрий слушал с вниманием рассказ запорожца, и чем вернее казалось, что прекрасная незнакомка — дочь боярина Кручины, тем мрачнее становились его взоры. Он не помышлял о препятствиях: обстоятельства и время могли их разрушить; его не пугало даже то, что Анастасья была невеста пана Гонсевского; но назвать отцом своим человека, которого он презирал в душе своей, соединиться узами родства с злодеем, предателем отечества... Ах, одна эта мысль превращала в ничто все его надежды! Если б все благоприятствовало любви его, то собственная его воля была бы непреодолимым препятствием. Супруг дочери боярина Кручины мог ли, не краснея, слышать об измене и предательстве? Мог ли призывать правдивое мщение небес и сограждан на главу крамольников, обрекших гибели и вечному позору свою родину? Если без Анастасии он не мог быть совершенно счастливым, то спокойная совесть, чистая, святая любовь к отечеству, уверенность, что он исполнил долг православного, не посрамил имени отца своего,— все могло служить ему утешением и утверждало в намерении расстаться навсегда с любимой его мечтою. Но когда Кирша стал рассказывать о разговоре своем с Анастасиею, когда Юрий узнал, как был любим, то все мужество его поколебалось.

— Довольно,— сказал он прерывающимся голосом,— довольно!.. Я не хочу знать ничего более.

— Как хочешь, боярин,— отвечал Кирша, взглянув с удивлением на Милославского.

— Несчастный! мог ли я думать, что блаженнейший час в моей жизни будет для меня божьим наказанием!.. Не говори... не говори ничего более!

— Я и так молчу, боярин.

— Ах, Кирша! зачем ты сказал мне!.. Какой ангел тьмы внушил тебе мысль...

— Виноват, Юрий Дмитрич! я думал тебя порадовать: Анастасья Тимофеевна...

— Молчи!.. не произноси никогда этого имени!

— Слушаю, боярин.

— Не напоминай мне никогда... или нет, расскажи мне все! Что она говорила с тобою?.. Знает ли она, что я крушусь по ней, что белый свет мне опостылел?..

— Как же! Она ожила, когда узнала, что ты ее любишь. Вспомнить не могу, так слезы ручьем и полились...

— Боже мой, боже мой!

— Зарыдала, принялась молиться богу...

— Перестань, Кирша... перестань!..

— Да помилуй, боярин,— сказал запорожец, не понимая истинной причины горести Милославского,— отчего ты так кручинишься? Во-первых, и то слава богу, что ты узнал наконец, кто такова твоя незнакомая красавица; во-вторых, почему ты ей не суженый? Ты знаменитого рода, богат, молодец собою; она помолвлена за пана Гонсевского, а все-таки этой свадьбы не бывать. Припомни мое слово: скоро ни одной приходской церкви не останется во владении у гетмана и он, со своей польской ордою, не будет сметь из Кремля носа показать. Все православные того только и ждут, чтоб подошла рать из низовых городов, и тогда пойдет такая ножовщина... Да что и говорить!.. Если все русские примутся дружно, так где стоять ляхам! Много ли их?.. шапками закидаем!

— Ты забыл, Кирша, что я целовал крест Владиславу.

— Эх, боярин! ну если вы избрали на царство королевича польского, так что ж он сидит у себя в Кракове? Давай его налицо! Пусть примет веру православную и владеет нами! А то небойсь прислали войско да гетмана, как будто б мы присягали полякам! Нет, Юрий Дмитрич, видно по всему, что король-то польский хочет вас на бобах провести.

Никогда еще Юрию не приходила в голову эта

мысль, и хотя она выражена была несколько грубо, но поразила его своею истиною.

— Ах, Кирша! — вскричал он с восторгом.— Я позабыл бы все мое горе, если б мог увериться в истине слов твоих!.. Но, к несчастию, это одни догадки; а я клялся быть верным Владиславу,— прибавил Юрий, и сверкающий, исполненный мужества взор, ожививший на минуту угрюмое чело его, потух, как потухает на мрачных осенних небесах мгновенный блеск полуночной зарницы.

Меж тем наши путешественники подъехали к деревне, в которой намерены были остановиться. Крайняя изба показалась им просторнее других, и хотя хозяин объявил, что у него нет ничего продажного, и, казалось, не слишком охотно впустил их на двор, но Юрий решился у него остановиться. Кирша взялся убрать коней, а Алексей отправился искать по другим дворам для лошадей корма, а для своего господина горшка молока, в котором хозяин также отказал проезжим.

Может быть, кто-нибудь из читателей наших захочет знать, почему Кирша не намекнул ни Юрию, ни Алексею о предстоящей им опасности, тем более что главной причиною его побега из отчины Шалонского было желание предупредить их об этом адском заговоре? Но дорогою он передумал. Счастливый случай открыл ему сердечную тайну Милославского и прекрасной Анастасии, а вместе с этим поселил в душе его непреодолимое желание во что б ни стало соединить двух любовников. Мы говорили уже, что он полагал почти священной обязанностию мстить за нанесенную обиду и, следовательно, не сомневался, что Юрий, узнав о злодейском умысле боярина Кручины, сделается навсегда непримиримым врагом его, то есть при первом удобном случае постарается отправить его на тот свет. Хотя Кирша был и запорожским казаком, но понимал, однако ж, что нельзя было Юрию в одно и то же время мстить Шалонскому и быть мужем его дочери; а по сей-то самой причине он решился до времени молчать, не упуская, впрочем, из виду главнейшей своей цели, то есть спасения Юрия от грозящей ему опасности.

Юрий, войдя в избу, спросил хозяина, кому принадлежит пегая лошадь, которую он заметил, проходя двором.

— Проезжий, батюшка,— отвечал хозяин,— едет из Казани в Нижний.

— Да где же он?

— Вышел поискать себе съестного. У меня и хлеба-то вдоволь нет; дней пять тому назад нагрянула ко мне целая ватага шишей: * все приели; слава тебе господи! что голова на плечах осталась!

— А разве и здесь эти разбойники водятся?

— Недавно показались. Послушаешь их, так они-то одни и стоят за веру православную; а попадись им в руки хоть басурман, хоть поляк, хоть православный, все равно — рубашки на теле не оставят.

— Так поэтому теперь опасно ездить по вашей дороге?

— Нет, батюшка, господь милостив! До этих храбрецов дошла весть, что верстах в тридцати отсюда идет польская рать, так и давай бог ноги! Все кинулись назад, по Волге за Нижний, и теперь на большой дороге ни одного шиша не встретишь.

— Вот, боярин, молоко: кушай на здоровье! — сказал Алексей, войдя в избу.— Ну, деревенька! Словно после пожара — ничего нет! Насилу кой-как нашел два горшочка молока у одной старухи. Хорошо еще, что успел захватить хоть этот; а то какой-то проезжий хотел оба взять за себя. Хозяин, дай мне хоть хлебца! да нет ли стаканчика браги? одолжи, любезный!

Когда Кирша вошел опять в избу, хозяин поставил на стол деревянный жбан с брагою и положил каравай хлеба. К счастию, наши путешественники так хорошо были угощены накануне, что почти вовсе могли обойтись без обеда. К тому же Юрий отказался от еды, и хотя сначала Алексей уговаривал его покушать и не дотрагивался до молока, но наконец, видя, что его господин решительно не хочет обедать, вздохнул тяжело, покачал головою и принялся вместе с Киршею так усердно работать около горшка, что в два мига в нем не осталось ни капли молока. Окончив эту умеренную трапезу, Алексей вышел вон из избы и минут через пять прибежал назад как бешеный. Никогда еще Милославский не видал своего смирного Алексея в таком необычайном расположении духа; он почти был уверен, что

* Так прозвали поляки буйные толпы не подчиненных никакому порядку русских партизанов, или охотников, которых можно уподобить испанским гверилласам.

этот тихий малый во всю жизнь свою не сердился ни разу, и потому не удивительно, что с некоторым беспокойством спросил: что с ним случилось?

— Что со мной случилось, боярин! — отвечал, запыхавшись, Алексей.— Черт бы ее побрал! Старая колдунья!.. Ведьма киевская!.. Слыхано ли дело!.. Живодерка проклятая!

— Да кто? На кого ты так озлился?

— Ну, есть ли в ней Христос — пять алтын!.. Да стоит ли она сама, с внучатами, с коровою и со всеми своими животами, пяти алтын! Ах, старая карга!.. Смотри пожалуй, пять алтын!

— Скажешь ли ты мне наконец?..

— Как бы знато да ведано, так я лучше подавился бы сухою коркою, чем хлебнул хоть ложку ее снятого молока! Как ты думаешь, боярин? Эта старушонка просит за свой горшочек молочишка пять алтын!.. Пять алтын, когда за две копейки можно купить целую корчагу сливок!

— Ты сам виноват, Алексей: зачем не торговался?

— Да кому придет в голову... беззубая жидовка!..

— О чем тут кричать? Заплати ей, что она требует, так и дело с концом!

— Нет, боярин, хоть убей меня на этом месте...

— Алексей! я не люблю приказывать десять раз одно и то же.

— Ну, как хочешь, боярин,— отвечал Алексей, понизив голос.— Казна твоя, так и воля твоя; а я ни за что бы не дал ей больше копейки... Слушаю, Юрий Дмитрич,— продолжал он, заметив нетерпение своего господина.— Сейчас расплачусь.

— Позволь мне заплатить ей, боярин! — сказал Кирша,— разумеется, твоими деньгами.

— Пожалуй.

— Давай-ка пять алтын, Алексей. Да, кстати, вот, никак, она сама изволит сюда идти.

Старуха, в изорванной кичке и толстом сером зипуне, вошла в избу, перекрестилась и, поклонясь низехонько на все четыре стороны, сказала Алексею:

— Ну что ж, мой кормилец, не держи меня, рассчитывайся.

— Вот я с тобой рассчитаюсь, тетка,— сказал запорожец,— а он ничего не знает. Поди-ка сюда! Ты просишь пять алтын за твое молоко?

— Да, батюшка, пять алтын. Прошу не погневаться: я в своем добре вольна...

— Знаю, мой свет, знаю. Вот пять алтын — получай!

Старуха с жадностию схватила деньги и принялась их считать.

— Ну что, так ли? — спросил запорожец.

— Так, батюшка!

— Все ли ты сполна получила?

— Все, отец мой!

— Слышишь, хозяин? Будь свидетелем. Ну, тетка, глупа же ты!

— А что, мой кормилец?

— Ах ты дура неповитая! ну те ли времена, чтоб продавать горшок молока по пяти алтын? Мы нигде меньше рубля не платили.

— Как так, батюшка?

— Да так. Опростоволосилась, голубушка, вот и все тут!

— Не меньше рубля! — повторила старуха, всплеснув руками.— Ах я глупая! Все-то нас, бедных, обманывают...

— И, тетка, на то в море щука, чтоб карась не дремал!

— Не грех ли вам обижать старуху!

— Да чем мы тебя обижаем? Что запросила, то и даем.

— Бог вам судья, господа честные, обманывать круглую сироту!

— Какая ты сирота! — закричал Алексей.— У тебя вся изба битком набита внучатами.

— Да, батюшка, мал мала меньше!

— Что ты врешь! Меньшой-то внук целой головой меня выше. Пошла вон, старая хрычовка!

— Пойду, батюшка, пойду! что ты гонишь! Прощенья просим!.. Заплати вам господь и в здешнем и в будущем свете... чтоб вам ехать, да не доехать... чтоб вы...

— Ну, ну, проваливай! — перервал Алексей, выталкивая за дверь старуху.— Что тебе вздумалось сказать этой ведьме,— продолжал он, обращаясь к Кирше,— что мы платим везде по рублю за горшок молока?

— Как что! — отвечал запорожец.— Да знаешь ли, что она теперь недели две ни спать, ни есть не будет с горя; а сверх того, первый проезжий, с которого

она попросит рубль за горшок молока, непременно ее поколотит... Ну, вот посмотри: не правду ли я говорю?

В самом деле, какой-то проезжий, с которым старуха повстречалась у ворот избы, сказав с ней несколько слов, принялся таскать ее за волосы, приговаривая: «Вот тебе рубль! вот тебе рубль!..» Потом, бросив ей небольшую медную монету, вошел на двор. Кирша смотрел с большим примечанием на этого проезжего: и подлинно, наружность его обратила бы на себя внимание самого нелюбопытного человека. Он был необычайно высок, но вместе с тем так плотен и широк в плечах, что казался почти среднего роста; не только видом, но даже ухватками он походил на медведя, и можно было подумать, что небольшая, обросшая рыжеватыми волосами голова его ошибкою попала на туловище, в котором не было ничего человеческого. Лицо его выражало какое-то бездушное спокойствие; небольшие, прищуренные глаза казались заспанными, а голос напоминал дикий рев животного, с которым он имел столь близкое сходство. Этот уродливый великан, войдя в избу, поклонился нашим путешественникам и промычал:

— Доброго здоровья, господа проезжие!

Кирша вздрогнул и стал еще внимательнее рассматривать незнакомца.

— Откуда едешь, любезный? — спросил Юрий.

— Из Казани, боярин.

— В Нижний Новгород?

— Да, в Нижний.

— Так ты нам попутчик?

— Если ваша милость дозволит, так я от вас не отстану. Хоть, правда, ничего дурного не слышно, а все-таки больше народу — едешь веселее.

— Посмотри, добрый человек,— сказал хозяин Кирше,— из ваших коней один сорвался; чтоб со двора не сбежал.

Кирша поспешил выйти на двор. В самом деле, его Вихрь оторвался от коновязи и подбежал к другим лошадям; но, вместо того чтоб с ними драться, чего и должно было ожидать от такого дикого коня, аргамак стоял смирнехонько подле пегой лошади, ласкался к ней и, казалось, радовался, что был с нею вместе.

— Ого,— сказал Кирша,— так вы с одной конюш-

ни!.. Вот что!.. Видно, я не ошибаюсь: не издалека этот казанец едет.

Привязав опять на прежнее место своего коня, он возвратился в избу, подсел к проезжему, попотчевал его брагою и спросил, давно ли он из Казани.

— Близко недели,— отвечал проезжий.

— Знатный городок! — продолжал запорожец.— Я живал в нем месяцев по шести сряду, и у меня есть там задушевный приятель. Не знавал ли ты купца из мясного ряда, по имени Кирила Степанова?.. а по прозванью... как бишь его?.. дай бог память! тьфу, батюшки!.. такое мудреное прозвище... вспомнить не могу!

Тут Кирша призадумался, начал почесывать в голове, топал ногою от нетерпения и, дав незнакомому заговорить с Юрием, который стал расспрашивать его о Казани, вдруг вскрикнул: «Омляш!» Проезжий вздрогнул и быстро повернулся к Кирше.

— Да, да,— продолжал казак, не обращая, по-видимому, никакого внимания на приметный испуг проезжего,— вспомнил! Омляш... или нет... Бурдаш, что ль?.. как-то этак. Не знавал ли ты, брат, этого купчину?

— Нет,— отвечал отрывисто проезжий, поглядев пристально на запорожца, который примолвил весьма спокойно:

— Жаль, товарищ, что ты его не знаешь. Вот уж близко года, как я с ним расстался. Что-то он, сердечный, поделывает? Говорят, будто торжишка его худо идет?

— Почему мне знать! — отвечал проезжий грубым голосом.— Если, боярин,— продолжал он, обращаясь к Юрию,— ты хочешь засветло приехать в Нижний, то мешкать нечего: чай, дорога плоха, а до города еще не близко.

— За нами дело не станет,— сказал Алексей.— Мы поели, лошади также, хоть сейчас в дорогу.

— Ступайте же, ребята,— примолвил Кирша,— да седлайте коней, а я мигом буду готов.

Проезжий и Алексей вышли из избы.

— Послушай-ка, Юрий Дмитрич,— сказал запорожец,— пистолет-то у тебя знатный, да заряжен ли он?

— А что?

— Да так, боярин: дорожным людям дремать не надобно.

— Разве ты опасаешься чего-нибудь?

— Времена такие, Юрий Дмитрич. Конечно, никто как бог, да недаром же пословица в народе: «Береженого и бог бережет».

Выходя вон из избы, Кирша повстречался в сенях с хозяином и спросил его:

— Далеко ли до Нижнего?

— Верст двадцать с походом,— отвечал хозяин.

— Мне помнится, есть овраги?

— Всего один. На половине дороги будет часовня: тут годов с пяток назад потеряли трех нижегородских купцов; а версты полторы за часовней придет овражек, да небольшой.

— Нельзя ли миновать?

— Нет-ста, не минуешь. Правда, от часовни пойдет старая дорога в город; да по ней давно уже не ездят.

— Что так?

— Буерак на буераке, и, бывало, в осеннее время вовсе проезду нет.

Кирша пошел седлать своего коня, и через четверть часа наши путешественники отправились в дорогу. Алексей не отставал от своего господина; а запорожец, держась левой стороны проезжего, ехал вместе с ним шагах в десяти позади. Несколько уже раз незнакомый посматривал с удивлением на его лошадь.

— Кой черт! — сказал он наконец,— чем больше я смотрю... Да где ты добыл этого коня?

— А на что тебе?

— Если б только он был побойчее, так я бы в него вклепался: я точь-в-точь такого же коня знаю... ну вот ни дать ни взять, и на лбу такая же отметина. Правда, тот не пошел бы шагом, как этот... а уж так схожи меж собой, как две капли воды.

«Ага! — сказал про себя Кирша,— признал боярского коня, господин казанец!»

— Чему дивиться? — примолвил он громко.— Человек в человека приходит, а конь и подавно.

Тут дорога, которая версты две извивалась полями, повернула налево и пошла лесом. Кирша попевал беззаботно веселые песни, заговаривал с проезжим, шутил; одним словом, можно было подумать, что он совершенно спокоен и не опасается ничего. Но в то же время малейший шорох возбуждал все его внимание: он приостанавливал под разными предлогами своего коня, бро-

сал зоркий взгляд на обе стороны дороги и, казалось, хотел проникнуть взором в самую глубину леса.

Около двух часов ехали они, не встречая никого и не замечая никаких признаков жилья; наконец вдали, подле самой дороги, стало виднеться что-то похожее на строение; но когда они подъехали ближе, то увидели вместо избы полуразвалившуюся большую часовню. Кирша осадил полегоньку свою лошадь и, проехав несколько шагов позади незнакомого, вдруг вскрикнул:

— Гей, товарищ! посмотри-ка, что у тебя на шапке!

Едва проезжий успел схватить ее с головы, как от сильного удара нагайкою у него посыпались искры из глаз. Он выхватил из-за пазухи длинный нож; но Кирша повторил удар — незнакомый зашатался и упал с лошади. С быстротою птицы запорожец спрыгнул с коня, кинулся на лежачего и, прежде чем он мог очнуться, скрутил ему назад руки собственным его кушаком.

— Что ты, разбойник! — вскричал Алексей.

— Разбойник-то лежит,— отвечал спокойно Кирша, затягивая узел.

— С чего ты взял?.. почему ты знаешь?..— спросил торопливо Юрий.

— А потому знаю, что слышал своими ушами, как этот душегубец сговаривался с такими же ворами тебя ограбить. Нас дожидаются за версту отсюда в овраге... Ага, собака, очнулся! — сказал он незнакомцу, который, опомнясь, старался приподняться на ноги.— Да не уйдешь, голубчик! с вашей братьей расправа короткая,— прибавил он, вынимая из ножен саблю.

— Стой, Кирша! Я не допущу тебя! — вскричал Юрий.— Ну, если ты ошибаешься...

— Эх, боярин! Коли не веришь мне, так посмотри хорошенько на эту рожу. Ну можно ли с такой образиной не быть разбойником?

— Побойтесь бога! что я вам сделал? — прохрипел незнакомый.

— Что, брат, заговорил! — перервал запорожец.— Так говори же все! Если ты покаешься, мы тебя помилуем; а если нет, так прощайся навсегда с белым светом! Сказывай, много ли у тебя товарищей в засаде?

— Помилуйте! каких товарищей?

— Слушай, Омляш! — закричал грозным голосом Кирша.— Я знаю тебя... говори правду!

Незнакомый с ужасом взглянул на запорожца, но не отвечал ни слова.

— Так, видно, брат, с тобой один конец,— сказал Кирша, обнажив свою саблю.— Я не хочу губить твоей души — молись богу!

— Постой! — вскричал незнакомый.

— Нет! нам некогда с тобой растабарывать: кайся проворней в грехах, или... так и быть!.. В последний раз,— примолвил Кирша, подняв свою саблю,— говори сейчас, сколько у тебя товарищей?

— Шестеро,— прошептал разбойник.

— Слышишь, боярин? — сказал Кирша.— Счастлив ты, что я дал тебе слово... Делать нечего, околевай своей смертью, проклятый! Помогите мне привязать его к дереву; да нет ли у вас чем-нибудь заткнуть ему глотку, а то, как мы отъедем, он подымет такой рев, что его за версту услышат.

Алексей вынул из кисы платок и, пособляя Кирше привязать к дереву разбойника, спросил: для чего он не предуведомил их об этом в деревне?

— Я боялся, что вы не сумеете притвориться,— отвечал запорожец.— Этот вор как раз смекнул бы делом, дал тягу — и мы верно бы их рук не миновали.

— Но мы и теперь их не минуем,— сказал Юрий.

— Авось, боярин! Бог милостив! — примолвил Кирша, садясь на лошадь.— Здесь есть другая дорога. Говорят, она больно плоха, да все лучше: зато остановки не будет.

Кирша поехал вперед. Подле самой часовни дорога делилась надвое: та, которая шла направо, едва была заметна и походила более на межевую просеку, чем на большую дорогу. Кирша повернул по ней и, пробираясь с большим трудом сквозь кустарник, пеньки и кучи валежника, медленно подвигался вперед; глубокие рытвины и крутые овраги встречались им почти на каждом шагу, и только изредка на проталинах едва заметные колеи означали проезжую дорогу. С полчаса ехали они, не говоря ни слова; вдруг налево послышался отдаленный свист; ближе к ним отвечали тем же. Кирша остановился и скинул шапку. Несколько минут, подобно истукану, он пробыл в этом неподвижном положении. Едва заметно было, что он переводит дух; казалось, ни один волос не пошевелился на голове его во все время, как он прислушивался к свисту.

— Ну, боярин,— сказал он, надевая шапку,— мы, точно, их миновали. Теперь надобно выбираться опять на большую дорогу; а не то мы заедем в такую трущобу, что как раз загубим всех коней.

Путешественники стали держаться левой стороны; хотя с большим трудом, но попали наконец на прежнюю дорогу и часа через два, выехав из лесу, очутились на луговой стороне Волги, против того места, где впадает в нее широкая Ока. Огромные льдины неслись вниз по ее течению; весь противоположный берег усыпан был народом, а на утесистой горе нагорной стороны блестели главы соборных храмов и белелись огромные башни высоких стен знаменитого *Новагорода Низовския земли.*

III

Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними; но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. Кругом их не заметно было никакого жилья, кроме пустых сараев и небольших рыбачьих хижин без дворов, по-видимому также необитаемых. Проехав с версту по берегу реки, путешественники увидели наконец избу, перед которою стояло человек двадцать рыбаков; все они смотрели с большим вниманием на противоположный берег.

— Глянь-ка, боярин,— сказал Алексей,— вон там, у пристани, никак, человек идет по реке... так и есть! Ах, батюшки светы! кого это нелегкая понесла! Смотри, смотри!.. ну... поминай как звали!

В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов двадцать от противоположного берега, провалился сквозь лед и утонул в виду множества любопытных, которые толпились на переправе.

— Ах, боже мой! — вскричал Юрий.— Зачем пускают этот народ?..

— А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит: где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать.

Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них,

седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохожий не мог бы утонуть, если б был легче на ногу.

— Да, ребята,— говорил он,— все дело в сноровке, а то как не перейти! Льдины толстые, хоть кого подымут!

— Эх, Пахом Кондратьич! — возразил один молодой рыбак.— Какая теперь ходьба! Разве — прости господи! — какой ни есть полоумный сунется.

— Ох вы, молокососы! — сказал седой старик, покачивая головою.— Не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходят по льдинам. У нас, бывало, это плевое дело!.. Да, правду-матку сказать, и народ-то не тот был.

— Что ты, дедушка, больно расхвастался! — перервал Кирша.— Неужели-то на святой Руси все молодцы повывелись?

— Нет, господин проезжий,— отвечал старик, махнув рукою,— не видать мне таких удальцов, какие бывали в старину! Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас выискался бы охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку; а теперь небойсь — дожидайтесь! Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкою?

— Я! — сказал один широкоплечий крестьянин.

— Ай да молодец! — вскричал Кирша.— Постой-ка! да ты, никак, крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк?

— А ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине?

— Ну да! Как ты сюда попал?

— Да так, горе взяло! Житья не было от приказчика; взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем, и ну придираться! За все про все отвечай Хомяк — мочушки не стало! До нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную; вот я помолился святым угодникам, да и тягу из села; а сирот господь бог не покинет.

— Послушай, молодец! — сказал Юрий.— Я не хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу!

— А почему нет, боярин? Смелым бог владеет! Авось перейду!

— А если ты утонешь?

— Что на роду написано, того не миновать. Дайте-ка мне багор.

— На, молодец! — сказал седой рыбак.— Да полно, за свое ли дело берешься?

— Авось! Бог милостив!

— Нет, я не допущу тебя!..— вскричал Юрий.

— Ой ли! Так лови ж меня, боярин! — сказал Хомяк, перепрыгнув через закраину.

— Держись правей! — закричал седой рыбак.— Вот так!.. Эй, смотри не становись на эту льдину, не сдержит!.. Ай да парень!.. Хорошо, хорошо!.. отталкивайся живей!.. багром-то, брат, багром!.. Не туда, не туда! постой!.. Ну, сбился!.. Не быть пути!..

— Ахти! — вскричал Алексей.— Сорвался... упал в воду!.. Ах, батюшки!.. тонет, сердечный!..

— Ну, ребята! — сказал старик.— Не правду ли я говорил?.. Что нынче за народ: ни силы, ни проворства... Смотрите! как ключ ко дну пошел.

— Вынырнул! — закричал Кирша.— Не робей, товарищ, не робей!

— Что толку, что вынырнул! — возразил седой рыбак.— Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки, так смелостью не возьмешь...

— Кондратьич! Кондратьич! — закричал один из молодых рыбаков.— Глядь-ка... справился!

— И впрямь справился... Смотри пожалуй!

— Эва, как пошел!..— продолжал молодой парень.— Со льдины на льдину!.. Ну, хват детина!.. А что ты думаешь... дойдет, точно дойдет!

— Бог весть! — сказал старик, покачивая головою.— Вишь, какой торопыга! словно по полю бежит! Смотри, вплавь пошел!.. Дело!.. дело!.. Лихо, молодец!.. Знатно!.. Вот это по-нашенски!

Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил усилия, перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже, и наконец, борясь ежеминутно с смертию, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, оборотясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощаник отчалил от берега и, пристав к тому ме-

сту, где дожидались проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностию на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа; но его уже не было на пристани. Заплатя щедрою рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома-Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея.

Чтоб подняться на гору, Милославский должен был проехать мимо Благовещенского монастыря, при подошве которого соединяется Ока с Волгою. Приостановясь на минуту, чтоб полюбоваться прелестным местоположением этой древней обители, он заметил полуодетого нищего, который на песчаной косе, против самых монастырских ворот, играл с детьми и, казалось, забавлялся не менее их. Увидев проезжих, нищий сделал несколько прыжков, от которых все ребятишки померли со смеху, и, подбежав к Юрию, закричал:

— Здравствуй, Дмитрич!

— А! Митя, ты здесь! Когда ты успел?!

— Эко диво... Шел, шел, да и пришел. Завтра, брат, здесь пир во весь мир, так я торопился.

— Какой пир?

— А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердечный! Для всех будет праздник, а для тебя будни.

— Как так, Митя?.. Разве я не православный?

— Вот то-то то и горе, Дмитрич: ты, чай, справляешь праздники по московским святцам?

— Я тебя не понимаю.

— Мало ли чего ты не понимаешь! Сам виноват: не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться!.. А у кого ты пристанешь, Дмитрич?..

— У боярина Истомы-Туренина.

— Ай да хват!.. Смотри пожалуй! Из огня да в полымя!.. Ну, Дмитрич! держи ухо востро!.. Ты, чай, знаешь, где сказано: «Будьте мудри яко змии и цели яко голубие»? Смотри не поддавайся! Андрюшка Туренин умен... поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку, другую... а как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким; да каково-то с похмелья будет!.. Станешь каяться, да поздно!

— Спасибо, Митя! Я не забуду твоих советов. Но мне пора...

— С богом, голубчик! ступай!.. Да слушай, молодец:

как будешь у Сергия, так помолись и за меня. Смотри не забудь!

Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками; а Милославский, поднявшись в гору, въехал Ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низки и некрасиво построены. В небольшой передней комнате встретился Юрию опрятно одетый слуга, и когда Милославский сказал ему свое имя, то, попросив его пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину. Двери через минуту отворились, и хозяин с распростертыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю.

— Милости просим, Юрий Дмитрич! — воскликнул он, обнимая Милославского.— Добро пожаловать!.. Ну, мог ли я ожидать такой радости?! Сын друга моего!.. Милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках моих!.. Милославский у меня в дому!.. Ах, мой родимый! Да как же ты вырос!.. каким стал молодцом!.. Эй, Пармен!.. Никанор!! накрывайте на стол!.. Накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей. Да принесите сюда бутылочку имбирного меда... Садись, мой ясный сокол!.. Садись, мой красавец! Как две капли воды — вылитый батюшка... дай бог ему царство небесное! Кабы ты знал, Юрий Дмитрич, как мы были с ним дружны!..

— Не погневайся, Андрей Никитич! Я что-то не помню...

— Да как тебе и помнить! Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с твоим батюшкою. То-то был столбовой русский боярин! Терпеть не мог поляков! Бывало, как схватится с Кривым-Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси! Не то бы было, если б он еще здравствовал! Не пировать бы иноверцам на святой Руси!.. Эх! как подумаю, до чего мы дожили, Юрий Дмитрич,— примолвил боярин, утирая текущие из глаз слезы,— так сердце кровью и обливается!.. Прогневили мы, грешные, господа бога!..

Юрий не мог опомниться от удивления. Он не сомневался, что найдет в приятеле Шалонского поседевшего в делах, хитрого старика, всей душой привязанного к полякам; а вместо того видел перед собою человека лет пятидесяти, с самой привлекательной наруж-

ностию и с таким простодушным и откровенным лицом, что казалось, вся душа его была на языке и, как в чистом зеркале, изображалась в его ясных взорах, исполненных добросердечия и чувствительности. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем другой боярин Истома-Туренин; но хозяин, не дав ему времени сделать этот вопрос, продолжал:

— Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитрич!.. Уж, верно, недаром к нам пожаловал! Правду сказать, здесь только православные и остались; кабы не Нижний Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела!.. Помоги вам господь!

— Да, Андрей Никитич,— отвечал Юрий,— я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский.

— Приятель твой, пан Гонсевский! — вскричал Истома, вскочив со скамьи.

— А вчера я ночевал у боярина Кручины-Шалонского...

— У Тимофея Федоровича!.. И ты, Юрий Дмитрич Милославский?..

— Да, боярин! Я привез к тебе от Шалонского грамоту.

— Тише! Бога ради, тише! — прошептал Истома, поглядывая с робостию вокруг себя.— Вот что!.. Так ты из наших!.. Ну что, Юрий Дмитрич?.. Идет ли сюда из Москвы войско? Размечут ли по бревну этот крамольный городишко?.. Перевешают ли всех зачинщиков? Зароют ли живого в землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухорукова?.. Давнуть, так давнуть порядком,— примолвил он шепотом.— Да, Юрий Дмитрич, так, чтоб и правнуки-то дрожкой дрожали!

Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова от удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а непостижимая перемена всей его наружности: в одно мгновение не осталось на лице его и следов того простодушия и доброты, которые сначала пленили Милославского. Все черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу, он с таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан своих, что Юрий, отступив несколько шагов назад, готов был оградить себя крестным знамением. И подлинно, этот взор, который за минуту до того обворожил своим добродушием и вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд василиска, напоминал так живо *соблазнителя,* что набожный Юрий

едва удержался и не сотворил молитвы: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Меж тем хозяин продолжал делать ему вопрос за вопросом и, наконец, потеряв терпение, вскричал:

— Да отвечай же, Юрий Дмитрич! Что ты на меня так уставился?

— Я не могу надивиться, боярин... После первых речей твоих...

— То-то молодость, молодость!.. Да неужели ты думаешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского, так как же я мог говорить иначе?.. Но тише! Вот несут мед!.. Подай сюда, Никанор,— продолжал он, обращаясь к служителю.— Ну-ка, Юрий Дмитрич, выпьем за здравие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших поляков! Услышь господи грешные молитвы раба твоего! — примолвил Истома, устремив к небесам глаза свои, выражающие душевное смирение и усердную молитву.— Оставь кувшин здесь и ступай вон,— сказал он слуге, осушив до дна свой кубок.— Ну, теперь,— продолжал Истома, притворив плотно двери комнаты,— ты можешь, Юрий Дмитрич, смело отвечать на мои вопросы: никто не войдет.

— Да это напрасная предосторожность,— отвечал Юрий.— Мне нечего таиться: я прислан от пана Гонсевского не с тем, чтоб губить нижегородцев. Нет, боярин, отсеки по локоть ту руку, которая подымется на брата, а все русские должны быть братьями между собою. Пора нам вспомнить бога, Андрей Никитич, а не то и он нас совсем забудет.

— Как!.. Что это значит?..— вскричал Истома, изменившись в лице.

— Вот лист боярина Кручины,— прочти. Он, верно, пишет в нем, зачем я прислан и как намерен поступать.

Истома принял дрожащей рукою письмо и, прочтя его со вниманием, казалось, несколько ободрился.

— Теперь я вижу, о чем идет дело,— сказал он.— Ты прислан от пана Гонсевского миротворцем. Ведь ты целовал крест королевичу Владиславу?

— Да,— отвечал отрывисто Юрий.

— Так, в самом деле, чего же лучше! Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы, а твоего покойного родителя; может статься, пример твой на них и подействует. Дай-то господи! Досадуя на

их упорство, иногда кажется, вот так бы и запалил с четырех концов весь город!.. А как подумаешь да размыслишь, что они такие же православные, так и жаль станет. Эх, Юрий Дмитрич! все мы таковы!.. Не по-нашему делается, так на первых порах вот так бы и съел, а дойдет до чего-нибудь — хвать, ан и сердца вовсе нет! Вот хоть теперь: ты, чай, думаешь, куда, дескать, Истома-Туренин зол!.. всех хочет вешать да живых в землю закапывать!.. И, мой родимый!.. Дай-ка мне в самом деле волю, так и бешеной собаки не повешу... Свое ведь, батюшка, родное!

— Я очень рад, боярин, что ты одних со мною мыслей и, верно, не откажешься свести меня с почетными здешними гражданами. Может быть, мне удастся преклонить их к покорности и доказать, что если междуцарствие продолжится, то гибель отечества нашего неизбежна. Без головы и могучее тело богатыря...

— Все, конечно, так! — прервал Истома,— не что иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов и плотоядных зверей!.. Правда, королевич Владислав молоденек, и не ему бы править таким обширным государством, каково царство Русское; но зато наставник-то у него хорош: премудрый король Сигизмунд, верно, не оставит его своими советами. Конечно, лучше бы было, если б мы все вразумились, что честнее повиноваться опытному мужу, как бы он ни назывался: царем ли русским или польским королем, чем незрелому юноше...

— А кто здесь управляет делами? — перервал Юрий, желая прекратить разговор, возмущающий его душу.

— Да как тебе сказать: здесь много теперь именитых воевод и бояр,— отвечал Туренин,— но сила-то не в них, а знаешь ли в ком?.. Стыдно сказать, Юрий Дмитрич! Добро бы наш брат боярин или родовой дворянин; а то какой-то смерд, бобыль [9], простой мясник... срам и позор для всей земли русской! Этот серокафтанник помыкает целым городом: что сказал Козьма Минич Сухорукий, то и свято. Вперед знаю, когда ты будешь совещаться с здешними сановниками, то и его позовут; и что ж ты думаешь: этот холоп, отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, Юрий Дмитрич, начнет орать пуще всех!.. Вот до чего мы дожили!

— Однако ж, боярин, видно, этот мясник чем ни есть заслужил такую доверенность своих сограждан?

— Вестимо чем: он мужик ражий, голос как из бочки; а на площади, меж глупого народа, тот и прав, кто горланит больше других.

— Когда же я могу иметь свидание с здешними сановниками?

— Завтра мы сберемся все для этого у князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского.

— И ты надеешься, что слова мои подействуют?

— Бог весть. Начнут, пожалуй, говорить, зачем королевич Владислав не едет в Москву? зачем поляки разоряют нашу землю? зачем король Сигизмунд берет Смоленск? зачем то, зачем другое? Всего не переслушаешь. А кто корень всему злу?.. Бывший патриарх Гермоген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек всем умным боярам. Да вот хоть при пострижении в иноки Василья Шуйского: он один его отстаивал, и когда Шуйский не стал отвечать во время обряда и родственник мой, князь Василий Туренин, произносил за него все обеты, то знаешь ли, что сделал Гермоген? Провозгласил на эктинье Шуйского благоверным царем русским, а родственника моего, Туренина,— новопостриженным иноком Василием! Каково это тебе покажется?.. Да что и говорить! Сами виноваты: ведь охота же была мирволить! Как бы с первых поров святейшего Игнатия опять в патриархи, а Гермогена на смирение в Соловки, так давным бы давно все пришло в порядок.

— Не все так думают о святейшем Гермогене, боярин; я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. Если б мы все так любили наше отечество, как сей благочестивый муж, то не пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных... Но что прошло, того не воротишь.

— Конечно, что прошло, то прошло!.. Но вот нам несут поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы! Чем богаты, тем и рады: сегодня я ем постное. Ты, может быть, не понедельничаешь, Юрий Дмитрич? И на что тебе! Не все должны с таким упорством измозжать плоть свою, как я — многогрешный. Садись-ка, мой родимый, да похлебай этой ушицы. Стерляжья, батюшка! У меня свой садок, и не только стерляди, осетры никогда не переводятся.

После сытного ужина, за которым хозяин не слишком изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с боярином, пошел в отведенный ему покой. Алексей ска-

зал ему, что Кирша ушел со двора и еще не возвращался. Милославский уже ложился спать, как вдруг запорожец вошел в комнату.

— Я пришел проститься с тобою, боярин! — сказал он.— Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь.

— Дай бог тебе всякого счастия, добрый Кирша! Я никогда не забуду услуг твоих!

— Я также, боярин, вечно стану помнить, что без тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы тебя не покинул. А что, Юрий Дмитрич! неужли-то у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православным? Эй, останься здесь, боярин!

Юрий вздохнул и не отвечал ни слова. Помолчав несколько времени, он спросил Киршу: при чем он остается в Нижнем?

— Я встретил на площади,— отвечал запорожец,— казацкого старшину, Смагу-Жигулина, которого знавал еще в Батурине; он обрадовался мне, как родному брату, и берет меня к себе в есаулы. Кабы ты знал, боярин, как у всех ратных людей, которые валом валят в Нижний, кипит в жилах кровь молодецкая! Только и думушки, чтоб идти в Белокаменную да порезаться с поляками. За одним дело стало: старшего еще не выбрали, а если нападут на удалого воеводу, так ляхам несдобровать!

— Но разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые целовали крест Владиславу, не станут защищать своего законного государя?

— Да ведь присяга-то была со всячинкою, Юрий Дмитрич: кто волею, кто из-под палки!

— Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения пана Гонсевского, и когда Владислав сдержит свое царское слово и приедет в Москву...

— Так не за что будет и драться... Оно так, боярин! да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же пахать, в самом деле!

— А для чего же и не так! Одни разбойники живут бедствиями мирных граждан. Нет, Кирша: пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр и упитанных кровию нашей грабителей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не стало с их разбойничьими шайками, если б русские не враждовали сами друг на друга.

— Может статься, ты и дело говоришь, Юрий Дмитрич,— сказал Кирша, почесывая голову,— да удальство-то нас заело! Ну, как сидеть весь век поджавши руки? С тоски умрешь!.. Правда, нам, запорожцам, есть чем позабавиться: татары-то крымские под боком, а все охота забирает помериться с ясновельможными поляками... Однако ж, боярин, тебе пора, чай, отдохнуть. Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то сходбище; чай, и ты захочешь послушать, о чем нижегородцы толковать станут.

Милославский распрощался с Киршею и, несмотря на усталость, провел большую часть ночи, размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе не завидным. Как ни старался Юрий уверить самого себя, что, преклонив к покорности нижегородцев, он исполнит долг свой и спасет отечество от бедствий междоусобной войны, но, несмотря на все убеждения холодного рассудка, он чувствовал, что охотно бы отдал половину своей жизни, если б мог предстать пред граждан нижегородских не посланником пана Гонсевского, но простым воином, готовым умереть в рядах их за свободу и независимость России.

IV

Заря еще не занималась; все спало в Нижнем Новгороде; во всех домах и среди опустелых его улиц царствовала глубокая тишина; и только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукою в чугунные доски, прерывали молчание ночи. В этот час, посвященный всеобщему покою, какой-то человек высокого роста, закутанный с ног до головы в черный охабень, пробирался, как ночный тать, вдоль по улице, стараясь приметным образом держаться как можно ближе к заборам домов. Казалось, малейший шорох пугал его: он останавливался, робко посматривал вокруг себя и наконец, подойдя к калитке дома боярина Туренина, тихо стукнул кольцом. Подождав несколько времени, он повторил этот знак, и когда услышал, что кто-то подходит к калитке, то, свистнув два раза, отошел прочь. Через минуту вышел на улицу человек небольшого роста с фонарем; высокий незнакомец, сняв почтительно свою шапку, открыл голову, обвязанную полотном, на котором приметны были кровавые пятна. Они погово-

рили с полчаса между собою; потом человек небольшого роста, в котором нетрудно было узнать хозяина дома, вошел опять на двор, а незнакомец пустился скорыми шагами по улице, ведущей вниз горы.

Темно-голубые небеса становились час от часу прозрачнее и белее; величественная Волга подернулась туманом; восток запылал, и первый луч восходящего солнца, осыпав позлащенные главы соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и прогремел по всей земле русской первый общий клик: «Умрем за веру православную и святую Русь!»

Солнце взошло, но тишина и молчание царствовали еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне первый удар колокола, за ним другой, вот третий... все чаще, все сильнее... призывный гул промчался по всей окрестности, и — все ожило в Нижнем Новгороде.

— Ахти, никак, пожар! — вскричал Алексей, вскочив с своей постели. Он подбежал к окну, подле которого стоял уже его господин.— Что б это значило? — продолжал он.— К заутрени, что ль?.. Нет! Это не благовест!.. Точно... бьют в набат!.. Ну, вот и народ зашевелился!.. Глядь-ка, боярин!.. все бегут сюда... Эк их высыпало!.. Да этак скоро и на улицу не продерешься!

— Одевайся, Юрий Дмитрич,— сказал Истома-Туренин, войдя в их покой.— Пойдем посмотреть, что там еще этот глупый народ затевает?

В две минуты Милославский и слуга его были уже совсем одеты. Они с трудом могли выйти за ворота дома; вся их улица, ведущая на городскую площадь, кипела народом.

— Тише, детушки, тише! — говорил, запыхавшись, один седой старик, которого двое взрослых внучат вели под руки.— Дайте дух перевести!

— Ну, отдохни, дедушка! — сказал один из внучат.— Да только поскорее, а то как опоздаем, так не продеремся к Лобному месту.

— И не услышим, что будет говорить Козьма Минич,— подхватил другой внук.— Ну что, отдохнул ли, родимый?

— Ух, батюшки!.. Погодите!.. Вовсе уморился!

— Напрасно, дедушка, ты не остался дома.

— Что ты, дитятко, побойся бога! Остаться дома,

когда дело идет о том, чтоб живот свой положить за матушку святую Русь!.. Да если бы и вас у меня не было, так я ползком бы приполз на городскую площадь.

— Постой-ка!.. Да вот и батюшка! — сказал первый внук.— Втроем-то мы тебя и на руках донесем.

Сын и двое внучат, подхватя на руки старика, пустились почти бегом по улице.

— Да что ж ты отстаешь, жена? — сказал, приостановясь, небольшого роста, но плотный посадский, оборотясь к толстой горожанке, которая, спотыкаясь и едва дыша от усталости, бежала вслед за ним.

— Задохнулась, Терентий Никитич... Видит бог, задохнулась!

— Вот то-то же! И зачем тебя нелегкая понесла! Сидела бы дома на печи...

— И, батюшка! Да разве я не хочу также послушать, о чем вы на площади толковать будете?

— Вестимо о чем: когда идти на супостатов.

— И ты пойдешь, Терентий Никитич?

— А как же? Разве я не такой же православный, как и все?..

— А ребятишки-то наши! На кого их покинешь?.. Ведь мал мала меньше!

— Да, жаль, что маленьки! Правда, старшему двенадцать годков, так он от меня не отстанет.

— Как, батюшка!.. Ты хочешь?..

— А что ж? Не подымет рогатины, так с ножом пойдет: авось хоть одного супостата на тот свет отправит: и то бы слава богу!

Тут новая толпа, хлынув рекою из поперечной улицы, увлекла с собою посадского и жену его.

Как бурное море, шумел и волновался народ на городской площади, бояре и простолюдины, именитые граждане и люди ратные — все теснились вокруг Лобного места; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание. Вдруг народ зашумел более прежнего, раздались громкие восклицания: «Вот Козьма Минич! Глядите, вон он!» — и человек средних лет, весьма просто одетый, но осанистый и видный собою, взошел на Лобное место. Оборотясь к соборным храмам, он трижды сотворил крестное знамение, поклонился на все четыре стороны, и по мановению руки его утихло все вокруг Лобного места; мало-помалу молчание стало распространяться по всей площади, шум отдалялся, глухой го-

вор бесчисленного народа становился все тише... тише... и чрез несколько минут лишенный зрения мог бы подумать, что городская площадь совершенно опустела.

— Граждане нижегородские! — начал так бессмертный Минин.— Кто из вас не ведает всех бедствий царства Русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи и очищения ниоткуда не чаем. Доколе злодеям и супостатам напоять землю русскую кровию наших братьев? Доколе православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане нижегородские! Потерпим ли мы, чтоб царствующий град повиновался воеводе иноплеменному? Предадим ли на поругание пречистый образ Владимирския божия матери и честныя, многоцелебныя мощи Петра, Алексия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву?.. Ответствуйте, граждане нижегородские!

— Нет, нет! — загремели тысячи голосов.— Идем к Москве! Не выдадим святую Русь!..

— Итак, во имя божие — к Москве!.. Но чтоб не бесплодно положить нам головы и смертию нашей искупить отечество, мы должны избрать достойного воеводу. Я был в Пурецкой волости у князя Димитрия Михайловича Пожарского; едва излечившийся от глубоких язв, сей неустрашимый военачальник готов снова обнажить меч и грянуть божиею грозой на супостата. Граждане нижегородские! хотите ли иметь его главою? люб ли вам стольник и знаменитый воевода, князь Димитрий Михайлович Пожарский?

— Хотим! хотим! он люб нам! — воскликнул народ, волнуясь час от часу более.

— Граждане и братии! — продолжал Минин.— Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояния земного? Нет, православные! Для содержания людей ратных отдадим все злато и серебро; а если мало и сего, продадим все имущества, заложим жен и детей наших... Вот все, что я имею! — продолжал он, бросив на Лобное место большой мешок, наполненный серебряной монетою.— И пусть выступит желающий купить мой дом — с сего часа он принадлежит не мне, а Нижнему Новгороду, а я сам, мы все, вся кровь наша — земскому делу и всей земле русской!

— Отдаем все наши имущества! Умрем за веру православную и святую Русь! — загремели бесчисленные

голоса.— Нарекаем тебя выборным от всея земли человеком! Храни казну нижегородскую! — воскликнул весь народ.

В эту минуту общего восторга разверзлись западные двери соборного храма Преображения господня, и печерский архимандрит Феодосий, в провожании многочисленного духовенства, во всем облачении, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышел на городскую площадь. Народ расступился, весь духовный синклит взошел на Лобное место. Раздался громкий благовест. Иереи запели собором: «Царю небесный! Утешителю душе истинный!» — и Минин, а вслед за ним все граждане преклонили колена. Когда ж, благословляя оружие христолюбивого войска, благочестивый архимандрит Феодосий, возведя к небесам взор, исполненный чистейшей веры, возгласил молитву: «Господи боже наш, боже сил! Сильный в крепости и крепкий во бранех...» — народ пал ниц, зарыдал, и все мольбы слились в одну общую, единственную молитву: «Да спасет господь царство Русское!» По окончании молебствия Феодосий, осенив животворящим крестом и окропив святой водою усердно молящийся народ, произнес вдохновенным голосом: «С нами бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами бог! Спешите, избранные господом, на спасение страждущей России! Как огонь палящий, предыдет сила господня пред вами, и посрамится враг нечестивый, и возрадуются сердца православных! Воины Христовы! не жалейте благ земных: слава нетленная ожидает вас на земле и вечное блаженство на небесах. Грядите, верные сыны России! грядите во имя господне! На вас благословение всех пастырей духовных! За вас святые молитвы страдальца Гермогена! Кто против вас? Кто против господа сил?»

О, как недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от своего земного усыпления! Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного, чистого восторга, который наполнял в сию торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего!

Все спешили по домам, чтоб сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, как вокруг Лоб-

ного места возвышались уже горы серебряных денег, сосудов и различных товаров: простой холст лежал подле куска дорогой парчи, мешок медной монеты — подле кошелька, наполненного золотыми деньгами. Гражданин Минин принимал все с равной ласкою, благодарил всех именем Нижнего Новгорода и всей земли русской, и хотя несколько сот рабочих людей переносили беспрестанно эти дары в приготовленные для сего кладовые на берегу Волги, но число их, казалось, нимало не уменьшалось.

Старинный наш знакомец, Алексей, находился также в толпе граждан, которые теснились с приношениями вокруг Лобного места. Обшарив свои карманы и не найдя в них ничего, кроме нескольких мелких монет, он снимал уже с себя серебряный крест, как вдруг кто-то, ударив его по плечу, сказал:

— Нет, брат! не расставайся с отцовским благословением: я положу и за тебя и за себя.

— А, это ты, Кирша! — сказал Алексей.— Как! и ты хочешь класть?

— Да, товарищ! Вот в этом мешочке все, что я накопил; да бог с ним! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще ревешь. Полно, брат; что ты расхныкался, словно малый ребенок!

— А ты сам разве не плачешь? — отвечал Алексей.

— Кто? я? Вот вздор какой! — вскричал запорожец, утирая рукавом свои глаза.— А что ты думаешь! — продолжал он.— Никак, в самом деле! Кой прах! что это, брат Алексей? Мне часто случалось у нас в Запорожской Сечи гулять и веселиться; пьешь, бывало, без просыпу целую неделю, и хоть нельзя сказать, чтоб было очень весело, а пляшешь и поешь с утра до вечера. Теперь же, ну веришь ли богу, так сердце от радости выскочить и хочет, а вовсе не до песен: все бы плакал... да и все так же, на кого ни посмотришь... что за диво такое!

В самом деле, все многолюдное собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство; не слышно было громких восклицаний: проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской любовию обнимали друг друга... Но кто этот отверженный?.. Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с отчаяньем на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев?..

Ах, это Юрий Милославский! Это тот, кто отдал бы тысячу жизней за то, чтоб воскликнуть вместе с другими: «Умрем за веру православную и святую Русь!» Несмотря на приглашение боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричал громче всех: «Идем к матушке Москве!» — Юрий не хотел подойти вместе с ним к Лобному месту. Он не видел Минина, не слышал слов его; но видел общий восторг народа, видел радостные слезы, усердные мольбы всех русских и, как отступник от веры отцов своих, не смел молиться вместе с ними. Ему казалось, что каждый гражданин нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать: «Презренный раб Владислава! чего ты хочешь от свободных сынов России?.. Беги! не оскверняй своим присутствием сие священное торжество веры и любви к отечеству! Ты не русский, ты не сын Милославского!» Тут вспомнил Юрий последние слова умирающего своего родителя. Благословляя его охладевшею уже рукою, он сказал: «Юрий! держись веры православной; не своди дружбы с врагами нашего отечества и не забывай, что Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»

— Так! — вскричал несчастный юноша,— присутствие мое при сем торжестве есть осквернение святыни! Я не могу, я не должен оставаться здесь долее!

Он поспешил оставить площадь, но на каждом шагу встречались ему толпы граждан, несущих свои имущества, везде раздавались поздравления, на всех лицах сияла радость. Пробежав несколько улиц, он очутился наконец в одном отдаленном предместии и, не видя никого вокруг себя, сел отдохнуть на скамье, подле ворот небольшой хижины. Не прошло двух минут, как несколько женщин и почти столетний старик подошли к скамье, на которой сидел Юрий. Старик сел возле него.

— Как это, господин честной! — сказал он.— Ты здесь, а не на площади?

— Я сейчас оттуда,— отвечал Юрий.

— И я на старости ходил. Слава богу, кой-как дотащился, теперь готов умереть хоть завтра! Да и пора костям на покой!

— Ты, я думаю, очень стар, дедушка? — спросил Юрий, стараясь переменить разговор.

— Да, молодец! без малого годов сотню прожил, а на всем веку не бывал так радостен, как сегодня. Бла-

годарение творцу небесному, очнулись наконец православные!.. Эх, жаль! кабы господь продлил дни бывшего воеводы нашего, Дмитрия Юрьевича Милославского, то-то был бы для него праздник!.. Дай бог ему царство небесное! Столбовой был русский боярин!.. Ну, да если не здесь, так там он вместе с нами радуется!

— Я слышала, дедушка,— сказала одна из женщин,— что у него есть сын.

— Как же! Помнится, Юрий Дмитриевич. Если он пошел по батюшке, то, верно, будет нашим гостем и в Москве с поляками не останется. Нет, детушки! *Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!*

— Ахти! — вскричала одна из женщин.— Что это с молодцом сделалось? Никак, он полоумный... Смотри-ка, дедушка, как он пустился от нас бежать! Прямехонько к Волге... Ах, господи боже мой! Долго ли до греха! Как сдуру-то нырнет в воду, так и поминай как звали!

Как громом пораженный последними словами старика, Юрий, не видя ничего перед собою, не зная сам, что делает, пустился бежать по узкой улице, ведущей к Волге. В ушах его раздавались слова умирающего отца; ему казалось, что его преследуют, что кто-то называет его по имени, что множество голосов повторяют: «Вот он! вот Милославский». Вся кровь застыла в его жилах. Вдруг ему послышалось, что вслед за ним прогремел ужасный голос: «Да взыдет вечная клятва на главу изменника!» Волосы его стали дыбом, смертный холод пробежал по всем членам, в глазах потемнело, и он упал без чувств в двух шагах от Волги, на краю утесистого берега, застроенного обширными сараями.

Солнце было уже высоко, когда Милославский очнулся; подле него стоял Алексей.

— Слава тебе господи! — вскричал он, заметив, что Юрий пришел в себя.— Ну, перепугал ты меня, боярин! Что это с тобой сделалось?

— Где я? — спросил Милославский, взглянув с удивлением вокруг себя.

— На берегу Волги. Как помиловал тебя господь, Юрий Дмитрич? И что с тобою сделалось? Мне сказали на площади, что ты пошел вниз, под гору, я за тобой следом; гляжу: сидишь смирнехонько подле какого-то старичка; вдруг как будто б тебя чем обожгло, как вско-

чишь да ударишься бежать! Я за тобой, а ты пуще! Я ну кричать: «Постой, Юрий Дмитрич, постой! не беги!» — а ты пуще... Ну, веришь ли, осип, кричавши: «Куда, боярин, куда?» Гляжу, прямо к Волге... сердце у меня замерло!.. Да, слава богу, что тебя оморок ошиб прежде, чем ты успел добежать до реки. И то беда, уж оттирал, оттирал тебя... и водой прыскал, и вином тер... насилу-то очнулся. Да что это, боярин, с тобою попритчилось?

— Так, Алексей, ничего! Теперь мне лучше. Но скажи... мне помнится, я слышал чей-то голос... кто возле меня предавал проклятию изменника?

— Какого изменника, боярин? Я ничего не слышал.

— Ничего?.. А что за народ толпится вокруг этих сараев?.. О чем они говорят?.. Чу! слышишь? Они называют меня по имени.

— И, нет, Юрий Дмитрич! Это тебе чудится. Разве не видишь, сюда складывают все, что нижегородцы нанесли на площадь.

— На площадь?.. Я также был на площади?..

— Как же, боярин!

Юрий провел рукою по глазам и, как будто бы пробудившись от глубокого сна, сказал:

— Да! да! теперь я вспомнил... Мы остановились здесь у боярина Истомы-Туренина...

— Да, Юрий Дмитрич; и, чай, он ждет тебя к обеду.

Юрий при помощи Алексея приподнялся на ноги и только что хотел идти, как вдруг позади его кто-то сказал:

— Здравствуй, боярин! Милости просим! добро пожаловать к нам в Нижний Новгород!

Милославский невольно вздрогнул и, бросив быстрый взгляд на того, кто его приветствовал, узнал в нем тотчас таинственного незнакомца, с которым ночевал на постоялом дворе.

— Ну вот, не отгадал ли я! — продолжал незнакомец.— Бог привел нам опять увидеться.

— Так это ты! — вскричал Алексей.— Я было и на площади признал тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Минич, дай бог тебе здоровья! Красно ты говоришь!

— Как! — сказал Юрий.— Ты тот знаменитый гражданин?..

— И, боярин! я просто гражданин нижегородский и ничем других не лучше. Разве ты не видел, как все граждане, наперерыв друг перед другом, отдавали свои

имущества? На мне хоть это платье осталось, а другой последнюю одежонку притащил на площадь: так мне ли хвастаться, боярин!

— Но разве не ты первый?..

— Ну да... я первый заговорил — так что ж?.. Велико дело!.. Нельзя ж всем разом говорить. Не я, так заговорил бы другой, не другой, так третий... А скажи-ка, боярин, уж не хочешь ли и ты пристать к нам? Ты целовал крест королевичу Владиславу, а душа-то в тебе все-таки русская.

— К несчастию, ты говоришь правду! — сказал со вздохом Юрий.

— А почему ж к несчастию? Скажи мне, легко ль тебе было присягать польскому королевичу?

— Ах!.. видит бог, нет!

— А для чего ж ты это сделал?

— Для того, что был уверен, и теперь еще... да, и теперь еще надеюсь, что этой жертвою мы спасем от гибели наше отечество.

— Вот видишь ли: все-таки у тебя отечество на уме. Послушай, я скажу тебе побасенку, боярин. Один мужичок, переплывая через реку, стал тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что он один не спасет его, принялся кричать, рвать на себе волосы и призывать на помощь всех проходящих; между тем мужик выбился из сил, и когда старший сын бросился спасать его, то насилу вытащил из воды и чуть было сам не утонул с ним вместе. На берегу стоял третий сын, или, лучше сказать, пасынок; он не просил помощи, да и сам не думал спасать утопающего отца, а рассчитывал, стоя на одном месте, какая придется ему часть из отцовского наследия. Как ты думаешь, боярин? хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо; а по мне, все-таки честнее быть им, чем пасынком.

Юрий молча пожал руку Минина, который продолжал:

— Чему дивиться, что ты связал себя клятвенным обещанием, когда вся Москва сделала то же самое. Да вот хоть, например, князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский изволил мне сказывать, что сегодня у него в дому сберутся здешние бояре и старшины, чтоб выслушать гонца, который прислан к нам с предложением от пана Гонсевского. И как ты думаешь, кто этот доверенный человек злейшего врага нашего?.. Сын бывшего воеводы нижегородского, боярина Милославского.

— Да это господин мой! — вскричал Алексей.

— Как! так это ты, Юрий Дмитрич? — сказал Минин, сняв почтительно свою шапку и устремив на Милославского взор, исполненный душевного сострадания.— Ну, жаль мне тебя! Кому другому, а тебе куда должно быть тяжело, боярин!

— Я исполню долг свой, Козьма Минич,— отвечал Юрий.— Я не могу поднять оружия на того, кому клялся в верности; но никогда руки мои не обагрятся кровию единоверцев; и если междоусобная война неизбежна, то...— Тут Милославский остановился, глаза его заблистали...— Да! — продолжал он.— Я дал обет служить верой и правдой Владиславу; но есть еще клятва, пред которой ничто все обещания и клятвы земные... Так! сам господь ниспослал мне эту мысль: она оживила мою душу!..

В самом деле, давно уже лицо Милославского не выражало такой твердой решимости и спокойствия. Вся бодрость его возвратилась.

— Прощай, почтенный гражданин! — сказал он Минину.— Я спешу теперь в дом боярина Туренина и через несколько часов явлюсь вместе с ним пред лицом сановников нижегородских, в числе которых надеюсь увидеть и тебя. Повторяю еще раз: я исполню долг мой; но... прошу тебя — не осуждай меня прежде времени!

V

Часу в шестом пополудни Юрий и боярин Туренин отправились в дом к князю Черкасскому. Проходя городскою площадью, на которой никого уже не было, Туренин сказал Юрию:

— Насилу-то эти дурачье угомонились! Я, право, думал, что они до самой ночи протолкаются на площади. Куда, подумаешь, народ-то глуп! Сгоряча рады отдать все; а там как самим перекусить нечего будет, так и заговорят другим голосом. Небось уймутся кричать: «Пойдем к матушке-Москве!»

— Но, кажется, боярин,— сказал Юрий,— и ты кричал вместе с другими?

— С волками надо выть по-волчьи, Юрий Дмитрич; и у кого свой царь в голове, тот не станет плыть в бурю против воды. Да и сговоришь ли с целым народом! Вот

теперь дело другое: можно будет и потолковать и посудить. Смотри, Юрий Дмитрич, говори смело! Я знаю наперед, что пуще всех будет против мира князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский да Григорий Образцов: первый потому, что сын князя Мамстрюка и такой же, как он, чеченец — ему бы все резаться; а второй оттого, что природный нижегородец и терпеть не может поляков. С другими-то сговорить еще можно; правда, они позвали Козьму Сухорукого, а этот нахал станет теперь горланить пуще прежнего.

— Позволь сказать, боярин: мне кажется, он человек скромный.

— Кто? он? Что ты! Иль забыл, что его наименовали выборным от всея земли человеком? Так ему, чай, теперь черт не брат! Чего доброго, заломается в первое место... Но вот и дом князя Димитрия Мамстрюковича...

Пройдя широким двором, посреди которого возвышались обширные по тогдашнему времени каменные палаты князя Черкасского, они добрались по узкой и крутой лестнице до первой комнаты, где, оставив свои верхние платья, вошли в просторный покой, в котором за большим столом сидело человек около двадцати. С первого взгляда можно было узнать хозяина дома, сына знаменитого Черкасского князя, по его выразительному смуглому лицу и большим черным глазам, в которых блистало все неукротимое мужество диких сынов неприступного Кавказа. По правую руку его сидели: татарский военачальник Барай-Мурза Алеевич Кутумов, воевода Михайло Самсонович Дмитриев, дворянин Григорий Образцов, несколько старшин казацких и дворян московских полков; по левую сторону сидели: боярин Петр Иванович Мансуров-Плещеев, стольник Федор Левашев, дьяк Семен Самсонов, а несколько поодаль от всех гражданин Козьма Минич Сухорукий.

Князь Черкасский встретил боярина Туренина и Милославского в дверях комнаты. Сказав несколько холодных приветствий тому и другому, он попросил их садиться, и по данному знаку вошедший служитель поднес им и хозяину по кружке меду.

— Юрий Дмитрич, — сказал князь Черкасский, — поздравляю тебя с счастливым приездом в Нижний Новгород; хотя, сказать правду, для всех нас было бы радостнее выпить этот кубок за здравие сына Димитрия

Юрьевича Милославского, а не посланника от поляков и верноподданного королевича Владислава.

— Князь Димитрий Мамстрюкович,— сказал вполголоса боярин Мансуров,— не забывай нашего уговора: посмотри-ка — его в жар бросило от твоих речей!

— Не вытерпел, боярин! — отвечал Черкасский.— Грустно, видит бог, грустно! Ведь я был задушевный друг его батюшке... Юрий Дмитрич,— продолжал Черкасский, оборотясь к Милославскому,— боярин Истома-Туренин известил нас, что ты приехал с предложениями от ляха Гонсевского, засевшего с войском в Москве, которую взял обманом и лестию богоотступник Лотер и злодей гетман Жолкевский.

— Да, да, злодей гетман Жолкевский! — повторил Барай-Мурза.

— Гетман Жолкевский не злодей,— сказал Юрий.— Если б все советники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, как он, то давно бы прекратились бедствия отечества нашего.

— То есть Владислав был бы московским воеводою! — перервал князь Черкасский.

— А мы все — рабами короля польского!..— примолвил насмешливо дворянин Образцов.

— Нет,— отвечал Юрий,— не воеводою, а самодержавным и законным царем русским. Жолкевский клялся в этом и сдержит свою клятву: он не фальшер, не злодей, а храбрый и честный воин.

— Неправда, это ложь! — вскричал Черкасский.

— Да, да, это ложь! — повторил Барай-Мурза.

— Ложь противна господу, бояре! — сказал спокойно Юрий.— И вот почему должно говорить правду даже и тогда, когда дело идет о врагах наших.

— Защищай, Юрий Дмитрич, защищай этих кровопийц! — перервал хозяин.— Да и чему дивиться: свой своему поневоле брат!

— Князь Димитрий,— шепнул боярин Мансуров,— не обижай своего гостя!

— Раб Владислава и угодник ляха Гонсевского никогда не будет моим гостем! — вскричал с возрастающим жаром князь Черкасский.— Нет! он не гость мой!.. Я дозволяю ему объявить, чего желает от нас достойный сподвижник грабителя Сапеги; пусть исполнит он данное ему от Гонсевского поручение и забудет навсегда, что князь Черкасский был другом отца его.

— Да, да, пусть от говорит, а мы послушаем! — сказал Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.

— Не забывай, однако ж, Юрий Дмитрич,— прибавил дворянин Образцов, бросив грозный взгляд на Юрия,— что ты стоишь перед сановниками нижегородскими и что дерзкой речью оскорбишь в лице нашем весь Нижний Новгород.

— Я буду говорить истину,— сказал хладнокровно Юрий, вставая с своего места.— Бояре и сановники нижегородские! Я прислан к вам от пана Гонсевского с мирным предложением. Вам уже известно, что вся Москва целовала крест королевичу Владиславу; гетман Жолкевский присягнул за него, что он испросит соизволение своего державного родителя креститься в веру православную, что не потерпит в земле русской ни латинских костелов, ни других иноверных храмов и что станет, по древнему обычаю благоверных царей русских, править землею нашею, как наследственной своей державою. Не безызвестно также вам, что Великий Новгород, Псков и многие другие города стонут под тяжким игом свейского воеводы Понтуса, что шайки Тушинского вора и запорожские казаки грабят и разоряют наше отечество и что доколе оно не изберет себе главы — не прекратятся мятежи, крамолы и междоусобия. Бояре и сановники нижегородские! последуйте примеру граждан московских, целуйте крест королевичу Владиславу, не восставайте друг против друга, покоритесь избранному царствующим градом законному государю нашему — и, именем Владислава, Гонсевский обещает вам милость царскую, всякую льготу, убавку податей и торговлю свободную. Я сказал все, бояре и сановники нижегородские! Избирайте, чего хотите вы...

— Упиться кровию врагов наших! — вскричал Черкасский.— Кровию губителей России, кровию всех ляхов!

— Да, да, всех ляхов! — повторил Барай-Мурза Алеевич Кутумов, поглядывая на Черкасского.

— Но русские, присягнувшие в верности Владиславу...

— Пусть гибнут вместе с врагами веры православной! — перервал хозяин.

— Итак,— возразил Юрий,— одна жажда крови, а не любовь к отечеству, боярин, заставляет тебя поднять оружие?..

Черкасский устремил сверкающий взор на Мило-

славского и, помолчав несколько времени, спросил его: был ли он на нижней торговой площади?

— Нет,— отвечал Юрий, не понимая, к чему клонится этот вопрос.

— Жаль,— продолжал Черкасский,— ты увидел бы, что на ней цела еще виселица, на которой нижегородцы повесили изменника Вяземского[10]. Берегись дерзкою речью напомнить им, что не один князь Вяземский достоин этой позорной казни!

— Князь Димитрий!..— сказал боярин Мансуров.— Пристало ли тебе, хозяину дома!.. Побойся бога!.. Сограждане,— продолжал он,— вы слышали предложение пана Гонсевского: пусть каждый из вас объявит свободно мысль свою. Боярин князь Черкасский! Тебе, яко старшему сановнику думы нижегородской, довлеет говорить первому; какой даешь ответ пану Гонсевскому?

— Я уже отвечал,— сказал Черкасский.— Избранный нами главою земского дела, князь Димитрий Михайлович Пожарский пусть ведет нас к Москве! Там станем мы отвечать гетману; он узнает, чего хотят нижегородцы, когда мы устелем трупами врагов все поля московские!

— Итак, ты объявляешь?..

— Непримиримую вражду до тех пор, пока хотя один лях или предатель дышит воздухом русским! Мщение за погибших братьев! кровь за кровь!

Мурза Кутумов встал с своего места, погладил бороду и начал:

— Бояре, что сказал князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский, то говорю и я: вражда непримиримая... доколе хотя один лях или русский... то есть предатель... сиречь изменник...

— Довольно, Барай-Мурза, садись! — перервал Черкасский.

Барай-Мурза Алеевич Кутумов отвесил низкий поклон всем присутствующим и сел на прежнее место.

— Граждане нижегородские! — сказал кипящий мужеством и ненавистью к полякам дворянин Образцов.— Чего требует от нас этот атаман разбойничьей шайки, этот изверг, пирующий в Москве на могилах наших братьев?.. Он желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие так же, как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защиты. Сигизмунд дает нам своего сына — и берет Смоленск, древнее достояние царей православных! Поляки предлагают нам мир — и по-

крывают пеплом сел и городов всю землю русскую! Нет, сограждане! не царствующий град целовал крест королевичу Владиславу, а пленная Москва; не свободные граждане клялись в верности иноплеменному, но безоружные жители, рабы, отягченные оковами!.. И насильственная клятва, данная под ножом убийц, должна служить примером для вольных сынов Нижнего Новгорода!.. Нет! да будет вечная вражда между нами и злодеем нашим, Сигизмундом! Гибель и смерть всем ляхам!

— Гибель и смерть всем ляхам! — повторили Черкасский, Барай-Мурза и все старшины казацкие.

— Мужи доблестные и верные сыны отечества! — сказал боярин Туренин, вставая с своего места.— Нельзя без радостных слез видеть ваше рвение на защиту земли русской! И во мне кипит желание обагриться кровию врагов наших, и я готов идти к Москве; но прежде всего следует помыслить, чего требует от нас отечество: кровавой мести или спасения от конечной своей гибели? Великое дело, с малым и необученным войском устоять против бесчисленных врагов... но господь укрепит десницу рабов своих, хотя, по тяжким грехам нашим, мы недостойны, чтоб свершилось над нами сие чудо, и поистине не должны надеяться... но милосердие всевышнего неистощимо. Пусть будет так: мы победим ненавистных ляхов; рассеем, как прах земной, их несметные ополчения; очистим Москву и, несмотря на то, останемся по-прежнему без главы, и вящее тогда постигнет нас бедствие. Каждый знаменитый боярин и воевода пожелает быть царем русским; начнутся крамолы, восстанут новые самозванцы, пуще прежнего польется кровь христианская, и отечество наше, обессиленное междоусобием, не могущее противустать сильному врагу, погибнет навеки; и царствующий град, подобно святому граду Киеву, соделается достоянием иноверцев и отчиною короля свейского или врага нашего, Сигизмунда, который теперь предлагает нам сына своего в законные государи, а тогда пришлет на воеводство одного из рабов своих. Помыслите, сограждане! что станется тогда с верою православною? что станется со всеми нами, когда и имя царства Русского изгладится из памяти людской?.. Я все сказал: судите слова мои, бояре и сановники нижегородские!

— Боярин Андрей Никитич Туренин! — сказал с низким поклоном дьяк Семен Самсонов.— В речах твоих много разума, хотя ты напрасно возвеличил могущест-

во врагов наших. Нам известно бессилие ляхов; они сильны одним несогласием нашим; но ты изрек истину, говоря о междоусобиях и крамолах, могущих возникнуть между бояр и знаменитых воевод, а потому я мыслю так: нижегородцам не присягать Владиславу, но и не ходить к Москве, а сбирать войско, дабы дать отпор, если ляхи замыслят нас покорить силою; Гонсевскому же объявить, что мы не станем целовать креста королевичу польскому, пока он не прибудет сам в царствующий град, не крестится в веру православную и не утвердит своим царским словом и клятвенным обещанием договорной грамоты, подписанной боярскою думой и гетманом Жолкевским.

— Я мыслю то же самое,— сказал боярин Мансуров.— Безвременная поспешность может усугубить бедствия отечества нашего. Мой ответ пану Гонсевскому: не ждать от нас покорности, доколе не будет исполнено все, что обещано именем Владислава в договорной грамоте; а нам ожидать ответа и к Москве не ходить, пока не получим верного известия, что король Сигизмунд изменил своему слову.

— Мы согласны во всем с боярином Мансуровым,— сказали воевода Михаил Самсонович Дмитриев и стольник Левашев.

— И мы также! — вскричали все дворяне московских полков.

Князь Черкасский вскочил с своего места.

— Как! — сказал он, бледнея от гнева и досады.— Вы согласны признать Владислава царем русским?

— Да, если он сдержит свое обещание,— отвечал спокойно Мансуров.

— Признать своим владыкою неверного поляка! — перервал Образцов.

— Он отречется от своей ереси,— возразил дьяк Самсонов.

— Кто нейдет к Москве, тот изменник и предатель! — вскричал Черкасский.

— Изменник и предатель! — повторил Барай-Мурза.

— Князь Димитрий! — сказал Мансуров,— и ты, Мурза Алеевич Кутумов! не забывайте, что вы здесь не на городской площади, а в совете сановников нижегородских. Я люблю святую Русь не менее вас; но вы ненавидите одних поляков, а я ненавижу еще более крамолы, междоусобие и бесполезное кровопролитие, противные господу и пагубные для нашего отечества.

Если ж надобно будет сражаться, вы увидите тогда, умеет ли боярин Мансуров владеть мечом и умирать за веру православную.

— Боярин! — сказал Образцов.— Когда мы не согласны меж собою, то пусть решит весь Нижний Новгород, кто из всех нас любит более свое отечество.

— Вы это сейчас увидите, бояре и сановники нижегородские,— сказал Минин, вставая с своего места и поклонясь почтительно всем присутствующим.

— Да ты еще ничего не говорил, Козьма Минич,— вскричал Черкасский.— Говори, говори, чья сторона правее!

— Не мне, последнему из граждан нижегородских,— отвечал Минин,— быть судьею между именитых бояр и воевод; довольно и того, что вы не погнушались допустить меня, простого человека, в ваш боярский совет и дозволили говорить наряду с вами, высокими сановниками царства Русского. Нет, бояре! пусть посредником в споре нашем будет равный с вами родом и саном знаменитым, пусть решит, идти ли нам к Москве или нет, посланник и друг пана Гонсевского.

— Что ты, Минич! в уме ли? — вскричал Черкасский.

— Юрий Дмитрич,— продолжал Минин, обращаясь к Милославскому,— ты исполнил долг свой, ты говорил, как посланник гетмана польского; теперь я спрашиваю тебя, сына Димитрия Юрьевича Милославского, что должны мы делать: идти ли к Москве или покориться Сигизмунду?

Яркий румянец покрыл лицо Юрия; он приподнялся до половины, хотел что-то сказать, но вдруг остановился и с судорожным движением закрыл рукою глаза свои.

— Боярин! — продолжал Минин.— Если бы ты не целовал креста Владиславу, если б сегодня молился вместе с нами на городской площади, если б ты был гражданином нижегородским, что бы сделал ты тогда? Отвечай, Юрий Дмитрич!

— Что сделал бы я? — сказал Юрий, устремив сверкающий взор на Минина.— Что сделал бы я?.. Положил бы мою голову за святую Русь!

— Что ты, Юрий Дмитрич! — шепнул Туренин.

— Молчи, боярин! — вскричал Милославский с возрастающим жаром.— Это выше всех сил моих! Так,

граждане нижегородские! я умер бы, благословляя господа, допустившего меня пролить всю кровь за веру православную. К Москве, верные и счастливые нижегородцы! Спасайте угнетенных ваших братьев! Они ждут вас. Они рабы поляков, а не подданные Владислава. Не верьте Сигизмунду: он вечный и непримиримый враг наш; не страшитесь поляков — их многочисленная рать страшна для одних безоружных жителей московских. Спешите, храбрые нижегородцы! спешите водрузить хоругвь спасителя на поруганных стенах священного Кремля! Вы свободны, вы не присягали иноплеменнику. А я... я добровольно поклялся быть верным Владиславу; я не могу умереть вместе с вами! Но если не оружием, то молитвами буду участвовать в святом и великом деле вашем. Так, граждане нижегородские! Я удалюсь в обитель преподобного Сергия; там, облаченный в одежду инока, при гробе угодника божия стану молиться день и ночь, да поможет вам господь спасти от гибели царство Русское.

Юрий замолчал; крупные слезы градом катились по лицу его. Пораженные неожиданною речью Милославского, все присутствующие онемели от удивления. Несколько минут продолжалось общее молчание; вдруг опрокинутый стол с громом полетел на пол, и князь Черкасский, перескочив через него, бросился на шею к Милославскому.

— Прости меня, любезный! — кричал он, прижимая его к груди своей.— Я обидел тебя!.. Пусть осмелится кто-нибудь сказать, что ты не сын моего друга Милославского!

— Да, да, пусть попытается кто-нибудь! — повторил Барай-Мурза.

— Ты достоин быть нижегородцем, Юрий Дмитрич! — сказал Образцов, пожимая его руку.

Минин не говорил ни слова, но с нежностию отца смотрел на Юрия и утирал потихоньку текущие из глаз слезы.

— Итак,— продолжал Черкасский,— теперь, кажется, нам спорить не о чем, идем ли к Москве?

— Идем! — вскричали почти все присутствующие.

— К Москве так к Москве! — сказал боярин Мансуров.— Дождемся князя Пожарского да с божьим благословением...

— Но кто же будет главою царства Русского? — спросил дьяк Самсонов.

— Прежде очистим Москву, а там уж подумаем,— отвечал Мансуров.

— Изберем всей землей в цари кого бог даст! — сказал Образцов.

— И поклянемся, — прибавил Мансуров, — жить дружно, забывать всякую вражду, а помнить одного бога и святую Русь!

— Насилу-то и ты заговорил, молодец! — закричал Черкасский.— Пусть дьяки и бояре, которые ничем не лучше дьяков,— прибавил он, взглянув на Туренина,— заседают в приказах, а в воинскую думу им бы и носа не надобно показывать.

— Теперь, Юрий Дмитрич,— сказал боярин Мансуров,— ты можешь отвезти наш ответ Гонсевскому.

— Не лучше ли остаться с нами,— перервал Черкасский,— и драться с поляками?

— Нет, боярин: бог карает клятвопреступников: пока я ношу меч — я подданный Владислава.

— Юрий Дмитрич,— сказал Мансуров,— мы дозволяем тебе пробыть завтрашний день в Нижнем Новгороде; но я советовал бы тебе отправиться скорее: завтра же весь город будет знать, что ты прислан от Гонсевского, и тогда, не погневайся, смотри, чтоб с тобой не случилось того же, что с князем Вяземским. Народ подчас бывает глуп: как расходится, так его ничем не уймешь.

— Прощай, боярин! — сказал Минин.— Дай бог тебе счастия! Не знаю отчего, а мне все сдается, что я увижу тебя опять не в монашеской рясе, а с мечом в руках, и не в святой обители, а на ратном поле против общих врагов наших.

Милославский, уходя, заметил, что боярина Туренина не было уже в комнате. У самых дверей дома встретил его Алексей; он казался очень встревоженным.

— Я больше часу дожидаюсь тебя здесь, Юрий Дмитрич,— сказал он.— Знаешь ли что? Ведь хозяин-то наш недобрый человек!

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что мы из одного омута попали в другой. Воля твоя, боярин! сердись на меня или нет, а я, не спросясь тебя, перетащил наши пожитки на постоялый двор, вот тот, что возле самой пристани.

— Для чего ты это сделал?

— А вот для чего. Знаешь ли, кто теперь спрятан

в дому у боярина Туренина?.. Тот самый разбойник, который вчера в лесу хотел нас ограбить!

— Неужели?

— Да добро бы один, а то с ним еще четверо пострелов, из которых каждый уберет нас обоих. Как ты пошел сюда, я вышел поглядеть на улицу и присел у самых ворот за столбом. Этак около сумерек — гляжу, крадутся пятеро молодцов вдоль забора; я-то за столбом им был не в примету, а мне все было видно. Вот один из них шмыг в ворота! глядь — тот самый разбойник, которого Кирша называл Омляшем. Он перемолвил словца два с дворецким, махнул товарищам, и они шасть на двор. Пошептались, потолковали меж собой, да и полезли все на сенник. Вот, боярин, я и смекнул, что дело плоховато; тотчас все наши пожитки и конскую сбрую вытащил потихоньку за ворота да ну-ка скорей выводить лошадей будто б на водопой; навьючил на одну все наше добро, да и был таков. Хорошо еще, что некому было за мной присмотреть: дворецкий, видно, заболтался с своими гостьми, другие слуги пошли шататься по городу, а конюха так пьяны, что лыком не вяжут.

— Ты хорошо сделал, Алексей. Я и сам не слишком доверяю нашему хозяину.

— Да он сущий Иуда-предатель! сегодня на площади я на него насмотрелся: то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь. Когда Козьма Минич говорил, то он съесть его хотел глазами; а как после подошел к нему, так — господи боже мой! откуда взялися медовые речи! И молодец-то он, и православный, и сын отечества, и бог весть что! Ну вот так мелким бесом и рассыпался!

В продолжение этого разговора они дошли до городских ворот, и когда вышли в предместие, то Юрий увидел, что кто-то идет за ними следом. Несмотря на умножающуюся ежеминутно темноту, Милославский заметил, что всякий раз, когда он оглядывался назад, этот человек старался прятаться за углы домов. Юрий шепнул Алексею, чтоб он остерегался, и вынул на всякий случай саблю. Между тем они вошли в улицу, или, лучше сказать, переулок, ведущий прямо к пристани: по обеим его сторонам тянулись длинные заборы, и только изредка кой-где выстроены были небольшие избы, но и те казались пустыми и, вероятно, служили амбарами для складки хлеба и товаров. Когда они поравнялись с одной полуразвалившеюся деревянною цер-

ковью, которая, судя по разбитым окнам и совершенно обрушенной паперти, давно уже была оставлена, незнакомый, который следовал за ними издалека, удвоил шаги и стал к ним приближаться. Юрий, желая скорее узнать, чего хочет от них этот безотвязный прохожий, пошел вместе с Алексеем прямо к нему навстречу; но лишь только они приблизились друг к другу и Алексей успел закричать: «Берегись, боярин, это разбойник Омляш!..» — незнакомый свистнул, четверо его товарищей выбежали из церкви, и почти в ту ж минуту Алексей, проколотый в двух местах ножом, упал без чувств на землю.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прежде чем мы приступим к продолжению этой повести, нам должно предуведомить читателей, что промежуток времени, отделяющий эту главу от предыдущей, заключает в себе почти четыре месяца. Большей части наших читателей, без сомнения, известны все обстоятельства, предшествовавшие освобождению Москвы и вступлению на всероссийский престол Михаила Федоровича Романова; но, несмотря на то, мы полагаем нужным упомянуть, хотя мимоходом, о том, что происходило в Нижнем Новгороде и около Москвы от апреля месяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земского ополчения князь Пожарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний Новгород, сопровождаемый верною дружиною воинов. Его величественная наружность, радушие и ласковое со всеми обращение привлекли к нему все сердца. Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря на закоренелый предрассудок местничества, добровольно подчинились его власти: со всех сторон спешили под знамена его люди ратные; смоляне, дорогобужане и вязьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые; вслед за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украйны умножили собою число *свободных людей:* так называли себя воины, составлявшие отечественное ополчение нижегородское, которое вскоре, под предводительством Пожарского, двинулось к Ярославлю. В сем городе, подкупленные злодеем Заруцким, убийцы посягнули на

жизнь знаменитого вождя, но бог не допустил их свершить это злодеяние, а великодушный Пожарский не только не предал их заслуженной казни, но вырвал из рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные причины замедлили приход нижегородцев под Москву; наконец приближение гетмана Хоткевича с сильным войском, посланным против стоящего под Москвою князя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим приходом к столице, и 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре, отстоящей от Москвы в шестидесяти четырех верстах.

* * *

В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, какой-то прохожий, с небольшою котомкою за плечами и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости, шел по большой нижегородской дороге, которая в сем месте была проложена почти по самому берегу Волги. Его изнуренный вид, бледное лицо и впалые щеки — все показывало в нем человека, недавно излечившегося от тяжкой болезни, но в то же время нельзя было не заметить, что причиною его необычайной худобы была не одна телесная болезнь: глубокая горесть изображалась на лице его, а покрасневшие от слез глаза ясно доказывали, что его душевные страдания не миновались вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершенно излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерезывала узкая проселочная дорога, он остановился и, казалось, с большим вниманием стал рассматривать едва заметное полуобгоревшее строение, коего развалины виднелись на высоком холме, верстах в пяти от рощи, в тени которой он тогда находился.

— Я не ошибаюсь,— сказал он наконец,— это отчина боярина Шалонского... Слава богу, она останется у меня в стороне...— Сказав эти слова, прохожий сел под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба, принялся завтракать.

Он не успел еще проглотить первого куска, как вдруг ему послышался в близком расстоянии конский топот, и через минуту человек двадцать казаков, выехав проселочной дорогою из рощи, потянулись вдоль опушки к тому месту, на котором расположился прохожий. Впереди всех, на вороном коне, ехал начальник отряда; он отличался от других казаков не платьем,

которое было весьма просто, но богатой конской сбруею и блестящим оружием, украшенным дорогóю серебряной насечкой. Когда он поравнялся с прохожим, который несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей последний вскрикнул радостным голосом:

— Так точно, это он!.. Здравствуй, Кирша!

— Почему ты меня знаешь, добрый человек? — спросил всадник, приостановя своего коня.

— Так, видно, я больно похудел, когда и ты меня не узнаешь? Вглядись-ка хорошенько...

— Вот те раз!.. Неужели?.. Да нет, зачем ему здесь быть?

— Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть, а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем Новгороде.

— Неужели-то в самом деле ты Алексей Бурнаш?

— В старину меня так зывали.

— Ах, батюшки! Что это тебя так перевернуло?.. А где твой барин?..

Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько заплакал.

— Что с ним сделалось? — спросил запорожец, соскочив с коня.— Где он?

— Уж, верно, там...— сказал Алексей, показывая на небо.— Он был ангел во плоти!

— Так Юрий Дмитрич?..

— Приказал долго жить,— отвечал, всхлипывая, верный служитель Милославского.

— Ах, боже мой! Боже мой! — вскричал запорожец.— Гей, ребята!.. долой с коней. Мы можем здесь позавтракать и дать вздохнуть лошадям; да подайте-ка мою кису.

Казаки спешились и, разнуздав коней, пустили их на обширный луг, который расстилался перед рощею, а сами, поставив на небольшом возвышении часового, расположились кружком под деревьями. Кирша, вынув из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел подле Алексея.

— Ну-ка, брат, перекуси,— сказал он,— ты, я вижу, больно отощал. Да расскажи мне, как это случилось, что твой боярин умер? Он был такой детина здоровый, кровь с молоком! Отчего бы, кажется?..

— Его зарезали,— отвечал Алексей.

— Как?.. кто?.. где?

— А вот послушай. Ты, чай, помнишь, как в Нижнем на площади, когда Козьма Минич Сухорукий...

— Помню, помню!

— Ну, в этот самый день, вечером, боярин был у князя Черкасского, и на дворе уж стало смеркаться, как мы пошли с ним на постоялый двор, в который перебрались из дома этого жида, Истомы-Туренина. Вот недалеко от пристани вдруг выскочили на нас из пустой церкви человек пять разбойников; не успел я мигнуть, как меня хватили в бок ножом — и я невзвидел света божьего. Не помню, долго ли пробыл без памяти; а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье в избе и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж после, что он рыбак и что, идучи поутру с пристани, наткнулся на меня нечаянно и, заметя, что я еще дышу, ради Христа перенес меня к себе в избу. Как сквозь сон помню: лишь только он мне пересказал об этом, я опять обеспамятел и уж спустя недели четыре, придя в себя, спросил его о боярине; он сказал мне, что никакого тела не подымали на том месте, где нашли меня... Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бросили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я, без малого четыре месяца, был при смерти; а как немного поправился, то задумал идти в подмосковную нашу отчину. О тебе и спрашивать было нечего: мне сказали, что все ратные люди ушли в Ярославль с князем Пожарским; так я отслужил третьего дня панихиду по моем боярине и отправился в путь... Да что-то ноги плохо слушаются, насилу тащусь.

— Ах, жалость какая! — сказал Кирша, когда Алексей кончил свой рассказ. — Уж если ему было на роду писано не дожить до седых волос, так пусть бы он умер со славою на ратном поле: на людях и смерть красна, а то, подумаешь, умереть одному, под ножом разбойника!.. Я справлялся о вас в дому боярина Туренина; да он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Москву.

— Злодей! Он лучше меня знает, куда отправился Юрий Дмитрич: это его дело.

— Неужели?

— Как бог свят! У него в дому разбойничья пристань.

— Так недаром же он стречка дал из Нижнего. Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так, гово-

рят, его везде искали, да не нашли... Ну, брат Алексей, ошеломил ты меня!.. Мне все еще не верится...

— И я долго не верил. Ведь про покойного моего боярина было какое-то пророчество; и так как до сих пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтоб его зарезали, да пришлось наконец поверить.

— А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат, пожалуйста...

— Вот изволишь видеть: это случилось при царе Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего покойного боярина был еще дитятею; нянюшка его Федора рассказывала мне это под большой тайной. Однажды... надобно тебе сказать, что матушка его, то есть бабушка Юрия Дмитрича, была премилосердная: вся нищая братия в околотке ею только и жила. Ну вот однажды, в день рождения... нет, в день именин своего сожителя, она изволила на крыльце своеручно раздавать милостыню неимущим, которых набралось на боярский двор видимо-невидимо. Все нищие, как водится, так и лезли друг пред другом, чтоб схватить милостыню; одна только старушка не рвалась вперед и, стоя поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже боярыня отдавала последнюю копейку, и иной нищий, попроворней других, протягивал в четвертый раз руку, а старушка все не трогалась с места. На ту пору нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила старуху и доложила о ней боярыне; нищую подозвали, и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын, подала ей и сказала: «Молись за здравие именинника!» — то старушка, взглянув пристально на боярыню и помолчав несколько времени, промолвила: «Ох ты, моя родимая! здоров-то он будет, да уцелеет ли его головушка?..» — «Как так?» — спросила боярыня, побледнев как смерть. «Дай-то господи,— продолжала старушка,— чтоб о вешнем Николе не пришлось тебе панихиды служить». Сказав эти слова, старуха поклонилась, юркнула в толпу нищих и — след простыл; боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тут-то было: сгинула да пропала, и все нищие сказали в один голос, что не знают, кто она такова, откуда взялась и куда девалась. Ну что ж? и в самом деле, вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед царем нашего боярина, и его казнили накануне Николина дня. Боярыня, оставшись вдовою с одним малолетним сыном Димитрием Юрьевичем, батюшкою покойного моего господина, от-

правилась в свою закамскую отчину, и ровно десять лет о той старушке слуху не было. В это время Димитрий Юрьевич подрос, женился и прижил покойного моего господина, Юрия Дмитриевича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им пришлось под вечер проезжать Брынским лесом. Боярыня и Федора ехали в колымаге[11], а боярин и холопи верхами. Вдруг в самой средине леса застигла их гроза, загремел гром, поднялся вихрь, дождь полил как из ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахнулись и стали на одном месте как вкопанные — ни взад, ни вперед. Федора божилась мне, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась в подушки, а старая, хоть также робела, однако ж заметила и показала Федоре, что подле дороги, против самой колымаги, сидит под кустом какая-то женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кругом, Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее тихонько локтем, приказала молчать: они обе узнали в этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойного боярина. Вот, как гроза поунялась, боярыня вылезла из колымаги, подошла к старухе и начала с нею говорить шепотом. Но тут набежала новая туча, загремел опять гром и сделалась такая темнять, что хоть глаз выколи, а когда прочистилось, то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась, бог весть!

Старая боярыня крепилась месяца два, наконец не вытерпела и пересказала Федоре, под большою тайной, что нищая говорила с ней о ее внуке, Юрии Дмитриче, что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на своей постеле; что станет служить иноплеменному государю; полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон.

— Что ж из этого сбылось?

— Как что? На двадцатом году Юрий Дмитрич осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова.

— Правда, правда, но ведь ему должно было умереть своею смертью?

— Кажись бы, должно, а, на беду, вышло не так.

— И что за свадьба, которая не веселее похорон?

— Уж этого, любезный, и нянюшка Федора растолковать не могла.

— Вот то-то и есть! не все, брат, предсказания сбываются. Пожалуй, и про меня в Царицыне какой-то цыган сказал, что я попаду в Запорожскую Сечь и век останусь простым казаком... Что ж вышло? Одно сбылось, а другое нет. Ты видишь сам,— продолжал Кирша, взглянув с удовольствием на своих казаков,— у меня под началом вот этаких молодцев до сотни наберется; и кабы я знал да ведал, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с моими ребятами на дне морском нашел!.. Уж поплатились бы мне за твоего боярина! — примолвил Кирша, принимаясь за флягу с вином.

— Одного-то из них ты знаешь, я его и впотьмах рассмотрел: он тот самый разбойник... вот что ты называл Омляшем.

— Как! — вскричал Кирша, выронив из рук свою флягу.

— Ну да! тот самый, которого ты, помнишь, в лесу перекрестил по голове нагайкою.

— Ах, боже мой! Алексей, знаешь ли что? Ведь твой боярин-то, может быть, жив!

— Что ты говоришь?

— Этот Омляш и его товарищи — слуги боярина Кручины-Шалонского...

— Неужто?

— Я слышал своими ушами, что им приказано было захватить Юрия Дмитрича живьем. Ну, теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертвого?.. Он теперь в руках у этого кровопийцы Шалонского.

— А что ты думаешь?

— Верно так, и если только он жив...

— Дай-то господи!

— То во что б ни стало, а Кирша его выручит. Видишь, там вдали?.. Ведь это, кажется, отчина Шалонского?

— Должна быть она; только куда девались его хоромы, там, на холме...

— Одни угольки остались... Это, брат, наше дело; хозяина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили через село и стали добиваться от крестьян, где их боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со всеми своими пожитками, холопями и домочадцами уехал, а

куда — никто не знает. Пуще всего грыз на него зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас ускользнул, мы запалили его хоромы: первый пук соломы бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку в руки, несдобровать бы ему! Мы было хотели поджечь и село, да жаль стало мужичков: они, сердечные, не виноваты, что их боярин предатель и изменник.

— Так что ж прибыли, если Юрий Дмитрич и жив,— сказал печально Алексей,— когда мы не ведаем, куда этот злодей Шалонский его запрятал?

— А почему знать? может быть, и добьемся толку. Жаль, что со мной народу-то немного, а то бы я не выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где теперь их боярин. Статься не может, чтоб в целой отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропастился.

— Может быть, он уехал в Москву.

— Со всей своей дворнею? Что ты, брат! В Москве и полякам-то перекусить нечего, так примут они его с такой ватагою! Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь другом поместье... Да вот постой! достанем языка, так авось что-нибудь выведаем.

— Эх, любезный! — сказал Алексей, покачивая головою.— Не верится мне!.. Ты было сначала меня обрадовал, а после как подумал... не может быть! Если его и взяли живого, так, верно, уж давным-давно уходили.

— Авось, брат! попытка не шутка, а спрос не беда! Слава богу, что мой старшина Смага-Жигулин не отпустил меня одного! Что б мы стали теперь делать?

— Да как ты сюда попал?

— Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам, и я было уже совсем отправился с одним только казаком, да Жигулин велел мне взять с собою этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по всем дорогам бродят шиши; хоть они грабят и режут одних поляков да изменников, но, не ровен час, когда они под хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками; а нашу братью казаков, и чужих и своих, они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него и бог весть что! Чудо-богатырь, аршин трех ростом, а зовут его, помнится, отцом Еремеем[12]. Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения рук отвести не смеют, и если б не он, так

от этих русских налетов и православным житья бы не было.

— Так ты едешь теперь из Нижнего?

— Да; торопиться мне незачем: станем искать твоего боярина, авось господь нам поможет... Постой-ка, мне пришло в голову... А что и в самом деле!... Я знаю в этом селе одного мужичка: он со всей боярской дворнею водил знакомство и ремеслом колдун; так, верно, лучше другого может нам намекнуть... Эй, молодцы! — продолжал Кирша.— Побудьте здесь, а я на часок-место отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш! ты останешься старшим; если я через час не вернусь, то ступайте все... вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни; да только без шуму, втихомолку и не кучею, а врассыпную, понимаешь?

— Разумею,— отвечал Малыш, небольшого роста, но ловкий и проворный казачий урядник.

— Смотри, чтоб без меня ребята не дурили: проезжих не трогать!

— Слышите ли, товарищи, что есаул-то говорит? — сказал Малыш.— Однако ж, Кирила Пахомыч,— продолжал он, обращаясь к Кирше,— неравно повезут из Балахны вино или брагу, так по чарке, другой можно?..

— Ну, ну! так и быть, только чур, ребята, из бочек дны не выбивать! Подайте моего коня, да если вам придется ехать в лес, так дайте и этому детине заводную лошадь.

Кирша вскочил на своего Вихря и, повторив еще раз все приказания, пустился полем к знакомому для нас лесу, который чернелся в верстах в трех налево от большой дороги.

II

Кирша пробирался осторожно опушкою леса и, не встретив никого, поравнялся наконец с гумном Федьки Хомяка, которое, вероятно, принадлежало уже другому крестьянину; он поворотил к часовне и пустился по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Проехав версты полторы, Кирша повстречался с крестьянской девушкою.

— Здорово, красная девица! — сказал он, приподняв вежливо свою шапку.— Откуда идешь?

Девушка сначала испугалась, но ласковый голос и веселый вид запорожца ее успокоили.

— Я иду домой, господин честной,— отвечала она, отвесив низкий поклон Кирше.

— И, верно, ходила ворожить на пчельник?

— А почему ты это знаешь? — спросила она, взглянув на него с удивлением.

— Видно, знаю! Ну, что? радостную ли весточку сказал тебе Кудимыч?.. Скоро ли свадьба?

— Архип Кудимыч баит, что скоро. Да почему ты знаешь?..

— Как не знать!.. А что, лебедка, чай, ты не с пустыми руками к нему ходила?

— Коли с пустыми! Я ему носила на поклон полсорока яиц да две копейки.

— Эк твой суженый-то расхарчился!

— Вот еще, велико дело две копейки! Для меня Ванюша не постоит и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко до пчельника?

— Близехонько.

— Прощай, красавица!

Кирша поехал далее, а крестьянская девушка, стоя на одном месте, провожала его глазами до тех пор, пока не потеряла совсем из виду. Не доехав шагов пятидесяти до пчельника, запорожец слез с лошади и, привязав ее к дереву, пробрался между кустов до самых ворот загородки. Двери избушки были растворены, а собака спала крепким сном подле своей конуры. Кирша вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц, которые в большом решете стояли перед ним на столе, не приподнял даже головы.

— Кудимыч! — сказал Кирша грозным голосом.

Колдун вздрогнул, поднял голову, вскрикнул, хотел вскочить, но его ноги подкосились, и он сел опять на скамью.

— Узнаешь ли ты меня? — продолжал запорожец, глядя ему прямо в глаза.

— Узнал, батюшка, узнал! — пробормотал, заикаясь, Кудимыч.

— Так-то ты помнишь свое обещание, негодный, а?.. Не божился ли ты мне, что не станешь никогда колдовать?

— И не колдую, отец мой! Видит бог, не колдую!

— Право?.. А это что? Кто принес тебе это решето яиц? чьи это две копейки?.. Ага! прикусил язычок!

— Помилуй, кормилец! как бог свят...

— Молчи!.. Кто тебе сказал, что Ванька скоро женится — а?..

— Никто, батюшка, никто! Я ничего не говорил.

— Ого! да ты еще запираешься! Так постой же!.. *Гирей, мурей, алла боржук!*

— Виноват, отец мой! — закричал колдун, вскочив со скамьи и повалясь в ноги к запорожцу.

— Вот этак-то лучше, негодный! А не то я скажу еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог!

— Что делать, согрешил, окаянный! Месяца четыре крепился, да сегодня черт принес эту проклятую Марфушку!.. «Поворожи да поворожи!..» — пристала ко мне как лихоманка; не знал, как отвязаться!

— Добро, добро, встань! Счастлив ты, что у меня есть до тебя дельце; а то узнал бы, каково со мной шутить!.. Ты должен сослужить мне службу.

— Все, что прикажешь, батюшка!

— Если ты мне поможешь в одном деле, так и я тебе удружу. Ведь ты только обманываешь добрых людей, а хочешь ли, я сделаю из тебя исправного колдуна?

— Как не хотеть, батюшка! Да я тогда за тебя куда хочешь — и в огонь и в воду!

— Слушай же! Во-первых, ты, верно, знаешь, где боярин Шалонский?

— Кто, батюшка?

— Боярин Кручина-Шалонский.

— Тимофей Федорович?

— Ну да.

— То есть боярин мой?

— Кой черт! что ты, брат, переминаешься? Смотри не вздумай солгать! Боже тебя сохрани!

— Что греха таить, родимый, знать-то я знаю...

— Так что ж?

— Да не велено сказывать.

— А я тебе приказываю.

— Да на что тебе, кормилец?.. Ведь ты и без меня всю подноготную знаешь; тебе стоит захотеть, так ты сейчас увидишь, где он.

— Вот то-то и дело, что нет; у кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба целый год не действует.

— Вот что!

— А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай!

— Отец родной, взмилуйся! Ведь меня совсем обдерут... и если боярин узнает, что я проболтался...

— Небось никому не скажу.

— Не смею, батюшка! воля твоя, не смею!

— Так ты стал еще упрямиться!.. Погоди же, голубчик!.. *Гирей, мурей...*

— Постой, постой!.. Ох, батюшки! что мне делать? Да точно ли ты никому не скажешь?

— Дуралей! Когда ты сам будешь колдуном, так что тебе сделает боярин? Если захочешь, так никто и пчельника твоего не найдет: всем глаза отведешь.

— Оно так, батюшка; но если б ты знал, каков наш боярин...

— Да что ты торгуешься, в самом деле? — закричал запорожец.— В последний раз: скажешь ли ты мне или нет, где теперь Тимофей Федорович?

— Не гневайся, кормилец, не гневайся, все скажу! Он теперь живет верст семьдесят отсюда, в Муромском лесу.

— В Муромском лесу?

— У него там много пустошей, а живет он на хуторе, который выстроил еще покойный его батюшка; одни говорят, для того, чтоб охотиться и бить медведей; другие бают, для того, чтоб держать пристань и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым Станом и, как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдни солнышка не видно. Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой осталась одна каменная ограда да подземные склепы, и что будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней подходить; что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся служить сами по себе панихиду; что частенько, когда делывали около этого места порубки, мужики слыхали в сумерки благовест. Один старик, которого сын и теперь еще жив, рассказывал, что однажды зимою, отыскивая медвежий след, он заплутался и в самую полночь забрел на пустынь; он божился, что своими глазами видел, как целый ряд монахов, в черных рясах, со свечами в руках, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругом всей пустыни, пропал над самым тем местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заметил, что все они были изувечены: у одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе без головы...

— И этот старик от страху не умер? — спросил робким голосом Кирша, который в первый раз от роду почувствовал, что может и сам подчас струсить.

— Нет, не умер,— отвечал Кудимыч,— а так испугался, что тут же рехнулся и, как говорят, до самой смерти не приходил в память.

— Как же отец вашего боярина решился на этом месте построить хутор?

— Он был, не тем помянуто, какой-то еретик: ничему не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил, не лучше был татарина. Правда, бают, при нем мертвецы наружу не показывались, а только по ночам холопи его слыхали, что под землею кто-то охает и стонет. Был слух, что это живые люди, заточенные в подземелье; а я так мекаю, да и все так мыслят, что это души усопших; а не показывались они потому, что старый боярин был ничем не лучше тех некрещеных бусурман, которые разорили пустынь. Однако ж наконец и он унялся ездить на хутор; после ж его смерти годов двадцать никто туда не заглядывал, и только в прошлом лете, по приказанию Тимофея Федоровича, починили боярский дом и поисправили все службы.

— Ну, теперь скажи мне: этак месяца четыре назад не слыхал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина?..

— Месяца четыре?.. Кажись, нет!..

— Точно ли так?

— Постой-ка!.. Ведь это, никак, придется близко святой?.. Ну так и есть!.. Мне сказывала мамушка Власьевна, что в субботу на Фомино воскресенье ей что-то ночью не поспалось; вот она перед светом слышит, что вдруг прискакали на боярский двор; подошла к окну, глядь: сидит кто-то в телеге, руки скручены назад, рот завязан; прошло так около часу, вышел из хором боярский стремянный, Омляш, сел на телегу подле этого горемыки, да и по всем по трем.

— Так точно, это он! — вскричал Кирша.— Может быть, я найду его на хуторе... Послушай, Кудимыч, ты должен проводить меня до Теплого Стана.

— Что ты, родимый! я сродясь там не бывал.

— Полно, так ли?

— Видит бог, нет!

— Так не достанешь ли ты мне проводника?

— Навряд. Дворовых в селе ни души не осталось; а из мужичков, чай, так же, как я, никто туда не езжал.

— Но не можешь ли хоть растолковать, по какой дороге надо ехать?

— Кажись, по муромской. Кабы знато да ведано, так я меж слов повыспросил бы у боярских холопей: они часто ко мне наезжают. Вот дней пять тому назад ночевал у меня Омляш; его посылали тайком к боярину Лесуте-Храпунову; от него бы я добился, как проехать на Теплый Стан; хоть он смотрит медведем, а под хмельком все выболтает. В прошлый раз как он вытянул целый жбан браги, так и принялся мне рассказывать, что у них на хуторе...

Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его.

— Ну, что ж у них на хуторе? — сказал запорожец.— Да кой прах! что с тобою сделалось?

Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа, с прищуренными глазами и рыжей бородою.

— Омляш! — вскричал Кирша, выхватив свою саблю, но в ту ж минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол.

— Скрутите его хорошенько! — закричал в окно Омляш.— А я сейчас переведаюсь с хозяином.— Ну-ка, Архип Кудимович,— сказал он, входя в избу,— я все слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь отворожишься!

— Виноват, батюшка! — завопил Кудимыч, упав на колени.— Не губи моей души!.. Дай покаяться!

— Ах ты проклятый колдун! так ты всякому прохожему рассказываешь, где живет наш боярин?

— Батюшка, отец родимый! В первый и последний раз проболтался! Век никому не скажу!..

— И не скажешь! я за это порукою...

Омляш махнул кистенем, и Кудимыч с раздробленной головой повалился на пол.

— Ай да Омляш! — сказал небольшого роста человек, в котором Кирша узнал тотчас земского ярыжку.— Исполать тебе! Смотри-ка... не пикнул!

— Я не люблю томить,— отвечал хладнокровно Омляш,— мой обычай: дал раза, да и дело с концом! А ты что за птица? — продолжал он, обращаясь к Кирше.— Ба, ба, ба! старый приятель! Милости просим! Что ж ты молчишь? Иль не узнал своего крестника?

— Да это тот самый колдун,— сказал один из товарищей Омляша,— что пользовал нашу боярышню.

— Ой ли? Ну, брат! не знаю, каково ты ворожишь, а нагайкою лихо дерешься. Ребята! поищите-ка веревки,

да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть; а вон, кстати, у самых ворот знатная сосна.

— Знаете ль, молодцы,— сказал земский,— что повесить и одного колдуна богоугодное дело; а мы за один прием двоих отправим к черту... эко счастье привалило!

— А скажи-ка, крестный батюшка,— спросил Омляш,— зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли тебя нарочно повыведать, где наш боярин?.. Что ж ты молчишь?..— продолжал Омляш.— Заговорил бы ты у меня, да некогда с тобой растабарывать... Ну, что стали, ребята? Удалой! тащи его к сосне да втяните на самую макушку: пусть он оттуда караулит пчельник!

Киршу вывели за ворота. Удалой влез на сосну, перекинул через толстый сук веревку; а Омляш, сделав на одном конце петлю, надел ее на шею запорожцу.

— Послушайте, молодцы! — сказал Кирша.— Что вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так каяться не будете.

— Ага, брат! заговорил, да нет, любезный, нас не убаюкаешь. Подымайте его!

— Постойте, я дам за себя выкуп!

— Выкуп?.. Погодите, ребята.

— Что ты его слушаешь, Омляш,— сказал земский,— я его кругом обшарил: теперь у него и полденьги нет за душою.

— Здесь в лесу есть клад.

— Клад! — вскричал Омляш.— А что вы думаете, ребята? Ведь он колдун, так не диво, если знает... Да не обманываешь ли ты!

— Что мне прибыли обманывать? ведь я у вас в руках.

— Ну, добро, добро! покажи нам, где клад? — сказал земский.

— Да, покажи вам, а после вы меня все-таки уходите. Нет, побожитесь прежде, что вы отпустите меня живого.

— Ты еще вздумал с нами торговаться! — вскричал Омляш.— Покажи нам клад, а там посмотрим, что с тобою делать.

— Как бы не так! Обещайтесь отпустить меня с честью, так покажу, а без этого,— прибавил твердым голосом Кирша,— хотя в куски меня режьте, ни слова не вымолвлю.

— Ну, ну,— сказал земский, мигнув Омляшу,— так и быть! Вот те Христос, мы тебя отпустим на все четыре стороны и ничем не обидим, только покажи клад.

— Точно ли так, ребята?..

— Да, да,— повторил Омляш и его товарищи,— мы ничем тебя не обидим и отпустим с честью.

— Смотрите же, молодцы! Ведь вам грешно будет, если вы меня обманете,— сказал Кирша.

— Не обмани только ты, а мы не обманем,— отвечал Омляш.— Удалой, возьми-ка его под руку, я пойду передом, а вы, ребята, идите по сторонам; да смотрите, чтоб он не юркнул в лес. Я его знаю: он хват детина! Томила, захвати веревку-то с собой: неравно он нас морочит, так было бы на чем его повесить.

— А вот кстати и заступ,— сказал земский.— Ведь мы не руками же станем раскапывать землю.

Кирша повел их по тропинке, которая шла к селению. Желая продлить время, он беспрестанно останавливался и шел весьма медленно, отвечая на угрозы и понуждения своих провожатых, что должен удостовериться по разным приметам, туда ли он их ведет. Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул быстрым взором все окружности и удостоверился, что его казаки не прибыли еще на сборное место. Помолчав несколько времени, он сказал, что не может исполнить своего обещания до тех пор, пока не развяжут ему рук.

— Не хлопочи, брат,— отвечал Омляш,— покажи нам только место, а уж копать будешь не ты.

— Да, много выкопаете! — сказал запорожец.— Ведь клад не всем дается: за это надо взяться умеючи.

— Что правда, то правда,— примолвил земский.— Я много раз слыхал, что без досужего человека клад никому в руку не дается; как не успеешь сказать: «Аминь, аминь, рассыпься!» — так и ступай искать его в другом месте.

— Ну, ну, хорошо! развяжите его,— сказал Омляш,— да чур не дремать, ребята, а уж я его не смигну!

Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине; потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилег ухом к земле. Сначала он не слышал ничего: все было тихо кругом; наконец ему послышался отдаленный конский топот.

— Ну, что, чуешь ли что-нибудь? — спросил с нетерпением Омляш.

— Да, да,— отвечал запорожец,— дело идет порядком, только торопиться не надобно. Я примусь теперь

копать землю, а вы стойте вокруг за чертою; да смотрите не шевелитесь! К этому кладу большой караул приставлен: не легко он достанется.

— А что,— спросил робким голосом земский,— уж не будет ли какого демонского наваждения?

— Не без того-то, любезный,— отвечал Кирша важным голосом.— Лукавый хитер, напустит на вас страх! Смотрите, ребята, чур не робеть! Чтоб вам ни померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назад.

— Что за вздор! — сказал Омляш,— взглянув подозрительно на Киршу.— Я никогда не слыхивал, чтоб — наше место свято — показывался по утрам, когда уж петухи давным-давно пропели!

— Не слыхал, так другие от тебя услышат. Становитесь же в кружок, не говорите ни слова, смотрите вниз, а если покажется из земли огонек, тотчас зачурайтесь.

Наблюдая глубокое молчание, все стали кругом Кирши, который, пошептав несколько минут, принялся копать с большими расстановками.

— Чу! — шепнул Омляш земскому,— слышишь ли?.. конский топот!..

— Ради бога молчи! — отвечал земский дрожащим голосом.

— Тс!.. что вы? Ни гугу! — сказал запорожец, погрозив пальцем.

Шум час от часу приближался и становился внятнее.

— Я слышу голоса! — примолвил Омляш, посматривая с беспокойным видом вокруг себя.— Эй ты, колдун!..

— Тс!..

— Если ты завел нас в какую-нибудь засаду, то...

— Тс!..

— Уймешься ли ты? — сказал Томила, толкнув его локтем.

— К нам, точно, подъезжают! — вскричал Омляш, вынув из-за пояса большой нож.

— Эх, братец, перестань! — шепнул Удалой,— это нам мерещится...

Земский не говорил ни слова; он не смел пошевелить губами и стоял как вкопанный.

— Слушайте, ребята,— сказал Кирша, перестав копать,— если вы не уйметесь говорить, то быть беде! То ли еще будет, да не бойтесь, стойте только смирно и не оглядывайтесь назад, а я уже знаю, когда зачурать.

Омляш замолчал и, устремив проницательный взор на запорожца, следил глазами каждое его движение. Между тем из-за кустов показался казак, за ним другой... там третий...

— Ну, ребята! — сказал запорожец,— дело идет к концу: стойте крепко!.. Малыш, сюда!..

— Измена!..— вскричал Омляш, схватив за ворот Киршу. Он ударил его оземь и, занеся над ним нож, сказал: — Если кто-нибудь из них тронется с места...

Вдруг раздался ружейный выстрел... Омляш вскрикнул, хотел опустить нож, направленный прямо в сердце запорожца, но Кирша рванулся назад, и разбойник, захрипев, упал мертвый на землю. Удалой и Томила выхватили сабли, но в одно мгновение, проколотые дротиками казаков, отправились вслед за Омляшем.

В продолжение этой минутной суматохи земский не смел пошевелиться и, считая все это дьявольским наваждением, творил про себя, заикаясь от страха, молитву. Когда ж, по знаку запорожца, двое казаков принялись вязать ему руки, он не вытерпел и закричал, как сумасшедший:

— Чур меня! чур! наше место свято!..

— Что ты горло-то дерешь? — сказал Кирша.— От этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься.

— Что ж это такое?..— спросил земский, поглядывая вокруг себя как помешанный.— Омляш!.. Удалой!.. Томила!..

— Полно орать, никого не докличешься; мы с ними разделались, теперь очередь за тобою.

— Ах, батюшки светы! Так мы попались в засаду?..

— Не погневайся! Ребята, веревку ему на шею да на первую осину!

— Помилуй! — закричал земский.— Что я тебе сделал?

— А разве вы не хотели меня повесить? долг платежом красен.

— Не я, видит бог, не я: это все Омляш! Я ни слова не говорил!..

— Добро, добро! тебя не переслушаешь. Проворней, ребята!

— Взмилуйся! — заревел земский, растянувшись в ногах запорожца.— Таскай меня, бей... вели отодрать плетьми, делай со мной что хочешь... только будь отец родной: отпусти живого.

Уродливая фигура земского, его отчаянный вид,

всклоченная рыжая борода, растрепанные волосы — одним словом, вся наружность его казалась столь забавною казакам, что они, умирая со смеху, не слишком торопились исполнять приказание своего начальника. Один добрый Алексей сжалился над несчастным ярыжкою.

— Не губи его души,— сказал он Кирше,— бог с ним!..

— Пустое, брат,— отвечал запорожец, мигнув Алексею,— тащите его!.. иль нет!.. постой!.. Слушай, рыжая собака! Если ты хочешь, чтоб я тебя помиловал, то говори всю правду; но смотри, лишь только ты заикнешься, так и петлю на шею! Жив ли Юрий Дмитрич Милославский?

— Жив, батюшка! видит бог, жив!

— Неужто в самом деле? — вскричал Алексей.

— Где он теперь? — продолжал Кирша.

— В Муромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича.

— Доведешь ли ты нас туда?

— Доведу, кормилец! доведу!

— Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитрича?

— Помогу, отец мой, помогу!

— А где теперь дочь боярина Шалонского, Анастасья Тимофеевна?

— Не знаю, батюшка!

— Не знаешь?

— Как бог свят, не знаю; а слышал только, что батюшка отвез ее в какой-то монастырь под Москву, в котором игуменья приходится ей теткою.

— Много ли у боярина на хуторе холопей?

— Много, батюшка: за сотню будет.

— За сотню?.. Правду ли ты говоришь?

— Сущую правду, кормилец! Всех по пальцам перечту: Гаврила, Антон, Федот, Кондратий...

— Верю, верю... Ах, черт возьми! так дело-то трудновато!.. тут на силу не возьмешь...

— Уж я вам помогу,— перервал земский,— только отпустите меня живого; я все тропинки в лесу знаю и доведу вас ночью до самого хутора, так что ни одна душа не услышит.

— Хорошо, господин ярыжка! — сказал Кирша.— Если мы выручим Юрия Дмитрича, то я отпущу тебя без всякой обиды; а если ты плохо станешь нам помогать, то закопаю живого в землю. Малыш, дай ему коня да

приставь к нему двух казаков, и если они только заметят, что он хочет дать тягу или, чего боже сохрани, завести нас не туда, куда надо, так тут же ему и карачун! А я между тем сбегаю за моим Вихрем: он недалеко отсюда, и как раз вас догоню.

— На коня, добрые молодцы! — закричал Малыш.— Эй ты, рыжая борода, вперед!.. показывай дорогу!.. Ягайло, ступай возле него по правую сторону, а ты, Павша, держись левой руки. Ну, ребята, с богом!..

III

Знаменитые в народных сказках и древних преданиях дремучие леса Муромские и доныне пользуются неоспоримым правом — воспламенять воображение русских поэтов. Тот, кому не случалось проезжать ими, с ужасом представляет себе непроницаемую глубину этих диких пустынь, сыпучие пески, поросшие мхом и частым ельником непроходимые болота, мрачные поляны, устланные целыми поколениями исполинских сосен, которые породились, взросли и истлевали на тех же самых местах, где некогда возвышались их прежние, современные векам, прародители; одним словом, и в наше время многие воображают Муромские леса

Жилищем ведьм, волков,
Разбойников и злых духов.

Но, к сожалению юных поэтов наших и к счастию всех путешественников, они давно уже потеряли свою пиитическую физиономию. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, где некогда, по древним сказаниям, возвышалось на семи дубах неприступное жилище Соловья-разбойника; никто в селе Карачарове не покажет любопытному путешественнику того места, где была хижина, в которой родился и *сиднем* сидел тридцать лет могучий богатырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве; злые духи остались в одних операх, а романтические разбойники, по милости классических капитан-исправников, вовсе перевелись на святой Руси; и бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты и разве иногда может похвастаться мужественным своим нападением на станционного

смотрителя, который, *бог знает почему,* не давал ему до самой полуночи лошадей, или победою над упрямым извозчиком, у которого, *верно, было что-нибудь на уме,* потому что он ехал шагом по тяжелой песчаной дороге и, подъезжая к одному оврагу, насвистывал песню. Но что всего несноснее: этот дремучий лес, который в старину представлялся воображению чем-то таинственным, неопределенным, бесконечным — весь вымерен, разделен на десятины, и сочинитель романа не найдет в нем ни одного уголка, которого бы уездный землемер не показал ему на общем плане всей губернии. Правда, говорят, будто бы и в наше время голодные волки бродят по лесу и кой-где в дуплах завывают филины и сычи; но эти мелкие второклассные ужасы так уже износились во всех страшных романах, что нам придется скоро отыскивать девственную природу, со всеми дикими ее красотами, в пустынях Барабинских или в бесконечных лесах южной Сибири.

С лишком за двести лет до этого, то есть во времена междуцарствия, хотя мы и не можем сказать утвердительно, живали ли в Муромских лесах ведьмы, лешие и злые духи, но, по крайней мере, это народное поверье существовало тогда еще во всей своей силе; что ж касается до разбойников, то, несмотря на старания губных старост, огнищан и всей земской полиции тогдашнего времени, дорога Муромским лесом вовсе была небезопасна. Купец из какого-нибудь низового города, отправляясь во Владимир, прощался со всеми своими родными и, доехав благополучно до Мурома, полагал необходимою обязанностию отслужить благодарственный молебен муромским чудотворцам, святым и благоверным: князю Петру и княгине Февронии.

Мы попросим теперь читателей перенестись вместе с нами в самую глубину Муромского леса, на Теплый Стан, хутор боярина Шалонского. Чтоб дать сколь возможно более понятия о его местоположении, мы скажем только, что он находился верстах в двадцати от большой дороги и почти столько же от берегов Оки, которая перерезывает, или, лучше сказать, оканчивает, большой Муромский лес. Не доезжая верст пяти до хутора, должно было переправиться через обширное болото, в коем терялась небольшая речка, которая, прокрадываясь потом между мхов и поросших тростником небольших озер, впадала в Оку. Узкая, едва заметная тропинка извивалась по болоту; по обеим сторонам ее

расстилались, по-видимому, зеленеющие луга; но горе проезжему, который, пленясь их наружностию, решился бы съехать в сторону с грязной и беспокойной дороги: под этой обманчивой зеленой оболочкою скрывалась смерть, и один неосторожный шаг на эту бездонную трясину подвергал проезжего неминуемой гибели; увязнув раз, он не мог бы уже без помощи других выбраться на твердое место: с каждым новым усилием погружался бы все глубже и, продолжая тонуть понемногу, испытал бы на себе все мучения медленных казней, придуманных бесчеловечием и жестокостию людей. По другой стороне топи начиналась прямая просека, ведущая на окруженную со всех сторон болотами и дремучим лесом обширную поляну; во всю ширину ее простирались стены древней обители, на развалинах которой был выстроен хутор боярина Кручины. Небольшая речка, о которой мы уже говорили, обтекая кругом всей стены, составляла перед самым выездом на поляну продолговатый и довольно широкий пруд; длинная и узкая гать служила плотиною, по которой подъезжали к самым стенам хутора. По всем углам четырехсторонней ограды построены были круглые башни, из которых две, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться; но остальные, несмотря на все признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Над главными воротами, на которых заметны были остатки живописи, изображавшей, вероятно, святых угодников, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня. Внутри ограды, вдоль всей восточной стены, выстроены были бревенчатые хоромы боярина Шалонского, а остальная часть хутора занята службами и огромною конюшнею. На самой средине двора видны были остатки довольно обширной, но низкой церкви; узкие, похожие на трещины окна совершенно заглохли травою, а вся поверхность сводов поросла кустами жимолости, из средины которых подымались две или три молодые ели.

Глухая полночь давно уже наступила; ветер завывал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти все жители Теплого Стана покоились крепким сном, и только караульный, поставленный на сторожевой башне, изредка перекликался с своим товарищем, стоящим у противоположных ворот. Кой-где мелькал сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед иконами, и одна только часть хором боярина Кручины казалась ярко

освещенною. В обширном покое, за дубовым столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина-Шалонский с задушевным своим другом, боярином Истомою-Турениным; у дверей комнаты дремали, прислонясь к стене, двое слуг; при каждом новом порыве ветра, от которого стучали ставни и раздавался по лесу глухой гул, они, вздрогнув, посматривали робко друг на друга и, казалось, не смели взглянуть на окна, из коих можно было различить, несмотря на темноту, часть западной стены и сторожевую башню, на которых отражались лучи ярко освещенного покоя.

— Выпей-ка еще этот кубок,— сказал Кручина, наливая Туренину огромную серебряную кружку.— Я давно уже заметил, что ты мыслишь тогда только заодно со мною, когда у тебя зашумит порядком в голове. Воля твоя, а ты уж чересчур всего опасаешься. Смелым бог владеет, Андрей Никитич, а робкого один ленивый не бьет.

— Благоразумие не робость, Тимофей Федорович,— отвечал Туренин.— И ради чего господь одарил нас умом и мыслию, если мы и с седыми волосами будем поступать, как малые дети? Дозволь тебе сказать: ты уж не в меру малоопасен; да вот хоть например: для какой потребы эти два пострела торчат у дверей? Разве для того, чтобы подслушивать наши речи.

— Подслушивать? Да смеют ли они иметь уши, когда стоят в самом покое?

— Смеют ли!.. Чего не смеет подчас это хамово отродье. Послушай, Тимофей Федорович, коли ты желаешь продолжать со мною начатый разговор, то вышли вон своих челядинцев.

— Ну, если хочешь, пожалуй! Эй вы, дурачье!.. ступайте вон.

Слуги молча поклонились и вышли в другую комнату.

— Вот этак-то лучше! — сказал Туренин, притворяя дверь.— Итак, Тимофей Федорович,— продолжал он, садясь на прежнее место,— ты решился оставить Теплый Стан?

— Да, делать нечего. Гетман Хоткевич должен быть уже под Москвою, и если нижегородские разбойники с атаманом своим, Пожарским, и есаулом его, мясником Сухоруковым, и подоспеют на помощь к князю Трубецкому, то все ему несдобровать: Заруцкий с своими казаками и рук не отведет; так рассуди сам: какой я до-

бьюсь чести, если во все это время просижу здесь на хуторе, как медведь в своей берлоге?

— Оно так, Тимофей Федорович; не худо бы нам добраться до войска пана Хоткевича: если он будет победителем, тем лучше для нас — и мы там были налицо; если ж, на беду, его поколотят...

— Что ты?.. может ли это статься?

— Бог весть! не узнаешь, любезный. Иногда удается и теляти волка поймати; а Пожарский не из простых воевод: хитер и на руку охулки не положит. Ну если каким ни есть случаем да посчастливится нижегородцам устоять против поляков и очистить Москву, что тогда с нами будет? Тебя они величают изменником, да и я, чай, записан у Пожарского в *нетех* *, так нам обоим жутко придется. А как будем при Хоткевиче, то, какова ни мера, плохо пришло — в Польшу уедем и если не здесь, так там будем в чести.

— Вот то-то же; ты видишь сам, что нам мешкать не должно.

— Видеть-то я вижу, да как мы доберемся до польского войска?.. Ехать одним... того и гляди, попадешься в руки к разбойникам шишам, от которых, говорят, около Москвы проезду нет. Взять с собой человек тридцать холопей... с такой оравой тайком не прокрадешься; а Пожарский давно уже из Ярославля со всем войском к Москве выступил.

— Не выходить бы ему из Ярославля,— вскричал Кручина,— если б этот дурак, Сенька Жданов, не промахнулся! И что с ним сделалось?.. Я его, как самого удалого из моих слуг, послал к Заруцкому; а тот отправил его с двумя казаками в Ярославль зарезать Пожарского — и этого-то, собачий сын, не умел сделать!.. Как подумаешь, так не из чего этих хамов и хлебом кормить!

— Как бы то ни было, Тимофей Федорович, а делать нечего, надобно пуститься наудалую. Но так как, по мне, все лучше попасть в руки к Пожарскому, чем к этим проклятым шишам, то мой совет — одним нам в дорогу не ездить.

— И я то же думаю. Итак, если завтра погода будет получше... Тьфу, батюшки! что за ветер! экой гул идет по лесу!

---

* Так назывались те, которые по требованию правительства не являлись на службу.

— Да, погодка разыгралась. И то сказать, в лесу не так, как в чистом поле: и небольшой ветерок подымет такой шум, что подумаешь — светупреставление... Чу! слышишь ли? и свистит и воет... Ах, батюшки светы! что это?.. словно человеческие голоса!

— В самом деле,— сказал Кручина, вставая с своего места,— и мне что-то послышалось...— прибавил он, глядя из окна на сторожевую башню.

— Нет! — отвечал Туренин, покачав сомнительно головою.— Это не так близко отсюда, а разве за плотиною в просеке.

— Уже не едет ли назад Омляш с товарищами? — сказал Кручина.

— Может статься,— отвечал Туренин,— однако ж не худо, если б ты велел разбудить человек десяток холопей.

— На что?

— Да так, чтоб, знаешь ли, врасплох не пожаловали гости...

— Помилуй, любезный! кому?.. Кто, кроме наших, в такую темнять проедет болотом?

— Все так; а, право, не мешало бы...

— Э, да, я вижу, ты еще не допил своего кубка! Ну-ка, брат, выкушай на здоровье! авось храбрости в тебе прибудет. Помилуй, чего ты опасаешься? В нашей стороне никакого войска нет; а если б и было, так кого нелегкая понесет? Вернее всего, что нам послышалось. Омляш все тропинки в лесу знает, да и он навряд пустится теперь через болото.

— А куда ты его отправил?

— К Замятне-Опалеву. Сегодня или завтра чем свет ему назад вернуться должно. Итак, Андрей Никитич, дело кончено: мы завтра отправляемся в дорогу. Знаешь ли, что нам придется ехать мимо Троицкой лавры?

— Для чего?

— Да надо завернуть в Хотьковскую обитель за Настенькой: она уж четвертый месяц живет там у своей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не век ей оставаться невестою, пора уж быть и женою пана Гонсевского; а к тому ж если нам придется уехать в Польшу, то как ее после выручить? Хоть, правду сказать, я не в тебя, Андрей Никитич, и верить не хочу, чтоб этот нижегородский сброд устоял против обученного войска польского и такого знаменитого воеводы, каков гетман Хоткевич.

— Не говори, Тимофей Федорович: мало ли что случиться может; не подумаешь вперед, так чтоб после локтей не кусать. Ну, а скажи мне, если завтра мы отсюда отправимся, что ты сделаешь с Милославским? Неужли-то потащишь с собою?

— Да, мне хотелось бы этого предателя руками выдать пану Гонсевскому.

— Нет, Тимофей Федорович, неравно попадемся сами, так бедовое дело: ведь он живая улика.

— Что правда, то правда; придется оставить его здесь.

— Вот то-то же! Ну к чему навязал себе на шею эту заботу? Кабы твой Омляш меня послушался, то давно б об этом Милославском и слуху не было; так нет!.. «Мне, дескать, наказано от боярина живьем его схватить!» Живьем!.. Вот теперь и возись с ним!

— Да знаешь ли, что этот мальчишка обидел меня за столом при пане Тишкевиче и всех моих гостях? Вспомнить не могу!..— продолжал Кручина, засверкав глазами.— Этот щенок осмелился угрожать мне... и ты хочешь, чтоб я удовольствовался его смертью... Нет, черт возьми! я хотел и теперь еще хочу уморить его в кандалах: пусть он тает как свеча, пусть, умирая понемногу, узнает, каково оскорбить боярина Шалонского!

— Оно так,— перервал хладнокровно Туренин,— конечно, весело потешиться над своим злодеем; да чтоб оглядок не было. Ты оставишь его здесь... ну, а коли, чего боже сохрани! без тебя он как ни есть вырвется на волю?.. Эх, Тимофей Федорович! послушайся моего совета... мертвые не болтают.

— Так ты думаешь?..

— Ну да! хватил ножом, да и концы в воду!

Боярин Кручина, помолчав несколько минут, повторил вполголоса:

— Ножом!.. но неужели я должен сам?..

— Кто тебе говорит? Что, у тебя мало, что ль, молодцов?.. Стоит только намекнуть...

— Омляш и Удалой в дороге, а на других я не больно надеюсь.

— Вели позвать моего дворецкого: у него рука не дрогнет.

— Так ты думаешь, что мы должны?.. что для безопасности нашей?..

— Как же! ведь он нас за руки держит; один конец — так и нам и ему легче будет.

— Ну ин быть по-твоему,— сказал Кручина, вставая медленно из-за стола. Он наполнил огромную кружку вином и, выпив ее одним духом, подошел к дверям, взялся за скобу, но вдруг остановился; казалось, несколько минут он боролся с самим собою и наконец прошептал глухим голосом:

— Нет! не могу!.. никак не могу!..

— Чуден ты мне! — сказал, покачав головою, Туренин.— Ведь ты хотел же его уморить в кандалах?

— Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился ругаться надо мною, то вся кровь закипит!

— Так что ж?

— Так что ж!.. Эх, Андрей Никитич! в сердцах я готов на все: сам зарежу того, кто осмелится мне поперечить... а ведь он в моих руках!..

— Тем лучше.

— В цепях... истомленный голодом, едва живой... Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею... Нет, Андрей Никитич, не могу! видит бог, не могу!..

— Кто говорит, Тимофей Федорович,— конечно, жаль: детина молодой, здоровый, дожил бы до седых волос... да, что ж делать, своя рубашка к телу ближе.

Шалонский бросился на скамью и, закрыв обеими руками лицо, не отвечал ни слова.

— Послушай, любезный,— продолжал Туренин,— что сделано, то сделано: назад не воротишься; и о чем тут думать? Не при мне ли Милославский говорил нижегородцам, чтоб не покорялись Владиславу? Не по его ли совету они пошли под Москву? Не он ли ободрял их, рассказывая о бессилии поляков и готовности граждан московских восстать против Гонсевского? Не клялся ли он в верности Владиславу? Не изменил ли своей присяге и не заслуживает ли этот предатель смертной казни? Ну, что ж ты молчишь? Отвечай, Тимофей Федорович!

— Боярин Туренин,— сказал Кручина, бросив на него угрюмый взгляд,— не нам с тобою осуждать Милославского... Но ты прав: назад вернуться не можно. Делай что хочешь... и пусть эта кровь падет на твою голову!

— Аминь! — сказал Туренин, подходя к дверям.

— Постой! — вскричал Шалонский.— Слышишь ли?.. это уж не ветер...

— Да,— отвечал Туренин, отворяя окно.— Точно!.. Конский топот!

— Неужели Омляш! Скоро ж он назад воротился... Нишни!.. караульный с кем-то разговаривает... Кажется... точно так! это голос Прокофьича.

— Земского ярыжки, который у тебя живет?

— Да; я отправил его вместе с Омляшем.

— Ну, так и есть; это должны быть они... вот и караульный сошел с башни... отворяет ворота... Кой черт!.. а сколько ты людей отправил с Омляшем?

— Их было всего четверо.

— Четверо?.. Полно, так ли?.. Кажется, их гораздо больше... Постой-ка... тьфу, батюшки, какая темнять!

Тут на дворе раздался болезненный крик, похожий на удушливое и слабое восклицание умирающего человека.

— Что это значит? — спросил торопливо Туренин.

— Дурачье! — сказал Кручина.— Уж не задавили ли кого-нибудь в потемках?

— Тимофей Федорович! — вскричал Туренин.— Посмотри-ка!.. Мне кажется, что от ворот идет что-то много пеших людей...

— Право?.. Ну, спасибо Замятне! Я просил его прислать ко мне десятка два своих холопей. У меня здесь больных наполовину, а как возьмем с собой человек тридцать, так было бы кому хутор покараулить. Пожалуй, заберутся в гости и разбойники.

— А что, у тебя заведено, что ль, держать по ночам ворота настежь?

— Как настежь?

— Да разве не видишь? Караульный и не думает запирать.

— В самом деле... Может быть, не все еще въехали.

— Не все?.. Кажется, и так порядочная кучка прошла двором.

Вдруг в сенях послышались шаги многих людей, поспешно идущих.

— Тимофей Федорович! — вскричал испуганным голосом Туренин.— Сюда идут!..

— Что это значит?..— спросил Кручина, подойдя к дверям.

В соседнем покое раздался громкий крик, и Кирша,

в провожании пяти казаков и Алексея, вбежал в комнату.

— Измена! — вскричал Шалонский.

— Молчать!..— сказал Кирша, прицелясь в него пистолетом.— Слушайте, бояре! Если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец! Тимофей Федорович, веди нас сейчас туда, где запрятан у тебя Юрий Дмитрич Милославский.

Шалонский протянул руку, чтоб схватить со стола нож; но Туренин, удержав его, закричал:

— Бога ради, боярин, не губи нас обоих! Добрый человек! — продолжал он, обращаясь к Кирше...

— Тсс! ни слова! — перервал запорожец.— Где ключи от его темницы?

Кручина молча показал на стену.

— Хорошо,— сказал Кирша, сняв их со стены,— возьмите каждый по свече и показывайте, куда идти... Да боже вас сохрани сделать тревогу!.. Ребята! под руки их! ножи к горлу... вот так... ступай!

В соседнем покое к ним присоединилось пятеро других казаков; двое по рукам и ногам связанных слуг лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за Шалонским к развалинам церкви. Когда они проходили мимо служб, то, несмотря на глубокую тишину, ими наблюдаемую, шум от их шагов пробудил несколько слуг; в двух или трех местах народ зашевелился и растворились окна.

— Тимофей Федорович! — сказал Кирша.— Если все эти рожи сей же час не спрячутся, то...— Он приставил дуло пистолета к его виску.— Слышишь ли, боярин?

Шалонский не отвечал ни слова; но Туренин закричал прерывающимся от страха голосом:

— Что вы глазеете, дурачье? иль хотите подсматривать за вашими боярами?.. Вот я вас, бездельники!..

Окна затворились, и снова настала совершенная тишина. Пройдя к развалинам, казаки вошли вслед за боярином Кручиною во внутренность разоренной церкви. В трапезе, против того места, где заметны еще были остатки каменного амвона, Шалонский показал на чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лестница, ведущая вниз.

— Тимофей Федорович,— сказал Кирша,— потрудись идти вперед; а ты, боярин,— продолжал он, обра-

щаясь к Туренину,— ступай-ка подле меня; неравно у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется.

Сойдя ступеней двадцать, они очутились в обширном подземелье; покрытые надписями чугунные доски и каменные плиты с высеченными словами доказывали, что это подземелье служило склепом, в котором хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении окованная железом низкая дверь была заперта огромным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова, остановился подле нее; в одну минуту замок был отперт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею и двумя казаками вошел, или, лучше сказать, пролез, с свечкою в руках сквозь узкое отверстие в небольшой четырехугольный погреб. В нем, прикованный толстой цепью к стене, лежал на соломе несчастный Милославский. Услышав необычайный шум и увидя вошедших людей, он молча перекрестился и закрыл рукою глаза.

— Ахти! нас обманули! — вскричал Алексей.— Это не он!

Звуки знакомого голоса пробудили от бесчувствия полумертвого Юрия; он открыл глаза, привстал и, протянув вперед руки, промолвил слабым голосом:

— Алексей, ты ли это?

— Боже мой!.. это его голос! — вскричал верный служитель, бросившись к ногам своего господина.— Юрий Дмитрич! — продолжал он, всхлипывая.— Батюшка!.. отец ты мой!.. Ах злодеи!.. богоотступники!.. что это они сделали с тобою? господи боже мой! краше в гроб кладут!.. Варвары! кровопийцы!

Рыдания прерывали слова его; он покрывал поцелуями руки и ноги Юрия, который, казалось, не мог еще образумиться от этого нечаянного появления и не понимал сам, что с ним делалось.

— Добро, будет, Алексей! — сказал запорожец.— Успеешь нарадоваться и нагореваться после; теперь нам не до того. Ребята! проворней сбивайте с него цепи... иль нет... постой... в этой связке должны быть от них ключи.

Кирша не ошибся: ключи нашлись, и через несколько минут, ведя под руки Юрия, который с трудом переступал, они вышли вон из погреба.

— Алексей,— сказал запорожец,— выведи поскорей своего господина на свежий воздух, а мы тотчас будем за вами. Ну, бояре,— продолжал он,— милости

просим на место Юрия Дмитрича; вам вдвоем скучно не будет; вы люди умные, чай, есть о чем поговорить. Эй, молодцы! пособите им войти в покой, в котором они угощали боярина Милославского.

Туренин хотел что-то сказать, но казаки, не слушая его, втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь и когда выбрались опять в церковь, то принялись было за плиту; но Кирша, не приказав им закрывать отверстия, вышел на паперть. Казалось, чистый воздух укрепил несколько изнуренные силы Милославского. Они дошли без всякого препятствия до ворот, подле которых стояли на часах двое казаков и лежал убитый караульный; а на плотине, шагах в десяти от стены, дожидались с лошадьми остальные казаки и земский. Алексей при помощи других посадил Юрия на лошадь, и вся толпа вслед за земским, который ехал впереди между двух казаков, переправясь в глубоком молчании через плотину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к болоту.

IV

Проехав версты четыре на рысях, Кирша приказал своим казакам остановиться, чтоб дать отдохнуть Милославскому, который с трудом сидел на лошади, несмотря на то что с одной стороны поддерживал его Кирша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей.

— Отдохни, боярин,— сказал запорожец, вынимая из сумы флягу с вином и кусок пирога,— да на-ка хлебни и закуси чем бог послал. Теперь надо будет тебе покрепче сидеть на коне: сейчас пойдет дорога болотом, и нам придется ехать поодиночке, так поддерживать тебя будет некому.

Юрий, не отвечая ни слова, схватил с жадностью пирог и принялся есть.

— Ну, Юрий Дмитрич,— продолжал Кирша,— сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины! Ах, сердечный, смотри, как он за обе щеки убирает! а пирог-то вовсе не на славу испечен.

— Душегубцы! — сказал Алексей.— Чтоб им самим издохнуть голодной смертью!.. Кушай, батюшка! кушай, мой родимый!... Разбойники!

— На-ка, выпей винца, боярин,— прибавил Кирша.— Ах, господи боже мой! гляди-ка, насилу держит в руках флягу! эк они его доконали!

— Басурманы! антихристы! — вскричал Алексей.— Чтоб им самим весь век капли вина не пропустить в горло, проклятые!

Утолив несколько свой голод, Юрий сказал довольно твердым голосом:

— Спасибо, добрый Кирша; видно, мне на роду написано век оставаться твоим должником. Который раз спасаешь ты меня от смерти?..

— И, Юрий Дмитрич, охота тебе говорить! Слава тебе господи, что всякий раз удавалось; а как считать по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво, что я тебе служу: за добро добром и платят, а ты из чего бился со мною часа полтора, когда нашел меня почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая помочь бог знает кому? Нет, боярин, я век с тобой не расплачусь.

— Но как ты узнал о моем заточении?.. Как удалося тебе?..

— На просторе все расскажу, а теперь, чай, ты поотдохнул, так пора в путь. Если на хуторе обо всем проведают да пустятся за нами в погоню, так дело плоховато: по болоту не расскачешься, и нас, пожалуй, поодиночке всех, как тетеревей, перестреляют.

— Небойсь, Кирила Пахомыч,— сказал Малыш,— без бояр за нами погони не будет; а мы, хоть ты нам и не приказывал, все-таки вход в подземелье завалили опять плитою, так их не скоро отыщут.

— Эх, брат Малыш, напрасно! Ну, если их не найдут и они умрут голодной смертью?

— Так что ж за беда? Туда им и дорога! Иль тебе их жаль?

— Не то чтоб жаль; но ведь, по правде сказать, боярин Шалонский мне никакого зла не сделал; я ел его хлеб и соль. Вот дело другое, Юрий Дмитрич, конечно, без греха мог бы уходить Шалонского, да, на беду, у него есть дочка, так и ему нельзя... Эх, черт возьми! кабы можно было, вернулся бы назад!.. Ну, делать нечего... Эй вы, передовые!.. ступай! да пусть рыжий-то едет болотом первый и если вздумает дать стречка, так посадите ему в затылок пулю... С богом!

Доехав до топи, все казаки вытянулись в один ряд. Земский ехал впереди, а вслед за ним один казак, держащий наготове винтовку, чтоб ссадить его с коня при первой попытке к побегу. Они проехали, хотя с большим трудом и опастностию, но без всякого приключе-

ния, почти всю проложенную болотом дорожку; но шагах в десяти от выезда на твердую дорогу лошадь под земским ярыжкою испугалась толстой колоды, лежащей поперек тропинки, поднялась на дыбы, опрокинулась на бок и, придавя его всем телом, до половины погрузилась вместе с ним в трясину, которая, расступясь, обхватила кругом коня и всадника и, подобно удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала понемногу тянуть их в бездонную свою пучину.

— Батюшки, помогите! — завопил земский.— Погибаю... помогите!..

Казаки остановились, но Кирша закричал:

— Что вы его слушаете, ребята? Ступай мимо!

— Отцы мои, помогите! — продолжал кричать земский.— Меня тянет вниз!.. задыхаюсь!.. помогите!..

— Эх, любезный! — сказал Алексей, тронутый жалобным криком земского.— Вели его вытащить! ведь ты сам же обещал...

— Да,— отвечал хладнокровно Кирша,— я обещал отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из болота уговора не было.

— Послушай, Кирила Пахомыч,— примолвил Малыш,— черт с ним! ну что? уж, так и быть, прикажи его вытащить.

— Что ты, брат! Ведь мы дали слово отпустить его на все четыре стороны, и если ему вздумалось проехаться по болоту, так нам какое дело? Пускай себе разгуливает!

— Бога ради,— вскричал Милославский,— спасите этого бедняка!

— И, боярин! — отвечал Кирша.— Есть когда нам с ним возиться; да и о чем тут толковать? Дурная трава из поля вон!

— Слышишь ли, как он кричит? Неужели в тебе нет жалости?

— Нет, Юрий Дмитрич! — отвечал решительным голосом запорожец.— Долг платежом красен. Вчера этот бездельник прежде всех отыскал веревку, чтоб меня повесить. Рысью, ребята! — закричал он, когда вся толпа выехала на твердую дорогу.

Долго еще долетал до них по ветру отчаянный вопль земского; громкий отголосок разносил его по лесу — вдруг все затихло. Алексей снял шапку, перекрестился и сказал вполголоса:

— Успокой господи его душу!

— И дай ему царство небесное! — примолвил Кирша.— Я на том свете ему зла не желаю.

Они не отъехали полуверсты от болота, как у передовых казаков лошади шарахнулись и стали храпеть; через минуту из-за куста сверкнули как уголь блестящие глаза, и вдруг меж деревьев вдоль опушки промчалась целая стая волков.

— Экое чутье у этих зверей! — сказал Кирша, глядя вслед за волками.— Посмотрите-ка: ведь они пробираются к болоту...

Никто не отвечал на это замечание, от которого волосы стали дыбом и замерло сердце у доброго Алексея. Вместе с рассветом выбрались они наконец из лесу на большую дорогу и, проехав еще версты три, въехали в деревню, от которой оставалось до Мурома не более двадцати верст. В ту самую минуту как путешественники, остановясь у постоялого двора, слезли с лошадей, показалась вдали довольно большая толпа всадников, едущих по нижегородской дороге. Алексей, введя Юрия в избу, начал хлопотать об обеде и понукать хозяина, который обещался попотчевать их отличной ухою. Все казаки взъехали на двор, а Кирша, не приказав им разнуздывать лошадей, остался у ворот, чтоб посмотреть на проезжих, которых передовой, поравнявшись с постоялым двором, слез с лошади и, подойдя к Кирше, сказал:

— Доброго здоровья, господин честной! Ты, я вижу, нездешний?

— Да, любезный,— отвечал запорожец.

— Так у тебя и спрашивать нечего.

— Почему знать? О чем спросишь.

— Да вот бояре не знают, где проехать на хутор Теплый Стан.

— Теплый Стан? к боярину Шалонскому?

— Так ты знаешь?

— Как не знать! Вы дорогу-то мимо проехали.

— Версты три отсюда?

— Ну да: она осталась у вас в правой руке.

— Вот что!.. И мы, по сказкам, то же думали, да боялись заплутаться; вишь, здесь какая глушь: как сунешься не спросясь, так заедешь и бог весть куда.

В продолжение этого разговора проезжие поравнялись с постоялым двором. Впереди ехал верховой с ручным бубном, ударяя в который он подавал знак простолюдинам очищать дорогу; за ним рядом двое богато

одетых бояр; шага два позади ехал краснощекий толстяк с предлинными усами, в польском платье и огромной шапке; а вслед за ними человек десять хорошо вооруженных холопей.

— Степан Кондратьевич,— сказал передовой, подойдя к одному из бояр, который был дороднее и осанистее другого,— вот этот молодец говорит, что дорога на Теплый Стан осталась у нас позади.

— Ну вот,— вскричал дородный боярин,— не говорил ли я, что нам должно было ехать по той дороге? А все ты, Фома Сергеевич! Недаром вещает премудрый Соломон: «Неразумие мужа погубляет пути его».

— Небольшая беда,— отвечал другой боярин,— что мы версты две или три проехали лишнего; ведь хуже, если б мы заплутались. Не спросясь броду, не суйся в воду, говаривал всегда блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Бывало, когда он вздумает потешиться и позвонить в колокола,— а он, царство ему небесное! куда изволил это жаловать,— то всегда пошлет меня на колокольню, как ближнего своего стряпчего, с ключом, проведать, все ли ступеньки целы на лестнице. Однажды, как теперь помню, оттрезвонив к обедне, его царское величество послал меня...

— Знаю, знаю! уж ты раз десять мне это рассказывал,— перервал дородный боярин.— Войдем-ка лучше в избу да перекусим чего-нибудь. Хоть и сказано: «От плодов устен твоих насытишь чрево свое», но от одного разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите с коней не слезать; мы сейчас отправимся опять в дорогу.

Сказав сии слова, оба боярина, в которых читатели, вероятно, узнали уже Лесуту-Храпунова и Замятню-Опалева, слезли с коней и пошли в избу. Краснощекий толстяк спустился также с своей лошади, и когда подошел к воротам, то Кирша, заступя ему дорогу, сказал, улыбаясь:

— Ба, ба, ба! здравствуй, ясновельможный пан Копычинский! Подобру ли, поздорову?

Поляк взглянул гордо на Киршу и хотел пройти мимо.

— Что так заспесивился, пан? — продолжал запорожец, остановив его за руку.— Перемолви хоть словечко!

— Цо то есть! — вскричал Копычинский, стараясь вырваться.— Отцепись, москаль!

— А разве ты его знаешь? — спросил Киршу один из служителей проезжих бояр.

— Как же! мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли, пан, покушать? У меня есть жареный гусь.

— Слушай, москаль! — завизжал Копычинский.— Если ты не отстанешь, то, дали бук...

— И, полно буянить, ясновельможный! Что хорошего? Ведь здесь грядок нет, спрятаться негде...

Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился с грозным видом за рукоятку своей сабли.

— Небойсь, добрый человек! — сказал служитель.— Он только пугает: ведь сабля-то у него деревянная.

— Ой ли! Эй, слушай-ка, пан! — закричал Кирша вслед поляку, который спешил уйти в избу.— У какого москаля отбил ты свою саблю?.. Ушел!.. Как он к вам попался?

— Он, изволишь видеть,— отвечал служитель,— приехал месяца четыре назад из Москвы; да не поладил, что ль, с паном Тишкевичем, который на ту пору был в наших местах с своим региментом; только говорят, будто б ему сказано, что если он назад вернется в Москву, то его тотчас повесят; вот он и приютился к господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву. Вишь, рожа-то у него какая дурацкая!.. Пошел к боярину в шуты, да такой задорный, что не приведи господи!

Кирша вошел также в избу. Оба боярина сидели за столом и трудились около большого пирога, не обращая никакого внимания на Милославского, который ел молча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином постоялого двора.

— Ты, что ль, молодец, сказывал нашим людям,— спросил Лесута у запорожца,— что мы миновали дорогу на Теплый Стан?

— Да, боярин. Я вчера сам там был.

— И видел Тимофея Федоровича?

— Как же! и его, и боярина Туренина.

— Так и Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли они?

— Слава богу! Только больно испостились.

— Как так?

— Да разве ты не знаешь, боярин?.. Они теперь оба живут затворниками.

— Затворниками?

— Как же! Если ты не найдешь их в хоромах, то ищи в подземном склепе, под церковным полом.

— Что ж они там делают?

— Вестимо что: спасаются!

— Эко диво! — сказал Опалев.— И вина не пьют?

— Какое вино! Не приезжайте вы к ним, так они дня три или четыре куска бы в рот не взяли: такие стали постники.

— Что это им вздумалось?..— вскричал Лесута.— Да они этак вовсе себя уходят!

— Вот то-то и есть,— прибавил Опалев,— учение свет, а неучение тьма. Что сказано в Екклесиасте? «Не буди правдив вельми и не мудрися излишне, да некогда изумишися».

— Видно, боярин, они этой книги не читывали.

В это время Копычинский, который, сидя у дверей избы, посматривал пристально на Юрия, вдруг вскочил и, подойдя к Замятне-Опалеву, сказал ему на ухо:

— Боярин! уедем скорее отсюда: здесь неловко.

— Что ты врешь, дурак! — сказал Замятня.

— Нет, не вру,— продолжал поляк,— посмотри-ка на этого бледного и худого детину...

— Ну что за диковинка?

— Ты, видно, его не знаешь... Он настоящий разбойник!

— Разбойник!.. Постой-ка! Лицо что-то знакомое... Ну, точно так... Позволь спросить: ведь ты, кажется, Юрий Дмитрич Милославский?

Юрий ответствовал одним наклонением головы.

— В самом деле! — вскричал Лесута-Храпунов.— Теперь и я признаю тебя. Ну как ты похудел! Что это с тобой сделалось?

— Он четыре месяца был при смерти, болен,— отвечал Кирша.

— То-то тебя и не видно было,— продолжал Лесута-Храпунов.— Помнишь ли, Юрий Дмитрич, как мы познакомились с тобой у боярина Шалонского?

— Помню,— отвечал Юрий.

— Не правда ли, что он знатную нам задал пирушку!.. Помнится, вы с ним что-то повздорили, да, кажется, помирились. Нечего сказать, он немного крутенек, не любит, чтоб ему поперечили; а уж хлебосол! и как захочет, так умеет приласкать!

— «Прещение его подобно рыканию львову,— перервал Опалев,— и яко же роса злаку, тако тихость его».

— Эх, Юрий Дмитрич! — продолжал Лесута.— Много с тех пор воды утекло! Вовсе житья не стало нашему

брату, родовому дворянину! Нижегородские крамольники все вверх дном поставили. Хотя бы, к примеру сказать, меня, стряпчего с ключом,— поверишь ли, Юрий Дмитрич? в грош не ставят; а какой-нибудь простой посадский или мясник — воеводою!

— Да, да,— примолвил Опалев,— чего мы не насмотрелись!

— Ты, верно, Юрий Дмитрич,— сказал Лесута, помолчав несколько времени,— пробираешься к пану Хоткевичу?

— Я и сам еще не знаю,— отвечал отрывисто Милославский.

— Да другого-то делать нечего,— продолжал Лесута,— в Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет такая каша, что упаси господи! и Трубецкой, и Пожарский, и Заруцкий, и проклятые шиши,— и, словом, весь русский сброд, ни дать ни взять, как саранча, загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Гонсевский перебрался в стан к гетману Хоткевичу, а в Москве остался старшим пан Струся. О-ох, Юрий Дмитрич! плохие времена, отец мой! Того и гляди, придется пенять отцу и матери, зачем на свет родили!

— Что ты, Степан Кондратьич! — вскричал Опалев.— Не моги говорить таких речей: «Злословящему отца и матерь угаснет светильник, зеницы же очес его узрят тьму».

— Да мы и так уж давно ходим в потемках,— возразил Лесута.— Когда стряпчий с ключом, как я, или думный дворянин, как ты, не знают, куда голов приклонить, так, видно, уже пришли последние времена.

— Что и говорить, Степан Кондратьевич, мерзость запустения!.. По всему видно, что скоро наступит время, когда угаснет солнце, свергнутся звезды с тверди небесной и настанет повсюду тьма кромешная! Недаром прозорливый Сирах глаголет...

— Однако ж нам пора в путь,— перервал Лесута, вставая с своего места.— Прощенья просим, Юрий Дмитрич! Мы будем от тебя кланяться Тимофею Федоровичу.

— Да не забудьте же, бояре,— примолвил Кирша,— если не найдете его в хоромах, то ищите в склепе под церковным полом.

— А где мой дурак? — закричал Опалев.— Эй ты, пан! куда ты запропастился?

— Я здесь, ясновельможный,— отвечал Копычин-

ский, выглядывая из сеней.— Прикажешь садиться на коня?

— Садись!.. Да тише ты, польская чучела! куда торопишься?.. Смотри, пожалуй! с ног было сшиб Степана Кондратьевича.

Часа через два и наши путешественники отправились также в дорогу. Отдохнув целые сутки в Муроме, они на третий день прибыли во Владимир; и когда Юрий объявил, что намерен ехать прямо в Сергиевскую лавру, то Кирша, несмотря на то что должен был для этого сделать довольно большой крюк, взялся проводить его с своими казаками до самого монастырского посада.

V

Троицкая лавра святого Сергия, эта священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к отечеству, была во время междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России, ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, с своей знаменитой Печерской лаврою, принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины четырнадцатого столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее шестидесяти четырех верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных башен, соборы: Троицкий, с позлащенною кровлею, и Успенский, с пятью главами, четыре другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение — все пленяло взоры путешественника, все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уединенной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители.

В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и баш-

ням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширные пепелища, покрытые развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия божия. Тридцать тысяч войска польского, под предводительством известных своею воинской доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского, не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие; в течение шести недель более шестидесяти осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на господа и любовь к отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля: простые крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие от ран и болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, *на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за отечество,* целовали крест над гробом святого Сергия: *сидеть в осаде без измены* — и сдержали свое слово [13]. Простояв более шестнадцати месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих *каменным гробом,* ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом для большей части войска и могилою их собственной воинской славы.

В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, человек пять слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу, подле Святых ворот лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром; все слушали его со вниманием, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги,

которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали между полей, густых рощей и рассыпанных в живописном беспорядке селений.

— Полно, так ли, брат Суета? — сказал один из слуг монастырских, покачав головою.— И тебя к нему допустили?

— Как же, братец! — ответил рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предания о могучих витязях древней России.— Стану я лгать! Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита; говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов десять изволил перемолвить со мною.

— А мне так не удалось посмотреть на князя Димитрия Михайловича Пожарского,— сказал тот же служитель,— я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре. Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою!

— Как бы тебе сказать?.. Росту не очень большого и в плечах узенек,— отвечал Суета, кинув гордый взор на собственные свои богатырские плеча,— но зато куда благообразен собою!.. А что за взгляд! Ах ты, господи боже мой!.. Поверите ль, ребята? как я к нему подходил, гляжу: кой прах! мужичонок небольшой — ну, вот не больше тебя,— прибавил Суета, показывая на одного молодого парня среднего роста,— а как он выступил вперед да взглянул, так мне показалось, что он целой головой меня выше! Вы знаете, товарищи, я детина не робкий и силка есть, а если б пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так, что греха таить, не побожусь, статься может, и я бы сбердил.

— Что ты, Суета! помилуй!.. Ты для почину целый полк ляхов один остановил и человек двадцать супостатов перекрошил своим бердышом, так статочное ли дело, чтоб ты сробел одного человека?

— Да слышишь ли ты, голова! он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы!.. и что тогда было в его глазах и на лице!.. Так я тебе скажу: и взглянуть-то страшно! Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий... Ну, брат, и этот молодец! Не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода — за себя постоит!

— А что слышно о поляках?

— Вестимо что: одни сидят в Кремле да выгляды-

вают из-за стен как сычи; а другие с гетманом Ходкевичем, как говорят, близехонько от Москвы.

— Так, стало быть, скоро большая схватка будет?

— Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась: изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно: такой сброд!.. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы; а по мне, так дело и сделали: что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско!.. не налюбуешься! А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки: только и думают, как бы где поживиться да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много.

— А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются.

— Как же! они и меня останавливали верстах в тридцати отсюда; но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили да еще на дорогу стаканчик вина поднесли.

— Вот что! Так они не вовсе разбойники?

— Какие разбойники!.. Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудинова, отец Еремей: без его благословенья они никого не тронут; а он, дай бог ему здоровье! стоит в том: режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь!.. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартьяш уставился?.. Глаз не спускает с ростовской дороги.

— А кто его знает! — отвечал один из служителей.— Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так, может статься, от безделья по сторонам глазеет.

— Нет, брат Данило! — сказал Суета.— Не говори, он даром смотреть не станет: подлинно господь умудряет юродивых! Мартьяш глух и нем, а кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи себе вдоволь: муха не прокрадется.

Вдруг Мартьяш вскочил, схватил за руку Суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу.

— Ну так и есть! — вскричал Суета.— Видите ли, ребята?..

— Да,— сказал Данило,— по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшим.

— Постой, вот они, никак, все выехали из-за рощи... Да их навряд будет человек тридцать: из чего делать тревогу?

— А если это только передовые? — сказал один из служителей.

— И, нет! — продолжал Суета.— Там дальше никого не видно. Видите ли? Мартьяш уселся опять на прежнее место и вовсе на них не смотрит, так, верно, уж опасаться нечего: какие-нибудь проезжие или богомольцы.

— Да так и должно быть,— сказал Данило.— Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин... Вот сняли шапки и молятся на соборы... Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье.

Читатели наши, без сомнения, уже догадались, что боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий Дмитрич Милославский. Когда они доехали до святых ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил: может ли он видеть архимандрита?

— Вряд ли, боярин,— отвечал Суета,— я сейчас был у него в палатах: он что-то прихворнул и лежит в постели; а если у тебя есть какое дело, то можешь переговорить с отцом келарем.

— Авраамием Палицыным?

— Да, боярин; он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет.

— Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью?

— Пожалуй, я провожу,— сказал Суета.— А ты, брат,— продолжал он, обращаясь к Алексею,— отведи коней в гостиницу.

— А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный? — спросил Алексей.

— Уж там тебя накормят; благодаря бога из Сергиевской лавры ни один еще богомолец голодный не уходил.

Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена, и хотя множество рабочих людей занято было поправкою

оных, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады, выдержанной обителью.

— Вот в этих палатах живал прежде отец Авраамий,— сказал Суета, указав на небольшое двухэтажное строение, прислоненное к ограде.— Да видишь, как их злодеи ляхи отделали: насквозь гляди! Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев; да он, бог с ним, не привередлив: была б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно.

— А что он такое пишет?

— Бог весть! Послушник его Финоген мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря и будто бы в нем говорится что-то и обо мне; да я плохо верю: иная речь о наших воеводах князе Долгорукове и Голохвастове — их дело боярское; а мы люди малые, что о нас писать?.. Сюда, боярин, на это крылечко.

Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и Суета, постучав в небольшую дверь, сказал вполголоса:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешного!

— Аминь! — отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи.

— Теперь ступай, боярин,— сказал Суета, отворяя дверь.

Юрий взошел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем; в правом — налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами; к самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол; вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия: он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими и литовскими людьми, и с русскими изменники, побегоша к Дмитреву, никем же гонимы, но десницею божией...» Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково: какую он имеет до него надобность?

— Отец Авраамий,— отвечал с смиренным видом Юрий,— я имею до тебя немаловажную просьбу.

— Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь.

Кроткий и вместе величественный вид старца, его блестящие умом и исполненные добросердечия взоры, приятный, благозвучный голос, а более всего известные всем русским благочестие и пламенная любовь к отечеству — все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к сему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом:

— Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу.

— Говори смело, чадо мое,— отвечал старец,— нам ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему отцу нашему!

— Я хочу,— продолжал Милославский, ободренный ласковою речью Авраамия,— умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым.

Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением:

— Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?

— Да, отец Авраамий, и если господь бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий... то все желания мои исполнятся.

Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал:

— В столь юные годы!.. На утре жизни твоей!.. Но точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призвание божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющей над главою твоей десницы всевышнего, движимый единым отчаянием, противным господу, спешишь покинуть отца и матерь, а может быть, супругу и детей, то жертва сия не достойна господа: не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь.

— У меня нет ни отца, ни матери,— сказал Юрий,— я сирота!

— Но кто ты, юноша?

— Юрий Милославский.

— Сын покойного боярина Милославского?

— Да, сын его.

Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением:

— И ты, сын Димитрия Милославского, желаешь, наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит отечеству? Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею кровию родные поля московские?

— Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?

— Нет, Юрий Дмитрич, не я!.. Взгляни вокруг себя, вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной, и если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Димитрия! Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место: оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля! Сын мой, светла пред господом жизнь праведника; но венец мученика есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию нетленную награду! Ступай умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Димитрия!

Юрий, потупив глаза, стоял, как преступник пред своим судиею, и не отвечал ни слова.

— Ты молчишь? — продолжал Авраамий.— Колеблешься?.. Да простит тебя господь! ты надругался над моими сединами: ты обманул меня. Юноша! ты не сын Милославского!..

— Ах, отец Авраамий!..— примолвил едва слышным голосом Юрий.— Я не могу поднять меча на защиту моей родины!

— Не можешь?

— Я целовал крест королевичу Владиславу...

— Несчастный!..

Несколько минут продолжалось молчание; наконец Авраамий сказал как будто б нехотя:

— Юрий Дмитрич, ты, может быть, не знаешь, что святейший Гермоген разрешил всех православных от сей богопротивной присяги?

— Но я целовал крест добровольно. Отец Авраа-

мий, не вынужденная клятва тяготит мою душу; нет, никто не побуждал меня присягать королевичу польскому! и тайный, неотступный голос моей совести твердит мне ежечасно: горе клятвопреступнику! Так, отец мой! Юрий Милославский должен остаться слугою Владислава; но инок, умерший для света, служит единому богу...

— И отечеству, боярин! — перервал с жаром Авраамий.— Мы не иноки западной церкви и благодаря всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя!.. Но я слышу благовест... Пойдем, сын мой, станем молить угодника божия, да просияет истина для очей наших и да подаст тебе господь силу и крепость для исполнения святой его воли!

По окончании литургии и молебствия с коленопреклонением о даровании победы над врагом Авраамий, подведя Юрия ко гробу преподобного Сергия, сказал торжественным голосом:

— Боярин Юрий Дмитрич Милославский, желаешь ли ты отречься от мира и всех прелестей его?

— Желаю! — отвечал твердым голосом Юрий.

— Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от забот, трудов и опасностей, тебе по рождению и сану предстоящих? Не избираешь ли ты часть сию, дабы избежать заслуженного наказания или по всякому другому, единственно земному побуждению?

— Нет.

— Не обещался ли ты пред господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей?

— Я сирота... и не был никогда женат.

— Итак, да будет по желанию твоему, боярин Милославский! Я принимаю здесь, при гробе преподобного Сергия, твой обет: посвятить себя на всю жизнь покаянию, посту и молитве. Преклони главу твою... Раб божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже миру, и я, именем господа, разрешаю тебя от всех клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца Авраамия; отныне ты должен слепо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя Пожарского, ополчись оружием земным против общего врага нашего и, если господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служения гос-

поду не с оружием в руках, но в духе кротости, смирения и любви.

— Итак,— воскликнул Юрий, обливаясь слезами,— я снова могу сражаться за мою родину! Ах, я чувствую, ничто не тяготит моей совести!.. Душа моя спокойна!.. Отец Авраамий, ты возвратил мне жизнь!

— Возблагодарим за сие господа и святых угодников его,— сказал старец, преклоняя колена вместе с Юрием.

После усердной и продолжительной молитвы Авраамий Палицын, прощаясь с Юрием, сказал:

— Отдохни сегодня, Юрий Дмитрич, в нашей обители, а завтра чем свет отправься к Москве. Стой крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить святыню храмов православных. Сражайся как сын Милославского, но щади безоружного врага, не проливай напрасно крови человеческой. Ступай, сын мой! — примолвил Авраамий, обнимая Юрия.— Да предыдет пред тобою ангел господень и да сопутствует тебе благословение старика, который... всевышний! да простит ему сие прегрешение... любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное отечество наше!

На другой день вместе с солнечным восходом Юрий в сопровождении Алексея выехал из лавры и пустился по дороге, ведущей к Москве.

VI

Когда наши путешественники, миновав Хотьковскую обитель, отъехали верст тридцать от лавры, Юрий спросил Алексея: знает ли он, куда они едут?

— Вестимо куда! — отвечал с приметной досадою Алексей.— В Москву, к пану Гонсевскому.

— Ты не отгадал: мы едем в стан князя Пожарского.

— Зачем?

— Затем, чтоб драться с поляками.

— С поляками!.. Да нет, ты шутишь, боярин!

— Видит бог, не шучу. Я уж больше не слуга Владислава.

— Слава тебе господи! — вскричал Алексей.— Насилу ты за ум хватился, боярин! Ну, отлегло от сердца! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Теперь я скажу всю

правду: я не отстал бы от тебя, что б со мной на том свете ни было, если б ты пошел служить не только полякам, но даже татарам; а как бы знал да ведал, что у меня было на совести? Каждый день я клал по двадцати земных поклонов, чтоб господь простил мое прегрешение и наставил тебя на путь истинный.

— Ну вот видишь, Алексей, твоя молитва даром не пропала. Но я что-то очень устал. Как ты думаешь, не остаться ли нам в этом селе?

— Да и пора, Юрий Дмитрич: мы, чай, с лишком верст двадцать отъехали. Вон, кажется, и постоялый двор... а видно по всему, здесь пировали незваные гости. Смотри-ка, ни одной старой избы нет, все с иголочки! Ох, эти проклятые ляхи! накутили они на нашей матушке святой Руси!

Путешественники въехали на постоялый двор. Юрий лег отдохнуть, а Алексей, убрав лошадей, подсел к хозяйке, которая в одном углу избы трудилась за пряжею, и спросил ее: не слышно ли чего-нибудь о поляках?

— И, родимый! наше дело крестьянское,— отвечала хозяйка, поправив под собою донце,— мы ничего не ведаем.

— А что, разве поляки никогда не бывали в вашем селе?

— Как не бывать!

— Ну что, голубушка, чай, они вам памятны?

— Вестимо, кормилец.

— Уж нечего сказать, знатные ребята! не так ли?

Хозяйка взглянула недоверчиво на Алексея и не отвечала ни слова.

— Куда, чай, с ними весело хлеб-соль водить! — продолжал Алексей.— Не правда ли?

— Вестимо, батюшка,— примолвила вполголоса хозяйка.— Дай бог им здоровья — люди добрые.

— В самом деле?

— Как же! такие приветливые.

— Что ты, шутишь, что ли?

— И, родимый, до шуток ли нам!

— Неужели в самом деле?.. Кого ж ты больше любишь: своих иль поляков? Ну, что ж ты молчишь, лебедка? иль язык отнялся?.. Ну, сказывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о приказе речь; я толком тебе говорю: кого больше любишь, нас иль поляков?

— Вас, батюшка, вас! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тут спрашивать: за матушку святую Русь.

— Полно, так ли, родимый?

— Видит бог, так! Мы едем под Москву, биться с поляками не на живот, а на смерть.

— Ой ли? Помоги вам господи!.. Разбойники!.. В разор нас разорили! Прошлой зимой так всю и одежонку-то у нас обобрали. Чтоб им самим ни дна ни покрышки! Передохнуть бы всем, как в чадной избе тараканам... Еретики, душегубцы!.. нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! что ты, молодица? Кого ты это изволишь честить?

— Кого?.. как кого?.. вестимо, кого!.. Кого ты, родимый, того и я.

— Да что ты переминаешься?.. Чего ты боишься? иль не видишь, что мы православные?

— О, ох, батюшка! не равны православные! Этак с час-места останавливались у нас двое проезжих бояр и с ними человек сорок холопей, вот и стали меня так же, как твоя милость, из ума выводить, а я сдуру-то и выболтай все, что на душеньке было; и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молим бога, чтоб вся эта иноземная сволочь убралась восвояси, вдруг один из бояр, мужчина такой ражий, бог с ним! как заорет в истошный голос да ну меня из своих ручек плетью! Уж он катал, катал меня! Кабы не молодая боярыня, дочка, что ль, его, не знаю, так он бы запорол меня до смерти! Дай бог ей доброе здоровье и жениха по сердцу! вступилась за меня, горемычную, и, как господа стали съезжать с двора, потихоньку сунула мне в руку серебряную копеечку. То-то добрая душа! Из себя не так чтоб очень красива, не дородна, взглянуть не на что... Ахти я, дура! — примолвила хозяйка, вскочив торопливо со скамьи.— Заболталась с тобой, кормилец!.. Чай, у меня хлебы-то пересидели.

Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапною переменою его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду; и когда они, отправясь опять в путь, отъехали еще верст двадцать пять, то солнце начало уже садиться. В одном месте, где дорога, проложенная сквозь мелкий кустарник, шла по самому краю глубокого оврага, поросшего частым лесом, им по-

слышался отдаленный шум, вслед за которым раздался громкий выстрел. Юрий приостановил своего коня.

— Что это, боярин? — вскричал Алексей.— Слышишь? другой... третий... четвертый... Ахти, батюшки! считать не поспеешь!.. Ой, ой, ой! какая там идет жарня!

— Что б это такое было? — сказал Юрий, прислушиваясь к стрельбе, которая час от часу становилась сильнее.— Мы, кажется, еще не близко от Москвы.

— Сердце мое чует,— перервал Алексей,— это разбойники шиши проказят! Не воротиться ли нам, боярин?

— Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем поближе, Алексей.

Они не успели отъехать пятидесяти шагов, как вдруг из-за куста заревел грубый голос:

— Кто едет? стой!..— И человек двадцать вооруженных кистенями, рогатинами и винтовками разночинцев высыпали из оврага и заслонили дорогу нашим путешественникам. С первого взгляда можно было принять всю толпу за шайку разбойников: большая часть из них была одета в крестьянские кафтаны; но кой-где мелькали остроконечные шапки стрельцов, и человека три походили на казаков; а тот, который вышел вперед и, повидимому, был начальником всей толпы, отличался от других богатой дворянской шубою, надетою сверх простого серого зипуна; он подошел к Юрию и спросил его не слишком ласково:

— Кто вы таковы?

— Проезжие,— отвечал Милославский.

— Куда едете?

— Под Москву.

— Не вместе ли вон с теми боярами, что едут впереди?

— Нет, мы едем сами по себе.

— Полно, так ли?

— Видит бог так, господа шиши! — закричал Алексей.

— Ты врешь!.. Мы православное земское войско, а не шиши. Постой-ка, брат, нас этак прозвали зубоскалы поляки, так, видно, ты, голубчик, с ними знаешься?

— Да, да! они изменники! — заревела вся толпа.— Долой их с лошадей!

— Что вы, ребята? перекреститесь! — вскричал Алек-

сей.— Мы едем с боярином из Троицы к князю Пожарскому биться с поляками.

— Не верь им, Бычура! — сказал один из стрельцов.— Они, точно, изменники.

— Постойте, ребята! — перервал Бычура.— Чтоб маху не дать!.. Как тебя зовут, молодец? — продолжал он, обращаясь к Юрию.

— Юрий Милославский.

— Сын покойного воеводы нижегородского?

— Да, сын его.

— Коли так,— сказал Бычура, снимая почтительно свою шапку,— то мы просим прощения, боярин, что тебя остановили; и если ты точно Юрий Дмитрич Милославский и едешь из Троицы, то не изволь ничего бояться.

— Я ничего и не боюсь, добрые люди! Только не задерживайте меня: я тороплюсь к Москве.

— Не погневайся, ты слышишь, какая жарёха идет на большой дороге?.. так воля твоя, а изволь пообождать.

— Но что значит эта стрельба?

— Да так, боярин! наши молодцы справляются там с русскими изменниками.

— А почему вы знаете, что они изменники?

— Как не знать? они было и проводника уж нашли, который взялся довести их до войска пана Хоткевича; да не на того напали: он из наших; повел их проселком, водил, водил да вывел куда надо. Теперь не отвертятся.

— Нельзя ли нам хоть стороной объехать?

— Оно бы можно,— сказал Бычура, почесывая голову,— да не погневайся, господин честной: тебе надо прежде заехать в село Кудиново.

— Зачем?

— А вот, изволишь видеть, мы наслышались о батюшке твоем от нашего старшины отца Еремея, священника села Кудинова; так он лучше нашего узнает, точно ли ты Юрий Дмитрич Милославский.

— Как! — вскричал с досадою Юрий.— Вы не верите?..

— Не то чтоб не верили, боярин, да сбруя-то на коне твоем польская.

— Так что ж?

— Оно, конечно, ничего, не велика беда, что и сабля-то у тебя литовская: статься может, она досталась тебе с бою; да все лучше, когда ты повидаешься с от-

цом Еремеем. Ведь иной как попадется к нам в руки, так со страстей, не в обиду твоей чести будь сказано, не только Милославским, а, пожалуй, князем Пожарским назовется.

Тут кто-то подбежал, запыхавшись, к толпе и закричал:

— Что вы здесь стоите, ребята? Ступайте на подмогу!

— А разве вас там мало? — сказал Бычура.

— Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло врукопашную: одного-то боярина, что поменьше ростом, с первых разов повалили; да зато другой так наших варом и варит! а глядя на него, и холопи как приняли нас в ножи, так мы свету божьего невзвидели. Бегите проворней, ребята!

Бычура, приказав четверым шишам сесть на коней и проводить наших путешественников в село Кудиново, побежал с остальными товарищами вперед. Юрий и Алексей должны были поневоле следовать за своими провожатыми и, проскакав верст пять проселочной дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди села, перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. Провожатые слезли с лошадей; Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед за ними к двум большим липам, под которыми сидел на скамье человек лет тридцати, с курчавой черной бородою и распущенными по плечам волосами. Он был одет отменно богато для сельского священника; его длинный, ничем не подпоясанный однорядок с петлицами походил на боярскую ферязь, а желтые сапоги с длинными, загнутыми кверху носками напоминали также щеголеватую обувь знатных особ тогдашнего времени. Взглянув нечаянно на противоположную сторону, Алексей с ужасом заметил два высокие столба с перекладиною, которые, вероятно, поставлены были не для украшения площади и что-то вовсе не походили на качели. Присоединясь к толпе, путешественники и их провожатые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь явиться пред лицом грозного отца Еремея, к которому подходили, один после другого, отрядные начальники со всех дорог, ведущих к Москве.

— Спасибо, сынок! — сказал он, выслушав донесение о действиях отряда по серпуховской дороге.— Знатно! Десять поляков и шесть запорожцев положено

на месте, а наших ни одного. Ай да молодец!., Темрюк! ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже коренного русского. Ну что, Матерой? говори, что у вас по владимирской дороге делается?

— Да что, отец Еремей, хоть вовсе не выходить на большую дорогу! Вот уже третий день ни одного ляха в глаза не видим; изменники перевелись, и кого ни остановишь, все православный да православный. Кабы ты дозволил поплотнее допрашивать проезжих, так авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель; а то, рассуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую беду?

— Да, как бы не так! Дай вам волю, так у вас, пожалуй, и Козьма Минич Сухорукий изменником будет. Нет, ребята, чур у меня своих не трогать! Ну что ты скажешь, Зверев?

— По ярославской дороге все благополучно,— отвечал рыжеватый детина с разбойничьим лицом.— Сегодня, почитай, никого проезжих не было.

— И ты никого не останавливал?

— Никого.

— Смотри не лги: ведь скажешь же на исповеди всю правду! Точно ли ты никого не останавливал?

— Как бог свят, никого.

— Право!.. Эй, вы! подойдите-ка сюда!

Тут вышли из толпы двое купцов и, поклонясь низко отцу Еремею, стали возле него.

— Ну,— продолжал он, взглянув грозно на Зверева,— знаешь ли ты этих гостей нижегородских?.. Что?.. прикусил язычок!

— Виноват!.. Отец Еремей,— сказал Зверев, упав на колени,— помилуй! Не я же один от них поживился!

— Кто поставлен от меня старшим над другими, тот за всех один и в ответе! Разве я благословлял тебя на разбой?.. Зачем ты их ограбил? а?.. На виселицу его!

Глухой ропот пробежал по всей толпе. Передние не смели ничего говорить, но задние зашумели, и местах в трех раздались голоса:

— Как-ста не на виселицу!.. Много будет!.. Всех не перевешаешь!..

— Что, что?.. много будет? — сказал отец Еремей, приподнимаясь медленно с своего места.

— Посмотри-ка, боярин,— шепнул Алексей Юрию.— Господи боже мой!.. что это?.. экой чудо-богатырь!.. Да перед ним и Омляш показался бы малым ребенком!

— Ах, вы, крамольники! — продолжал отец Еремей.— Халдейцы проклятые! [14] Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! что вы все, как псы окаянные, передохнете без исповеди!

Ропот утих, но никто не трогался с места, чтоб выполнить приказание отца Еремея.

— Что вы дожидаетесь? — закричал он громовым голосом.— Иль хотите, чтоб я повесил его своими руками?.. Темрюк, Гаврило, Матерой, возьмите его!.. Ну, что ж вы стали? — примолвил он, выступя несколько шагов вперед.

Виновного схватили и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили к виселице.

— Взмилуйся, батюшка! — сказал один из купцов.— Не прикажи его вешать, а вели только нам отдать то, что у нас отняли.

— Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не мешайтесь,— отвечал хладнокровно отец Еремей.

— Преложи гнев на милость, батюшка! Бог с ним! мы ничего не ищем,— сказал купец.

— Нет, господа купцы! кто милует разбойников, того сам бог не помилует; да я уж давно заметил, что он нечист на руку... А разве, и то только для вас, дам ему время покаяться. Эй! постойте, ребята, отведите его в мирскую избу. Матерой! приставь к нему караул; да смотри, чтоб он был чем свет повешен, и если кто-нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую виселицу. Ба, ба, ба! Кондратий... ты как здесь?..— продолжал он, заметив одного из провожатых Юрия, который, поклонясь почтительно, подошел к нему вместе с своими товарищами под благословение.— Ну что, детушки, как вы справились с этими изменниками?

— Авось господь поможет! — отвечал Кондратий.— А шибко дерутся, собачьи дети! достанется и нашим на орехи.

— Как! — вскричал отец Еремей.— Так у вас на троицкой дороге еще дерутся, а вы здесь?..

— Не гневайся, батюшка! нас прислал к тебе Бычура вот с этим проезжим, который показался нам подозрительным, хоть он и называет себя Юрием Дмитричем Милославским.

— Милославским? — повторил священник, подойдя к Юрию.— Сыном Димитрия Юрьевича?.. Милости просим, боярин! Ах ты, мой сокол ясный!..— примолвил он,

благословляя Юрия.— Как ты схож с покойным твоим родителем: как две капли воды!.. Дай бог ему царство небесное! он не оставлял меня своею милостию. Батюшка твой изволил часто охотиться около нашего села, и хоть я был тогда простым дьячком, но он не гнушался моего дома и всегда изволил останавливаться у меня. Просим покорно, Юрий Дмитрич, ко мне в мою избенку! да чем бог послал!

Юрий и Алексей вошли вслед за священником в большую и светлую избу, построенную внутри церковного погоста.

— Жена,— сказал отец Еремей, войдя в избу,— накрывай стол, подай стклянку вишневки да смотри поворачивайся! что есть в печи, все на стол мечи!.. Знаешь ли, кто наш гость?

— Не знаю, батюшка! — отвечала попадья с низким поклоном.

— Сын боярина Милославского.

— Ой ли?.. Ох ты, мой кормилец!.. Подлинно дорогой гость!.. Пожалуй, батюшка, изволь садиться! милости просим! а я мигом все спроворю.

— Куда изволишь ехать, боярин? — спросил отец Еремей.

— К князю Пожарскому под Москву.

— Биться с супостатами? Дело, Юрий Дмитрич! Да и как такому молодцу сидеть поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью к матушке-Москве!.. Ну что, боярин, ты уж, чай, давно женат?.. и детки есть?

— Нет, батюшка,— отвечал со вздохом Юрий,— я не женат и век останусь холостым.

— Что так?

— Да, видно, уж мне так на роду написано.

— Не ручайся, Юрий Дмитрич! придет час воли божией...

— Да,— перервал Милославский,— и надеюсь, что час воли божией придет скоро; но только не так, как ты думаешь, отец Еремей!

— Что это, боярин? Уж не о смертном ли часе ты говоришь? Оно правда, мы все под богом ходим, и ты едешь не на свадебный пир; да господь милостив! И если загадывать вперед, так лучше думать, что не по тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благодарственный молебен в Успенском соборе; и верно, когда по всему Кремлю под колокольный звон раздаст-

ся: «Тебе бога хвалим»,— ты будешь смотреть веселее теперешнего... А!.. Наливайко! — вскричал отец Еремей, увидя входящего казака.— Ты с троицкой дороги? Ну что?

— Слава богу! справились с злодеями,— отвечал казак.— Я приехал передовым.

— Много побито наших?

— Да с полсорока больше своих не дочтемся! Изменники дрались не на живот, а на смерть: все легли до единого. Правда, было за что и постоять! сундуков-то с добром... серебряной посуды возов с пять, а казны на тройке не увезешь! Наши молодцы нашли в одной телеге бочонок романеи да так-то на радости натянулись, что насилу на конях сидят. Бычура с пятидесятью человеками едет за мной следом, а другие с повозками поотстали.

— А где ваш старшина?

— Кто? Федор Хомяк?.. Не спрашивай о нем, батюшка... изменник!

— Что ты говоришь?

— Бычура из своих рук застрелил этого предателя. Вот как было все дело: их оставалось всего человек двадцать, не больше; но с ними был их боярин, и нечего сказать — молодец! Стали поперек просеки, которая идет направо в лес, да, слышь ты, вот так наших в лоск и кладут. Мы глядь туда, сюда! где Федька Хомяк? Не тут-то было! Чем бы ему, как старшине, ни пяди от нас, он вздумал спасать дочь изменника боярина и уж совсем было выпроводил ее из лесу, да бог попутал. Бычура, который был позади в засаде и шел к нам на подмогу, повстречался с ним в овраге; его, как предателя, застрелил, а боярышню вместе с ее сенной девушкою поворотил назад.

— Напрасно; пустили б их на все четыре стороны! На что вам они?

— Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь изменника.

— Да разве мы воюем с бабами?

— Вестимо, не с бабами! да наши молодцы не то говорят... А вот, никак, они въехали в село.

Юрий едва дышал в продолжение этого разговора; он не смел остановиться на мысли, от которой вся кровь застывала в его жилах; но, несмотря на то, сердце его невольно сжималось от ужасного предчувствия. Вдруг пронесся по улице громкий гул; конский топот, песни,

дикие восклицания, буйный свист огласили окрестность; толпа пьяных всадников, при радостных криках всего селения, промчалась вихрем по улице, спешилась у церковного погоста и окружила дом священника. Через минуту Бычура, в провожании человек двадцати окровавленных и покрытых пылью товарищей, вошел в избу.

— Поздравляем, батька! — сказал он не слишком почтительным голосом.— Знатная добыча! Нечего сказать, поработали мы сегодня на матушку святую Русь!

— Спасибо, детушки! — отвечал отец Еремей.— Жаль только, что и наших легло довольно!

— Зато уж и мы натешили свои душеньки! и завтра можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из изменников бояр; так как прикажешь: сегодня, что ль, ее на виселицу или завтра?.. Да вот она налицо.

Два мужика внесли закутанную с ног до головы в богатую фату девицу; за нею шла, заливаясь слезами, молодая сенная девушка.

— Несчастная! она умерла от страха! — сказал Юрий.

— Нет! — отвечал Бычура.— Она только в забытьи; дорогою ее раз пять схватывало. Пройдет!

— Варвары! злодеи! кровопийцы! — кричала, всхлипывая, сенная девушка,— добьюсь ли я от вас хоть каплю воды?

— На, голубушка! — сказала попадья, подавая ковш воды.— Спрысни ее! Бедная боярышня! — примолвила она жалобным голосом.— Неужли-то вы над нею не взмилуетесь?

— Молчи, жена! — шепнул священник.— Утро вечера мудренее... Хорошо, ребята! пусть она здесь переночует, а завтра увидим.

Невольно повинуясь какому-то непреодолимому влечению, Юрий подошел к скамье, на которой лежала несчастная девица; в ту самую минуту как горничная, стараясь привести ее в чувство, распахнула фату, в коей она была закутана, Милославский бросил быстрый взгляд на бледное лицо несчастной... обмер, зашатался, хотел что-то вымолвить, но вместо слов невнятный, раздирающий сердце вопль вырвался из груди его.

Незнакомая девица открыла глаза и, посмотрев во-

круг себя, устремила неподвижный и спокойный взор на Юрия.

— Ну вот! ведь я говорил, что очнется! — сказал хладнокровно Бычура.

— Анастасья!..— вскричал наконец Милославский.

— Опять он!..— шепнула Анастасья, закрыв рукою глаза свои.— Ах, я все еще сплю!

— О, если б это был сон!.. Анастасья!..

— Боже мой! Боже мой!.. так!.. я не сплю!.. это он!.. Но зачем мы здесь... вместе с этими палачами?.. Ах! я сейчас была в Москве... ты был один со мною... а теперь!..

— Ба, ба, ба!.. так ты ее знаешь, боярин? — спросил Бычура.

— Да, добрые люди! — подхватил Юрий.— Вы ошибаетесь, она не дочь Шалонского.

— Как так?

— И я так же думаю, ребята! — сказал священник.— Я видал боярина Шалонского: она вовсе на него не походит.

— Кой прах! — возразил один из шишей.— Что ж он, как я разрубил ему голову, примолвил, умирая, своим холопям: «Спасайте дочь мою!»

— Как? — вскричала Анастасья...— умирая?.. Кто умер?

— Боярин Кручина-Шалонский.

— Родитель мой?..

— Слышишь ли, батька, что она говорит? — сказал Бычура.— Что ж это, боярин, никак, ты вздумал нас морочить?

— Но разве вы не видите? она не знает сама, что говорит... она без памяти!

— Нет,— сказала твердым голосом Анастасья,— я не отрекусь от отца моего. Да, злодеи! я дочь боярина Шалонского, и если для вас мало, что вы, как разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня!.. Что мне радости на белом свете, когда я вижу среди убийц отца моего... Ах! умертвите меня!

— Анастасья! — вскричал Юрий.— Неужели ты можешь думать?..

— Нет, боярышня! — сказал священник.— Хоть и жаль, а надобно сказать правду: он не помогал нашим молодцам. Да что об этом толковать!.. До завтра, ребята, с богом! Вам, чай, пора отдохнуть... Ну, что ж вы переминаетесь? ступайте!

— Да вот, батька,— сказал Бычура, почесывая голову,— товарищи говорят, что сегодня, за один бы уж прием, повесить ее, так и дело в шляпе.

— Ах вы, богоотступники! — вскричала сенная девушка.— Что вы затеваете? Иль вы думаете, что теперь уж некому вступиться за боярышню? Так знайте же, разбойники! что она помолвлена за гетмана Гонсевского, и если вы ее хоть волосок тронете, так он вас всех живых в землю закопает.

— Как!.. она невеста пана Гонсевского? — сказал Бычура.

— Что вы слушаете эту дуру! — перервал священник.

— Да, да, невеста пана Гонсевского! — продолжала кричать горничная.— И боже вас сохрани...

— Невеста Гонсевского! — повторила с яростным криком вся толпа.— На виселицу ее! Тащите, ребята! На виселицу!

— Остановитесь! — сказал отец Еремей, заслонив собою Анастасью.— Я приказываю вам...

Но неистовые крики заглушили слова священника. Быстрее молнии роковая весть облетела все селение, в одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погост покрылся народом, и тысяча голосов, осыпая проклятиями Гонсевского, повторяли:

— На виселицу невесту еретика!

— Да выслушайте меня, детушки! — сказал священник, успев наконец восстановить тишину вокруг себя.— Разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы подождали до завтра.

— Нет, батька! — возразил Бычура.— Выдавай нам ее сейчас, а то будет поздно: вишь, она опять обмерла!.. Где ей дожить до завтра!..

— Ребята! — вскричал Юрий.— Не берите на душу этого греха! Она невинна: отец насильно выдавал ее замуж.

— Все равно! — подхватил один пьяный мужик с всклоченной бородою и сверкающими глазами.— Этот жид Гонсевский посадил на кол моего брата... На виселицу ее!

— Он отрубил голову отцу моему! — вскричал другой.

— Расстрелял без суда пятерых наших товарищей,— примолвил третий.

— Тащите ее! — заревела вся толпа.

— Друзья мои! — продолжал Юрий, ломая в отчаянии свои руки.— Ради бога!.. если вы хотите кого-нибудь казнить, так умертвите меня.

— Что ты, боярин! разве мы разбойники? — сказал Бычура.— Ты православный и стоишь за наших, а она дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего Гонсевского.

— Так попытайтесь же взять ее! — вскричал Юрий, вынимая свою саблю.

— Безумный! — сказал священник, схватив его за руку.— Иль ты о двух головах?.. Слушайте, ребята,— продолжал он,— я присудил повесить за разбой Сеньку Зверева; вам всем его жаль — ну так и быть! не троньте эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прощу вашего товарища.

— Нет, батька! — сказал Бычура.— Если Зверев виноват, то мы не стоим за него: делай с ним что тебе угодно, а нам давай невесту пана Гонсевского.

— Да, да! — вскричала вся толпа.— Мы из твоей воли не выступаем, Еремей Афанасьевич; казни кого хочешь, а еретичку нам выдавай.

Юрий с ужасом заметил, что твердость священника поколебалась: в его смущенных взорах ясно изображались нерешимость и боязнь. Он видел, что распаленная вином и мщением буйная толпа начинала уже забывать все повиновение, и один грозный вид, и всем известная исполинская его сила удерживали в некоторых границах главных зачинщиков, которые, понукая друг друга, не решались еще употребить насилия; но этот страх не мог продолжаться долго. Снаружи крик бешеного народа умножался ежеминутно, и несколько уже раз имя священника произносилось с ругательством и угрозами. Взоры его становились час от часу мрачнее; он поглядывал с состраданием то на Юрия, то на бесчувственную Анастасью, но вдруг лицо его прояснилось, он схватил за руку Милославского и сказал вполголоса:

— Готов ли ты пуститься на все, чтоб спасти эту несчастную?

— На все, отец Еремей!

— Если так — она спасена! Ну, детушки,— продолжал он, обращаясь к толпе,— видно, вас не переспоришь — быть по-вашему! Только не забудьте, ребята, что она такая же крещеная, как и мы: так нам грешно будет погубить ее душу. Возьмите ее бережненько да отнеси-

те за мною в церковь, там она скорей очнется! дайте мне только время исповедать ее, приготовить к смерти, а там делайте что хотите.

— Ну вот, что дело, то дело, батька! — сказал Бычура.— В этом с тобою никто спорить не станет. Ну-ка, ребята, пособите мне отнести ее в церковь... Да выходите же вон из избы!.. Эк они набились — не продерешься!.. Ступай-ка, отец Еремей, передом: ты скорей их поразодвинешь.

Минуты через две в избе не осталось никого, кроме Юрия, Алексея и сенной девушки, которая, заливаясь горькими слезами и вычитая все добродетели своей боярышни, вопила голосом. Милославский, несмотря на обещание отца Еремея, был также в ужасном положении; он ходил взад и вперед по избе, как человек, лишенный рассудка: попеременно то хватался за свою саблю, то, закрыв руками глаза, бросался в совершенном отчаянии на скамью и плакал, как ребенок. Алексей не смел утешать его и, наблюдая глубокое молчание, стоял неподвижно на одном месте. Не прошло пяти минут, как вдруг двери вполовину отворились и небольшого роста старичок, в котором по заглаженным назад волосам и длинной косе нетрудно было узнать приходского дьячка, махнул рукою Милославскому, и когда Алексей хотел идти за своим господином, то шепнул ему, чтоб он остался в избе. Юрий вышел с своим проводником на церковный погост и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошел к паперти. Входя на лестницу, он оглянулся назад: вокруг всей ограды, подле пылающих костров, сидели кучами вооруженные люди; их неистовые восклицания, буйные разговоры, зверский хохот, с коим они указывали по временам на виселицу, вокруг которой разведены были также огни и толпился народ,— все это вместе составляло картину столь отвратительную, что Юрий невольно содрогнулся и поспешил вслед за дьячком войти во внутренность церкви. Перед иконостасом теплилась одна лампада, а в трапезе, подле налоя, во всем облачении стоял отец Еремей и трепещущая Анастасья.

— Скорей, Юрий Дмитрич, скорей! — сказал священник, идя к нему навстречу.— Становись подле твоей невесты!

— Моей невесты? — повторил с ужасом Юрий.

— Да, это один способ спасти ее! Слышишь ли, как беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление

будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю тебя: хочешь ли спасти ее?

— Хочу! — сказал решительно Юрий, и отец Еремей, сняв с руки Анастасьи два золотых перстня, начал обряд венчанья. Юрий отвечал твердым голосом на вопросы священника, но смертная бледность покрывала лицо его; крупные слезы сверкали сквозь длинных ресниц потупленных глаз Анастасии; голос дрожал, но живой румянец пылал на щеках ее и горячая рука трепетала в ледяной и, как мрамор, бесчувственной руке Милославского.

Между тем нетерпение палачей несчастной Анастасии дошло до высочайшей степени.

— Что ж это! батька издевается, что ль, над нами? — вскричал наконец Бычура.— Где видано держать два часа на исповеди? Кабы нас, так он успел бы уже давно десятка два отправить. Послушайте, ребята! войдемте в церковь: при людях исповедовать нельзя, так ему придется нехотя кончить.

— А что ты думаешь?.. И впрямь!.. В церковь так в церковь!.. Пойдемте, ребята! — закричали товарищи Бычуры и вслед за ним хлынули всей толпой на паперть.

— Вот те раз! — сказал Бычура, остановясь в недоумении.— Ведь двери-то заперты...

— Так что ж? Ну-ка, товарищи, понапрем! — вскричал Матерой.— Авось с петлей соскочит!

Вдруг двери церковные с шумом отворились, и отец Еремей в полном облачении, устремив сверкающий взгляд на буйную толпу, предстал пред нее, как грозный ангел господень.

— Богоотступники! — воскликнул он громовым голосом.— Как дерзнули вы силою врываться в храм господа нашего?.. Чего хотите вы от служителя алтарей, нечестивые святотатцы?

— Отец Еремей! — отвечал Бычура робким голосом, посматривая на присмиревших своих товарищей.— Ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского?

— И сдержал бы мое обещание, если б мог выдать вам невесту нашего злодея.

— А почему ж ты не можешь?

— Ее здесь нет!

— Как нет?.. Ребята! что ж это?..

— Да! здесь нет никого, кроме Юрия Дмитрича Милославского и законной его супруги, боярыни Милослав-

ской! Вот они! — прибавил священник, показывая на новобрачных, которые в венцах и держа друг друга за руку вышли на паперть и стали возле своего защитника.— Православные! — продолжал отец Еремей, не давая образумиться удивленной толпе.— Вы видите, они обвенчаны, а кого господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может!

— Да! — вскричал Юрий.— Ничто не разлучит меня с моей супругою, и если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею!

— Слышите ль, православные? Вы не можете погубить жены, не умертвя вместе с нею мужа, а я посмотрю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Димитрия Юрьевича Милославского!

Глубокое молчание распространилось по всей толпе, которая беспрестанно увеличивалась от прибегающего со всех сторон народа.

— Как вы думаете, товарищи? — промолвил наконец Бычура.

— Не знаем-ста, как ты?..— отвечал Наливайко.

— Вишь, батька-то стоит за них грудью! — прибавил Матерой.

На всех лицах заметно было какое-то сомнение и недоверчивость. Все молча поглядывали друг на друга, и в эту решительную минуту одно удачное слово могло усмирить все умы точно так же, как одно буйное восклицание превратить снова весь народ в безжалостных палачей. Уже несколько пьяных мужиков, с зверскими рожами, готовы были подать первый знак к убийству, но отец Еремей предупредил их намерение.

— Ну, что ж вы задумались, православные! — воскликнул он, принимая из рук дьячка кружку с вином.— За мной, детушки!.. Да здравствуют новобрачные!

Два или три голоса повторили поздравление, но вся толпа молчала.

— А чтоб было чем выпить за их здоровье,— продолжал отец Еремей,— боярин жалует вам бочку вина, ребята.

— Да здравствуют новобрачные! — закричали сотни голосов.

— А я,— прибавил священник,— на радости прощаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по пяти алтын на человека.

— Ура! — заревел весь народ.— Многия лета боярыне Милославской!.. Да здравствуют молодые!

— Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем, боярин! — примолвил отец Еремей вполголоса.— Пока они будут пить и веселиться, нам зевать не должно... Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать будет Темрюк: он парень добрый и, верно, теперь во всем селе один-одинехонек не пьян; хотя он и крестился в нашу веру, а все еще придерживается своего басурманского обычая: вина не пьет.

Когда они вошли в избу и сенная девушка узнала, что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсем бы обезумела от радости, если б ей не объявили, что боярышня ее вышла замуж за Милославского. Это известие тотчас расхолодило ее восторг.

— Как! — вскричала она.— Анастасья Тимофеевна обвенчалась?.. Ну, хороша свадебка!.. Без помолвки, без девишника!.. Ах, боже мой!.. Что, если б Власьевна это узнала!.. Ах ты моя родимая! сиротка ты бесталанная! некому было тебя, горемычную, и повеличать перед свадьбою!..

— И, голубушка! — сказал священник.— До величанья ли им было! Ты, чай, слышала, какие ей на площади попевали свадебные песенки? Ну, боярин! — продолжал он, обращаясь к Юрию.— Куда ж ты теперь поедешь с своею супругою?.. Чай, в стане у князя Пожарского жить боярыням не пристало?.. Не худо, если б ты отвез на время свою супругу в Хотьковский монастырь; он близехонько отсюда, и, верно, игуменья не откажется дать приют боярыне Милославской.

— Она родная моя тетка,— сказала Анастасья.

— Так и думать нечего! в добрый час, боярин! У меня на душе будет легче, как вы уедете... Не то чтоб я боялся... однако ж все лучше... лукавый силен!.. Поезжайте с богом!

— Отец Еремей! — сказал Юрий.— Чем могу я возблагодарить тебя?..

— Не за что, Юрий Дмитрич! Я взыскан был милостию твоего покойного родителя и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долг. Но вот, кажется, и Темрюк готов! Он проведет вас задами; хоть вас никто не посмеет остановить, однако ж лучше не ехать мимо церкви. Дай вам господи совет и любовь, во всем

благое поспешение, несчетные годы и всякого счастия! Прощайте!

Молодые и служители их, проехав задними воротами на огороды, в провожании Темрюка, добрались потихоньку до околицы и выехали из села Кудинова.

VII

В этот самый день, в который, по необычайному стечению обстоятельств, Милославский нарушил обет, данный им накануне: посвятить остаток дней своих безбрачной жизни, часу в десятом ночи какой-то бедный прохожий, в изорванном сером кафтане, шел скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенной в этом месте по скату глубокого оврага, поросшего густым лесом. Миновав длинный и узкий мост, перекинутый чрез тонкую пойму, прохожий вышел на небольшую поляну, пересекаемую поперечной дорогою. Ночь была лунная, и, несмотря на густую тень от деревьев, можно было без труда различать все предметы. Прохожий, достигнув перекрестка, остановился, вздрогнул и с ужасом отступил назад: освещенная полным месяцем, вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвых тел. Пораженный этим неожиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько минут неподвижно на одном месте, как вдруг слабый, едва слышный стон долетел до его слуха, и в то же время ему показалось, что среди большой груды тел, в том самом месте, где поперечная дорога выходила на поляну, кто-то приподнял с усилием голову и, вздохнув тяжело, опустил ее опять на землю. Подойдя поближе, прохожий увидел, что этот несчастный, покрытый глубокими язвами, один из всех сохранил еще признаки жизни. В то время как человеколюбивый незнакомец, желая, по-видимому, подать какую-нибудь помощь раненому, заботливо над ним наклонился, он снова сделал движение и повернулся лицом к стороне, освещенной луною.

— Правосудный боже! — вскричал прохожий, отступив назад и сложа крестообразно свои руки.— Это он! это тот надменный и сильный боярин!.. Итак, исполнилась мера долготерпения твоего, господи!.. Но он дышит... он жив еще... Ах! если б этот несчастный успел примириться с тобою! Но как привести его в чувство?..—

прибавил прохожий, посмотрев вокруг себя.— Изба полесовщика недалеко отсюда... попытаюсь...

Он приподнял раненого, в котором читатели, вероятно, узнали уже боярина Кручину-Шалонского, положил его на плеча и, сгибаясь под этой ношею, пошел вдоль поперечной дороги, в конце которой мелькал сквозь чащу деревьев едва заметный, тусклый огонек.

Почти в то же самое время Милославский и его супруга выехали из села Кудинова; впереди ехал провожатый их, татарин Темрюк, а позади Алексей и сенная девушка. Во все время, пока до их слуха долетали еще громкие крики и веселые песни, Анастасья наблюдала глубокое молчание и, вздрагивая при каждом новом радостном восклицании, которое доносил до них отголосок, с трепетом прижималась к Милославскому. Но когда вокруг их все утихло и мало-помалу стало потухать бледное зарево от пылающих костров, вокруг которых пировала буйная толпа ее палачей, она, казалось, стала дышать свободнее и наконец сказала робким, исполненным прелести голосом:

— Ты молчишь, Юрий Дмитрич!.. Промолви хотя словечко... Ах! одно твое слово ласковое, один твой привет могут уменьшить скорбь несчастной сироты.

— Анастасья! — отвечал тихим голосом Юрий.— Я сам сирота, и мне ли, горькому, бесталанному, утешать тебя в несчастии, когда для самого меня нет утешенья на белом свете?.. Ах! не на радость соединил тебя господь со мною!

— Не на радость!.. Нет, Юрий Дмитрич, я не хочу гневить бога: с тобой и горе мне будет радостью. Ты не знаешь и не узнал бы никогда, если б не был моим супругом, что я давным-давно люблю тебя. Во сне и наяву, никогда и нигде я не расставалась с тобою... ты был всегда моим суженым. Когда злодейка кручина томила мое сердце, я вспоминала о тебе, и твой образ, как ангел-утешитель, проливал отраду в мою душу. Теперь ты мой, и если ты также меня любишь...

— Люблю ли я тебя!..— вскричал Милославский.— Тебя!.. Ах, Анастасья! помнишь ли, в Москве, у Спаса на Бору?.. Я не знал, кто ты, когда в первый раз тебя увидел, но сердце мое забилось от радости... Мне казалось, что я встретился с тобою после долгой разлуки, что я давно тебя знаю... что я не мог не знать тебя! Несчастный! я забыл все... забыл, что стою в храме бо-

жием... Недоконченная молитва замерла на устах моих... Нет! я согрешил еще более: в безумии моем я молился — не на лики святых угодников... Анастасья!.. я видел одну тебя! Так я прогневил господа и должен сносить без ропота горькую мою участь; но ты молилась, Анастасья! в глазах твоих, устремленных на святые иконы, сияла благодать божия... я видел ясно: никакие земные помыслы не омрачали души твоей... тебя не тяготит ужасный грех поруганной святыни!.. За что ж господь наказал нас обоих?

— Не греши, Юрий Дмитрич! К чему этот безрассудный ропот? Всевышний посетил нас скорбию, мы оба сироты; но разве он до конца нас покинул? И должны ли мы искушать его милосердие в ту самую минуту, когда он, сжалясь над нами, соединил нас навеки?

— Навеки! — повторил вполголоса Юрий.— Ах, Анастасья!..

— Да, мой милый, мой сердечный друг! одна смерть может разлучить нас... Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой!.. Не правда ли, ты никогда не покинешь твоей Анастасии... никогда?.. Чувствуешь ли ты,— продолжала она голосом, исполненным неизъяснимой нежности, прижимая руку Юрия к груди своей,— чувствуешь ли, как бьется мое сердце?.. Оно живет тобою! И если когда-нибудь ты перестанешь любить меня...

— Никогда! никогда! — прошептал Юрий, покрывая пламенными поцелуями ее трепещущую руку.

— Бесценный мой!.. избавитель мой!.. О, как снова мне жизнь становится мила!.. Она твой дар, мой возлюбленный! она вся принадлежит тебе!.. Ах! повтори еще раз, что ты меня любишь!

— Более всего на свете! — вскричал Милославский, забыв на минуту весь ужас своего положения.

— И ты можешь роптать на промысел божий?.. и я смею называть себя сиротою, когда ты супруг мой?..

Как пробужденный от глубокого сна, Юрий вздрогнул.

— Твой супруг!..— повторил он, отдернув с ужасом свою руку.

— Что с тобою, мой милый друг? — спросила робким голосом Анастасья.

Юрий не отвечал ни слова.

— Ты молчишь?..— продолжала она.— Ах! говори, Юрий Дмитрич, скажи, чем могла я прогневить тебя?

— Анастасья,— отвечал наконец Милославский,— я не ропщу... я покоряюсь воле всевышнего; но мы несчастливы, мой друг, очень несчастливы!

— Нет, пока ты называешь меня своей супругою... пока я принадлежу тебе...

— Но знаешь ли ты, сирота злополучная?.. Так! к чему откладывать!.. для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья!.. я не супруг твой!

— Ты не супруг мой?.. Но не ты ли сейчас обошел со мною налой церковный?.. Не с тобою ли я поменялась этим перстнем?..

— Чтоб спасти тебя, я должен был это сделать; но я не могу быть ничьим супругом.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, над гробом преподобного Сергия, я клялся оставить свет и произнес обет: по окончании брани возложить на себя одежду инока.

— Милосердый боже!.. Так для чего ж, жестокий, ты не дал мне умереть?

— Выслушай меня, Анастасья, и не осуждай меня!

Юрий стал рассказывать, как он любил ее, не зная, кто она, как несчастный случай открыл ему, что его незнакомка — дочь боярина Кручины; как он, потеряв всю надежду быть ее супругом и связанный присягою, которая препятствовала ему восстать противу врагов отечества, решился отказаться от света; как произнес обет иночества и, повинуясь воле своего наставника, Авраамия Палицына, отправился из Троицкой лавры сражаться под стенами Москвы за веру православную; наконец, каким образом он попал в село Кудиново и для чего должен был назвать ее своею супругою. Анастасья с необыкновенной твердостию выслушала весь рассказ его; но когда он кончил, она завернулась в свою фату, зарыдала, и горькие слезы рекой полились из глаз ее. Юрий молча продолжал ехать подле нее; несколько раз он хотел возобновить разговор, но слова замирали на устах его; и что мог бы он сказать в утешение несчастной, горькой сироте?

Вдали мелькнул огонек; Темрюк остановил свою лошадь и, обращаясь к Юрию, сказал:

— Видишь, боярин?.. вон там, за этими деревьями?.. Это Хотьков монастырь. Чай, теперь вы и без проводни-

ка доедете: дорога прямая; а мне пора и отдохнуть. Вот другие сутки, как я глаз не сводил.

Юрий отпустил своего провожатого, и через четверть часа наши путешественники доехали до монастырских ворот. Не скоро достучались они привратника; наконец калитка отворилась, и монастырский слуга, протирая заспанные глаза, спросил сердитым голосом:

— Кто тут?.. что за полуночники такие?..— но, узнав Анастасью, вскрикнул от радости и побежал доложить о ней игуменье. Путешественники сошли с лошадей. Анастасья молчала, Юрий также; но, когда через несколько минут ворота отворились и надобно было расставаться, вся твердость их исчезла. Анастасья, рыдая, упала на грудь Милославского.

— Прости, мой избавитель! — говорила она, всхлипывая.— Прости навсегда!

— Навсегда!.. Нет, Анастасья! — вскрикнул Юрий, заключив ее в свои объятия.— Когда мы оба проснемся от тяжкого земного сна для жизни бесконечной, тогда мы увидимся опять с тобою!.. И там, где нет ни плача, ни воздыханий, там — о милый друг! я снова назову тебя моей супругою!

Анастасья вырвалась из его объятий. Тяжелые ворота заскрипели, застучал железный запор, привратник захлопнул калитку, и Юрий, вскочив на коня, помчался вихрем от стен обители, в которой, как в безмолвной могиле, он похоронил навсегда все земное свое счастие.

Оставим на несколько времени Юрия, который спешил в крови врагов или в своей собственной утопить мучительную тоску свою, и перенесемся в хижину, где, осыпанный проклятиями, заклейменный позорным именем предателя, некогда сильный и знаменитый боярин, но теперь покинутый целым миром, бесприютный страдалец боролся со смертию. До половины вросшая в землю, освещенная одним восковым огарком, который теплился перед иконами, лачужка полесовщика была в эту минуту последним земным жилищем богатого боярина Кручины, привыкшего жить с царскою пышностию. Несколько снопов соломы, брошенных на скамью, заменяли роскошное пуховое ложе, а вместо толпы покорных рабов один бедный, покрытый изорванным рубищем нищий сидел у его изголовья. Испустя тяжелый вздох, умирающий очнулся от своего беспамятства и открыл глаза;

несколько минут его тусклые, безжизненные взоры оставались неподвижными; наконец мало-помалу он стал различать окружавшие его предметы. С большим усилием он поднял руку и молча поднес ее к запекшимся кровию устам своим. Нищий подал ему ковш с водою, и боярин, утолив свою жажду, промолвил невнятным голосом:

— Где я?

— В избе, у доброго человека,— отвечал нищий.

— Кто говорит со мною?

— Это я, Федорыч: Митя.

— Где мои слуги?

— Твои слуги!.. Бедняжка!.. Ты всех их отпустил на волю, Федорыч!

— Где дочь моя?

— Как?.. так и она, сердечная, была с тобою?.. Голубушка моя!.. Ну, Федорыч, пришла беда — растворяй ворота!

— Ах! я начинаю вспоминать... убийцы!.. кровь!.. Так... они умертвили ее!.. злодеи! А я жив еще!.. Зачем?.. для чего?

— Как зачем, Федорыч?.. Подумай-ка хорошенько. Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали: она всегда, как чистая голубица, готова была принять жениха своего. А что б ты стал делать, горемычный, если бы господь не умилосердился над тобою и не дал тебе времени принарядиться да раззнакомиться с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч! посмотри, сколько их стоит за тобою! и гордость, и злость, и неправда, и убийство, и всякое нечестие... Эй, Федорыч! не губи себя, голубчик! отрекись от этих друзей, не бери их с собою! Ведь двери-то на небеса небольшие — с такой оравой туда не пролезешь!

Бледные щеки Шалонского вспыхнули; казалось, все силы его возвратились: он приподнялся до половины и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым голосом:

— О чем ты говоришь, юродивый? чего ты от меня хочешь?.. Покаяния?.. Нет!.. поздно!.. Если все правда, чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже произнесен!

— И, Федорыч, Федорыч! Кто это тебе сказал?

— Да, если из двух дорог я выбрал одну и шел по ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертию возвратиться опять на перепутье?

— Можешь ли? — перервал Митя, и глаза его заблистали необыкновенным огнем, и кроткое величие праведника изобразилось на челе его, выражавшем до того одно простодушие и смирение.— Можешь ли? — повторил он вдохновенным голосом.— Ничтожное, бренное создание! Тебе ли полагать пределы милосердию божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь творца к его созданию?.. Так! с юности твоей преданный лукавству и нечестию, упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, господи! егда приидеши во царствии твоем!» И едва слова сии излетели из уст убийцы — и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омытая кровию спасителя, душа его воспарила в горние селения — и уже навстречу ей спешил сам искупитель! О боярин! возведи скорбящий взор к отцу нашему, пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою, и он уже в душе твоей!..

Как истомленный жаждою в знойный день усталый путник глотает с жадностию каждую каплю пролившего на главу его благотворного дождя, так слушал умирающий исполненные христианской любви слова своего утешителя. Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием; с каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и наконец на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей — с душою, проникнутою первым лучом небесной благодати.

— Как! — сказал он после продолжительного молчания.— Ты, которого я выгнал с позором из дома своего... над кем ругался, кого осыпал проклятиями... кто должен меня ненавидеть... желать моей вечной погибели...

— Твоей погибели!.. Ах! ты не знаешь... ты не вкусил еще всей сладости любви христанской, боярин... Твоей погибели!.. Пусть господь возьмет остаток дней моих за одно мгновение твоего душевного покаяния! Но что я говорю... бессмысленный! Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвигнуть к милосердию того, кто есть беспредельная любовь... которая наполняет уже твою душу, боярин?.. Так! я вижу благодать всевышнего в твоих потухающих взорах!.. Ты плачешь?.. Плачь, боярин, плачь! Эти слезы... о! приветствуй сих посланников небесных!..

Кто может описать чувство умирающего грешника, когда перст божий коснулся души его? Он видел всю мерзость прошедших дел своих, возгнушался самим собою, ненавидел себя; но не отчаяние, а надежда и любовь наполняли его душу.

— Милосердый боже! — воскликнул он, проливая источники слез.— Для чего я не могу продлить моей позорной жизни?.. Для чего в болезнях, страданиях, покрытый язвами, от всех отверженный, всеми презираемый, я не могу изгладить продолжительным покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззаконий!..

— Их нет уже, боярин! — сказал с восторгом Митя.— Твои слезы смыли их... первые слезы кающегося грешника... О! какое веселие, какое торжество готовится на небесах, когда я, окаянный, недостойный грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим бедным рубищем, не нахожу слов для изъяснения моей радости!

Ослабевши от сильного душевного потрясения, боярин Кручина опустился на свое ложе; предвестница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по всем его членам...

— Митя, Митя! — сказал он прерывающимся голосом.— Конец мой близок... я изнемогаю!.. Если дочь моя не погибла, сыщи ее... отнеси ей мое грешное благословение... Я чувствую, светильник жизни моей угасает... Ах, если б я мог, как православный, умереть смертию христианина!.. Если б господь сподобил меня... Нет, нет!.. Достоин ли убийца и злодей прикоснуться нечистыми устами... О, ангел-утешитель мой! Митя!.. молись о кающемся грешнике!

Вдруг кто-то постучался у окна.

— Кто тут? — спросил Митя.

— Священник из села Никольского,— отвечал незнакомый голос.

— Священник! — вскричал юродивый.

— Да, добрый человек! Я еду с требою к умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую дорогу?

— Слышишь ли, Тимофей Федорович? Сомневайся еще в милосердии божием! Войди, батюшка, здесь также есть умирающий.

— Митя! — вскричал Кручина.— Приподыми меня! пособи мне встать... Нет!.. оставь меня... я чувствую в себе довольно силы...

Боярин приподнялся, лицо его покрылось живым ру-

мянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горели нетерпением... Священник вошел, и чрез несколько минут на оживившемся лице примиренного с небесами изобразилось кроткое веселие и спокойствие праведника: господь допустил его произнести молитву: «Днесь, сыне божий, причастника мя приими!» Он соединился с своим искупителем; и когда глаза его закрылись навеки, Митя, почтив прах его последним целованием, сказал тихим голосом:

— Прости, Тимофей Федорович! веселись в горних селениях, избранный для прославления неизреченного милосердия божия! Ты жил как злодей и кончил жизнь как праведник... Блаженна часть твоя: над тобой совершилась великая тайна искупления!..

VIII

В первый день решительной битвы русских с гетманом Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты отечества, но для грабежа и добычи [15]. С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек пятьдесят казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места: ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, кото-

рые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению,— все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Ново-Девичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту сторону, где расположено было неприятельское войско.

— Ну что? — спросил Алексей.— Выходят ли они из лагеря?

— Кажется, нет,— отвечал Кирша.— Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот.

— А скажи, пожалуйста, любезный! не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?

— Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтоб ударить в поляков, когда начнется сражение.

— Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо! Одних казаков, почитай, столько же, сколько нас всех у князя Пожарского — и пеших и конных.

— Эх, брат Алексей! и много, да черт ли в них! Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют! Дал бы этим озорникам в воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно так ладно, а не так, так пулю в лоб!.. Эва! слышишь, как покрикивают... возле самого шатра княжеского,— как будто б им черт не брат! Небось у Лисовского не стали б этак горланить. Бывало, как закрутит усы да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит... Постой-ка, брат... постой! Никак, поляки зашевелились... Чу! пушка... другая!.. пошла потеха!

Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по воздуху: двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окружность Ново-Девичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма.

— Эх! если б поскорей дошла до нас очередь! — вскричал Кирша.— Так руки и зудят!..

— Эка трескотня!..— сказал Алексей.— Ух! как грянули из пушек!.. Да это, никак, с нашей стороны?

— С нашей, с нашей!..— перервал Кирша.— Вот так!.. знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!

Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем; но в дружинах князя Трубецкого не заметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки; и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более двух часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого не приметно было никаких приготовлений к бою; все оставалось по-прежнему: одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели, как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства Русского.

Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы.

— Что, товарищи,— сказал он,— не пора ли и вам взнуздать коней?

— Зачем? — спросил один казак.

— Как зачем? Чай, нашим становится жутко; вот уж часа три, как они бьются с поляками.

— Так что ж?.. На здоровье! Пусть себе забавляются! — перервал другой казак.— Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана!

— Спесивы больно! — подхватил один урядник.— Не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни и справляются с ляхами!

— Они не хотели с нами знаться,— примолвил первый казак,— так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, запевай плясовую!

Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором.

Милославский подошел к ставке князя Трубецкого.

— Не пора ли нам? — сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра.

— Как придет время, так вам прикажут,— отвечал хладнокровно старшина.

— Нельзя ли мне поговорить с князем Димитрием Тимофеевичем?

— Нет, он никого не велел к себе пускать.

Вдруг подскакал к шатру покрытый пылью и окровавленный всадник; спрыгнув с коня, он спросил торопливо:

— Где князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой?

— На что тебе? — спросил старшина.

— Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать.

— Неужто в самом деле? — перервал с насмешливой улыбкою старшина.

— К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни; и если б князь Димитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги.

— И, полно, брат, одни отгрызетесь! Да постой, куда ты?

— К вашему воеводе.

— Не велено пускать. С богом, убирайся-ка, откуда приехал!

— Что ж мне сказать князю Димитрию Михайловичу?

— Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь.

— Нет! — вскричал Милославский.— Это уже превосходит все терпение! Если вы не боитесь бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше отечество, то я с моей дружиною не останусь здесь.

— Потише, молодец, не горячись! Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Димитрия Тимофеевича идти на бой?

— А вот увидишь! — сказал Милославский, подходя к своему отряду.

— На коня, товарищи!

— Именем главного воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебе не трогаться с места!..— сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь.

— Я служу не ему, а отечеству! — отвечал Юрий, выезжая вперед.

— Стойте! — вскричал старшина.— А не то я велю остановить вас силою.

— Попытайся,— сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину.— Живей, ребята! — продолжал он.— Сабли вон!.. с богом!.. вперед!..

В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку и при громких восклицаниях: «Умрем за веру православную и святую Русь!» — помчался на место сражения.

Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак, и читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого; некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких: Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием:

— Не совестно ли тебе отставать от своих?

— Нет, господа старшины!..— отвечал Кирша,— мне совестно, да только не за себя, а за вас.

— Ну тебе ли говорить! — вскричал Козлов.— Беглец!.. покинул своих товарищей!..

— Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы, так не радостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками.

— Изменниками! — вскричал Дружина Романов.

— А как же? — продолжал Кирша.— Разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим поджавши руки... По мне, уж честнее быть заодно с ляхами! А то что мы? ни то ни се — хуже баб! Те хоть бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит бог, мы этого сраму век не переживем!

— А что вы думаете? ведь он правду говорит, ребята! — сказал Межаков.— Где слыхано выдавать своих!

— Вся беда оттого, что наши воеводы повздорили между собою,— прибавил Дружина Романов.

— Да пусть их ссорятся! — закричал Марко Козлов.— Нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!

— И мы также идем! — вскричали Коломна, Межаков и Романов.

Казаки столпились вокруг своих начальников; но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь к князю Пожарскому, начинали уже колебаться, как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал:

— Ай да нижегородцы!.. попятили ляхов!.. Глядите-ка! Поляки бегут.

— Бегут!..— вскричал Кирша.— Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята! я один поеду. Ну, знатная же будет пожива нижегородцам! Говорят, в польском стане золота и серебра хоть возами вози!

— Что ж мы зеваем, ребята? — заговорили меж собой казаки.— На коней!..

— На коней! — повторили тысячи голосов.

— Живей, добрые молодцы! живей! садись! — закричали атаманы.

Из ставки начальника прибежал было с приказаниями завоеводчик; * но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся! идем помогать нижегородцам! Ради нелюбви вашей Московскому государству и ратным людям пагуба становится»,— и, не слушая угроз присланного чиновника, переправились с своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего.

Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель, летел перед своим отрядом Юрий Милославский; в несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади Ново-Девичьего монастыря: пролить всю кровь за отечество, не выйти живому из сражения — вот все, чего желал этот несчастный юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных реги-

---

* Звание, равное нынешнему генерал-адъютанту.

ментов, они врезались в самую средину сторожевых полков неприятельских. От орлиного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения; он двинул вперед все войско... Поляки дрогнули, побежали; но, соединясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее: окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением; несколько раз пробивался грудью вперед; наконец свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горсти бесстрашных воинов, разорвала их,— и каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем, в десять раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек пять стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые, под командою атаманов, подоспели наконец на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша, с сотнею удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других показался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения; но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня: их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хоткевич, отступая в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы.

Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23-е число, при помощи изменника Григорья Орлова, провести в Кремль шестьсот человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостный гарнизон сделал чем свет вылазку и взял за Москвой-рекой небольшой окоп близ церкви св. Георгия. Желая воспользоваться этой удачею, гетман Хоткевич, зайдя со

стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили, однако же, стремление неприятеля; упорный бой продолжался до шестого часа пополудни. Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого: он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов: гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского; но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения: поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских; отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских... Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России казались уже неизбежными. В эту решительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к отечеству слова его потрясли наконец закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырскую, он заклинал всех именем божиим не выдавать отечества и спешить на помощь к князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин, с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой-рекою, истребил его со-

вершенно. Смятение и наконец бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям, и гетман Хоткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25 числа августа, бежал со стыдом от Москвы.

Оставшиеся поляки заперлись в Кремле и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б несогласия между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко двух месяцев продолжалась осада Кремля; наконец поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга,— решились сдаться военнопленными.

Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китай-города и окружающих его предместий раненый Милославский переехал, по приглашению князя Пожарского, в собственный дом его, на Лубянку *. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом во время тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положении; но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраамий Палицын и князь Черкасский; но безотлучно находились при нем добрый его служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несчастного юноши.

Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал:

— Добрые вести, Юрий Дмитрич, добрые вести!

— Какие вести? — спросил Милославский.

— Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе.

— Поэтому поляки сдаются?

— Видно, что так. А надобно им честь отдать: постояли за себя! Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости, да голодом-то мы их доехали!

---

* Дом князя Пожарского находился против церкви Введения божией матери, на том самом месте, где ныне дом 3-й гимназии.

— И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?

— Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтоб им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитрич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники! И как ты думаешь, за что?.. За то, что им не дали грабить русских боярынь!.. Хороши защитники отечества! Но вот, никак, отец Авраамий идет тебя навестить... Так и есть! Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин.

Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует.

— Все так же,— отвечал Милославский.

— Все так же? — сказал старец, покачав с неудовольствием головою.— Кажется, давно бы пора тебе оправиться. Жаль, Юрий Дмитрич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне: мы завтра входим в Кремль.

— Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что б ни стало войти в Кремль с вами.

— Но если твое здоровье требует...

— Нет! эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы...

— Итак, завтра чем свет...

— Ты увидишь меня на коне, перед моим отрядом, отец Авраамий.

— Прощай, Юрий Дмитрич! Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за пятьдесят для исполнения одной священной обязанности; но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют,— примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души.— Прощай, сын мой! — продолжал он.— Да укрепит господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать!

Наконец наступило 22 число октября 1612 года, день достопамятный и незабвенный в летописях нашего отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить, как братьев, тех самых людей, коих накануне называло своими врагами. Совсем другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого: буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей, по всей России.

По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Димитрий Михайлович Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом закубанском коне гарцевал удалой князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский; с левой стороны ехали: князь Димитрий Петрович Пожарский-Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Галасунский, с иконою Владимирской божией матери, встретил победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа; раздался громкий благовест; нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов; духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский собор, и *русское:* «Тебе бога хвалим!» —

оглася своды церковные, раздалось наконец в стенах священного Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины.

Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым.

— Ну, вот видишь, боярин,— сказал знаменитый гражданин нижегородский,— я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитрич! Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего, и не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей.

— Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?

— Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только вполовину.

— И говорил истинную правду.

— Как так, боярин? Я что-то в толк не беру? Ты, кажется, одет не чернецом; а что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника... Да будь повеселее, боярин! Кажется, есть чему порадоваться: злодеев не стало. Много пролито крови христианской; да и то слава богу, что наконец правда взяла свое! Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы господни, да это также дело поправное; а вот что худо, Юрий Дмитрич: с одними супостатами мы справились, как-то справимся с другими?

— С другими?..

— Ну да! Посмотри,— продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, Троицкими и Боровицкими воротами в Кремль.— Видишь ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойники? Ну, походит ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты.

В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломились толпами в домы боярские и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтоб ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками.

Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли нечувствительно к церкви святого Спаса на Бору. В ту самую минуту как Милославский поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались наконец в чертоги царские; и в то же самое время многочисленные толпы покрытых рубищем граждан московских, испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся: в его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе; но он не слышал слов его: какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался; наконец с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри; дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами; и только налево, за низкой аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского.

Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасья, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах, все прошедшее оживилось в его воображении: он видел ее пред собою, он слышал ее голос... Несчастный юноша не устоял против сего жестокого испытания: он забыл всю покорность воле всевышнего, неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою.

— Злополучный! — вскричал он.— Для чего ты спешил погубить самого себя! Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею... О Анастасья, Анастасья!..

— Что ты, Юрий Дмитрич? — сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия.— Что с тобою? — продолжал Палицын.— Ах, сын мой! ты не для молитвы взошел в сей храм: эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезобра-

женном челе твоем... Нет, Юрий Дмитрич, не так молятся христиане!

— Отец мой! — вскричал Юрий.— Отец мой! спаси меня!.. В душе моей весь ад... все мучения погибающего грешника!

— Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть?..

— Одна ужасная тайна!..

— Тайна?.. Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?

— Отец Авраамий! я... женат.

— Женат! — вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием: — Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме божием, пред лицом господа твоего, осквернить свои уста лукавством и неправдою!.. Ах, Юрий Дмитрич, что ты сделал!

— Нет, отец мой! я не обманул тебя: я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни; не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника божия,— и мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего — боярина Кручины-Шалонского?

Удивление оковало уста Авраамия Палицына, но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание; он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом:

— Успокойся, Юрий Дмитрич! Я вижу, ты не совсем еще выздоровел.

— Ах, если б это была правда, отец мой... если б это был один бред!.. Так я открою тебе мою душу, выслушай меня!

Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключа его в свои объятия, сказал сквозь слезы:

— Нет, Юрий Дмитрич! ты не нарушил свой обет! Ты не клятвопреступник точно так же, как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего.

— Но что же я?..

— Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою, и, простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою; вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными

узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви.

Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом:

— Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета?..

— Московские святители разрешат тебя от оного,— перервал Палицын.— Так, Юрий Дмитрич, я вижу ясно перст божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки — все, соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя, Юрий Дмитрич! Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших; а что бы ты был, произнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заключал еще в душе своей любовь мирскую. Что сталось бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если б, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать?.. О Юрий Дмитрич! от одной мысли застывает кровь в моих жилах!.. Благодари господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая!

С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника.

— Безумный! — вскричал он наконец.— И я смел роптать на промысел божий!.. Я могу назвать Анастасию моей супругою; могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу...

— Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для отечества. Но где она теперь?..

— В Хотьковском монастыре, в котором игуменья родная ее тетка.

— В Хотьковском монастыре?.. Племянница игуменьи?.. Ах, Юрий Дмитрич! для чего ты молчал? Если б ты знал?.. Но пойдем, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского.

Юрий вошел в северный придел, а Палицын приостановился, чтоб взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницею; длинные и густые волосы, опускаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали изможденное и бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Милославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом:

— Здравствуй, Дмитрич! Уж я ждал, ждал тебя! Насилу ты пришел!

— Это ты, Митя! — сказал Юрий.— Ах, боже мой! что с тобой сделалось? Бедняжка! как ты похудел!

— Домой сбираюсь, Дмитрич!.. Да и пора, голубчик, видит бог, пора! Помаялся, пошатался лет пятьдесят по чужой стороне, будет с меня!

— А где твоя родина? — спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого.

— Где моя родина? Чай, там же, где и твоя.

— Так поэтому близко отсюда?

— И близко и далеко: как пойдешь, голубчик.

— А! теперь я понимаю,— сказал Милославский,— ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?

— И рад бы не думать, Дмитрич, да думается!.. Вот боярин Шалонский и гадать не гадал, а вдруг отправился, и как же?.. прямехонько туда, куда дай бог попасть и мне, и тебе, и всякому доброму человеку.

— Что ты говоришь, Митя?

Кроткое небесное веселие изобразилось на лице юродивого, глаза его наполнились слезами.

— Да, Юрий Дмитрич! — сказал он прерывающимся от сильного чувства голосом.— Там, в горних селениях, не скорбят уже о заблудшем сыне: он возвратился в дом отца своего!

— Так он покаялся пред смертию?

— И господь отверз ему свои объятия. Я был свидетелем сего торжества милосердия и благости божией; я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести дочери не тщетное, но святое благословение умирающего родителя.

Митя замолчал и, сложа крестообразно руки, устре-

мил к небесам взор, исполненный любви, надежды и душевного умиления. Помолчав несколько времени, Юрий спросил робким голосом:

— Ты видел ее?

— Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в Хотькове.

— Ну что?.. говори, Митя! здорова ли она?

— Слава богу! Она мне все рассказала... Бедная, горемычная сиротинка! Постой-ка! у меня есть от нее посылочка... На, возьми.

— Что я вижу! мой обручальный перстень!

— Да, Дмитрич! Сегодня утром она обручится с женихом, который получше нас с тобою.

— Милосердый боже!.. Итак, она...

— Успокойся, Юрий Дмитрич! — сказал Палицын, который, подойдя к Юрию, застал окончание этого разговора.— Анастасья не произнесет обета расстаться навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее и завтра поеду в Хотьковскую обитель, но не для того, чтоб разлучить тебя с супругою, а чтоб привезти ее сюда и соединить вас навеки.

Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраамия, а Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы, тихо склонился над гробом угодника божия, и через несколько минут, когда Милославский, уходя вместе с Палицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было: он возвратился на свою родину!

Спустя недели три после описанного нами приключения Кирша, прощаясь с Алексеем, который провожал его до городских ворот, сказал:

— Поклонись, брат, еще раз от меня твоему боярину. Век не забуду его благодеяний! По милости его я могу теперь завестись своим домиком и жить не хуже всякого атамана.

— А на что тебе свой дом? Ведь вы, запорожцы, живете все вместе, как старцы в общине?

— Да кто тебе сказал, что я поеду жить в Запорожскую Сечь? Нет, любезный! как я посмотрел на твоего боярина и его супругу, так у меня прошла охота оставаться век холостым запорожским казаком. Я еду в Батурин, заведусь также женою, и дай бог, чтоб я хоть вполовину был так счастлив, как твой боярин! Нечего сказать: помаялся он, сердечный, да и наградил же его господь за потерпенье! Прощай, Алексей! авось бог приведет нам еще когда-нибудь увидеться!

* * *

Мы полагаем достаточным упомянуть только слегка о последствиях народной войны 1612 года, ибо уверены, что большей части наших читателей известны все исторические подробности этой любопытной эпохи *возрождения* России. Вскоре по взятии Кремля король польский пытался снова завладеть Москвою; но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что он вторично не успеет обольстить русских. Простояв без всякой пользы под этим небольшим городом, он решился не ходить далее и побежал со всем своим войском назад, в Польшу. По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств; наконец господь умилосердился над несчастным отечеством нашим: все несогласия прекратились, общий глас народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета, Михаила Феодоровича Романова, и в 1613 году, 11 числа июля, этот юный царь, дед Великого Петра, возложил на главу свою венец Мономахов. Утвердив князя Пожарского в звании думного боярина, он осыпал милостями и наградами всех, бравших участие в великом деле освобождения России. Старинные наши знакомцы: Замятня-Опалев и Лесута-Храпунов явились также ко двору; первый хотел было объявить свои права на заседание в царской думе; но, узнав, что простой мясник Козьма Сухорукий наименован таким же, как он, думным дворянином, ускакал назад в свои отчины, повторяя с важностию любимое свое изречение: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Лесута-Храпунов, как человек придворный, снес терпеливо эту обиду, нанесенную родовым дворянам; но когда, несмотря на все его просьбы, ему, по званию стряпчего с ключом, не дозволили нести царский платок и рукавицы при обряде коронования, то он, забыв все благоразумие и осторожность, приличные старому царедворцу, убежал из царских палат, заперся один в своей комнате и, наговоря шепотом много обидных речей насчет нового правительства, уехал на другой день восвояси, рассказывать соседям о блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать своею царскою милостию ближнего своего стряпчего с ключом Лесуту-Храпунова.

* * *

Наступил тридцатый год царствования Михаила Феодоровича Романова. Под кротким и мудрым его правлением Россия отдохнула от протекших бедствий, и гордящиеся своим просвещением народы Западной Европы начинали уже с приметным беспокойством посматривать на этого северного исполина, которому недоставало только Великого Петра, чтоб удивить вселенную своим могуществом и славою.

В одно весеннее утро, накануне Троицына дня, по ростовской дороге тянулись многочисленные толпы богомольцев. Граждане московские, жители низовых провинций и даже обитатели благословенной Украйны — все спешили на храмовой праздник знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящегося народа, мелькали высокие шапки бояр русских; именитые гости московские с женами и детьми своими переходили из храма в храм, служили молебны, сыпали золотом и многоценными вкладами умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этих усердных богомольцев отличались от всех, не столько одеждою, сколько бодрым и воинственным видом, украинские казаки, присланные с богатыми дарами от гетмана малороссийского. Их старшина, человек среднего роста, но, по-видимому, еще в полной силе, обращал на себя более других общее внимание. Он осматривал с большим любопытством все ближайшие окрестности монастырские и показывал толпе, которая всюду за ним следовала, те места, на которых стояли некогда войска панов Сапеги и Лисовского.

— Здесь,— говорил он,— делали поляки подкоп; вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался в руки удалым служителям монастырским. А здесь, против этой башни, молодец Селява, обрекши себя неминуемой смерти, перекрошил один около десятка супостатов и умер, выкупая своею кровию погибшую душу родного брата, который передался полякам.

В числе любопытных, которые окружали старшину, один молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаниями прошедших своих подвигов, от осады Троицкого монастыря перешел к знаменитой по-

беде князя Пожарского, одержанной под Москвою над войском гетмана Хоткевича, то внимание молодого боярина удвоилось, лицо его пылало, а в голубых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах изобразились досада и нетерпение бесстрашного воина, когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором, к несчастию, не мог участвовать.

Служитель молодого боярина, седой как лунь старик, не спускал также глаз с рассказчика, который, обойдя кругом монастыря, вошел наконец в ограду и стал рассматривать надгробные камни.

— Над кем поставлен этот деревянный голубец? — спросил он у одного проходящего старца.

— Тут похоронен Борис Годунов,— отвечал хладнокровно инок.

— Годунов!..— повторил старшина, покачав головою.— Думал ли он, когда под Серпуховом осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую деревянную часовню!..

Облокотясь на один высокий надгробный камень, казацкий старшина продолжал смотреть задумчиво на этот красноречивый памятник ничтожества величия земного, не замечая, что седой служитель молодого боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось, пожирал его глазами...

— Так! — вскричал наконец этот неотвязчивый старик.— Это он!.. Кирша!

Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служителя, спросил: почему он его знает?

— Ты уж не в первый раз не узнаешь меня,— отвечал старик.— И то сказать: век пережить — не поле перейти! Когда ты знавал меня, я был еще детина молодой; а теперь насилу ноги волочу, и не годы, приятель, а горе сокрушило меня, грешного.

— Да кто же ты?

— Алексей Бурнаш.

— Как! служитель боярина Милославского?

— Что, брат, не верится?

— Нет, нет! Я начинаю узнавать тебя. Здравствуй, приятель! — продолжал Кирша, обнимая с радостию Алексея.

Между тем один пожилой купец и с ним молодой человек, по-видимому, сын его, подошли к надгробному камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать надпись.

— Ну что, старый товарищ,— спросил Кирша,— как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин, вон тот, с которым ты ходил и который меня так обо всем расспрашивал?

— Владимир Юрьич Милославский.

— Сын Юрия Дмитрича?

— Да, сын его.

— Ну, молодец! Вот таков-то был смолоду его батюшка — кровь с молоком! А что он поделывает? где он? здоров ли? Чай, устарел так же, как и ты?

Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал ни слова.

— Посмотри-ка, Ванюша,— сказал пожилой купец своему сыну,— оба в один день... видно, любили друг друга.

— Да что ж ты молчишь? — вскричал запорожец.— Иль не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитрич?

В эту самую минуту молодой купец наклонился и прочел тихим голосом: *«Лета 7130-го, октября в десятый день, преставися раб божий, болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия...»*

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

[1] *Вот что говорит очевидец, поляк Маскевич: «Моей роте досталось на часть два города: Суздаль и Кострома, в семидесяти милях от столицы. Мы тотчас разослали товарищей с лагерною челядью, для собрания живности; но наши так были неумеренны, что, не довольствуясь хорошим обхождением русских, брали без разбора все, что им нравилось, так что у самого знатного боярина отнимали насильно жену или дочь...»*

[2] *Гостиную сотню составляли богатейшие купцы. В Новгороде они назывались именитыми людьми. Их можно сравнить с нынешними купцами первой гильдии.*

[3] *Московские жители целовали крест царевичу Владиславу в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали уже об этом не только близ Нижнего Новгорода, да и в самых отдаленных провинциях царства Русского. Тушинский вор также убит в 1610 году. Сочинитель винится в сих анахронизмах.*

[4] *Большая часть запорожских казаков, получивших сие название от Днепровских порогов, за которыми они поселились, была составлена из холостых людей всех состояний. Женатые казаки имели в разных местах и в довольном расстоянии от главного их местопребывания, известного под именем Сечи, особые дома, называемые зимовками, в которых жили их жены с семействами; а в самой Сечи не дозволялось жить ни одной женщине.*

[5] *Золотая монета иностранной чеканки, почти вдвое больше червонца. Сочинитель розыскания о древности русских монет полагает, что корабелениками на-*

зывались у нас бывшие в обращении английские нобели.

[6] *За самое величайшее преступление почиталось у запорожских казаков умышленное убийство своего товарища. Убийцу закапывали живого с убитым. Редко случалось, чтоб сей закон не исполнялся: одна отличная храбрость и любовь всех казаков могли иногда спасти от сей казни преступника. Воров наказывали также весьма строго; разумеется, что вором считался только тот, кто украл что-нибудь у своего товарища, запорожского казака. Виновного привязывали на площади к столбу, и в течение трех дней, а иногда долее, он должен был сносить побои и ругательства всех проходящих. Уличенного вторично в сем преступлении привязывали на несколько времени к столбу, а потом вешали.*

[7] *Стряпчие служили при дворе: они смотрели за царскою стряпнею. Под именем стряпни разумели тогда мелкие принадлежности к царскому одеянию, как-то: шапку, рукавицы, платок, посох и проч. Стряпчие с ключом хотя исправляли при царе ту же должность, но званием своим равнялись с думными дворянами и стояли выше комнатных стольников.*

Степень детей боярских, по мнению Миллера, была первою степенью дворян российских, в чины еще не определенных. Им раздавались поместья и вменялось в обязанность: в военное время готовыми быть на службу царскую, с известным числом на их собственное иждивение вооруженных всадников. Они состояли в восьмой, то есть в последней степени дворян тогдашнего времени.

Жильцы считались в седьмой степени старинных русских чинов. По первоначальному своему назначению они должны были составлять охранное войско московское; но впоследствии употреблялись и в дальные походы; главною же обязанностию было развозить царские грамоты. Их жаловали также поместьями, а за отличие определяли иногда воеводами в небольшие города.

Думные дворяне были членами царской думы, в которой они заседали вместе с думными боярами и окольничими.

[8] *В старину все русские без исключения спали после обеда. Московские жители, понося Лжедимитрия, говорили, между прочим, что он, как еретик, не ходит в баню и не отдыхает после обеда.*

[9] *Земледельцев и всех вообще, занимавшихся черной работою, называли в старину смердами. Бобыль, по толкованию Татищева, есть слово татарское, означающее то же самое, что слово: неимущий. Бобылями называли крестьян, не имеющих своей пашни, но многие из них под сим названием производили немаловажную торговлю. Прежде они не платили никаких податей и составляли самый низший класс народа русского.*

[10] *«Мятежники, мордва, черемисы и Лжедимитриевы шайки, ляхи, россияне, с воеводою князем Вяземским, осаждали Нижний Новгород; верные жители обрекли себя на смерть, простились с женами и детьми и единодушною вылазкою разбили осаждающих наголову; взяли Вяземского и немедленно повесили, как изменника».*

Карамзин, История Государства Российского, том 12-й.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

[11] *Олеарий говорит в своем путешествии в Россию при царе Михаиле Феодоровиче, что боярыни русские ездили верхами и в телегах, покрытых алым сукном. И хотя Успенский, в своем «Опыте повествования о древностях русских», полагает, что колымаги (экипаж, похожий на нынешние кареты, но только без рессор) употреблялись при одном дворе, но вероятно ли, чтоб русские боярыни пускались в дальние дороги верхом или в открытой телеге? И почему не предполагать, что крытые телеги с гардинками, о коих в другом месте упоминает Олеарий, не были их дорожным экипажем и не назывались также колымагами, от которых они отличались одною только простотою отделки?*

[12] *Священник села Кудинова отец Еремей, лицо не вымышленное, хотя о нем и не упоминается в летописях времени междуцарствия. Он точно был начальником русских гверилласов и замечателен потому*

уже, что священствовал девяносто семь лет сряду. Был рукоположен в иереи в 1600 году, в царствование Бориса Феодоровича Годунова, сдал свой приход сыну своему Никите Еремееву в 1697 году, в царствование императора Петра I.

[13] *Хотя Голохвастов был впоследствии подозреваем в измене и единомыслии с уличенным предателем, казначеем монастырским, Иосифом Девочкиным, но из летописи Авраамия Палицына видно, что он до конца осады оставался воеводою и разделял по-прежнему с князем Долгоруковым начальство над войском лавры; следовательно, можно полагать, что подозрение сие оказалось неосновательным.*

[14] *По словам Олеария, халдейцами назывались люди из самого низкого состояния, кои, получив дозволение от патриарха наряжаться во время святок, бегали по улицам замаскированные и с факелами в руках, делали различные буйства и беспорядки, останавливали проходящих и жгли бороды у тех, кои не хотели откупаться деньгами. Эти гаеры были у всех в величайшем презрении, и Олеарий уверяет, что будто бы их всякий раз по окончании святок, как вновь поступающих в число православных, крестили во Иордане. К сему должно присовокупить, что и в наше время в некоторых провинциях крестьяне считают должным окупывать во Иордане тех, кои о святках наряжались.*

[15] *Вот что говорит летопись о казаках, бывших в войске князя Трубецкого: «Многое раззорение христианом творяху и грабежи и убийства везде содеваху, и кто может изрещи злое то насилие их, и сия беда последняя бысть горше первыя (то есть нашествия поляков), а смирити и уняти их невозможно, собрася бо казаков сих множество и бысть мятеж сей и насилие по всей земли».*

РОСЛАВЛЕВ, ИЛИ РУССКИЕ В 1812 ГОДУ

Печатая мой второй исторический роман, я считаю долгом принести чувствительнейшую благодарность моим соотечественникам за лестный прием, сделанный ими «Юрию Милославскому». Предполагая сочинить эти два романа, я имел в виду описать русских в две достопамятные исторические эпохи, сходные меж собою, но разделенные двумя столетиями; я желал доказать, что хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, но не изменились вместе с ними: наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне. Не знаю, достиг ли я этой цели, но, во всяком случае, полагаю необходимым просить моих читателей о нижеследующем:

1. Не досадовать на меня, что я в этом современном романе не упоминаю о всех достопамятных случаях, ознаменовавших незабвенный для русских 1812 год.

2. Не забывать, что исторический роман — не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии.

3. Не требовать от меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествие; или для чего, упоминая об одном историческом лице, я не говорю ни слова о другом. И наконец:

4. Предоставляя полное право читателям обвинять меня, если мои русские не походят на современных с нами русских 1812 года, я прошу, однако же, не гневаться на меня за то, что они не все добры, умны и любезны, или наоборот: не смеяться над моим *патриотизмом,* если между моих русских найдется много умных, любезных и даже истинно просвещенных людей.

Тем, которые в русском *молчаливом офицер*е узнают историческое лицо тогдашнего времени — я признаюсь заранее в небольшом анахронизме: этот офицер действительно был, под именем флорентийского купца, в Данциге, но не в конце осады, а при начале оной.

Интрига моего романа основана на истинном происшествии — теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

«Природа в полном цвете; зеленеющие поля обещают богатую жатву. Все наслаждается жизнию. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас пред сильною летнею грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастия меня пугает!.. Недаром, говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах *невиданная звезда;* недаром горели города, селы, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все! Быть великой войне!»

Так говорит красноречивый сочинитель «*Писем русского офицера*», приступая к описанию отечественной войны 1812 года. Привыкший считать себя *видимой* судьбою народов, представителем всех сил, всего могущества Европы, император французов должен был ненавидеть Россию. Казалось, она одна еще, не отделенная ни морем, ни безлюдными пустынями от земель, ему подвластных, не трепетала его имени. Сильный любовию подданных, твердый в вере своих державных

предков, царь русский отвергал все честолюбивые предложения Наполеона; переговоры длились, и ничто, по-видимому, не нарушало еще общего спокойствия и тишины. Одни, не сомневаясь в могуществе России, смотрели на эту отдаленную грозу с равнодушием людей, уверенных, что буря промчится мимо. Другие — и, к сожалению, также русские, — трепеща пред сей воплощенной судьбою народов, желали мира, не думая о гибельных его последствиях. Кипящие мужеством юноши ожидали с нетерпением войны. Старики покачивали сомнительно головами и шепотом поговаривали о бессмертном Суворове. Но будущее скрывалось для всех под каким-то таинственным покровом. Народ не толпился еще вокруг храмов господних; еще не раздавались вопли несчастных вдов и сирот и, несмотря на турецкую войну, которая кипела в Молдавии, ничто не изменилось в шумной столице севера. Как всегда, богатые веселились, бедные работали, по Неве гремели народные русские песни, в театрах пели французские водевили, парижские модистки продолжали обирать русских барынь; словом, все шло по-прежнему. На западе России сбирались грозные тучи; но гром еще молчал.

В один прекрасный летний день, в конце мая 1812 года, часу в третьем пополудни, длинный бульвар Невского проспекта, начиная от Полицейского моста до самой Фонтанки, был усыпан народом. Как яркий цветник, пестрелись толпы прекрасных женщин, одетых по последней парижской моде. Зашитые в галуны лакеи, неся за ними их зонтики и турецкие шали, посматривали спесиво на проходящих простолюдинов, которые, пробираясь бочком по краям бульвара, смиренно уступали им дорогу. В промежутках этих разноцветных групп мелькали от времени до времени беленькие щеголеватые платьица русских швей, образовавших свой вкус во французских магазинах, и тафтяные капотцы красавиц среднего состояния, которые, пообедав у себя дома на Петербургской стороне или в Измайловском полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большим светом. Молодые и старые щеголи, в уродливых шляпах à la cendrillon *, с сучковатыми палками, обгоняли толпы гуляющих дам, заглядывали им в лицо, любезничали и отпускали поминутно ловкие

* в стиле золушки *(фр.)*.

фразы на французском языке; но лучшее украшение гуляний петербургских, блестящая гвардия царя русского была в походе, и только кой-где среди круглых шляп мелькали белые и черные султаны гвардейских офицеров; но лица их были пасмурны: они завидовали участи своих товарищей и тосковали о полках своих, которые, может быть, готовились уже драться и умереть за отечество.

В одной из боковых аллей Невского бульвара сидел на лавочке молодой человек лет двадцати пяти; он чертил задумчиво своей палочкой по песку, не обращал никакого внимания на гуляющих и не подымал головы даже и тогда, когда проходили мимо его первостепенные красавицы петербургские, влеча за собою взоры и сердца ветреной молодежи и вынуждая невольные восклицания пожилых обожателей прекрасного пола. Но зато почти ни одна дама не проходила мимо без того, чтоб явно или украдкою не бросить любопытного взгляда на этого задумчивого молодого человека. Благородная наружность, черные как смоль волосы, длинные, опущенные книзу ресницы, унылый, задумчивый вид — все придавало какую-то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Известный роман «Матильда, или Крестовые походы» сводил тогда с ума всех русских дам. Они бредили Малек-Аделем, искали его везде и, находя что-то сходное с своим *идеалом* в лице задумчивого незнакомца, глядели на него с приметным участием. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшим усам нетрудно было догадаться, что он служил в кавалерии, недавно скинул эполеты и не совсем еще отстал от некоторых военных привычек.

— Здравствуй, Рославлев! — сказал, подойдя к нему, видный молодой человек в однобортном гороховом сюртуке, с румяным лицом и голубыми, исполненными веселости глазами.— Что ты так задумался?

— А, это ты, Александр!— отвечал задумчивый незнакомец, протянув к нему ласково свою руку.

— Слава богу, что я встретил тебя на бульваре,— продолжал молодой человек.— Пойдем ходить вместе.

— Нет, Зарецкий, не хочу. Я прошел раза два, и мне так надоела эта пестрота, эта куча незнакомых лиц, эти беспрерывные французские фразы, эти...

— Ну, ну!.. захандрил! Полно, братец, пойдем!.. Вон, кажется, опять она... Точно так!.. видишь ли вот

этот лиловый капотец?.. Ах, mon cher *, как хороша!.. прелесть!.. Что за глаза!.. какая-то приезжая из Москвы... А ножка, ножка!.. Да пойдем скорее.

— Повеса! когда ты остепенишься?.. Подумай, ведь тебе скоро тридцать.

— Так что ж, сударь?.. Не прикажете ли мне, потому что я несколькими годами вас старее, не сметь любоваться ничем прекрасным?

— Да ты только что любуешься; а тебе бы пора перестать любоваться всеми женщинами, а полюбить одну.

— И смотреть таким же сентябрем, как ты? Нет, душенька, спасибо!.. У меня вовсе нет охоты сидеть повесив нос, когда я чувствую, что могу еще быть веселым и счастливым...

— Но кто тебе сказал, что я несчастлив? — перервал с улыбкою Рославлев.

— Кто?.. да на что ты походишь с тех пор, как съездил в деревню, влюбился, помолвил и собрался жениться? И, братец! черт ли в этом счастии, которое сделало тебя из веселого малого каким-то сентиментальным меланхоликом.

— Так ты находишь, что я в самом деле переменился?

— Удивительно!.. Помнишь ли, как мы воспитывались с тобою в Московском университетском пансионе?..

— Как не помнить! Ты почти всегда был последним в классах.

— А ты первым в шалостях. Никогда не забуду, как однажды ты вздумал передразнить одного из наших учителей, вскарабкался на кафедру и начал: «Мы говорили до сего о вавилонском столпотворении, государи мои; теперь, с позволения сказать, обратимся к основанию Ассирийской империи».

— Ах, мой друг! — перервал Рославлев,— тогда нас все забавляло!

— Да меня и теперь забавляет,— продолжал Зарецкий.— Вольно ж тебе видеть все под каким-то черным крепом.

— Ты, верно, бы этого не сказал, Александр, если б увидел меня вместе с моею Полиною. А впрочем, нет, что толку! ты и тогда не понял бы моего счастия,— чув-

* мой дорогой (*фр.*).

ство, которое делает меня блаженнейшим человеком в мире, быть может, показалось бы тебе смешным. Да, мой друг! не прогневайся! оно недоступно для людей с твоим характером.

— Покорно благодарю!.. То есть: я не способен любить, я человек бездушный... Не правда ли?.. Но дело не о том. Ты тоскуешь о своей Полине. Кто ж тебе мешает лететь в ее страстные объятия?.. Уж выпускают ли тебя из Петербурга? Не задолжал ли ты, степенный человек?.. Меня этак однажды продержали недельки две лишних в Москве... Послушай! если тебе надобно тысячи две, три...

— Нет, мой друг! мне деньги не нужны.

— Так о чем же ты грустишь?

— Но разве ты полагаешь, что влюбленный человек не думает ни о чем другом, кроме любви своей? Нет, Зарецкий! Прежде, чем я влюбился, я был уже русским...

— Так что ж?

— Как, мой друг? А буря, которая сбирается над нашим отечеством!

— И, милый! это дождевая туча: проглянет солнышко — и ее как не бывало.

— Чтоб угодить будущей моей теще, я вышел в отставку; а может быть, скоро вспыхнет ужасная война, может быть, вся Европа...

— Пожалует к нам в гости? Пустое, mon cher! Поговорят, поговорят между собою, постращают друг друга, да тем и дело кончится.

— Ты думаешь?

— Россия не Италия, мой друг! И далеко и холодно; да и народ-то постоит за себя. Не беспокойся, Наполеон умен; поверь, он знает, что мы народ непросвещенный, северные варвары и терпеть не можем незваных гостей. А признаюсь, мне почти досадно, что дело обойдется без ссоры. L'homme du Destin * и его *великая нация* так зазнались, что способа нет. Вот, посмотри! Видишь ли этих двух господчиков? Это лавочники из одного французского магазина. Посмотри, как важно они поглядывают на всех с высоты своего величия... Тьфу, черт возьми! Ни дать ни взять французские маршалы!.. А! вот опять лиловый капотец... Послушай: если ты не хочешь гулять, так я... Ах, боже мой! она

* Избранник судьбы *(фр.)*.

сходит с бульвара... села в карету... Эх, mon cher! как досадно, что я с тобой заболтался... Ну, делать нечего... Да, кстати!.. где ты сегодня обедаешь?

— Я хотел ехать к Радугиной.

— И полно, не езди; обедай со мною.

— Нельзя: мне надобно с ней проститься.

— А когда ты едешь отсюда?

— Завтра непременно.

— Ну, вот изволишь видеть! Когда мы с тобой увидимся? Пожалуйста, mon cher, обедаем вместе. Ты можешь ехать к Радугиной вечером.

— Эх, Александр! Если б ты знал, как мне неприятно бывать по вечерам у Радугиной! Вечером, почти всякий раз, я встречаю у нее кого-нибудь из чиновников французского посольства, а это для меня нож вострый! Уж это не лавочники из французского магазина; послушал бы ты, как они поговаривают о России!.. Несколько раз я ошибался и думал, что дело идет не об отечестве нашем, а о какой-нибудь французской провинции. Ну, поверишь ли? Вот так кровь и кипит в жилах — терпенья нет! А хозяйка... Боже мой!.. Только что не крестится при имени Наполеона. Клянусь честию, если б не родственные связи, то нога бы моя не была в ее доме.

— И ты сердишься? Да от этого надобно умереть со смеху. Вот то-то и беда, ты не умеешь ничем забавляться. Если б я был на твоем месте, то подсел бы к какому-нибудь советнику посольства, стал бы ему подличать и преуниженно попросил бы наконец поместить меня при первой вакансии супрефектом в Тобольск или Иркутск. Он бы стал ломаться, и я сделал бы из него настоящего Жокриса!.. А, кстати!.. Вчера Талон * был как ангел в этой роли... Ты видел когда-нибудь французский водевиль «Отчаянье Жокриса»?

— Нет! я езжу только в русский театр.

— Да бишь виноват! Ты любишь чувствительные драмы. Ну, что ж? обедаем ли мы вместе?

— Если ты непременно хочешь...

— Послушай, мой милый, я не приглашаю тебя к себе: ты знаешь, у меня нет и повара. Мы отобедаем в ресторации.

— У Жискара?

---

* Комический актер тогдашней французской труппы в С.-Петербурге.

— И, нет, mon cher! Надобно разнообразить свои удовольствия. У Жискара и Тардифа мы увидим всё знакомые лица. Одно да одно — это скучно. Знаешь ли что? Обедаем сегодня у Френзеля?

— По мне все равно, где хочешь. А что это за Френзель?

— Это ресторация, в которой платят за обед по рублю с человека. Там увидим мы презабавные физиономии: прегордых писцов из министерских департаментов, глубокомысленных политиков в изорванных сюртуках, художников без работы, учителей без мест, а иногда и журналистов без подписчиков. Что за разговоры мы услышим! Все обедают за общим столом; должность официантов отправляют две толстые служанки и, когда гости откушают суп, у всех, без исключения, отбирают серебряные ложки. Умора, да и только!

— Что же тут смешного? Это обидно.

— И полно, mon cher! Представь себе, что и у нас так же отберут ложки — для того, чтоб мы ошибкою не положили их в карман. Разве это не забавно? Ну право, я иногда очень люблю эту милую простоту. Однажды в Москве мне вздумалось, из шалости, пообедать с Ленским в одном русском трактире, и когда я спросил, что возьмут с нас двоих за обед, то трактирщик отвечал мне преважно: «По тридцати копеек с рыла!» С *рыла!!* Мы оба с Ленским чуть не умерли со смеху. Пойдем к Френзелю, мой милый. Не вечно же быть в хорошем обществе; надобно иногда потолкаться и в народе.

— Что с тобою делать, повеса! — сказал Рославлев, вставая с скамьи.— Пойдем в твою рублевую ресторацию.

ГЛАВА II

Не доходя до Казанского моста, Зарецкий сошел с бульвара и, пройдя несколько шагов вдоль левой стороны улицы, повел за собою Рославлева, по крутой лестнице, во второй этаж довольно опрятного дома. В передней сидел за дубовым прилавком толстый немец. Они отдали ему свои шляпы.

— Видишь ли,— сказал Зарецкий, входя с приятелем своим в первую комнату,— как здесь все обдумано? Ну как уйдешь, не заплатя за обед? Ведь шляпа-то стоит дороже рубля.

В первой комнате человек пожилых лет, в синем поношенном фраке, разговаривал с двумя молодыми людьми, которые слушали его с большим вниманием.

— Да, милостивые государи! — говорил важным голосом синий фрак,— поверьте мне, старику; я делал по сему предмету различные опыты и долгом считаю сообщить вам, что принятый способ натирать по скобленому месту сандараком — есть самый удобнейший: никогда не расплывется. Я сегодня в настольном регистре целую строку выскоблил и смею вас уверить, что самый зоркий столоначальник не заметит никак этой поскобки. Все другие способы, как-то: насаленная бумажка, натирание сукном, лощение ногтем и прочие мелкие средства никуда не годятся.

— Это канцелярские чиновники! — сказал Зарецкий.— Их разговоры вообще очень поучительны, но совсем не забавны. Пойдем в залу; там что-то громко разговаривают.

В зале, во всю длину которой был накрыт узкий стол, человек двадцать, разделясь на разные группы, разговаривали между собою. В одном углу с полдюжины студентов Педагогического института толковали о последней лекции профессора словесных наук; в другом — учитель-француз рассуждал с дядькою-немцем о трудностях их звания; у окна стоял, оборотясь ко всем спиною, офицер в мундирном сюртуке с черным воротником. С первого взгляда можно было подумать, что он смотрел на гуляющих по бульвару; но стоило только заглянуть ему в лицо, чтоб увериться в противном. Глаза его, устремленные на противоположную сторону улицы, выражали глубокую задумчивость; он постукивал машинально по стеклам пальцами, выбивал тревогу, сбор, разные марши и как будто бы не видел и не слышал ничего. Этот молчаливый офицер был среднего роста, белокур, круглолиц и вообще приятной наружности; но что-то дикое, бесчувственное и даже нечеловеческое изображалось в серых глазах его. Казалось, ни радость, ни горе не могли одушевить этот неподвижный, равнодушный взор; и только изредка улыбка, выражающая какое-то холодное презрение, появлялась на устах его.

В двух шагах от него краснощекий, с багровым носом толстяк разговаривал с худощавым стариком. Зарецкий и Рославлев сели подле них.

— Нет, почтеннейший! — говорил старик, покачивая головою, — воля ваша, я не согласен с вами. Ну рассудите милостиво: здесь берут по рублю с персоны и подают только по четыре блюда; а в ресторации «Мыс Доброй Надежды»...

— Так, батюшка! — перервал толстый господин, — что правда, то правда! Там подают пять блюд, а берут только по семидесяти пяти копеек с человека. Так-с! Но позвольте доложить: блюда блюдам розь. Конечно, пять блюд — больше четырех; да не в счете дело: блюдца-то, сударь, там больно незатейливые.

— Кто и говорит, батюшка! Конечно, стол не ахти мне; но не погневайтесь: я и в здешнем обеде большого деликатеса не вижу. Нет, воля ваша! Френзель зазнался. Разве не замечаете, что у него с каждым днем становится меньше посетителей? Вот, например, Степан Кондратьевич: я уж его недели две не вижу.

— В самом деле, — подхватил толстяк, — он давно здесь не обедал. А знаете ли, что без него скучно? Что за краснобай!.. как начнет рассказывать, так есть что послушать: гусли, да и только! А новостей-то всегда принесет, новостей — господи боже мой!.. Ну что твои газеты... Э! да как легок на помине!.. вот и он! Здравствуйте, батюшка Степан Кондратьевич! — продолжал толстый господин, обращаясь к входящему человеку средних лет, в кофейном фраке и зеленых очках, который выступал, прихрамывая и опираясь на лакированную трость с костяным набалдашником.

Появление этого нового гостя, казалось, произвело на многих сильное впечатление, которое удвоилось при первом взгляде на его таинственную и нахмуренную физиономию. Поклонясь с рассеянным видом на все четыре стороны, он сел молча на стул, нахмурился еще более, наморщил лоб и, посвистывая себе под нос, начал преважно протирать свои зеленые очки. В одну минуту прекратились почти все отдельные разговоры. Учитель-француз, дядька-немец, студенты и большая часть других гостей столпились вокруг Степана Кондратьевича, который, устремив глаза в потолок, продолжал протирать очки и посвистывать весьма значительным образом. Один только молчаливый офицер, казалось, не заметил этого общего движения и продолжал по-прежнему смотреть в окно.

— Ну что, почтеннейший! — сказал толстый господин, — что скажете нам новенького?

— Что новенького?..— повторил Степан Кондратьевич, надевая свои очки.— Гм, гм!.. что новенького?.. И старенького довольно, государь мой!

— Так-с!.. да старое-то мы знаем; не слышно ли чего-нибудь поновее?

— Поновее?.. Гм, гм! Мало ли что болтают, всего не переслушаешь; да и не наше дело, батюшка!.. Вот, изволите видеть, рассказывают, будто бы турки... куда бойко стали драться.

— Право!

— Говорят так, а впрочем, не наше дело. Слух также идет, что будто б нас... то есть их побили под Бухарестом. Тысяч тридцать наших легло.

— Как? — вскричал Рославлев,— большая часть молдавской армии?

— Видно, что так. Ведь нашего войска и сорока тысяч там не было.

— Извините! В молдавской армии пятьдесят тысяч под ружьем.

Степан Кондратьевич взглянул с насмешливой улыбкою на Рославлева и повторил сквозь зубы:

— Под ружьем!.. гм, гм!.. Может быть; вы, верно, лучше моего это знаете; да не о том дело. Я вам передаю то, что слышал: наших легло тридцать тысяч, а много ли осталось, об этом мне не сказывали.

— Однако мы все-таки выиграли сражение? — спросил худощавый старик.

— Разумеется. Когда ж мы проигрываем, батюшка? Мы, изволите видеть, государь мой, всегда побиваем других; а нас — боже сохрани! — нас никто не бьет!

— Тридцать тысяч! — повторил краснощекий толстяк.— Проклятые турки! А не известно ли вам, как происходило сражение?

— Да, смею доложить,— сказал важным тоном Степан Кондратьевич,— я вам могу сообщить все подробности. Позвольте: видите ли на половице этот сучок?.. Представьте себе, что это Бухарест.

— Так-с!

— Ну вот, изволите видеть,— продолжал Степан Кондратьевич, проводя по полу черту своей тростию,— вот тут стояло наше войско.

— Так-с, батюшка, то есть здесь, по левую сторону сучка?

— Именно; а на этой стороне расположен был турецкий лагерь. Вот, сударь, в сумерки или перед рас-

светом — не могу вам сказать наверное — только втихомолку турки двинулись вперед.

— Так-с!

— Выстроили против нашего центра маскированную батарею в двести пушек.

— В двести пушек?.. Так-с, батюшка, так-с...

— Надобно вам сказать, что у них теперь артиллерия отличная: тяжелая действует скорее нашей конной, а конная не по-нашему, государь мой! вся на верблюдах. Изволите видеть, как умно придумано?..

— Так-с, так-с!

— Ну вот, сударь, наши и думать не думают, как вдруг, батюшка, они грянут изо всех пушек! Пошла потеха. И пехота, и конница, и артиллерия, и господи боже мой!.. Вот янычары заехали с флангу: алла! — да со всех четырех ног на нашу кавалерию.

— Позвольте! — перервал один из студентов.— Янычары не конное, а пехотное войско.

— Эх, сударь! То прежние янычары, а это нынешние.

— Конечно, конечно! — подхватил толстяк,— у них все по-новому. Ну, сударь! Янычары ударили на нашу кавалерию?..

— Да, батюшка; что делать? Пехота не подоспела, а уж известное дело: против их конницы — наша пас...

— Так-с, так-с!

— Главнокомандующий генерал Кутузов, видя, что дело идет худо, выехал сам на коне и закричал: «Ребята, не выдавай!» Наши солдаты ободрились, в штыки, началась резня — и турок попятили назад.

— Слава богу!..— вскричал худощавый старик.

— Постойте, постойте! — продолжал Степан Кондратьевич.— Этим дело не кончилось. Все наше войско двинулось вперед, конница бросилась на неприятельскую пехоту, и что ж?.. Как бы вы думали?.. Турки построились в каре!.. Слышите ли, батюшка? в каре!.. Что, сударь, когда это бывало?

— Так-с, так-с! Умны стали, проклятые!

— Вот, наши туда, сюда, и справа, и слева — нет, сударь! Турки стоят и дерутся, как на маневрах!.. Подошли наши резервы, к ним также подоспел секурс, и, как слышно, сражение продолжалось беспрерывно четверо суток; на пятые...

— Верно, всем захотелось поесть? — перервал Зарецкий.

— Поесть? Нет, сударь, не пойдет еда на ум, когда с нашей стороны,— как я уже имел честь вам докладывать,— легло тридцать тысяч и не осталось ни одного генерала: кто без руки, кто без ноги. А главнокомандующего,— прибавил Степан Кондратьевич вполголоса,— перешибло пополам ядром, вместе с лошадью.

— Гер Езус!.. * — вскричал немец-дядька,— вместе с лошадью!

— Diable! C'est un fier coup de canon! ** — примолвил учитель-француз.

— Господи боже мой! — сказал худощавый старик,— какие потери! Легко вымолвить — все генералы! тридцать тысяч рядовых! Да ведь это целая армия!

— Конечно, целая армия,— повторил Степан Кондратьевич.— В старину Суворов и с двадцатью тысячами бивал по сту тысяч турок. Да то был Суворов! Когда под Кагулом он разбил визиря...

— Не он, а Румянцев,— перервал Рославлев.

— И, сударь! Румянцев, Суворов — все едино: не тот, так другой; дело в том, что тогда умели бить и турок и поляков. Конечно, мы и теперь пожаловаться не можем,— у нас есть и генералы и генерал-аншефы... гм, гм!.. Впрочем, и то сказать, нынешние турки не прежние — что грех таить! Учители-то у них хороши! — примолвил рассказчик, взглянув значительно на французского учителя, который улыбнулся и гордо поправил свой галстук.

— Говорят,— продолжал Степан Кондратьевич,— что у турецкого султана вся гвардия набрана из французов, так дивиться нечему, если нас... то есть если мы теряем много людей. Слышно также, что будто бы султан не больно подается на мировую и требует от нас Одессы... Конечно, не наше дело... а жаль... город торговый... портовый... и чего нам стоила эта скороспелка Одесса! Сколько посажено в нее денег!.. Да делать нечего! Как не под силу придет барахтаться, так вспомнишь поневоле русскую пословицу: худой мир лучше доброй брани.

Тут молчаливый офицер медленно повернулся и, взглянув пристально на рассказчика, сказал:

— Под Бухарестом не было сражения; не мы, а турки просят мира. Французы служат своему импера-

* Господи Исусе!.. *(нем.)*
** Черт! Вот славный пушечный выстрел! *(фр.)*

тору, а не турецкому султану, и одни подлецы предпочитают постыдный мир необходимой войне.

Все взоры обратились на незнакомого офицера. Степан Кондратьевич хотел что-то сказать, заикнулся, выронил из руки трость, нагнулся ее поднимать и сронил с носа свои зеленые очки. Студенты засмеялись, и почти в то же время одна из служанок, внеся в залу огромную миску с супом, объявила, что кушанье готово. Все сели за стол. Против Зарецкого и Рославлева, между худощавым стариком и толстым господином, поместился присмиревший Степан Кондратьевич; прочие гости расселись также рядом, один подле другого, выключая офицера: он сел поодаль от других на конце стола, за которым оставалось еще много порожних мест. Проворные служанки в одну минуту разнесли тарелки с супом. Наступила глубокая тишина, и только изредка восклицания: бутылку пива!.. кислых щей!.. белого хлеба!..— прерывали общее молчание.

— Душенька! — сказал Зарецкий одной из служанок,— бутылку шампанского.

При сем необычайном требовании все головы, опущенные книзу, приподнялись; у многих ложки выпали из рук от удивления, а служанка остолбенела и, перебирая одной рукой свой фартук, повторила почти с ужасом:

— Бутылку шампанского!

— Да, душенька.

— Настоящего шампанского?

— Да, душенька.

— То есть французского, сударь?

— Да, душенька.

Служанка вышла вон и через минуту, воротясь назад, сказала, что вино сейчас подадут.

— Ведь оно стоит восемь рублей, сударь! — прибавила она, поглядывая недоверчиво на Зарецкого.

— Знаю, миленькая.

Если б Зарецкий был хорошим физиономистом, то без труда бы заметил, что, выключая офицера, все гости смотрели на него с каким-то невольным почтением. Толстый господин, который только что успел прегордо и громогласно прокричать: «Бутылку сантуринского!» — вдруг притих и почти шепотом повторил свое требование. В ту минуту, как Зарецкий, дождавшись наконец шампанского, за которым хозяин бегал в бли-

жайший погреб, наливал первый бокал, чтоб выпить за здоровье невесты своего приятеля,— вошел в залу мужчина высокого роста, с огромными черными бакенбардами, в щеголеватом однобортном сюртуке, в одной петлице которого была продета ленточка яркого пунцового цвета. Лицо его было бы довольно приятно, если б не выражало какую-то дерзкую самонадеянность, какое-то бесстыдное наянство, которые при первом взгляде возбуждали в каждом невольное негодование. Вопреки принятому в сей ресторации обычаю, он вошел в столовую, не снимая шляпы, бросил ее на окно и, не удостоивая никого взглядом, сел за стол подле Рославлева. Подозвав одну из служанок, он сказал, что не хочет ничего есть, кроме жаркого, и велел себе подать бутылку шатолафиту. По иностранному его выговору и по самой физиономии не трудно было отгадать, что он француз.

При появлении этого нового лица легкий румянец заиграл на щеках молчаливого офицера; он устремил на француза свой бесчувственный, леденелый взор, и едва заметная, но исполненная неприязни и глубокого презрения улыбка одушевила на минуту его равнодушную и неподвижную физиономию.

— Жареные рябчики! — вскричал толстый господин, провожая жадным взором служанку, которая на большом блюде начала разносить жаркое.— Ну вот, почтеннейший,— продолжал он, обращаясь к худощавому старику,— не говорил ли я вам, что блюда блюдам рознь. В «Мысе Доброй Надежды» и пять блюд, но подают ли там за общим столом вот это? — примолвил он, подхватя на вилку жареного рябчика.

— Что правда, то правда,— отвечал старик, принимаясь за свою порцию.— Там из жареной телятины шагу не выступят.

Чрез несколько минут обед кончился. Офицер закурил сигарку и сел опять возле окна; Степан Кондратьевич, поглядывая на него исподлобья, вышел в другую комнату; студенты остались в столовой; а Зарецкий, предложив бокал шампанского французу, который, в свою очередь, потчевал его лафитом, завел с ним разговор о политике.

— Я слышал,— сказал Зарецкий,— что ваши дела не так-то хорошо идут в Испании?

Француз улыбнулся.

— Не потому ли вы это думаете,— отвечал он,—

что Веллингтону удалось взять обманом Бадаиос? Не беспокойтесь, он дорого за это заплатит.

— Однако ж, верно, не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу,— возразил Рославлев.

— Я советую вам спросить об этом у сарагосских жителей,— отвечал француз, бросив гордый взгляд на Рославлева.— Впрочем,— продолжал он,— я не знаю, почему называют войною простую экзекуцию, посланную в Испанию для усмирения бунтовщиков, которых, к стыду всех просвещенных народов, английское правительство поддерживает единственно из своих торговых видов?

— Бунтовщиков! — сказал Рославлев.— Но мне кажется, что законный их государь...

— Иосиф, брат императора французов,— по крайней мере до тех пор, пока Испания не названа еще французской провинциею.

— Я не думаю,— возразил Зарецкий,— чтобы Европа согласилась признать это древнее государство французской провинциею.

— Европа! — повторил с презрительной улыбкою француз.— А знаете ли, в каком тесном кругу заключается теперь ваша Европа?.. Это небольшое местечко недалеко от Парижа; его называют Сен-Клу.

— Как, сударь! и вы думаете, что все европейские государи...

— Да, мы, французы, привыкли звать их всех одним общим именем: Наполеон. Это гораздо короче.

Лицо Рославлева покрылось ярким румянцем; он хотел что-то сказать, но Зарецкий предупредил его.

— Итак, вы полагаете,— сказал он французу,— что воля Наполеона должна быть законом для всей Европы?

— Этот вопрос давно уже решен,— отвечал француз.

— Однако ж если вы считаете Англию в числе европейских государств, то кажется... но, впрочем, может быть, и англичане также бунтуют? Только, я думаю, вам трудно будет послать к ним экзекуцию: для этого нужен флот; а по милости бунтовщиков англичан у вас не осталось ни одной лодки.

— Англия! — вскричал француз.— Да что такое Англия? И можно ли назвать европейским государством этот ничтожный остров, населенный торгашами? Этот христианский Алжир, который скоро не будет иметь

никакого сообщения с Европою. Нет, милостивый государь! Англия не в Европе: она в Азии; но и там владычество ее скоро прекратится. Индия ждет своего освободителя, и при первом появлении французских орлов на берегах Гангеса раздастся клик свободы на всем Индийском полуострове.

— Но Россия,— сказал Рославлев,— Россия, сударь?

— О! Россия, верно, не захочет ссориться с Наполеоном. Не трогая нимало вашей национальной гордости, можно сказать утвердительно, что всякая борьба России с Франциею была бы совершенным безумием.

— В самом деле? — перервал Зарецкий.— Ну, а если мы, на беду, сойдем с ума и вздумаем с вами поссориться?

— От всей души желаю,— сказал француз,— чтоб этого не было; но если, к несчастию, ваше правительство, ослепленное минутным фанатизмом некоторых беспокойных людей или обманутое происками британского кабинета, решится восстать против колосса Франции, то...

— Ну, сударь! Что ж тогда с нами будет? — спросил, улыбаясь, Зарецкий.

— Что будет? Забавный вопрос! Кажется, не нужно быть пророком, чтоб отгадать последствия этого необдуманного поступка. Я спрашиваю вас самих: что останется от России, если Польша, Швеция, Турция и Персия возьмут назад свои области, если все портовые города займутся нашими войсками, если...

— Вы забыли,— вскричал Рославлев, вскочив со своего места,— что в России останутся русские; что тридцать миллионов русского народа, говорящих одним языком, исповедающих одну веру, могут легко истребить многочисленные войска вашего Наполеона, составленные из всех народов Европы!

— Помилуйте! да что такое народ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значит ничего в военном отношении; и боже вас сохрани от народной войны! Наполеон умеет быть великодушным победителем; но горе той земле, где народ мешается не в свое дело! Половина Испании покрыта пеплом; та же участь может постигнуть и ваше отечество. Солдат выполняет свою обязанность, когда дерется с неприятелем, но мирный гражданин должен оставаться дома. В противном случае он

разбойник, бунтовщик и не заслуживает никакой пощады.

— Разбойник! — повторил Рославлев прерывающимся от нетерпения и досады голосом.— И вы смеете называть разбойником того, кто защищает своего государя, отечество, свою семью...

— Что ж вы горячитесь? — перервал француз.— Я не мешаю вам хвалить образ войны, приличный одним варварам и отвратительный для каждого просвещенного человека; но позвольте и мне также остаться при моем мнении. Я повторяю вам, что народная война не спасла б России, а ускорила б ее погибель. Мы, французы, любим пожить весело, сыплем деньгами, мы щедры, великодушны, и там, где нас принимают с ласкою, никто не пожалуется на бедность, но если мы вынуждены употреблять меры строгости, то целые государства исчезают при нашем появлении. Впрочем, все то, что мы говорили, одно только предположение, и хотя мнение мое основано на здравом смысле...

— И еще на кой-чем другом,— прибавил молчаливый офицер, подойдя к французу.— Позвольте спросить,— продолжал он спокойным голосом,— дорого ли вам платят за то, чтоб проповедовать везде безусловную покорность к вашему великому Наполеону?

— Что это значит? — спросил француз, вставая с своего стула.

— И надобно вам отдать справедливость,— продолжал офицер,— вы исполняете вашу не слишком завидную должность во всех рублевых трактирах с таким же похвальным усердием, с каким исполняют ее другие в гостиных комнатах хорошего общества.

— Государь мой! я вас не понимаю.

— А кажется, очень понятно. Я вас давно уже знаю, вы мне надоели. Скажите, зачем у вас в петлице эта ленточка? Орден Почетного легиона прилично носить храбрым французским воинам, а вы...

Тут офицер сказал что-то на ухо французу.

— Как вы смеете? — вскричал он, отступив два шага назад.

— Извините! На нашем варварском языке этому ремеслу нет другого названия. Впрочем, господин... как бы сказатьповежливее, господин агент, если вам это не нравится, то... не угодно ли сюда к сторонке: нам этак ловчее будет познакомиться.

— Да, сударь, я хочу, я требую!..

— Тише, не шумите, а не то я подумаю, что вы трус и хотите отделаться одним криком. Послушайте!..

Он взял за руку француза и, отойдя к окну, сказал ему вполголоса несколько слов. На лице офицера не заметно было ни малейшей перемены; можно было подумать, что он разговаривает с знакомым человеком о хорошей погоде или дожде. Но пылающие щеки защитника европейского образа войны, его беспокойный, хотя гордый и решительный вид — все доказывало, что дело идет о назначении места и времени для объяснения, в котором красноречивые фразы и логика ни к чему не служат.

— Вот как трудно быть уверену в будущем,— сказал Рославлев, выходя с своим приятелем из трактира.— Думал ли этот офицер, что он встретит в рублевой ресторации человека, с которым, может быть, завтра должен резаться.

— И полно, mon cher! дело обойдется без кровопролития. Если бы каждая трактирная ссора кончалась поединком, то давно бы все рестораторы померли с голода. И кто дерется за политические мнения?

— Но если это мнение обижает целую нацию?

— Да разве нация человек? Разве ее можно обидеть? Французы и до сих пор не признают нас за европейцев и за нашу хлеб-соль величают варварами; а отечество наше, в котором соединены климаты всей Европы, называют землею белых медведей и, что всего досаднее, говорят и печатают, что наши дамы пьют водку и любят, чтобы мужья их били. Так что ж, сударь! не прикажете ли за это вызывать на дуэль каждого парижского лоскутника, который из насущного хлеба пишет и печатает свои бредни? Да бог с ними, на здоровье! Пускай себе врут, что им угодно. Мы от их слов татарами не сделаемся; в Крыму не будет холодно; мужья не станут бить своих жен, и, верно, наши дамы, в угодность французским вояжерам, не разрешат на водку, которую, впрочем, мы могли бы называть ликером, точно так же, как называется ресторациею харчевня, в которой мы обедали.

Походя несколько времени по опустевшему бульвару, наши молодые друзья расстались. Зарецкий обещал чем свет приехать проститься с Рославлевым, который спешил домой, чтоб отдохнуть и, переодевшись, отправиться на вечер к княгине Радугиной.

ГЛАВА III

В девятом часу вечера карета Рославлева остановилась в Большой Миллионной у подъезда дома, принадлежащего княгине Радугиной. Входя в переднюю, Рославлев, с приметным неудовольствием, заметил в числе слуг богато одетого егеря, который, развалясь на стуле, играл своей треугольной шляпою с зеленым султаном и поглядывал свысока на других лакеев, сидевших от него в почтенной дистанции и вполголоса разговаривавших меж собою. Пройдя приемную и две гостиные комнаты, он встречен был официантом, который, растворя дверь в роскошную диванную, доложил о нем громогласно хозяйке дома.

Родственница Рославлева, богатая вдова, княгиня Радугина, могла служить образцом хорошего тона (к счастию) тогдашнего времени. Она говорила по-русски дурно, по-французски прекрасно, умирала с тоски, живя в Петербурге, презирала все русское, жила два года в Париже, два месяца в Лозанне и третий уже год сбиралась ехать в Италию. Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россия и Лапландия почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколком с других наций, а особливо с французской, для того чтоб быть чем-нибудь; что нам не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своим языком, носить изделье своих фабрик, иметь свою словесность и жить по-своему. Бедная Радугина в простоте души своей была уверена, что высочайшая степень просвещения, до которой Россия могла достигнуть, состояла в совершенном отсутствии оригинальности, собственного характера и национальной физиономии; одним словом: заслужить название обезьян Европы — была, по мнению ее, одна возможная и достижимая цель для нас, несчастных северных варваров. Ее всегдашнее общество составлялось предпочтительно из чиновников французского посольства и из нескольких русских молодых литераторов, которые вслух называли ее Коринною, потому что она писала иногда французские стишки, а потихоньку смеялись над ней вместе с французами, которые, в свою очередь, насмехались и над ней, и над ними, и над всем, что казалось им забавным и смешным в этом доме, в котором, по словам их, каждый день разыгрывались презабавные пародии европейского просвещения.

Княгиня Радугина была некогда хороша собою; но беспрестанные праздники, балы, ночи, проведенные без сна,— словом, все, что сокращает век наших модных дам, не оставило на лице ее и признаков прежней красоты, несмотря на то, что некогда кричали о ней даже и в Москве:

...которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна.

Одни исполненные томности черные глаза ее напоминали еще об этом давно прошедшем времени и дозволяли иногда молодым поэтам в миленьких французских стишках, по большой части выкраденных из конфектной лавки Молинари, сравнивать ее по уму с одною из муз, а по красоте — со всеми тремя грациями.

Комната, в которой Рославлев нашел хозяйку дома, освещалася несколькими восковыми свечами, поставленными в прозрачных фарфоровых вазах, и ярким огнем, пылающим в прекрасном мраморном камине. На круглом столе из карельской березы стоял серебряный чайный прибор; перед ним на диване, покрытом богатой турецкой материею, сидела княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канве подушку, украшенную изображением Азора, любимой ее моськи, которая, по своему отвратительному безобразию, могла назваться совершенством в своем роде. Возле окна, закинув назад голову, сидел на модной *козетке* один из домашних ее поэтов; глаза его, устремленные кверху, искали на расписном плафоне комнаты вдохновения и четвертой рифмы к экспромту, заготовляемому на всякий случай. У камина какой-то худощавый французский путешественник поил с блюдечка простывшим чаем толстого Азора, а подле дивана один из главных чиновников французского дипломатического корпуса, развалясь в огромных волтеровских креслах, разговаривал с хозяйкою.

— А, здравствуйте, mon cousin! * — сказала Радугина, разумеется по-французски, кивнув приветливо головою входящему Рославлеву.— Не хотите ли чаю?

— Нет, княгиня, я не пью чаю после обеда,— отвечал Рославлев, садясь на один из порожних стульев.

— Я вас целый век не видала. Уж не прощаться ли вы приехали со мною?

---

* мой кузен! *(фр.)*

— Вы отгадали. Я завтра еду.

— За границу?

— Извините! в Москву, а потом в деревню.

— В деревню! Ах, как вы мне жалки!.. Азор! viens ici, mon ami!.. * Он вас беспокоит, monsieur le comte? **

— О нет! напротив, княгиня! — отвечал путешественник.— Il est charmant ***. Пей, мой друг, пей!

— Итак, вы едете завтра, mon cousin? Когда же вы воротитесь?

— Не знаю; но, верно, не прежде моей свадьбы.

— Ах, боже мой! представьте себе, какая дистракция! Я совсем забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы едете к вашей невесте. О, это другое дело! Вам будет весело и в Москве, и в деревне, и на краю света. L'amour embelit tout ****.

— Жаль только,— перервал путешественник,— что любовь не греет у вас в России: это было бы очень кстати. Скажите, княгиня, бывает ли у вас когда-нибудь тепло? Боже мой! — прибавил он, подвигаясь к камину,— в мае месяце! Quel pays! *****

— Что ж делать, граф! — сказала с глубоким вздохом хозяйка.— Никто не выбирает себе отечества!

— Да, сударыня! — подхватил дипломат.— Если б этот выбор зависел от нас, то, верно, в России было б еще просторнее, а во Франции так тесно, как в Большой парижской опере, когда давали в первый раз «Торжество Траяна»!

— И когда сам Траян присутствовал при своем торжестве,— прибавил путешественник.

— Скажите, mon cousin,— сказала Радугина,— ведь вы женитесь на Лидиной?

— Да, княгиня.

— На той самой, которая прошлого года была в Париже?

— То есть на ее дочери.

— Надеюсь, на старшей?

— Да, княгиня, на старшей.

— Ее, кажется, зовут Полиною? Charmante person-

---

* иди сюда, мой дружок!.. *(фр.)*
** господин граф? *(фр.)*
*** Он очарователен! *(фр.)*
**** Любовь все украшает! *(фр.)*
***** Что за страна! *(фр.)*

ne!..* О чем мы с вами говорили, барон? — продолжала Радугина.— Ах, да!.. Знаете ли, mon cousin! что вы очень кстати приехали? Мне нужна ваша помощь. Представьте себе! Monsieur le baron ** уверяет меня, что мы должны желать, чтоб Наполеон пришел к нам в Россию. Боже мой! как это страшно! Скажите, неужели мы в самом деле должны желать этого?

Рославлев едва усидел на стуле.

— Как, сударыня! — вскричал он...

— Да, да! Он мне это почти доказал.

— Pardon, princesse! *** — сказал хладнокровно дипломат,— вы не совсем меня поняли. Я не говорю, что русские должны положительно желать прихода наших войск в их отечество; я объяснял только вам, что если силою обстоятельств Россия сделается поприщем новых побед нашего императора и русские будут иметь благоразумие удержаться от народной войны, то последствия этой кампании могут быть очень полезны и выгодны для вашей нации.

— Извините, барон, мое невежество,— сказал Рославлев,— я, право, не понимаю...

— Не понимаете? Так спросите об этом у голландцев, у всего Рейнского союза; поезжайте в Швейцарию, в Италию; взгляните на утесистые, непроходимые горы, некогда приводившие в отчаяние несчастных путешественников, а теперь прорезанные широкими дорогами, по которым вы можете, княгиня, прогуливаться в своем ландо спокойнее, чем по Невскому проспекту; спросите в Террачине и Неаполе: куда девались бесчисленные шайки бандитов, от которых не было проезда в Южной Италии; сравните нынешнее просвещение Европы с прежними предрассудками и невежеством — и после этого не понимайте, если хотите, какие бесчисленные выгоды влечет за собою присутствие этого гения, колоссального, как мир, и неизбежного, как судьба.

— Прекрасное сравнение! — воскликнул молодой поэт.— Какое у вас цветущее воображение, барон!

— Неизбежный, как судьба!..— повторила почти набожным голосом хозяйка дома, подняв к небесам свои томные глаза.— Ах, как должен быть величествен вид вашего Наполеона!.. Мне кажется, я его вижу перед со-

---

* Прелестное создание!.. *(фр.)*
** Господин барон *(фр.)*
*** Извините, княгиня! *(фр.)*

бою!.. Какой *грандиозо* должен быть в этом орлином взгляде, в этом...

— Не глядите так высоко, княгиня! — перервал с принужденною улыбкою Рославлев.— Наполеон невысокого роста.

— Да, ростом он меньше вашего великого Петра,— сказал насмешливо путешественник.

— И ростом и душою! — возразил Рославлев, устремив пылающий взор на француза, который почти до половины уже влез в камин.— Если вы, граф, читали когда-нибудь историю...

— Fi, fi! mon cousin! * — вскричала Радугина,— вы горячитесь. Разве нельзя спорить и рассуждать хладнокровно?

— Вы правы, княгиня,— сказал Рославлев, стараясь удержаться.— Граф не может понимать всю великость гения, преобразователя России — он не русский; так же как я, не будучи французом, никак не могу постигнуть, каким образом просвещение преподается помощию штыков и пушек. Нет, господин барон! если мы и нуждаемся в профессорах, то, вероятно, не в тех, которых все достоинства состоят в личной храбрости, а познания — в уменье скоро заряжать ружье и метко попадать в цель. Позвольте вам напомнить, что в этом отношении Россия не имеет причины никому завидовать и легко может доказать это на самом деле — даже и победителям полувселенной.

Дипломат улыбнулся и, не говоря ни слова, вынул из кармана брауншвейгскую бумажную табакерку с прекрасным пейзажем. Попотчевав табаком Рославлева, он сказал:

— Посмотрите, как хорошо делают нынче эти безделки. Какой правильный рисунок!.. Это вид Аустерлица.

— Да,— отвечал спокойно Рославлев,— я видел почти такую же табакерку; не помню хорошенько, кажется, с видом Прейсиш-Ейлау или Нови. Она еще лучше этой.

Господин барон смутился и, помолчав несколько времени, сказал:

— Как жаль, что под Нови ваш Суворов дрался не с Наполеоном. Это был бы один из лучших листков в лавровом венке нашего императора.

---

* Фи, фи, кузен! (*фр.*)

— Да, если б французы не были разбиты.

— Но неужели вы думаете, что это могло случиться, когда бы нашим войском командовал сам Наполеон?

— Извините! Я не думаю, а уверен в этом.

— Bienheureux ceux qui croient *,— пробормотал путешественник, подкладывая дров в потухающий камин.

Поэт улыбнулся, а хозяйка с сожалением посмотрела на Рославлева.

— Но мы отбились от нашей материи,— продолжал дипломат.— Вам кажется странным просвещение, распространяемое помощию оружия; согласитесь, по крайней мере, что порядок, устройство и общеполезные работы, которые гигантским своим объемом напоминают почти баснословные дела древних римлян, должны быть необходимым следствием твердой воли, неразлучной с силою. Для приведения в действие высоких предначертаний, коих польза постигается только впоследствии, нужно всемогущество, которым обладает Наполеон; необходимы его бесчисленные войска... И если Россия желает подвинуться вперед...

— И, господин барон! — перервал с улыбкою Рославлев,— что вам за радость просвещать насильно нацию, которая одна, по своей силе и самобытности, может сделаться со временем счастливой соперницею Франции. Предоставьте это времени и собственному ее желанию — сравниться в просвещении с остальной частию Европы. Россия и без вашей насильственной помощи идет скорыми шагами к этой высокой цели всех народов. Поглядите вокруг себя! Скажите, произвели ли ваши предки в течение многих веков то, что создано у нас в одно столетие? Не походит ли на быструю перемену декораций вашей парижской оперы это появление великолепного Петербурга среди непроходимых болот и безлюдных пустынь севера?

— Да неужели вы думаете, сударь, что ваш Петербург может назваться европейским городом? И, полноте!.. В нем все начато и ничто не кончено. Ваши широкие улицы походят на площади; ваши площади — на какие-то незастроенные пустопорожние места; ваши длинные, невысокие дома — на фабрики... Набережные у вас недурны; но чем можно назвать эти расписные деревянные мостики? Есть ли в Петербурге хоть одна

* Блаженны верующие *(фр.)*.

порядочная церковь? Что такое ваша Казанская? Огромная куча материалов, под которою зарыты некоторые опрятно отделанные части, не выкупающие нимало всю нестройность и безобразие целого. О, будьте спокойны, господа русские! Если французы придут в Петербург, то, верно, не позавидуют вашему Казанскому собору, а увезут, может быть, с собой его гранитные колонны.

— Бога ради, барон! — сказала хозяйка,— не говорите этого при родственнике моем князе Радугине. Он без памяти от этой церкви, и знаете ли почему? Потому что в построении ее участвовали одни русские художники.

— О, это очень заметно! — подхватил путешественник.

— Князь Радугин! — повторил с приметной досадою дипломат.— Как жаль, княгиня, что вы родня этому фанатику, этому необразованному камчадалу, этому...

— Ах! что вы, monsieur le baron! * Конечно, я не спорю — он моряк, его формы несколько странны, тон очень дурен, а бешеный патриотизм отменно смешон; но, несмотря на это, он, право, добрый и честный человек.

— Согласен, княгиня! Я не понимаю только, чего смотрит ваше правительство? Человек, который может заразить многих своим безумным и вредным фанатизмом, который не скрывает даже своей ненависти к французам, может ли быть терпим в русской столице?

— А в какой же, сударь? — спросил насмешливо Рославлев.— Уж не в французской ли?

— Нигде, сударь! нигде! Такие опасные люди не должны быть терпимы во всей Европе. Пусть они едут в Англию или Восточную Индию; пусть проповедывают там возмутительные свои правила; по крайней мере, до тех пор, пока на берегах Темзы не развеваются еще знамена Франции.

— Не скоро же они уймутся говорить,— сказал Рославлев.

— Вы думаете? Нет, сударь, скоро наступит последний час владычеству этих морских разбойников; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сих пор в России с той непреклонной настойчивостию, какую требуют пользы Франции и ваши собственные. Но теперь, когда вашему двору известна

---

* господин барон (*фр.*).

решительная воля императора, когда никакие дипломатические увертки не могут иметь места, когда нет средины и русские должны вступить в бой столь неравный или повиноваться...

— Повиноваться? — повторил Рославлев.— Вы забыли, сударь, что мы повинуемся только законному государю нашему, а русский царь — одному богу и своей совести! Послушайте, барон! Вы, кажется, довольно и даже слишком откровенно говорили с русским дворянином; позвольте же и мне в мою очередь быть также откровенным. Скажите, для чего эти беспрестанные угрозы? этот невыносимый, повелительный тон? эта уверенность, с которой вы говорите о будущих победах ваших? Или вы не чувствуете, что, унижая все прочие нации, вы делаете вашу ненавистною для всех? Торжествуйте дома ваши победы, наслаждайтесь плодами их, будьте сильнейшей нациею в Европе, но бога ради! не душите всех вашей славою. Оскорбляя беспрестанно самолюбие других народов, вы заставите наконец их очнуться от их непонятного и позорного сна. К чему все то, что вы говорили о России? Если вы думаете застращать нас, то очень ошибаетесь, господин барон! Чувство, которое с некоторого времени сделалось общим в России,— нет, сударь!.. это чувство не походит на страх. Мы некогда любили вас, как друзей; теперь начинаем ненавидеть, как злейших неприятелей. Поверьте, на обширных полях наших, усеянных костями литовцев и татар, найдется еще довольно места и для новых незваных гостей!.. Извините, барон! так думаю я,— так думают все русские!

— Вы очень красноречиво защищаете вашу национальную славу,— сказал с улыбкою дипломат.— Жаль только, что вы ошибаетесь в одном: выключая некоторых заносчивых патриотов, все русские любят нас точно так же, как любили прежде. Не спорю, может быть, правительство ваше... но народ, а особливо дворяне... О! в них мы совершенно уверены. Не правда ли? Вы по-прежнему предпочитаете наш язык вашему собственному, перенимаете все наши обычаи, одеваетесь по-нашему; словом, стараетесь во всем походить на нас. Признайтесь, что это презабавные доказательства национальной ненависти. Нет, сударь! добрые русские, несмотря ни на какие политические отношения, останутся всегда друзьями французов. Почтение, которое они показывают к нашему дипломатическому корпусу,

их уважение даже к одному имени Франции, любовь к писателям нашим — все доказывает эту неоспоримую истину...

— Князь Димитрий Павлович Радугин! — сказал вошедший слуга.

— Мой зять! — вскричала хозяйка.

— Не принимайте этого готтентота,— шепнул дипломат.— Ах, боже мой! — продолжал он, отодвигая свои кресла от дивана,— какая тоска! вот он!

Двери настежь растворились, и мужчина высокого роста, лет пятидесяти, в морском вицмундире и с Георгиевским крестом в петлице, вошел в комнату.

— Здравствуй, сестра! — сказал он.— Здорово, Рославлев! Bonjour, messieurs! *

— Здравствуйте, князь! — проговорила тихим голосом и по-русски хозяйка дома.— Я сегодня очень нездорова, ужасно болит голова; и если вы, по вашему обыкновению, станете кричать...

— Не беспокойся! — перервал князь Радугин, садясь на диван.— Я заехал к тебе на минуту, рассказать одну презабавную историю, и очень рад, что застал у тебя этих господ. Так и быть!.. Дурно ли, хорошо ли, а расскажу этот анекдот по-французски: пускай и они посмеются вместе со мною... Ecoutez, messieurs! ** — примолвил Радугин по-французски.— Хотите ли, я вам расскажу презабавную новость?

— Мы вас слушаем, князь! — отвечал с вежливой улыбкою дипломат.

Вояжер перестал также раздувать огонь в камине и придвинулся к дивану.

— Вот, господа! с час тому назад,— продолжал князь Радугин,— в Большой Морской повстречались две кареты, в одной из них сидел ваш посланник, а в другой какой-то гвардейский прапорщик, разумеется, малый молодой. По неосторожности кучеров колесо одной кареты зацепилось за колесо другой, к счастию, оба кучера успели остановить лошадей. Вот его превосходительство обиделся, зашумел, закричал, офицер стал извиняться, но посланник не хотел слышать никаких извинений и поднял такой штурм, как будто б дело шло о чести всей Франции. Между тем кругом карет столпилось сотни две зевак. Лакеи суетились вокруг

* Здравствуйте, господа! *(фр.)*
** Послушайте, господа! *(фр.)*

экипажей, но, несмотря на помощь проходящих, не могли никак их расцепить. Офицер высунулся в окно и, продолжая извиняться, сказал его превосходительству, что должно непременно подвинуть назад его карету. «Французы никогда не двигаются назад!» — отвечал гордо посланник. «И русские также! — возразил офицер.— Пошел!» Кучер ударил по лошадям, они рванулись... крак! — у посланника одного колеса как не бывало. Офицерская карета помчалась вдоль улицы, и весь народ закричал: «Славно! ай да молодец!»

— Quelle horreur! * — вскричала Радугина.

— Quelle audace! ** — воскликнул дипломат.

— Ça n'a pas de nom! *** — прибавил путешественник.

Глаза Рославлева заблистали удовольствием, а бедный поэт испугался, побледнел и, казалось, готов был закричать: «Ей-богу! я незнаком с этим офицером!»

— А что всего любопытнее,— продолжал Радугин,— так это то, что, по рассказам, громче всех кричали: «Ай да молодец! спасибо ему!» — как вы думаете, кто? Мужики? Нет, сударь! порядочные и очень порядочные люди!

— Быть не может! — сказал дипломат.— Такая дерзость!..

— Дерзость или нет, этого мы не знаем; дело только в том, что карета, я думаю, лежит и теперь еще на боку!

— Но не ушибся ли господин посланник? — спросил торопливо путешественник.

— Нет, граф! Говорят, что он поизмял только свою прическу à la Titus **** и разбил себе нос.

— Поедемте скорей узнать, справедливо ли это? — сказал путешественнику испуганный дипломат.— О, если это правда, то должно примерно наказать, надобно потребовать une réparation éclatante! ***** Честь Франции... честь нашего императора!.. Едемте, граф! едемте!

— Как вы думаете,— спросила хозяйка на русском языке князя Радугина,— не послать ли и мне? не ехать ли самой?..

---

* Какой ужас! *(фр.)*

** Какая дерзость! *(фр.)*

*** Этому нет названия! *(фр.)*

**** в стиле Титуса *(фр.)*.

***** примерного удовлетворения! *(фр.)*

— А что ты думаешь, сестра? Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, он француз, любезен, человек не старый; в самом деле, это очень будет прилично. Ступай, матушка, ступай!..

— Но точно ли это правда?

— Дай-то господи! молебен бы отслужил.

— От кого вы слышали?

— Вот то-то и беда! мне рассказывал об этом один всесветный лгун. Да бог милостив, быть может, на этот раз он сказал и правду.

Французы, спеша узнать о здоровье своего посла, откланялись хозяйке. Рославлев воспользовался этим случаем, чтоб распрощаться также с своей кузиною; обнял дружески князя Радугина и отправился домой.

ГЛАВА IV

Вдали, сквозь утренний туман, сверкали верхи позлащенных спицов адмиралтейства и высокой колокольни Петропавловского собора; но солнце еще не показалось из-за частой сосновой рощи, и густая тень лежала на кровле двухэтажного дома старинной архитектуры, в котором помещался трактир, известный под названием «Руки» или «Средней рогатки». Все было тихо на большой Московской дороге, скучной и однообразной в сравнении с другими окрестностями Петербурга. Вдруг послышался вдали звонкий валдайский колокольчик; он умолкал на минуту и раздавался опять: то тише, то громче; частил, перебивал, заливался и снова переставал звенеть. Вдоль дороги от Петербурга, расстилая направо и налево густые облака пыли, неслась на лихой шестерне почтовых открытая коляска, за которою едва успевали скакать дрожки, запряженные щегольской парою разношерстных лошадей. Коляска остановилась у дверей трактира; из нее выпрыгнул Рославлев в дорожном платье и фуражке, а вслед за ним стал вылезать, зевая и потягиваясь, Зарецкий, закутанный в гороховую шинель с пятью или шестью воротниками. Слуга побежал будить трактирщика, а наши приятели сели на скамью, подле дверей.

— Ну, mon cher! — сказал Зарецкий,— теперь, надеюсь, ты не можешь усомниться в моей дружбе. Я лег спать во втором часу и встал в четвертом для того, чтоб проводить тебя до «Средней рогатки», до которой мы,

я думаю, часа два ехали. С чего взяли, что этот скверный трактир на восьмой версте от Петербурга? Уж я дремал, дремал! Ну, право, мы верст двадцать отъехали. Ах, батюшки! как я исковеркан!

— Скажи, пожалуйста, Александр,— спросил Рославлев,— давно ли ты сделался такой неженкой? Когда мы служили с тобой вместе, ты не знал устали и готов был по целым суткам не сходить с коня.

— Тогда я носил мундир, mon cher! А теперь во фраке хочу посибаритничать. Однако ж знаешь ли, мой друг? Хоть я не очень скучаю теперешним моим положением, а все-таки мне было веселее, когда я служил. Почему знать? Может быть, скоро понадобятся офицеры; стоит нам поссориться с французами... Признаюсь, люблю я этот милый веселый народ; что и говорить, славная нация! А как подумаешь, так надобно с ними порезаться: зазнались разбойники! Послушай, Вольдемар: если у нас будет война, я пойду опять в гусары.

— И я также,— сказал Рославлев.

— Давай руку! Что, в самом деле! служить, так служить вместе; а когда кампания кончится и мы опять поладим с французами, так знаешь ли что?.. Катнем в Париж! То-то бы пожили и повеселились! Эх, милый! что ни говори, а ведь у нас, право, скучно!

— Я этого не вижу.

— Да полно, mon cher! что за патриотизм, когда дело идет о веселье? Я не менее твоего люблю наше отечество и готов за него драться до последней капли крови, а если заберет зевота, так прошу не погневаться, не останусь ни в Москве, ни в Петербурге, а махну прямехонько в Париж, и даже с условием: не просыпаться ни раза дорогою, а особливо проезжая через ученую Германию.

— Нет, мой друг! Если ты узнаешь скуку, то не расстанешься с нею и в Париже. Когда мы кружимся в вечном чаду, живем без всякой цели; когда чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту...

— Ах, виноват, мой друг! Я ведь и забыл, что душа твоя полна любви; а в той стране, где живет наша любезная, разумеется, круглый год цветут розы и воздух дышит ароматом. Но, кстати, я и не подумал, как же ты сдержишь свое слово и пойдешь опять в гусары? Если ты успеешь обвенчаться, так жена за тебя уцепится; если будешь женихом, то сам не захочешь покинуть

своей невесты. Вот я — так вольный казак: что хочу, то и делаю. У меня точно так же, как у тебя, нет ни отца, ни матери; старая моя тетушка, верно, не будет меня удерживать. Правда, у меня есть и кузины, в пятом или шестом колене; но клянусь тебе честию, я люблю их всех, как родных сестер,— так они больно плакать обо мне не станут. Однако ж послушай, Вольдемар: если уж мы об этом заговорили, так расскажи-ка мне: как ты влюбился и что такое эта проклятая любовь, от которой умные люди сходят с ума, а дураки иногда становятся умнее?

— Ты знаешь, Александр, что я все прошлое лето жил в деревне, верстах в пятидесяти от Москвы. Около средины лета приехала в мое соседство богатая вдова Лидина, с двумя дочерьми; она только что воротилась из Парижа и должна была, для приведения в порядок дел своих, прожить несколько лет в деревне. Я был уже давно знаком с городничим нашего уездного города, майором Ильменевым. Как образчик некоторых закоренелых невежд прошедшего поколения, этот Ильменев мог бы занять не последнее место в комедии «Недоросль», если б в числе первых комических лиц этой пиесы были люди добрые, честные и забавные только своим невежеством. Он познакомил меня с родным братом Лидиной, Николаем Степановичем Ижорским, также изрядным чудаком, который на другой же день отрекомендовал меня своей сестре. Ты можешь себе представить, как я обрадовался, найдя в моих соседках милых, любезных и просвещенных женщин.

— Да, мой друг, в провинции ты мог себя поздравить с этой находкою.

— Маменька имеет свою смешную сторону, но дочери...

— Что и говорить — прелесть, совершенство!.. А которое из этих двух совершенств свело тебя с ума?

— Оленька, меньшая сестра, понравилась мне с первого раза более старшей сестры своей, Полины.

— С первого раза? Следовательно, ты влюблен в старшую? Да что ж тебе сначала в ней понравилось? Что, она блондинка или брюнетка?

— У обеих сестер голубые глаза; они обе прекрасны и даже очень походят друг на друга; но, несмотря на это... право, не знаю, как тебе объяснить различие, перед которым исчезает совершенно это наружное сходство. Оленька добра, простодушна, приветлива, по-

чти всегда весела; стыдлива и скромна, как застенчивое дитя; а рассудительна и благоразумна, как опытная женщина; но при всех этих достоинствах никакой поэт не назвал бы ее существом небесным; она просто — прелестный *земной* цветок, украшение *здешнего* мира. Но сестра ее... ах! какое неземное чувство горит в ее вечно томных, унылых взорах; все, что сближает землю с небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, с согласия своей матери, выйдет замуж, сделается доброй, нежной матерью; но никогда не будет уметь любить, как Полина! В несколько дней нашего знакомства я стал почти домашним человеком у Лидиной. Оленька перестала меня дичиться; не прошло двух недель, и она бегала уже со мной по саду, гуляла по полям, по роще; одним словом, обращалась как с родным братом. С детской откровенностию милого ребенка она высказывала мне все, что приходило ей в голову, и часто удивляла меня своим незатейливым, но ясным и верным понятием о свете. С Полиною я не скоро познакомился. Сначала мне казалось даже, что она убегает всех случаев быть вместе со мною; наконец мало-помалу мы сблизились, и только тогда, когда я узнал всю красоту души этого воплощенного ангела, я понял причину ее задумчивости и всегдашнего уныния. Да, мой друг! Полина слишком совершенна для здешнего мира! Ее живое, цветущее воображение облекает все в какую-то неземную одежду. Однажды я читал обеим сестрам только что вышедший роман: «Матильда, или Крестовые походы». Когда мы дошли до того места, где враг всех христиан, враг отечества Матильды, неверный мусульманин Малек-Адель умирает на руках ее,— добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: «Бедняжка! зачем она полюбила этого турка! Ведь он не мог быть ее мужем!» Но Полина не плакала,— нет, на лице ее сияла радость! Казалось, она завидовала жребию Матильды и разделяла вместе с ней эту злосчастную, бескорыстную любовь, в которой не было ничего земного.

— Воля твоя, Вольдемар! — перервал Зарецкий, покачивая головою,— это что-то уж больно хитро! Как же ты, не будучи ни врагом ее, ни татарином, успел ей понравиться и решился изъясниться в любви?

— Я долго колебался и хотя замечал, что частые мои посещения были вовсе не противны Лидиной, но, не смея сам предложить мою руку ее дочери, решился

одним утром открыться во всем Оленьке; я сказал ей, что все мое счастие зависит от нее. Как теперь гляжу: она испугалась, побледнела; но когда услышала, что я влюблен в Полину, то лицо ее покрылось живым румянцем, глаза заблистали радостию. «Боже мой! Боже мой! — вскричала она, — вы хотите жениться на Полине? Как я рада!.. Вы будете моим братом!.. Не правда ли? Вы станете называть меня сестрою? О! теперь я никогда не выйду замуж! Нет, я вечно буду жить вместе с вами! Ах, боже мой, как я рада!» Добрая Оленька и плакала и улыбалась в одно время. Слезы градом катились из глаз ее; но, казалось, в эту минуту она была так счастлива!.. Весь этот день я провел в ужасной неизвестности. Полина не выходила из своей комнаты, а Оленька приметным образом старалась не оставаться со мною наедине. Другой день прошел точно так же; наконец, на третий...

— Слава богу! — вскричал Зарецкий. — Ну, мой друг! терпелив ты!

— На третий день, поутру, — продолжал Рославлев, — Оленька сказала мне, что я не противен ее сестре, но что она не отдаст мне своей руки до тех пор, пока не уверится, что может составить мое счастие, и требует в доказательство любви моей, чтоб я целый год не говорил ни слова об этом ее матери и ей самой.

— Целый год! И ты, рыцарь Амадис, на это согласился?

— Ах, мой друг! я согласился бы на все! Одна надежда назвать ее когда-нибудь моею — была уже для меня неизъяснимым счастием. В первые три месяца моего испытания соседство наше умножилось приездом отставного полковника Сурского, которого небольшая деревенька была в двух верстах от моего села. Я скоро подружился с этим почтенным человеком, умевшим соединить в себе откровенность прямодушного воина с умом истинно просвещенным и обширными познаниями. Дружба его была для меня одной отрадою; я говорил с ним о Полине, и хотя он часто покачивал головою и называл ее мечтательницею, но, несмотря на это, полюбил всей душою, однако же гораздо менее, чем Оленьку, которая меж тем употребляла все, чтоб сократить время моего испытания. Наконец просьбы ее и красноречие друга моего Сурского победили упорство Полины. Три недели тому назад я назвал ее моей неве-

стою, и когда через несколько дней после этого, отправляясь для окончания необходимых дел в Петербург, я стал прощаться с нею, когда в первый раз она позволила мне прижать ее к моему сердцу и кротким, очаровательным своим голосом шепнула мне: «Приезжай скорей назад, мой друг!» — тогда, о! тогда все мои трехмесячные страдания, все ночи, проведенные без сна, в тоске, в мучительной неизвестности,— все изгладилось в одно мгновение из моей памяти!.. Ах, Александр! Если б ты любил когда-нибудь, если б ты знал, что такое *мой друг!* в устах обожаемой женщины, если б ты мог понять, какой мир блаженства заключают в себе эти два простые слова...

— Тьфу, черт возьми! — перервал Зарецкий,— так этот-то бред называется любовью? Ну! подлинно есть от чего сойти с ума! *Мой друг!* Да как же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлев, что ль?

— Перестань, братец! Твоя душа настоящий ледник.

— Но только не для дружбы, Вольдемар! Я от всей души радуюсь твоему благополучию; надеюсь, ты будешь счастлив с Полиною; но мне кажется, я больше бы порадовался, если б ты женился на Оленьке.

— Почему же, мой друг?

— Вот изволишь видеть: твоя Полина слишком... как бы тебе сказать?.. слишком... небесна, а я слыхал, что эти неземные девушки редко делают своих мужей счастливыми. Мы все люди как люди, а им подавай идеал. Пока ты еще жених и страстный любовник...

— Я буду им вечно!

— Так, mon cher! так! Но теперь ты у ног ее; теперь, нет сомнения, и твой образ облекают в одежду неземную; а как потом ты облечешься сам в халат да закуришь трубку... Ох, милый! что ни говори, а муж — плохой идеал!

— Полно, Зарецкий! Ты судишь обо всем по собственным своим чувствам.

— Конечно, мой друг! тебе все-таки приличнее быть ее мужем, чем всякому другому; ты бледен, задумчив, в глазах твоих есть также что-то туманное, неземное. Вот я, с моей румяной и веселой рожей, вовсе бы для нее не годился. Но, кажется, за нами пришли? Что? Завтрак готов?

— Готов, сударь! — отвечал трактирный слуга, протирая свои заспанные глаза.

— Пойдем, Рославлев. Мы досыта наговорились о небесном, займемся-ка теперь земным.

Позавтракав и выпив бутылку шампанского, наши друзья простились.

— Ну! — сказал Зарецкий, садясь на свои дрожки,— то-то дам теперь высыпку! Прощай, mon cher! Ванька! до самой заставы во всю рысь! Adieu, cher ami! * Дай бог тебе счастья, а, право, жаль, что ты женишься не на Оленьке!.. Пошел!

Когда Рославлев стал садиться в коляску, мимо его, по дороге к Царскому Селу, промчались двое дрожек, запряженных парами. Ему показалось, что на одних сидел француз, с которым накануне он обедал в ресторации. Извозчик, оправив сбрую, взлез на козлы, присвистнул, махнул кнутом, колокольчик зазвенел, и по обеим сторонам дороги замелькали высокие сосны и зеленые поля; изредка показывались среди деревьев скромные дачи, выстроенные в довольном расстоянии одна от другой по этой дороге, нимало не похожей на Петергофскую, которая представляет почти беспрерывный и великолепный ряд загородных домов, пленяющих своей красотой и разнообразием. Чрез несколько минут коляска поднялась на Пулковскую гору, и вскоре за обширным зверинцем закраснелся вдали колоссальный дворец Царского Села, некогда удивлявший путешественников своей позлащенной кровлею и азиатским великолепием. Подъезжая к зверинцу, одна из лошадей переступила постромку, начала бить; другие лошади также испугались и понесли вдоль дороги. После многих бесполезных усилий извозчику удалось наконец при помощи Рославлева остановить лошадей. Коляска уцелела, но большая часть веревочной сбруи изорвалась, и надобно было, по крайней мере, с полчаса времени для приведения в порядок упряжи. Рославлев, оставя при коляске своего слугу, пошел пешком по дорожке, пробитой вдоль стены зверинца. Он заметил в одном месте небольшой пролом, от которого узенькая тропинка, извиваясь, вела в глубину леса. Желая погулять несколько времени в тени деревьев, Рославлев пустился по тропинке. Не прошло пяти минут, как вдруг ему послышались близкие голоса; он сделал еще несколько шагов, и подле него за кустом прогремел отрывистый вопрос: «Ну, что?.. Хорошо ли?» — «Нет, братец!» — отвечал кто-то голосом не во-

* Прощай, дорогой друг! *(фр.)*

все ему незнакомым. «Что это за барьер? Еще на три шага ближе!» Рославлев поразодвинул сучья густого куста, который скрывал от него говорящих, и увидел на небольшой поляне четырех человек. Двое были ему совершенно незнакомы; а в остальных он тотчас узнал молчаливого офицера и француза, с которым обедал накануне в рублевом трактире. Не трудно было отгадать, для чего эти господа приехали так рано в зверинец. Повинуясь первому движению, Рославлев сделал шаг назад; но какое-то непреодолимое любопытство победило это человеческое чувство. С сильно бьющимся сердцем, едва переводя дух, он притаился за кустом и остался невидимым свидетелем кровавой сцены, которая должна была оправдать слова, сказанные им накануне,— о ненависти русских к французам.

— Ну, кончил ли ты? — закричал молчаливый офицер своему товарищу, который вколачивал в землю две палки, в двух шагах одна от другой.

— Кончил! — отвечал молодой человек высокого роста, в военном сюртуке и кавалерийской фуражке.— Только, воля твоя, по-моему, лучше стреляться на плаще. Два шага!.. по крайней мере, надобно четыре.

— Эх, полно, братец! что за ребячество. На, возьми, подсыпь на полку.

— Позвольте спросить,— сказал секундант француза, человек средних лет, который, судя по выговору, был также иностранец.— Я желал бы знать по крайней мере причину вашей дуэли.

— А на что вам это? — спросил офицер, подавая своему товарищу другой пистолет.— Приколоти покрепче пулю, братец! Да обей кремень: я осечек не люблю.

— Мне кажется,— возразил иностранец,— что я, будучи секундантом, имею полное право знать...

— За что мы деремся? — перервал офицер.— Да так, мне надоела физиономия вашего приятеля. Отмеривай пять шагов,— продолжал он, обращаясь к кавалеристу.— Не угодно ли и вам потрудиться?

— Но, милостивый государь! мне кажется, что если вы не имеете другой причины...

— Имею, сударь! Ваш приятель — француз. Прошу отмеривать пять шагов.

— Еще одно слово, господин офицер. Мне кажется...

— А долго ли, сударь, вам будет казаться? Я вижу, вы любите болтать; а я не люблю, и мне некогда. Извольте становиться! — прибавил он громовым голосом, обра-

щаясь к французу, который молчал в продолжение всего разговора.

— В самом деле! — вскричал кавалерист,— что за болтовня! Драться так драться. Вот твое место, братец. Смотри целься хорошенько; да не торопись стрелять.

Оба противника отошли по пяти шагов от барьера и, повернясь в одно время, стали медленно подходить друг к другу. На втором шагу француз спустил курок — пуля свистнула, и пробитая навылет фуражка слетела с головы офицера.

— Черт возьми! этот француз метит хорошо! — сказал сквозь зубы кавалерист.— Смотри, брат, не промахнись!

Раздался второй выстрел, и вмиг вся левая рука француза облилась кровью.

— Эх, братец! — сказал кавалерист,— немножко бы полевее. Я говорил тебе взять мои пистолеты. Какая, черт, стрельба без шнелера!

Прошло еще несколько секунд; сердце Рославлева почти перестало биться. Расстояние между поединщиками становилось все менее; вот уже оставалось не более шести или семи шагов... вдруг раздался третий выстрел.

— Ты ранен? — вскричал кавалерист.

— Нет,— отвечал офицер, взглянув хладнокровно на правое плечо свое, с которого пулею сорвало эполет.— Теперь милости прошу сюда к барьеру — продолжал он, устремив свой неподвижный взор на француза.

— Je suis mort! * — промолвил вполголоса раненый.

— Боже мой! он истекает кровью! — сказал его секундант, вынимая белый платок из кармана.

— Не трудитесь! — перервал офицер,— он доживет еще до последнего моего выстрела. Ну, что ж, сударь? Да подходите смелее! ведь я не стану стрелять, пока вы не будете у самого барьера.

— Господин офицер! — вскричал иностранец.— Подумайте! в двух шагах! Это все равно...

— Если б я приставил ему мой пистолет ко лбу? Разумеется. Еще один шаг, господин кавалер Почетного легиона! Прошу покорно!

— Eh bien! soit! ** — сказал француз, бросив в сто-

---

* Я погиб! *(фр.)*

** Хорошо! пусть будет так! *(фр.)*

рону свой пистолет. Он подошел, шатаясь, к барьеру и, сложив крест-накрест руки, стал прямо грудью против своего соперника. Кровь ручьем текла из его раны; смертная бледность покрывала лицо; но он смело смотрел в глаза офицеру, и только едва заметная судорожная дрожь пробегала от времени до времени по всем его членам. Офицер прицелился,— конец его пистолета почти упирался в лоб француза. Вся кровь застыла в жилах Рославлева. Он хотел закричать; но ужас оковал язык его. Меж тем офицер спустил курок, на полке вспыхнуло, но пистолет не выстрелил.

— Ты жив еще, мой друг? — вскричал секундант француза.

— Ненадолго! — примолвил хладнокровно офицер.— Подсыпь на полку, братец!

— Ради самого бога! — сказал отчаянным голосом иностранец,— пощадите этого несчастного!.. У него жена и шестеро детей!

Вместо ответа офицер улыбнулся и, взглянув спокойно на бледное лицо своей жертвы, устремил глаза свои в другую сторону. Ах! если б они пылали бешенством, то несчастный мог бы еще надеяться,— и тигр имеет минуты милосердия; но этот бесчувственный, неумолимый взор, выражающий одно мертвое равнодушие, не обещал никакой пощады.

— Господин офицер! — продолжал иностранец,— если жалость вам неизвестна, то подумайте по крайней мере, что вы хотите отправлять в эту минуту должность палача.

— Да, я желал бы быть палачом, чтоб отсечь одним ударом голову всей вашей нации. Посторонитесь!

— Одно слово, сударь,— прошептал едва слышным голосом раненый.— Прощай, мой друг! — продолжал он, обращаясь к своему секунданту.— Не забудь рассказать всем, что я умер как храбрый и благородный француз, скажи ей...— Он не мог докончить и упал без чувств в объятия своего друга.

— Жаль! — сказал кавалерист,— он не трус! И признаюсь, если б я был на твоем месте...

— И полно, братец! Все-таки одним меньше. Теперь, кажется, осечки не будет,— прибавил офицер, взглянув на полку пистолета. Он взвел курок...

— Остановитесь! — вскричал Рославлев, выбежав из-за куста и заслонив собою француза.— Это ужасно! Это не поединок, а смертоубийство!

— Кто вы? — спросил офицер, опустив свой пистолет.

— Такой же русский, как вы.

— В самом деле? Что ж вам здесь надобно?

— Спасти этого несчастного отца семейства!

— Право? То есть вам угодно стать на его место?

— Да! — вскричал Рославлев.— И если вы хотите быть чьим-нибудь убийцею...

— Хочу, сударь! Но прежде мне надобно кончить с этим кавалером Почетного легиона!

— Стыдитесь, господин офицер! Разве вы не видите? он без чувств!

— Но жив еще. Позвольте!..

— Нет! — сказал Рославлев, взглянув с ужасом на офицера,— вы не человек, а демон! Возьмите отсюда вашего приятеля,— продолжал он, относясь к иностранцу,— и оставьте мне его пистолеты. А вы, сударь! вы бесчеловечием вашим срамите наше отечество — и я, от имени всех русских, требую от вас удовлетворения.

— О, если вы непременно хотите... Помоги ему, братец, дотащить до дрожек этого храбреца. А с вами, сударь, мы сейчас разделаемся. Русский, который заступается за француза, ничем его не лучше. Вот порох и пули. Потрудитесь зарядить ваши пистолеты.

Иностранец перевязал наскоро руку своего товарища и при помощи кавалериста понес его вон из леса. Меж тем, пока Рославлев заряжал оставленные французом пистолеты, офицер не спускал с него глаз.

— Не обедали ли вы вчера в ресторации у Френзеля? — спросил он наконец.

— Да, сударь! Но к чему это?..

— Не трудитесь заряжать ваши пистолеты — я не дерусь с вами.

— Не деретесь?..

— Да. Это было бы слишком нерасчетисто: оставить живым француза, а убить, может быть, русского. Вчера я слышал ваш разговор с этим самохвалом: вы не полуфранцуз, а русский в душе. Вы только чересчур чувствительны; да это пройдет.

— Нет, сударь, права человечества будут для меня всегда священны!

— Даже и тогда, когда эта нация хвастунов и нахалов зальет кровью наше отечество? Не думаете ли вы заслужить их уважение, поступая с ними как с людьми?

Не беспокойтесь! они покроют пеплом всю Россию и станут хвастаться своим великодушием; а если мы придем во Францию и будем вести себя смирнее, чем собственные их войска, то они и тогда не перестанут называть нас варварами. Неблагодарные! чем платили они до сих пор за нашу ласку и хлебосольство? — продолжал офицер, и глаза его в первый раз еще заблистали каким-то нечеловеческим огнем.— Прочтите, что пишут и печатают у них о России; как насмехаются они над нашим простодушием: доброту называют невежеством, гостеприимство — чванством. С каким адским искусством превращают все добродетели наши в пороки. Прочтите все это, подслушайте их разговоры — и если вы не поймете и тогда моей ненависти к этим европейским разбойникам, то вы не русский! Но что я говорю? Вы так же их ненавидите, как я, и, может быть, скоро придет время, что и для вас будет наслажденьем зарезать из своих рук хотя одного француза. Прощайте!

Офицер приподнял свою фуражку и пошел скорыми шагами по тропинке, которая шла к противуположной стороне зверинца.

С невольным трепетом смотрел Рославлев вслед за уходящим офицером. Все, что ненависть имеет в себе ужасного, показалось бы добротою в сравнении с той адской злобою, которая пылала в глазах его, одушевляла все черты лица, выражалась в самом голосе в то время, как он говорил о французах. Рославлев вышел из леса и догнал свою коляску, которая ехала шагом вдоль зверинца. «Боже мой! — думал он в то время, как отдохнувшие лошади мчали его по большой Московской дороге,— до какой степени может ожесточиться сердце человеческое! И как виновен тот, чье властолюбие сделало предметом всеобщей ненависти нацию, столь благородную и некогда столь любимую всеми просвещенными народами Европы». Не скоро прояснилось в душе его, потрясенной ужасной сценою, которой он был свидетелем; но наконец образ Полины, надежда скорого свидания и усладительная мысль, что с каждым шагом уменьшается пространство, их разделяющее, рассеяли грусть его, и будущее предстало пред ним во всем очаровательном своем блеске — обманчивом и ложном, но необходимом для нас, жалких детей земли, почти всегда обманутых надеждою и всегда готовых снова надеяться.

ГЛАВА V

На дворе было пасмурно. Крупные дождевые капли стучали в окна почтового двора села Завидова, в котором Рославлев уже более двух часов дожидался перемены лошадей. Все проезжающие вообще не любят сидеть долго на станциях; но для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не может сравниться с этой пыткою: он нигде не найдет места, горит как на огне; ему везде тесно, везде душно: ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состареется в два часа, не доживет до конца своего путешествия. Одним словом, несмотря ни на какую погоду, он пустился бы пешком, если бы рассудок не говорил ему, что этим он не поможет своему горю, а только отдалит минуту свидания. Пересмотрев давным-давно прибитые по стенам почтового двора — и Шемякин суд, и Илью Муромца, и взятие Очакова, прочитав в десятый раз на знаменитой картине «Погребение Кота» красноречивую надпись: *«Кот Казанской, породы Астраханской, имел разум Сибирской»,*— Рославлев в сотый раз спросил у смотрителя в изорванном мундирном сюртуке и запачканном галстуке, скоро ли дадут ему лошадей, и хладнокровный смотритель повторил также в сотый раз свое невыносимое: «Все, сударь, в разгоне; извольте подождать!»

— Да нельзя ли найти вольных?

— Я уж вам докладывал, что нельзя; пора рабочая.

— Я заплачу вдвое, если надобно,— только бога ради...

— И рад бы радостью, сударь! Да что ж делать? На нет и суда нет! Не прикажете ли чаю?

— Далеко ли отсюда до Москвы?

— Сто три версты с половиною. А чай знатный, сударь! цветочный, самый лучший.

— Сто три версты! А там еще семьдесят! Какая досада! Я мог бы завтра поутру...

— У меня, сударь, есть и московские калачи, а если угодно, так и крендели.

— Что за станция! В этом Завидове вечно нет лошадей!

— Что ж делать, ваше благородие! Ведь здесь не ям, а разгон большой. Прикажете поставить самовар?

— Ну, хорошо, братец! Говорят, что у нас почта хо-

роша. Боже мой! Да не приведи господи никакому христианину ездить на почтовых! Что это?.. едешь, едешь...

— А давно ли вы, сударь, из Питера?..— спросил смотритель, приказав своей жене готовить чай.

— Стыдно сказать — третий день! И это называют почтою!

— То есть — с лишком по двести верст в сутки? — сказал смотритель, рассчитав по пальцам.— Что ж, сударь? Это езда не плохая. Зимою можно ехать и скорее, а теперь дело весеннее... Чу! колокольчик! и кажется, от Москвы!.. четверкою бричка...

— Ах, сделай милость, любезный! я дам тебе, что хочешь, на водку...

— Постойте, сударь!.. никак на вольных!.. Нет! с той станции! Ну, вот вам, сударь, и попутчики! Счастлив этот проезжий! ваши лошади, чай, уж отдохнули, так ему задержки не будет.

— Вели же скорей закладывать мою коляску.

— Нельзя, сударь! надобно выкормить лошадей, надобно их напоить; надобно, чтоб они выстоялись, надобно...

— Надобно, чтоб я ехал! Послушай, я заплачу двойные прогоны!

— Нет, сударь, ямщик ни за что не поедет. Вот этак часика через полтора... Эх, сударь! кони знатные — мигом доставят на станцию; а вы меж тем чайку накушайтесь.

Проезжий не вышел из своей брички и через несколько минут отправился на лошадях, которые привезли Рославлева. С полчаса еще наш влюбленный путешественник ходил молча взад и вперед по избе; потом от нечего делать напился чаю; и наконец, отворив окно, сел возле него, чтобы видеть, когда станут закладывать его коляску. На завалине перед избою сидел старик лет шестидесяти; он чертил по земле своим подожком и слушал разговоры ямщиков, которые, собравшись в кружок, болтали всякую всячину, не замечая, что проезжий барин может слышать все их слова.

— Что ты, брат Андрюха, так насупился? — спросил один ямщик, в сером армяке, молодого детину в синем кафтане и красном кушаке,— аль жена побила?

— Добро бы жена,— отвечал детина,— а то черт знает кто — нелегкая бы его взяла, проклятого!

— Ой ли! так тебя, брат, поколотили! Уж не почтальон ли, что ты вчера возил?

— Эх, Ваня! кабы почтальон, так куда б ни шло; а то какой-то проезжий барин — пострел бы его побрал!

— Чай, стал погонять, а ты не слушался?

— Вестимо. Вот нынче ночью я повез на тройке, в Подсолнечное, какого-то барина; не успел еще за околицу выехать, а он и ну понукать; так, знаешь ты, кричма и кричит, как за язык повешенный. Пошел, да пошел! «Как-ста не так,— подумал я про себя,— вишь, какой прыткой! Нет, барин, погоди! Животы-та не твои, как их поморишь, так и почты не на чем справлять будет». Он ну кричать громче, а я ну ехать тише!

— Вот то-то же! Вишь ты, сам какой задорный, Андрюха!

— Да, слышь ты, глупая голова! Ведь за морем извозчики и все так делают; мне уж третьего дня об этом порассказали. Ну, вот мы отъехали этак верст пяток с небольшим, как вдруг — батюшки светы! мой седок как подымется да учнет ругаться: я, дискать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь. «Эк-ста чем угрозил! — сказал я.— Нет, барин, смотрителем нас не испугаешь». Я ему, ребята, на прошлой неделе снес гуся да полсотни яиц.

— Умен ты, брат Андрюха! Ну что ж твой седок?

— Осерчал пуще прежнего. Ну меня позорить, а я себе и в ус не дую — еду себе шажком да посвистываю. Вот он приподнялся, да и толк меня в загорбок; я обернулся, поглядел: мужичонок небольшой, и слуги с ним нет,— как не дать отпора? «Слушай, барин,— сказал я,— драться не велено; у меня смотри, я и сам кнутом перепояшу». Лишь только я это вымолвил, как он одной рукой хвать меня за ворот, пригнул к себе, да и ну лудить по становой жиле. Я было побарахтаться — куды те! Ах ты, господи боже мой! взглянуть не на что, а какой здоровенный! Уж он меня возил, возил! Черт бы его побрал! Инда и теперь вздохнуть тяжело!

— Вот то-то, Андрюша! — сказал старый крестьянин,— зачем озорничать! Ведь наше дело таковское — за всяким тычком не угоняешься. А уж если пришла охота подраться, так дрался бы с своим братом: скулы-то равные,— а то еще схватился с барином!..

— Да, с барином! Недолго этим барам-то над нами ломаться.

— А что так? — спросил извозчик в армяке.

— Да так-ста. Мы знам, что знам.

— А что ты знашь, Андрюха? Расскажи, брат.

— Да, расскажи! А как дойдет до исправника...

— И полно! кому вынести? Небось, рассказывай!..

— Ну то-то же! смотрите, ребята! — сказал детина, обращаясь к другим извозчикам,— чур, держать про себя. Вот, третьего дня, повез я под вечер проезжего — знашь ты, какой-то не русский, не то француз, не то немец — леший его знает, а по нашему-то бает; и такой добрый, двугривенный дал на водку. Вот дорогой мы с ним поразговорились. «Что, дискать, брат! — спросил он,— чай, житье ваше плохое?» Ну, вестимо, не сказать же, что хорошо. «Да, барин,— молвил я,— под иной час тяжко бывает; кони дороги, кормы также, разгон большой, а на прогонах далеко не уедешь; там, глядишь, смотритель придерется, к исправнику попадешь в лапы — какое житье? Вот кабы еще проезжие-та, как ваша милость, не понукали; а то наши бары, провал бы их взял! ступай им по десяти верст в час; а поехал вволю рысцой или шагом, так норовят в зубы».— «И впрямь,— сказал проезжий,— что ваше за житье! То ли дело у нас за морем; вот уж подлинно мужички-та живут припеваючи. Во всем воля: что хочешь, то и делай. У нас ямщик прогоны-то берет не по-вашему — по полтине на версту; едет как душе угодно: дадут на водку — пошел рысцой; нет — так и шагом; а проезжий, хоть генерал будь какой, не смей до него и дотронуться. По нашим дорогам — что верста, то кабак; а ямщик волен у каждого кабака останавливаться».

— Ну, Андрюха! — вскричал ямщик в армяке,— житье же там нашему брату!

— Нишни, Ваня! — сказал старый крестьянин,— не мешай ему, пусть он доскажет.

— «А что, батюшка? — молвил я,— продолжал Андрей,— есть ли у вас исправники?» — «Какие исправники! У нас мужик и шапки ни перед кем не ломает; знай себе одного Бонапарта, да и все тут!» — «А кто этот Бонапарт, батюшка?» — спросил я. «Вестимо, кто: наш хранцузской царь. Слушай-ка, детина,— примолвил проезжий,— я тебе скажу всю правду-истину, а ты своим товарищам рассказывай: наш царь Бонапарт завоевал всю землю, да и к вам скоро в гости будет».— «Ой ли? — сказал я,— да к нам-та зачем?» — «Затем, брат, что он хочет, чтоб и у вас мужичкам было такое же льготное и привольное житье, как у нас. Барам-то вашим это вовсе не по сердцу; да вы на них не смотрите; они, пожалуй, наговорят вам турусы на колесах: и то и се, и басурманы-

та мы...— не верьте! а встречайте-ка нас, как мы придем, с хлебом да с солью».

— А о поборах-та баял, что ль, он? — спросил один пожилой извозчик.

— Как же; слышь ты, никакой тяги не будет: что хошь, то и давай. У нашего, дискать, царя и без вас всего довольно.

— Ну, Андрюша! — сказал старый крестьянин,— слушал я, брат, тебя: не в батюшку ты пошел! Тот был мужик умный; а ты, глупая голова, всякой нехристи веришь! Счастлив этот краснобай, что не я его возил: побывал бы он у меня в городском остроге. Эк он подъехал с каким подвохом, проклятый! Да нет, ребята! старого воробья на мякине не обманешь: ведь этот проезжий — шпион.

— Неужто, дядя Савельич? — сказал ямщик в армяке.

— Ну да! А ты, Андрей, сдуру-та уши и развесил. Бонапарт! Да знаете ли, православные, кто такой этот Бонапарт! Иль никто из вас не помнит, что о нем по всем церквам читали? Ведь он антихрист!

— Ой ли? Так это он? — вскричал пожилой ямщик.

— Он и есть. Ведь он-та все и подсылает подбивать нашу братью; так, слышь ты, лисой и лисит; да не на тех напал. Нет, ребята! чтоб мы поддались иноверцам?.. Ба, ба, ба! да за что так! Что бога гневить, братцы! разве у нас нет батюшки православного русского царя? Разве мы хуже живем других прочих? Что нам, перекусить, что ль, нечего? Слава тебе господи! По праздникам пустых щей не хлебаем, одежонка есть, браги не покупать-стать! А если б и худо-то было? Так что ж? Знай про то царь-государь: ему челом; а Бонапарту-та какое до нас дело? Разве мы его?

— Ведь дядя-то Савельич правду говорит, ребята! — сказал один из ямщиков, обращаясь к своим товарищам.

— Да, детушки! Я подолее вас живу на белом свете; в пугачевщину я был уж парень матерый. Тяжко, ребята, и тогда было — такой был по всей святой Руси погром, что и боже упаси! И Пугач также прельщал народ, да умней был этого Бонапарта: назвался государем Петром Федоровичем — так не диво, что перемутил всех православных; а этот что за выскочка? Смотри, пожалуй! вишь, ему жаль нас стало! Экой милостивец выискался! Нет, ребята! Если уж господь бог нашлет на нас каку невзгоду, так пускай же свои собаки грызутся, а чужие не мешайся.

— Так, вестимо так, Савельич! Правда, Савельич! — заговорили все извозчики, кроме Андрея.

— Что ж ты, брат Андрюха, язычок-та прикусил, а? — спросил пожилой ямщик.

— Что, брат,— отвечал Андрей, почесывая в голове,— оно бы и так, да, слышь ты, он баил, что исправников не будет и бары-то не станут над нами ломаться.

— Ах ты, дурачина, дурачина! — перервал старик,— да разве без старших жить можно? Мы покорны судьям да господам; они — губернатору, губернатор — царю, так испокон веку ведется. Глупая голова! как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет.

— Что правда, то правда,— сказал один из ямщиков,— нашему брату нельзя жить без грозы; кабы только прогоны-то были у нас также по полтине на версту...

— А овес по два рубля четверть? Вот то-то и есть, ребята, вы заритесь на большие прогоны, а поспрошайте-ка, чего стоят за морем кормы? Как рублей по тридцати четверть, так и прогоны не взмилятся! Нет, Федотушка! где дорого берут, там дорого и платят!

— Вестимо, так,— сказал извозчик в армяке.— Да вот что, дядя Савельич, кабы поборов-та с нас не было?

— Эх, Ваня, Ваня! Да есть ли земля, где б поборов не было? Что вы верите этим нехристям; теперь-то они так говорят, а дай Бонапарту до нас добраться, так последнюю рубаху стащит; да еще заберет всех молодых парней и ушлет их за тридевять земель в тридесятое государство.

— Что ты, дядя Савельич, нас морочишь!..— перервал с приметной досадою Андрей.— На что ему забирать чужой народ: у него и своего довольно.

— Довольно, да не совсем. Вот что, ребятушки, мне рассказывал один проезжий: этот Бонапарт воюет со всеми народами; у него что год, то набор. Своих-то всех перехватал в некруты, так и набирает где попало.

— И я то же слышал,— сказал один пожилой извозчик.— Вишь, какой неугомонный, все таскается с войском по чужим землям! Что это, Савельич, этим хранцузам дома не сидится?

— Видно, брат, земля голодная — есть нечего. Кабы не голод, так черт ли кого потащит на чужую сторону! а посмотри-ка, сколько их к нам наехало: чутьем знают, проклятые, где хлебец есть.

— Да, они на это куда сметливы,— сказал один

извозчик в изорванном кафтане,— знают, где раки зимуют. Слышь ты, у нас все дурно, а все-таки к нам лезут!

— Да, да! толкуй себе! — перервал Андрей,— что, чай, у нас хорошо?.. От одной гонки свету божьего невзвидишь. Ну, пусть у них кормы дороже, да зато и езда-то какая? А у нас?.. скачи себе сломя голову.

— Кой прах! — вскричал старик,— наладил одно да одно! Разве деды наши не держали почты? Разве я сам не вожу подчас проезжих? Господи боже мой! — продолжал он, вскочив с завалины,— да что ты за ямщик, коли десяти верст в час не уедешь? Эх, не прежние мои годы!.. Бывало, в старину как заложишь тройку ухарских, так только держись... пыль столбом!.. Куды понукать! Бывало, седок взмолится да учнет милости просить; так нет! сердце не терпит! Дал родным вздохнуть, да и пошел по всем по трем! с горки на горку!.. Эх вы, милые, закатывай, да и только!.. Вот это езда! А селом-то бывало — селом!.. попридержишь у околицы, а как въедешь в улицу — шапку набок, свистнул, гаркнул, да и след простыл... и самому весело, и красны девицы удалым парнем любуются; а вас, прости господи, за что и невестам любить? Какие вы ямщики? Волов бы вам гонять да по клюкву-ягоду!

— Что ты, дядя? — перервал ямщик в армяке,— не все в Андрея: и мы прокатим не хуже другого.

— Катай себе, катай! — проворчал сквозь зубы Андрей,— а я своих коней поморить не хочу.

— Мореного морить нечего,— сказал старик.— Корми их одной соломой, так они и без езды отощают. То-то, брат Андрюша! вишь, ты и по будням ходишь в синем кафтане да в красном кушаке. Мы держимся старины: взял прогоны, выпил на гривнягу, да и будет; а ты так нет, как барин — норовишь все в трактир: давай чаю, заморской водки, того-сего, всякой лихой болести; а там хвать, хвать ан и сенца не на что купить. А как в мошне пусто, да и дома-то не густо, так поневоле дурь полезет в голову: теперь ты слушаешь россказни иноземцев, а там, пожалуй, и на большую дорогу выдешь. Нет, брат Андрей, некому тебя бить: замотался ты.

— Да что ж ты, Савельич, взъелся в самом деле? — сказал с досадою Андрей.— Что ты, родной иль хрестной мне батька, что ль?

— Полно, Андрюха, ершиться-то,— перервал ямщик в армяке.— Савельич бает правду. Вестимо, ты мотыга;

вот уж с месяц, как взял у меня три рубля, а и в помине о них нет...

— Так что ж? — отдам.

— То-то отдам! Я и сам бы умел синий кафтан носить по будням. Знаем мы вас — отдам.

— А осьмину-то овса, что у меня занял,— примолвил пожилой извозчик,— отдашь ли хоть к Петрову дню?

— А за кушак-то когда заплатишь? — закричал ямщик в изорванном кафтане,— ведь ты его купил у меня уж третий месяц. Эй, осрамлю, Андрюшка! при всех в церкви сниму.

— Видно, брат Андрюха,— прибавил один молодой детина,— исправник-то мало тебя на прошлой неделе уму-разуму учил.

— Как так? — спросил старик.

— Да так! — продолжал молодой парень.— Он возил со мной проезжих в Подсолнечное, да и ну там буянить в трактире и с смотрителем-то схватился: вот так к роже и лезет. На грех, проезжал исправник, застал все как было, да и ну его жаловать из своих рук. Уж он его маил, маил...

— Э! э! — вскричал ямщик в худом кафтане.— Так вот что, ребята! Вот за что он на исправников-то осерчал. Эки пострелы в самом деле! и поозорничать не дадут. Нет, нет — да и плетью!

Все ямщики засмеялись, и пристыженный Андрей не знал уже куда деваться от насмешек, которые на него посыпались, как вдруг со стороны Петербурга зазвенел колокольчик.

— Еще бог дает проезжих! — сказал ямщик в армяке.— Экой разгон!

— Глядь-ка,— вскричал старик.— Ну молодец! как дерет!.. Знать, курьер или фельтегарь!.. Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вот, брат, конь!.. Пристяжные насилу постромки уносят.

— Нет, дядя Савельич,— сказал один из ямщиков,— это не курьер, да и кони не почтовые... Ну — так и есть! Это Ерема на своей гнедой тройке. Что это так его черти несут?

Кибитка, запряженная тройкой лихих коней, покрытых пылью и потом, примчалась к почтовому двору. В ней сидели двое купцов: один лет семидесяти и седой как лунь; другой лет под сорок, с светло-русой окладистой бородою. Если нельзя было смотреть без уважения

на патриархальную физиономию первого, то и наружность второго была не менее замечательна: она принадлежала к числу тех, которые соединяют в себе все отдельные черты национального характера. Радушие, природный ум, досужество, сметливость и русский толк отпечатаны были на его выразительном и открытом лице. Старик пошел в избу к смотрителю, а товарищ его остался у кибитки.

— Ну что, брат Ерема? — спросил приехавшего ямщика старый крестьянин,— подобру ли, поздорову?

— Бог грехам терпит, Савельич! Живем понемногу.

— Эх, как у тебя кони-то припотели! — сказал ямщик в армяке,— видно, брат, больно шибко ехал?

— Да, Ваня,— отвечал ямщик, принимаясь выпрягать лошадей,— взялся на часы, так не поедешь шагом.

— А что! за двойные, что ль?

— Нет, брат! по двадцати копеек на версту да целковой на водку!..

— Знатная работа! Да что они так торопятся?

— Знать, нужда пристигла; спешат в Москву. Седой-то больно тоскует: всю дорогу проохал. А кто у вас едет?

— Да никто, брат: кроме курьерской тройки, ни одной лошади нет.

Меж тем купец, взойдя на почтовый двор, подал смотрителю свою подорожную. Взглянув на нее и прочтя: *«давать из почтовых»*, смотритель молча положил ее на стол.

— Что, батюшка? — сказал купец,— иль лошадей нет?

— Все в разгоне.

— Нет ли вольных?

— Нет.

— А попутчиков?

— Есть четверня, да вот его благородие уж часа три дожидается.

— Ах, боже мой, боже мой! что мне делать? — вскричал отчаянным голосом купец.— Я готов дать все на свете, только бога ради, господин смотритель, отпустите меня скорее.

Смотритель пожал плечами и не отвечал ни слова.

— Вы, кажется, очень торопитесь? — спросил Рославлев, который не мог без сострадания видеть горя этого почтенного старика.

— Ах, сударь! — отвечал купец,— не под лета бы мне

этак скакать; и добро б я спешил на радость, а то... но делать нечего; не мне роптать, окаянному грешнику... его святая воля! — Старик закрыл глаза рукою, и крупные слезы закапали на его седую бороду.

— Извините мое любопытство,— сказал после короткого молчания Рославлев,— какой несчастный случай заставляет вас спешить в Москву?

— Да, сударь! — отвечал старик, утирая глаза,— подлинно несчастный! Господь посетил меня на старости. Я был по торговым делам в Твери; в Москве у меня остались жена и сын, а меньшой был вместе со мною. Вчера он занемог горячкою, а сегодня поутру я получил письмо от приказчика, в котором он уведомляет, что старшего сына моего разбили лошади, что он чуть жив, а старуха моя со страстей так занемогла, что, того и гляди, отдаст богу душу. И докторов призывали, и Иверскую подымали, все нет легче. Третьего дня ее соборовали маслом; и если я сегодня не поспею в Москву, то, наверно, не застану ее в живых. Эх, сударь! вы молоды, так не знаете, каково расставаться с тем, с кем прожил сорок лет душа в душу. Не тот сирота, батюшка, у кого нет только отца и матери; а тот, кто пережил и родных и приятелей, кому словечка не с кем о старине перемолвить, кто, горемычный, и на своей родине как на чужой стороне. Живой в могилу не ляжешь, батюшка! Кто знает? Может быть, я еще годов десять промаюсь. С моей старухой я не вовсе еще был сиротою, а теперь... голубушка моя, родная!.. хоть бы еще разочек на тебя взглянуть, моя сердечная!..

Рыдания перервали слова несчастного старика. До души тронутый Рославлев колебался несколько времени. Он не знал, что ему делать. Решиться ждать новых лошадей и уступить ему своих,— скажет, может быть, хладнокровный читатель; но если он был когда-нибудь влюблен, то, верно, не обвинит Рославлева за минуту молчания, проведенную им в борьбе с самим собою. Наконец он готов уже был принести сию жертву, как вдруг ему пришло в голову, что он может предложить старику место в своей коляске.

— Скажите мне,— спросил он,— можете ли вы расстаться с своим товарищем?

— Могу, сударь! Он ехал на перекладных; а как на последней станции была также задержка, то я взял его с собою.

— Так чего же лучше? Пусть он дожидается лошадей

и приедет завтра; а вы не хотите ли доехать до Москвы вместе со мною?

— Ах, мой благодетель!.. Я не смел вас просить об этом; но не стесню ли я вас?

— Не беспокойтесь, нам обоим будет просторно.

— Иван Архипович! — сказал другой купец, войдя в избу.— Все лошади в разгоне; что будешь делать? ни за какие деньги нельзя найти. Пришлось поневоле дожидаться.

— Нет, Андрей Васьянович! Вот этот барин — награди его господь! — изволит везти меня, вплоть до самой Москвы, в своей коляске.

— Дай бог вам здоровье, батюшка! — сказал купец, поклонясь вежливо Рославлеву.— Он спешит в Москву по самой экстренной надобности, и подлинно вы изволили ему сделать истинное благодеяние. Я подожду здесь лошадей; и если не нынче, так завтра доставлю вам, Иван Архипович, вашу повозку. Мне помнится, ваш дом за Серпуховскими воротами?

— Да, батюшка! в переулке, в приходе Вознесения господня. Теперь, сударь,— продолжал старик, обращаясь к Рославлеву,— я не смею вас просить остановиться у меня...

— Мне и самому было бы некогда к вам заехать,— перервал Рославлев.— Я только что переменю лошадей в Москве.

— Но неравно вам прилучится проезжать опять чрез нашу Белокаменную, то порадуйте старика, взъезжайте прямо ко мне, и если я буду еще жив... Да нет! коли не станет моей Мавры Андреевны, так господь бог милостив... услышит мои молитвы и приберет меня, горемычного.

— Эх, Иван Архипович! — сказал купец,— на что заране так крушиться? Отчаяние — смертный грех, батюшка! Почему знать, может быть, и сожительница и сыновья ваши выздоровеют. А если господь пошлет горе, так он же даст силу и перенести его. А вы покамест всё надежды не теряйте: никто как бог.

Старик тяжело вздохнул и, склонив на грудь свою седую голову, не отвечал ни слова.

— Осмелюсь спросить, сударь,— сказал купец после короткого молчания,— откуда изволите ехать?

— Из Петербурга.

— Из Петербурга? А что, сударь, там слышно о войне?

— Вероятно, турецкая война скоро будет кончена.

— Об этом у нас и в Москве давно говорят. Но есть также слухи, что будто бы французы... избави господи!

— Что ж тут страшного? Разве нам в первый раз драться с Наполеоном?

— Да то, сударь, бывало за границею, а теперь, если правда, что болтают, и Наполеон сбирается к нам... помилуй господи!.. Да это не легче будет татарского погрома. И за что бы, подумаешь, французам с нами ссориться? Их ли мы не чествуем? Им ли не житье, хоть, примером сказать, у нас в Москве? Бояр наших, не погневайтесь, сударь, учат они уму-разуму, а нашу братью, купцов, в грязь затоптали; вас, господа,— не осудите, батюшка! — кругом обирают, а нас, беззащитных, в разор разорили! Ну, как бы после этого им не жить с нами в ладу?

— Но разве вы думаете, что с нами желают драться французские модные торговки и учители? Поверьте, они не менее вашего боятся войны.

— Конечно, батюшка-с, конечно; только — не взыщите на мою простоту — мне сдается, что и Наполеонта не затеял бы к нам идти, если б не думал, что его примут с хлебом да с солью. Ну, а как ему этого не подумать, когда первые люди в России, родовые дворяне, только что, прости господи, не молятся по-французски. Спору нет, батюшка, если дело до чего дойдет, то благородное русское дворянство себя покажет — постоит за матушку святую Русь и даже ради Кузнецкого моста французов не помилует; да они-то, проклятые, успеют у нас накутить в один месяц столько, что и годами не поправить... От мала до велика, батюшка! Если, например, в овчарне растворят ворота и дворовые собаки станут выть по-волчьи, так дивиться нечему, когда волк забредет в овчарню. Конечно, собаки его задавят и хозяин дубиною пришибет, а все-таки может статься, он успеет много овец перерезать. Так не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запоре, и собакам-та не прикидываться волками; волк бы жил да жил у себя в лесу, а овцы были бы целы! Не взыщите, батюшка! — примолвил купец с низким поклоном,— я ведь это так, спроста говорю.

— Я могу вас уверить, что много есть дворян, которые думают почти то же самое.

— Как не быть, батюшка! И все так станут думать, как тяжко придет; а впрочем, и теперь, что бога гневить, есть русские дворяне, которые не совсем еще обынозе-

мились. Вот хоть и ваша милость: вы не погнушались ехать вместе с моим товарищем, хоть он не французский магазинщик, а русский купец, носит бороду и прозывается просто Иван Сезёмов, а не какой-нибудь мусье Чертополох. Да вот еще вы, верно, изволили читать: *«Мысли вслух на Красном крыльце Силы Андреевича Богатырева»*. Книжка не великонька, а куды в ней много дела, и, говорят, будто бы ее сложил какой-то знатный русский боярин, дай господи ему много лет здравствовать! Помните ль, батюшка, как Сила Андреевич Богатырев изволит говорить о наших модниках и модницах: их-де отечество на Кузнецком мосту, а царство небесное — Париж. И потом: «Ох, тяжело,— прибавляет он,— дай боже сто лет царствовать государю нашему, а жаль дубинки Петра Великого — взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур...». Не погневайтесь, батюшка, ведь это не я, а ваш брат, дворянин, русских барынь и господ так честить изволит.

— Не беспокойтесь! — сказал Рославлев,— я за дур и дураков вступаться не стану. Впрочем, не надобно забывать, что в наш просвещенный век смешно и стыдно чуждаться иностранцев.

— Кто и говорит, батюшка! Чуждаться и носить на руках — два дела разные. Чтоб нам не держаться русской пословицы: *как аукнется, так и откликнется!*.. Как нас в чужих землях принимают, так и нам бы чужеземцев принимать!.. Ну, да что об этом говорить... Скажите-ка лучше, батюшка, точно ли правда, что Бонапартий сбирается на нас войною?

— Это еще не решено.

— А как решится, так что ж он — на Москву, что ли, пойдет?

— Может быть. Он избалован счастием и привык заключать мир в столицах своих неприятелей.

— Вот что! Да что ж он в них делает?

— Веселится, отдыхает, берет с обывателей контрибуции, то есть деньги.

— И ему платят?

— Поневоле: против силы делать нечего.

— Как нечего? Что вы, сударь! По-нашему, вот как. Если дело пошло наперекор, так не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи боже мой! У меня два дома да три лавки в Панском ряду, а если божиим попущением враг придет в Москву, так я их своей рукой запалю. На вот тебе! Не хвались же, что моим вла-

деешь! Нет, батюшка! Русский народ упрям; вели только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такую хлеб-соль поднесем, что он хоть и семи пядей во лбу, а — вот те Христос! — подавится.

«Нет, это не хвастовство!» — подумал Рославлев, смотря на благородную и исполненную души физиономию купца.

— Дай мне свою руку, почтенный гражданин! — сказал он.— Ты истинно русский, и если б все так думали, как ты...

— И, сударь! придет беда, так все заговорят одним голосом, и дворяне и простой народ! То ли еще бывало в старину: и триста лет татары владели землею русскою, а разве мы стали от этого сами татарами? Ведь все, в чем нас упрекает Сила Андреевич Богатырев, прививное, батюшка; а корень-то все русский. Дремлем до поры до времени; а как очнемся да стряхнем с себя чужую пыль, так нас и не узнаешь!

— Угодно вам ехать, сударь? — сказал Егор, слуга Рославлева, войдя в избу.— Лошади готовы.

Рославлев пожал еще раз руку молодому купцу и сел с Иваном Архиповичем в коляску. Ямщик тронул лошадей, затянул песню, и когда услышал, что купец даст ему целковый на водку, присвистнул и помчался таким молодцом вдоль улицы, что старый ямщик не усидел на завалине, вскочил и закричал ему вслед:

— Ай да Прошка! Вот это по-нашенски! Лихо! Эй ты, закатывай!..

ГЛАВА VI

— Егор!

— Чего изволите, сударь?

— Где ж поворот налево?

— А вон, сударь, за тем леском.

— Не может быть, мы, верно, проехали мимо.

— Никак нет, сударь! До поворота версты две еще осталось.

— Ты врешь! Вот уж с час, как мы выехали с последней станции.

— Помилуйте, Владимир Сергеевич! и полчаса не будет.

— Ты опять пьян, бездельник!

— Никак нет, сударь! В Москве старик купец, которого вы довезли до дому, на радостях, что его жене ста-

ло лучше, хотел было поднести мне чарку водки, да вы так изволили спешить, что он вместо водки успел только сунуть мне полтинник в руку.

— А как ты смел взять? Ты знаешь, что я этого терпеть не могу.

— Воля ваша, сударь! некогда было спорить, вы так изволили торопиться.

— Эй, ямщик! да полно, знаешь ли ты дорогу в село Утешино?

— Как не знать, ваша милость. Я не раз важивал Прасковью Степановну Лидину в город. Ну ты, одер! посматривай по сторонам-то.

— Мне помнится, что поворот с большой дороги был на восьмой версте от станции.

— Да, барин; да восьмая-то верста вон за этим лесом. Ей вы, милые!..

Рославлев замолчал. Минут через пять березовая роща осталась у них назади; коляска своротила с большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засеянных хлебом; справа и слева мелькали небольшие лесочки и отдельные группы деревьев; вдали чернелась густая дубовая роща, из-за которой подымались высокие деревянные хоромы, построенные еще дедом Полины, храбрым секунд-майором Лидиным, убитым при штурме Измаила. Подъехав к крутому спуску, извозчик остановил лошадей и слез с козел, чтоб подтормозить колеса.

— Посмотрите-ка, сударь! — сказал Егор,— никак, это идет по дороге дурочка Федора?.. Ну так и есть — она!

Крестьянская девка, лет двадцати пяти, в изорванном сарафане, с распущенными волосами и босиком, шла к ним навстречу. Длинное, худощавое лицо ее до того загорело, что казалось почти черным; светло-серые глаза сверкали каким-то диким огнем; она озиралась и посматривала во все стороны с беспокойством; то шла скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама с собою и вдруг начала хохотать так громко и таким отвратительным образом, что Егор вздрогнул и сказал с приметным ужасом:

— Ну, встреча! черт бы ее побрал!.. Терпеть не могу этой дуры... Помните, сударь! у нас в селе жила полоумная Аксинья? Та вовсе была нестрашна: все, бывало, поет песни да пляшет; а эта безумная по ночам бродит по кладбищу, а днем только и речей, что о похоронах да

о покойниках... Да и сама-то ни дать ни взять мертвец: только что не в саване.

Меж тем полоумная, поравнявшись с коляской, остановилась, захохотала во все горло и сказала охриплым голосом:

— Здравствуй, барин!

— Здравствуй, Федорушка! Куда идешь?

— Вестимо куда — на похороны. А ты куда едешь?

— В Утешино.

— Ой ли? Да разве барышня-то уж умерла?

— Что ты врешь, дура? — закричал Егор.

— Смотри не дерись! — сказала полоумная,— а не то ведь я сама камнем хвачу.

— А давно ли ты видела барышню? — спросил Рославлев.

— Барышню?.. какую?.. невесту-та, что ль, твою?

— Да, Федорушка!

— Ономнясь на барском дворе она дала мне краюшку хлеба, да такой белый, словно просвира.

— Ну что?.. Она здорова?

— Нет, слава богу, худа: скоро умрет. То-то наемся кутьи на ее похоронах!

— Как?.. Она больна?..

— Эх, сударь! — перервал Егор,— что вы ее слушаете? Она весь свет хоронит.

— Погоди, голубчик! и ты протянешься.

— Типун бы тебе на язык, ведьма!.. Эко воронье пугало! Над тобой бы и тряслось, проклятая! Ну что зеваешь? Пошел!

Коляска двинулась под гору, а сумасшедшая пошла по дороге и запела во все горло: «Со святыми упокой!»

Проехав версты две большой рысью, они поравнялись с мелким сосновым лесом. В близком расстоянии от большой дороги послышались охотничьи рога; вдруг из-за леса показался один охотник, одетый черкесом, за ним другой, и вскоре человек двадцать верховых, окруженных множеством борзых собак, выехали на опушку леса. Впереди всех, в провожании двух стремянных, ехал на сером горском коне толстый барин, в полевом кафтане из черного бархата, с огромными корольковыми пуговицами; на шелковом персидском кушаке, которым он был подпоясан, висел небольшой охотничий нож в дорогой турецкой оправе. Рядом с ним ехал высокий и худощавый человек в зеленом сюртуке, подпоясанный также кушаком, за которым заткнут был широкий чер-

кесский кинжал. Вслед за охотниками выехали из леса, окруженные стаею гончих, человек десять ловчих, доезжачих и псарей. Когда коляска поравнялась с охотою, толстый барин приостановил свою лошадь и закричал:

— Что это? Ба, ба, ба! Рославлев! Стой, стой!

Ямщик остановил лошадей.

— А! это вы, Николай Степанович? — сказал Рославлев.

— Милости просим, будущий племянник! Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не ожидали! Да вылезай, брат, из коляски.

— Извините, я спешу!..

— В Утешино? Не беспокойся: ты там не найдешь своей невесты.

— Ах, боже мой!.. где ж она?

— Христос с тобой!.. что ты испугался? Все, слава богу, здоровы. Они поехали в город с визитом — вот к его жене.

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич! — сказал худощавый старик в зеленом сюртуке.— Насилу мы вас дождались!

— Так я проеду прямо в город.

— Хуже, брат! как раз разъедетесь. Они часа через полтора сюда будут. Я угощаю их охотничьим обедом здесь в лесу, на чистом воздухе. Да вылезай же!

Рославлев выпрыгнул из коляски.

— Ну, здравствуй еще раз, любезный жених! — сказал Николай Степанович Ижорский, пожимая руку Рославлева.— Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не приехали, мы успеем двух, трех русаков затравить. Ей, Терешка! долой с лошади!

Один из стремянных слез с лошади и подвел ее Рославлеву.

— Садись-ка, брат! — продолжал Ижорский,— а вы с коляскою ступайте в Утешино.

Рославлеву вовсе не хотелось травить зайцев; но делать было нечего; он знал, что дядя его невесты человек упрямый и любит делать все по-своему.

— Ну, брат! — сказал Ижорский, когда Рославлев сел на лошадь,— смотри держись крепче: конь черкесский, настоящий Шалох. Прошлого года мне его привели прямо с Кавказа: зверь, а не лошадь! Да ты старый кавалерист, так со всяким чертом сладишь. Ей, Шурлов! кинь гончих вон в тот остров; а вы, дурачье, ступайте на все лазы; ты, Заливной, стань у той перемычки, что к пе-

сочному оврагу. Да чур не зевать! Поставьте прямо на нас милого дружка, чтобы было чем потешить приезжего гостя.

— Уж не извольте опасаться, батюшка! — сказал Шурлов, поседевший в отъезжих полях ловчий, который имел исключительное право говорить и даже иногда перебраниваться с своим барином.— У нас косой не отвертится — поставим прямехонько на вас; извольте только стать вон к этому отъемному острову.

— Ну то-то же, Шурлов, не ударь лицом в грязь.

— Помилуйте, сударь! да если я не потешу Владимира Сергеевича, так не прикажите меня целый месяц к корыту подпускать. Смотрите, молодцы! держать ухо востро! Сбирай стаю. Да все ли довалились?.. Где Гаркало и Будило? Ну что ж зеваешь, Андрей,— подай в рог, Ванька! возьми своего полвапегова-то кобеля на свору; вишь, как он избаловался — все опушничает. Ну, ребята, с богом! — прибавил ловчий, сняв картуз и перекрестясь с набожным видом,— в добрый час! Забирай левее!

В одну минуту охотники разъехались по разным сторонам, а псари, с стаею гончих, отправились прямо к небольшому леску, поросшему низким кустарником.

— Терешка! — сказал Ижорский стремянному, который отдал свою лошадь Рославлеву,— ступай в липовую рощу, посмотри, раскинут ли шатер и пришла ли роговая музыка; да скажи, чтоб чрез час обед был готов. Ну, любезные! — продолжал он, обращаясь к Рославлеву,— не думал я сегодня заполевать такого зверя. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недели не будешь. Как они обрадуются!

— Да точно ли они сюда приедут?

— Экой ты, братец! уж я сказал тебе, что они обедают здесь, вон в этой роще. Да не отставай, Ильменев! Что ты? иль в стремянные ко мне хочешь?

— Лошаденка-то устала, батюшка Николай Степанович! — отвечал господин в зеленом сюртуке.

— Молчи, брат! будешь с лошадью. Я велел для тебя выездить чалого донца, знаешь, что в карете под рукой ходит?

— Ох, боек, отец мой! Не по мне: как раз слечу наземь!

— И полно, братец, вздор! Не кверху полетишь! Да тебе же не в диковинку,— прибавил Ижорский, толкнув локтем Рославлева.— Ты и с места слетел, да не ушибся!

— Как, Прохор Кондратьевич? — спросил Рославлев,— так не вы уж городничим в нашем городе?

— Да, сударь! злые люди обнесли меня перед начальством.

— Расспроси-ка, какую он терпит напраслину,— сказал Ижорский, мигнув потихоньку Рославлеву.— Поклепали малого, будто бы он грамоте не знает.

— Неужели?

— Не грамоты, батюшка,— имя-то свое мы подчеркнем не хуже других прочих, а вот в чем дело: с месяц тому назад наслали ко мне указ из губернского правления, чтоб я донес, сколько квадратных саженей в нашей площади. Я было хотел посоветоваться с уездным стряпчим: человек он ученый, из семинаристов; но на ту пору он уехал производить следствие. Вот я подумал, подумал, да и отрепортовал, что у меня в городе квадратной сажени не имеется и чтоб благоволили мне из губернии доставить образцовую. Что ж, сударь? Ждать-пождать, слышу,— наш губернатор и рвет и мечет! И неуч-то я, и безграмотный — и как, дискать, быть городничим такому невежде; а помилуйте! какое я сделал невежество?.. Вдруг на прошлой неделе бряк указ — я отставлен; а на мое место какой-то немецкий Фон. А так как он еще не прибыл, так сдать мне должность старшему приставу. Что делать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь!

— И вас за одно это отставили? — спросил Рославлев.

— Да, сударь! Вот так-то всегда бывает: прикажут без толку, а там наш брат подчиненный и отвечай. Без вины виноват!

— Жаль, что наш губернатор поторопился вас отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, зато не знали также, как берут взятки с обывателей.

— Видит бог, нет, батюшка! И ко мне, случалось, забегали с кулечками: кто голову сахару, кто фунтик чаю; да я, бывало, так турну со двора, что насилу ноги уплетут.

— Впрочем, охота вам горевать, Прохор Кондратьевич! Вы жили не службою: у вас есть собственное состояние.

— Конечно, есть посильное место, сударь! С голоду не умрем. Да ведь я служил из чести, Владимир Сергеевич! Что ни говори, а городничий у себя в городе велико дело. Бывало, идешь гоголем по улице, побрякиваешь

себе шпорами да постукиваешь саблею; кто ни попался — шапку долой да в пояс! А в табельные-то дни, батюшка! приедешь в собор — у дверей встречает частный пристав, народ расступается; идешь по церкви барин барином! Становишься впереди всех, у самого амвона, к кресту подходишь первый... а теперь?.. Ну, да делать нечего,— была и нам честь.

— А как приедет, бывало, в город губернатор? — спросил с улыбкою Рославлев.

— Ну, конечно, батюшка! подчас напляшешься. Не только губернатор, и слуги-то его начнут тебя пырять да гонять из угла в угол, как легавую собаку. Чего б ни потребовали к его превосходительству, хоть птичьего молока, чтоб тут же родилось и выросло. Бывало, с ног собьют, разбойники! А как еще, на беду, губернатор приедет с супругою... ну! совсем молодца замотают! хоть вовсе спать не ложись!

— Вот то-то же, братец! Я слышал, что губернатор объезжает губернию: теперь тебе и горюшка мало, а он, верно, в будущем месяце заедет в наш город и у меня будет в гостях,— примолвил с приметной важностию Ижорский.— Он много наслышался о моей больнице, о моем конском заводе и о прочих других заведениях. Ну что ж? Праздников давать не станем, а запросто, милости просим!

В продолжение этого разговора они проехали с полверсты полем и остановились подле частого кустарника. С одной стороны он отделялся от леса узкой поляною, а с другой был окружен обширными лугами, которые спускались пологим скатом до небольшой, но отменно быстрой речки; по ту сторону оной начинались возвышенные места и по крутому косогору изгибалась большая дорога, ведущая в город. Прямо против них не было никакой переправы; но вниз по течению реки, версты полторы от того места, где они остановились, перекинут был чрез нее бревенчатый и узкий мостик без перил.

Прошло несколько минут в глубоком молчании. Ижорский не спускал глаз с мелкого леса, в который кинули гончих. Ильменев, боясь развлечь его внимание, едва смел переводить дух; стремянный стоял неподвижно, как истукан; один Рославлев повертывал часто свою лошадь, чтоб посмотреть на большую дорогу. Он решился наконец перервать молчание и спросил Ижорского: здоров ли их сосед, Федор Андреевич Сурский?

— Здоров, братец! — отвечал Ижорский, — что ему делается?.. Постой-ка?.. Слышишь?.. Никак, тяфкнула?.. Нет, нет!.. Он будет сюда с нашими барынями... Чудак!.. поверишь ли? не могу его уговорить поохотиться со мною!.. Бродит пешком да ездит верхом по своим полям, как будто бы некому, кроме его, присмотреть за работою; а уж читает, читает!..

— С утра до вечера, батюшка! — перервал Ильменев. — Как это ему не надоест, подумаешь? Третьего дня я заехал к нему... Господи боже мой! и на столе-то, и на окнах, и на стульях — всё книги! И охота же, подумаешь, жить чужим умом? Человек, кажется, неглупый, а поверите ль? — зарылся по уши в эту дрянь!..

— Слышишь, Владимир? — сказал Ижорский. — Вот умный-то малый! Книги — дрянь! Ах ты безграмотный!.. Посмотри-ка, сколько у меня этой дряни!

— Помилуйте, батюшка! да у вас дело другое — за стеклышком, книга к книге, так они и красу делают!

— Да, брат, на мою библиотеку полюбоваться можно.

— И вы, сударь, иногда от безделья книжку возьмете; да вы человек рассудительный: прочли страничку, другую, и будет; а ведь он меры не знает. Недели две тому назад...

— Молчи-ка, брат!.. Чу! никак, добираются?.. так и есть!.. Натекли!.. Ого-го! как приняли!.. Ну! свалились!.. пошла писать!.. помчали!..

— Никак, по горячему следу, батюшка?

— Нет, братец! иль не слышишь? по зрячему... Владимир, смотри, смотри!.. Да не туда, куда ты смотришь. Рославлев! что ты, братец?

Но Рославлев не видел и не слышал ничего. Вдали за речкой показался на большой дороге ландо, заложенный шестью лошадьми.

— Вот он, вот он! — закричал вполголоса Ижорский.

— Да, это он! — повторил Рославлев, узнав экипаж Лидиной.

— О-о-ту его!.. — затянул протяжным голосом стремянный, показывая собакам русака, который отделился от леса.

— Береги, Рославлев, береги! — закричал Ижорский. — Вот он!.. О-ту его!.. Постой, братец! Куда ты, пострел? Постой!.. не туда, не туда!..

Но Рославлев был уже далеко. Он пустился, как из лука стрела, вниз по течению реки; собаки Ижорского

бросились вслед за ним; другие охотники были далеко, и заяц начал преспокойно пробираться лугами к большому лесу, который был у них позади. Ижорский бесился, кричал; но вскоре крик его заглушили отчаянные вопли ловчего Шурлова, который, выскакав вслед за гончими из *острова,* увидел эту непростительную ошибку. Он рвал на себе волосы, выл, ревел, осыпал проклятиями Рославлева; как полоумный пустился скакать по полю за зайцем, наскакал на пенек, перекувырнулся вместе с своею лошадью и, лежа на земле, продолжал кричать: «О-ту его — о-ту! береги, береги!..»

Меж тем Рославлев в несколько минут доскакал на своем черкесском коне до реки. Ах! как билось сердце влюбленного жениха! Казалось, оно готово было вырваться из груди его!.. Так; это они!.. они едут шибкой рысью по крутому противуположному берегу. Рославлев поравнялся с ними, его узнали, ему кричат; но он видит одну Полину... Вот она!.. Белый платок ее развевается по воздуху. О! если б лошадь его имела крылья, если б он мог перескочить чрез эту несносную реку, которая, как будто б радуясь, что разделяет двух любовников, крутилась, бушевала и, покрытая пеной, мчалась между крутых берегов своих. Рославлев хочет ехать берегом; но обширное болото перерезывает ему дорогу. Чтоб добраться до моста, ему надобно сделать большой объезд лесом. Он понукает свою лошадь, продирается сквозь частый кустарник, перепрыгивает через колоды и пеньки, летит, и — вот он опять в поле, опять видит вдали карету, которая, спустясь с крутого берега, взъехала на узкий мост. Кто-то в белом платье высунулся до половины из окна и смотрит ему навстречу... Это, верно, Полина. Вдруг дверцы растворились, раздался громкий крик, белое платье мелькнуло по воздуху, вода расступилась, закипела — и все исчезло. «Боже мой!..» — Рославлев ахнул, сердце его перестало биться, в глазах потемнело; он не видел даже, что вслед за белым платьем какой-то мужчина бросился в воду. Почти без чувств примчался он к берегу реки, которая в этом месте, стесняемая двумя островами, текла с необычайной быстротою. Мужчина пожилых лет употреблял почти нечеловеческие усилия, чтоб отплыть от берега, к которому его прибило быстрым течением; шагах в двадцати от него то показывалось поверх воды, то исчезало белое платье. Рославлев на всем скаку бросился в воду. Черкесский конь, привыкший переплывать горные потоки, с первого размаха

вынес его на средину реки; он повернул его по течению, но не успел бы спасти погибающую, если б, к счастию, ей не удалось схватиться за один куст, растущий на небольшом острове, вокруг которого вода кипела и крутилась ужасным образом. В ту самую минуту, как она, совершенно обессилев, переставала уже держаться за сучья, Рославлев успел обхватить ее рукою и выплыть вместе с нею на берег. Он соскочил с лошади, бережно опустил ее на траву и тут только увидел, что спас не свою невесту, а сестру ее Оленьку. «Это вы?..— сказала она слабым голосом.— Это ты... избавитель мой?..» — повторила она, обвив руками его шею; но вдруг глаза ее закрылись, и она без чувств упала на грудь Рославлева.

ГЛАВА VII

В начале июля месяца, спустя несколько недель после несчастного случая, описанного нами в предыдущей главе, часу в седьмом после обеда, Прасковья Степановна Лидина, брат ее Ижорский, Рославлев и Сурский сидели вокруг постели, на которой лежала больная Оленька; несколько поодаль сидел Ильменев, а у самого изголовья постели стояла Полина и домовый лекарь Ижорского, к которому Лидина не имела вовсе веры, потому что он был русский и учился не за морем, а в Московской академии. Он держал за руку больную и хотя не говорил еще ни слова, но нетрудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновалась.

— Поздравляю вас, сударыня! — сказал он наконец, обращаясь к Лидиной,— жару вовсе нет, пульс спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова, и только одна слабость... но это в несколько дней совсем пройдет.

— Точно ли вы уверены в этом? — спросила недоверчиво Лидина.

— Да, сударыня, и так уверен, что прошу вас приказать убрать все эти лекарства; теперь Ольге Николаевне нужны только покой и умеренность в пище.

— Умеренность в пище!.. Да она ничего не ест, сударь!

— Не беспокойтесь! будет кушать. А вам, сударыня! — продолжал лекарь, относясь к Полине,— я советовал бы отдохнуть и подышать чистым воздухом. Вот уж месяц, как вы не выходите из комнаты вашей сестрицы.

Вы ужасно похудели; посмотрите: вы бледнее нашей больной.

— Это правда,— перервала Лидина,— она так измучилась, chère enfant! * Представьте себе, бедняжка почти все ночи не спала!.. Да, да, mon ange! ** ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли, когда мы были в Париже и я занемогла? Хотя опасности никакой не было... Да, братец! там не так, как у вас в России: там нет болезни, которой бы не вылечили...

— Видно, оттого-то в Париже так много и жителей,— сказал шутя Федор Андреевич Сурский.

— И полно, сестра! — подхватил Ижорский,— да разве в Париже никто не умирает?

— Конечно, умирают; но только тогда, когда уже нет никаких средств вылечить больного.

— Извините! — сказал лекарь,— мне надобно ехать в город; я ворочусь сегодня же домой.

Когда он вышел из комнаты, Лидина спросила Оленьку: точно ли она чувствует себя лучше?

— Да, маменька! — отвечала тихим голосом больная,— я чувствую только какую-то усталость.

— Вы еще слабы,— сказал Сурский,— и это очень натурально, после такого сильного потрясения...

— Да, любезный! — перервал Ижорский,— нас всех перетряхнуло порядком; и меня со страстей в лихорадку бросило. Боже мой! вспомнить не могу!.. Дурак Сенька прибежал ко мне как шальной и сказал, что Оленька упала с моста, что ты, Сурский, вытаскивая ее из воды, пошел ко дну и что Рославлев, стараясь вас спасти обоих, утонул с вами вместе. Не знаю, как я усидел на лошади!.. Ну вот, прошу загадывать вперед! Охота, обед, музыка, все мои затеи пошли к черту. А я так радовался, что задам вам сюрприз: вы лишь только бы в палатку, а жених и тут!.. Роговая музыка грянула бы: *«желанья наши совершились»;* а там новую увертюру из «Дианина древа»! И что ж? Вместо этого всего русак ушел, Шурлов вывихнул ногу и Оленька чуть-чуть не утонула... Экой выдался денек!

— Я вам докладывал, Николай Степанович! — сказал Ильменев,— что поле будет незадачное. Извольте-ка припомнить: лишь только мы выехали из околицы, так нам и пырь в глаза батька Василий; а ведь, известное

---

* дорогое дитя! *(фр.)*
** мой ангел! *(фр.)*

дело, как с попом повстречаешься, так не жди ни в чем удачи.

— Полно врать, братец! Все это глупые приметы. Ну что имеет общего поп с охотою? Конечно, и я не люблю, когда тринадцать сидят за столом, да это другое дело. Три раза в моей жизни случалось, что из этих тринадцати человек кто через год, кто через два, кто через три, а непременно умрет; так тут поневоле станешь верить.

— В самом деле,— сказал улыбаясь, Сурский,— это странно! И все эти умирающие были люди молодые?

— Ну, нет! Один-то был уж лет семидесяти — такой старик здоровый! Вдруг свернуло, году не прожил после обеда, на котором он был тринадцатым.

— А я так думаю,— сказала Лидина,— что это несчастие случилось оттого, что у вас в России нет ничего порядочного: дороги скверные, а мосты!.. Dieu! quelle abomination! * Если б вы были во Франции и посмотрели...

— Полно, сестра! Что, разве мост подломился под вашей каретою? Прошу не погневаться: мост славный и строен по моему рисунку; а вот если б в твоей парижской карете дверцы притворялись плотнее, так дело-то было бы лучше. Нет, матушка, я уверен, что наш губернатор полюбуется на этот мостик... Да, кстати! Меня уведомляют, что он завтра приедет в наш город; следовательно, послезавтра будет у меня обедать.

— Пелагея Николаевна! — сказал Сурский,— лекарь говорил правду: вы так давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасное, что б вам не погулять?

— А он пойдет вместе с тобою,— шепнула Оленька.— Ведь вы еще не успели двух слов сказать друг другу.

— Поди, мой ангел! — сказала Лидина.— Владимир Сергеевич, ступайте с нею в сад.

— Ну что ж ты задумалась, племянница? — закричал Ижорский.— Полно, матушка, ступай! Ведь смерть самой хочется погулять с женихом. Ох вы, барышни! А ты что смотришь, Владимир? Под руку ее, да и марш!

— Возьми, мой друг, с собой зонтик,— сказала Лидина Полине, которая решилась наконец оставить на несколько времени больную.— Вот тот, что я купила те-

---

* Боже! какая мерзость! *(фр.)*

бе — помнишь, в Пале-Рояле? Он больше других и лучше закроет тебя от солнца.

— Знаешь ли, сестра! — примолвил вполголоса Ижорский, смотря вслед за Рославлевым, который вышел вместе с Полиною,— знаешь ли, кто больше всех пострадал от этого несчастного случая? Ведь это он! Свадьба была назначена на прошлой неделе, а бедняжка Владимир только сегодня в первый раз поговорит на свободе с своей невестою. Не в добрый час он выехал из Питера!

— Мне нельзя согласиться с вами, дядюшка! — сказала больная.— Если б он выехал одним часом позже из Петербурга, то, вероятно, меня не было бы на свете.

— Да, он подоспел в пору.

— Так в самом деле,— спросила Лидина,— он один спас Оленьку?

— А с нею и меня,— отвечал Сурский,— судя по тому, как трудно мне было одному выбраться на берег. Нет сомнения, что я не спас бы Ольгу Николаевну, а утонул бы с нею вместе!

— Добрый Рославлев!.. Я, право, люблю его, как родного сына,— примолвила Лидина.— Одно мне только в нем не нравится — этот несносный патриотизм, и не странно ли видеть, что человек образованный сходит с ума от всего русского?.. Comme c'est ridicule! * Скажите мне, monsieur Сурский, d'où vient cela? ** Он, кажется, хорошо воспитан?

— Да, сударыня! — отвечал с улыбкою Сурский,— он очень хорошо воспитан; а если имеет слабость любить Россию, так это, вероятно, потому, что он не француз.

— Да не вовсе и русский, братец!—подхватил Ижорский.— Вы оба с ним порядком обыноземились. Я сам, благодаря бога, не невежда и знаю кой-что, а не стану вопить, как вопите вы и ваша заморская челядь против нашей дворянской роскоши. Нет, братец! не походите вы оба на русских бояр. Ты, любезный, зарылся в книги, как профессор, живешь каким-то философом, да и Владимир не лучше тебя. Ну, поверишь ли, сестра, как я ему сказал, что у меня без малого четыреста душ дворовых, так он ахнул?.. «Ах, батюшки! четыреста душ!.. Помилуйте! ведь они ничего не делают, а только даром

* Как это смешно! *(фр.)*
** откуда это берется? *(фр.)*

хлеб едят».— «Как ничего? а разве меня не тешут?» — «Да на что вам такая орава?» — «Вот забавно! Стану я считать, сколько у меня людей! Что я, немецкий барон, что ль, какой-нибудь? Нет, сударь! я русский столбовой дворянин и, прошу не погневаться, колокольчика к моим дверям привешивать не стану».

— Подлинно, сударь, вы столбовой русский боярин! — сказал Ильменев, взглянув с подобострастием на Ижорского.— Чего у вас нет! Гости ли наедут — на сто человек готовы постели; грунтовой сарай на целой десятине, оранжереям конца нет, персиков, абрикосов, дуль, всякого фрукта... Господи боже мой!.. ешь — не хочется! Истинно куда ни обернись — все барское! В лакейскую, что ль, заглянешь? так, нечего сказать, глаза разбегутся — целая барщина; да что за народ?.. молодец к молодцу!

Ижорский гордо улыбнулся, призадумался, потом вынул огромную золотую табакерку, понюхал с расстановкою табаку и, взглянув ласково на Ильменева, сказал:

— Послушай, Прохор Кондратьевич! в самом деле, чалая донская не по тебе. Знаешь мою гнедую, с белой лысиной?

— Как не знать, батюшка! лошадь богатая: тысячи полторы стоит!

— Так по рукам, братец! Она твоя!

— Как, сударь?

— Ну да, твоя! Езди себе на здоровье да смотри похваливай наш заводец!

Ильменев онемел от восторга и удивления; а когда опомнился, то от избытка благодарности заговорил такую нескладицу, что Ижорский, захохотав во все горло, закричал:

— Полно, любезный, полно! заврался!.. Да будет, братец! доскажешь в другое время!

В продолжение этого разговора Рославлев, ведя под руку свою невесту, шел тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерезывала на две равные половины обширный регулярный сад, разведенный еще отцом Лидиной. Есть минуты блаженства, в которые язык наш немеет от избытка сердечной радости. Рославлев не говорил ни слова, но он не сводил глаз с своей невесты; он был вместе с нею; рука его касалась ее руки; он чувствовал каждое биение ее сердца; и когда тихий вздох, вылетая из груди ее, сливался с воздухом, которым он дышал, когда взоры их встречались... о! в эту минуту он

не желал, он не мог желать другого блаженства! То, что в свете называют *страстию,* это бурное, мятежное ощущение всегда болтливо; но чистая, самим небом благословляемая любовь, это чувство величайшего земного наслаждения, не изъясняется словами.

Пройдя во всю длину аллеи, которая оканчивалась густою рощею, Полина остановилась.

— Я что-то устала,— шепнула она тихим голосом.

— Сядемте,— сказал Рославлев.

— Только, бога ради! не здесь, подле этих грустных, обезображенных лип. Пойдемте в рощу. Я люблю отдыхать вот там, под этой густой черемухой. Не правда ли,— продолжала Полина, когда они, войдя в рощу, сели на дерновую скамью,— не правда ли, что здесь и дышишь свободнее? Посмотрите, как весело растут эти березы, как пушисты эти ракитовые кусты; с какою роскошью подымается этот высокий дуб! Он не боится, что придет садовник и сровняет его с другими деревьями.

— И я также не люблю этих подстриженных деревьев,— сказал Рославлев.— Они так единообразны, так живо напоминают нам стены домов, в которых мы должны поневоле запираться зимою. Какая разница!.. Здесь в самом деле и дышишь свободнее! Эта густая зелень, эта дикая, простая природа — все наполняет душу какой-то тихой радостию и спокойствием. Мне кажется... да, Полина! мне кажется, что здесь только, сокрытые от всех взоров, мы совершенно принадлежим друг другу; и только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни в целом мире, тогда только я чувствую вполне все мое счастие!

— Так вы очень меня любите? — спросила Полина, чертя задумчиво по песку своим зонтиком.— Очень?..

— Более всего на свете!

— И стали б любить даже и тогда, если б я была несправедлива, если б заплатила за любовь вашу одной неблагодарностию?

— Да, Полина, и тогда! Не в моей власти не любить вас. Это чувство слилось с моей жизнию. Дышать и любить Полину — для меня одно и то же!

— А если бы, для счастия моего, было необходимо, чтоб вы навсегда от меня отказались?..

— Навсегда?..

— Да; если б я потребовала от вас этой жертвы?

— Какая ужасная шутка!

— Но что бы вы сделали, если б я говорила не шутя?

Если б в самом деле от этого зависело все счастие моей жизни?

— Все ваше счастие?.. И вы можете меня спрашивать!

— Вы отказались бы добровольно от руки моей?

— Я сделал бы более, Полина! Чтоб совесть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю.

— Добрый Волдемар! — сказала Полина, взглянув с нежностью на Рославлева.— Ах! какую тягость вы сняли с моего сердца! Итак, вы, верно, согласитесь...

— На что? — вскричал Рославлев, побледнев, как приговоренный к смерти.

— Отсрочить еще на два месяца нашу свадьбу.

— На два месяца!!

— Друг мой! — сказала Полина, прижав к своему сердцу руку Рославлева,— не откажи мне в этом! Я не сомневаюсь, не могу сомневаться, что буду счастлива, но дай мне увериться, что и я могу составить твое счастие; дай мне время привязаться к тебе всей моей душою, привыкнуть мыслить об одном тебе, жить для одного тебя, и если можно,— прибавила она так тихо, что Рославлев не мог расслышать слов ее,— если можно забыть все, все прошедшее!

— Но два месяца, Полина!..

— Ах, мой друг, почему знать, может быть, ты спешишь сократить лучшее время в твоей жизни! Не правда ли? Ты согласен отсрочить нашу свадьбу?

— Я не стану обманывать тебя, Полина! — сказал Рославлев после короткого молчания.— Одна мысль, что я не прежде двух месяцев назову тебя моею, приводит меня в ужас. Чего не может случиться в два месяца?.. Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться!

— Благодарю тебя, мой друг! О, будь уверен, любовь моя вознаградит тебя за эту жертву. Мы будем счастливы... да, мой друг! — повторила она сквозь слезы,— совершенно счастливы!

Вдруг позади их загремел громкий, отвратительный хохот. Полина вскрикнула; Рославлев также невольно вздрогнул и поглядел с беспокойством вокруг себя. Ему показалось, что в близком расстоянии продираются сквозь чащу деревьев; через несколько минут шорох стал отдаляться, раздался снова безумный хохот, и кто-то диким голосом запел: *со святыми упокой.*

— Это сумасшедшая Федора,— сказала Полина.— Как чудно,— прибавила она, покачав печально голо-

вою,— что в ту самую минуту, как я говорила о будущем нашем счастии...

— Зачем эту сумасшедшую пускают к вам в сад? — перервал Рославлев.

— Роща не огорожена, впрочем, эта несчастная не делает никому вреда.

— Но она может испугать, ее сумасшествие так ужасно!..

— Ах, она очень жалка! Пять лет тому назад она сошла с ума от того, что жених ее умер накануне их свадьбы.

— Накануне свадьбы! — повторил вполголоса Рославлев.— Один день — и вечная разлука!.. А два месяца, мой друг!..

— Вот дядюшка и маменька,— перервала Полина,— пойдемте к ним навстречу.

— Ну что, страстные голубки, наговорились, что ль? — закричал Ижорский, подойдя к ним вместе с своей сестрой и Ильменевым.— Что, Прохор Кондратьевич, ухмыляешься? Небось, любуешься на жениха и невесту? То-то же! А что, чай, и ты в старину гулял этак по саду с твоей теперешней супругою?

— Что вы, батюшка! Ее родители были не нынешнего века — люди строгие, дай бог им царство небесное! Куда гулять по саду! Я до самой почти свадьбы и голоса-то ее не слышал. За день до венца она перемолвила со мной в окно два словечка... так что ж? Матушка ее подслушала да ну-ка ее с щеки на щеку — так разрумянила, что и боже упаси! Не тем помянута, куда крута была покойница!

— А где Федор Андреевич? — спросила Полина у своего дяди.

— Сурский? Уехал домой.

— Так Оленька одна? Я пойду к ней; а вы,— шепнула она Рославлеву,— останьтесь здесь и погуляйте с дядюшкой.

Больная не заметила, что Полина вошла к ней в комнату. Облокотясь одной рукой на подушки, она сидела задумавшись на кровати; перед ней на небольшом столике стояла зажженная свеча, лежал до половины исписанный почтовый лист бумаги, сургуч и все, что нужно для письма.

— Ну что, как ты себя чувствуешь — спросила Полина.

— Ах, это ты? — сказала Оленька.— Как ты меня

испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду с твоим женихом.

— Он остался там с дядюшкой.

— Но ему, верно, было бы приятнее гулять с тобою. Зачем ты ушла?

— К кому ты пишешь? — спросила Полина, не отвечая на вопрос своей сестры.

— В Москву, к кузине Еме. Она, верно, думает, что ты уже замужем.

— Может быть.

— Я не знаю, что мне написать о твоей свадьбе? Ведь, кажется, на будущей неделе?..

— Нет, мой друг!

— А когда же?

— Ты станешь бранить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу еще на два месяца.

— Как! — вскричала больная,— еще на два месяца?

— Сначала это его огорчило...

— А потом он согласился?

— Да, мой друг! он так меня любит!

— Слишком, Полина! Слишком! Ты не стоишь этого.

— Ну вот! я знала, что ты рассердишься.

— Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имеешь над этим добрым, милым Рославлевым! над этим... Чему ж ты смеешься?

— Знаешь ли, Оленька? Мне иногда кажется, что ты его любишь больше, чем я. Ты всегда говоришь о нем с таким восторгом!..

— А ты всегда говоришь глупости,— сказала Оленька с приметной досадою.

— То-то глупости! — продолжала Полина, погрозив ей пальцем.— Уж не влюблена ли ты в него? — смотри!

Оленька поглядела пристально на сестру свою: губы ее шевелились; казалось, она хотела улыбнуться, но вдруг вся бледность исчезла с лица ее, щеки запылали, и она, схватив с необыкновенною живостию руку Полины, сказала:

— Да, я люблю его как мужа сестры моей, как надежду, подпору всего нашего семейства, как родного моего брата! А тебя почти ненавижу за то, что ты забавляешься его отчаянием. Послушай, Полина! Если ты меня любишь, не откладывай свадьбы, прошу тебя, мой друг! Назначь ее на будущей неделе.

— Так скоро? Ах, нет! Я никак не решусь.

— Скажи мне откровенно: любишь ли ты его?

— Да! — отвечала вполголоса Полина.

— Так зачем же ты это делаешь? Для чего заставляешь жениха твоего думать, что ты своенравна, прихотлива, что ты забавляешься его досадою и огорчением? Подумай, мой друг! он не всегда останется женихом, и если муж не забудет о том, что сносил от тебя жених, если со временем он захочет так же, как ты, употреблять во зло власть свою...

— О, не беспокойся, мой друг! Ты не услышишь моих жалоб.

— Но разве тебе от этого будет легче? Нет, Полина! нет, мой друг! Ради бога не огорчай доброго Волдемара! Почему знать, может быть, будущее твое счастие... счастие всего нашего семейства зависит от этого.

Полина задумалась и после минутного молчания сказала тихим голосом:

— Но это уже решено, мой друг!

— Между тобой и женихом твоим. Не думаешь ли, что он будет досадовать, если ты переменишь твое решение? Я, право, не узнаю тебя, Полина; ты с некоторого времени стала так странна, так причудлива!.. Не упрямься, мой друг! Подумай, как ты огорчишь этим маменьку, как это неприятно будет Сурскому, как рассердится дядюшка...

— Боже мой, боже мой! — сказала Полина почти с отчаянием,— как я несчастлива! Вы все хотите...

— Твоего благополучия, Полина!

— Моего благополучия!.. Но почему вы знаете... и время ли теперь думать о свадьбе? Ты больна, мой друг...

— О, если ты желаешь, чтоб я выздоровела, то согласись на мою просьбу. Я не буду здорова до тех пор, пока не назову братом жениха твоего; я стану беспрестанно упрекать себя... да, мой друг! я причиною, что ты еще не замужем. Если б я была осторожнее, то ничего бы не случилось: вы были бы уже обвенчаны; а теперь... Боже мой, сколько перемен может быть в два месяца!.. и если почему-нибудь ваша свадьба разойдется, то я вечно не прощу себе. Полина! — продолжала Оленька, покрывая поцелуями ее руки,— согласись на мою просьбу! Подумай, что твое упрямство может стоить мне жизни! Я не буду спокойна днем, не стану спать ночью; я чувствую, что болезнь моя возвратится, что я не перенесу ее... согласись, мой друг!

Полина молчала; все черты лица ее выражали нерешимость и сильную душевную борьбу. Трепеща, как

преступница, которая должна произнести свой собственный приговор, она несколько раз готова была что-то сказать... и всякий раз слова замирали на устах ее.

— Так! я должна это сделать,— сказала она наконец решительным и твердым голосом,— рано или поздно — все равно! — С безумной живостью несчастливца, который спешит одним разом прекратить все свои страдания, она не сняла, а сорвала с шеи черную ленту, к которой привешен был небольшой золотой медальон. Хотела раскрыть его, но руки ее дрожали. Вдруг с судорожным движением она прижала его к груди своей, и слезы ручьем потекли из ее глаз.

— Что это значит?.. Что с тобой?..— вскричала Оленька.

— Ничего, мой друг! ничего! — отвечала, всхлипывая, Полина,— успокойся, это последние слезы. Ах, мой друг! он исчез! этот очаровательный... нет, нет! этот тяжкий, мучительный сон! Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы.

Полина раскрыла медальон и вынула из него нарисованное на бумаге грудное изображение молодого человека; но прежде, чем она успела сжечь на свече этот портрет, Оленька бросила на него быстрый взгляд и вскричала с ужасом:

— Возможно ли?..

— Да, мой друг!

— Как! ты любишь?..

— Молчи, ради бога не называй его!

— И я не знала этого!

— Прости меня! — сказала Полина, бросившись на шею к сестре своей.— Я не должна была скрывать от тебя... Безумная!.. я думала, что эта тайна умрет вместе со мною... что никто в целом мире... Ах, Оленька! я боялась даже тебя!..

— Но скажи мне?..

— После, мой друг! после. Дай мне привыкнуть к мысли, что это был бред, сумасшествие, что я видела его во сне. Ты узнаешь все, все, мой друг! Но если его образ никогда не изгладится из моей памяти, если он, как неумолимая судьба, станет между мной и моим мужем?.. о! тогда молись вместе со мною, молись, чтоб я скорей переселилась туда, где сердце умеет только любить и где любовь не может быть преступлением!

Полина склонила голову на грудь больной, и слезы

ее смешались с слезами доброй Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла:

— Да, да, мой друг! это был один сон! Забудь о нем, и ты будешь счастлива!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте, в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его, Лидиной, небольшим лугом и узенькой речкою. Испещренный всеми возможными цветами китайский мостик, перегибаясь чрез речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого дома. Трудно было бы решить, к какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание: все роды древние и новейшие были в нем перемешаны, как языки при вавилонском столпотворении. Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческий фронтон; четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами, а из средины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорский называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности; но всего любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками лежали резные берестовые тавлинки; подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки — под именем этрурских ваз; образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом; подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки; за стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорский называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; все сте-

ны завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдавшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы: куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостию: «Кому другому, а мне Бюффон не надобен. Вот он в лицах!»

Спустя два дня после описанного нами разговора двух сестер, часу в десятом утра, в доме Ижорского шла большая суматоха. Дворецкий бегал из комнаты в комнату, шумел, бранился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям и дворовым женщинам, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всем доме. Сам барин, в пунцовом атласном шлафроке, смотрел из окна своего кабинета, как целая барщина занималась уборкой сада. Везде усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; одним словом, все доказывало, что хозяин ожидает к себе необыкновенного гостя. Несколько уже минут он морщился, смотря на работающих.

— Ну так и есть! — сказал он наконец с досадою,— я не вижу и половины мужиков! Эй, Трошка! беги скорей в сад, посмотри: всю ли барщину выгнали на работу?

Слуга, спеша исполнить данное ему приказание, бросился опрометью вон из дверей и чуть не сшиб с ног Сурского и Рославлева, которые входили в кабинет.

— А, любезные! милости просим! — закричал Ижорский.— Кстати пожаловали: вы мне пособите! Ум хорошо, а два лучше!

— Да что у тебя такое сегодня? — спросил Сурский.

— Как что? Я получил записку из города: сегодня обедает у меня губернатор.

— Вот что! Да ведь ты хотел принять его запросто?

— Эх, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Ведь я не кто другой — не Ильменев же в самом деле! Ну что, Трошка?! — спросил он входящего слугу.

— Староста, сударь, выгнал в сад только половину барщины.

— Ах он мерзавец! Да как он смел? Вот я его проучу! Давай его сюда!.. Эка бестия! все умничает! Уж и на прошлой неделе он мне насолил; да счастлив, разбойник... Погода была так сыра, что электрическая машина вовсе не действовала.

— Электрическая машина! — повторил с удивлением Сурский.

— Да, братец! Я бить не люблю, и в наш век какой порядочный человек станет драться? У меня вот как провинился кто-нибудь — на машину! Завалил ему ударов пять, шесть, так впредь и будет умнее; оно и памятно и здорово. Чему ж ты смеешься, Сурский? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больных и домового лекаря, так я от всех болезней лечил машиною.

— Смотри пожалуй!.. И, верно, многих вылечивал?

— Случалось, братец! Да вот, например, года два тому назад привели ко мне однажды Антона-скотника; взглянуть было жалко! Ревматизм, что ль, подагра ли — право, не знаю; только вовсе обезножел. Вот я навертел, навертел!.. время было сухое — машина так и трещит! Велел ему взяться за цепочку, благословился, да как щелк!.. Гляжу, мужик мой закачался. Я еще... он и с ног долой. Глядь-поглядь — ахти худо! язык отнялся, глаза закатились; ну умер, да и только! Другой бы испугался, а я так нет. Благодарю моего создателя — не сробел! Ну-ка его лежачего удар за ударом. Что ж, сударь? Очнулся! Да как вскочит, батюшка!.. Господи боже мой! откуда ноги взялись.

— Как! побежал?

— Да так, сударь, что и догнать не могли.

— Подлинно диковинка! — сказал Сурский.— И он совсем выздоровел?

— Как же, братец! Как рукой сняло! И теперь еще здоровехонек... А, голубчик! — закричал Ижорский, увидя входящего старосту.— Поди-ка сюда! Так-то ты выполняешь мои приказания? Отчего не вся барщина в саду?

— Виноват, батюшка! — отвечал староста, отвесив низкий поклон.— Я другую половину барщины выслал на вашу же господскую работу.

— На какую работу?

— На сенокос, батюшка!

— На сенокос!.. Нашел время косить, скотина! Ну вот, братец! — продолжал хозяин, обращаясь к Сурскому,— толкуй с этим народом! Ты думаешь о деле, а он косить. Сейчас выслать всю барщину в сад. Слышишь?

— Слушаю, батюшка! Только, воля ваша, если мы едак день за день...

— Прошу покорно!.. Ах ты, дуралей! Что ты, учить, что ль, меня вздумал?..

— Да не сердись на него,— перервал Сурский,— ведь он заботится о твоей же пользе.

— Не его дело рассуждать, в чем моя польза. Ну, что стоишь? Пошел!

Староста, поклонясь в пояс, вышел из комнаты.

— Да что ж, я не дождусь лекаря? — продолжал Ижорский.— Трошка! ступай скажи ему, что я его два часа уж дожидаюсь... А вот и он... Помилуй, батюшка, Сергей Иванович! Тебя не дозовешься.

— Извините! — сказал лекарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву,— я позамешкался: осматривал больницу.

— Я за этим-то тебя и спрашивал. Ну что, все ли в порядке?

— Кажется, все.

— Ну, то-то же! О моей больнице много толков было в губернии. Смотри, чтоб нам при его превосходительстве себя лицом в грязь не ударить. Все ли расставлено в порядок и прибрано в аптеке?

— Точно так же, как и всегда, Николай Степанович!

— Как и всегда! Ну, так и есть — я знал! Эх, братец! Ведь я тебе толком говорил: сегодня будет губернатор, так надобно... ну, знаешь, любезный!.. товар лицом показать.

— Я вам докладываю, что все в порядке.

— А в больнице?

— Окна и полы вымыты, белье чистое...

— А прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделениям?

— Хоть это бы и не нужно: у нас больница всего на десять кроватей; но так как вам это угодно, то я прибил местах в трех надписи.

— На латинском языке?

— На латинском и русском.

— Хорошо, братец, хорошо! А сколько у нас больных?

— Теперь ни одного.

— Как ни одного? — вскричал с ужасом Ижорский.

— Да, сударь! Третьего дня я выписал последнего больного — Илюшку-кучера.

— Зачем?

— Он выздоровел.

— Да кто тебе сказал, что он выздоровел? с чего ты взял? Возможно ли — ни одного больного! Ну вот, господа, заводи больницы!.. ни одного больного!

— Так что ж, мой друг? — сказал Сурский.

— Как что ж? Да слышишь: ни одного больного! Что ж, я буду комнаты одни показывать? Ну, батюшка, Сергей Иванович! дай бог вам здоровья, потешили меня... ни одного больного!

— Помилуйте! что ж мне делать?

— Что делать? А позвольте вас спросить: за что я плачу вам жалованье? Вы получаете тысячу рублей в год, квартиру, стол, экипаж — и ни одного больного! Что это за порядок? На что это походит? Эх! правду говорит сестра: вот вам и русский доктор — ни одного больного! Ах, боже мой! Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вам — поднесли мне красное яичко,— ни одного больного! Да, кончено, господин русский доктор, кончено! Во что б ни стало заведу немца... да, сударь, немца! У него будут больные! Господи боже мой! ни одного больного!.. Смейтесь, господа, смейтесь. Вам что за горе! Не вы станете показывать больницу губернатору.

— А что, Рославлев,— сказал шутя Сурский,— не выкупить ли нам его из беды! Прикинемся-ка больными!

— Эх, братец, что за шутки!

— Какие шутки? Ведь губернатор не станет больных осматривать, только бы постели-то не были пусты.

— А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... в самом деле!.. Эй, Трошка! Дворецкого, проворней!

— Что вы хотите делать? — спросил Рославлев.

— Постой, братец, постой!.. авось как-нибудь... Что в самом деле? Не велика фигура полежать денек.

— Как?.. вы хотите?..

— Эх, братец, не мешай! Добро, так и быть! ступай домой, Сергей Иванович; да смотри, чтоб вперед этого не было. Теперь у нас будут и без тебя больные. Слушай, Парфен! — продолжал Ижорский, идя навстречу к дворецкому,— у нас теперь в больнице нет никого больных...

— Да, сударь, слава богу!

— Врешь, дурак! осел! слава богу!.. Что, я губернатору-то пустые стены стану показывать? Мне надобно больных — слышишь?

— Слушаю, сударь! Да где ж я их возьму?

— И знать не хочу — чтоб были!

— Слушаю, сударь!

— Да постой-ка, Парфен! Ты что-то больно изменился в лице,— уж здоров ли ты?

— Слава богу-с!

— То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, как

у тебя глаза ввалились. Эх, Парфен! ты точно разнемогаешься. Не полечиться ли, брат?

— Нет уж, батюшка, Николай Степанович, помилуйте! Авось в дворне и без меня найдутся хворые.

— Да как не быть. Ступай же проворнее.

— А на всякий случай, что прикажете, если охотников не найдется?

— Ну, что тут спрашивать, дурачина! Вышел на улицу, да и хватай первого, кто попадется: в больницу, да и все тут! Что, в самом деле, барин я или нет?

— Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить с семьи по брату?

— И то дело! Смотри, отбери тех, которые пощедушнее. Правда, в отделение водяной болезни надобно кого-нибудь потолще да подюжее!..

— Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: ведь он распретолстый-толстый; а рожа-то так и расплылась.

— В самом деле, уговори его, братец.

— Дать ему рубли полтора, так он целые сутки пролежит как убитый.

— Брось ему целковый. Да нет ли у тебя на примете кого-нибудь этак похуже, чтоб, знаешь, годился для чахотного отделения?

— Похуже?.. Постойте-ка, сударь! Да чего ж лучше? Сапожник Андрюшка. Сухарь! Уж худощавее его не найдешь во всем селе: одни кости да кожа.

— Точно, точно! Ай да Парфен! спасибо, брат! Ну, ступай же поскорей. Двое больных есть, а остальных подберешь. Да строго накажи им, как придут осматривать больницу, чтоб все лежали смирно.

— Слушаю, сударь!

— Не шевелились, колпаков не снимали и погромче охали.

— Слушаю, сударь!

— Ну, ступай! Ты смеешься, Сурский. Я и сам знаю, что смешно: да что ж делать? Ведь надобно ж чем-нибудь похвастаться. У соседа Буркина конный завод не хуже моего; у княгини Зориной оранжереи больше моих; а есть ли у кого больница? Ну-тка, приятель, скажи? К тому ж это и в моде... Нет, не в моде...

— Вы хотите сказать: в духе времени,— перервал Рославлев.

— Да, в духе времени. Это уж, братец, не экономическое заведение, а как бишь, постой...

— Человеколюбивое,— сказал Сурский.

— Да, да! человеколюбивое! а эти заведения нынче в ходу, любезный. Почему знать?.. От губернатора пойдет и выше, а там... Да что загадывать; что будет, то и будет... Ну, теперь рассуди милостиво! Если б я стал показывать пустую больницу, кого бы удивил? Ведь дом всякий выстроить может, а надпись сделать не фигура.

— Да у тебя, как я вижу, большие планы, любезный! — сказал с улыбкою Сурский.— Ты хочешь прослыть филантропом.

— Полно, брат! по-латыни-та говорить! Не об этом речь: я слыву хлебосолом, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не едут? Я разослал ко всем соседям приглашения: того и гляди, станут наезжать гости; одному мне не управиться, так сестра бы у меня похозяйничала. А уж на будущей неделе я стал бы у нее хозяйничать,— прибавил Ижорский, потрепав по плечу Рославлева.— Что, брат, дождался наконец? Ведь свадьба твоя решительно в воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далее моего счастия.

— Порядком же она тебя помаяла. Да и ты, брат! — не погневайся — зевака. Известное дело, невеста сама не скажет: пора-де под венец! Повернул бы покруче, так дело давно бы было в шляпе. Да вот, никак, они едут. Ну что стоишь, Владимир? Ступай, братец! вынимай из кареты свою невесту.

Хотя здоровье Оленьки не совсем еще поправилось, но она выходила уже из комнаты, и потому Лидина приехала к Ижорскому с обеими дочерьми. При первом взгляде на свою невесту Рославлев заметил, что она очень расстроена.

— Что с вами сделалось, Полина? — спросил он.— Здоровы ли вы?

— C'est une folle! * — сказала Лидина.— Представьте себе, я сейчас получила письмо из Москвы от кузины; она пишет ко мне, что говорят о войне с французами. И как вы думаете? ей пришло в голову, что вы пойдете опять в военную службу. Успокойте ее, бога ради!

— Я надеюсь,— отвечал Рославлев,— что Наполеон не решится идти в Россию; и в таком случае даю вам честное слово, что не надену опять мундира.

— А если он решится на это?

— Тогда эта война сделается народною, и каждый

---

* Это сумасшедшая! *(фр.)*

русский обязан будет защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мне не беспокойтесь! Мы уедем в наши тамбовские деревни. Россия велика; а сверх того, разве Наполеон не был в Германии и Италии? Войска дерутся, а жителям какое до этого дело? Неужели мы будем перенимать у этих варваров — испанцев?

— Но наша национальная честь, сударыня... наша слава?

— И полноте! Вы ни в каком случае не пойдете в военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россия вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей неделе, то и не думайте о службе; в противном случае оставайтесь женихом до окончания войны. Я не хочу, чтоб Полина рисковала сделаться вдовою или, что еще хуже, чтоб муж ее воротился без руки или ноги... Но вот брат; перестанемте говорить об этом. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте уверены, что ни за что не переменю моего решения. Quelle folie! * Во Франции женятся для того, чтоб не попасть в конскрипты **, а вы накануне вашей свадьбы хотите идти в военную службу.

— Насилу ты, сестра, приехала! — закричал Ижорский, идя навстречу к Лидиной.— Ступай, матушка, в гостиную хозяйничать, вон кто-то уж едет.

— Что за экипаж! — сказала Лидина.— Неужели это карета?

— Не погневайтесь, сударыня! домашней работы. Это едет Ладушкин.

— Ах, боже мой!.. и в восемь лошадей!

— Разумеется, он человек расчетливый: ведь они будут целый день на чужом корму.

— А это кто? посмотрите с правой стороны — как будто б в дилижансе?

— Это катит в своей восьмиместной линее княгиня Зорина со всем семейством.

— Какой ридикюльный экипаж!

— Не щеголеват, да покоен, матушка. А вон, никак, летит на удалой тройке сосед Буркин. Экие кони!.. Ну, нечего сказать, славный завод! И откуда, разбойник, достал маток? Все чистой арабской породы! Вот еще кто-

* Какое безумие! *(фр.)*
** рекруты.

то... однако мне пора приодеться; а вы, барыни, ступайте-ка в гостиную да принимайте гостей.

Рославлев взял под руку Сурского и, отведя его к стороне, рассказал ему свой разговор с Лидиной.

— Что ж ты намерен делать? — спросил Сурский, помолчав несколько времени.

— А что сделаете вы, если у нас будет народная война?

— Я не жених, мой друг! Мое положение совершенно не сходно с твоим.

— Однако ж что вы сделаете?

— Сниму со стены мою заржавленную саблю и пойду драться.

— И после этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослужив сорок лет с честию, отдав вполне свой долг отечеству, готовы снова приняться за оружие, то может ли молодой человек, как я, оставаться простым зрителем этой отчаянной и, может быть, последней борьбы русских с целой Европою? Нет, Федор Андреевич, если б я навсегда должен был отказаться от Полины, то и тогда пошел бы служить; а постарался бы только, чтоб меня убили на первом сражении.

— Я не сомневался в этом,— сказал Сурский, пожав руку Рославлеву.— Да, мой друг! всякая частная любовь должна умолкнуть перед этой общей и священной любовью к отечеству!

— Но, может быть, это одни пустые слухи, и войны не будет.

— Нет, мой друг! — сказал Сурский, покачав сомнительно головою,— мы дошли до такого положения, что даже не должны желать мира. Наполеон не может иметь друзей: ему нужны одни рабы; а благодаря бога наш царь не захочет быть ничьим рабом; он чувствует собственное свое достоинство и не посрамит чести великой нации, которая при первом его слове двинется вся навстречу врагам. У нас нет крепостей, но русские груди стоят их. Я также получил письмо из Москвы, и хотя война еще не объявлена, а вряд ли уже мы не деремся с французами.

Широкоплечий, вершков десяти ростом, господин в коричневом длинном фраке, из кармана которого торчал чубук с янтарным мундштуком, войдя в комнату, перервал разговор наших приятелей.

— Здравствуйте, батюшка Федор Андреевич! — заревел он толстым басом.— Бог вам судья! Я неделю про-

валялся в постели, а вы нет чтоб проведать, жив ли, дискать, мой сосед Буркин.

— Я, право, не знал, чтобы вы были нездоровы,— сказал Сурский.

— Да, сударь, чуть было не прыгнул в Елисейские. Вы знаете моего персидского жеребца, Султана? Я стал показывать конюху, как его выводить,— черт знает что с ним сделалось! Заиграл, да как хлысть меня под самое дыханье! Поверите ль, света божьего невзвидел! Как меня подняли, как раздели, как Сенька-коновал пустил мне кровь — ничего не помню! Насилу на другой день очнулся.

— Напрасно вы так неосторожны.

— И, батюшка, на грех мастера нет! Как убережешься? Да вот спросите Владимира Сергеевича: он был кавалеристом, так знает, как обращаться с лошадьми, а верно, и его бивали — нельзя без этого. Да кстати, Владимир Сергеевич!.. взгляните-ка на мою тройку; ведь вы знаток.

— Позвольте мне после ею полюбоваться. Хозяин просил меня принимать гостей, а вот, кажется, приехал Ладушкин.

— И ее сиятельство княгиня Зорина. За версту узнаю ее шестерню. Охота же кормить овсом таких одров! Эки клячи — одна другой хуже!

Часа через два весь двор Николая Степановича Ижорского наполнился дормезами, откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, из которых многие, по древности своей, могли бы служить украшением собранию редкостей хозяина. В ожидании обеда дамы чиннехонько сидели на канапе в гостиной, разговаривали меж собою вполголоса, бранили отсутствующих и, стараясь перенимать парижские манеры Лидиной, потихоньку насмехались над нею. Барышни прогуливались по саду; одни говорили о новых московских модах, другие расспрашивали Полину и Оленьку о Франции и, желая показать себя перед *парижанками,* коверкали без милосердия несчастный французский язык. В числе этих гостей первое место занимали две институтки, милые, образованные девицы, с которыми Лидины были очень дружны, и княжны Зорины, три взрослые невесты, страстные любительницы изящных художеств. Старшая не могла говорить без восторга о живописи, потому что сама копировала головки en pastel; * средняя приходила

* пастелью *(фр.).*

почти в исступление при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепианах его увертюры; а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой певицы Мары, до того была чувствительна к собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца «ombra adorata» * без того, чтоб с ней не сделалось дурно. Эти три сестры, которых и в стихах нельзя было назвать тремя грациями, прогуливались вместе и поодаль от других. Сделав несколько замечаний насчет украшений сада, посмеясь над деревянным раскрашенным китайцем, который с огромным зонтиком стоял посреди одной куртины, и над алебастровой коровою, которая паслась на небольшом лугу, они сели на скамейку против террасы дома, уставленной померанцевыми деревьями. В эту самую минуту сошел с нее Рославлев.

— Как смешон этот жених! — сказала средняя сестра.— Он только и видит свою невесту. Неужели он в самом деле влюблен в нее? Какой странный вкус!

— Il est pourtant bel homme! ** — возразила старшая.— Посмотрите, какой греческий профиль, какая правильная фигура, как все *позы* его грациозны!..

— Да, он недурен собою,— прибавила меньшая княжна.— Заметили ль, какой у него густой и приятный орган? Я уверена, у него должен быть или бас, или баритон, и если он поет «ombra adorata»...

— Я слышала, что он играет хорошо на скрыпке,— перервала средняя,— и признаюсь, желала бы испытать, может ли он аккомпанировать музыку Моцарта.

— У него тысяча душ,— сказала старшая.

— Et il est maître de sa fortune! *** — прибавила средняя.

— Для чего маменька не пригласит его на наши музыкальные вечера? — примолвила меньшая.— Ему должно быть здесь очень скучно.

— Разумеется,— подхватила старшая.— Эта Лидина нагонит на всякого тоску своим Парижем; брат ее так глуп! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего; Полина...

— О, Полина должна быть для него божеством! — перервала меньшая.

— Не верю,— продолжала старшая,— его завели,

---

* «возлюбленная тень» *(ит.)*.

** Он, однако, красивый мужчина! *(фр.)*

*** И он хозяин своего состояния! *(фр.)*

и что тут удивительного? В деревне, каждый день вместе...

— Конечно, конечно,— подхватила меньшая.— Ах, как чудна маменька! Почему она не хочет знакомиться с своими соседями?

— Посмотрите,— шепнула старшая,— он на нас глядит.— Бедняжка! не смеет подойти. О! да эта сантиментальная Полина прреревнивая!

— И пренесносная! Вечно грустит, а бог знает о чем?

— Хочет казаться интересною.

— Ах, боже мой, вот еще какие претензии!

Совсем другого рода шли разговоры в столовой, где мужчины толпились вокруг сытного завтрака. Буркин, выпив четвертую рюмку зорной водки, рассказывал со всеми подробностями, как персидский жеребец отшиб у него память. Ладушкин, Ильменев и несколько других второстепенных помещиков молча трудились кругом жирного окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. В одном углу Сурский говорил с дворянским предводителем о политике; в другом — несколько страстных псовых охотников разговаривали об отъезжих полях, хвастались друг перед другом подвигами своих борзых собак и лгали без всякого зазрения совести. Но хозяину было не до разговоров: он горел как на огне; давно уже пробило два часа, а губернатор не ехал; вот кукушка в лакейской прокуковала три раза; вот, наконец, в столовой часы с курантами проиграли *«выду я на реченьку»* и колокольчик прозвенел четыре раза, а об губернаторе и слуха не было.

— Что ж это, в самом деле? — сказал хозяин, когда еще прошло полчаса,— его превосходительство шутит, что ль? Ведь я не навязывался к нему с моим обедом.

— Николай Степанович! — сказал дворецкий, войдя торопливо в столовую,— кто-то скачет по большой дороге.

— Слава тебе господи, насилу! Скорей кушать! Да готовы ли музыканты? Лишь только губернатор из кареты, тотчас и начинать *«гром победы раздавайся!»*. Иль нет... лучше марш...

— Да это едет кто-то в тележке, сударь, а не в карете.

— Как в тележке? Э, дурак! что ж ты прибежал как шальной!.. Так это не губернатор... постой-ка... кажется... так и есть — наш исправник. Проси его скорей сюда: он, верно, прислан от его превосходительства.

Через минуту вошел небольшого роста мужчина с огромными рыжими бакенбардами, в губернском мундире военного покроя, подпоясанный широкой портупеею, к которой прицеплена была сабля с серебряным темляком. Не кланяясь никому, он подошел прямо к хозяину и сказал:

— Его превосходительство изволил прислать меня...

— Ну что, Иван Пахомыч,— перервал Ижорский,— скоро ли он будет?

— Его превосходительство изволил прислать меня...

— Да говори скорей, едет он или нет?

— Сейчас доложу. Его превосходительство изволил прислать меня уведомить вас, что он, по встретившимся обстоятельствам...

— Не может у меня обедать?

— Позвольте!.. Его превосходительство изволил прислать меня...

— Да тьфу, пропасть! говори без околичностей, будет он или нет?

— Сейчас... Изволил прислать меня уведомить вас, что, по встретившимся обстоятельствам, он не может сегодня у вас кушать.

— Отчего?.. Почему?..

— Он получил сейчас важные депеши и отправился немедля в губернский город.

— Как! не пообедавши?

— Точно так-с.

— Ай, ай, ай! что такое?.. Видно, дело не шуточное?

Исправник пожал плечами, наморщил лоб и, погладив с важностию свои бакенбарды, сказал протяжно и значительным голосом: «Да-с».

Все гости с приметным любопытством окружили исправника.

— Не знаете ли вы, что такое? — спросил Сурский.

— Формально доложить не могу,— отвечал исправник,— а кажется, большая экстра.

— Да когда он получил эти бумаги? — спросил предводитель.

— Аккурат в три часа.

— И вам неизвестно их содержание?

— Почему ж мне знать-с? — отвечал исправник с улыбкою, которая доказывала совершенно противное.

— Полно, любезный, секретничать!..— заревел Буркин.— Как тебе не знать? Ты детина пролаз — все знаешь.

— Помилуйте-с! наше дело исполнять предписания вышнего начальства, а в государственные дела мы не мешаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мне с руки; но, осмелюсь доложить, если б я что-нибудь и знал, то и в таком случае служба... долг присяги...

— Что вы с ним хлопочете, господа? — перервал Ижорский.— Я знаю этого молодца: натощак от него толку не добьешься. Пойдемте-ка обедать, авось за рюмкою шампанского он выболтает нам свою государственную тайну. Эй, малый! ступай в сад, проси барышень к столу. Водки! Господа, милости просим!

Хозяин повел княгиню Зорину; прочие мужчины повели также дам к столу, который был накрыт в длинной галерее, увешанной картинами знаменитых живописцев,— так, по крайней мере, уверял хозяин, и большая часть соседей верили ему на честное слово, а некоторые знатоки, в том числе княжны Зорины, не смели сомневаться в этом, потому что на всех рамах написаны были четкими буквами имена: Греза, Вандика, Рембрандта, Албана, Корреджия, Салватор Розы и других известных художников. Гости сели; оркестр грянул *«гром победы раздавайся!»* — и две огромные кулебяки развлекли на несколько минут внимание гостей, устремленное на великолепное зеркальное плато, края которого были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а средина занята горкою, слепленною из раковин и изрытою небольшими впадинами; в каждой из них поставлен был или фарфоровый пастушок в французском кафтане, с флейтою в руках, или пастушка в фижмах, с овечкою у ног. Многим из гостей чрезвычайно понравился этот образчик Швейцарии, но появление янтарной ухи из аршинной стерляди, а вслед за ней двухаршинного осетра под соусом сосредоточило на себе все удивление пирующих. Деревенские гастрономы ахнули. Отрывок альпийской горы, зеркальное море, саксонские куклы, китайские уродцы — все было забыто; разговоры прекратились, и тихий ангел приосенил своими крыльями все общество.

Пользуясь правом жениха, Рославлев сидел за столом подле своей невесты; он мог говорить с нею свободно, не опасаясь нескромного любопытства соседей, потому что с одной стороны подле них сидел Сурский, а с другой Оленька. В то время как все, или почти все, заняты были едою, этим важным и едва ли не главнейшим делом большей части деревенских помещиков, Рославлев спро-

сил Полину: согласна ли она с мнением своей матери, что он не должен ни в каком случае вступать снова в военную службу?

— Вы знаете, чего от вас требует маменька,— отвечала Полина.

— Но я желал бы также знать, что думаете вы?

— Я обязана ей повиноваться.

— Но скажите, что должен я делать?

— Вам ли меня об этом спрашивать, Волдемар! Что могу сказать я, когда собственное сердце ваше молчит?

— Итак, я должен оставаться хладнокровным свидетелем ужасных бедствий, которые грозят нашему отечеству; должен жить спокойно в то время, когда кровь всех русских будет литься не за славу, не за величие, но за существование нашей родины; когда, может быть, отец станет сражаться рядом с своим сыном и дед умирать подле своего внука. Нет, Полина! или я совсем вас не знаю, или любовь ваша должна превратиться в презрение к человеку, который в эту решительную минуту будет думать только о собственном своем счастии и о личной своей безопасности.

— Но зачем тревожить себя заранее этой мыслию?— сказала Полина после короткого молчания.— Быть может, это одни пустые слухи.

— Может быть! Но по всему кажется, что эта война неизбежна.

— Война! — повторила Полина, покачав печально головою.— Ах! когда люди станут думать, что они все братья, что слава, честь, лавры, все эти пустые слова, не стоят и одной капли человеческой крови. Война! Боже мой!.. И, верно, эта война будет самая бесчеловечная?..

— О! что касается до этого,— отвечал Рославлев,— то французы должны пенять на самих себя: они заставили себя ненавидеть, а ненависть не знает сострадания и жалости. Испанцы доказали это.

— Но неужели и русские так же, как испанцы, не станут щадить никого?.. Будут резать беззащитных пленных? — спросила с приметным беспокойством Полина.

— Кто может предузнать,— отвечал Рославлев,— до чего дойдет ожесточение русских, когда в глазах народа убийство и мщение превратятся в добродетели, и всякое сожаление к французам будет казаться предатель-

ством и изменою. Когда война становится национальною, то все права народные теряют свою силу. Стараться истреблять всеми способами неприятеля, убивать до тех пор, пока не убьют самого,— вот в чем состоит народная война и вот чего добиваются Наполеон и его французы. Переступив однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мире. Да, Полина, в этой войне средины быть не может: они должны или превратить всю Россию в обширное кладбище, или все погибнуть.

Полина побледнела.

— Это ужасно! — сказала она.— Несчастные! но виноваты ли они?.. Все погибнут!.. Боже мой!.. Если...

Оленька схватила за руку сестру свою; она замолчала, опустила глаза книзу, и бледные щеки ее запылали.

— Э, племянничек! — закричал Ижорский,— говорить-то с невестою можно, а есть все-таки надобно. Что ж ты, Поленька! ведь этак жених твой умрет голодной смертию. Да возьми, братец! ведь это дупельшнепы! Эй, шампанского! Здоровье его превосходительства, нашего гражданского губернатора. Туш!

Трубачи протрубили, шампанское обнесли.

— Здоровье хозяина! — закричал Буркин, и снова затрещало в ушах у бедных дам. Трубачи дули, мужчины пили; и как дело дошло до домашних наливок, то разговоры сделались до того шумны, что почти никто уже не понимал друг друга. Наконец, когда обнесли двенадцатую тарелку с сахарным вареньем, хозяин привстал и, совершенно уверенный, что говорит неправду, сказал:

— Не осудите, дорогие гости, если встаете голодные из-за стола, не погневайтесь! Чем богаты, тем и рады!

Все поднялись в одно время. Мужчины отвели прежним порядком дам в гостиную, а сами, выпив по чашке кофе, отправились вместе с хозяином осматривать его оранжереи, конский завод, псарню и больницу.

ГЛАВА II

Сурский и Рославлев, обойдя с другими гостьми все оранжереи и не желая осматривать прочие заведения хозяина, остались в саду. Пройдя несколько времени молча по крытой липовой аллее, Сурский заметил наконец Рославлеву, что он вовсе не походит на жениха.

— Ты так грустен и задумчив,— сказал он,— что как будто бы в самом деле должен сегодня же, и навсегда, расстаться с твоей невестою.

— Почему знать? — отвечал со вздохом Рославлев.— По крайней мере, я почти уверен, что долго еще не буду ее мужем. Скажите, могу ли я обещать, что не пойду служить даже и тогда, когда французы внесут войну в сердце России?

— Нет, не можешь; но почему ты уверен, что Наполеон решится...

— На что не решится этот баловень фортуны, этот надменный завоеватель, ослепленный собственной своей славою? Куда ни пойдут за ним французы, привыкшие видеть в нем свое второе провидение? Французы!.. Я знаю человека, которого ненависть к французам казалась мне отвратительною: теперь я начинаю понимать его.

— Не верю, мой друг! ты это говоришь в минуту досады. Просвещенный человек и христианин не должен и не может ненавидеть никого. Как русский, ты станешь драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как верноподданный — умрешь, защищая своего государя; но если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой добродетелью. Простой народ почти везде одинаков; но французы называют нас *всех* варварами. Постараемся же доказать им не фразами — на словах они нас загоняют,— а на самом деле, что они ошибаются.

— Но можно ли смотреть хладнокровно на эту нацию?..

— Можно, мой друг, тому, кто знает ее больше, чем ты. Во-первых, тот, кто не был сам во Франции, едва ли имеет право судить о французах. Никто не может быть милее, любезнее, вежливее француза, когда он дома; но лишь только он переступил за границу своего отечества, то становится совершенно другим человеком. Он смотрит на все с презрением; все то, что не походит на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварством, невежеством и безвкусием. Но и в этом смешном желании уверять весь мир, что в одной только Франции могут жить порядочные люди, я вижу чувство благородное. Известное слово одного француза, который на вопрос, какой он нации, отвечал, что *имеет честь* быть францу-

зом,— не самохвальство, а самое истинное выражение чувств каждого из его соотечественников; и если это порок, то, признаюсь, от всей души желаю, чтоб многие из нас, рабски перенимая все иностранные моды и обычаи, заразились бы наконец и этим иноземным пороком.

— Но согласитесь, что чванство, самонадеянность и гордость французов невыносимы.

— Что ж делать, мой друг? Все народы имеют свои национальные слабости; и если говорить правду, то подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства. Они потеряют сражение, и каждый из них будет стараться уверить и других, и самого себя, что оно не проиграно; нам удастся разбить неприятеля, и тот же час найдутся охотники доказывать, что мы или не остались победителями, или, по крайней мере, победа наша весьма сомнительна. Да вот, например, если у нас будет война и бог поможет нам не только отразить, но истребить французскую армию, если из этого ополчения всей Европы уцелеют только несколько тысяч... Но что я говорю? если одна только рота французских солдат выйдет из России, то и тогда французы станут говорить и печатать, что эта *горсть бесстрашных,* этот *священный легион* не бежал, а спокойно отступил на зимние квартиры и что во время бессмертной своей *ретирады* беспрестанно бил большую русскую армию; и нет сомнения, что в этом хвастовстве им помогут русские, которые станут повторять вслед за ними, что климат, недостаток, стечение различных обстоятельств, одним словом, все, выключая русских штыков, заставило отступить французскую армию.

— Перестаньте! Я не хочу верить, чтоб нашлись между русскими такие презрительные, низкие души...

— Но эти же самые русские, мой друг, станут драться как львы, защищая свою родину. Все это в порядке вещей, и мы не должны сердиться ни на французов за их хвастовство, ни на русских за их несправедливость к самим себе. Беспрерывный ряд побед, двадцать пять лет колоссальной славы... о мой друг! от этого закружатся и не французские головы! А мы... нас также можно извинить. Вот изволишь видеть: по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец, в глазах наших, почти не человек; он должен счи-

тать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало-помалу, привыкая думать, что эти пришлецы созданы так же, как и мы, по образу и по подобию божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи; и тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение; мы видим в каждом из них своего учителя и наставника; все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое — дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы, а разве иностранцы отдадут ему справедливость: это эпоха полупросвещения. Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов — прекрасный плод не награжденных ни славою, ни почестьми бескорыстных трудов великих гениев — созревает; истинное просвещение разливается по всей стране; мы не презираем и не боготворим иностранцев; мы сравнялись с ними; не желаем уже знать кое-как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем; народный характер и физиономия образуются, мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновалась; но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила.

— Но разве это может служить оправданием для тех, которые злословят свое отечество?

— А как же, мой друг? Беспристрастие есть добродетель людей истинно просвещенных; и вот почему некоторые русские, желающие казаться просвещенными, стараются всячески унижать все отечественное и, чтоб доказать свое *европейское* беспристрастие, готовы спорить с иностранцем, если он вздумает похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей нации не мешало бы этих господ, как запрещенный товар, не выпускать за границу; но сердиться на них не должно. Они срамят себя в глазах иностранцев и позорят свою родину не потому, что не любят ее, а для того только, чтоб казаться беспристрастными и, следовательно, просвещенными людьми. Вот, с месяц тому назад я был вместе с соседом нашим Ильменевым у Волгиных, которые на несколько недель приезжали в свою деревню из Моск-

вы; с первого взгляда мне очень понравился их единственный сын, ребенок лет двенадцати,— и подлинно необыкновенный ум и доброта отпечатаны на его миловидном лице; но чрез несколько минут это первое впечатление уступило место чувству совершенно противному. Этот мальчишка умничал, мешался преважно в разговоры, находил, что в деревне все дурно, что мужики так глупы, и, желая казаться совершенным человеком, так часто кричал и шумел на людей без всякой причины, подражая своему папеньке, который иногда журил их за дело, что под конец мне стало гадко на него смотреть. Я сказал об этом Ильменеву, который отвечал мне весьма хладнокровно: «И, сударь, что еще на нем взыскивать: глупенек, батюшка,— дитя! как подрастет, так поумнеет». Как ты думаешь, Рославлев? не лучше ли и нам не сердиться на наших полупросвещенных умниц, а говорить про себя: «Что еще на них взыскивать — дети! как подрастут, так поумнеют!» Но вот, кажется, идет хозяин. Что такое? Посмотри-ка, на нем лица нет. Что с тобой сделалось, мой друг? — продолжал Сурский, идя к нему навстречу.

— Что сделалось? — повторил глухим голосом Ижорский.— Ничего... Осрамили, зарезали, живого в гроб положили, вот и все!..

— Как?

— Да так... Ух, батюшки!.. Дайте дух перевести!.. Дурачье! животные! разбойники!..

— Ты пугаешь меня. Да что сделалось?

— Безделица!.. Все труды, заботы, расходы, все пошло к черту!.. Да уж я же его! И что он за доктор?.. Цирюльник!.. Нынче же с двора долой!

— Ага! так дело идет о твоей больнице.

— О больнице? О какой больнице? У меня нет больницы!.. Завтра же велю сломать эту проклятую больницу, чтоб и праху ее не осталось.

— Помилуйте! за что такой гнев?

— Что, братец, сняли голову с плеч, да и только. Представь себе: я повел гостей осматривать мои заведения; дело дошло и до больницы. Вот вошли сначала в аптеку; гости ахнули!.. что за порядок!.. банка к банке, склянка к склянке — ну любо-дорого смотреть! Предводитель так и рассыпался: и благодетель-то я нашего уезда, и просвещенный помещик, и какую честь делает всей губернии это заведение, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, приятель! как

взглянешь на больницу, так не то еще заговоришь». Вот вошли; коридор чистый, светлый, нечего сказать — славно! «Отделение хронических болезней! — прокричал лекарь.— Камера нумер первый — водяная болезнь». Растворяю дверь — глядь на постелю: ахти!.. так меня и обдало морозом — тщедушный Андрюшка-сухарь! Я поскорей вон да в другие двери. Предводитель читает надпись: «Камера вторая — чахотка». Вхожу; все за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!.. «Давно ли у тебя чахотка?» — спросил, улыбаясь, предводитель. «Около года, сударь!» — отвечал пономарь. «Оно и заметно! — заревел дурачина Буркин.— Смотри-ка, сердечный, как ты зачах!» Зачах!.. а рожа-то у него, братец, с пивной котел! Предводитель прыснул, гости померли со смеху, а я уж и сам не помню, как бросился вон из дверей, как ударился лбом о притолку, как наткнулся теперь на вас — ничего не знаю!

— Помилуй, братец, что ж это за беда?

— Как что за беда? Да как мне теперь глаза показать?.. Ну, если догадаются?..

— И, мой друг, кому придет в голову, что у тебя больные по наряду? Перемешали надписи, вот и все тут.

— Так ты думаешь, что я могу сказать?..

— Разумеется. Долго ли вместо одной дощечки прибить другую. Да вот, кстати, все гости идут сюда; ступай к ним навстречу, скажи, что это ошибка, и, чтоб они перестали смеяться, начни хохотать громче их.

Ижорский, успокоенный этими словами, пошел навстречу к гостям и, поговоря с ними, повел их в большую китайскую беседку, в которой приготовлены были трубки и пунш. Один только исправник отделился от толпы и, подойдя к Рославлеву, сказал:

— Извините, Владимир Сергеевич, совсем из ума вон. Ведь у меня есть к вам письмо.

— От кого? — спросил Рославлев.

— Не могу доложить. Оно пришло по почте. Я знал, что найду вас здесь, так захватил его с собою. Вот оно.

— От Зарецкого! — вскричал Рославлев, взглянув на адрес.— Как я рад!

Исправник отправился вслед за другими гостями в беседку, а Рославлев, распечатав письмо, начал читать следующее:

«Ну, мой друг, отгадывай, что я? где я? и что делал сегодня поутру? Да что тебя мучить по-пустому: век не

отгадаешь. Я гусарский ротмистр, стою теперь на бивах, недалеко от Белостока, и сегодня поутру дрался с французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай: я расскажу тебе все по порядку. Прощаясь с тобой, я уже намекал тебе, что мне становится скучно жить в Петербурге. Когда ты уехал, мне стало еще скучнее. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю: задумал, решился, надел мундир; тетушка благословила меня образом, а кузины... ведь я отгадал, mon cher! ни одна из них не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакал в Вильну, нашел там почти всех наших сослуживцев. Нам давали балы, мы веселились; но и среди танцев горели нетерпением встретить скорее гостей, которые стояли за Неманом, церемонились и как будто бы дожидались приглашения. Наконец 12-го числа июня они переправились на нашу сторону, и пошла потеха — только не для нас, а для одних казаков. Я выпросился в авангард, который стал теперь ариергардом, потому что наши войска ретируются. Одни говорят, для того, чтоб соединиться с молдавской армиею, которая спешит нам навстречу; другие — чтоб заманить Наполеона поглубже в Россию и угостить его точно так же, как, блаженной памяти, шведского короля под Полтавою. Не знаю, чему верить, но не сомневаюсь в одном — nous reculons pour mieux sauter*. Кажется, неприятель втрое нас сильнее; только мы дома, а он на чужой стороне. Франция далеко, а немцам любить его не за что. Все это должно ободрять нас; однако же я думаю, что без народной войны дело не обойдется. Тебе кланяется твой бывший начальник, генерал Б. У него недостает одного адъютанта, но он не торопится заместить эту ваканцию и просил меня об этом тебя уведомить. Послушай, Рославлев! Я никогда не хвастался моим патриотизмом; всегда любил и даже теперь люблю французов, а уж успел с ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всем русским — и ходишь еще во фраке. Женат ли ты или нет, все равно. Если ты только здоров, скачи к нам на курьерских; если болен, ступай на долгих; если умираешь, то вели, по крайней мере, похоронить себя в мундире. Да, мой друг, эта война не походит на прежние; дело идет о том, чтоб решить навсегда: есть ли в Европе русское царство или нет? Сегодня чем свет французская военная музыка играла так близко от наших биваков, что я подлаживал

* мы отступаем, чтобы лучше наступать (*фр.*).

ей на моем флажолете; а около двенадцатого часа у нас завязалось жаркое аванпостное дело. Мы потихоньку подвигались назад; французы лезли вперед, и надобно сказать правду — молодцы, славно дерутся! Один из них с эскадроном конных егерей врезался в самую средину наших казаков; но я подоспел с гусарами. Конным егерям отпели вечную память, а начальника их мне удалось своими руками взять в плен, или лучше сказать, спасти от смерти, потому что он не сдавался и дрался как отчаянный. Теперь он в моем шалаше спит прекрепким сном. Что за молодец, братец! Ему нет тридцати лет, а он уж полковник; а как любезен, какой хороший тон! Впрочем, это нимало не удивительно: ce n'est pas un officier de fortune *. Фамилия его одна из самых древних во Франции. Он граф Адольф Сеникур. Завтра чем свет его отправляют, вместе с другими пленными, в средину России, и поверишь ли? он так обворожил меня своею любезностию, что мне грустно будет с ним расставаться. Прощай, мой друг!.. или нет: до свиданья! Я уверен, что ты, прочитав мое письмо, велишь укладывать свой чемодан, пошлешь за курьерскими — и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнет меня из списков, то я скоро угощу тебя на моем биваке и пуншем и музыкою. Да, мой друг! и музыкою. От нечего делать я так набил руку на моем флажолете, что и сам себе надивиться не могу. Итак, до свиданья!

Твой друг, *Александр Зарецкий*. Июня 19-го. Бивак близ Белостока».

— Итак, все кончено! — вскричал Рославлев.— Я должен расстаться с Полиною, и, может быть,— навсегда!

— Уж и навсегда, мой друг? — сказал Сурский.— Конечно, за жизнь военного человека ручаться нельзя; но почему же думать, что непременно ты?..

— Ах, я ничего не думаю! В голове моей нет ни одной мысли; а здесь,— продолжал Рославлев, положа руку на грудь,— здесь все замерло. Так! если верить предчувствиям, то в здешнем мире я никогда не назову Полину моею. Я должен расстаться и с вами...

— Ненадолго, мой друг! мы скоро увидимся. Но вот, кажется, Лидина с дочерьми. Они идут сюда. Ты скажешь им?..

— Да, я хочу, я должен!.. Я на этих днях отправлюсь

---

* он офицер не по капризу судьбы *(фр.)*.

в армию, Полина,— продолжал Рославлев, подойдя к своей невесте.— Вот письмо, которое я сейчас получил от приятеля моего Зарецкого. Прочтите его. Мы должны расстаться.

— Как, сударь! — вскричала Лидина.— Так вы решительно хотите вступить в военную службу?

— Читайте, Полина! — продолжал Рославлев,— и скажите вашей матушке, могу ли я поступить иначе.

Полина начала читать письмо. Грудь ее сильно волновалась, руки дрожали; но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести с твердостию ужасное известие, которое должно было разлучить ее с женихом. Она дочитывала уже письмо, как вдруг вся помертвела; невольное восклицание замерло на посиневших устах ее, глаза сомкнулись, и она упала без чувств в объятия своей сестры.

С воплем отчаяния бросилась Лидина к своей дочери.

— Chère enfant!..— вскричала она,— что с тобой сделалось?.. Ах, она ничего не чувствует!.. Полюбуйтесь, сударь!.. вот следствия вашего упрямства... Полина, друг мой!.. Боже мой! она не приходит в себя!.. Нет, вы не человек, а чудовище!.. Стоите ли вы любви ее!.. О, если б я была на ее месте!.. Ah, mon dieu! * она не дышит... она умерла!.. Подите прочь, сударь, подите!.. Вы злодей, убийца моей дочери!..

— Успокойтесь, сударыня! — сказал Сурский.— Посмотрите, она приходит в себя. Это пройдет.

— Ах, если б прошла и любовь ее к этому человеку! — перервала Лидина, взглянув на убитого горестию Рославлева.

Полина открыла глаза, поглядела вокруг себя довольно спокойно; но когда взор ее остановился на письме, которое замерло в руке ее, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленьке, сказала:

— Прочти, мой друг, прочти!

— Не печалься, мой ангел! — сказала Лидина,— он не поедет.

— Нет, маменька,— отвечала твердым голосом Полина,— он не должен и не может остаться с нами.

Оленька, читая письмо, не могла также удержаться от невольного восклицания.

— Поедемте скорей домой, маменька,— сказала

---

* боже мой! *(фр.)*

она.— Вы видите, как Полина расстроена: ей нужен покой. А вы, Владимир Сергеевич, через час или через два приезжайте к нам. Поедемте!

Лидина, уезжая с своими дочерьми, сказала в гостиной несколько слов жене предводителя, та шепнула своей приятельнице Ильменевой, Ильменева побежала в беседку рассказать обо всем своему мужу, и чрез несколько минут все гости знали уже, что Рославлев едет в армию и что мы деремся с французами.

— Ну, господа! — сказал исправник,— теперь таиться нечего: ведь и его превосходительство за этим изволил ускакать в губернский город.

— Так вот что! — вскричал хозяин.— Верно, рекрутский набор?

— Какой рекрутский набор! Осмелюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будет.

— Добрался-таки до нас этот проклятый Бонапартий! — сказал Буркин.— Чего доброго, он этак, пожалуй, сдуру-то в Москву полезет.

— А что ты думаешь? — примолвил Ижорский,— его на это станет.

— Избави господи! — воскликнул жалобным голосом Ладушкин.— Что с нами тогда будет?

— А что бог велит,— подхватил Буркин.— Живые в руки не дадимся. Поголовщина, так поголовщина!

— Да,— прибавил предводитель,— если французы не остановятся на границе, всеобщее ополчение необходимо.

— Помилуйте! — сказал Ладушкин,— что мы, с кулаками, что ль, пойдем?

— Да с чем попало,— отвечал Буркин.— У кого есть ружье — тот с ружьем; у кого нет — тот с рогатиной. Что, в самом деле!.. Французы-то о двух, что ль, головах? Дай-ка я любого из них хвачу дубиною по лбу — небось не встанет.

— Я не думаю, однако ж, чтоб французы решились идти в средину России,— заметил предводитель.— Карл Двенадцатый испытал под Полтавою, как можно в одно сражение погубить всю свою военную славу.

— Да ведь Наполеон тащит за собой всю Европу,— подхватил Ижорский.— Нет, господа, он доберется и до Москвы.

— А мы его встретим,— примолвил Буркин,— да зададим такой банкет, что ему и домой не захочется.

— Воля ваша,— сказал со вздохом Ладушкин,— а

тяжко нам будет! Я помню милицию: чего нам, дворянам, стоило одеть, обуть да прокормить этих ратников.

— Да, брат Ладушкин! — закричал Буркин,— починай свою кубышку-то. Ведь денег у тебя накоплено не по-нашему.

— Помилуйте! Да откудова?

— Чего тут миловать — распоясывайся, любезный.

— Конечно, как велят...

— Велят!.. плохой ты, брат, дворянин! Чего тут дожидаться приказу — сам давай! Господи боже мой! мы, что ль, русские дворяне, не живем припеваючи? А пришла беда, так и в куст?.. Сохрани владыко!.. Последнюю денежку ставь ребром.

— Конечно! — сказал хозяин.— Если понадобятся ратники, так я и музыкантов моих не пожалею... А народ-то, братцы, какой!.. Наметанный, лихой — пострелы! Любой на пушку полезет!

— А я,— заревел Буркин,— всем моим конным заводом бью челом его царскому величеству. Изволь, батюшка государь, бери да припасай только людей, а уж эскадрон лихих гусар поставим на ноги.

— Как? — спросил Ижорский,— ты отдашь и персидского жеребца?

— Султана?.. и его отдам!.. Нет, Николай Степанович, нет! На нем сам пойду под француза. Умирать — так умирать обоим вместе!

— Я уверен,— сказал предводитель,— что все дворянство нашей губернии не пожалеет ни достояния своего, ни самих себя для общего дела. Стыд и срам тому, кто станет думать об одном себе, когда отечество будет в опасности.

— Да, да, стыд и срам! — повторили все, не исключая Ладушкина, который, увлеченный примером других, позабыл на минуту о своей шкатулке.

— Кто не может идти сам,— прибавил Буркин,— так пусть отдаст все, что у него есть.

— Аминь! — закричал Ижорский.— Ну-ка, господа, за здравие царя и на гибель французам! Гей, малый! Шампанского!

— Нет, братец,— перервал Буркин,— давай наливки: мы не хотим ничего французского.

— В том-то и дело, любезный! — возразил хозяин.— Выпьем сегодня все до капли, и чтоб к завтрему в моем доме духу не осталось французского.

— Нет, Николай Степанович, пей кто хочет, а я не стану — душа не примет. Веришь ли богу, мне все французское так опротивело, что и слышать-то о нем не хочется. Разбойники!..

Дворецкий вошел с подносом, уставленным бокалами.

— Налей ему, Парфен! — закричал хозяин.— Добро, выпей, братец, в последний раз...

— Эх, любезный!.. Ну, ну, так и быть; один бокал куда ни шел. Да здравствует русский царь! Ура!.. Проклятый напиток; хуже нашего кваса... За здравие русского войска!.. Подлей-ка, брат, еще... Ура!

— Да убирайся к черту с рюмками! — сказал хозяин.— Подавай стаканы: скорей все выпьем!

— И то правда! — подхватил Буркин,— пить, так пить разом, а то это скверное питье в горле засядет. Подавай стаканы!..

ГЛАВА III

Двести лет царство русское отдыхало от прежних своих бедствий; двести лет мирный поселянин не менял сохи своей на оружие. Россия, под самодержавным правлением потомков великого Петра, возрастала в силе и могуществе; южный ветер лелеял русских орлов на берегах Дуная; наши волжские песни раздавались в древней Скандинавии; среди цветущих полей Италии и на вершинах Сент-Готарда сверкали русские штыки: мы пожинали лавры в странах иноплеменных; но более столетия ни один вооруженный враг не смел переступить за границу нашего отечества. И вдруг раздался гром оружия на западе России, и прежде чем слух о сем долетел до отдаленных ее областей, древний Смоленск был уже во власти Наполеона. Случалось ли вам, проснувшись в полночь, прислушиваться недоверчиво к глухим раскатам отдаленного грома и, видя над собой светлое небо, усеянное звездами, засыпать снова с утешительною мыслию, что вам послышалось, что это не гроза, а воет ветер в соседней дубраве? Точно то же было с большею частию русских. «Французы в России!.. Нет, это невозможно! это пустые слухи!..» — говорили жители низовых городов и, на минуту встревоженные этим грозным известием, обращались спокойно к обыкновенным своим занятиям. Но слова того, кто один мог возбудить ото сна

дремлющую Россию, пронеслись от берегов Вислы во все края обширной его империи. «Так! французы в России!.. Я не положу оружия,— сказал он,— доколе ни единого неприятеля не останется в царстве моем...» — и миллионы уст повторили слова царя русского! Он воззвал к верному своему народу. «Да встретит враг,— вещал Александр,— в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина...» — и все русские устремились к оружию. «Война!» — воскликнул весь народ, и потомки бесстрашных славян, как на брачное веселье, потекли на сей кровавый пир всей Европы.

О, как велик, как благороден был этот общий энтузиазм народа русского! В каком обширном объеме повторилось то, что два века тому назад извлекало слезы умиления и восторга из глаз всех жителей нижегородских. Не малочисленный враг был в сердце России, не граждане одного города поклялись умереть за свободу своей родины,— нет! первый полководец нашего времени, влеча за собой силы почти всей Европы, шел, по собственным словам его, *раздавить* Россию. Но двести лет назад отечество наше, раздираемое междоусобием, безмолвно преклоняло сиротствующую главу под ярем иноплеменных; а теперь бесчисленные голоса отозвались на мощный голос помазанника божия; все желания, все помышления слились с его волею. Русские восстали, и приговор всевышнего свершился над сей главой, обремененной лаврами и проклятиями вселенной. Могучий, непобедимый, он ступил на землю русскую — и уже могила его была назначена на уединенной скале безбрежного океана!

Кто опишет с должным беспристрастием эту ужасную борьбу России с колоссом, который желал весь мир иметь своим подножием, которому душно было в целой Европе? Мы слишком близки к происшествиям, а на все великое и необычайное должно смотреть издалека. Увлекаясь современной славой Наполеона, мы едва обращаем взоры на самих себя. Нет, для русских 1812-го года и для Наполеона — потомство еще не наступило!

После упорного и кровопролитного сражения под Смоленском, бывшего 5 числа августа, наши войска стали отступать к Доргобужу. Направление большой неприятельской армии доказывало решительное намерение Наполеона завладеть древней столицею России; и в то

время как войска наши, под командою храброго графа Витгенштейна, громили Полоцк и истребляли корпус Удино, угрожавший Петербургу, Наполеон быстро подвигался вперед. 13-го числа августа он был уже в Доргобуже. Несколько часов сряду наш арьергард удерживал стремление неприятеля; наступающая ночь прекратила наконец военные действия; пушечные выстрелы стали реже, и стрелки обеих армий, протянув передовые цепи, присоединились к своим колоннам. Русский арьергард расположился биваками по большой Московской дороге, в двух верстах от Доргобужа. Запылал длинный ряд огней, и усталые воины уселись вокруг артельных котлов, в которых варилась сытная русская каша. Подле одного ярко пылающего костра, прислонив голову к высокому казачьему седлу, лежал на широком потнике молодой офицер в белой кавалерийской фуражке; небрежно накинутая на плеча черкесская бурка не закрывала груди его, украшенной Георгиевским крестом; он наигрывал на карманном флажолете французский романс: «Jeune Troubadour» *, и, казалось, все внимание его было устремлено на то, чтоб брать чище и вернее ноты на этой музыкальной игрушке. Рядом с ним сидел другой офицер в сюртуке, с золотым аксельбантом; он смотрел пристально на медный чайник, который стоял на углях, но, вероятно, думал совершенно о другом, потому что вовсе не замечал, что чай давно кипел и несколько уже раз начинал выливаться из чайника.

— Рославлев! — сказал офицер в бурке, перестав играть на своем флажолете,— каково я кончил это колено? а?.. Ну, что ты молчишь, Владимир! Да проснись, душенька!

— Что ты, братец? — спросил Рославлев, не глядя на своего товарища, в котором читатели, вероятно, узнали уже приятеля его, Зарецкого.

— Я, mon cher? Ничего! да с тобой-то что делается? Не удивительно, что ты оглох; мне и самому кажется, что от сегодняшней проклятой канонады я стал крепок на ухо; но отчего ты ослеп?.. Гляди, гляди!.. Да что ж ты смотришь, братец? Ведь чай уйдет.

Рославлев, не отвечая ничего, отодвинул чайник от огня. Зарецкий вынул из вьюка сахар, два серебряных стакана, фляжку с ромом, и через минуту горячий пунш

---

* «Юный трубадур» *(фр.)*.

был готов. Подавая один стакан своему приятелю, Зарецкий сказал:

— Ну-ка, Владимир, запей свою кручину! Да полно, братец, думать о Полине. Что, в самом деле? Убьют, так и дело с концом; а останешься жив, так самому будет веселее явиться к невесте, быть может, с подвязанной рукой и Георгиевским крестом, к которому за сраженье под Смоленском ты, верно, представлен.

— Ах, Александр, вот уже более месяца, как я расстался с нею! Не знаю, получает ли она мои письма, но я не имею о ней никакого известия.

— Да, мой друг, это ужасно! Мы сами не знаем поутру, где будем вечером; а ты хочешь, чтоб она знала, куда адресовать свои письма, и чтоб они все до тебя доходили. Ах ты, чудак, чудак!

— Но если и мои письма пропадают? Если она думает, что я убит?

— А реляции-то на что, мой друг! Дерись почаще так, как ты дрался сегодня поутру, так невеста твоя из каждых газет узнает, что ты жив. Это, мой друг, одна переписка, которую теперь мы можем вести с нашими приятелями. А впрочем, если она будет думать, что тебя убили, так и это не беда; больше обрадуется и крепче обнимет, когда увидит тебя живого.

— Но почему ты думаешь, что одна эта мысль не убьет ее?

— Почему, почему... во-первых, потому, что с горя не умирают; во-вторых...

— Ты не знаешь моей Полины, Александр. Одно известие, что я снова иду в военную службу, едва не стоило ей жизни. Она прочла письмо твое...

— А, так она его читала? Не правда ли, что оно бойко написано? Я уверен был вперед, что при чтении этого красноречивого послания русское твое сердце забьет такую тревогу, что любовь и места не найдет. Только в одном ошибся: я думал, что ты прежде женишься, а там уж приедешь сюда пировать под картечными выстрелами свою свадьбу: по крайней мере я на твоем месте непременно бы женился.

— Что ж делать, мой друг! Мать Полины не хотела об этом и слышать. Я должен был или не вступать в службу, или решиться остаться женихом до окончания войны.

— Ну, mon cher, хороша же твоя будущая маменька! Я знал, что она самая бонтонная барыня, парижанка, что

от нее требовать большого патриотизма не можно; но, право, не полагал... Ах, знаешь ли что? ведь она живет в деревне?.. Ну, так и есть! Бедняжка и не подозревает, что в столицах тон совершенно переменился. Если б она знала, в какой теперь моде патриотизм, то верно бы не стала с тобой торговаться. Ты не можешь себе представить, как все переменилось в Петербурге: французский театр закрыли, и — ни одна русская барыня не охнула. Все наши дамы в таком порядке, что любо посмотреть: с утра до вечера готовят для нас корпию и перевязки; по-французски не говорят, и даже родственница твоя, княгиня Радугина,— поверишь ли, братец? — прескверным русским языком вот так французов и позорит.

— Слава богу! мы догадались наконец, что у нас есть отечество и свой собственный язык.

— О, что касается до нашего языка, то, конечно, теперь он в моде; а дай только войне кончиться, так мы заболтаем пуще прежнего по-французски. Язык-то хорош, мой милый! ври себе что хочешь, говори сущий вздор, а все кажется умно. Но я перервал тебя. Итак, твоя Полина, прочтя мое письмо...

— Слегла в постелю, мой друг; и хотя после ей стало легче, но когда я стал прощаться с нею, то она ужасно меня перепугала. Представь себе: горесть ее была так велика, что она не могла даже плакать; почти полумертвая она упала мне на шею! Не помню, как я бросился в коляску и доехал до первой станции... А кстати, я тебе еще не сказывал. Ты писал ко мне, что взял в плен французского полковника, графа, графа... как бишь?

— Сеникура.

— Да; ведь я с ним повстречался верстах в тридцати от моей деревни. В то время как я переменял лошадей, привезли его и несколько других пленных офицеров на почтовый двор. Зная твое пристрастие к французам, я не очень тебе верил; но, признаюсь, на этот раз твои похвалы были даже слишком умеренны. Подлинно молодец!.. Разрубленная голова его была вся в перевязках, и, несмотря на это, я не мог налюбоваться на его прекрасную и благородную физиономию. Когда я узнал, что он тот самый полковник, которого ты угощал на своем биваке, то, разумеется, стал его расспрашивать о тебе, и хотя от боли и усталости он едва мог говорить, но отвечал весьма подробно на все мои вопросы. Поло-

жение его было ужасно: он чувствовал сильную лихорадку, которая могла превратиться в смертельную болезнь, если б его оставили без помощи. Я уговорил конвойного офицера сдать его на руки капитан-исправнику, который по моей просьбе взялся отвезти его в деревню к будущей моей теще. В нашем уездном городке было бы ему несравненно хуже.

— Разумеется. Да знаешь ли что? Я позабыл к тебе написать. Кажется, он знаком с семейством твоей Полины; по крайней мере он мне сказывал, что года два тому назад, в Париже, познакомился с какой-то русской барыней, также Лидиной, и ездил часто к ней в дом. Тогда он был еще женат.

— Так он вдовец?

— Да, жена его умерла за несколько месяцев до этой кампании. Но кой черт?.. что это?

Над головою Зарецкого прожужжала пуля; вслед за нею свистнула в двух шагах другая.

— Что это? Французы с ума сошли! — сказал Рославлев.— Да в кого они стреляют?.. Ну, видно, у них много лишнего пороху.

— Это шалят на цепи,— перервал Зарецкий,— и, верно, задирают наши. Пойдем, братец! — продолжал он, вставая,— посмотрим, что там эти озорники делают.

Отойдя несколько шагов от своего бивака, они подошли к мелкому кустарнику, в котором протянута была наша передовая цепь; шагах в пятидесяти от нее стояли французские часовые; позади их пылали огни неприятельского авангарда, а вдали, вокруг Доргобужа, по всему пространству небосклона расстилалось широкое зарево. В неприятельском авангарде было все тихо; но там, где бесчисленные огни сливались в одну необозримую пламенную полосу, гремела музыка и от времени до времени раздавались веселые крики пирующего неприятеля.

Когда они подошли к передовой цепи, то все уже опять успокоилось. Почти все часовые, расставленные попарно в близком расстоянии друг от друга, наблюдали глубокое молчание. Ночь была пасмурна, и серые шинели солдат сливались совершенно с темной зеленью кустов, среди которых они стояли. Изредка только неприятельские огни отражались на блестящих штыках их ружьев и вызывали французских часовых на перестрелку, почти всегда бесполезную, но которая не менее того

тревожила иногда всю передовую линию нашего арьергарда. Несколько уже минут Зарецкий и Рославлев шли вдоль цепи, не говоря ни слова. Вдруг Зарецкий приложил к губам палец и сказал шепотом Рославлеву:

— Тс! тише, братец!

— Что ты? — спросил Рославлев также вполголоса.

— Постой!.. Так точно... вот, кажется, за этим кустом говорят меж собой наши солдаты... пойдем поближе. Ты не можешь себе представить, как иногда забавны их разговоры, а особливо когда они уверены, что никто их не слышит. Мы привыкли видеть их во фрунте и думаем, что они вовсе не рассуждают. Послушай-ка, какие есть между ними политики — умора, да и только! Но тише!.. Не шуми, братец!

Они подошли потихоньку к двум часовым, которые, опираясь на свои ружья, вполголоса разговаривали между собою.

— Смотри-ка, брат! — сказал один из них.— Ну что за народ эти французы, и огонька-то разложить порядком не умеют. Видишь — там, какой костер запалили?.. Эк они навалили бревен-то, проклятые!

— Да ведь лес-то не их, братец,— отвечал другой часовой,— так чего им жалеть?

— Как чего? Не все ж им идти вперед: пойдут назад; а как теперь все выжгут, так и самим после будет жутко.

— Да что это, Федотов, мы всё идем назад, а они вперед?..

— Видно, так надобно.

— Уж нет ли, брат, измены какой?..

— Нет, братец! ты этого дела не смыслишь: мы ратируемся.

— Вот что!

— Ну да! пусть себе идут вперед. Теперь они сгоряча так и лезут, а как пройдут сотенки три, четыре верст, так уходятся. Ну, знаешь, отсталых будет много, по сторонам разбредутся, а мы тут-то и нагрянем. Понимаешь?

— То есть врасплох?.. Разумею. А что, Федотов, ведь надо сказать правду: эти французы бравые ребята. Вот хоть сегодня, досталось нам на орехи: правда, и мы пощелкали их порядком, да они себе и в ус не дуют! Ах, черт побери! Что за диковинка! Люди мелкие, поджарые, ну взглянуть не на что, а как дерутся!..

— Да, братец, конечно; народ азартный, а несдобровать им.

— Право?

— Уж я тебе говорю. Да и чему быть?.. Порядку вовсе нет. Я бывал у них в полону, так насмотрелся. Ну уж вольница! В грош не ставят своих командиров, а перед фельдфебелем и фуражки не ломают. Наш брат не спрашивает: зачем то, зачем другое? Идет, куда ведут, да и дело с концом; а они так нет: у всякого свой царь в голове; да добро бы кто-нибудь! а то иной барабанщик, и тот норовит своего генерала за пояс заткнуть. А уж скорохваты какие... батюшки светы! Алон, алон! * вот так сначала и задорятся! И что говорить, конечно, накоротке хоть кого оборвут, а как дело пойдет в оттяжку, так нет, брат, не жди пути!..

— Правда ли, Федотов,— сегодня наши ребята болтали, что Англия с нами?

— Говорят, так. Вот это, братец, народ!

— А ты почему знаешь?

— Я еще, любезный, до солдатства был с моим барином в их главном городе. Ну, городок! больше Москвы, народ крупный, здоровый; постоит за себя! А как, брат, дерутся в кулачки, так я тебе скажу!.. У барина был там другой слуга, из тамошних; он мараковал немного порусски, так все мне показывал и толковал. Вот однажды повел он меня в их суд — уж нагляделся я! Все, знаешь, сидят так чинно, а судьи говорят. Товарищ мне все понашему пересказывал. Вот вдруг один судья — такой растрепанный — встал и сказал: «Быть войне». Как вскочит другой судья да закричит: «Так врешь, не быть войне». И пошли и пошли! то тот, то другой; уж они говорили, говорили, а другие-то все слушают да вдруг нет-нет и закричат: «Гир, гир, гир!» ** Знатно, братец!

— Куда ты, брат Федотов, всего нагляделся, подумаешь!

— Да, любезный, дело бывалое: и там и сям, и в других прочих землях бывали; кому другому, а нам не в диковинку... ходили в поход и в Немецию. То-то сытная земля и народ ласковый! Поразговоришься с хозяином, так все даст. Бывало, войдешь в избу: «Ну здравствуй, камарад!» *** Он заговорит по-своему; ты скажешь:

---

* Вперед, вперед! *(фр.)*
** Слушайте, слушайте! (от *англ.* heard.)
*** товарищ! *(нем.)*

«Добре, добре!» — а там и спросишь: бруту, биру *, того, другого; станет отнекиваться, так закричишь: «Капут!» Вот он тотчас и заговорит: «Русишь гут», а ты скажешь: «Немец гут!» — дело дойдет до шнапсу, и пошли пировать. Захотелось выпить по другой, так покажешь на рюмку да скажешь: «Нох!» ** — ан глядишь: тебе и подают другую; ведь язык-то их не мудрен, братец!

— Так ты по-немецкому-то знаешь?

— Мало ли что мы знаем! Эх, Ваня! как бы не чарочка сгубила молодца, так я давно бы был уж унтером.

— Постой-ка, Федотов! — сказал другой часовой, поднимая свое ружье.— Посмотри, что это там за французской цепью против огонька мелькнуло? Как будто б верховой... вон опять!.. видишь?

— Вижу,— отвечал Федотов.— Какой-нибудь французский офицер объезжает передовую цепь.

— Не спешить ли его? — шепнул второй часовой, взводя курок.

— Погоди, погоди!.. Его опять не видно. Что даром-то патроны терять! Дай ему поравняться против огонька.

Чрез полминуты кавалерист в драгунской каске, заслонив собою огонь ближайшего неприятельского бивака, остановился позади французской цепи, и всадник вместе с лошадью явственно отпечатались на огненном поле пылающего костра.

— Ну вот, теперь! — сказал, прикладываясь, второй часовой.

— Постой, постой, братец! Спугнешь! — перервал Федотов.— Ты и в мишень плохо попадаешь; дай-ка мне!

— Ну, ну, стреляй! посмотрим твоей удали.

Федотов прицелился; вдруг смуглые лица обоих солдат осветились, раздался выстрел, и неприятельский офицер упал с лошади.

— Ай да молодец! — сказал Зарецкий, сделав шаг вперед; но в ту ж самую минуту вдоль неприятельской линии раздались ружейные выстрелы, пули засвистали меж кустов и кто-то, схватив за руку Рославлева, сказал:

— Не стыдно ли тебе, Владимир Сергеевич, так дурачиться? Ну что за радость, если тебя убьют, как простого солдата? Офицер должен желать, чтоб его смерть была на что-нибудь полезна отечеству.

---

* хлеба, пива (от *нем.* Brot, Bier).

** Еще (от *нем.* noch).

— Кто вы? — спросил с удивлением Рославлев.— Ваш голос мне знаком; но здесь так тёмно...

— Пойдем к твоему биваку.

Наши приятели, не говоря ни слова, пошли вслед за незнакомым. Когда они стали подходить к огням, то заметили, что он был в военном сюртуке с штаб-офицерскими эполетами. Подойдя к биваку Зарецкого, он повернулся и сказал веселым голосом:

— Ну, теперь узнаешь ли ты меня?

— Возможно ли! Это вы, Федор Андреевич? — вскричал с радостию Рославлев, узнав в незнакомом приятеля своего, Сурского.

— Ну, вот видишь ли, мой друг! — продолжал Сурский, обняв Рославлева,— я не обманул тебя, сказав, что мы скоро с тобой увидимся.

— Так вы опять в службе?

— Да, я служу при главном штабе. Я очень рад, мой друг, что могу первый тебя поздравить и порадовать твоих товарищей,— прибавил Сурский, взглянув на офицеров, которые толпились вокруг бивака, надеясь услышать что-нибудь новое от полковника, приехавшего из главной квартиры.

— Поздравить? с чем? — спросил Рославлев.

— С Георгиевским крестом. Я сегодня сам читал об этом в приказах. Но прощай, мой друг! Мне надобно еще поговорить с твоим генералом и потом ехать назад. До свиданья! надеюсь, мы скоро опять увидимся.

Казалось, эта новость обрадовала всех офицеров; один только молодой человек, закутанный в короткий плащ без воротника, не поздравил Рославлева; он поглаживал свои черные, с большим искусством закрученные кверху усы и не старался нимало скрывать насмешливой улыбки, с которою слушал поздравления других офицеров.

— Посмотри, братец,— шепнул Зарецкий своему приятелю,— как весело князю Блесткину, что тебе дали «Георгия»: у него от радости язык отнялся.

— И, Александр! — отвечал вполголоса Рославлев.— Какое мне до этого дело!

— Куда, подумаешь, как зависть безобразит человека: он недурен собою, а смотри, какая теперь у него рожа.

— Да что тебе за охота рассматривать физиономию этого фанфарона?

— Постой, братец, я пойду поговорю с ним вместе. Что ты так нахмурился, князь? — продолжал Зарецкий, подойдя к офицеру, закутанному в плаще.

— Кто? я? — сказал князь Блесткин.— Ничего, братец, так!..

— Уж не досадно ли тебе?

— Что такое?.. Вздор какой! Я думал только теперь, как выгодно быть в военное время адъютантом.

— Право?

— Как же, братец! Адъютант может дать при случае весьма полезный совет своему генералу; например: не стоять под картечными выстрелами; а как за полезный совет дают «Георгия»...

— То ты, верно, его получишь,— перервал Зарецкий.— Ступай скорее в адъютанты.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил гордо Блесткин.

— А то, что Рославлев не советовал, а дрался и под Смоленском ходил в атаку с полком, в котором ты служишь.

— Я что-то этого не помню.

— Да как тебе помнить? Ты в начале сражения получил контузию и лежал замертво в обозе.

— Послушай, Зарецкий! этот насмешливый тон!.. Ты знаешь, я шуток не люблю.

— Как не знать? Ведь ты ужасный дуэлист.

— Я надеюсь, никто не осмелится сказать...

— Чтоб ты не был прехрабрый офицер? Боже сохрани! Я скажу еще больше: ты ужасный патриот и так сердит на французов, что видеть их не хочешь.

— Полноте, господа, остриться,— перервал бригадный адъютант Вельский, который уже несколько времени слушал их разговор.— А седлайте-ка лошадей: сейчас в поход.

— Вот тебе и раз! — вскричал Рославлев,— а мы не успели и поужинать.

— Ох, этот фанфаронишка! — сказал вполголоса Зарецкий.— Как бы я желал поговорить с ним в восьми шагах...

— Перестань, братец! Как тебе не стыдно? — перервал Рославлев.— Разве в военное время можно думать о дуэлях?

Все офицеры, кроме Блесткина, разошлись по своим бивакам.

— Вы шутите очень забавно,— сказал он, подойдя к Зарецкому,— но я не желал бы остаться у вас в долгу...

— А что угодно вашему сиятельству? — спросил с низким поклоном Зарецкий.

— Кажется, этого пояснять не нужно...

— А, понимаю! Вам угодно со мною драться? Извините, ваше сиятельство! теперь, право, некогда; после, если прикажете.

— Расчет недурен! — сказал с презрительной улыбкою Блесткин,— то есть: вы подождете, пока меня убьют?..

— Помилуйте! Да этого век не дождешься.

— Я презираю ваши глупые насмешки и повторяю еще раз, что если вы знаете, что такое честь,— в чем, однако ж, я очень сомневаюсь...

Лицо Зарецкого вспыхнуло; он схватил Блесткина за руку; но Рославлев не дал ему выговорить ни слова.

— Постойте, господа! — вскричал он.— Если уж непременно надобно кому-нибудь драться, так — извините, князь,— вы деретесь не с ним, а со мною. Ваши дерзкие замечания насчет полученной мною награды вызвали его на эту неприятность; но, так как я обижен прежде...

— Нет, Владимир,— перервал Зарецкий,— я не уступлю тебе удовольствия — проучить этого обозного героя...

— Фи, Александр! приличен ли этот тон между офицерами!

— Но я хочу непременно...

— После меня, Зарецкий; прошу тебя!

— Позвольте мне прекратить этот великодушный спор,— сказал насмешливо Блесткин.— Я начну с вас, господин Рославлев... но когда же?

— При первом удобном случае.

— То есть не прежде окончания кампании?

— О, не беспокойтесь! это будет скорее, чем вы думаете.

— Посмотрим,— сказал, уходя Блесткин.— Не забудьте, однако ж, что я не люблю дожидаться и найду, может быть, средство поторопить вас весьма неприятным образом.

— Наглец! — вскричал Зарецкий, схватившись за свою саблю.

— И, полно, Александр! Не горячись! Ты увидишь, как я проучу этого фанфарона; а меж тем вели-ка седлать наших лошадей.

Через несколько минут приказали снимать потихоньку передовую цепь; огни были оставлены на своих местах, и весь арьергард, наблюдая глубокую тишину, выступил в поход по большой Московской дороге.

ГЛАВА IV

14-го числа августа наши войска, преследуемые неприятелем, шли, почти не останавливаясь, целые сутки. По всем предположениям, большая русская армия должна была, несмотря на искусные маневры Наполеона, соединиться при Вязьме с молдавской армиею, которая спешила к ней навстречу. 15-го числа наш арьергард, в виду неприятельского авангарда, остановился при деревне Семехах. Позади одной русской колонны, прикрывавшей нашу батарею из шести полевых орудий, стоял, прислонясь к небольшому леску, гусарский эскадрон, которым командовал Зарецкий. С правой стороны, шагов сто от леса, в низких и поросших кустарником берегах извивалась узенькая речка; с полверсты, вверх по ее течению, видны были: плотина, водяная мельница и несколько разбросанных без всякого порядка изб.

— Тьфу, пропасть, как я устал! — сказал Зарецкий, слезая с лошади.— Авось французы дадут нам перевести дух!

— Вряд ли! — возразил краснощекий и видный собою гусарский поручик, слезая также с коня.— Мне кажется, они берут позицию.

— Может быть, для того, чтоб отдохнуть; я думаю, они устали не меньше нашего. Да что ты так хмуришься, Пронский?

— Чего, братец! Я вовсе исковеркан, точно разбитая лошадь: насилу на ногах стою. И эти пехотинцы еще нам завидуют! Попробовал бы кто-нибудь из них не сходить с коня целые сутки.

— Кто это несется с правого фланга? — спросил Зарецкий, показывая на одного офицера, который проскакал мимо передовой линии на англизированной вороной лошади.

— Хорош же ты, брат! — сказал с улыбкою Пронский,— не узнал своего приятеля: это князь Блесткин.

— Ах, батюшки! Что он так суетится?

— Так ты не знаешь? Наш бригадный генерал взял его к себе за адъютанта.

— Право? Ну, не с чем поздравить его превосходительства!

— Да и Блесткин, я думаю, не больно себя поздравляет: генерал-то вовсе не по нем — молодец! Терпеть не может дуэлистов; а под картечью раскуривает трубку да любит, чтоб и адъютанты его делали то же.

— Эй, Зашибаев! — вскричал Зарецкий,— подержи мою лошадь; а ты, Пронский, побудь при эскадроне: я пойду немного вперед и посмотрю, что там делается.

Широкоплечий вахмистр принял лошадь Зарецкого, который, пройдя шагов сто вперед, подошел к батарее. Канонеры, раздувая свои фитили, стояли в готовности подле пушек, а командующий орудиями артиллерийский поручик и человека три пехотных офицеров толпились вокруг зарядного ящика, из которого высокий фейерверкер вынимал манерку с водкою, сыр и несколько хлебов.

— Милости просим! — сказал один толстый офицер в капитанском знаке.— Не хочешь ли выпить и закусить?

— А, это ты, Зарядьев? — отвечал Зарецкий.— Пожалуй, как не закусить! Да ты что тут хозяйничаешь? Помилуй, Ленский,— продолжал он, обращаясь к артиллерийскому офицеру,— за что он меня твоим добром потчевает?

— Нет, не его, а моим,— перервал Зарядьев.— Я бился с ним о завтраке — и выиграл. Он спорил со мной, что мы здесь остановимся.

— А почему ты думал, что должны мы здесь остановиться?

— Да посмотри-ка, какая славная позиция! Речка, лесок, кустарник для стрелков. Небось французы не вдруг сунутся нас атаковать, а мы меж тем отдохнем.

— Вряд ли! — сказал Зарецкий, покачивая головою.— Посмотри, как они там за речкой маневрируют... Вон, кажется, потянулась конница... а прямо против нас... Ну, так и есть. Они ставят батарею.

— Зато взгляни направо, к мельнице... Видишь, задымился огонек?

— Так что ж?

— А то, что они сбираются не атаковать нас, а отдохнуть и пообедать, а пока они готовят свой суп, и наши ребята успеют сварить себе кашицу. Ну-ка, брат, выпей!

— Так ты думаешь, Зарядьев, что эту манерку из руки у меня ядром не вышибет?

— Небось, пей на здоровье!

— Слышали ль, господа! — сказал Ленский,— что князь Блесткин попал в адъютанты к нашему бригадному командиру?

— Как же! — отвечал Зарядьев,— он и прежде не хотел говорить с нашим братом, а теперь, чай, к нему и доступу не будет.

— Да как это ему вздумалось? — продолжал Ленский.— Не знаю, у кого другого, а у нашего генерала шарканьем не много возьмешь. Да вот, кажется, его сиятельство сюда скачет. Ну, легок на помине!

— Господа офицеры! — сказал Блесткин, подскакав к батарее,— его превосходительство приказал вам быть в готовности, и если французы откроют по вас огонь, то сейчас отвечать.

— Слушаю.

— Мне кажется,— продолжал Блесткин, посмотрев с важностию вокруг себя,— зарядные ящики стоят слишком близко от орудий.

— Это уже не ваша забота, господин Блесткин! — отвечал хладнокровно Ленский, повернясь к нему спиною.

— О! если так,— вскричал Блесткин с гордостию,— то я доложу генералу...

— В самом деле? — перервал Ленский.— Доложите ему, что его адъютант мешается там, где его не спрашивают.

— Господин офицер! я советую вам...

— Напрасно беспокоитесь, ваше сиятельство! — подхватил Зарецкий.— Ведь за этот совет вам «Георгия» не дадут.

Блесткин побледнел от досады; но, не отвечая ни слова, пришпорил свою лошадь и поскакал далее.

— Эх, Ленский! — сказал толстый капитан,— что ты не дал ему побариться? Тебя бы от этого не убыло, а мы бы посмеялись.

— Прошу покорно! — перервал Ленский,— вздумал меня учить! И добро бы знал сам службу...

— Верно, не знает! — подхватил Зарядьев.— Вот года три тому назад ко мне в роту попал такой же точно молодчик — всех так и загонял! Бывало, на словах города берет, а как вышел в первый раз на ученье, так и язык

прилип к гортани. До штабс-капитанского чина все в замке ходил.

— Поглядите-ка, господа! — сказал Ленский,— что там за речкою делается? Французы что-то больно зашевелились.

Вдруг густое облако дыма закрутилось на противуположном берегу; окрестность дрогнула, и одно ядро с визгом пронеслось над головами наших офицеров.

— Ну что, Зарядьев,— сказал Зарецкий,— видно, французы уж отобедали?

— По местам, господа! — закричал Зарядьев пехотным офицерам, которые спокойно завтракали, сидя на пушечном лафете.— Зарецкий,— продолжал он,— пойдем к нам в колонну — до вас еще долго дело не дойдет.

— Через орудие — ядрами! — скомандовал громким голосом Ленский.— Живей, ребята!

Зарецкий и Зарядьев подошли к колонне; капитан стал на свое место. Ударили поход. Одна рота отделилась от прикрытия, выступила вперед, рассыпалась по кустам вдоль речки, и с обеих сторон началась жаркая ружейная перестрелка, заглушаемая по временам неприятельской и нашей канонадою, которая становилась час от часу сильнее.

— Ну, видно, мы сегодня поработаем! — заметил Зарядьев.— Посмотрите-ка вперед, какие тянутся густые колонны по большой дороге.

— Здравствуй, Александр! — сказал Рославлев, подъехав к Зарецкому.— Что ты здесь делаешь?

— Да так, братец! пришел посмотреть. Мой эскадрон стоит вон там, подле леса, откуда ничего не видно. А ты как сюда попал?

— Ездил с приказаниями на правый фланг. Кажется, дело будет не на шутку.

— А что?

— Приказано не только удерживать позицию, но перебросить через речку наших стрелков и стараться всячески опрокинуть первую неприятельскую линию.

— Слава богу! насилу-то и мы будем атаковать. А то, поверишь ли, как надоело! Toujours sur la défensive * — тоска, да и только. Ого!.. кажется, приказание уж исполняется?.. Видишь, как подбавляют у нас стрелков?.. Черт возьми! да это батальный огонь, а не перестрелка. Что ж это французы не усиливают своей цепи?.. Смотри, смот-

* Всегда в обороне (*фр.*).

ри!.. их сбили... они бегут... вон уж наши на той стороне... Ай да молодцы!

— Вся колонна вперед — марш! — скомандовал полковник.

— Ну, прощай покамест, Александр! — сказал Рославлев.

— Что за прощай, братец! До свиданья! Куда ты?

— На левый фланг, к моему генералу.

Вся наша передовая линия подалась вперед; батареи также подвинули, и сражение закипело с новой силою.

— Ну, какая идет там жарня! — сказал Зарядьев, смотря на противуположный берег речки, подернутый густым дымом, сквозь которого прорывались беспрестанно яркие огоньки.— Ненадолго наших двух рот станет. Да что с тобой, Сицкий, сделалось? — продолжал он, обращаясь к одному молодому прапорщику.— На тебе лица нет! Помилуй, разве ты в первый раз в деле?

— Мой брат в стрелках! — отвечал молодой офицер.

— Так что ж?

— А наша рота еще нейдет.

— Не беспокойся, дойдет дело и до вашей роты.

— Но брат мой!..

— И, Сицкий! Бог милостив — воротится.

— Вряд ли воротится,— перервал грубым голосом один высокий офицер с неприятной и даже отвратительной физиономиею.— Там что-то больно жарко.

— В самом деле? Вы думаете?..— спросил с беспокойством молодой офицер.

— Да что за диковинка? Натурально, его убьют скорее в стрелках, чем меня здесь в колонне.

— Как тебе не стыдно! — сказал вполголоса Зарядьев.— Ты знаешь, как он любит своего брата.

— Вот еще какие нежности!.. У меня и двух братьев убили, да я...

Высокий офицер не докончил начатой фразы: неприятельское ядро, вырвав два ряда солдат, раздробило ему череп.

— Сомкнись! — скомандовал Зарядьев. Солдаты придвинулись друг к другу. Еще несколько ядер пролетело через колонну.

— Эй, вы! — закричал Зарядьев,— стоять смирно! Ну! начали кланяться, дурачье! Тотчас узнаешь рекрут,— продолжал он, обращаясь к Зарецкому.— Обстрелянный солдат от ядра не пошевелится... Кто там еще отвесил поклон?

— Нефедьев, ваше благородие! — отвечал унтер-офицер.

— Так и есть — рекрут! Эй ты, Нефедьев! зачем нагибаешь голову?

— Ядро, ваше благородие.

— А какое тебе до него дело, болван? Чего ты боишься?

— Убьет, ваше благородие!

— Убьет, дуралей! Слушай команду, а убьет — не твоя беда. Ахти! никак, это ведут капитана третьей роты? Ну, видно, его порядком зацепило!

Два солдата подвели к колонне офицера, обрызганного кровью; он едва мог переступать и переводил дух с усилием.

— Вы ранены? — сказал полковник.

— И, кажется, смертельно! — отвечал едва слышным голосом капитан.

— Прикажите подкрепить наших стрелков: французы одолевают.

— А что майор?

— Убит.

— А капитан Белов?

— Убит.

— А брат мой? — спросил робко Сицкий.

— Убит.

— Убит! — повторил молодой офицер, побледнев как смерть. С полминуты он молчал; потом вдруг глаза его засверкали, румянец заиграл в щеках; он оборотился к полковнику и сказал: — Степан Николаевич! сделайте милость — бога ради! позвольте мне в стрелки.

— Хорошо, ступайте с первой ротою,— сказал полковник, взглянув с приметным состраданием на молодого офицера.— Вторая и первая рота — в стрелки! Зарядьев! вы примите команду над всей нашей цепью... Барабанщик — поход!

— Становись! — скомандовал Зарядьев.— Да смотри, у меня в воробьев не стрелять! Метить в полчеловека! Перекрестись! Ну, ребята, с богом — марш! прощай, Зарецкий!

— Прощай, братец! Я также отправляюсь к моему эскадрону. Может быть, и до нас дело скоро дойдет.

Уже более пяти часов продолжалось сражение; несколько раз стрелки наши то сбивали неприятельскую цепь и дрались на противуположном берегу речки; то,

прогоняемые на нашу сторону, продолжали перестрелку в нескольких шагах от колонн своих. Канонада не умолкала ни на минуту с обеих сторон; но наша и неприятельская конница оставались в бездействии. В то самое время, как Зарецкий начинал думать, что на этот раз эскадрон его не будет в деле, которое, по-видимому, не могло долго продолжаться, подскакал к нему Рославлев.

— Ну, Александр! — сказал он,— с богом! Тебе велено переправиться через речку и атаковать с фланга неприятельских стрелков.

— Насилу о нас вспомнили!.. Фланкеры! осмотреть пистолеты! Сабли вон.

— Ты должен прикрывать отступление стрелков третьей колонны,— продолжал Рославлев.— Им становится уж больно тяжело. Бедняжки дерутся часов пять сряду.

— Жив ли наш приятель Зарядьев? Ведь он, кажется, ими командует?

— А вот сейчас узнаю: я еду к нему с приказанием, чтоб он понемногу отступал к нашей передовой линии. Смотри, Александр, налети соколом, чтоб эти французы не успели опомниться и дали время Зарядьеву убраться подобру-поздорову на нашу сторону.

— А вот что бог даст. По три налево заезжай — рысью марш!

Зарецкий с своим эскадроном принял направо, а Рославлев пустился прямо через плотину, вдоль которой свистели неприятельские пули. Подъехав к мельнице, он с удивлением увидел, что между ею и мучным амбаром, построенным также на плотине, прижавшись к стенке, стоял какой-то кавалерийский офицер на вороной лошади. Удивление его исчезло, когда он узнал в этом храбром воине — князя Блесткина.

— Что вы, сударь, здесь делаете? — спросил Рославлев, остановя свою лошадь.

— Ах! это вы? — вскричал Блесткин с самой вежливой улыбкою.

— Да, сударь, это я. А вы зачем здесь?

— Меня послал генерал взглянуть, что делается в передовой цепи.

— И вы для этого спрятались за этот амбар? Немного вы отсюда увидите.

— Что ж мне делать с этой проклятой лошадью? — сказал Блесткин.— Она не хочет ни вперед идти, ни стоять на плотине.

Он дал шпоры своему английскому жеребцу, который в самом деле запрыгал на одном месте и, казалось, не хотел никак отойти от стены.

— Ну вот видите?

— Да, я вижу,— перервал Рославлев,— что вы изо всей силы тянете ее за мундштук; но дело не в том: я очень рад, что вас встретил. Вы, кажется, вчера вызывали меня на дуэль?

— Неужели?.. Может быть, я погорячился... но я, право, не помню.

— Да я не забыл. Выезжайте, сударь, на плотину.

— Помилуйте! что вы хотите делать?

— Ничего. Я хочу вам показать, какого рода дуэли позволительны в военное время. Ну что ж? долго ли мне дожидаться? Да ослабьте поводья, сударь! она пойдет... Послушайте, Блесткин! Если ваша лошадь не перестанет упрямиться, то я сегодня же скажу генералу, как вы исполняете его приказания.

— Однако ж, господин Рославлев,— сказал Блесткин, выехав на плотину,— позвольте вам заметить: этот начальнический тон...

— Не о тоне речь, сударь. Вы посланы к стрелкам, я также: не угодно ли вам прогуляться со мною по нашей цепи.

— Помилуйте! мы оба верхами.

— Так что ж!

— Все неприятельские стрелки станут в нас метить.

— В том-то и дело. Ведь вы сами вызвали меня на дуэль. Правда, мы не будем стрелять друг в друга; но это ничего: за нас постараются французы.

— Помилуйте, что это за дуэль?

— Мне некогда вам доказывать, что этот поединок стоит того, который вы мне вчера предлагали. Извольте ехать.

— Но, господин Рославлев...

— Ни слова более! или я стану везде и при всех называть вас трусом. Мне кажется, ваша лошадь не очень боится шпор. Позвольте! — Рославлев ударил нагайкою лошадь Блесткина и выскакал вместе с ним на другой берег речки.

Перед ними открылось обширное поле, усыпанное французскими и нашими стрелками; густые облака дыма стлались по земле; вдали, на возвышенных местах, двигались неприятельские колонны. Пули летали по всем направлениям, жужжали, как пчелы, и не про-

шло полминуты, одна пробила навылет фуражку Рославлева, другая оторвала часть воротника Блесткиной шинели.

— Вперед, сударь, вперед! — кричал Рославлев, понукая нагайкою лошадь несчастного князя, который, бледный как полотно, тянул изо всей силы за мундштук.— Прошу не отставать; вот и наша цепь. Эй, служба! — продолжал он, подзывая к себе солдата, который заряжал ружье,— где капитан Зарядьев?

— Вон в этих кустах, ваше благородие!

— Позови его сюда. А мы с вами, господин Блесткин, остановимся здесь, на этом бугорке; отсюда и мы будем приметнее, и нам будет все виднее.

— Помилуйте, Рославлев! — вскричал отчаянным голосом Блесткин,— за что же вы хотите сделать из нас цель для французов?

— Ого, господин дуэлист! вы трусите? Постойте, я вас отучу храбриться некстати. Куда, сударь, куда? — продолжал Рославлев, схватив за повод лошадь Блесткина.— Я не отпущу вас, пока не заставлю согласиться со мною, что одни ничтожные фанфароны говорят о дуэлях в военное время.

— Я не спорю... может быть...

— Нет, постойте! не может быть; я вам докажу это.

— Боже мой! посмотрите, в нас целят.

— Так что ж? Пускай целят. Не правда ли, что порядочный человек и храбрый офицер постыдится вызывать на поединок своего товарища в то время, когда быть раненым на дуэли есть бесчестие?..

— Ну хорошо, положим, что правда...

— Постойте! Не правда ли, что одному только фанфарону, не понимающему, что такое истинная храбрость, позволительно насмехаться над тем, кто отказывается от дуэли за несколько часов до сражения?

— Конечно, конечно... я согласен... Боже мой! что это?..

— Ничего, это рикошетное ядро. Согласитесь, что тот, кто боится умереть в деле против неприятеля, ищет случая быть раненым на дуэли для того, чтоб пролежать спокойно в обозе во время сражения...

Вдруг шагах в пяти от них раздался пронзительный свист; что-то запрыгало по пенькам и кочкам и обрызгало грязью обоих офицеров.

— Это что такое? — вскричал с ужасом Блесткин.

— Ничего, это картечь. Согласитесь, что Зарецкий

должен был отвечать одним презрением на ваш вызов, что ему вовсе не нужно...

— Ах, боже мой! я ранен! — вскричал Блесткин.

— Ничего. Вам оцарапало только щеку и оторвало половину уха. Согласитесь, что Зарецкому вовсе не нужно было доказывать над вами свою храбрость, что он...

— Ради бога, Рославлев!.. Я на все согласен...

— Вот, кажется, идет Зарядьев? Ну, теперь вы можете ехать, только постарайтесь встречаться со мною как можно реже. Я вам скажу откровенно: вы мне гадки. Прощайте!

Рославлев выпустил из рук поводья; Блесткин пришпорил свою лошадь и помчался, как из лука стрела, к нашим резервам.

— Эге! — сказал Зарядьев, подойдя к Рославлеву,— кто это дал отсюда такого стречка? Посмотри-ка, словно птица летит.

— Это Блесткин.

— Нет, шутишь? И он здесь был вместе с тобою? Да разве его на аркане сюда притащили?

— Разумеется, поневоле. Я расскажу тебе об этом на просторе, а теперь изволь-ка убираться отсюда с своими стрелками.

— Да, нечего сказать, пора! Нас порядком поубавилось. Эй! барабанщик, сбор!

— Много убито офицеров?

— Да не осталось и половины.

— А что этот молодой прапорщик?.. Как бишь его зовут?.. Такой милый, скромный...

— Сицкий?

— Да.

— Вот здесь в кустах, лежит рядышком с своим братом.

— Убит? Как жаль!

— Ну, братец, как-то бог и остальных вынесет. Ведь как мы начнем ретироваться, так французы нам кланяться не станут; посмотри, какие будут проводы.

— Не беспокойся! Зарецкий с своим эскадроном сделает диверсию и станет прикрывать ваше отступление... Вон видишь? Он заезжает во фланг французским стрелкам.

— Вижу. А видишь ли ты — немного полевее?..

— Что это? Никак, неприятельская конница?

— Да кажется, что так. Нет, братец! Зарецкому бу-

дет не до меня. Делать нечего, пришлось одному отгрызаться.

Рассыпанные меж кустов и по полю стрелки стали сбираться вокруг барабанщика, и Зарядьев, несмотря на сильный неприятельский огонь, командуя как на ученье, свернул человек четыреста оставшихся солдат в небольшую колонну.

— Смотрите,— сказал он,— слушать команду, равняться, идти в ногу, а пуще всего не прибавлять шагу. Тихим шагом — марш!

Рославлев, который ехал в голове ретирующейся колонны, не спускал глаз с эскадрона Зарецкого.

— Ну, Зарядьев! — сказал он,— помоги бог нашему приятелю! Смотри, смотри! Вон несутся на него французские латники. Боже мой! да их, кажется, эскадрона два или три!

— Не бойся, братец! Бой будет равный. Видишь, один эскадрон принимает направо, прямехонько на нас. Милости просим, господа! мы вас попотчеваем! Смотри, ребята! без приказа не стрелять, задним шеренгам передавать передней заряженные ружья; не торопиться и слушать команды. Господа офицеры! прошу быть внимательными. По первому взводу строй каре!

В одну минуту из небольшой густой колонны составилось порядочное каре, которое продолжало медленно подвигаться вперед. Меж тем неприятельская конница, как громовая туча, приближалась к отступающим. Не доехав шагов полутораста до каре, она остановилась, раздалась громкая команда французских офицеров, и весь эскадрон латников, подобно бурному потоку, ринулся на небольшую толпу бесстрашных русских воинов.

— Погодите, голубчики! — сказал Зарядьев,— мы вас шарахнем! Каре, стой! Вполоборота налево... первый плутонг — клац-пли!

Густое облако дыма скрыло на минуту неприятельскую кавалерию; но, по-видимому, этот первый залп не очень ее расстроил, и когда дым рассеялся, то французские латники были уже не далее пятидесяти шагов от каре.

— Третий плутонг,— скомандовал Зарядьев,— клац-пли! Пятый плутонг — клац-пли! Я думаю,— продолжал он,— этого будет с них довольно.

В самом деле, когда можно стало различать сквозь дым окружные предметы, Рославлев увидел, что неприя-

тельский эскадрон, совершенно расстроенный, принял направо, оставив на одном месте более пятидесяти убитых лошадей и солдат.

— Ну, это дело кончено! — сказал Зарядьев.— Теперь вперед. Во фрунт — марш!

— Ай да молодец! — вскричал Рославлев.— Славно отделался!

— Отделался, да не совсем,— перервал капитан с приметным неудовольствием.— Посмотри-ка! кто это заезжает к нам в тыл?

— Еще конница?

— То-то и дело, что нет — провал бы ее взял, проклятую! Так и есть! конная артиллерия. Слушайте, ребята! если кто хоть на волос высунется вперед — боже сохрани! Тихим шагом!.. Господа офицеры! идти в ногу!.. Левой, правой!.. раз, два!..

Три ядра, одно за другим, прогудели над головами солдат; четвертое попало в самую средину каре.

— Не прибавляй шагу! — закричал Зарядьев.— Примкни! Передний фас, равняйся!.. В ногу!.. Заболтали!.. Вот я вас... Стой!

Каре остановилось; еще несколько ядер выхватило человек пять из заднего фрунта, который приметным образом начал колебаться.

— Не шевелиться! — закричал громовым голосом Зарядьев,— а не то два часа продержу под ядрами. Унтер-офицеры, на линию!.. Вперед — равняйся! Стой!.. Тихим шагом — марш!

— Послушай, Зарядьев! — сказал вполголоса Рославлев,— ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти в ногу, выравнивать фрунт, делать почти ученье под выстрелами неприятельской батареи!.. Я не назову это фанфаронством, потому что ты не фанфарон; но воля твоя, это такой бесчеловечный педантизм...

— Эх, братец! убирайся к черту с своими французскими словами! Я знаю, что делаю. То-то, любезный, ты еще молоденек! Когда солдат думает о том, чтоб идти в ногу да равняться, так не думает о неприятельских ядрах.

— Положим, что так; но для чего вести их тихим шагом?

— А ты бы, чай, повел скорым? Нет, душенька! от скорого шагу до беготни недалеко; а как побегут да нагрянет конница, так тогда уже поздно будет командо-

вать. Однако ж взгляни-ка налево: кажется, наш приятель Зарецкий делает то же, что мы.

В самом деле, Зарецкий, атакованный двумя эскадронами латников, после жаркой схватки скомандовал уже: «По три налево кругом — заезжай!» — как дивизион русских улан подоспел к нему на помощь. В несколько минут неприятельская кавалерия была опрокинута; но в то же самое время Рославлев увидел, что один русский офицер, убитый или раненый, упал с лошади.

— Боже мой! — вскричал он,— это, кажется, Зарецкий? Так точно, это его серая лошадь!..

— И, братец! — перервал Зарядьев,— мало ли серых лошадей... Да постой, куда ты?

Но Рославлев, не слушая его слов, приударил нагайкою свою лошадь и полетел в ту сторону, где происходило кавалерийское дело.

Когда Рославлев стал приближаться к нашей коннице, то неприятельская, подкрепленная свежими войсками, построилась снова в боевой порядок, и между обеих кавалерийских колонн начали разъезжать и показывать свое удальство фланкеры обеих сторон. Один французский конный егерь, сшибя с лошади сабельным ударом русского гусара, подскакал шагов на десять к Рославлеву и выстрелил по нем из пистолета. Сгоряча Рославлев едва почувствовал, что ему как будто бы обожгло левую руку; он подъехал к гусарам, и первый офицер, его встретивший, был Зарецкий.

— Слава богу! — вскричал Рославлев,— ты жив! А мне показалось издали...

— Да, Владимир! я жив и даже не ранен; но поручика моего французы отправили на тот свет. Жаль! славный был малой. Да постой-ка: что у тебя рука? Ты ранен.

— Ранен? неужели?

— Да, и кажется, не на шутку; надобно скорей перевязать твою руку.

— Сейчас прискакал с приказом адъютант,— сказал уланский ротмистр, подъехав к гусарам.— Нам велено отретироваться за передовую нашу линию.

— Эй, Трощенко! — закричал Зарецкий,— труби аппель *! Да, кажется, и французы устали уж драться,— продолжал он, посматривая вперед,— их цепь начинает очень редеть, и канонада почти совсем утихла.

---

* сбор (от *фр.* appel).

— На нашем фланге утихла,— прибавил улан,— а слышите ли, на левом какая еще идет жарня?

Гусарский эскадрон примкнул к уланам, переправился, не будучи преследуем неприятелем, через речку в то самое время, как Зарядьев, потеряв еще несколько солдат, присоединился благополучно к своей колонне. Зарецкий, сдав на несколько времени команду старшему по себе, проводил Рославлева до обоза, расположенного в полуверсте от наших резервов. На каждом шагу встречались им раненые; все лекаря были заняты. Прождав около четверти часа подле огонька, разложенного между фур, Зарецкий вскричал наконец с нетерпением:

— Да что ж это до сих пор не отыщут нашего полкового лекаря? Я боюсь, не раздроблена ли у тебя кость!

— А вот увидим-с,— сказал, подходя к ним, человек небольшого роста, с широким красным лицом и прищуренными глазами.— Позвольте-с!

— Насилу пришел! — сказал Зарецкий.— Мы с полчаса тебя дожидаемся.

— Сейчас, сударь, сейчас! Что, батюшка, Владимир Сергеевич, и вас зацепило? Эге-ге!.. подле самого локтя!.. Постойте-ка... Ого-го!.. Навылет! Ну, изрядно-с! Да не извольте скидать сюртука; мы лучше распорем рукав. Эй, Швалев! — продолжал он, обращаясь к полковому фельдшеру, который стоял позади его с перевязками,— разрежь рукав, а я меж тем приготовлю инструменты.

— А что? — спросил Зарецкий,— разве ты думаешь, что надобно будет?..

— Не могу доложить-с,— отвечал лекарь, перебирая свой хирургический портфель,— а вряд ли дело обойдется без ампутации! Да не беспокойтесь, я взял новые инструменты: это минутное дело.

— Помилуй, братец! — вскричал Зарецкий,— что у тебя за страсть резать руки? Будет с тебя: я думаю, сегодня ты их с полдюжины отрезал.

— С полдюжины?.. Нет, сударь! прошу не прогневаться,— возразил с гордостию обиженный хирург,— поболее будет полдюжины! Швалев! сколько мы сегодня отпилили рук?

— Одиннадцать, ваше благородие!

— Врешь, дурак! Двенадцать рук и три ноги; всего пятнадцать операций в один день. Нечего сказать, славная практика-с! Ну, Владимир Сергеевич, позвольте те-

перь. Да не бойтесь, я хочу только зондировать вашу рану.

После минутного молчания, в продолжение которого Зарецкий не спускал глаз с своего друга, лекарь объявил, что, по-видимому, пуля не сделала никакого важного повреждения.

— Ну, Владимир Сергеевич,— прибавил он,— поздравляю вас! Кажется, вы останетесь с рукою, а если б на волосок пониже, то пришлось бы пилить... Впрочем, это было бы короче — минутное дело; да оно же и вернее.

— Спасибо, Иван Иванович! — сказал, улыбаясь, Рославлев.— Так и быть, я уж рискну остаться с рукою.

— Как угодно-с. Только я советую вам отсюда уехать. Во всяком случае, рана ваша требует частой перевязки, а мы двух дней не постоим на одном месте, так трудненько будет-с наблюсти аккуратность.

— В самом деле,— сказал Зарецкий,— ступай лечиться к своей невесте. Видишь ли, мое предсказание сбылось: ты явишься к ней с Георгиевским крестом и с подвязанной рукою. Куда ты счастлив, разбойник! Ну, что за прибыль, если меня ранят? К кому явлюсь я с распоронным рукавом? Перед кем стану интересничать? Перед кузинами и почтенной моей тетушкой? Большая радость!.. Но вот, кажется, и на левом фланге угомонились. Пора: через полчаса в пяти шагах ничего не будет видно.

Сраженье прекратилось, и наш арьергард, отступя версты две, расположился на биваках. На другой день Рославлев получил увольнение от своего генерала и, найдя почтовых лошадей в Вязьме, доехал благополучно до Серпухова. Но тут он должен был поневоле остановиться: рука его так разболелась, что он не прежде двух недель мог отправиться далее, и наконец 26 августа, в день знаменитого Бородинского сражения, Рославлев переменил в последний раз лошадей, не доезжая тридцати верст от села Утешина.

ГЛАВА V

Размытая проливными дождями проселочная дорога, по которой ехал Рославлев вместе с своим слугою, становилась час от часу тяжеле, и, несмотря на то, что

они ехали в легкой почтовой тележке, усталые лошади с трудом тащились шагом. Солнце уже садилось, последние лучи его, догорая на ясных небесах, золотили верхи холмов, покрытых желтой нивою. Позади наших путешественников и над их головами не было заметно ни одного облачка; но душный воздух стеснял дыхание, и впереди, из-за густого леса, подымались черные тучи.

— Ну, сударь, будет гроза! — сказал Егор, поглядывая робко вперед.— Посмотрите, какие оттуда лезут тучи... Ух, батюшки!.. одна другой страшнее!

— Недаром сегодня так парило,— примолвил извозчик.— Вон и ласточки низко летают — быть грозе!

— А далеко ли еще до Утешина? — спросил Рославлев.

— Верст пятнадцать — поболе будет.

— Только-то? — сказал Егор.— Так ступай скорее: долго ли промахнуть пятнадцать верст.

— И рад бы ехать, да вишь дорога-то какая. Чему и быть: уж с неделю места, дождик так ливмя и льет.

— Может быть, впереди дорога лучше.

— Куда лучше! Версты за три до села, слышь ты, так благо, что вовсе проезда нет.

— Да нет ли другой дороги? — спросил Рославлев.

— Бают, что лесом есть объезд. Кабы было у кого поспрошать, так можно бы; а то дело к ночи: запропастишься так, что животу не рад будешь.

— Постой! — вскричал Егор.— Вон там, подле леса, едет кто-то верхом. Догоняй-ка его: может статься, он здешний.

Ямщик приударил лошадей, и через несколько минут, подъехав к частому сосновому бору, они догнали верхового, который, в провожании двух борзых собак, ехал потихоньку опушкой леса.

— Владимир Сергеич! — сказал Егор,— да это, никак, ловчий Николая Степановича Ижорского? Ну, так и есть, он! Эй, Шурлов! здравствуй, любезный!

Охотник оглянулся, повернул свою лошадь и, подъехав к телеге, вскрикнул:

— Что это? Ах, батюшка, Владимир Сергеич, это вы?

— Как ты сюда заехал, Архипыч? Зачем? — спросил Егор.

— А вот видишь зачем,— отвечал Шурлов, показывая на двух зайцев, которые висели у него в тороках.

— Ну что, братец, все ли у вас благополучно? — спросил с приметной робостию Рославлев.— Все ли здоровы?..

— Все, слава богу, батюшка, то есть Прасковья Степановна и обе барышни; а об нашем барине мы ничего не знаем. Он изволил пойти в ополчение; да и все наши соседи — кто уехал в дальние деревни, кто также пошел в ополчение. Ну, поверите ль, Владимир Сергеич, весь уезд так опустел, что хоть шаром покати. А осень-та, кажется, будет знатная! да так — ни за копейку пропадет: и поохотиться некому.

— Послушай, брат,— перервал Егор,— где у вас объезд лесом? А то, говорят, дорога-то к селу больно плоха.

— Да так-то плоха, что и сказать нельзя. Объездом лучше; а все, как станете подъезжать к селу, так — не роди мать на свете!.. грязь по ступицу. Вот я поеду подле вас да укажу, где надо своротить с дороги.

Ямщик тронул лошадей, и наши путешественники потащились шагом вперед.

— Ну, сударь,— продолжал Шурлов,— не чаяли мы так скоро вас видеть. Да что это? никак, у вас рука подвязана?

— Да: я ранен.

— Слава богу, что еще в руку, батюшка. А, чай, сколько голов легло под одним Смоленском? Ну, сударь, прогневался на нас господь! Тяжкие времена! Вот хоть через наш уезд уж ехало, ехало смоленских обывателей. Сердечные! в разор разорены! Поглядишь на иного помещика: едет, родимый, с женой да с детьми, а куда? и сам не знает. Верите ль богу, сердце изныло, глядя на их слезы; и как гоняют мимо нас этих пленных французов, то вот так бы их, разбойников, и съел! Эх, сударь!.. А Прасковья-то Степановна... бог ей судья!

— Что такое?..

— Не вам бы слушать, и не мне бы говорить! Ведь она родная сестрица нашего барина, а посмотрите-ка, что толкуют о ней в народе — уши вянут!.. Экой срам, подумаешь!

— Ты пугаешь меня!.. Да что такое?

— Помните ли, сударь, месяца два назад, как я вывихнул ногу — вот, как по милости вашей прометались все собаки и русак ушел? Ах, батюшка, Владимир Сергеич, какое зло тогда меня взяло!.. Поставил родного в

чистое поле, а вы... Ну, уж честил же я вас — не погневайтесь!..

— Хорошо, братец, хорошо; но дело не о том...

— Ну вот, сударь! Я провалялся без ноги близко месяца; вы изволили уехать; заговорили о французах, о войне; вдруг слышу, что какого-то заполоненного француза привезли в деревню к Прасковье Степановне. Болен, дискать, нельзя гнать с другими пленными! Как будто бы у нас в городе и острога нет...

— А, это тот раненый полковник...

— А черт его знает — полковник ли он или нет! Они все меж собой запанибрата; платьем пообносились, так не узнаешь, кто капрал, кто генерал. Да это бы еще ничего; отвели б ему фатеру где-нибудь на селе — в людской или в передбаннике, а то — помилуйте!.. забрался в барские хоромы да захватил под себя всю половину покойного мужа Прасковьи Степановны. Ну, пусть он полковник, сударь; а все-таки француз, все пил кровь нашу; так какой склад русской барыне водить с ним компанию?

— Послушай, Шурлов: и бог велит безоружного врага миловать, а особливо когда он болен.

— Да уж он, сударь, давным-давно выздоровел. И посмотрите, как отъелся; какой стал гладкий — пострел бы его взял! Бык быком! И это бы не беда: пусть бы он себе трескал, проклятый, да жирел вволю — черт с ним! Да знай сверчок свой шесток; а то срамота-то какая... Ведь он ни дать ни взять стал нашим помещиком.

— Как помещиком?

— Да так же! Расхаживает себе по хоромам из комнаты в комнату, курит из господской пенковой трубки, которую покойник берег пуще своего глаза. Подавай ему того, другого; да как покрикивает на людей — словно барин какой. А как пойдет гулять по саду с барыней, так — господи боже мой! подбоченится, закинет голову... Ну черт ему не брат! Я старик, а и во мне кровь закипит всякий раз, как с ним повстречаюсь — так руки и зудят! Ух, батюшки!.. Кабы воля да воля, хватил бы его рожном по боку, так перестал бы кочевряжиться! подумаешь, сколько, чай, сгубил он православных, а русская барыня на руках его носит!

— Полно, Шурлов, не сердись. Если он выздоровел, то, конечно, должно его отправить в город; я поговорю об этом.

— Поговорите, батюшка, а то, знаете ли? не ладно,

видит бог, не ладно! На селе все мужички стали меж собой калякать: «Что, дискать, это? Уж барыня-то наша не изменница ли какая? Поит и кормит злодеев наших». И анагдась так было расшумаркались, что и приказчик места не нашел. «Что, дискать, этому нехристю смотреть в зубы? в колья его, ребята!» Уж кое-как уговорил их батька Василий. Правда, с тех пор француз и носу не смеет на улицу показывать; а барыня стала такая ласковая с отцом Васильем: в неделю-то раз пять он обедает на господском дворе. Ох, батюшка! недаром это! Знаете ли, какой слух недавно прошел в народе?.. Страшно вымолвить!

— А что такое?

— Говорят... не дай господи согрешить напрасно! — продолжал Шурлов, понизив голос.— Говорят, будто бы старая-то барыня хочет выйти замуж за этого француза.

— Какой вздор!

— Может статься, и вздор, батюшка; да ведь глотки никому не заткнешь; и власть ваша, а дело на то походит. Палагея Николавна — невеста ваша, да она недавно куда ж больна была, сердечная!

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, захворала было не на шутку; но теперь, говорят, слава богу, оправилась и стала повеселей. Ольга Николавна, как слышно, не очень изволит жаловать этого француза; так на кого и подумать, как не на старую барыню. А она же, как говорят, ни пяди от него не отстает и по-французскому вот так и сыпет; деньденьской только и слышут люди: мусьё да мусьё, мадам да мадам, шушуканье да шепотня с утра до вечера. Ну, воля ваша, а это все не к добру! Ведь бес-то силен, батюшка! долго ль до греха! Да и проклятый француз... такая диковинка!.. Видали мы всяких мусьёв и учителей: всё народ плюгавый, гроша не стоит; а этот пострел, кажется, француз, а какой бравый детина!.. что грех таить, батюшка, стоит русского молодца. Вот вы смеетесь, Владимир Сергеич? А смотрите, чтоб не пришлось нам всем плакать.

— Не бойся, Шурлов; ты не знаешь, почему Прасковья Степановна так ласкова с этим французом: ведь они давно уже знакомы.

— Вот что?.. Ну это как будто бы полегче; а все лучше, если бы его отправили к команде. Не то время, Владимир Сергеич! Чай, слыхали пословицу: «Дружба

дружбой, а служба службой»! А ведь чем же нам и послужить теперь государю, как не тем, чтоб бить наповал эту саранчу заморскую. Был, батюшка, и на их улице праздник: поили их, кормили, приголубливали, а теперь пора и в дубьё принять. Ну вот, Владимир Сергеич, и поворот,— продолжал старый ловчий, остановив свою лошадь.— Извольте ехать прямо по этой просеке до песочного вра́га; держитесь все правой руки, а там пойдет дорога налево; как поравняетесь с деревянным крестом — изволите знать, что в сосновой роще?

— Как не знать? — подхватил Егор.— Ведь ты говоришь про тот крест, что поставлен над могилою приказчика Терентьича, которого еще в пугачевщину на этом самом месте извели казаки?

— Ну да.

— Эх, брат! место-то неловкое. Говорят, будто бы по ночам видали, что перед крестом теплится свечка и сидит сам покойник.

— Слыхать-то об этом и я слыхал, а сам не видывал. От креста вы проедете еще версты полторы, а там выедете на кладбище; вот тут пойдет опять плохая дорога, а против самой кладбищенской церкви — такая трясина, что и боже упаси! Забирайте уж лучше правее; по пашне хоть и бойко, да зато не увязнете. Ну, прощайте, батюшка, Владимир Сергеич!

— А ты куда, Шурлов?

— Я неподалеку отсюда переночую у приятеля на пчельнике. Хочется завтра пообшарить всю эту сторону; говорят, будто бы здесь третьего дня волка видели. Прощайте, батюшка! с богом! Да поторапливайтесь, а не то гроза вас застигнет. Посмотрите-ка, сударь, с полуден какие тучи напирают!

В самом деле, впереди все небо подернулось черными тучами, изредка сверкала молния, и хотя отдаленный гром едва был слышен, но листья шевелились на деревьях и воздух становился час от часу душнее. Шурлов повернул свою лошадь, подкликал собак и пустился рысью назад по дороге; а наши путешественники въехали в узкую просеку, которая шла в самую средину леса. Казалось, с каждым шагом вперед лес становился все темнее; кругом царствовала мертвая тишина. Несколько минут ничто не нарушало торжественного безмолвия ночи; путешественники молчали, колеса катились без шума по мягкой дороге, и только от времени до времени сухой валежник хрустел под ногами лошадей и раз-

давался легкий шорох от перебегающего через дорогу зайца.

— Эка ночка! — сказал наконец Егор.— Ну, сударь, дай бог нам доехать благополучно. Не знаю, как вы, а я начинаю побаиваться. Ну, если мы заплутаемся?

Рославлев не отвечал ни слова.

— Ох, эти объезды! — продолжал вполголоса Егор, посматривая робко во все стороны,— терпеть их не могу: того и гляди, заедешь туда, куда ворон и костей не заносил. Здесь, чай, и днем-то всегда сумерки, а теперь...— он поднял глаза кверху,— ни одной звездочки на небе, поглядел кругом — все темно: направо и налево сплошная стена из черных сосен, и кой-где высокие березы, которые, несмотря на темноту, белелись, как мертвецы в саванах. Прошло еще несколько минут, последний свет от потухающей зари исчез на мрачных небесах, покрытых густыми облаками, и наступила совершенная темнота. Ямщик слез с телеги и пошел пешком подле лошадей, которые, робко передвигая ноги, едва подавались вперед. С лишком час наши путешественники тащились шагом. Рославлев молчал, а Егор, чтоб ободрять себя, посвистывал и понукал лошадей.

— Ну, что ж ты заснул, братец! — сказал он наконец ямщику.— Садись да погоняй лошадей-та!

— Да, погоняй!.. А как наедешь на колоду. Вишь темнять какая!

— Так затяни песенку: все-таки будет повеселее.

— Коль ты охоч до песен, так пой сам.

— А ты что?

— Да!.. слышь ты, парень, до песен теперь! Только вынеси господь!.. Туда ли еще едем?

— Что ж ты за ямщик, коли не знаешь, куда едешь? Смотри, брат! Если ты завезешь нас в какую-нибудь трущобу, так добром со мной не разделаешься.

— Ой ли? Грози, брат, богатому — денежку даст, а с меня взятки-та гладки. Ведь я вам баил, что объезда не знаю.

— В самом деле, не заплутались ли мы? — спросил Рославлев.

— Небось, барин! Бог милостив; авось как-нибудь выберемся из леса. Только гроза-та нас застигнет; вон и дождик стал накрапывать.

Крупные дождевые капли зашумели меж листьев; заколебались вершины деревьев; ветер завыл, и вдруг все небо осветилось.

— Господи помилуй! — сказал, перекрестясь, Егор.— Экая молния, так и палит!

Сильный удар грома потряс все окрестности, и проливной дождь, вместе с вихрем, заревел по лесу. Высокие сосны гнулись, как тростник, с треском ломались сучья; глухой гул от падающего рекой дождя, пронзительный свист и вой ветра сливались с беспрерывными ударами грома. Наши путешественники при блеске ежеминутной молнии, которая освещала им дорогу, продолжали медленно подвигаться вперед.

— Постой-ка,— сказал ямщик Егору,— уж не овраг ли это? Придержи-ка, брат, лошадей, а я пойду посмотрю.— Он сделал несколько шагов вперед меж частого кустарника и закричал: — Ну так и есть — овраг!

— Посмотри, Егор! — сказал Рославлев,— мне показалось, что молния осветила вон там в стороне деревянный крест. Это должна быть могила Терентьича — видишь? прямо за этой сосной?

— Вижу, сударь, вижу!..— отвечал Егор прерывающимся от страха голосом.— А видите ли вы?..

— Что такое?..

— Посмотрите, посмотрите!.. вон опять!.. Господи, помилуй нас, грешных!..

Молния снова осветила крест, и Рославлеву показалось, что кто-то в белом сидит на могиле и покачивается из стороны в сторону.

— Что б это значило? — спросил он, слезая с телеги.— Надобно подойти поближе.

— Что вы? Христос с вами! — вскричал Егор, схватив за руку своего господина.— Разве не видите, что это сам покойник в саване.

В продолжение этого короткого разговора все утихло: дождь перестал идти и ветер замолк. С полминуты продолжалась эта грозная тишина, и вдруг ослепительная молния, прорезав черные тучи, рассыпалась почти над головами наших путешественников. Рославлев и Егор, оглушенные ужасным треском, едва устояли на ногах, а лошади упали на колени. В двадцати шагах от них, против самого креста, задымилась сосна; тысячи огненных змеек пробежали по ее сучьям; она вспыхнула, и яркое пламя осветило всю окружность. Дождь снова полился, и ветер забушевал между деревьями. Несмотря на просьбы своего слуги, Рославлев подошел к могиле: ни на ней, ни подле нее никого не было; но что-то похожее на человеческий хохот сливалось вдали с воем

ветра. Когда он возвратился к телеге, ямщик стоял возле лошадей, которые дрожали, фыркали и жались одна к другой.

— Что делать, батюшка? — сказал ямщик,— лошадки-то больно напугались. Смотри-ка, сердечные, так дрожкой и дрожат. Уж не переждать ли нам здесь? А то, сохрани господи, шарахнутся да понесут по лесу, так косточек не сберешь.

— Пожалуй, переждем,— сказал Рославлев.— Кажется, гроза начинает утихать.

— Ну что, сударь? — спросил Егор,— вы подходили к могиле?

— Там никого нет.

— Помилуйте! Да разве мы не видали?

— Нам это показалось или, может быть... но в такую грозу... среди леса... Нет, мы, верно, приняли какой-нибудь березовый пенек за человека.

Егор покачал головою и не отвечал ничего. Более получаса продолжалась гроза; наконец все стало утихать; но впереди сверкала молния и сбирались новые тучи. Путешественники двинулись вперед. Узкая, извилистая дорога, по которой и днем не без труда можно было ехать, заставляла их почти на каждом шаге останавливаться; колеса поминутно цеплялись за деревья, упряжь рвалась, и ямщик стал уже громко поговаривать, что в село Утешино нет почтовой дороги, что в другой раз он не повезет никого за казенные прогоны, и даже обещанный рубль на водку утешил его не прежде, как они выехали совсем из леса.

— Вот, кажется, кладбищная церковь? — сказал Рославлев, указывая на белое здание, которое при свете блеснувшей молнии отделилось от группы деревьев, его окружающих.

— А за ним полевее,— перервал Егор,— должно быть село. Верно, все спят! Ни одного огонька не видно. Я думаю, уж поздно, сударь?

Рославлев вынул часы, подавил репетицию; она пробила одиннадцать часов и три четверти.

— Скоро полночь.

— Так, верно, теперь и на барском дворе почивают. Не проехать ли нам, сударь, в дом к Николаю Степановичу?!

— Нет: может быть, они еще не ложились. Эй! ямщик! ступай скорей! Я дам еще рубль на водку.

Ямщик погнал лошадей; но они едва могли бежать

рысью по грязной дороге, которая с каждым шагом становилась хуже. Вот наконец путешественники доехали до кладбища. Поравнявшись с группою деревьев, которая с трех сторон закрывала церковь, извозчик позабыл о том, что советовал им старый ловчий,— не свернул с дороги: колеса телеги увязли по самую ступицу в грязь, и, несмотря на его крики и удары, лошади стали. Пробившись с четверть часа на одном месте, он объявил решительно, что без посторонней помощи они никак не выдерутся из грязи.

— Делать нечего, сударь! — сказал Егор,— оставайтесь здесь, а я сбегаю за народом.

— Ступай на мельницу: она в двух шагах отсюда.

— В самом деле! Ведь на ней живет вся семья Архипа-мельника. Подождите, сударь, мигом слетаю.

У нас в России почти каждая деревня имеет свои изустные предания о колдунах, мертвецах и привидениях, и тот, кто, будучи еще ребенком, живал в деревне, верно, слыхал от своей кормилицы, мамушки или старого дядьки, как страшно проходить ночью мимо кладбища, а особливо когда при нем есть церковь. Русский крестьянин, надев солдатскую суму, встречает беззаботно смерть на неприятельской батарее или, не будучи солдатом, из одного удальства пробежит по льду, который гнется под его ногами, но добровольно никак не решится пройти ночью мимо кладбищной церкви; а посему весьма натурально, что ямщик, оставшись один подле молчаливого барина, с приметным беспокойством посматривал на кладбище, которое расположено было шагах в пятидесяти от большой дороги.

Рославлев не понимал сам, что происходило в душе его; он не мог думать без восторга о своем счастии, и в то же время какая-то непонятная тоска сжимала его сердце; горел нетерпением прижать к груди своей Полину и почти радовался беспрестанным остановкам, отдалявшим минуту блаженства, о которой недели две тому назад он едва смел мечтать, сидя перед огнем своего бивака. Мы все любим предаваться надежде, верим слепо ее обещаниям, и почти всегда в ту самую минуту, когда она готова превратиться в существенность, боязнь и сомнение отравляют нашу радость. Не эту ли самую недоверчивость души к земному нашему счастию мы называем предчувствием, разумеется, если последствия его оправдают? В противном случае мы тотчас забываем, что сердце предсказывало нам горе и что это предвещание

не сбылось. Погруженный в глубокую задумчивость, Рославлев не замечал, что несколько уже минут ямщик стоял неподвижно на одном месте и, дрожа всем телом, смотрел на кладбищную церковь.

— Барин! а барин!..— прошептал он наконец трепещущим голосом,— что это такое?..

— Что ты, братец? — спросил Рославлев.

— Да неужели, батюшка, не слышите? Чу!.. Наше место свято!..

— Постой!.. в самом деле... церковное пение... Где ж это поют?..

— Как где? На кладбище. Вон опять!.. С нами крестная сила!.. Ох, неловко, кормилец!..

— Может быть, похороны?..

— Да разве, батюшка, по ночам кого отпевают?

— Это в самом деле странно!.. Побудь у лошадей! — сказал Рославлев, слезая с телеги и взяв под плечо свою саблю.

— Ах, батюшка барин!.. да как же я останусь-то один?

— Небось, братец: мертвецы через дорогу не перебегают,— сказал с улыбкою Рославлев.

— Глядь-ка, барин!..— закричал ямщик,— глядь! вон и огонек в окне показался — свят, свят!.. Ух, батюшки!.. Ажно мороз по коже подирает!.. Куда это нелегкая его понесла? — продолжал он, глядя вслед за уходящим Рославлевым.— Ну, несдобровать ему!.. Экой угар, подумаешь!.. И молитвы не творит!..

Рославлев перелез через плетень, которым обнесено было кладбище. С трудом пробираясь между могил, он не слышал уже пения, но видел ясно, что внутренность церкви освещена; ему показалось даже, что в одном углу церковного погоста что-то чернелось и раздавался шорох, похожий на топот лошадей, которые не стоят смирно на одном месте. Чтоб заглянуть во внутренность церкви, надобно было непременнс взойти на высокую паперть по крутой и узкой лестнице. Едва он успел шагнуть на первую ступеньку, как вдруг у самых ног его кто-то прохрипел диким голосом: «Тише ты! Не дави живых людей; я еще не умерла». Рославлев невольно отскочил назад и схватился за рукоятку своей сабли; но в ту же самую минуту блеснула молния и осветила сидящую на лестнице женщину в белом сарафане, с распущенными по плечам волосами. Она щелкала зубами, и глаза ее сверкали ужасным образом.

— Это ты, Федора? — сказал Рославлев, узнав сумасшедшую.— Что ты здесь делаешь?

— Вестимо что: пришла на похороны.

— Какие похороны?..

— Погляди в окно, так сам увидишь. Чу!.. слышишь? Поют: со святыми упокой.

— Да, точно поют! Но это совсем не похоронный напев... напротив... мне кажется...— Рославлев не мог кончить: невольный трепет пробежал по всем его членам. Так он не ошибается... до его слуха долетели звуки и слова, не оставляющие никакого сомнения...— Боже мой! — вскричал он,— это венчальный обряд... на кладбище... в полночь!.. Итак, Шурлов говорил правду... Несчастная! что она делает!..

— Тс!.. тише!..— перервала безумная.— Не кричи! помешаешь отпевать!.. Чу! слышишь, затянули вечную память!.. Да постой! куда ты? — продолжала она, схватив за руку Рославлева.— Подождем здесь; как вынесут, так мы проводим ее до могилы.

Рославлев, от которого сумасшедшая не отставала, вбежал на паперть и остановился у первого окна. Внутренность церкви была слабо освещена несколькими свечами, поставленными в паникадила; впереди амвона, перед налоем, стоял священник в полном облачении; против него жених и невеста, оба в венцах; а позади, подле самого окна, две женщины, закутанные в салопы. Казалось, одна из них горько плакала. Рославлев, к которому они так же, как невеста и жених, стояли спиною, не мог этого видеть, но слышал ее рыдания. Эти две женщины, без сомнения, Полина и Оленька. В женихе нетрудно было узнать по иностранному мундиру пленного французского полковника; но его невеста?.. Она не походит на Лидину... нет!.. эта тонкая талия, эти распущенные по плечам локоны! Боже мой!.. неужели Оленька?.. Вот священник берет жениха и невесту за руки, чтоб обвести вокруг налоя... они идут... поравнялись с царскими вратами... остановились... вот начинают доканчивать круг... свет от лампады, висящей перед Спасителем, падает прямо на лицо невесты... «Милосердый боже!.. Полина!!!» В эту самую минуту яркая молния осветила небеса, ужасный удар грома потряс всю церковь; но Рославлев не видел и не слышал ничего; сердце его окаменело, дыханье прервалось... вдруг вся кровь закипела в его жилах; как исступленный, он бросился к церковным дверям: они заперты. В совершенном неис-

товстве, скрежеща зубами, он ухватился за железную скобу; но от сильного напряжения перевязки лопнули на руке его, кровь хлынула ручьем из раны, и он лишился всех чувств.

Обряд венчанья кончился; церковные двери отворились. Впереди молодых шел священник в провожании дьячка, который нес фонарь; он поднял уже ногу, чтоб переступить через порог, и вдруг с громким восклицанием отскочил назад: у самых церковных дверей лежал человек, облитый кровью; в головах у него сидела сумасшедшая Федора.

— Господи помилуй! Что это такое? — сказал священник.— Эй, Филипп! посвети!.. Боже мой! — продолжал он,— русский офицер!

— И весь пол в крови! — воскликнула Полина.

— Так что ж? — сказала Федора, устремив сверкающий взор на Полину.— Небось, ступай смелее! Чего тебе жалеть: ведь это русская кровь!

Дьячок нагнулся и осветил фонарем бледное лицо Рославлева.

— Праведный боже!.. Рославлев!..— вскричала Оленька.

— Рославлев! — повторила ужасным голосом Полина.— Он жив еще?..

— Нет, умер! — перервала безумная.— Милости просим на похороны.— И ее дикий хохот заглушил отчаянный вопль Полины.

ГЛАВА VI

Часу в шестом утра, в просторной и светлой комнате, у самого изголовья постели, на которой лежал не пришедший еще в чувство Рославлев, сидела молодая девушка; глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на бледном лице ее. Подле нее стоял знакомый уже нам домашний лекарь Ижорского; он держал больного за руку и смотрел с большим вниманием на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоял Егор и поглядывал с беспокойным и вопрошающим видом на лекаря.

— Слава богу! — сказал сей последний,— пульс начинает биться сильнее; вот и краска в лице показалась; через несколько минут он должен очнуться.

— Но как вы думаете,— спросила робким голосом

молодая девушка,— этот обморок не будет ли иметь опасных последствий?

— Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна! Если причиною обморока была только одна потеря крови, то несколько дней покоя... но вот, кажется, он приходит в себя...

— Я не могу долее здесь оставаться,— сказала Оленька, вставая,— но ради бога! если он будет чувствовать себя дурно, пришлите мне сказать... Несчастный!..— Она закрыла руками лицо свое и вышла поспешно из комнаты.

— Побудь с своим барином,— сказал Егору лекарь, уходя вслед за Оленькой,— а я сбегаю в аптеку и приготовлю лекарство, которое подкрепит его силы.

Рославлев открыл глаза, привстал и с удивлением посмотрел вокруг себя.

— Что это?..— спросил он тихим голосом.— Где я?

— В доме у Николая Степановича, сударь! — отвечал Егор, подойдя к постели.

— У какого Николая Степановича?..

— Ижорского, сударь!

— Ижорского?..— повторял Рославлев.— Ах да, знаю!.. Ижорского!.. Но зачем мы здесь?.. когда приехали?.. Я ничего не помню... Постой!.. Мне кажется, вчера я заснул в телеге!.. Да! точно так!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Федора... Боже мой!.. свадьба! Ах, Егор! какой я видел страшный сон!

Егор поглядел с сожалением на своего господина и, покачав печально головою, сказал:

— Что об этом говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы.

— Кто? я? Да! я чувствую какую-то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здесь, а не там?.. Постой! мне помнится, что лошади стали... ты пошел за людьми... да, да! я не во сне это видел,— и вдруг мы очутились здесь. Да что ж ты молчишь?

— То-то, сударь! вы изволите смеяться над нашим братом: и дурачье-то мы, и всякому вздору верим; а кабы вы сами не ходили вчерась на кладбище...

— Как! — вскричал Рославлев,— так я был на кладбище?.. Я видел это не во сне?.. Ну что же? говори, говори!..— продолжал он, вскочив с постели; бледные щеки его вспыхнули, глаза сверкали; казалось, все силы его возвратились.

— Успокойтесь, сударь! — сказал Егор.— Присядьте! я все вам расскажу.

— Все?

— Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью, против самой кладбищной церкви, наши лошади стали, а телега так завязла в грязи, что и колес было не видно. Я пошел на мельницу за народом, а вы остались на дороге одни с ямщиком.

— Да, точно так. Говори, говори!..

— Я пришел на мельницу; уж стучал, стучал, насилу достучался; видно, Архип хватил за ужином через край бражки. Я сбирался уж выбить окно... глядь! слава богу, проснулись. Пока я им толковал, в чем дело, пока вздули огонь и Архип с своими ребятами одевался, прошло этак с полчаса времени; Архип засветил фонарь, и мы вчетвером отправились на дорогу. Приходим — телега стоит на прежнем месте, а ни вас, ни ямщика нет. Что за причина такая?.. Мы принялись кричать: смотрим, лезет кто-то из-за куста... ямщик! лица нет на парне, дрожкой дрожит. «Что ты, братец? — спросил я,— где барин?» Вот он собрался с духом и стал нам рассказывать; да, видно, со страстей язык-то у него отнялся: уж он мямлил, мямлил, насилу поняли, что в кладбищной церкви мертвецы пели всенощную, что вы пошли их слушать, что вдруг у самой церкви и закричали и захохотали; потом что-то зашумело, покатилось, раздался свист, гам и конский топот; что один мертвец, весь в белом, перелез через плетень, затянул во все горло: со святыми упокой — и побежал прямо к телеге; что он, видя беду неминучую, кинулся за куст, упал ничком наземь и вплоть до нашего прихода творил молитву. Ну, сударь, грех таить, от этих слов у всех нас волосы стали дыбом. Что делать? Идти искать вас на кладбище?.. Вчетвером я и самого черта не испугаюсь; да Архип-то стал переминаться, ребята его также сробели: нейдут, да и только! Вот я подумал, перекрестился и только что хотел пуститься один на волю божью, как вдруг слышим — кто-то скачет к нам по дороге. Подскакал — гляжу: Иван Петров, слуга Прасковьи Степановны. Он сказал нам, что вы здесь, что вас нашли у кладбищной церкви, что вы лежите без памяти; а как нашли? кто нашел? толку не мог добиться. Вот, сударь, все, что я знаю.

В продолжение сего разговора Рославлев несколько раз менялся в лице.

— Итак...— сказал он.— Итак... нет сомненья... все то, что я видел...

— А что вы видели, сударь? — спросил с любопытством Егор.

— Я видел мою невесту...

— Вашу невесту? В кладбищной церкви! в полночь? Христос с вами, сударь! Что вы? Вам померещилось!

— В венце перед налоем...

— Господи помилуй!.. Да это демонское наваждение...

— Ах, Егор! если б в самом деле какой-нибудь злой дух...

— А что ж вы думаете? Ведь сатана хитер, сударь, хоть кого из ума выведет. Ну, помилуйте, как могли вы видеть Палагею Николаевну на кладбище, когда она нездорова и лежит в постели?

— Что ты говоришь?.. Почему ты знаешь?

— Сию минуту сестрица ее изволила говорить с лекарем.

— Оленька здесь? Где ж она?

— Уехала домой. Она всю ночь сидела подле вашей кровати; а уж как плакала! Господи боже мой!.. откуда слезы брались! Она изволила оставить вам письмо.

— Письмо? Подай, подай!..

Егор взял со стола запечатанное письмо и подал его своему господину.

— От Полины!..— вскричал Рославлев. Он, сорвав печать, развернул дрожащей рукою письмо. Холодный пот покрыл помертвевшее лицо его, глаза искали слов... но сначала он не мог разобрать ничего: все строчки казались перемешанными, все буквы не на своих местах, наконец с величайшим трудом он прочел следующее:

«Вы должны ненавидеть... нет! я не достойна вашей ненависти: это чувство слишком близко любви; вы должны, вы имеете полное право презирать меня. Не смею надеяться, что, открыв вам ужасную тайну, которую думала унести с собой в могилу, я заставлю вас пожалеть обо мне. Я вас не знала еще, Рославлев, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Он любил меня, но тогда он не мог еще быть моим мужем. Я не могла даже мечтать, что встречусь с ним в здешнем мире, и, несмотря на это, желания матушки, просьбы сестры моей, ничто не поколебало бы моего намерения остаться

вечно свободною; но бескорыстная любовь ваша, ваше терпенье, постоянство, желание видеть счастливым человека, к которому дружба моя была так же беспредельна, как и любовь *к нему,* — вот что сделало меня виновною. Безумная! я обманывала сама себя! Я думала, что, видя вас благополучным, менее буду несчастлива; что, произнеся клятву любить вас одного, при помощи божией, я забуду все прошедшее; что образ того, кто преследовал меня наяву и во сне, о ком я не могла и думать без преступления, изгладится навсегда из моей памяти. Я согласилась принадлежать вам и, клянусь богом, не изменила бы моему обещанию, если бы он встретился со мною во всем прежнем своем блеске, благополучный, одаренный всем, чему завидуют в свете. Но он явился предо мною покрытый ранами, несчастный, всеми оставленный и с прежней любовью в сердце! Казалось, сами небеса желали соединить нас — он мог располагать своей рукою, и вы, Рославлев, вы сами показали ему дорогу в дом наш!..»

— Довольно! — вскричал Рославлев, сжимая с судорожным движением в руке своей измятое письмо. — Чего еще мне надобно? Егор! лошадей!

— Как, сударь? Вы хотите ехать?

— Да!

— Не видев вашей невесты?

— Молчи!

— Помилуйте, сударь! Как вам ехать сегодня?

— Да! сегодня... сейчас... сию минуту!..

— Но куда, сударь? К нам в деревню?

— Нет! здесь мне душно... Дальше, дальше! Туда, где я могу утонуть в крови злодеев-французов.

— Говорят, сударь, что они недалеко от Москвы.

— Недалеко? Итак, в Москву!

— А рана ваша?

— Не бойся! Я умру не от нее. Ступай скорее! Ямщик, который нас привез, верно, еще не уехал. Чтоб чрез полчаса нас здесь не было. Ни слова более! — продолжал Рославлев, замечая, что Егор готовился снова возражать, — я приказываю тебе! Постой! Вынь из шкатулки лист бумаги и чернильницу. Я хочу, я должен отвечать ей. Теперь ступай за лошадьми, — прибавил он, когда слуга исполнил его приказание.

— Но если ямщик попросит двойные прогоны?

— Дай вчетверо, но чтоб чрез полчаса нас здесь не было.

Егор вышел, а Рославлев начал писать следующее:

«Я не дочитал письма вашего. Вы графиня Сеникур, жена пленного француза,— на что мне знать остальное? Не о себе хочу я говорить — моя участь решена: смерть возвратит мне спокойствие; она потушит адское пламя, которое горит теперь в груди моей; но вы!.. Слушайте приговор ваш! Вы не умрете ни от стыда, ни от раскаяния; проклятие всех русских, которое прогремит над преступной главой вашей, не убьет вас — нет! вы станете жить. Прижав к сердцу обагренную кровью русских, кровью братьев ваших, руку мужа, вы пойдете вместе с ним по пути, устланному трупами ваших соотечественников. Торжествуйте вместе с ним каждую победу злодеев наших! Забудьте, что вы русская, забудьте бога... Да! вы должны выбирать одно из двух: или вовсе забыть его, или молить, чтоб он помог французам погубить Россию. В этой смертной борьбе нет средины: или мы, или французы должны погибнуть; а вы — жена француза! Умрите, несчастная, умрите сегодня, если можно,— я желаю этого. Да, Полина, я молю об этом бога... Я чувствую... да, я чувствую, что еще люблю вас!..»

Рославлев перестал писать; крупные слезы покатились градом по лицу его.

— А! Владимир Сергеевич! — сказал лекарь, входя в комнату,— вы уж и встали? Ну что, как вы себя чувствуете?

Рославлев закрыл платком глаза и не отвечал ни слова. Лекарь взял его за руку и, поглядев на него с состраданием, повторил свой вопрос.

— Я здоров,— отвечал Рославлев,— и сейчас еду.

— Что вы? Как это можно? У вас жар.

— Вы ошибаетесь,— перервал Рославлев, положив руку на грудь свою.— Здесь холодно, как в могиле.

— Вам надобен покой.

— Не бойтесь! — сказал с горькой улыбкою Рославлев.— Я найду его.

— Но по крайней мере, примите это лекарство и дайте мне перевязать вашу руку.

— И, полноте! на что это? Я могу еще владеть саблею. Благодаря бога правая рука моя цела; не бойтесь, она найдет еще дорогу к сердцу каждого француза. Ну что? — продолжал Рославлев, обращаясь к вошедшему Егору.— Что лошади?

— Привел, сударь!

Рославлев встал и, шатаясь, подошел к лекарю.

— Вот письмо к Пелагее Николаевне,— сказал он.— Потрудитесь отдать его. Прощайте!

Лекарь взял молча письмо и вышел вслед за Рославлевым на крыльцо.

— Прощайте, прощайте...— повторял Рославлев, садясь в телегу.— Скажите ей... Нет! не говорите ничего!..

— Я сегодня поутру ее видел,— сказал вполголоса лекарь,— и если б вы на нее взглянули... Ах, Владимир Сергеевич! она несчастнее вас!

— Слава богу! Итак, этот француз не совсем еще задушил в ней совесть!

— Я лекарь, Владимир Сергеевич; я привык видеть горесть и отчаяние; но клянусь вам богом, в жизнь мою не видывал ничего ужаснее. Она в полной памяти, а говорит беспрестанно о церковной паперти; видит везде кровь, сумасшедшую Федору; то хохочет, то стонет, как умирающая; а слезы не льются...

— Ступай! — закричал Рославлев. Извозчик тронул лошадей.— Нет, нет! постой! Итак, она очень несчастлива? — продолжал он, обращаясь к лекарю.— Очень?.. Послушайте! скажите ей, что я здоров... что она... подайте назад мое письмо.

Лекарь подал ему письмо; Рославлев схватил его, изорвал и закричал извозчику:

— Пять рублей на водку, но до самой станции вскачь — пошел!

Менее чем в два часа примчались они на первую станцию. Рославлев, несмотря на убеждения своего слуги, не хотел отдохнуть; он уверял, что чувствует себя совершенно здоровым; но его пылающие щеки, дикий, беспокойный взгляд — все доказывало, что сильная горячка начинает свирепствовать в крови его. Переменив лошадей, они поскакали далее. Не более двадцати верст оставалось до Москвы. Они не обогнали никого, но почти на каждой версте встречались с ними проезжие; не слышно было веселых песен извозчиков; молча, как в похоронном ходу, тянулись по большой Московской дороге целые обозы экипажей. Многие из проезжающих, идя задумчиво подле карет своих, обращали от времени до времени свой тоскливый взгляд туда, где позади их осталась опустевшая Москва. Быть может, они в последний раз простились с нею. Их пасмурные лица казались еще грустнее от противуположности с веселыми и беззаботными лицами детей, которые, выглядывая из дорож-

ных экипажей, с шумной радостию любовались открытыми полями и зеленеющимся лесом.

— Что это, барин? — сказал Егор,— никак, из Москвы все выбираются? Посмотрите-ка вперед — повозок-то, карет!.. Видимо-невидимо! Ох, сударь! знать, уже французы недалеко от Москвы.

— Ах, как бы я желал этого! — сказал Рославлев.

— Что вы? Христос с вами! Эх, барин, барин! не хороши у вас глаза: вы точно нездоровы.

— И, врешь! я совершенно здоров; но мне душно... здесь все так тихо, мертво... В Москву, скорей в Москву!.. Там наши войска, там скоро будут французы... там, на развалинах ее, решится судьба России... там... Да, Егор! там мне будет легче... Пошел!..

Егор покачал печально головою.

— Послушайте, Владимир Сергеич,— сказал он,— не приостановиться ли нам где-нибудь? Мне кажется, у вас жар.

— Да! Мне что-то душно, жарко; здесь и воздух меня давит.

— Вот ямщик будет спускать с горы, а вы пройдитесь пешком, сударь; это вас поосвежит.

Рославлев слез с телеги и, пройдя несколько шагов по дороге, вдруг остановился.

— Слышишь, Егор? — сказал он,— выстрел, другой!..

— Верно, кто-нибудь охотится.

— Еще!.. еще!.. Нет, это перестрелка!.. Где моя сабля?

— Помилуйте, сударь! Да здесь слыхом не слыхать о французах. Не казаки ли шалят?.. Говорят, здесь их целые партии разъезжают. Ну вот, изволите видеть? Вон из-за леса-то показались, с пиками. Ну, так и есть — казаки.

С полверсты от того места, где стоял Рославлев, выехали на большую дорогу человек сто казаков и почти столько же гусар. Впереди отряда ехали двое офицеров: один высокого роста, в белой кавалерийской фуражке и бурке; другой среднего роста, в кожаном картузе и зеленом спензере с черным артиллерийским воротником; седло, мундштук и вся сбруя на его лошади были французские. Когда отряд поравнялся с нашими проезжими, то офицер в зеленом спензере, взглянув на Рославлева, остановил лошадь, приподнял вежливо картуз и сказал:

— Если не ошибаюсь, мы с вами не в первый раз встречаемся?

Рославлев тотчас узнал в сем незнакомце молчаливого офицера, с которым месяца три тому назад готов был стреляться в зверинце Царского Села; но теперь Рославлев с радостию протянул ему руку: он вполне разделял с ним всю ненависть его к французам.

— Ну вот,— продолжал артиллерийский офицер,— предсказание мое сбылось: вы в мундире, с подвязанной рукой и, верно, теперь не станете стреляться со мною, чтоб спасти не только одного, но целую сотню французов.

— О, в этом вы можете быть уверены! — отвечал Рославлев, и глаза его заблистали бешенством.— Ах! если б я мог утонуть в крови этих извергов!..

Офицер улыбнулся.

— Вот так-то лучше! — сказал он.— Только вы напрасно горячитесь: их должно всех душить без пощады; переводить, как мух; но сердиться на них... И, полноте! Сердиться нездорово! Куда вы едете?

— В Москву.

— Если для того, чтоб лечиться, то я советовал бы вам поехать в другое место. Близ Можайска было генеральное сражение, наши войска отступают, и, может быть, дня через четыре французы будут у Москвы.

— Тем лучше! Там должна решиться судьба нашего отечества, и если я не увижу гибели всех французов, то, по крайней мере, умру на развалинах Москвы.

— А если Москву уступят без боя?

— Без боя? Нашу древнюю столицу?

— Что ж тут удивительного? Ведь город без жителей — то же, что тело без души. Пусть французы завладеют этим трупом, лишь только бы нам удалось похоронить их вместе.

— Как? Вы думаете?..

— Да тут и думать нечего. Отпоем за один раз вечную память и Москве и французам, так дело и кончено. Мы, русские, дележа не любим: не наше, так ничье! Как на прощанье зажгут со всех четырех концов Москву, так французам пожива будет небольшая; побарятся, поважничают денька три, а там и есть захочется; а для этого надобно фуражировать. Милости просим!.. То-то будет потеха! Они начнут рыскать вокруг Москвы, как голодные волки, а мы станем охотиться. Чего другого,

а за одно поручиться можно: немного из этих фуражиров воротятся во Францию.

— Итак, вы полагаете, что партизанская война...

— Не знаю, что вперед, а теперь это самое лучшее средство поравнять наши силы. Да вот, например, у меня всего сотни две молодцов: а если б вы знали, сколько они передушили французов; до сих пор уж человек по десяти на брата досталось. Правда, народ-то у меня славный! — прибавил артиллерийский офицер с ужасной улыбкою,— всё ребята беспардонные; сантиментальных нет!

— Неужели вы в плен не берете?

— Случается. Вот третьего дня мы захватили человек двадцать, хотелось было доставить их в главную квартиру, да надоело таскать с собою. Я бросил их на дороге, недалеко отсюда.

— Без всякого конвоя?

— И что за беда! Их приберет земская полиция. Ну, что? Вы все-таки поедете в Москву?

— Непременно. Вы можете думать что вам угодно; но я уверен: ее не отдадут без боя. Может ли быть, чтоб эта древняя столица царей русских, этот первопрестольный город...

— Первопрестольный город!.. Так что ж? Разве его никогда не жгли и не грабили то поляки, то татары? Пускай потешатся и французы! Прежние гости дорого за это заплатили, поплатятся и эти. Конечно, патриоты вздохнут о Кремле, барыни — о Кузнецком мосте, чувствительные люди о всей Москве — расплачутся, разревутся, а там начнут снова строить дома, и через десять лет Москва будет опять Москвою. Да только уж в другой раз французы не захотят в ней гостить. Ну, прощайте!.. А право, я советовал бы вам не ездить в Москву. Вам надо полечиться: лицо у вас вовсе не хорошо.

— Это ничего: два дня покоя, потом сраженье под Москвой, и я буду совершенно здоров. Прощайте!

Рославлев сел в телегу и отправился далее. С каждым шагом вперед большая дорога становилась похожее на проезжую улицу: сотни пешеходцев пробирались полями и опереживали длинные обозы, которые медленно тащились по большой дороге. Когда наши путешественники поравнялись с лесом, то Егор заметил большую толпу разного состояния проходящих, которые, казалось, с любопытством теснились вокруг одного места, подле самой опушки леса. Несколько минут он смотрел

внимательно в эту сторону, вдруг толпа раздвинулась, и Егор вскричал с ужасом:

— Посмотрите-ка, сударь, посмотрите! Французы!

— Французы! — повторил Рославлев, схватясь за рукоятку своей сабли.— Где?..

— Да разве не видите, сударь? Вон налево-то, подле самого леса.

— Боже мой! — вскричал Рославлев, закрыв рукою глаза.— Боже мой! — повторил он с невольным содроганием.— Я сам... да, я ненавижу французов; но расстреливать хладнокровно беззащитных пленных!.. Нет! это ужасно!..

— И, барин, что об них жалеть! — сказал ямщик,— буяны!.. А кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько их навалено.

— Проезжай скорей! — закричал Рославлев.— Пошел!

Извозчик нехотя погнал лошадей и, беспрестанно оглядываясь назад, посматривал с удивлением на русского офицера, который не радовался, а, казалось, горевал, видя убитых французов. Рославлев слабел приметным образом, голова его пылала, дыханье спиралось в груди; все предметы представлялись в каком-то смешанном, беспорядочном виде, и холодный осенний воздух казался ему палящим зноем.

Через час сверкнул вдали позлащенный крест Ивана Великого, через несколько минут показались главы соборных храмов, и древняя столица, сердце, мать России — Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнине, усеянной обширными садами. Москва-река, извиваясь, текла посреди холмистых берегов своих; но бесчисленные барки, плоты и суда не пестрили ее гладкой поверхности; ветер не доносил до проезжающих отдаленный гул и невнятный, но исполненный жизни говор многолюдного города; по большим дорогам шумел и толпился народ; но Москва, как жертва, обреченная на заклание, была безмолвна. Изредка, кой-где, дымились трубы, и, как черный погребальный креп, густой туман висел над кровлями опустевших домов. Ах, скоро, скоро, кормилица России — Москва, скоро прольются по твоим осиротевшим улицам пламенные реки; святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей соборной колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои древние храмы; но русские всегда возлагали надежду на господа, и ты воскреснешь, Моск-

ва, как обновленное, младое солнце, ты снова взойдешь на небеса России; а враги твои... Ах! вы не воскреснете, несчастные жертвы властолюбия: воины, поседевшие в боях; юноши, краса и надежда Франции; вы не обнимете родных своих! Ваши кости, рассеянные по обширным полям нашим, запашутся сохою, и долго, долго изустная повесть об ужасной смерти вашей будет приводить в трепет каждого иноземца!

ГЛАВА VII

Рано поутру, на высоком и утесистом берегу Москвы-реки, в том самом месте, где Драгомиловский мост соединяет ямскую слободу с городом, стояли и сидели отдельными группами человек пятьдесят, разного состояния, людей; внизу весь мост был усыпан любопытными, и вплоть до самой Смоленской заставы, по всей слободе, как на гулянье, шумели и пестрелись густые толпы народные. По Смоленской дороге отступали наши войска, через Смоленскую заставу проезжали курьеры с известиями из большой армии; а посему все оставшиеся жители московские спешили к Драгомиловскому мосту, чтоб узнать скорее об участи нашего войска. Последствия Бородинского сражения были еще неизвестны; но грозные слухи о приближении французов к Москве становились с каждым днем вероподобнее. Вот вдали зазвенел колокольчик, раздался шум, по слободе от заставы несется тройка курьерских, народ зашевелился, закипел, толпы сдвинулись, и ямщик должен был поневоле остановить лошадей.

— Что вы, ребята? — закричал курьер.— Посторонитесь!

— Нет, нет! — загремели тысячи голосов,— скажи прежде, что наши?

— Вам это объявят.

— Нет! ты едешь из армии — говори!.. Что светлейший?.. что французы?

— Победа! ребята, победа!..

— Победа?..— повторил народ.— Слава тебе господи!.. К Иверской, православные! к Иверской!.. Пропустите курьера... посторонитесь!.. Победа!..— Толпа отхлынула, и курьер помчался далее.

Один молодцеватый, с окладистой темно-русой бородою купец, отделясь от толпы народа, которая теснилась

на мосту, взобрался прямой дорогой на крутой берег Москвы-реки и, пройдя мимо нескольких щеголевато одетых молодых людей, шепотом разговаривающих меж собою, подошел к старику, с седой, как снег, бородою, который, облокотясь на береговые перила, смотрел задумчиво на толпу, шумящую внизу под его ногами.

— Слышите ли, Иван Архипович,— сказал молодой купец старику,— победа!

— Слышу, батюшка Андрей Васьянович! — отвечал старик,— слышу. Да точно ли так?

— Дай-то господи!.. а что-то не верится. Я сам слышал, как курьер сказал: победа! Слова радостные, да лицо-то у него вовсе не праздничное. Кабы в самом деле заступница помогла нам разгромить этих супостатов, так он не стал бы говорить сквозь зубы, а крикнул бы так, что сердце бы у всех запрыгало от радости. Нет, Иван Архипович! видно, худо дело!..

— Да, батюшка, гнев божий!.. Мы всё твердили, что господь долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили — вот и дождались, что нехотя придет каяться.

— Конечно, Иван Архипыч, в грехах надобно каяться, а все-таки живым в руки даваться не должно; и если Москву будут отстаивать, то я уж, верно, дома не останусь.

— И мои сыновья говорят то же; да, полно, будут ли ее отстаивать? Хоть и в сегодняшней афишке напечатано, что скоро понадобятся молодцы и городские и деревенские, а все заставы отперты, и народ валом валит вон из города. Нет, Андрей Васьянович, несдобровать матушке-Москве: дожили мы опять до татарского погрома.

— А может быть, и до Мамаева побоища. Эх, Иван Архипович, унывать не должно! Да если господь попустит французам одолеть нас теперь, так что ж? У нас благодаря бога не так, как у них,— простору довольно. Погоняются, погоняются за нами, да устанут; а мы все-таки рано или поздно, а свое возьмем.

— Так ты, батюшка, хочешь, если придет беда неминучая, уйти также из Москвы?

— А что ж? или принимать французов с хлебом да с солью? А вы, Иван Архипович?

— Эх, родимый! куда я потащусь? Старик я дряхлый; да и Мавра-то Андревна моя насилу ноги таскает.

— Конечно; вот я человек одинокий: котомку за плеча, да и пошел куда глаза глядят.

— У меня же есть большая забота, Андрей Васьянович! На кого я покину здесь моего гостя?

— Гостя? какого гостя?

— А вот изволишь видеть: вчерась я шел от свата Савельича так около сумерек; глядь — у самых Серпуховских ворот стоит тройка почтовых, на телеге лежит раненый русский офицер, и слуга около него что-то больно суетится. Смотрю, лицо у слуги как будто бы знакомое; я подошел и лишь только взглянул на офицера, так сердце у меня и замерло! Сердечный! в горячке, без памяти, и кто ж?.. Помнишь, Андрей Васьянович, месяца три тому назад мы догнали в селе Завидове проезжего офицера?

— Который довез вас до Москвы в своей коляске? Как не помнить; я и фамилию его не забыл. Кажется, Рославлев?..

— Да, он и есть! Гляжу, слуга его чуть не плачет, барин без памяти, а он сам не знает, куда ехать. Я обрадовался, что господь привел меня хоть чем-нибудь возблагодарить моего благодетеля. Велел ямщику ехать ко мне и отвел больному лучшую комнату в моем доме. Наш частный лекарь прописал лекарство, и ему теперь как будто бы полегче; а все еще в память не приходит.

— Что ж вы будете делать, если французы войдут в Москву? Ведь его, как пленного офицера, у вас не оставят.

— Уж я обо всем с домашними условился: мундир его припрячем подале, и если чего дойдет, так я назову его моим сыном. Сосед мой, золотых дел мастер, Франц Иваныч, стал было мне отсоветовать и говорил, что мы этак беду наживем; что если французы дознаются, что мы скрываем у себя под чужим именем русского офицера, то, пожалуй, расстреляют нас как шпионов; но не только я, да и старуха моя слышать об этом не хочет. Что будет, то и будет, а благодетеля нашего не выдадим.

— Сохрани боже выдать! Только напрасно об этом сосед-то ваш знает. Смотрите, чтоб этот Франц Иваныч...

— Нет, Андрей Васьянович! Конечно, сам он от неприятеля не станет прятать русского офицера, да и на нас не донесет, ведь он не француз, а немец, и надобно сказать правду — честная душа! А подумаешь, куда тяжко будет, если господь нас не помилует. Ты уйдешь, Андрей Васьянович, а каково-то будет мне смотреть, как

эти злодеи станут владеть Москвою, разорять храмы господни, жечь домы наши...

— Моих замоскворецких домов не сожгут, Иван Архипович!

— А почему так?

— Да потому, что, прежде чем французская нога переступит через мой порог, я запалю их сам своей рукою; я уж на всякий случай и смоляных бочек припас. Вчера разговорились со мной об этом молодцы из Каретного ряда, и они то же поют. Не много французов станет разъезжать в русских каретах, и если подлинно Москвы отстаивать не будут, хоть то порадует наше сердце, что этот Бонапартий гриб съест. Чай, он теперь рассуждает с своими генералами, какая встреча ему будет; делает раскладку да подводит итоги, сколько надо собрать с нас контрибуции. Дожидайся, голубчик! много возьмешь! поднесем мы тебе хлеб с солью! Разве один Кузнецкий мост выйдет к тебе навстречу да с полсотни таких же шалобаев, как эти молокососы,— прибавил купец, указывая на троих молодых людей, которые вполголоса разговаривали меж собою.— Слышите ль, Иван Архипович? ведь они по-французски говорят.

— И, батюшка, какое нам до этого дело? Видно, магазинщики с Кузнецкого моста, так и говорят по-своему.

— Нет, Иван Архипович! один-то из них русский и наш брат купец — вон что в синем сюртуке. Я уж не в первый раз его вижу. Не знаю, чем он торговал прежде, а теперь, кажется, за дурной взялся промысел. Ну то ли время, чтоб русскому якшаться с французами? А у него другой компании нет. Слышите ли, как он им напевает? и, верно, что-нибудь благое. Отчего они так робко вокруг себя посматривают? Для чего говорят вполголоса? Глядите!.. Вытащил из кармана бумагу... читает им... Хоть сейчас голову на плаху, а тут есть что-нибудь недоброе!.. Видите ли, как у этих французов рожи расцвели — так и ухмыляются!.. Эх, если б выведать как-нибудь!.. Постойте-ка, авось удастся!..

Купец подошел к молодому человеку в синем сюртуке и, поклонясь ему вежливо, сказал вполголоса:

— Позвольте мне вас предостеречь, батюшка. Вы, кажется, русский?

Молодой человек спрятал поспешно в карман бумагу, которую читал своим товарищам, и, взглянув недоверчиво на купца, отвечал отрывистым голосом:

— Да, сударь!.. Что вам угодно?

— А эти господа, кажется, французы?

— Ну да! Так что ж?

— Да так, батюшка; вы с ними говорите по-французски, стоите вместе...

— Так что ж? — повторил молодой человек.— Разве это уголовное преступление? Они мои приятели.

— И может быть, пречестные люди, да время-то не то, батюшка.

— Я во всякое время вправе говорить с моими приятелями и желал бы знать, кто может запретить мне?..

— Уж конечно не я. По мне, тут нет ничего худого, а еще, может быть, это знакомство и очень вам пригодится. Да простой-то народ глуп, батюшка! пожалуй, сочтут вас шпионом. Поди толкуй им, что не их дело в это мешаться, что мы люди не военные, что в чужих землях войска дерутся, а обыватели сидят смирно по домам; и если неприятель войдет в город, так для сохранения своих имуществ принимают его с честию. Что в самом деле! не нами свет начался, не нами кончится. Когда везде уж так заведено, так нам-то к чему быть выскочками?

Молодой человек улыбнулся с удовольствием и, поглядев пристально на купца, сказал:

— Я вижу, что вы, несмотря на ваш костюм, человек просвещенный и не убежите из Москвы, когда Наполеон войдет в нее победителем.

— Нет, батюшка!.. У меня здесь два дома и три лавки, так слуга покорный. Если будут какие поборы, так что ж? лучше отдать половину, чем все потерять.

— Половину? Да кто вам сказал, что вы отдадите что-нибудь? С чего вы взяли, что французы грабители? Я вижу, вы человек умный; неужели вы в самом деле верите тому, в чем нас стараются уверить? Пора, кажется, нам перестать быть варварами и хотя несколько походить на других европейцев. Помилуйте! бежать вон из города!.. Да разве французы татары? Французы самая великодушная и благородная нация в Европе. Знаете ли, чего боится наше правительство? Не французов, а просвещения, которое они принесут вместе с собою. Поверьте мне, если б московские жители встретили Наполеона с должной почестью...

— Эх, батюшка! за этим бы дело не стало, да ведь бог весть! Ну, как в самом деле он примется разорять нас? Кто знает, что у него на уме?

— Кто знает? Многие это знают. И если хотите,— прибавил молодой человек почти шепотом,— и вы будете это знать.

— Как не хотеть, батюшка. Как знаешь, чего ждать, так все-таки куражнее. А разве вам что-нибудь известно?

— Да!.. но говорите тише. У меня есть прокламация Наполеона к московским жителям.

— Прокламация?..

— То есть воззвание, манифест.

— В самом деле,— вскричал купец с живостию; но вдруг, понизив голос, продолжал: — Прокламация, сиречь манифест? Понимаю, батюшка! Эх, жаль!.. Чай, писано по-французски?

— У меня есть и перевод.

— Перевод? Покажите-ка, отец родной! Да кто это добрый человек потрудился перевести? Уж не вы ли, батюшка?

— Я или не я, какое вам до этого дело; только перевод недурен, за это я вам ручаюсь,— прибавил с гордой улыбкою красноречивый незнакомец, вынимая из кармана исписанную кругом бумагу. Купец протянул руку; но в ту самую минуту молодой человек поднял глаза и — взоры их встретились. Кипящий гневом и исполненный презрения взгляд купца, который не мог уже долее скрывать своего негодования, поразил изменника; он поспешил спрятать бумагу опять в карман и отступил шаг назад.

— Ни с места, предатель! — закричал купец, схватив его за ворот.— Подай бумагу!

Молодой человек побледнел как смерть, рванулся из всей силы и, оставив в руке купца лоскут своего сюртука, ударился бежать.

— Держите! — закричал купец,— православные, держите! Это шпион, изменник!..

Но вдруг из толпы, которая стояла под горою, раздался громкий крик. «Солдаты, солдаты! Французские солдаты!..» — закричало несколько голосов. Весь народ взволновался; передние кинулись назад; задние побежали вперед, и в одну минуту улица, идущая в гору, покрылась народом. Молодой человек, пользуясь этим минутным смятением, бросился в толпу и исчез из глаз купца.

— Ушел, разбойник! — сказал он, скрыпя от бешенства зубами.— Да несдобровать же тебе, Иуда-предатель! Господи боже мой, до чего мы дожили! Рус-

ский купец — и, может быть, сын благочестивых родителей!

Меж тем небольшой отряд, наделавший так много тревоги, приблизился к мосту; впереди шло человек пятьсот безоружных французов, и не удивительно, что они перепугали народ. Издали их нельзя было принять за пленных, которых обыкновенно водят беспорядочной толпою. Напротив, эти французы шли по улице почти церемониальным маршем, повзводно, тихим, ровным шагом и даже с наблюдением должной дистанции. Конвой, состоящий из полуроты пехотных солдат, шел позади, а сбоку ехал на казацкой лошади начальник их, толстый, лет сорока офицер в форменном армейском сюртуке; рядом с ним ехали двое русских офицеров: один — раненный в руку, в плаще и уланской шапке; другой — в гусарском мундире, фуражке и с обвязанной щекою. Гусарский офицер первый заметил ошибку народа.

— Посмотрите, Зарядьев,— сказал он пехотному офицеру,— ведь нас приняли за французов; а все ты виноват: твои пленные маршируют, как на ученье.

— А по-твоему, лучше бы,— возразил пехотный офицер,— чтоб они шли как попало. Если б им от этого было легче, то так бы уж и быть; а то что толку? Как хочешь иди, а переход надобно сделать. Посмотришь у других — терпеть не могу — разбредутся по сторонам: одни убегут вперед, другие оттянут за версту; ну то ли дело, когда идут порядком? Самим веселее. Эй, Демин! — продолжал он, обращаясь к видному унтер-офицеру,— забеги вперед и приостанови первый взвод. Куда торопятся эти французы! Да посмотри, правый-то фланг совсем завалился.

Уланский офицер улыбнулся.

— Ну что ты смеешься, Сборский? — сказал гусарский офицер.— Зарядьев прав: он любит дисциплину и порядок, зато посмотри какая у него рота; я видел ее в деле — молодцы! под ядрами в ногу идут.

— Что ты, Зарецкий! Я вовсе не думал смеяться; да признаюсь, мне и не до того: рука моя больно шалит. Послушай, братец! Наше торжественное шествие может продолжиться долго, а дом моей тетки на Мясницкой: поедем скорее.

— Поедем.

Оба кавалериста кивнули головами Зарядьеву и пустились рысью к Смоленскому рынку.

— Ты долго проживешь в Москве? — спросил Зарецкий своего товарища.

— Долго? Да разве это зависит от меня? Может быть, дня через три сюда пожалуют гости, с которыми я пировать вовсе не намерен.

— Так ты полагаешь, что их не встретят?..

— Пушечными выстрелами? Вряд ли. Да и депутации также не будет.

— Ну, бог знает. Я думаю, в Москве наберется еще десятка два-три французских учителей; Наполеон назовет их в своем бюллетене сенаторами, а добрые парижа не всему поверят. Однако же что ни говори, а свое поневоле любишь. Я терпеть не могу Москвы, а теперь мне ее жаль. В прошлую зиму я прожил в ней два месяца и чуть не умер с тоски: театр предурной, балы прескучные, а сплетней, сплетней!.. Ну, право, здесь в одни сутки услышишь больше комеражей *, чем в круглый год в нашем благочестивом Петербурге, который также не очень забавен — надобно отдать ему эту справедливость.

— А где же, по-твоему, весело?

— Где? да там, где некогда подумать о деле; например — в Париже.

— И, милый! Париж от нас так далеко.

— Не дальше и не ближе, как Москва от французов. Что, если бы... на свете все круговая порука, и ежели французы побывают в Москве, так почему бы, кажется, и нам не загулять в Париж? К тому ж и вежливость требует...

— А что ты думаешь? В самом деле, не заготовить ли нам визитных карточек?

— Ах, черт возьми! То-то бы повеселились! А кажется, они в Москве не очень будут веселиться. Посмотри-ка: по всей Арбатской улице ни одной души. Ну, чего другого, а французам простор будет славный!

В самом деле, от Драгомиловского моста до самой Мясницкой они встретили не более трех карет, запряженных по-дорожному, и только на Красной площади и около одного дома, на Лубянке, толпился народ.

— Что это? — сказал Сборский, подъезжая к длинному деревянному дому.— Ставни закрыты, ворота на запоре. Ну, видно, плохо дело, и тетушка отправилась

---

* сплетен (от *фр.* commérages).

в деревню. Тридцать лет она не выезжала из Москвы, лет десять сряду, аккуратно каждый день, делали ее партию два бригадира и один отставной камергер. Ах, бедная, бедная! С кем она будет теперь играть в вист?

— Ну, братец, куда же нам деваться? — спросил Зарецкий.

— А вот посмотрим; верно, хоть дворник остался.

Офицеры слезли с лошадей, начали стучаться, и через несколько минут вышел на улицу старик в изорванной фризовой шинели.

— Ах, батюшка! Это вы, Федор Васильич! — сказал он, увидя Сборского.

— Здравствуй, Федот! Ну что, тетушка в деревне?

— Да, сударь; изволила уехать. Думала, думала да вдруг поднялась; вчера поутру закрутила так, что и боже упаси! Порядком заложить не успели. Ох, батюшка! Видно, злодеи-то наши недалеко?

— Нет, еще не близко. Ну что, есть ли у тебя что-нибудь съестное?

— Как же, сударь, весь годовой запас: мука, крупа, овес, сушеные куры, вяленая рыба, гусиные полотки, масло.

— Так мы и наши лошади с голоду не умрем? Слава богу!

— А есть ли у вас что-нибудь в подвале? — спросил Зарецкий.

— Как же, сударь! одних виноградных вин дюжины четыре будет.

— Славно! — закричал Сборский.— Смотри, Зарецкий, больше пить, чтоб французам ни капли не осталось.— Ну, Федот, отпирай ворота! Пойдем, братец! Делать нечего, займем парадные комнаты.

Пройдя через обширную лакейскую, в которой стены, налакированные спинами лакеев, ничем не были обиты, они вошли в столовую, оклеенную зелеными обоями; кругом в холстинных чехлах стояли набитые пухом стулья, а по стенам висели низанные из стекляруса картины, представляющие попугаев, павлинов и других пестрых птиц.

— Ну, братец! — сказал Зарецкий,— мы проживем здесь дни два, три, а потом...

— А потом, когда нагрянут незваные гости, я отправлюсь лечиться в Калугу. А ты?

— Если щеке моей будет легче, пристану опять к

нашему войску; а если нет, то поеду отсюда к приятелю моему Рославлеву.

— К Рославлеву?

— Да, он лечит теперь и руку и сердце подле своей невесты, верст за пятьдесят отсюда. Однако ж знаешь ли что? Если в гостиной диваны набиты так же, как здесь стулья, то на них славно можно выспаться. Мы почти всю ночь ехали, и не знаю, как ты, а я очень устал.

— Ну, хорошо, отдохнем! Да не послать ли дворника отыскать какого-нибудь лекаришку? Нам надобно перевязать наши раны.

— Да, не мешает. Ах, черт возьми! Я думал, что французский латник только оцарапал мне щеку; а он, видно, порядком съездил меня по роже.

Офицеры послали дворника за лекарем, а сами пошли в гостиную и улеглись преспокойно на мягких шелковых диванах.

— Ах, тетушка, тетушка! С каким бы гневом возопила ты на это нарушение всех приличий! Как ужаснулась бы, увидев шинели, сабли, мундиры, разбросанные по креслам твоей парадной гостиной, и гусарские сапоги со шпорами на твоем наследственном объяринном канапе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

2-го числа сентября, часу в восьмом утра, Сборский, садясь в тележку, запряженную двумя плохими извозчичьими лошадьми, пожал в последний раз руку своего товарища.

— Прощай, мой друг! — сказал он.— Боюсь, что мне не удастся полечиться в Калуге. Пожалуй, эти французы и оттуда меня выживут.

— Но точно ли правда, что они так близко от Москвы? — спросил Зарецкий.

— Да вот послушай, что он говорит,— продолжал Сборский, показывая на усастого вахмистра, который стоял вытянувшись перед офицерами.

— У страха глаза велики! — возразил Зарецкий.— Французов ли ты видел?

— Не могу знать, ваше благородие, французы ли — только не наши.

— Да где ж ты их видел?

— А вот вчера, ваше благородие, меня схватило на походе такое колотье, что не чаял жив остаться. Эскадрон ушел вперед, а меня покинули с двумя рядовыми в селе Вязёме, верстах в тридцати отсюда. Мне стало легче, и я хотел на другой день чем свет отправиться догонять эскадрон; вдруг, этак перед сумерками, глядим — по Смоленской дороге пыль столбом! Мы скорей на коня да к околице; смотрим — скачут в медвежьих шапках, а за ними валит пехота, видимо-невидимо! Подскакали поближе — хлоп по нас из пистолетов! Мы также, да и наутек. Обогнали наших полков десять: одни идут на Москву, другие обходом; а эскадрон-то, видно, принял куда-нибудь в сторону — не изволите ли знать, ваше благородие?

— Нет, братец, не знаю,— сказал Сборский.— Послушай, Зарецкий, ты будешь держаться около Москвы, так возьми его с собою. С тобой надобно же кому-нибудь быть: ты едешь верхом. Прощай, мой друг!.. Тьфу, пропасть! не знаю, как тебе, а мне больно грустно! Ну, господа французы! дорвемся же и мы когда-нибудь до вас!

— Признаюсь, и у меня что-то вот тут неловко,— сказал Зарецкий, показывая на грудь.— Французы под Москвою!.. Да что горевать, mon cher! придет, может быть, и наша очередь; а покамест... эй! Федот! остальные бутылки с вином выпей сам или брось в колодезь. Прощай, Сборский!

Сборский отправился на своей тележке за Москву-реку, а Зарецкий сел на лошадь и в провожании уланского вахмистра поехал через город к Тверской заставе. Выезжая на Красную площадь, он заметил, что густые толпы народа с ужасным шумом и криком бежали по Никольской улице. Против самых Спасских ворот повстречался с ним Зарядьев, который шел из Кремля.

— Ты еще здесь, братец? — сказал с удивлением Зарецкий.

— Сейчас отправляюсь,— отвечал Зарядьев.— Слава богу! развязался с моими пленными: их ведет ополченный офицер.

— Ну, что слышно?

— Говорят, будто бы Наполеон ночевал в Вязёме.

— Так поэтому через несколько часов?..

— На Поклонной горе будут французы.

— А наши войска?..

— Те, которые здесь, выходят; а другие обошли Москву стороною.

— Итак, решительно ее уступают без боя?

— Да. Эх, Зарецкий, что бы вдоль Драгомиловского моста хоть разика два шарахнуть картечью!.. все-таки легче бы на сердце было. И Смоленск им не дешево достался, а в Москву войдут без выстрела! Впрочем, видно, так надобно. Наш брат фрунтовой офицер рассуждать не должен: что велят, то и делай.

— А мне кажется,— сказал Зарецкий,— что если бы дали сражение под Москвою, и здешние жители присоединились к войску...

— Да! — возразил Зарядьев,— много бы мы наделали с ними дела. Эх, братец! Что значит этот народ? Да я с одной моей ротой загоню их всех в Москву-реку. Посмотри-ка,— продолжал он, показывая на беспорядочные толпы народа, которые, шумя и волнуясь, рассыпались по Красной площади.— Ну на что годится это стадо баранов? Жмутся друг к другу, орут во все горло: а начни-ка их плутонгами, так с двух залпов ни одной души на площади не останется.

— Да что это они так расшумелись? — перервал Зарецкий.— Вон еще бегут из Никольской улицы... уж не входят ли французы?.. Эй, любезный! — продолжал он, подъехав к одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, рассказывал что-то с большим жаром,— что это народ так шумит?

— Сейчас, сударь, казнили одного изменника,— отвечал купец, приподняв вежливо свою шляпу.

— Изменника?.. А кто он такой?

— Стыдно сказать: русский и наш брат купец! Он еще третьего дня чуть было не попался, да ускользнул, проклятый!..

— Что ж он такое сделал?

— Да так, безделку! Перевел манифест Наполеона к московским жителям.

— Ах он негодяй! — вскричал Зарядьев.— Вот то-то и дело, забрил бы ему лоб, так небось не стал бы переводить наполеоновских манифестов. Купец!.. да и пристало ли ему, торгашу, знать по-французски? Видишь, все полезли в просвещенные люди!

— В этом еще немного худого, Зарядьев,— перервал Зарецкий.— Можно в одно и то же время любить французский язык и не быть изменником; а конечно, для

этого молодца лучше бы было, если б он не учился по-французски. Однако ж прощай! Мне еще до заставы версты четыре надобно ехать.

Зарецкий выехал Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолепная улица, за несколько недель до этого наполненная народом, казалась вовсе необитаемою. Нарядные вывески магазинов пестрелись по стенам домов, но все двери были заперты. Как молчаливые обители иноков, стояли опустевшие палаты русских бояр. Давно ли под их гостеприимным кровом кипело все жизнию и весельем? Давно ли те самые французы, которые спешили завладеть Москвою, находили в них всегда радушный прием и, осыпанные ласками хозяев, приучались думать, что русские не должны и *не могут* поступать иначе?.. Проехав всю Тверскую улицу, Зарецкий остановился на минуту у Триумфальных ворот; он невольно поворотил свою лошадь, чтоб взглянуть еще раз на Москву. Сердце его сжалось, на глазах навернулись слезы. «Тьфу, пропасть! — сказал он вполголоса,— я чуть не плачу; а что мне до Москвы?.. Дело другое, если б родина моя — Петербург. Там есть у меня друзья, родные... а здесь ровно никого... и, несмотря на это, мне кажется... да, я отдал бы жизнь мою, чтоб спасти эту скучную, несносную Москву, в которой нога моя никогда не будет. Ах, черт возьми! Ну, прошу после этого быть всемирным гражданином!»

Он повернул свою лошадь и через несколько минут, выехав за Тверскую заставу, принял направо полем к Марьиной роще.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие! куда мы едем? — спросил уланский вахмистр.

— Покамест и сам не знаю; но, кажется, мы выедем тут на Троицкую дорогу, а там, может быть... Да, надобно взглянуть на Рославлева. Мы проживем, братец, денька три в деревне у моего приятеля, потом пустимся догонять наши полки, а меж тем лошадь твою и тебя будут кормить до отвалу.

— Не худо бы, ваше благородие! Я еще и туда и сюда, а саврасый-то мой недели две овса не нюхал. На рысях от других не отстанет, а если б пришлось идти в атаку...

— Придется еще, братец, не беспокойся. Я уверен, что теперь скорей французы захотят мириться, чем мы.

— До мировой ли теперь, ваше благородие! Дело пошло на азарт, и если они возьмут да разорят Москву,

так вся святая Русь подымется. Что, в самом деле, за буяны?.. Обидно, ваше благородие!

Зарецкий, не желая продолжать разговора с словоохотным вахмистром, вынул из кармана кисет, высек огню и закурил свою трубку. Миновав Марьину рощу, они выехали на дорогу, ведущую в Останкино; шагах в пятидесяти от них, той же самою дорогою, шел один прохожий. По его длинному кафтану, широкому поясу без складок, а более всего по туго заплетенной и загнутой кверху косичке, которая выглядывала из-под широких полей его круглой шляпы, нетрудно было отгадать, что он принадлежит к духовному званию; на полном и румяном лице его изображалось какое-то беззаботное веселье; он шел весьма тихо, часто останавливался, поглядывал с удовольствием вокруг себя и вдруг запел тонким голосом:

Воспоемте, братцы, канту прелюбезну,
Воспомянем скуку, — сердцу преполезну,
Сидя в школе,
Во покое,
Гляди всюду,
Обоюду...

— Послушайте-ка, любезный! — перервал Зарецкий, поравнявшись с певцом.

— Quid est? *— вскричал прохожий, повернясь к Зарецкому.— Что вам угодно, господин офицер? — продолжал он, приподняв шляпу.

— Не знаете ли, где нам проехать на Троицкую дорогу?

— Ступайте прямо, а там поверните направо, мимо рощи. Вон видите село Алексеевское? Оно на большой Троицкой дороге. А что, господин офицер, что слышно о французах?

— Я думаю, они будут сегодня в Москве.

— В Москве!.. Ну, нечего сказать — satis pro peccatis!.. ** А впрочем, унывать не надобно: finis coronat opus — то есть: конец дело венчает; а до конца еще, кажется, далеко.

— И я то же думаю.

— Конечно,— продолжал ученый прохожий,— Наполеон, сей новый Аттила, есть истинно бич небесный, но подождите: non semper erunt Saturnalia — не все

---

* Кто это? *(лат.)*

** получили по грехам нашим!.. *(лат.)*

коту масленица. Бесспорно, этот Наполеон хитер, да и нашего главнокомандующего не скоро проведешь. Поверьте, недаром он впускает французов в Москву. Пусть они теперь в ней попируют, а он свое возьмет. Нет, сударь! хоть светлейший смотрит и не в оба, а ведь он sibi in mente — сиречь: себе на уме!

— Ого...— сказал, улыбаясь, Зарецкий,— да вы большой политик, господин... господин...

— Студент риторики в Перервинской семинарии,— отвечал ученый, приподняв свою шляпу.

— А откуда вы, господин студент, идете и куда пробираетесь?

— Я вышел сегодня из Перервы, а куда иду, еще сам не знаю. Вот изволите видеть, господин офицер: меня забирает охота подраться также с французами.

— Вот что! — сказал Зарецкий.— Ай да господин ученый! Да не хотите ли вы в гусары?

— Ни, ни, господин офицер! Я хочу сражаться как простой гражданин. Теперь у нас, без сомнения, будет bellum populare — то есть: народная война; а так как крестьяне должны также иметь предводителей...

— Понимаю: вы метите в начальники русских гвериласов. Но ведь и тут надобен некоторый навык и военные познания; а вы...

— Я знаю наизусть все комментарии Цезаря de bello Gallico *,— отвечал с гордым взглядом семинарист.

— Вот это другое дело,— сказал преважно Зарецкий.— Итак, вы намерены...

— Драться до последней капли крови! Да, сударь! Non est ad astra mollis et sera via — лежа на боку, великим не сделаешься.

— Великим? Да уж не Александром ли вас зовут, господин студент?

— Точно так, господин офицер.

— Ого! вот куда вы лезете! Впрочем, вам предстоит карьера еще блистательнее... Командуя македонской фалангой, нетрудно было побеждать неприятеля; а ведь ваша армия будет состоять из мужиков, вооруженных вилами и топорами; летучие отряды из крестьянских баб, с ухватами и кочергами; передовые посты...

— Смейтесь, смейтесь, господин офицер! Увидите, что эти мужички наделают! Дайте только им порасше-

---

* о Галльской войне *(лат.)*.

велиться, а там французы держись! Светлейший грянет с одной стороны, граф Витгенштейн с другой, а мы со всех; да как воскликнем в один голос: procul, o procul, profani, то есть: вон отсюда, нечестивец! так Наполеон такого даст стречка из Москвы, что его собаками не догонишь.

— Вряд ли он так скоро с нею расстанется.

— Помилуйте! он, чай, и сам не рад, что зашел так далеко: да теперь уж делать нечего. Верно, думает: авось пожалеют Москвы и станут мириться. Ведь он уж не в первый раз поддевает на эту штуку. На то, сударь, пошел: aut Caesar, aut nihil — или пан, или пропал. До сих пор ему удавалось, а как раз промахнется, так и поминай как звали!

— Итак, вы думаете, господин студент, что Наполеон играет теперь на выдержку?

— Хуже, сударь! Он уж проиграл, а теперь отыгрывается.

— Проиграл? Однако ж он дошел до Москвы.

— А дешево ли это ему стоило? Наши потери ничего: за одного убитого явятся десятеро живых; а он хочет не хочет, а последний рубль ставь на карту. Вот, года три тому назад — я не был еще тогда в риторике — во время рекреации двое студентов схватились при мне в горку. Надобно вам сказать, что у нас за столом только два блюда: говядина и каша. Один из студентов, спустив все деньги, стал играть на свою часть говядины и — проиграл! В отчаянии, терзаемый предчувствием постной трапезы, он воскликнул так же, как Наполеон: aut Caesar, aut nihil! и предложил играть — на кашу! На кашу, единственное блюдо, оставшееся для утоления его голода! Все товарищи ахнули, а у меня волосы стали дыбом, и тут я в первый раз постигнул, как люди проигрывают все свое состояние! К счастию, нас позвали обедать, и мой товарищ не успел довершить своего отчаянного предприятия. Поверьте мне, господин офицер, и Наполеон играет теперь на кашу. Если ему не посчастливится заключить мир — то горе окаянному! Все язвы, все казни египетские обрушатся на главу его! А коли удастся, так и то слава богу, когда при своем останется. Ан и выйдет на поверку, что он magnus conatus magnas agit nugas, то есть: ходил ни по что, принес ничего. Но нам должно прекратить нашу беседу,— продолжал семинарист.— Я пойду прямо на Свирлово, а вы извольте ехать вкось по роще, так минуете Алек-

сеевское и выедете на большую дорогу у самого Ростокина... Прощайте, господин офицер!.. Cura, ut valeas!.. *

Студент приподнял свою шляпу и, продолжая идти по дороге к Останкину, затянул опять:

Воспоемте, братцы, канту прелюбезну...

Пообедав и выкормя лошадей в Больших Мытищах, Зарецкий отправился далее. Если б он был ученый или, по крайней мере, *сантиментальный* путешественник, то, верно бы, приостановился в селе Братовщине, чтоб взглянуть на некоторые остатки русской старины. Но наш гусарский ротмистр проехал весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вероятно, прежде царя Алексея Михайловича, и, взглянув нечаянно на одно полуразвалившееся здание, сказал: «Кой черт! что это за смешной амбар!..» — «Злодей! — вскричал бы какой-нибудь антикварий.— Вандал! да знаешь ли, что ты называешь амбаром *царскую вышку,* или терем, в котором православные русские цари отдыхали на пути своем в Троицкую лавру? Знаешь ли, что недавно была тут же другая царская вышка, гораздо просторнее и величественнее, и что благодаря преступному равнодушию людей, подобных тебе, не осталось и развалин на том месте, где она стояла? Варвары! (прошу заметить, это говорю не я, но все тот же любитель старины) варвары! вы не умели сберечь даже и того, что пощадили Литва и татары! Куда девался великолепный Коломенский дворец? Где царские палаты в селе Алексеевском? Посмотрите, как все европейские народы дорожат остатками своей старины! Укажите мне хотя на один иностранный город, где бы жители согласились продать на сломку какую-нибудь уродливую готическую башню или древние городские ворота? Нет! они гордятся сими драгоценными развалинами; они глядят на них с тем же почтением, с тою же любовию, с какою добрые дети смотрят на заросший травою могильный памятник своих родителей; а мы...» Тут господин антикварий, вероятно бы, замолчал, не находя слов для выражения своего душевного негодования; а мы вместо ответа пропели бы ему забавные куплеты насчет русской старины и, посматривая на какой-нибудь прелестный домик с цельными стеклами, построенный на самом том месте, где

* Берегитесь и будьте благополучны!.. *(лат.)*

некогда стояли неуклюжие терема и толстые стены с зубцами, заговорили бы в один голос: «Как это мило!.. Как свежо!.. Какая разница! О! наши предки были настоящие варвары!»

Но меж тем, пока мы слушали горькие жалобы любителя русской старины, Зарецкий все ехал да ехал. Опустив поводья, он сидел задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою; мечтал о будущем, придумывал всевозможные средства к истреблению французской армии и вслед за бегущим неприятелем летел в Париж: пожить, повеселиться и забыть на время о любезном и скучном отечестве. В ту самую минуту, как он в модном фраке, с бадинкою в руке, расхаживал под аркадами Пале-Рояля и прислушивался к милым французским фразам, загремел на грубом русском языке вопрос: «Кто едет?» Зарецкий очнулся, взглянул вокруг себя: перед ним деревенская околица, подле ворот соломенный шалаш в виде будки, в шалаше мужик с всклоченной рыжей бородою и длинной рогатиной в руке, а за околицей, перед большим сараем, с полдюжины пик в сошках.

— Кто едет? — повторил мужик, вылезая из шалаша.

— Да разве не видишь, что офицер? — сказал вахмистр.— Экой мужлан!

— Ан врешь! Я не мужик.

— Да кто же ты?

— Ополченный! — отвечал воин, поправив гордо свою шапку.

— Зачем же ты здесь? — спросил Зарецкий.

— Стою на часах, ваше благородие.

— Так что же ты зеваешь, дурачина? — закричал вахмистр.— Отворяй ворота!

— Без приказа не могу. Эй! выходи вон!

Человек шесть мужиков выскочили из сарая, схватили пики и стали по ранжиру вдоль стены; вслед за ними вышел молодой малый в казачьем сером полукафтанье, такой же фуражке и с тесаком, повешенным через плечо на широком черном ремне. Подойдя к Зарецкому, он спросил очень вежливо: кто он и откуда едет?

— А на что тебе, голубчик? — сказал Зарецкий.— И кто ты сам такой?

— Урядник, ваше благородие!

— А какое тебе дело, господин урядник, кто я и куда еду?

— Здесь стоит полк московского ополчения, ваше благородие, и полковник приказал, чтоб всех проезжих из Москвы, а особливо военных, провожать прямо к нему.

— Вот еще какие затеи! Да разве здесь крепость и ваш полковник комендант?

— Не могу знать, ваше благородие! а так велено. Полковник сейчас изволил приказывать...

— Большая мне нужда до его приказания! Ополченный полковник!.. Отворяй ворота!

— Да ведь он просит, ваше благородие, заехать к нему в гости.

— А если я не хочу быть его гостем?.. Да кто такой ваш полковник?

— Николай Степанович Ижорский.

— Ижорский?.. Мне что-то знакома эта фамилия... Кажется, я слышал от Владимира... Не родня ли он Лидиной?..

— Прасковье Степановне?.. Родной братец.

— Вот это другое дело... Так я могу от него узнать, далеко ли отсюда деревня Владимира Сергеевича Рославлева.

— Да не близко, ваше благородие! Ведь она по Калужской дороге.

— Ну, так и есть: я знал вперед, что ошибусь!.. Отворяй ворота и проводи меня к своему полковнику.

— Я, сударь, на карауле и отлучиться не могу; я пошлю с вами ефрейтора. Эй, ребята! слушай команду!.. В сошки!

Воины положили в сошки свои пики и повернулись, чтоб идти в сарай.

— Гаврило! — продолжал урядник,— проводи господина офицера к полковнику.

— К барину? — спросил молодой крестьянский парень.

— Ну да! то есть к его высокоблагородию, дурачина!

— Слушаю-ста! А пику-то оставить, что ль, или нет?

Урядник призадумался.

— Ефрейторы всегда ходят с ружьями,— сказал, улыбаясь, Зарецкий.

— Ну, что стал? возьми пику с собой! — закричал урядник,— да смотри не дразни по улицам собак. Ступай!

Воин, положив пику на плечо, отправился впереди

наших путешественников по длинной и широкой улице, в конце которой, перед одной избой, сверкали копья и толпилось много народа.

ГЛАВА II

В белой и просторной избе сельского старосты за широким столом, на котором кипел самовар и стояло несколько бутылок с ромом, сидели старинные наши знакомцы: Николай Степанович Ижорский, Ильменев и Ладушкин. Первый в общеармейском сюртуке с штаб-офицерскими эполетами, а оба другие в серых ополченных полукафтаньях. Ильменев, туго подтянутый шарфом, в черном галстуке, с нафабренными усами и вытянутый, как струнка, казалось, помолодел десятью годами; но несчастный Ладушкин, привыкший ходить в плисовых сапогах и просторном фризовом сюртуке, изнемогал под тяжестью своего воинского наряда: он едва смел пошевелиться и посматривал то на огромную саблю, к которой был прицеплен, то на длинные шпоры, которые своим беспрерывным звоном напоминали ему, что он выбран в полковые адъютанты и должен ездить верхом.

— Что это Терешка не едет? — сказал Ижорский.— Волгин обещался прислать его непременно сегодня.

— Да куда, сударь,— спросил Ильменев,— поехал наш бывший предводитель, Михайла Федорович Волгин?..

— А теперь мой пятисотенный начальник? — подхватил с гордостию Ижорский.— Я послал его в Москву поразведать, что там делается, и отправил с ним моего Терешку с тем, что если он пробудет в Москве до завтра, то прислал бы его сегодня ко мне с какими-нибудь известиями. Но поговоримте теперь о делах службы, господа! — продолжал полковник, переменив совершенно тон.— Господин полковой казначей! прибавляется ли наша казна?

— Слава богу, ваше высокоблагородие! — отвечал Ильменев, вскочив проворно со скамьи.— Сегодня поутру прислали к нам из города, взамен недоставленной амуниции, пятьсот тридцать три рубля двадцать две копейки.

— А что ж сегодняшний приказ, господин полковой адъютант?

— Готов, Николай Степанович,— сказал Ладушкин, вставая.

— Смотри, смотри, братец!.. опять зацепил шпорами... Ну! вот тебе и раз!.. Да подними его, Ильменев! Видишь, он справиться не может.

— О, господи боже мой!..— сказал Ладушкин, вставая при помощи Ильменева,— в пятый раз сегодня! Да позвольте мне, Николай Степанович, не носить этих проклятых зацеп.

— Что ты, братец! где видано? Адъютант без шпор! Да это курам будет на смех. Привыкнешь!

— Так нельзя ли меня совсем из адъютантов-то прочь, батюшка?

— Оно конечно, какой ты адъютант! Тут надобен провор. Вот дело другое — Ильменев: он человек военный; да грамоте-то мы с ним плохо знаем. Ну, что ж приказ?

— Вот, сударь, готов; извольте прочесть.

— Давай!.. Пароль... лозунг... отзыв... Хорошо! Что это?.. «Воина третьей сотни Ивана Лосева за злостное похищение одного индейского петуха и двух поросят выколотить завтрашнего числа перед фрунтом палками». Дело! «Господин полковой командир изъявляет свою совершенную признательность господину пятисотенному начальнику Буркину...»

— За что?

— За найденный вами порядок и примерное устройство находящихся под командою его пяти сотен.

— Да, да! совсем забыл: ведь я назначил сегодня смотр; но надобно прежде взглянуть, а там уж сказать спасибо.

— Он с полчаса дожидается,— сказал Ильменев.— Извольте-ка взглянуть в окно; посмотрите, как он на своем Султане гарцует перед фрунтом.

— Пойдемте же, господа! Гей, Заливной! саблю, фуражку!

Ижорский, прицепя саблю, вышел в провожании адъютанта и казначея за ворота. Человек до пятисот воинов с копьями, выстроенные в три шеренги, стояли вдоль улицы; все офицеры находились при своих местах, а Буркин на лихом персидском жеребце рисовался перед фрунтом.

— Смирно! — закричал он, увидя выходящего из ворот полковника.

— Хорошо! — сказал Ижорский важным голосом.— Фрунт выровнен, стоят по ранжиру... хорошо!

— Слушай! — заревел Буркин.— Шапки долой!

— Хорошо! — повторил Ижорский,— все в один темп, по команде... очень хорошо!

— Господин полковник! — продолжал Буркин, подскакав к Ижорскому и опустив свою саблю.

— Тише, братец, тише! Что ты? задавишь!

— Господин полковник!..

— Да черт тебя возьми! Что ты на меня лезешь?

— Честь имею рапортовать, что при команде состоит все благополучно: двое рядовых занемогли, один урядник умер...

— Хорошо, очень хорошо!.. Да осади свою лошадь, братец!.. Э! постой! Кто это едет на паре? Никак, Терешка? Так и есть! Ну что, брат, где Волгин?

— Изволил остаться в Москве,— отвечал слуга, спрыгнув с телеги, которая остановилась против избы.

— А скоро ли будет назад?

— Не могу доложить. Он послал меня вчера еще вечером; да помеха сделалась.

— Что такое?

— У самого Ростокина выпрягли у меня лошадей, говорят, будто под казенные обозы — не могу сказать. Кой-как сегодня, и то уже после обеда, нанял эту пару, да что за клячи, сударь! насилу дотащился!

— Ну, что слышно нового?

— Николай Степанович! — сказал Ладушкин,— позвольте доложить: здесь не место...

— Да, да! в самом деле! Господин пятисотенный начальник! извольте распустить вашу команду да милости прошу ко мне на чашку чаю; а ты ступай за нами в избу.

— Слушай! — заревел опять Буркин.— Шапки надевай! Господа офицеры! разводите ваши сотни по домам. Тише, ребята, тише! не шуметь! смирно!

Через несколько минут изба, занимаемая Ижорским, наполнилась ополченными офицерами; вместе с Буркиным пришли почти все сотенные начальники, засели вокруг стола, и господин полковник, подозвав Терешку, повторил свой вопрос:

— Ну что, братец, что слышно нового?

— Да что, сударь! говорят, французы идут прямо на Москву.

— А где наши войска?

— Не могу доложить.

— Неужели в самом деле,— закричал Буркин,— Москвы отстаивать не будут и сдадут без боя?.. Без боя!.. Ну как это может быть?

— Эх, батюшка Григорий Павлович! — перервал Ладушкин,— было бы чем отстаивать, и когда уж все говорят...

— Ан вздор, не все! Вчера какой-то бедный прохожий меня порадовал. Он сказал мне, что велено всему нашему войску сбираться к Трем горам.

— И вы, сударь, ему поверили? — спросил насмешливо Ладушкин.

— И поверил, и на водку дал.

— Чай, двугривенный или четвертак? Ведь вы человек тороватый!

— Нет, на ту пору у меня мелочи не случилось.

— Что ж вы ему дали? Уж не целковый ли?

— Нет, братец! я дал ему синенькую — да еще какую! с иголочки, так в руке и хрустит! Эх! подумал я, была не была! На, брат, выпей за здоровье московского ополчения да помолись богу, чтоб мы без работы не остались.

«Пять рублей! — повторил про себя Ладушкин.— Ну, подлинно: глупому сыну не в помощь богатство!»

— И в Москве об этом народ толкует,— сказал слуга.— Да вот я привез с собой афишку, которую вчера по городу разносили.

— Что ж ты, братец! — закричал Ижорский,— давай сюда!.. Постой-ка! подписано: граф Растопчин. Господин адъютант! — продолжал он,— извольте прочесть ее во услышание всем!

Ладушкин взял афишу, напечатанную на небольшой четвертке, и начал читать следующее:

— «Братцы, сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество. Не пустим злодея в Москву; но должно пособить и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать! Москва — наша мать; она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем божией матери на защиту храмов господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может — и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба, идите со крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем сбирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних — кто не отстанет! вечная память — кто мертвый ляжет! горе на Страшном суде — кто отговариваться станет!»

— Ну, вот! — вскричал Буркин,— ведь прохожий-то правду говорил. Эх, жаль, что я не дал ему красненькой.

— Однако ж,— заметил Ильменев,— в этом листке о московском ополчении ни слова не сказано.

— Да неужто ты думаешь,— возразил Буркин,— что, когда другие полки нашего ополчения присоединены к армии, мы станем здесь сидеть, поджавши руки?

— Прикажут, так и мы пойдем,— сказал Ижорский.

— А без приказа соваться не надобно,— примолвил Ладушкин.

— Дай-то господи, чтоб приказали! — продолжал Буркин.— Что, господа офицеры, неужели и вас охота не забирает подраться с этими супостатами? Да нет! по глазам вижу, вы все готовы умереть за матушку-Москву, и, уж верно, из вас никто назад не попятится?

— Назад? что вы, Григорий Павлович? — сказал один, вершков двенадцати, широкоплечий сотенный начальник.— Нет, батюшка! не за тем пошли. Да я своей рукой зарежу того, кто шаг назад сделает.

— Слышишь, брат Ладушкин? — сказал Буркин,— а с ним шутки-то плохие: ведь он один на медведя ходит.

— Оно так, сударь! — возразил Ладушкин,— да если б у нас хоть ружья-то были!

— А слыхал ли ты, брат,— перервал Буркин,— поговорку нашего славного Суворова: пуля дура, а штык молодец.

— Да где у нас штыки-то?

— Вот еще что? А чем рогатина хуже штыка?

— И, конечно, не хуже,— подхватил сотенный начальник.— Бывало, хватишь медведя под лопатку, так и он долго не навертится; а какой-нибудь поджарый француз...

— Постойте-ка, господа! — сказал Ижорский,— никак, гость к нам едет. Так и есть — гусарский офицер! Ильменев! ступай, проси его.

— Ох мне эти кавалеристы! — сказал вполголоса Ладушкин.— В грош не ставят нашего брата.

— Да есть тот грех,— примолвил сотенный начальник.— Они нас и за военных-то не считают.

— А вы бы, господа, по-моему,— сказал Буркин.— Если от меня кто рыло воротит, так и я на него не смотрю. Велика фигура — гусарский офицер!.. Послушай-ка, Ладушкин,— продолжал Буркин, поправляя свой гал-

стук,— подтяни, брат, портупею-то: видишь, у тебя сабля совсем по земле волочится.

— Милости просим, батюшка! — сказал Ижорский, встречая Зарецкого, который, войдя в избу, поклонился вежливо всему обществу,— милости просим! Не прикажете ли водки? не угодно ли чаю или стаканчик пуншу? Да прошу покорно садиться. Подвинься-ка, Григорий Павлович.

— Покорно вас благодарю,— сказал Зарецкий, садясь в передний угол между Ижорского и Буркина,— я выпью охотно стакан пуншу.

— Вот это по-нашему, по-военному, господин офицер! — сказал Буркин.— Что за питье чай без рома! А ром знатный — рекомендую, настоящий ямайский!

— Мне, право, совестно,— сказал Зарецкий, заметив, что одному офицеру не осталось места на скамье,— не стеснил ли я вас, господа?

— Помилуйте! — подхватил Буркин,— кому есть место, тот посидит; кому нет — постоит. Ведь мы все народ военный, а меж военными что за счеты! Не так ли, товарищ? — продолжал он, обращаясь к колоссальному сотенному начальнику, который молча закручивал свои густые усы.

— Разумеется, Григорий Павлович, мы люди военные. Дело походное, а в походе и с незнакомым человеком живешь подчас как с однокорытником; что тут за вычуры! Не так ли, господин адъютант?

— Конечно, конечно, господин капитан.

— Позвольте мне рекомендовать вам,— сказал Ижорский.— Это все офицеры моего полка; а это господин Буркин, мой пятисотенный... то есть мой батальонный командир.

— Очень рад, что имею удовольствие познакомиться... А ром у вас в самом деле славный!

— Как не быть порядочного рома,— сказал Ижорский,— у нашего брата — не бедного помещика...

— И полкового командира,— прибавил Буркин.

— Позвольте спросить,— продолжал Ижорский,— я вижу, вы ранены: где это вас прихватило?

— Под Бородиным.

— А теперь откуда изволите ехать?

— Из Москвы.

— Ну что, батюшка,— сбирается ли там войско на Трех горах?

— Что слышно? — сказал Буркин,— на каком фланге будет стоять московское ополчение?

— Поближе бы только к французам,— примолвил сотенный начальник.

— Не оставят ли его в резерве? — спросил Ладушкин.

— Я этого ничего не знаю, господа; напротив, кажется, под Москвою вовсе не будет сражения.

— Что вы! — закричал Буркин,— так вы поэтому не видели московской афиши? Вот она, прочтите-ка!

— Странно! — сказал Зарецкий, прочтя прокламацию московского генерал-губернатора.— Судя по этому, должно думать, что под Москвою будет генеральное сражение; и если б я знал это наверное, то непременно бы воротился; но, кажется, движения наших войск доказывают совершенно противное.

— Это какая-нибудь военная хитрость,— сказал Ижорский.

— Верно! — заревел Буркин.— Знаете ли что? Москва-то приманка. Светлейший хочет заманить в нее Наполеона, как волка в западню. Лишь он подойдет к Москве, так народ высыпет к нему навстречу, армия нахлынет сзади, мы нагрянем с поперску, да как начнем его со щеки на щеку...

— Sacristie, quelle omelette! * — вскричал, захохотав во все горло, Зарецкий.

— Что это, брат? — шепнул Буркин сотенному начальнику,— по-каковски он это заговорил?

— Уж не француз ли он? — сказал великан, взглянув исподлобья на Зарецкого.— Чего доброго: у него и ухватки-то все нерусские.

— Нет, братец! верно, какой-нибудь матушкин сынок и вырос на французском языке; ведь эти кавалеристы и народ всё модный — с вычурами.

— Позвольте вас спросить, полковник! — сказал Зарецкий,— вы родня госпоже Лидиной?

Ижорский покраснел, смутился и повторил с приметным беспокойством:

— Лидиной? то есть Прасковье Степановне?..

— Кажется, так.

— Да, что греха таить! я был с нею когда-то родня... А на что вам?.. Неужели и до вас слух дошел?..

— О чем?..

---

* Черт возьми, какой ералаш! *(фр.)*

— Так, так, ничего! Да разве вы с ней знакомы?

— Нет, я не имею этой чести; но искренний друг мой, Владимир Сергеевич Рославлев...

— Рославлев? Так вы с ним знакомы? Бедняжка!..

— Что такое? неужели его рана...

— А разве он ранен?..

— Да, ранен и лечится теперь у своей невесты.

— У своей невесты! — повторил Ижорский вполголоса.— Нет, батюшка, у него теперь нет невесты.

— Что вы говорите? Его Полина умерла?

— Хуже. Если б она умерла, то я отслужил бы не панихиду, а благодарственный молебен; слезинки бы не выронил над ее могилою. А я любил ее! — прибавил Ижорский растроганным голосом,— да, я любил ее, как родную дочь!

— Боже мой, что ж такое с нею сделалось?

— Она, то есть племянница моя... Нет, батюшка! язык не повернется выговорить.

— Эх, Николай Степанович! — сказал Буркин,— шило в мешке не утаишь. Что делать? грех такой. Вот изволите видеть, господин офицер, старшая дочь Прасковьи Степановны Лидиной, невеста вашего приятеля Рославлева, вышла замуж за французского пленного офицера.

— Возможно ли?

— Говорят, что этот француз полковник и граф. Да если б он был и маркграф какой, так срамота-то все не меньше. Господи боже мой! Француз, кровопийца наш!.. Что и говорить! стыд и бесчестье всей нашей губернии!

— Граф? — повторил Зарецкий.— Так точно, это тот французский полковник, которого я избавил от смерти, которого сам Рославлев прислал в дом к своей невесте... Итак, есть какая-то непостижимая судьба!..

— Судьба! — перервал Ижорский.— Какая судьба для таких неповитых дур, как моя сестрица... то есть бывшая сестра моя... Она сама лучше злодейки судьбы придумает всякую пакость. Вчера только я получил об этом известие. Поверите ль? как обухом по лбу! Я было хотел скакать сам в деревню и познакомиться с новой моей роденькою; да сегодня дошли до нас слухи, будто в той стороне показались французы. Может быть, теперь они уже выручили его из плена. Пусть он увезет с собою свою графиню и тещу — чёрт с ними! Жаль только бедной Оленьки. Сердечная, за что гибнет вместе с

ними! Да во что б ни стало, если ее сиятельство с своей маменькой потащат Оленьку во Францию, так я выйду на большую дорогу, как разбойник, и отобью у них мою племянницу и единственную наследницу всего моего имения.

— Позвольте спросить, Николай Степанович! — сказал Ладушкин,— от кого вы изволили слышать, что французы в наших местах? Это не может быть!

— А почему не может быть?

— Если они идут к Москве, так на что ж им сворачивать на Калужскую дорогу? Кажется, с большой Смоленской дороги сбиться трудно; а на всякий случай неужели-то они и проводника не найдут?

— Эх, братец! не в том дело, что они идут или нейдут по Калужской дороге...

— Нет, сударь, в этом-то и дело! Да, воля ваша, им тут и следа нет идти. Шутка ли, какой крюк они сделают!

— Да что ты так об них хлопочешь, братец?

— Помилуйте, Николай Степанович! ведь моя деревушка почти на самой Калужской дороге.

— Так вот что! — вскричал Буркин.— Ах ты жидомор! по тебе, пусть французы берут Москву, лишь только бы твое Щелкоперово осталось цело.

— Что ж делать, Григорий Павлович! своя рубашка к телу ближе. Ну, рассудите сами...

— Да мне-то разве легче? Мы с тобой соседи: если твою деревню сожгут, так и моей не миновать того же; а разве я плачу?

— Ведь вы человек богатый.

— А ты, чай, убогий? Полно, братец! душ у тебя много, да душонки-то нет.

— Перестаньте, господа! — сказал Ижорский.— Что вы? Мы знаем, что вы всегда шутите друг с другом; но ведь наш гость может подумать...

— И, что вы? — перервал Зарецкий,— мы все здесь народ военный — не правда ли?

— Конечно, конечно!

— А между товарищами какие церемонии? Что на душе, то и на языке. Но позвольте вас спросить, где же теперь приятель мой Рославлев?

— Я слышал, что он уехал в Москву.

— Да и теперь еще там, сударь! — сказал лакей Ижорского, Терентий, который в продолжение этого разговора стоял у дверей.— Я встретил в Москве его

слугу Егора; он сказывал, что Владимир Сергеич болен горячкою и живет у Серпуховских ворот в доме какого-то купца Сезёмова.

— Боже мой! — вскричал Зарецкий.— Владимир болен, а может быть, сегодня французы будут в Москве!

— В Москве? — повторил Ижорский,— но ведь ее не отдадут без боя, а мы еще покамест не дрались.

— И бог милостив! — прибавил Буркин,— авось отстоим нашу матушку.

— Чу! колокольчик! — сказал Ильменев, выглянув в окно.— Кто-то скачет по улице! Никак, Михайла Федорович?

— Волгин? — спросил Ижорский, привставая с скамьи.

— Он и есть! Ну, верно, не жалел лошадок: эк он их упарил!

Волгин в форменном мундирном сюртуке, сверх которого была надета темного цвета шинель, вошел поспешно в избу.

— Ну что, Михайла Федорович? — спросил Ижорский.

— Не торопитесь, скажу! — отвечал глухим голосом Волгин.

— Да говори, что нового?

— Что нового? Замоскворечье горит, и как я выехал за заставу, то запылал Каретный ряд.

— Что это значит?

— Что, братцы! — вскричал Волгин, бросив на пол свою фуражку,— нам осталось умереть — и больше ничего!

— Как? что такое?

— Москва сдана без боя — французы в Кремле!

— В Кремле! — повторили все в один голос.

С полминуты продолжалось мертвое молчание: слезы катились по бледным щекам Ижорского; Ильменев рыдал, как ребенок.

— Кормилица ты наша! — завопил наконец, всхлипывая, Буркин,— и умереть-то нам не удалось за тебя, родимая!

— Несчастная Москва! — сказал Ижорский, утирая текущие из глаз слезы.

— Бедный Рославлев! — примолвил Зарецкий с глубоким вздохом.

ГЛАВА III

— Бабушка, а бабушка!.. что это так воет на улице?

— Спи, дитятко, спи! это гудит ветер.

— Бабушка! мне что-то не спится.

— Сотвори молитву, родимый! да повернись на другой бок, авось и заснешь.

Так разговаривали в низенькой избушке, часу в 12-м ночи, внук лет десяти с своей старой бабушкой, подле которой он лежал на полатях.

— Бабушка! — закричал опять мальчик, приподнявшись до половины,— что это так рано нынче светает?

— Что ты, батюшка! Христос с тобою!.. Куда светать, и петухи еще не пели.

— Постой-ка! — продолжал мальчик, слезая с полатей,— я погляжу в окно... Ну как же, бабушка? на улице светлехонько... Вон и старостин колодезь видно.

— Что за притча такая? — сказала старуха, подходя также к окну.— Мати пресвятая богородица! — вскричала она, всплеснув руками.— Ах, дитятко, дитятко! ведь это горит наша матушка-Москва!

— Смотри-ка, бабушка! — закричал мальчик,— эко зарево!.. Словно как ономнясь горел наш овин — так и пышет!

В эту самую минуту кто-то постучался у окна.

— Кто там? — спросила старуха.

— Эй, тетка! — раздался мужской голос,— отвори ворота.

— Да кто ты?

— Проезжие.

— Я постояльцев не пускаю.

— Да впусти только обогреться; мы тебе за тепло заплатим.

— Впусти, бабушка,— сказал мальчик,— авось они нам что-нибудь дадут, а ты мне калач купишь.

— Эх, дитятко! ведь мы одни-одинехоньки; ну, если это недобрые люди? Правда, у нас и взять-то нечего...

— Эй, хозяйка! — закричал опять проезжий,— да впусти нас: мы дадим тебе двугривенный.

— Слышишь, бабушка?..

— Ну ин ступай, Ваня, отвори ворота.

Мальчик накинул на себя тулуп и побежал на двор, а старуха вздула огня и зажгла небольшой сальный огарок, вставленный в глиняный подсвечник.

Через минуту вошел в избу мужчина среднего роста, в подпоясанном кушаком сюртуке из толстого сукна и плохом кожаном картузе, а вслед за ним казак в полном вооружении.

— Здравствуй, хозяйка! — сказал проезжий, не снимая картуза.— Ну, что, далеко ль отсюда до Москвы?

— Верст десять будет, батюшка! — отвечала старуха, поглядывая подозрительно на проезжего, который, войдя в избу, не перекрестился на передний угол и стоял в шапке перед иконами.

— Десять верст! — повторил проезжий.— Теперь, я думаю, можно своротить в сторону. Миронов! — продолжал он, обращаясь к казаку,— поставь лошадей под навес да поищи сенца, а я немного отдохну.

Когда казак вышел из избы, проезжий скинул с себя сюртук и остался в коротком зеленом спензере с золотыми погончиками и с черным воротником; потом, вынув из бокового кармана рожок с порохом, пару небольших пистолетов, осмотрел со вниманием их затравки и подсыпал на полки нового пороха. Помолчав несколько времени, он спросил хозяйку, нет ли у них в деревне французов.

— Нет, батюшка! — отвечала старуха,— покамест бог еще миловал.

— А поблизости?

— Не ведаю, кормилец!

— Что, тетка, далеко ли от вашей деревни Владимирская дорога?

— Не знаю, родимый.

— Да что ты ничего не знаешь?

— И, батюшка! мое дело бабье; вот кабы сынок мой был дома...

— А где же он?

— Вечор еще уехал на мельницу, да, видно, все в очередь не попадет; а пора бы вернуться. Постой-ка, батюшка, кажись, кто-то едет по улице!.. Уж не он ли?.. Нет, какие-то верховые... никак, солдаты!.. Уж не французы ли?.. Избави господи!

— А много ли их? — спросил проезжий, вскочив торопливо со скамьи.

— Только двое, батюшка!

— Только? — повторил спокойным голосом проезжий, садясь опять на скамью и придвинув к себе пистолеты.

— Вот они остановились против наших ворот; видно, огонек-то увидели... стучатся!.. Кто там? — продолжала старуха, выглянув из окна.

— Русский офицер! — отвечал грубый голос.— Отворяй ворота, лебедка! Да поворачивайся проворней.

— Что, батюшка, впустить, что ль?

Проезжий в знак согласия кивнул головою.

— Ваня! — продолжала хозяйка,— беги отопри опять ворота.

— Ах, как я иззяб! — сказал наш старинный знакомец Зарецкий, входя в избу.— Какой ветер!..— Тут он увидел проезжего и, поклонясь ему, продолжал: — Вы также, видно, завернули погреться?

— Да! — отвечал проезжий.— Но я советую вам не скидать шинели: в этой избенке изо всех углов дует. Я вижу, что и мне надобно опять закутаться,— примолвил он, надевая снова свой толстый сюртук и подпоясываясь кушаком.

Зарецкий поглядел с удивлением на чудный наряд проезжего, которого по спензеру с золотыми погончиками принял сначала за офицера.

— Вам кажется странным мой наряд? — сказал с улыбкою проезжий.— А если б вы знали, как он подчас может пригодиться!..

— Извините! — перервал Зарецкий, продолжая смотреть с любопытством на проезжего,— или я очень ошибаюсь, или я не в первый уже раз имею удовольствие вас видеть: не могу только никак припомнить...

— Так, видно, моя память лучше вашей. Несколько месяцев назад, в Петербурге, я обедал вместе с вами в ресторации...

— Френзеля? Точно! теперь вспомнил. Так вы тот самый артиллерийский офицер...

— К вашим услугам.

— Мне помнится, вы поссорились тогда с каким-то французом...

— Да. Если б этот молодец попался мне теперь, то я просто и не сердясь велел бы его повесить; а тогда нечего было делать: надобно было ссориться... Да, кстати! вы были в ресторации вместе с вашим приятелем, с которым после я несколько раз встречался,— где он теперь?

— Кто? бедный Рославлев?

— А что? я знаю, он ранен; но, кажется, не опасно?

— Представьте себе: он поехал лечиться в Москву...

— И попался в плен? Вольно ж было меня не послушаться.

— Я слышал, что он очень болен и живет теперь в доме какого-то купца Сезёмова.

— Жаль, что я не знал об этом несколько часов назад, а то, верно бы, навестил вашего приятеля.

— Как! — вскричал Зарецкий,— да разве вы были в Москве?

— Я сейчас оттуда.

— Так поэтому можно?..

— Да разве есть что-нибудь невозможного для военного человека? Конечно, если догадаются, что вы не то, чем хотите казаться, так вас, без всякого суда, расстреляют. Впрочем, этого бояться нечего: надобно только быть сметливу, не терять головы и уметь пользоваться всяким удобным случаем.

— Но скажите, что вам вздумалось и для чего хотели вы подвергать себя такой опасности?

— Во-первых, для того, чтоб видеть своими глазами, что делается в Москве, а во-вторых... как бы вам сказать?.. Позвольте, вы кавалерист, так, верно, меня поймете. Случалось ли вам без всякой надобности перескакивать через барьер, который почти вдвое выше обыкновенного, несмотря на то что вы могли себе сломить шею?

— Случалось.

— Не правда ли, что, сделав удачно этот трудный и опасный скачок, вы чувствовали какое-то душевное наслаждение, проистекающее от внутреннего сознания в ваших силах и искусстве? Ну вот точно такое же чувство заставляет и меня вдаваться во всякую опасность, а сверх того, смешаться с толпою своих неприятелей, ходить вместе с ними, подслушивать их разговоры, услышать, может быть, имя свое, произносимое то с похвалою, то осыпаемое проклятиями... О! это такое наслаждение, от которого я ни за что не откажусь. Но позвольте теперь и мне вас спросить: куда вы едете?

— А бог знает: я отыскиваю свой полк.

— И, верно, вам хорошо знакомы все здешние проселочные дороги и тропинки?

— Ну, этим я не могу похвастаться.

— Так позвольте вас поздравить: вы очень счастливы, что до сих пор не попались в руки к французам.

— В самом деле, вы думате?..

— Не думаю, а уверен, что вам этой беды никак не

миновать, если вы станете продолжать отыскивать ваш полк. Кругом всей Москвы рассыпаны французы; я сам должен был выехать из города не в ту заставу, в которую въехал, и сделать пребольшой крюк, чтоб не повстречаться с их разъездами.

— Да что же мне делать? Неужели я должен уехать в Рязань или Владимир и оставаться в числе больных, когда чувствую, что моя рана не мешает мне драться с французами и что она без всякого леченья в несколько дней совершенно заживет?

— О, если вы желаете только драться с французами, то я могу вас этим каждый день угощать. Не хотите ли на время сделаться моим товарищем?

— Вашим товарищем?

— Да! Мой летучий отряд стоит по Владимирской дороге, верстах в десяти отсюда. Не угодно ли деньков пять или шесть покочевать вместе со мною?

— Очень рад... Итак, вы один из наших партизанов?..

— И самый юнейший из моих братьев,— отвечал с улыбкою проезжий.

— То есть чином?.. Поэтому вы...

— И, полноте! Вы видите, что я в маскерадном платье, а масок по именам не называют. Что ты, Миронов? — продолжал офицер, увидя входящего казака.

— А вот, ваше благородие,— сказал казак,— принес кису. Не угодно ли чего покушать?

— Дело, братец! Вынь-ка из нее для себя полштофа водки, а для нас бутылку шампанского и кусок сыра. Да смотри не выпей всего полуштофа: мы сейчас отправимся в дорогу.

— А чтоб он вернее исполнил ваше приказание,— прибавил Зарецкий,— так велите ему поделиться с моим вахмистром.

— Слышишь, братец!

— Слышу, ваше благородие! Да я так и думал.

— Полно, так ли? Вы, казаки, дележа не любите. Ну, ступай! Хозяйка! подай-ка нам два стакана; да, чай, хлебец у тебя водится?

— Как не быть, кормилец! — отвечала с низким поклоном старуха.— Милости просим, покушайте на здоровье! — продолжала она, положа на стол большой каравай хлеба и подавая им два деревянные расписные стакана.

— Ну что? — спросил Зарецкий, выпив первый ста-

кан шампанского и наливая себе другой,— что делается теперь в Москве?

— Разве вы отсюда не видите?

— Вижу: она горит; но вы были сейчас на самом месте...

— И, признаюсь, порадовался от всей души! Дело идет славно: город подожгли со всех четырех концов, а деревянные дома горят как стружки. Еще денек или два, так в Москве не останется ни кола ни двора. И что за великолепная картина — прелесть! В одном углу из огромных каменных палат пышет пламя, как из Везувия; в другом какой-нибудь сальный завод горит, как свеча; тут, над питейным домом, подымается пирамидою голубой огонь; там пылает целая улица; ну, словом, это такая чертовская иллюминация, что любо-дорого посмотреть.

— Это ужасно! — сказал с невольным содроганием Зарецкий.

— А что за суматоха идет по улицам! Умора, да и только. Французы, как угорелые кошки, бросаются из угла в угол. Они от огня, а он за ними; примутся тушить в одном месте, а в двадцати вспыхнет! Да, правда, и тушить-то нечем: ни одной трубы в городе не осталось.

— Так поэтому не французы зажгли Москву?

— Помилуйте! Да что им за прибыль жечь город, в котором они хотели отдохнуть и повеселиться!

— Итак, сами обыватели?..

— Разумеется. Как будто бы вы не знаете русского человека: гори все огнем, лишь только злодеям в руки не доставайся.

— Да, это характеристическая черта нашего народа, и надобно сказать правду, в этом есть что-то великое, возвышающее душу...

— Не знаю, возвышает ли это душу,— перервал с улыбкою артиллерийский офицер,— но на всякий случай я уверен, что это поунизит гордость всемирных победителей и, что всего лучше, заставит русских ненавидеть французов еще более. Посмотрите, как народ примется их душить! Они, дискать, злодеи, сожгли матушку-Москву! А правда ли это или нет, какое нам до этого дело? Лишь только бы их резали.

— Оно, если хотите, несколько и справедливо. Если бы французы не пришли в Москву...

— Так мы бы и жечь ее не стали — натурально!

— Однако ж согласитесь: это ужасное бедствие!

Я не говорю ни слова о тех, которые могли выехать из Москвы: они разорились, и больше ничего; но больные, неимущие? Все те, которые должны были остаться?..

— Да много ли их?

— Согласен — немного; но разве от этого они менее достойны сожаления? Когда подумаешь, что целые семейства, лишенные всего необходимого, без куска хлеба...

— И, что за дело! Лишь только бы и французам нечего было есть.

— Без всякой помощи, без крова...

— Так что ж? пусть живут под открытым небом — лишь только бы французам не было приюта.

— И теперь ночи холодны; а что будет с ними, если наступит ранняя зима?

— Что будет? тут и спрашивать нечего: они станут мерзнуть по улицам; да зато и французам не будет тепло — не беспокойтесь!

— Но признайтесь, однако ж, что человечество...

— И, полноте! — перервал с ужасной улыбкою артиллерийский офицер,— человечество, человеколюбие, сострадание — все эти сантиментальные добродетели никуда не годятся в нашем ремесле.

— Как? — вскричал Зарецкий,— неужели военный человек не должен иметь никакого сострадания?

— Спросите-ка об этом у Наполеона. Далеко бы он ушел с вашим человеколюбием! Например, если бы он, как человек великодушный, не покинул своих французов в Египте, то, верно, не был бы теперь императором; если б не расстрелял герцога Ангиенского...

— То не заслужил бы проклятий всей Европы! — перервал с негодованием Зарецкий.

— Может быть; да зато не уверил бы Бурбонов, что Франция для них заперта навеки. Признаюсь,— продолжал почти с восторгом артиллерийский офицер,— я не могу не удивляться этому человеку! Какая непоколебимая твердость! Какое презрение ко всему роду человеческому! Как ничтожна в глазах его жизнь целых поколений! С каким равнодушием, как ничем не умолимая судьба, он выбирает свои жертвы и как смеется над бессильным ропотом народов, лежащих у ног его! О! надобно сказать правду, Наполеон великий человек! Да, да! — прибавил артиллерийский офицер,— говорите, что вам угодно; а по-моему, тот, кто сказал, что может *истрачивать* по нескольку тысяч человек в сутки,— рожден,

чтоб повелевать миллионами. Однако ж допивайте ваш стакан: нам пора ехать.

— Ну! — сказал Зарецкий, вставая,— вы мастерски хвалите. Самый злейший враг Наполеона не придумал бы для него брани обиднее вашей похвалы.

Артиллерийский офицер улыбнулся и не отвечал ни слова.

Минут через пять наши офицеры, соблюдая все военные осторожности, выехали из деревни. Впереди, вместо авангарда, ехал казак; за ним оба офицера; а позади, шагах в двадцати от них, уланский вахмистр представлял в единственном лице своем то, что предки наши называли сторожевым полком, а мы зовем арьергардом. Почти у самой околицы, поворотив направо по проселочной дороге, они въехали в частый березовый лес. Порывистый ветер колебал деревья и, как дикий зверь, ревел по лесу; направо густые облака, освещенные пожаром Москвы, которого не видно было за деревьями, текли, как поток раскаленной лавы, по темной синеве полуночных небес. Путешественники молчали. Зарецкий давно уже примечал, что дорога, или, лучше сказать, тропинка, по которой они ехали, подавалась приметным образом направо, следовательно, приближала их к Москве.

— Туда ли мы едем? — спросил он наконец своего молчаливого товарища.

— Не беспокойтесь! — отвечал он,— мы не собьемся с дороги.

— Но мне кажется, мы подвигаемся к Москве?

— Да, она теперь от нас не более четырех верст.

— Я думаю, гораздо безопаснее было бы держаться от нее подалее.

— Но для этого надобно ехать открытым полем, а здесь хоть мы и близко от французов, да зато едем лесом. Однако ж он становится реже: вон, кажется, налево... видите? высокая сосна — так и есть! Мы выедем сейчас на большую поляну, а там пустимся опять лесом, переедем поперек Коломенскую дорогу, повернем налево и, я надеюсь, часа через два будем дома, то есть в моем таборе,— разумеется, если без меня не было никакой тревоги. Впрочем, и в этом случае я знаю, где найти моих молодцов: французы за ними не угоняются.

В продолжение этого разговора офицеры выехали на обширную поляну, и пожар Москвы во всей ужасной красоте своей представился их взорам. Кой-где, как

уединенные острова, чернелись на этом огненном море части города, превращенные уже в пепел.

— Какая прелестная картина! — сказал артиллерийский офицер, остановя свою лошадь.— Посмотрите — соборы, Иван Великий, весь Кремль как на блюдечке. Не правда ли, что он походит на какую-то прозрачную картину, которая подымается из пламени?

В самом деле, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину на белых стенах Кремля, освещенных со всех сторон пылающей Москвою.

— Сам ад не может быть ужаснее! — вскричал Зарецкий, глядя с содроганием на эту ужасную картину разрушения.

— Ого! — продолжал его товарищ,— огонек-то добирается и до Кремля. Посмотрите: со всех сторон — кругом!.. Ай да молодцы! как они проворят! Ну, если Наполеон еще в Кремле, то может похвастаться, что мы приняли его как дорогого гостя и, по русскому обычаю, попотчевали банею.

— Хороша баня! — сказал вполголоса Зарецкий.

— Да разве вы не знаете старинной пословицы: по Сеньке шапка? Мы с вами и в землянке выпаримся, а для его императорского величества — как не истопить всего Кремля?.. и нечего сказать: баня славная!.. Чай, стены теперь раскалились, так и пышут. Москва-река под руками: поддавай только на эту каменку, а уж за паром дело не станет.

— Я удивляюсь,— сказал Зарецкий,— как можете вы шутить...

— В самом деле, это странно, не правда ли? Однако ж поедемте.

Наблюдая глубокое молчание, они проехали еще версты две лесом.

— Как ветер ревет между деревьями! — сказал наконец Зарецкий.— А знаете ли что? Как станешь прислушиваться, то кажется, будто бы в этом вое есть какая-то гармония. Слышите ли, какие переходы из тона в тон? Вот он загудел басом; теперь свистит дишкантом... А это что?.. Ах, батюшки!.. Не правда ли, как будто вдали льется вода? Слышите? настоящий водопад.

— Нет, черт возьми! — сказал товарищ Зарецкого, осадя свою лошадь.— Это не ветер и не вода.

— Что ж это такое?

— Да просто — конский топот. Так и есть! Вот и Миронов к нам едет. Ну что, братец?

— По Коломенской дороге идет конница, ваше благородие!

— С которой стороны?

— От Москвы.

— Так это французы. Прошу стоять смирно.

Через несколько минут отряд французских драгун проехал по большой дороге, которая была шагах в десяти от наших путешественников. Солдаты громко разговаривали между собою; офицеры смеялись; но раза два что-то похожее на проклятия, предметом которых, кажется, была не Россия, долетело до ушей Зарецкого.

— Ваше благородие! — сказал шепотом казак, когда неприятельский отряд проехал мимо.— У них есть отсталый.

— Право?

— Вон, кажется, один драгун подтягивает подпруги у своей лошади. Не прикажете ли? Я его мигом сарканю.

— Ну, хорошо; да смотри, чтоб не пикнул.

Казак отвязал веревку от своего седла и почти ползком подкрался к опушке леса. В ту самую минуту, как драгун заносил ногу в стремя, петля упала ему на шею, и он, до половины задавленный, захрипев, повалился на землю. В полминуты француз, с завязанным ртом и связанными назад руками, посажен был на лошадь, отдан под присмотр уланскому вахмистру и отправился вслед за нашими путешественниками. Проехав еще верст десять лесом, который становился час от часу гуще, они увидели вдали между деревьями огонек. Миронов свистнул; ему отвечали тем же, и человек десять казаков высыпали навстречу путешественникам: это был передовой пикет летучего отряда, которым командовал артиллерийский офицер.

ГЛАВА IV

Ветер затих. Густые облака дыма не крутились уже в воздухе. Как тяжкие свинцовые глыбы, они висели над кровлями догорающих домов. Смрадный, удушливый воздух захватывал дыхание: ничто не одушевляло безжизненных небес Москвы. Над дымящимися развалинами Охотного ряда не кружились резвые голуби, и только в вышине, под самыми облаками, плавали стаи черных коршунов.

На краю пологого ската горы, опоясанной высокой

Кремлевской стеною, стоял, закинув назад руки, человек небольшого роста, в сером сюртуке и треугольной низкой шляпе. Внизу, у самых ног его, текла, изгибаясь, Москва-река; освещенная багровым пламенем пожара, она, казалось, струилась кровию. Склонив угрюмое чело свое, он смотрел задумчиво на ее сверкающие волны... Ах! в них отразилась в последний раз и потухла навеки дивная звезда его счастия! Шагах в десяти от него, наблюдая почтительное молчание, стояли французские маршалы, генералы и несколько адъютантов. Они с ужасом смотрели на пламенный океан, который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских.

В то же самое время внизу, против Тайницких ворот, прислонясь к железным перилам набережной, стоял видный собою купец в синем поношенном кафтане. Он посматривал с приметным удовольствием то на Кремль, окруженный со всех сторон пылающими домами, то на противуположный берег реки, на котором догорало обширное Замоскворечье.

— А! Это ты, Ваня? — сказал он, сделав несколько шагов навстречу к молодому и рослому детине, который с виду походил на мастерового.— Ну, что?

— Да слава богу, Андрей Васьянович! За Москвой-рекой все идет как по маслу. На Зацепе и по всему валу хоть рожь молоти — гладехонько! На Пятницкой и Ордынке кой-где еще остались дома, да зато на Полянке так дёрма и дерет!

— А у Серпуховских ворот?

— В трех местах зажигали, да злодеи-то наши все тушат. Загорелся было порядком дом Ивана Архиповича Сезёмова; да и тот мы с ребятами, по твоему приказу, отстояли.

— Спасибо вам, детушки! Иван Архипыч старик дряхлый, и жена у него плоха. Да это ничего: доплелись бы как-нибудь до Калуги; а вот что — у них в дому лежит больной офицер.

— Наш русский?

— Ну да! Смотри только не проболтайся. Постой-ка! Никак, опять ветер подымается... Давай господи! И кажется, с петербургской стороны?.. То-то бы славно!

— В самом деле,— сказал мастеровой,— посмотри-ка, от Охотного ряда и Моховой какие головни опять полетели... Авось теперь и до Кремля доберется.

— Ага! — сказал купец, подняв кверху голову,— что?.. душно стало?.. выползли, проклятые!

— Что это, Андрей Васьянович? — спросил мастеровой.— Никак, это французские генералы? Посмотри-ка, так и залиты в золото — словно жар горят!

— Подожди, брат... позакоптятся.

— Глядь-ка, хозяин! Видишь, этот, что всех золотистее и стоит впереди... Экой молодчина!.. Уж не сам ли это Бонапартий?.. Да не туда смотришь: вот прямо-то над нами.

Купец, не отвечая ни слова, продолжал смотреть в другую сторону.

— Ну, Ваня! — сказал он, схватив за руку молодого парня,— так и есть! Вон стоит на самом краю в сером сертучишке... это он!

— Кто?.. этот недоросток-то? Что ты, хозяин!

— Да, Ваня! разве не видишь, что он один стоит в шляпе?

— В самом деле! Ах, батюшки светы! Вот диковинка-то! Ну, видно, по пословице: не велика птичка, да ноготок востер! Ах ты, господи боже мой! в рекруты не годится, а каких дел наделал!

— Посмотри-ка! — сказал купец,— как он стоит там: один-одинехонек... в дыму... словно коршун выглядывает из-за тучи и висит над нашими головами. Да не сносить же и тебе своей башки, атаман разбойничий!

— Глядь-ка, хозяин! Что это они зашевелились? Эге! какой сзади повалил дым!.. Знать, огонь-то и до них добирается!

— В самом деле! Видно, их путем стало пропекать.

— Ахти, Андрей Васьянович! — вскричал мастеровой,— никак, они кинулись вниз, к Тайницким воротам. Не убраться ли нам за добра ума?

— Зачем? Может статься, они попросят нас показать им дорогу. Ведь теперь выбраться отсюда на чистое место не легко. Ну, что ж ты глаза-то на меня выпучил?

— Как, хозяин? — вскричал с удивлением мастеровой.— Да что тебе за охота подслуживаться нашим злодеям?

— А почему ж и нет? — сказал с улыбкою купец.— Я уж им и так другие сутки служу верой и правдою. Но постой-ка!.. вот они!.. Ну, полезли вон, как тараканы из угарной избы!..

Человек пять французских офицеров и один поль-

ский генерал выбежали из Тайницких ворот на набережную.

— Видишь, как этот генерал озирается во все стороны? — сказал шепотом купец.— Что, мусью? видно, брат, нет ни входа, ни выхода?

— Боже мой! — вскричал генерал,— кругом, со всех сторон, везде огонь!.. Нет ли другого выхода из Кремля?

— Нет,— отвечал один из офицеров.— Здесь все менее опасности, чем с той стороны.

— Не лучше ли императору остаться в Кремле? — сказал другой офицер.

— Но разве не видите,— перервал генерал,— что огонь со всех сторон в него врывается?

— А против самого дворца стоят пороховые ящики,— прибавил первый офицер.

— Проклятые русские! — закричал генерал.— Варвары!..

— Они варвары? — возразил один офицер в огромной медвежьей шапке.— Вы слишком милостивы, генерал! Они не варвары, а дикие звери!.. Мы думали здесь отдохнуть, повеселиться... и что ж? Эти проклятые калмыки... О! их должно непременно загнать в Азию, надобно очистить Европу от этих татар!.. Посмотрите! вон стоят их двое... С каким скотским равнодушием смотрят они на этот ужасный пожар!.. И этих двуногих животных называют людьми!..

— Постойте! — сказал генерал,— если они так спокойны, то, верно, знают, как выйти из этого огненного лабиринта. Эй, голубчик! — продолжал он довольно чистым русским языком, подойдя к мастеровому,— не можешь ли ты вывести нас к Тверской заставе?

— К Тверской заставе?..— повторил мастеровой, почесывая голову.— А где Тверская-то застава, батюшка?..

— Как где? Ну там, где дорога в Петербург.

— Дорога в Питер?.. А где это, кормилец?

— Дуралей! Да разве ты не знаешь?

— Не ведаю, батюшка! Я нездешний.

— Извольте, ваша милость,— подхватил купец,— я вас выведу к Тверской заставе.

— Послушай, братец! Если ты проведешь нас благополучно, то тебе хорошо заплатят; если же нет...

— Помилуйте, батюшка. Да я здешний старожил и все закоулки знаю.

— Вот, кажется, сам император,— вскричал один из

офицеров.— Слава богу, он решился наконец оставить Кремль.

Человек в сером сюртуке, окруженный толпою генералов, вышел из Тайницких ворот. На угрюмом, но спокойном лице его незаметно было никакой тревоги. Он окинул быстрым взглядом все окружности Каменного моста и прошептал сквозь зубы: *варвары! скифы!* Потом обратился к польскому генералу и, устремя на него свой орлиный взгляд, сказал отрывисто:

— Ну, что?

— Я нашел проводника,— отвечал почтительно генерал,— и если вашему величеству угодно...

— Ступайте вперед!

Польский генерал подозвал купца и пошел вместе с ним впереди толпы, которая, окружив со всех сторон Наполеона, пустилась вслед за проводником к Каменному мосту. Когда они подошли к угловой кремлевской башне, то вся Неглинная, Моховая и несколько поперечных улиц представились их взорам в виде одного необозримого пожара. Направо пылающий железный ряд, как огненная стена, тянулся по берегу Неглинной; а с левой стороны пламя от догорающих домов расстилалось во всю ширину узкой набережной.

— Как! — вскричал польский генерал,— неужели мы должны пройти сквозь этот огонь?

— Да,— отвечал купец.

— Боже мой! это настоящий ад!

Купец усмехнулся.

— Чему же ты смеешься, дурак? — вскричал с досадою генерал.

— Не погневайтесь, ваша милость,— сказал купец,— да неужели этот огонь страшнее для вас русских ядер?

— Русских ядер!.. Мы не боимся вашего оружия; но быть победителями и сгореть живым... нет, черт возьми! это вовсе не приятно!.. Куда же ты?

— А вот налево, в этот переулок.

Генерал отступил назад и повторил с ужасом:

— В этот переулок?..— И в самом деле, было чего испугаться: узкий переулок, которым хотел их вести купец, походил на отверстие раскаленной печи; он изгибался позади домов, выстроенных на набережной, и, казалось, не имел никакого выхода.— Послушай! — продолжал генерал, взглянув недоверчиво на купца,— если это подлое предательство, то, клянусь честию! твоя голова слетит прежде, чем кто-нибудь из нас погибнет.

— И, батюшка! Да что мне за радость сгореть вместе с вами? — отвечал хладнокровно купец.— А если б мне и пришла такая дурь в голову, так неужели вы меня смертью запугаете? Ведь умирать-то все равно.

— Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улице?

— По Знаменке, батюшка?.. Нельзя! Там теперь, около Арбатской площади, и птица не пролетит.

— Однако ж, мне кажется, все лучше...

— По мне — пожалуй! Только не извольте пенять на меня, если мы на чистое место не выдем; да и назад-то уж нельзя будет вернуться.

— Что ж вы остановились? — сказал Наполеон, подойдя к генералу.

— Государь!.. я опасаюсь... дрожу за вас...

— Вы дрожите, генерал?.. не верю!

— Нам должно идти вот этим переулком.

— Так что ж? другой дороги нет?

— Проводник говорит, что нет.

— А если так... господа! вы, кажется, никогда огня не боялись — за мной!

Толпа французов кинулась вслед за Наполеоном. В полминуты нестерпимый жар обхватил каждого; все платья задымились. Сильный ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным визгом дома, посреди которых они шли: то крутил его в воздухе, то сгибал раскаленным сводом над их головами. Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и полуобгоревшие доски; на каждом шагу пылающие бревны и кучи кирпичей преграждали им дорогу: они шли по огненной земле, под огненным небом, среди огненных стен *. «Вперед, господа! — вскричал Наполеон,— вперед! Одна быстрота может спасти нас!» Они добежали уже до средины переулка, который круто поворачивал налево; вдруг польский генерал остановился: переулок упирался в пылающий дом — выхода не было. «Злодей, изменник!» — вскричал он, схватив за руку своего проводника. Купец рванулся, повалил наземь генерала и кинулся в один догорающий дом. «За проводником! — закричали несколько голосов.— Этот дом должен быть сквозной». Но в ту самую минуту передняя стена с ужасным громом рухнулась, и среди двух столбов пламени, которые быстро поднялись к небесам, открылась

* Выражение очевидца, генерала Сегюра.

широкая каменная лестница. На одной из верхних ее ступеней, окруженный огнем и дымом, как злой дух, стерегущий преддверье ада, стоял купец. Он кинул торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с громким хохотом исчез снова среди пылающих развалин. «Мы погибли!» — вскричал польский генерал. Наполеон побледнел... Но десница всевышнего хранила еще главу сию для новых бедствий; еще не настала минута возмездия! В то время, когда не оставалось уже никакой надежды к спасению, в дверях дома, который заграждал им выход, показалось человек пять французских гренадеров. «Солдаты! — вскричал один из маршалов,— спасайте императора!» Гренадеры побросали награбленные ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь на обширный двор, покрытый остатками догоревших служб. Тут встретили его еще несколько егерей итальянской гвардии, и при помощи их вся толпа, переходя с одного пепелища на другое, добралась наконец до Арбата. Для Наполеона отыскали какую-то лошаденку; он сел на нее, и в сем-то торжественном шествии, наблюдая глубокое молчание, этот завоеватель России доехал наконец до Драгомиловского моста. Здесь в первый раз прояснились лица его свиты; вся опасность миновалась: они уже были почти за городом.

— Мне кажется,— сказал один из адъютантов Наполеона,— что мы вчера этой же самой дорогою въезжали в Москву.

— Да! — отвечал один пожилой кавалерийский полковник,— вон на той стороне реки и деревянный дом, в котором третьего дня ночевал император.

— И хорошо бы сделал, если бы в нем остался. Ces sacrés barbares! * Как они нас угостили в своем Кремле! Ну можно ли было ожидать такой встречи? Помните, за день до нашего вступления в эту проклятую Москву к нам приводили для расспросов какого-то купца... Ах, боже мой!.. Да, кажется, это тот самый изменник, который был сейчас нашим проводником... точно так!.. Ну, теперь я понимаю!..

— Что такое?..

— Да разве вы забыли, что этот татарин на мой вопрос: как примут нас московские жители, отвечал, что вряд ли сделают нам встречу; но что освещение в городе непременно будет.

---

* Эти проклятые варвары! *(фр.)*

— Ну что ж, разве он солгал?.. Разве нас угощали где-нибудь иллюминациею лучше этой?

— Черт бы ее побрал! — сказал Наполеонов мамелюк Рустан, поглаживая свои опаленные усы.

— Надобно признаться,— продолжал первый адъютант,— писатели наши говорят совершенную истину об этой варварской земле. Что за народ!.. Ну, можно ли называть европейцами этих скифов?

— Однако ж, я думаю,— отвечал хладнокровно полковник,— вы видали много русских пленных офицеров, которые вовсе на скифов не походят?

— О, вы вечный защитник русских! — вскричал адъютант.— И оттого, что вы имели терпение прожить когда-то целый год в этом царстве зимы...

— Да оттого-то именно я знаю его лучше, чем вы, и не хочу, по примеру многих соотечественников моих, повторять нелепые рассказы о русских и платить клеветой за всегдашнюю их ласку и гостеприимство.

— Но позвольте спросить вас, господин защитник россиян: чем оправдаете вы пожар Москвы, этот неслыханный пример закоснелого невежества, варварства...

— И любви к отечеству,— перервал полковник.— Конечно, в этом вовсе не европейском поступке россиян есть что-то непросвещенное, дикое; но когда я вспомню, как принимали нас в других столицах, и в то же время посмотрю на пылающую Москву... то, признаюсь, дивлюсь и завидую этим скифам.

— Согласитесь, однако ж, полковник,— перервал человек средних лет в генеральском мундире,— что в некотором отношении этот поступок оправдать ничем не можно и что те, кои жгли своими руками Москву, без всякого сомнения, преступники.

— Перед кем, господин Сегюр? Если перед нами, то я совершенно согласен: по их милости мы сейчас было все сгорели; но я думаю, что за это преступление их судить не станут.

— Перестаньте, полковник! — вскричал адъютант,— зажигатель всегда преступник. И что можно сказать о гражданине, который для того, чтоб избавиться от неприятеля, зажигает свой собственный дом? *

— Что можно сказать? Мне кажется, на ваш вопрос отвечать очень легко: вероятно, этот гражданин более

* Точно такой же вопрос делает г. Делор, сочинитель очерков французской революции (Esquisses Historiques de la Révolution Française).

ненавидит врагов своего отечества, чем любит свой собственный дом. Вот если б московские жители выбежали навстречу к нашим войскам, осыпали их рукоплесканиями, приняли с отверстыми объятиями, и вы спросили бы русских: какое имя можно дать подобным гражданам?.. то, без сомнения, им отвечать было бы гораздо затруднительнее.

— Однако ж, полковник,— сказал с приметною досадою адъютант,— позвольте вам заметить: вы с таким жаром защищаете наших неприятелей... прилично ли французскому офицеру...

— Вы еще очень молоды, господин адъютант,— перервал хладнокровно полковник,— и вряд ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я уж дрался за честь моей родины в то время, как вы были еще в пеленках, и смело могу сказать: горжусь именем француза. Но оттого-то именно и уважаю благородную русскую нацию. Это самоотвержение, эта беспредельная любовь к отечеству — понятны душе моей: я француз. И неужели вы думаете, что, унижая врагов наших, мы не уменьшаем этим собственную нашу славу? Победа над презренным неприятелем может ли, должна ли радовать сердца воинов Наполеона?

— Конечно, конечно,— перервал Сегюр.— A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire *. Но вот уж мы и за городом.

Наполеон, поворотя направо вверх по течению Москвы-реки, переправился близ села Хорошева чрез плавучий мост и, проехав несколько верст полем, дотащился наконец до Петербургской дороги. Тут кончилось это достопамятное путешествие императора французов от Кремля до Петровского замка, из которого он переехал опять в Кремль не прежде, как прекратились пожары, то есть когда уже почти вся Москва превратилась в пепел.

Несмотря на строгую взыскательность некоторых критиков, которые бог знает почему никак не дозволяют автору говорить от собственного своего лица с читателем, я намерен, оканчивая эту главу, сказать слова два об одном не совсем еще решенном у нас вопросе: точно ли русские, а не французы сожгли Москву?..

---

* Побеждая без опасности, торжествуют без славы *(фр.)*.

Было время, что мы, испуганные восклицаниями парижских журналистов: «Ces barbares que ne savaient se défendre qu' en brûlant leurs propres habitations» *, готовы были божиться в противном; но теперь, надеюсь, никакая красноречивая французская фраза не заставит нас отказаться от того, чем не только мы, но и позднейшие потомки наши станут гордиться. Нет! мы не уступим никому чести московского пожара: это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему. Пусть современные французские писатели, всегда готовые платить ругательством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, что, превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад на целое столетие: последствия доказали противное; а беспристрастное потомство скажет, что в сем спасительном пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить оковы рабства на всю Европу. Да! не на пустынном острове, но под дымящимися развалинами Москвы Наполеон нашел свою могилу! В упрямом военачальнике, влекущем на явную гибель остатки своих бесстрашных легионов, в мятежном корсиканце, взволновавшем снова успокоенную Францию,— я вижу еще что-то великое; но в неугомонном пленнике англичан, в мелочном ругателе своего тюремщика я не узнаю решительно того колоссального Наполеона, который и в падении своем не должен был походить на обыкновенного человека.

ГЛАВА V

Уже более трех недель Наполеон жил снова в Кремле. Большая русская армия под главным начальством незабвенного князя Кутузова, прикрывая богатейшие наши провинции, стояла спокойно лагерем, имела все нужное в изобилии и беспрестанно усиливалась свежими войсками, подходившими из всех низовых губерний. Напротив, положение французской армии было вовсе не завидное: превращенная в пепел Москва не доставляла давно уже никакого продовольствия, и, несмотря на все военные предосторожности, целые партии фуражиров пропадали без вести; с каждым днем возрастала народная ненависть к французам. Буйные поступки сол-

---

* Эти варвары, которые не умели защищать себя иначе, как сожигая собственные дома свои *(фр.)*.

дат, начинавших уже забывать всю подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, довело наконец эту ненависть до какого-то исступления. Убить просто француза — казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян, которые, делаясь час от часу отважнее, стали наконец нападать на сильные отряды фуражиров и нередко оставались победителями. Эти, по-видимому незначительные, но беспрерывные потери обессиливали приметным образом неприятеля; а к довершению бедствия, наши летучие отряды почти совершенно отрезали большую французскую армию от всех ее пособий и резервов. Можно сказать без всякого преувеличения, что, когда французы шли вперед и стояли в Москве, русские партизаны составляли их арьергард; а во время ретирады сделались авангардом, перерезывали им дорогу, замедляли отступление и захватывали все транспорты с одеждою и продовольствием, которые спешили к ним навстречу.

В полной надежде на неизменную звезду своего счастия, Наполеон подписывал в Кремле новые постановления для парижских театров, прогуливался в своем сером сюртуке по городу и, глядя спокойно на бедственное состояние своего войска, ожидал с каждым днем мирных предложений от нашего двора. Но слово русского царя священно: он обещал своему народу не положить меча до тех пор, пока хотя единый враг останется в пределах его царства,— и свято сохранил сей обет. День проходил за днем, но никто не являлся к *победителю* с повинной головою. Наполеон досадовал, называл нас варварами, не понимающими, что такое европейская война, и наконец, вероятно по доброте своего сердца, не желая *погубить* до конца Россию, послал в главную квартиру светлейшего князя Кутузова своего любимца Лористона, уполномочив его заключить мир на самых выгодных для нас условиях. Всем известно, какой имело успех это *человеколюбивое* посольство. Лористон, воротясь в Москву, донес своему императору, что северные варвары не хотят слышать о мире и уверяют, будто бы война не кончилась, а только еще начинается.

Все это происходило в конце сентября месяца, и около того же самого времени отряд под командою знако-

мого нам артиллерийского офицера, переходя беспрестанно с одного места на другое, остановился ночевать недалеко от большой Калужской дороги.

Рассветало. На одной обширной поляне, окруженной со всех сторон густым лесом, при слабом отблеске догорающих огней можно было без труда рассмотреть несколько десятков шалашей, или балаганов, расположенных полукружием. С полдюжины фур, две или три телеги, множество лошадей, стоящих кучами у сделанных на скорую руку коновязей, разбросанные котлы и пестрота одежд спящих в шалашах и перед огнями людей — все с первого взгляда походило на какой-то беспорядочный цыганский табор. Но в то же время целые пуки воткнутых в землю дротиков и казаки, стоящие на часах по опушке леса, доказывали, что на этой поляне расположены были биваки одного из летучих русских отрядов.

В небольшом полуоткрытом шалаше лежало трое офицеров, закутанных в синие шинели. Казалось, они спали крепким сном. Недалеко от них, перед балаганом, который был почти вдвое более других, у пылающего костра, сидел русский офицер в зеленом спензере. Он курил трубку и от времени до времени посматривал с приметным нетерпением вперед; вдруг послышался вдали оклик часового. Офицер встал и, сделав несколько шагов вперед, остановился; через минуту раздался явственно лошадиный топот, и видный собою казак выехал рысью на поляну.

— Ну что, Миронов,— спросил офицер, подойдя к казаку, который спрыгнул с лошади.— Неприятель точно потянулся по Калужской дороге?

— Да, ваше высокоблагородие! Французы ночуют верстах в пяти отсюда.

— А как силен неприятель?

— Я видел только передовых; этак сотен пять, шесть будет; да мужички мне сказывали, что за ними валит французов несметная сила.

— То есть два или три полка?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие! А говорят, с ними много пушек.

— Так это не фуражиры. Ступай разбуди есаула: сейчас в поход.

В полминуты весь лагерь оживился; а офицер, подойдя к своему шалашу, закричал:

— Эй, господа, вставайте!

— Что такое? — спросил Зарецкий, приподымаясь и протирая глаза.

— Сейчас в поход!

— А я было заснул так крепко. Ах, черт возьми, как у меня болит голова! А все от этого проклятого пунша. Ну! — продолжал Зарецкий, подымаясь на ноги,— мы, кажется, угощая вчера наших пленных французов, и сами чересчур подгуляли. Да где ж они?

— Не бойтесь, не уйдут,— сказал, выходя из шалаша, одетый в серое полукафтанье офицер, в выговоре которого заметно было сербское наречие.

— Что ж они делают?

— Спят,— отвечал отрывисто серб.

— А как проснутся,— продолжал Зарецкий,— и вспомнят, как они все нам выболтали, так, верно, пожалеют, что выпили по лишнему стакану пунша. Да и вы, господа,— надобно сказать правду,— мастерски умеете пользоваться минутой откровенности.

— Это потому,— подхватил другой офицер, в бурке и белой кавалерийской фуражке,— что мы верим русской пословице: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

— Посмотрите, если они сегодня не будут отрекаться от своих вчерашних слов.

— Не думаю,— сказал с какой-то странной улыбкою артиллерийский офицер.

— Куда мы теперь отправляемся? — спросил Зарецкий.

— Мы перейдем на Владимирскую дорогу и, может быть, будем опять верстах в десяти от Москвы.

— В десяти верстах! — повторил Зарецкий.— Что, если бы я мог как-нибудь узнать: жив ли мой друг Рославлев?

— Я на вашем месте,— сказал артиллерийский офицер,— постарался бы с ним увидеться.

— О! если б я мог побывать сам в Москве...

— Почему же нет? Да знаете ли, что вам это даже нужно? Извините, но мне кажется, вы слишком жалуете наших неприятелей; так вам вовсе не мешает взглянуть теперь на Москву: быть может, это вас несколько поразочарует. Вы говорите хорошо по-французски; у нас есть полный конно-егерский мундир: оденьтесь в него, возьмите у меня лошадь, отбитую у неприятельского офицера, и ступайте смело в Москву. Там теперь такое смешение языков и мундиров, что никому не придет в

голову экзаменовать вас, к какому вы принадлежите полку.

— А что вы думаете? — вскричал Зарецкий.— Если Рославлев жив, то, может быть, я найду способ вывезти его из Москвы и добраться вместе с ним до нашей армии.

— Может быть. Одевайтесь же скорее: мы сейчас выступаем.

В несколько минут Зарецкий, при помощи проворного казачьего урядника, преобразился в неприятельского офицера, надел сверх мундира синюю шинель с длинным воротником и, вскочив на лошадь, оседланную французским седлом, сказал:

— Как удивятся наши пленные, когда увидят меня в этом наряде. Да где ж они?.. Ба! они еще спят. Надобно их разбудить.

— Зачем? — перервал артиллерийский офицер, садясь на лошадь.— Мы со всех сторон окружены французами, где нам таскать с собою пленных.

— Но мы идем отсюда.

— А они остаются.

— Да теперь, покуда они спят...

— И не проснутся! — сказал серб, закуривая спокойно свою трубку.

У Зарецкого сердце замерло от ужаса; он взглянул с отвращением на своих товарищей и замолчал. Весь отряд, приняв направо, потянулся лесом по узкой просеке, которая вывела их на чистое поле. Проехав верст десять, они стали опять встречать лесистые места и часу в одиннадцатом утра остановились отдохнуть недалеко от села Карачарова в густом сосновом лесу.

— Ну, если вы не передумали ехать в Москву,— сказал артиллерийский офицер,— то ступайте теперь: я приму отсюда налево и остановлюсь не прежде, как буду от нее верстах в тридцати.

Покормив лошадей подножным кормом и отдохнув, отряд приготовился к выступлению; а Зарецкий, простясь довольно холодно с бывшими своими товарищами, выехал из леса прямо на большую дорогу, которая шла через село Карачарово. Подъехав к длинной гати, проложенной по низкому месту вплоть до самого селения, Зарецкий увидел, что перед околицей стоит сильный неприятельский пикет. Желая как можно реже встречаться с теперешними своими сослуживцами, он принял налево полем и продолжал объезжать все деревни и се-

ления, наполненные французами. Изредка встречались с ним бродящие по огородам солдаты: одни, как будто бы нехотя, прикладывали руки к своим киверам; другие, взглянув на него весьма равнодушно, продолжали рыться между гряд. С приближением его к Москве число этих бродяг беспрестанно увеличивалось; близ Спасской заставы по всем огородам были рассыпаны солдаты всех наций. Зарецкий приметил, что многие из них таскали за собой обывателей из простого народа, на которых, как на вьючных лошадей, накладывали мешки с картофелем, репою и другими огородными овощами. Подъезжая к заставе, он думал, что его закидают вопросами; но, к счастию, опасения его не оправдались. Часовой, в изорванной шинели, в протоптанных башмаках и высокой медвежьей шапке, не сделал ему на караул, но зато и не обеспокоил его никаким вопросом.

Какое странное и вместе плачевное зрелище представилось Зарецкому, когда он въехал в город! Вместо улиц тянулись бесконечные ряды труб и печей, посреди которых от времени до времени возвышались полуразрушенные кирпичные дома; на каждом шагу встречались с ним толпы оборванных солдат: одни, запачканные сажею, черные, как негры, копались в развалинах домов; другие, опьянев от русского вина, кричали охриплым голосом: «Vive l'Empereur!» * — шумели и пели песни на разных европейских языках. Обломки столов и стульев, изорванные картины, разбитые зеркала, фарфор, пустые бутылки, бочки и мертвые лошади покрывали мостовую. Все это вместе представляло такую отвратительную картину беспорядка и разрушения, что Зарецкий едва мог удержаться от восклицания: «Злодеи! что сделали вы с несчастной Москвою!» Будучи воспитан, как и большая часть наших молодых людей, под присмотром французского гувернера, Зарецкий не мог назваться набожным; но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью, когда он увидел, что почти во всех церквах стояли лошади; что стойла их были сколочены из икон, обезображенных, изрубленных и покрытых грязью. Но как описать его негодование, когда, проезжая мимо одной церкви, он прочел на ней надпись: «Конюшня генерала Гильемино». «Нет, господа французы! — вскричал он, позабыв, что окружен со всех сторон неприятелем,— это уже слишком!.. ругаться над

* Да здравствует император! (*фр.*)

тем, что целый народ считает священным!.. Если это, по-вашему, называется отсутствием всех предрассудков и просвещением, так черт его побери и вместе с вами». Когда он стал приближаться к средине города, то, боясь встретить французского генерала, который мог бы ему сделать какой-нибудь затруднительный вопрос, Зарецкий всякий раз, когда сверкали вдали шитые мундиры и показывались толпы верховых, сворачивал в сторону и скрывался между развалинами. Несколько раз случалось ему, для избежания подобной встречи, въезжать в какую-нибудь залу или прятаться за мраморным камином и потом снова выбираться на улицу сквозь целый ряд комнат без полов и потолков, но сохранивших еще по местам свою позолоту и живопись. Переехав Яузу, Зарецкий пустился рысью по набережной Москвы-реки, мимо уцелевшего воспитательного дома, и, миновав благополучно Кремль, заметил, что на самой средине Каменного моста толпилось много народа. Когда он подъехал к этой толпе, которая занимала всю ширину моста, то должен был за теснотою приостановить свою лошадь подле двух гвардейских солдат. Они разговаривали о чем-то с большим жаром.

— Как! — вскричал один из них,— обе молодые девушки?..

— Да! — отвечал другой,— они обе в моих глазах бросились с моста прямо в реку.

— Mâtin! sont-elles farouches ces bourgeoises de Moscou!.. * Броситься в реку оттого, что двое гвардейских солдат предложили им погулять и повеселиться вместе с ними!.. Ну вот, к чему служит парижская вежливость с этими варварами!

— Правда,— сказал первый солдат,— они тащили их насильно.

— Насильно!.. насильно!.. Но если эти дуры не знают общежития!.. Что за народ эти русские!.. Мне кажется, они еще глупее немцев... А как бестолковы!.. С ними говоришь чистым французским языком — ни слова не понимают. Sacristi! Comme ils sont bêtes ces barbares! **

— Здравствуй, Дюран! — сказал кто-то на французском языке позади Зарецкого.— Ну что, доволен ли ты

* Вот так штука! Ну и дикарки эти московские горожанки! *(фр.)*

** Черт возьми! Как глупы эти варвары! *(фр.)*

своей лошадью? — продолжал тот же голос, и так близко, что Зарецкий оглянулся и увидел подле себя кавалерийского офицера, который, отступя шаг назад, вскричал с удивлением: — Ах, боже мой! я ошибся, извините!.. я принял вас за моего приятеля... но неужели он продал вам свою лошадь?.. Да! Это точно она!.. Позвольте спросить, дорого ли вы за нее заплатили?

— Четыреста франков,— отвечал наудачу Зарецкий.

— Только?.. Он заплатил мне за нее восемьсот, а продал вам за четыреста!.. Странно!.. Вы служите с ним в одном полку?

— Нет! — отвечал отрывисто Зарецкий, стараясь продраться сквозь толпу. Поворачивая во все стороны лошадь, он нечаянно распахнул свою шинель.

— Это странно! — сказал кавалерист,— вы служите не вместе с Дюраном, а на вас, кажется, такой же мундир, как и на нем.

— Мундиры наших полков очень сходны... Но извините!.. Мне некогда... Посторонитесь, господа!

— Что это? — продолжал кавалерист, заслонив дорогу Зарецкому.— Так точно! На вас его сабля!

— Я купил ее вместе с лошадью.

— Эту саблю?.. Позвольте взглянуть на рукоятку... Так и есть, на ней вырезано имя Аделаиды... странно! Он получил ее из рук сестры моей и продал вам вместе с своею лошадью...

— Да, сударь! вместе с лошадью...

— Извините!.. Но это так чудно... так непонятно... Я знаю хорошо Дюрана: он не способен к такому низкому поступку.

— То есть я солгал? — перервал Зарецкий, стараясь казаться обиженным.

— Да, сударь! это неправда!

— Неправда! — повторил Зарецкий ужасным голосом.— Un démenti! à moi...* Как вас зовут, государь мой?

— Позвольте мне прежде узнать...

— Ваше имя, сударь?

— Но растолкуйте мне прежде...

— Ваше имя, и ни слова более!..

— Капитан жандармов Рено; а вы, сударь?..

— Капитан Рено?.. Очень хорошо... Я знаю, где вы живете... Мы сегодня же увидимся... да, сударь! сегодня

---

* Упрекать во лжи! меня... *(фр.)*

же!.. Un démenti à moi...— повторил Зарецкий, пришпоривая свою лошадь.

— Господин офицер!.. господин офицер!..— закричали со всех сторон.— Тише! вы нас давите!.. Ай, ай, ай! Miséricorde!.. * Держите этого сумасшедшего!..— Но Зарецкий, не слушая ни воплей, ни проклятий, прорвался как бешеный сквозь толпу и, выскакав на противуположный берег реки, пустился шибкой рысью вдоль Полянки.

Зарецкий вздохнул свободно не прежде, как потерял совсем из виду Каменный мост. Не опасаясь уже, что привязчивый жандармский офицер его догонит, он успокоился, поехал шагом, и утешительная мысль, что, может быть, он скоро обнимет Рославлева, заменила в душе его всякое другое чувство. Почти все дома около Серпуховских ворот уцелели от пожара, следовательно, он имел полное право надеяться, что отыщет дом купца Сезёмова. Доехав до конца Полянки, он остановился. Несколько сот неприятельских солдат прохаживались по площади. Одни курили трубки, другие продавали всякую всячину. Посреди всех германских наречий раздавались иногда звучные фразы итальянского языка, перерываемые беспрестанно восклицаниями и *поговорками,* которыми так богат язык французских солдат; но во всей толпе Зарецкий не заметил ни одного обывателя. Он объехал кругом площадь, заглядывал во все окна и наконец решился войти в дом, над дверьми которого висела вывеска с надписью на французском и немецком языках: золотых дел мастер Франц Зингер.

Привязав у крыльца свою лошадь, Зарецкий вошел в небольшую горенку, обитую изорванными обоями. Несколько плохих стульев, разбитое зеркало и гравированный портрет Наполеона в черной рамке составляли всю мебель этой комнаты. Позади прилавка из простого дерева сидела за работою девочка лет двенадцати в опрятном ситцевом платье. Когда она увидела вошедшего Зарецкого, то, вскочив проворно со стула и сделав ему вежливый *книксен,* спросила на дурном французском языке: «Что угодно господину офицеру?» Потом, не дожидаясь его ответа, открыла с стеклянным верхом ящик, в котором лежали дюжины три золотых колец, несколько печатей, цепочек и два или три креста Почетного легиона.

---

* Помилосердствуйте!.. *(фр.)*

— Где хозяин? — спросил Зарецкий.

— Папенька? Его нет дома.

— Не знаешь ли, миленькая, где здесь дом купца Сезёмова?

— Сезёмова? Не знаю, господин офицер; но если вам угодно немного подождать, папенька скоро придет: он, верно, знает.

Зарецкий кивнул в знак согласия головою, а девочка села на стул и принялась снова вязать свой белый бумажный колпак с синими полосками.

Прошло с четверть часа. Зарецкий начинал уже терять терпение; наконец двери отворились, и толстый немец, с прищуренными глазами, вошел в комнату. Поклонясь вежливо Зарецкому, он повторил также на французском языке вопрос своей дочери:

— Что угодно господину офицеру?

— Не знаете ли, где дом купца Сезёмова?

— Шагов двадцать отсюда, желтый дом с зелеными ставнями. Вы, верно, желаете видеть офицера, который у него квартирует?

— Да. Итак, желтый дом с зелеными ставнями?..

— Позвольте, позвольте!.. Вы его там не найдете: он переменил квартиру.

— Право? — сказал Зарецкий.— Все равно, я его как-нибудь отыщу.

— Позвольте!.. он теперь живет у меня.

— В самом деле?.. Но, кажется, его нет дома?..

— Да, он вышел; но не угодно ли в его комнату: господин капитан сейчас будет.

— Нет, я лучше зайду опять.

— Да подождите! он идет за мной...

— Нет, я вспомнил... мне еще нужно... я хотел... прощайте!..

— Постойте, господин офицер! постойте! — вскричал немец, взглянув в окно,— да вот и он!

Прежде чем Зарецкий успел образумиться, жандармский офицер, с которым он поссорился на Каменном мосту, вошел в комнату.

— Вот господин офицер, который отыскивал вашу квартиру,— сказал немец, обращаясь к своему постояльцу.— Он не знал, что вы переехали жить в мой дом.

Счастливая мысль, как молния, блеснула в голове Зарецкого.

— Господин Рено! — сказал он грозным голосом,— я обещался отыскать вас и, кажется, сдержал мое слово.

Обида, которую вы мне сделали, требует немедленного удовлетворения: мы должны сейчас стреляться.

Хозяин-немец побледнел, начал пятиться назад и исчез за дверьми другой комнаты; но дочь его осталась на прежнем месте и с детским любопытством устремила свои простодушные голубые глаза на обоих офицеров.

— Прежде чем я буду отвечать вам,— сказал хладнокровно капитан Рено,— позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

— Какое вам до этого дело? Вы видите, что я французский офицер.

— Извините! я вижу только, что на вас мундир французского офицера.

— Что вы хотите этим сказать? — вскричал Зарецкий, чувствуя какое-то невольное сжимание сердца.

— А то, сударь, что Москва теперь наполнена русскими шпионами во всех возможных костюмах.

— Как, господин капитан! вы смеете думать?..

— Да, сударь! — продолжал Рено,— французский офицер должен знать службу и не станет вызывать на дуэль капитана жандармов, который обязан предупреждать все подобные случаи.

— Но, сударь...

— Французский офицер не будет скрывать своего имени и давить народ, чтоб избежать затруднительных вопросов, которые вправе ему сделать каждый офицер жандармов.

— Но, сударь...

— Французский офицер не отлучится никогда самопроизвольно от своей команды. Ваш полк стоит далеко от Москвы, следовательно, вы должны иметь письменное позволение. Не угодно ли вам его показать?

— А если я его не имею?..

— В таком случае пожалуйте вашу саблю.

— Прекрасно, сударь!.. Вы обидели меня и употребляете этот низкий способ, чтоб отделаться от поединка. Позвольте ж и мне теперь спросить вас: француз ли вы?

— Вы напрасно расточаете ваше красноречие. Быть может, я несколько погорячился; но извините!.. Все ваши ответы были так странны: лошадь, которую вы купили за половину цены; сабля, которая никак не могла быть вам продана, и даже это смущение, которое я замечаю в глазах ваших,— все заставляет меня пригласить вас вместе со мной к коменданту. Там дело объяснится. Мы узнаем, должен ли я просить у вас извинения или

поблагодарить вас за то, что вы доставили мне случай доказать, что я недаром ношу этот мундир. Да не горячитесь: у меня в сенях жандармы. Пожалуйте вашу саблю!

— Так возьмите же ее сами! — вскричал Зарецкий, отступив два шага назад.

Вдруг двери отворились, и в комнату вошел прекрасный собою мужчина в кирасирском мундире, с полковничьими эполетами. При первом взгляде на Зарецкого он не мог удержаться от невольного восклицания.

— Ах, это вы, граф!..— вскричал Зарецкий, узнав тотчас в офицере полковника Сеникура.— Как я рад, что вас вижу! Сделайте милость, уверьте господина Рено, что я точно французский капитан Данвиль.

— Капитан Данвиль!..— повторил полковник, продолжая смотреть с удивлением на Зарецкого.

— Неужели, граф, вы меня не узнаете?..

— Извините! я вас тотчас узнал...

— И, верно, вспомнили, что несколько месяцев назад я имел счастие спасти вас от смерти?

— Как! — вскричал жандармский капитан,— неужели в самом деле?..

— Да, Рено,— перервал полковник,— этот господин говорит правду; но я никак не думал встретить его в Москве и, признаюсь, весьма удивлен...

— Вы еще более удивитесь, полковник,— подхватил Зарецкий,— когда я вам скажу, что не имею на это никакого позволения от моего начальства; но вы, верно, перестанете удивляться, если узнаете причины, побудившие меня к этому поступку.

— Едва ли! — сказал полковник, покачав головою,— это такая неосторожность!.. Но позвольте узнать, что у вас такое с господином Рено?

— Представьте себе, граф! Господин Рено обидел меня ужасным образом, и когда я отыскал его квартиру, застал дома и стал просить удовлетворения...

— Что это все значит? — вскричал полковник, глядя с удивлением на обоих офицеров.— Вы в Москве... отыскивали жандармского капитана... вызываете его на дуэль... Черт возьми, если я тут что-нибудь понимаю!

— Послушайте, граф! — перервал Рено,— можете ли вы меня удостоверить, что этот господин точно капитан французской службы?

— Да разве вы не видите? Впрочем, я готов еще раз повторить, что этот храбрый и благородный офицер вы-

рвал меня из рук неприятельских солдат и что если я могу еще служить императору и бить русских, то, конечно, за это обязан единственно ему.

— О, в таком случае... Господин Данвиль! я признаю себя совершенно виноватым. Но эта проклятая сабля!.. Признаюсь, я и теперь не постигаю, как мог Дюран решиться продать саблю, которую получил из рук своей невесты... Согласитесь, что я скорей должен был предполагать, что он убит... что его лошадь и оружие достались неприятелю... что вы... Но если граф вас знает, то конечно...

— Итак, это кончено,— сказал полковник.— Я думаю, господин Данвиль, вы теперь довольны? Да вам и некогда ссориться: советую по-дружески сей же час отправиться туда, откуда вы приехали.

— Извините,— сказал Рено,— я исполнил долг честного человека, признавшись в моей вине; теперь позвольте мне выполнить обязанность мою по службе. Господин Данвиль отлучился без позволения от своего полка, и я должен непременно довести это до сведения начальства.

— И, полноте, Рено! — перервал полковник,— что вам за радость, если моего приятеля накажут за этот необдуманный поступок? Конечно,— прибавил он,— взглянув значительно на Зарецкого,— поступок более чем неосторожный и даже в некотором смысле непростительный — не спорю! но в котором, без всякого сомнения, нет ничего неприличного и унизительного для офицера: в этом я уверен.

— Так, полковник, так!.. Однако ж вы знаете, что порядок службы требует...

— Знаю, знаю, капитан! но представьте себе, что вы с ним никогда не встречались — вот и все! Пойдемте ко мне, Данвиль.

— Ну, если, граф, вы непременно этого хотите, то, конечно, я должен... я не могу отказать вам. Уезжайте же скорее отсюда, господин Данвиль; советую вам быть вперед осторожнее: император никогда не любил шутить военной дисциплиною, а теперь сделался еще строже. Говорят, он беспрестанно сердится; эти проклятые русские выводят его из терпения. Варвары! и не думают о мире! Как будто бы война должна продолжаться вечно. Прощайте, господа!

— Это ваша лошадь? — спросил полковник, когда они вышли на крыльцо.

— Да, граф.

— Отвяжите ее и сделайте мне честь — пройдите со мною несколько шагов по улице.

Зарецкий, ведя в поводу свою лошадь, отошел вместе с графом Сеникуром шагов сто от дома золотых дел мастера. Поглядя вокруг себя и видя, что их никто не может подслушать, полковник остановился, кинул проницательный взгляд на Зарецкого и сказал строгим голосом:

— Теперь позвольте вас спросить, что значит этот маскарад?

— Я хотел узнать, жив ли мой друг, который, будучи отчаянно болен, не мог выехать из Москвы в то время, как вы в нее входили.

— И у вас не было никаких других намерений?

— Никаких, клянусь вам честию.

— Очень хорошо. Вы храбрый и благородный офицер — я верю вашему честному слову; но знаете ли, что, несмотря на это, вас должно, по всем военным законам, расстрелять как шпиона.

— Знаю.

— И вы решились, чтоб повидаться с вашим другом...

— Да, полковник! для этого только я решился надеть французский мундир и приехать в Москву.

— Признаюсь, я до сих пор думал, что одна любовь оправдывает подобные дурачества... но минуты дороги: малейшая неосторожность может стоить вам жизни. Ступайте скорей вон из Москвы.

— Я еще не виделся с моим другом.

— Отложите это свидание до лучшего времени. Мы не вечно здесь останемся.

— Надеюсь, граф... но если мой друг жив, то я могу спасти его.

— Спасти?

— То есть увезти из Москвы.

— Так поэтому он военный?

— Да, граф; но, может быть, ваше правительство об этом не знает?

— Извините! Я знаю теперь, что ваш друг офицер, следовательно, военнопленный и не может выехать из Москвы.

— Как, граф? вы хотите употребить во зло мою откровенность?

— Да, сударь! Я поступил уже против совести и

моих правил, спасая от заслуженной казни человека, которого закон осуждает на смерть как шпиона; но я обязан вам жизнию, и хотя это не слишком завидный подарок,— прибавил полковник с грустной улыбкою,— а все я, не менее того, был вашим должником; теперь мы поквитались, и я, конечно, не допущу вас увезти с собою пленного офицера.

— Но знаете ли, полковник, кто этот пленный офицер?

— Какое мне до этого дело!

— Знаете ли, что вы успели уже отнять у него более, чем жизнь?

— Что вы говорите?

— Да, граф! Этот офицер — Рославлев.

— Рославлев? жених...

— Да, бывший жених Полины Лидиной.

— Возможно ли? — вскричал Сеникур, схватив за руку Зарецкого.— Как? это тот несчастный?.. Ах, что вы мне напомнили!.. Ужасная ночь!.. Нет!.. во всю жизнь мою не забуду... без чувств — в крови... у самых церковных дверей... сумасшедшая!.. Боже мой, боже мой!..— Полковник замолчал. Лицо его было бледно; посиневшие губы дрожали.— Да! — вскричал он наконец,— я точно отнял у него более, чем жизнь,— он любил ее!

— Что ж останется у моего друга,— сказал Зарецкий,— если вы отнимете у него последнее утешение: свободу и возможность умереть за отечество?

— Нет, нет! я не хочу быть дважды его убийцею; он должен быть свободен!.. О, если б я мог хотя этим вознаградить его за зло, которое, клянусь богом, сделал ему невольно! Вы сохранили жизнь мою, вы причиною несчастия вашего друга, вы должны и спасти его. Ступайте к нему; я готов для него сделать все... да, все!.. но, бога ради, не говорите ему... послушайте: он был болен, быть может, он не в силах идти пешком... У самой заставы будет вас дожидаться мой человек с лошадью; скажите ему, что вы капитан Данвиль: он отдаст вам ее... Прощайте! я спешу домой!.. Ступайте к нему... ступайте!..

Полковник пустился почти бегом по площади, а Зарецкий, поглядев вокруг себя и видя, что он стоит в двух шагах от желтого дома с зелеными ставнями, подошел к запертым воротам и постучался. Через минуту мальчик, в изорванном сером кафтане, отворил калитку.

— Это дом купца Сезёмова? — спросил Зарецкий, стараясь выговаривать слова, как иностранец.

— Да, сударь! Да кого вам надобно? Здесь стоят одни солдаты.

— Мне нужно видеть самого хозяина.

— Хозяина? — повторил мальчик, взглянув с робостию на Зарецкого.— Да у нас, сударь, ничего нет...

— Не бойся, голубчик, я ничем вас не обижу. Подержи мою лошадь.

Мальчик, посматривая недоверчиво на офицера, выполнил его приказание.

Зарецкий вошел на двор. Небольшие сени разделяли дом на две половины: в той, которая была на улицу, раздавались громкие голоса. Он растворил дверь и увидел сидящих за столом человек десять гвардейских солдат: они обедали.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Зарецкий. Солдаты взглянули на него, один отвечал отрывистым голосом:

— Bonjour, monsieur! — но никто и не думал приподняться с своего места.

— Куда пройти к хозяину дома? — спросил Зарецкий.

— Ступайте прямо; он живет там — в угольной комнате,— отвечал один из солдат.— Hé! la vieille!..* — продолжал он, застучав кулаком по столу.— Клеба!

— Что, батюшка, изволите? — сказала старуха лет шестидесяти, войдя в комнату.

— Arrivez, donc, vieille sorcière... ** Клеба!

— Нет, батюшка!..

— Нет, батушка!.. Allons сейшас!.. Клеба,— ou sacristi!..***

— Не трогайте эту старуху, друзья мои! — сказал Зарецкий.— Вот вам червонец: вы можете на это купить и хлеба и вина.

— Merci, mon officier! **** — сказал один усатый гренадер.— Подождите, друзья! Я сбегаю к нашей маркитантше: у ней все найдешь за деньги.

Зарецкий, сделав рукою знак старухе идти за ним, вышел в другую комнату.

---

* Эй! старуха!.. *(фр.)*

** Подойди сюда, старая ведьма... *(фр.)*

*** Ну же!.. черт возьми!.. *(фр.)*

**** Спасибо, мой офицер! *(фр.)*

— Послушай, голубушка,— сказал он вполголоса,— ведь хозяин этого дома купец Сезёмов?

— Да, батюшка, я его сожительница.

— Тем лучше. У вас есть больной?

— Есть, батюшка; меньшой наш сын.

— Неправда; русский офицер.

— Видит бог, нет!..— вскричала старуха, побледнев как полотно.

— Тише, тише! не кричи. Его зовут Владимиром Сергеевичем Рославлевым?

— Ах, господи!.. Кто это выболтал?

— Не бойся, я его приятель... и также русский офицер.

— Как, сударь?..

— Тише, бабушка, тише! Проведи меня к нему.

— Ох, батюшка!.. Да правду ли вы изволите говорить?..

— Увидишь сама, как он мне обрадуется. Веди меня к нему скорее.

— Пожалуйте, батюшка!.. Только бог вам судья, если вы меня, старуху, из ума выводите.

Пройдя через две небольшие комнаты, хозяйка отворила потихоньку дверь в светлый и даже с некоторой роскошью убранный покой. На высокой кровати с ситцевым пологом сидел, облокотясь одной рукой на столик, поставленный у самого изголовья, бледный и худой как тень Рославлев. Подле него старик, с седою бородою, читал с большим вниманием толстую книгу в черном кожаном переплете. В ту самую минуту, как Зарецкий показался в дверях, старик произнес вполголоса: «Житие преподобного отца нашего...»

— Александр!..— вскричал Рославлев.

— Нет, батюшка! — перервал старик,— не Александра, а Макария Египетского.

— Тише, мой друг! — сказал Зарецкий.— Так точно, это я; но успокойся!

— Ты в плену?..

— Нет, мой друг!

— Но как же ты попал в Москву?.. Что значит этот французский мундир?..

— Я расскажу тебе все, но время дорого. Отвечай скорее: можешь ли ты пройти хотя до заставы пешком?

— Могу.

— Слава богу! ты спасен.

— Как, сударь! — сказал старик, который в продол-

жение этого разговора смотрел с удивлением на Зарецкого.— Вы русский офицер?.. Вы надеетесь вывести Владимира Сергеевича из Москвы?

— Да, любезный, надеюсь. Но одевайся проворней, Рославлев, в какой-нибудь сюртук или шинель. Чем простее, тем лучше.

— За этим дело не станет, батюшка,— сказала старуха.— Платье найдем. Да изволите видеть, как он слаб! Сердечный! где ему и до заставы дотащиться!

— Не бойтесь,— сказал Рославлев, вставая,— я почти совсем здоров.

— Мавра Андреевна! — перервал старик,— вынь-ка из сундука Ваничкин сюртук: он будет впору его милости. Да где Андрюшина калмыцкая сибирка?

— В подвале, Иван Архипович! Я засунула ее между старых бочек.

— Принеси же ее скорее. Ну что ж, Мавра Андреевна, стоишь? Ступай!

— Да как же это, батюшка, Иван Архипович! — отвечала старуха, перебирая одной рукой концы своей шубейки,— в чем же Андрюша-то сам выйдет на улицу?

— Полно, матушка! не замерзнет и в кафтане.

— Скоро будут заморозы; да и теперь уж по вечерам-то холодновато.

— Я и сам не соглашусь,— перервал Рославлев,— чтобы вы для меня раздевали ваших детей.

— И, Владимир Сергеич! что вы слушаете моей старухи; дело ее бабье: сама не знает, что говорит.

— Я вам заплачу за все чистыми деньгами,— сказал Зарецкий.

— Слышишь, Мавра Андреевна? Эх, матушка!.. Вот до чего ты довела меня на старости!.. Пошла, сударыня, пошла!

Старуха вышла.

— Нет, господа! — продолжал Иван Архипович,— я, благодаря бога, в деньгах не нуждаюсь; а если бы и это было, так скорей сам в одной рубашке останусь, чем возьму хоть денежку с моего благодетеля. Да и она не знает, что мелет: у Андрюши есть полушубок; да он же теперь, слава богу, здоров; а вы, батюшка, только что оправляться стали. Извольте-ка одеваться. Вот ваш кошелек и бумажник,— продолжал старик, вынимая их из сундука.— В бумажнике пятьсот ассигнациями, а в кошельке — не помню пятьдесят, не помню шестьдесят рублей серебром и золотом. Потрудитесь перечесть.

— Как вам не стыдно, Иван Архипович?

— Деньги счет любят, батюшка.

— Мы перечтем их после,— сказал Зарецкий, пособляя одеваться Рославлеву.— На вот твою казну... Ну что ж? Положи ее в боковой карман — вот так!.. Ну, Владимир, как ты исхудал, бедняжка!

— Извольте, батюшка! — сказала старуха, входя в комнату,— вот Андрюшина сибирка. Виновата, Иван Архипович! Ведь я совсем забыла: у нас еще запрятаны на чердаке два тулупа да лисья шуба.

— Теперь,— перервал Зарецкий,— надень круглую шляпу или вот этот картуз — если позволите, Иван Архипович?

— Сделайте милость, извольте брать все, что вам угодно.

— Ну, Владимир, прощайся — да в поход!

— А где же мой Егор? — спросил Рославлев.

— Сошел со двора, батюшка! — отвечала старуха.

— Скажите ему, чтоб он пробирался как-нибудь до нашей армии. Ну, прощайте, мои добрые хозяева!

— Позвольте, батюшка! — сказал старик.— Все надо начинать со крестом и молитвою, а кольми паче когда дело идет о животе и смерти. Милости прошу присесть. Садись, Мавра Андреевна.

— Извините! — сказал Зарецкий,— нам должно торопиться!..

— Садись, Александр! — перервал вполголоса Рославлев,— не огорчай моего доброго хозяина.

— Я очень уважаю все наши старинные обычаи,— сказал Зарецкий, садясь с приметным неудовольствием на стул,— но сделайте милость, чтоб это было покороче.

Старик не отвечал ни слова. Все сели по своим местам. Молчание, наблюдаемое в подобных случаях всеми присутствующими, придает что-то торжественное и важное этому древнему обычаю и доныне свято сохраняемому большею частию русских. Глубокая тишина продолжалась около полуминуты; вдруг раздался шум, и громкие восклицания французских солдат разнеслись по всему дому. «За здоровье императора!.. Да здравствует император!..» — загремели грубые голоса в близком расстоянии. Казалось, солдаты вышли из-за стола и разбрелись по всем комнатам.

Старик, а вслед за ним и все встали с своих мест. Оборотясь к иконам и положа три земные поклона, он произнес тихим голосом:

— Матерь божия! сохрани раба твоего Владимира под святым покровом твоим! Да сопутствует ему ангел господень; да ослепит он очи врагов наших; да соблюдет его здравым, невредимым и сохранит от всякого бедствия! Твое бо есть, господи! еже миловати и спасати нас.

— Аминь! — сказала старуха.

— Vive l'amour et le vin!..* — заревел отвратительный голос почти у самых дверей комнаты.

— Скорей, мой друг! скорей!..— сказал Зарецкий. Рославлев молча обнял своих добрых хозяев, которые разливались горькими слезами.

— Владимир Сергеич! — проговорил, всхлипывая, старик.— Я долго называл тебя сыном; позволь мне, батюшка, благословить тебя! — Он перекрестил Рославлева, прижал его к груди своей и сказал: — Ну, Мавра Андреевна! проводи их скорей задним крыльцом. Христос с вами, мои родные! ступайте с богом, ступайте! а я стану молиться.

Старуха вывела наших друзей на улицу, простилась еще раз с Рославлевым и захлопнула за ними калитку.

— Теперь, мой друг, не прогневайся! — сказал Зарецкий,— я сяду на лошадь, а ты ступай подле меня пешком. Это не слишком вежливо, да делать нечего: надобно, чтоб всем казалось, что я куда-нибудь послан, а ты у меня проводником. Постарайтесь только, сударь, дойти как-нибудь до заставы, а там я вам позволю ехать со мною!

— Ехать? Но где же ты возьмешь лошадь?

— Это уж не твоя забота. Прошу только со мной не разговаривать, глядеть на меня со страхом и трепетом и не забывать, что я французский офицер, а ты московский мещанин.

Проехав благополучно поперек площади, покрытой неприятельскими солдатами, Зарецкий принял направо и пустился вдоль средней Донской улицы, на которой почти не было проходящих. Попадавшиеся им изредка французы не обращали на них никакого внимания. Через несколько минут показались в конце улицы стены Донского монастыря, а вдали за ними гористые окрестности живописной Калужской дороги.

— Что, Владимир! — спросил Зарецкий,— ты очень устал? Ну, что ж ты не отвечаешь? Не бойся, здесь ни-

* Да здравствует любовь и вино!.. *(фр.)*

кого нет,— продолжал он, оглянувшись назад.— Что это? Куда девался Владимир?.. А! вон где он!.. Как отстал, бедняжка! Hè! veux-tu avancer, coquin...* — закричал он сердитым голосом, осадя свою лошадь; но Рославлев, казалось, не слышал ничего и стоял на одном месте как вкопанный.— Что ты, Владимир? — сказал Зарецкий, подъехав к своему приятелю.— Не отставай, братец! Да что ты уставился на этот дом?.. Эге! вижу, брат, вижу, куда ты смотришь! Ты глядишь на эту женщину... вон что стоит у окна, облокотясь на плечо французского полковника?.. О! да она в самом деле хороша! Немножко бледна!.. Впрочем, нам теперь не до красавиц. Полно, братец, ступай!

— Так я не ошибаюсь,— вскричал Рославлев,— это она!

— Тише, мой друг, тише! Так точно! Боже мой! это граф Сеникур!

— Да, это он! Прощай, Александр.

— Что ты, Владимир? Опомнись!

— Злодей! — продолжал Рославлев, устремив пылающий взор на полковника,— я оставил тебя ненаказанным; но ты был в плену, и я не видел Полины в твоих объятиях!.. А теперь... дай мне свою саблю, Александр!.. или нет!..— прибавил он, схватив один из пистолетов Зарецкого,— это будет вернее... Он заряжен... слава богу!..

Зарецкий соскочил с лошади и схватил за руку Рославлева.

— Пусти меня, пусти!..— кричал Рославлев, стараясь вырваться.

— Слушай, Владимир! — сказал твердым голосом его приятель,— я здесь под чужим именем, и если буду узнан, то меня сегодня же расстреляют как шпиона.

— Как шпиона!..

— Да. Теперь ступай, если хочешь, к полковнику; я иду вместе с тобою.

Рославлев не отвечал ни слова; казалось, он боролся с самим собою. Вдруг сверкающие глаза его наполнились слезами, он закрыл их рукою, бросил пистолет, и прежде чем Зарецкий успел поднять его и сесть на лошадь, Рославлев был уже у стен Донского монастыря.

— Тише,— кричал Зарецкий, с трудом догоняя свое-

---

* Эй! поторапливайся, негодяй... *(фр.)*

го приятеля,— тише, Владимир! ты этак не дойдешь и до заставы.

— О, не беспокойся! — отвечал Рославлев, остановясь на минуту, чтоб перевести дух,— теперь я чувствую в себе довольно силы, чтоб уйти на край света. Вперед, мой друг, вперед!

Через несколько минут они были уже за Калужскою заставою; у самого въезда в слободу стоял человек с верховой лошадью.

— Я капитан Данвиль,— сказал Зарецкий, подъехав к нему.— Отдай лошадь моему проводнику.

Слуга пособил Рославлеву сесть на коня, и наши приятели, выехав на чистое поле, повернули в сторону по первой проселочной дороге, которая, извиваясь между холмов, покрытых рощами, терялась вдали среди густого леса.

ГЛАВА VI

Наши путешественники ехали сначала скорой рысью, наблюдая глубокое молчание; но когда на восьмой или девятой версте от города, миновав несколько деревень, они увидели себя посреди леса и уж с полчаса не встречали никого, то Зарецкий начал расспрашивать Рославлева обо всем, что с ним случилось со дня их разлуки.

— Ну, Владимир! — сказал он, дослушав рассказ своего друга,— теперь я понимаю, отчего побледнел Сеникур, когда вспомнил о своем венчанье... Ах, батюшки! да знаешь ли, что из этого можно сделать такую адскую трагедию à la madame Радклиф *, что у всех зрителей волосы станут дыбом! Кладбище... полночь... и вдобавок сумасшедшая Федора... какие богатые материалы!.. Ну, свадебка!.. Я не охотник до русских стихов, а поневоле вспомнишь Озерова:

Там был не Гименей — Мегера там была...—

то есть косматая Федора, которая, вероятно, ничем не красивее греческой фурии. Но вот чего я не понимаю, мой друг! Ты поступил как человек благоразумный: не хотел видеть изменницу, ссориться с ее мужем и, имея тысячу способов отмстить твоему беззащитному сопер-

---

* в стиле мадам Радклиф *(фр.)*.

нику, оставил его в покое; это доказывает, что и в первую минуту твой рассудок был сильнее страсти. С тех пор прошло довольно времени; твое грустное положение и болезнь должны были тебя совершенно образумить, и, несмотря на это, ты готов был сейчас сделать величайшее дурачество в твоей жизни — и все для той же Полины! Конечно, что и говорить: она очень недурна собою, сложена прекрасно, и если сверх этого у ней маленькая ножка, то, может быть, и я сошел бы от нее с ума на несколько дней; но бесноваться целый месяц!..

— Ах, мой друг! — перервал Рославлев,— ты не знаешь, что такое любовь, ты не имеешь понятия об этом блаженстве и мучении нашей жизни! Да, Александр! Я и сам был уверен, что спокойствие возвратилось в мою душу. Несколько раз, испытывая себя, я воображал, что вижу Полину вместе с ее мужем, и мне казалось, что я могу спокойно смотреть на их взаимные ласки и даже радоваться ее счастью. Нет! Я обманывал самого себя. Когда сейчас я взглянул нечаянно на окно этого дома, когда увидел, что женщина, почти лежащая в объятиях французского полковника, походит на Полину, когда я узнал ее... О Александр! я почувствовал тогда... Да сохранит тебя бог от подобного чувства!.. Холодная, ледяная смерть по всем жилам — и весь ад в душе!.. Ах, мой друг! ты не знаешь еще, к каким мучениям способна душа наша, какие неизъяснимые страдания мы можем и, вероятно,— прибавил тихим голосом Рославлев,— должны переносить, томясь в этой ссылке, на этой каторге, которую мы называем жизнию!..

— И с которой, несмотря на это, даже и ты не захочешь расстаться! — перервал с улыбкою Зарецкий.— Полно, братец! Вы все, чувствительные меланхолики, пренеблагодарные люди: вечно жалуетесь на судьбу. Вот хоть ты; я желал бы знать, казалась ли тебе жизнь каторгою, когда ты был уверен, что Полина тебя любит?

— Но я ошибался, мой друг!

— Да разве от этого ты менее был счастлив? Вот то-то и есть, господа! Пока все делается по-вашему, так вы еще и туда и сюда; чуть не так — и пошли поклепы на бедную жизнь, как будто бы век не было для вас радостной минуты.

— Но что все прошедшие радости...

— Перед настоящим горем?.. И, mon cher! и то и другое забывается. Конечно, я понимаю, для твоего самолюбия должно быть очень обидно...

— Эх, братец! какое самолюбие...

— Да, любезный, не прогневайся! Самолюбие в этом случае играет пребольшую ролю. Что ни говори, а ведь досадно, как отобьют невесту; да только смешно от этого сходить с ума: посердился, покричал, и будет. Вот то-то же, поневоле похвалишь наших неприятелей. Кто лучше их умеет пользоваться жизнию?.. Француз не задохнется от избытка сердечной радости, да зато и не иссохнет от печали. Посмотри, как он весел, как всегда доволен собою, над всем смеется, все его забавляет. Заговорит дело — есть что послушать: все знает; заговорит вздор — также заслушаешься: какая веселость в каждом слове! И как милы эти фразы, в которых нет ни на волос здравого смысла! Конечно, и у них есть исключения, но они так редки... Печальный француз! не правда ли, что это даже странно слышать? А отчего они так счастливы?.. Оттого именно, что душа их не способна к сильным впечатлениям. Они... как бы это сказать по-русски?.. они слегка только прикасаются к жизни. Знаешь ли что, мой друг? Если ты хочешь непременно сравнивать с чем-нибудь жизнь, то сравни ее с морем; но только, бога ради, не с бурным,— это уже слишком старо!

— А с каким же, Александр?

— Да просто с нашим петербургским, когда оно замерзнет. Катайся по нем сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что под этим блестящим льдом таится смерть и бездонная пучина; не останавливайся на одном месте, не надавливай, а *скользи* только по гладкой его поверхности.

— То есть не принимай ничего к сердцу,— перервал Рославлев,— не люби никого, не жалей ни о ком; беги от несчастного: он может тебя опечалить; старайся не испортить желудка и как можно реже думай о том, что будет с тобою под старость,— то ли ты хотел сказать, Александр?

— О нет, мой друг! я не желаю быть эгоистом.

— И в то же время не хочешь ни о чем горевать? Да разве это возможно?

— Да, конечно... не спорю, тут есть, по-видимому, какое-то противоречие... Однако ж я не менее того уверен, что эта философия...

— Ничем не лучше моей. Что грех таить, Александр! у меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и сам заговорил вздор. По-моему, жизнь должна быть вечной ссылкою, а по-твоему — беспрерывным пра-

здником. Благодаря бога и то и другое для нас невозможно, Александр! Тот, кто вечно крушится, и тот, кто всегда весел,— оба эгоисты.

— Это почему?

— А потому, что человек, не способный делить ни с кем ни радости, ни горя,— любит одного себя.

— Почему ж одного себя? Можно любить и приятеля — разумеется, до некоторой степени.

— А до какой степени простирается эта любовь к приятелю в человеке, который для того, чтоб с ним повидаться и спасти его...

— И, полно, mon cher! что за важность! Ты видишь, я целехонек.

— Вижу, мой друг! Но, признаюсь, удивляюсь и желал бы знать, как ты уцелел?

— Ты еще более удивишься, когда узнаешь, что я, будучи в Москве, вызывал на дуэль капитана французских жандармов.

— Неужели?..

— Представь себе: он вздумал меня расспрашивать; я пустился ему лгать что есть мочи, и этот грубиян осмелился сказать мне в глаза, что я говорю неправду...

— Ах он невежа!..

— Разумеется, я вспыхнул, закидал его французскими фразами...

— И он не догадался, что ты русский?

— А почему бы он догадался?

— Да помилуй! Не может же быть, чтоб ты так хорошо говорил по-французски, как настоящий француз?

— Не может быть? Да знаете ли, сударь, как я был воспитан в доме своей тетушки? Знаете ли, кто с пятилетнего возраста был моим гувернером? Известна ли вам знаменитая фамилия аббата Григри, который плохо знал правописание, но зато говорил самым чистым парижским языком? Знаете ли, что я на десятом году не умел еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербург дивился моему французскому выговору и все знакомые поздравляли тетушку с племянником, который как две капли воды походил на француза? Как теперь помню, добрая старушка всякий раз крестилась и говорила со слезами: «Слава богу! я знала наперед, что в Сашеньке будет путь!» Чему ж после этого удивляться, что меня приняли за француза?

— Хорошо, мой друг, согласен: по выговору не мож-

но было догадаться, что ты русский; но нельзя же, чтоб не было в твоей манере и ухватках...

— В моей манере? Постой, братец, я сейчас представлю тебе лихого французского кавалериста, который только что вырвался из Пале-Рояля. Посмотрим, заметишь ли во мне хоть что-нибудь русское?

Зарецкий развалился небрежно на седле, подбоченился и надел à la tapageur * свою французскую фуражку. В продолжение сих приготовлений к роле, которую он готовился играть, из-за куста выглянули две весьма некрасивые рожи: одна с рыжей бородою, а другая, по-видимому, обритая недели две тому назад и обезображенная огромным рубцом. Небольшой черный галстук, единственный остаток от прежнего наряда, доказывал, что это лицо принадлежало какому-нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замечая этой засады, продолжали ехать потихоньку.

— Ну что? — спросил Зарецкий, отпустив несколько парижских фраз,— заметен ли во мне русский, который прикидывается французом? Посмотри на эту небрежную посадку, на этот самодовольный вид — а? что, братец?.. Vive l'Empereur et la joie! Chantons! ** — Зарецкий пришпорил свою лошадь и, заставив ее сделать две или три лансады, запел:

Enfant chéri des dames,
J'etais en tout pays,
Très bien avec les femmes,
Et mal avec les maris! ***

Вдруг раздался выстрел, и человек десять вооруженных крестьян высыпало на дорогу. Прежде чем Зарецкий успел опомниться и рассмотреть, кто на них нападает, второй выстрел ранил лошадь, на которой ехал Рославлев; она закусила удила и понесла вдоль дороги. Зарецкий пустился вслед за ним; но в несколько минут потерял его совершенно из вида. Ослабевший от болезни Рославлев не мог долго управлять своей лошадью: выскакав на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной из них, ведущей в самую глу-

---

* набекрень *(фр.)*.

** Да здравствует император и веселье! Споем! *(фр.)*

*** Любимец женщин, во всех странах я был мил женам и в ссоре с мужьями! *(фр.)*

Французские куплеты, которые лет двадцать тому назад были в большой моде, по крайней мере у нас в Петербурге.

бину леса. Несколько раз принимался он снова ее удерживать, но все напрасно; наконец, проскакав еще версты две, она повалилась на землю. Рославлев, видя, что лошадь его издыхает, решился идти пешком по дороге, которая, по всем приметам, должна была скоро вывести его на жилое место.

Едва он успел сделать несколько шагов, как ему послышались в близком расстоянии смешанные голоса; сначала он не мог ничего разобрать и не знал, должен ли спрятаться или идти навстречу людям, которые, громко разговаривая меж собою, шли по одной с ним дороге. Вдруг ясно выговоренный немецкий *швернот* раздался от него в двух шагах, и кто-то повелительным голосом закричал: «Allons, sacristi! en avant!» * Рославлев кинулся в сторону, но было уже поздно: из-за кустов показалась целая толпа неприятельских мародеров.

— Гальт! **— закричал высокий баварский кирасир, прицелясь в него своим карабином.

Человек двадцать солдат разных полков и наций окружили Рославлева.

— Господа! чего вы от меня хотите? — сказал Рославлев по-французски,— я бедный прохожий...

— Бедный? — заревел на дурном французском языке баварец,— а вот мы тотчас это увидим.

— Вы все бедны! — запищал итальянский вольтижер ***, схватив за ворот Рославлева.— Знаем мы вас, господа русские — malledetto! ****

— Тише, товарищи! — сказал повелительным голосом французский гренадер,— не обижайте его: он говорит по-французски.

— Так что ж? — возразил другой французский полупьяный солдат в уланском мундире, сверх которого была надета изорванная фризовая шинель.— Может быть, это негодяй эмигрант.

— В самом деле? — перервал важным голосом гренадер.— Прочь все! Посторонитесь! Я допрошу его.

— Per dio sacrato! ***** Что это? — вскричал итальянец,— на этом еретике крест!

— Так он не француз? — сказал с презрением солдат в фризовой шинели.

---

* Ну же, черт возьми! вперед! *(фр.)*

** Стой! (от *нем.* halt).

*** егерь, стрелок. *(Примеч. автора.)*

**** проклятье! *(ит.)*

***** Клянусь богом! *(ит.)*

— Да еще и золотой! — продолжал итальянец, сорвав с шеи Рославлева крест, повешенный на тонком шнурке.

— Оставишь ли ты его в покое? Sacré italien! * — вскричал гренадер, оттолкнув прочь итальянца.— Не бойтесь ничего и отвечайте на мои вопросы: кто вы?

— Московский мещанин.

— Вы русский?

— Да!

— Отчего вы говорите по-французски?

— Я учился.

— Хорошо! это доказывает, что вы уважаете нашу великую нацию... Тише, господа! прошу его не трогать! Не можете ли вы нам сказать, есть ли вооруженные люди в ближайшей деревне?

— Не знаю.

— Не знаешь? Доннер-веттер! — заревел баварец.— Как тебе не знать? Говори!

— Я шел все лесом и ни в одной деревне не был.

— Он лжет! — закричал итальянец.— Прикладом его, corpo de dio! ** так он заговорит.

— Тише, господа! — перервал гренадер.— Этот варвар уважает нашу нацию, и я никому не дам его обидеть.

— В самом деле? — сказал баварец.— А если я хочу его обижать?

— Не советую.

— Право? Да что ж ты этак поговариваешь?.. Уж не думаешь ли ты, что баварский кирасир не стоит французского гренадера?

— Как? черт возьми! Ты смеешь равняться с французским солдатом?.. Ce misérable allemand! *** Да знаешь ли ты?..

— Я знаю, что должен повиноваться моему капитану, но если всякий французский солдат...

— Да знаешь ли ты, животное, что такое французский гренадер? Знаешь ли ты, что между тобой и твоим капитаном более расстояния, чем между мной и баварским королем?

— Что, что?

— Да! такой болван, как ты, никогда не будет капитаном; а каждый французский гренадер может быть вашим государем.

---

* Чертов итальянец! *(ит.)*

** клянусь телом господним! *(ит.)*

*** Этот презренный немец! *(фр.)*.

— Хоц таузент!..* Да это как?

— А вот как: мой родной брат из сержантов в одну кампанию сделался капитаном — правда, он отнял два знамя и три пушки у неприятеля; но разве я не могу взять дюжину знамен и отбить целую батарею: следовательно, буду по крайней мере полковником, а там генералом, а там маршалом, а там — при первом производстве — и в короли; а если на ту пору вакансия случится у вас...

— Правда, правда — il a raison! ** — закричали все французские солдаты.

— Ну, немецкая харя! — продолжал гренадер,— понял ли ты теперь, что значит французский солдат?

Баварец, закиданный словами и совершенно сбитый с толку, не отвечал ни слова.

— Господа! — сказал гренадер,— не надобно терять времени — до Москвы еще далеко; ступайте вперед, а мне нужно кой о чем расспросить по секрету этого русского. Allons, morbleu avancez donc! ***

Вся толпа двинулась вперед по дороге, а гренадер, подойдя к Рославлеву, сказал вполголоса:

— Не бойтесь!.. Француз всегда великодушен... но вы знаете права войны... Есть ли у вас деньги?

— Я охотно отдам все, что у меня есть.

— Не беспокойтесь! — продолжал гренадер, обшаривая кругом Рославлева,— я возьму сам... Книжник!.. ну, так и есть, ассигнации! Терпеть не могу этих клочков бумаги: они имеют только цену у вас, а мы берем здесь все даром... Ага! кошелек!.. серебро... прекрасно!.. золото!! C'est charmant! Прощайте!

— Лавалёр!.. Ну что ж ты? — сказал французский улан, идя навстречу к гренадеру.— Ты один знаешь здешние места — куда нам идти?

— Все прямо.

— Да там две дороги.

— Не может быть.

— Когда я тебе говорю, что две...

— Да это оттого, что у тебя двоится в глазах.

— Неправда. Вот, например, я вижу, что на этом русском только одна, а не две шинели, и для того не возьму ее, а поменяюсь. Мой плащ вовсе не греет... Эге! да это, кажется, шуба?.. Скидай ее, товарищ!

---

* Проклятье!.. *(нем.)*

** он прав! *(фр.)*

*** Вперед, черт возьми, двигайтесь! *(фр.)*

Рославлев повиновался; улан сбросил с себя фризовую шинель и надел его сибирку.

— Однако ж русские не вовсе глупы,— сказал он, уходя вместе с гренадером,— и если они сами изобрели эти шубы, то, черт возьми! эта выдумка недурная!

Когда Рославлев потерял из вида всю толпу мародеров и стал надевать оставленную французом шинель, то заметил, что в боковом ее кармане лежало что-то довольно тяжелое; но он не успел удовлетворить своему любопытству и посмотреть, в чем состояла эта неожиданная находка: в близком от него расстоянии раздался дикий крик, вслед за ним загремели частые ружейные выстрелы, и через несколько минут послышался шум от бегущих по дороге людей.

Рославлеву не трудно было отгадать, что французские мародеры повстречались с толпою вооруженных крестьян, и в то самое время, как он колебался, не зная, что ему делать: идти ли вперед или дожидаться, чем кончится эта встреча,— человек пять французских солдат, преследуемых крестьянами, пробежали мимо его и рассыпались по лесу.

— Вот еще один! — вскричал молодой парень, указывая на Рославлева.

— Пришиби его! — заревел высокой мужик с рыжей бородою, и вмиг целая толпа вооруженных косами, ружьями и топорами крестьян окружила Рославлева.

ГЛАВА VII

Посреди большого села, на обширном лугу, или площади, на которой разгуливали овцы и резвились ребятишки, стояла ветхая деревянная церковь с высокой колокольнею. У дверей ее, на одной из ступеней поросшей травою лестницы, сидел старик лет восьмидесяти, в зеленом сюртуке с красным воротником, обшитым позументом; с полдюжины медалей, различных форм и величины, покрывали грудь его. Он разговаривал с молодым человеком, который стоял перед ним и по наряду своему, казалось, принадлежал к духовному званию.

— Нет, Александр Дмитрич! — говорил старик, покачивая головою,— рано ли, поздно ли, а несдобровать нашему селу; чай, злодеи-то больно на нас зубы грызут.

— Оно и есть за что! — сказал молодой человек,— ведь мы у них как бельмо на глазу. Да бог милостив!

Кой-как до сих пор с ними справлялись. Fortes fortuna abjuvat, то есть: смелым бог владеет, Кондратий Пахомыч!

— Конечно, батюшка, за правое дело бог заступа; а все-таки как проведают в Москве, что в нашем селе легло сот пять, шесть французов, да пришлют сюда полка два...

— Так что ж? Будем драться.

— Вот то-то и горе! Вы станете драться, а я что буду делать? Протягивай шею, как баран.

— Эх, Кондратий Пахомыч! Да на людях и смерть красна!

— Не о смерти речь, батюшка! Когда вы, народ молодой, себя не жалеете, так мне ли, старику, торговаться; да каково подумать, что эти злодеи наругаются над моей седой головою? Пожалуй, на смех живого оставят. Эх, старость, старость! Как бы прежние годы, так я бы трех поджарых французов на один штык посадил. Небось турки их дюжее, да и тех, бывало, как примусь нанизывать, так господи боже мой! считать не поспевают. Вот как мы с батюшкой, графом Суворовым, штурмовали Измаил... Тогда был нашим капитаном его благородие Сергей Дмитрич, царство ему небесное! Отец, а не командир! И что за молодец!.. как теперь гляжу — мигнуть не успели, а уж наш сокол на стене, вся рота за ним — ура!..

— Ты уж мне это рассказывал, Кондратий Пахомыч!

— Вот, батюшка, тогда дело другое: и подраться-то было куражнее! Знал, что живой в руки не дамся; а теперь что я?.. малый ребенок одолеет. Пробовал вчера стрелять из ружья — куда те! Так в руках ходуном и ходит! Метил в забор, а подстрелил батькину корову. Да что отец Егор, вернулся, что ль?

— Нет еще. Я слышал, будто бы его французы в полон захватили.

— Ах они разбойники! Уж и попов стали хватать! А того не подумают, басурманы, что этак наш брат старик и без исповеди умрет.

— Видно, узнали, что он из нашего села. Ведь французы-то называют нас бунтовщиками.

— Бунтовщиками? Ах они проклятые! да как бы они смели это сказать? Разве мы бунтуем против нашего государя? Разве мы их гладим по головке?

— В том-то и дело, что не гладим. Они говорят: Tui,

quid nihil refet, ne cures, то есть: не мешайся не в свое дело; а мы толкуем: cuneus cuneum trudit, сиречь — клин клином выбивай.

— Эх, батюшка! да перестанешь ли ты говорить не по-русскому?

— Привык, Пахомыч! У нас на Перерве без латинской пословицы ступить нельзя.

— Да что вы в Перервинском монастыре все латыши, что ль, а не русские? Знаешь ли, как это не по нутру нашим мужичкам? Что, дискать, за притча такая? Кажись, церковник-то, что к нам пристал, детина бравый, а все по-французскому говорит.

— По-французскому! Невежды!..

— Александр Дмитрич! — раздался голос с колокольни,— никак, наши идут.

— Наши ли, Андрюша? — сказал семинарист, подняв кверху голову.— Посмотри-ка хорошенько!

— Точно наши. Вот впереди Ерема косой да солдат Потапыч; они ведут какого-то чужого: никак, француза изловили.

— Навряд француза,— сказал, покачав головой, старый унтер-офицер.— Они бы уж его дорогою раз десять уходили; а не захватили ли они, как ономнясь бронницкие молодцы, какого-нибудь изменника или шпиона?

— Что ты, Пахомыч! Боже сохрани! Будет с нас и того, что один русский осрамился и служил нашим злодеям.

— Эх, батюшка! в семье не без урода.

— Вот уж наши ребята из-за рощи показались. Пойдем, Кондратий Пахомыч, в мирскую избу. Если они в самом деле захватили какого-нибудь подозрительного человека, так надобно его порядком допросить, а то, пожалуй, у наших молодцов и правый будет виноват: auri est bonus... *

— Да полно тебе язык-то коверкать!..— перервал с досадою старик.— Что за латыш, в самом деле? Смотри, Александр Дмитрич, несдобровать тебе, если ты заговоришь на мирской сходке этим чухонским наречием.

— Чухонским! — повторил сквозь зубы семинарист.— Чухонским!.. Ignarus, barbarus!.. **

— Полно бормотать-то: ведь я дело говорю. Пойдем!

---

* по золоту хорош... *(лат.)*

** Невежда, варвар!.. *(лат.)*

А ты, Андрюша,— продолжал инвалид, обращаясь к молодому парню, который стоял на колокольне,— лишь только завидишь супостатов, тотчас и давай знать. Пойдем, Александр Дмитрич!

Мирская изба, построенная на том же лугу, или площади, против самой церкви, отличалась от прочего жилья только тем, что не имела двора и была несколько просторнее других изб. Когда инвалид и семинарист вошли в эту управу сельского благочиния, то нашли уже в ней человек пять стариков и сотника. Сержант и наш ученый латинист, поклонясь присутствующим, заняли передний угол. Через несколько минут вошли в избу отставной солдат с ружьем, а за ним широкоплечий крестьянин с рыжей бородою, вооруженный также ружьем и большим поварским ножом, заткнутым за пояс. В сенях и вокруг избы столпилось человек двести крестьян, по большей части с ружьями, отбитыми у французских солдат.

— Ну что, братцы? — спросил сотник,— захватили ли вы в селе Богородском французов?

— Нет-ста, Никита Пахомыч! — отвечал рыжий мужик.— Ушли, пострелы! А бают, они с утра до самых полуден уж буянили, буянили на барском дворе. Приказчика в гроб заколотили. Слышь ты, давай им все калачей, а на наш хлеб так и плюют.

— Ах они безбожники! — вскричал сотник,— плевать на дар божий! Эка нехристь проклятая!

— Вишь, какие прихотники! — сказал один осанистый крестьянин в синем кафтане,— трескали б, разбойники, то, что дают. Ведь матушка-рожь кормит всех дураков, а пшеничка по выбору.

— Народ-то в Богородском такой несмышленый! — примолвил рыжий мужик.— Гонца к нам послали, а сами разбежались по лесу. Им бы принять злодеев-то с хлебом и с солью, да пивца, да винца, да того, да другого — убаюкали бы их, голубчиков, а мы бы как тут! Нагрянули врасплох да и катай их чем ни попало.

— Как мы шли назад,— сказал отставной солдат,— так наткнулись в лесу на французов, на тех ли самых, на других ли — лукавый их знает!

— Ну что, ребятушки? — вскричал сержант,— расчесали, что ль, их?

— Как пить дали, Кондратий Пахомыч!

— Неужли-то и отпору вам не было?

— Как не быть! Мы, знаешь, сначала из-за кустов

как шарахнули! Вот они приостановились, да и ну отстреливаться; а пуще какой-то в мохнатой шапке, командир, что ль, их, так и загорланил: алон, камрат! Да другие-то прочие не так чтоб очень: все какая-то вольница; стрельнули раза три, да и врассыпную. Не знаю, сколько их ушло, а кучка порядочная в лесу осталась.

— Что за притча такая? — сказал сотник,— откуда берутся эти французы? Бьем, бьем — а все их много!

— Видно, сват Пахомыч,— перервал крестьянин в синем кафтане,— они как осенние мухи. Да вот погоди! как придет на них Егоре́й с гвоздем да Никола с мостом, так все передохнут.

— Мы, Пахомыч,— сказал рыжий мужик,— захватили одного живьем. Кто его знает? баит по-нашему и стоит в том, что он православный. Он наговорил нам с три короба: вишь, ушел из Москвы, и русский-то он офицер, и вовсе не якшается с нашими злодеями, и то и се, и дьявол его знает! Да все лжет, проклятый! не верьте; он притоманный француз.

— А почему ж ты это думаешь? — спросил семинарист.— Ну, если в самом деле говорит правду?

— Правду? Так коего ж черта ему было таскаться вместе с французами!

— Но разве он не мог с ними повстречаться так же, как и вы?

— А зачем же он,— перервал солдат,— вот этак с час назад ехал верхом вместе с французским офицером? Я и лошадь-то его подстрелил.

— Как с французским офицером!

— Да так же!

— Но почему ты знаешь, что этот офицер французский?

— Почему знаю? Вот еще что! Нет, господин церковник! мы получше твоего знаем французские-то мундиры: под Устерлицем я на них насмотрелся. Да и станет ли русский офицер петь французские песни? А он так горло и драл.

— А тот, что мы захватили, ему подтягивал,— примолвил рыжий мужик,— я сам слышал.

— Я хоть и не слыхал,— перервал солдат,— да видел, что они ехали дружно, рядышком, словно братья родные.

— Так что ж и калякать? — вскричал сотник.— Вестимо, он француз: не так ли, православные?

— Так, Никита Пахомыч! Так! — повторили все старики.

— А если француз,— примолвил один лысый старик,— на осину его!

— Как бы не так! — перервал сотник,— еще веревку припасай. В колодезь к товарищам, так и концы в воду.

— Ей, не торопись, ребята! — сказал семинарист.— Melior est consulta...*

— Что ты, сумасшедший, перестань! — шепнул сержант, дернув за рукав своего соседа.— Православные! — продолжал он,— послушайтесь меня, старика: чтоб не было оглядок, так не лучше ли его хорошенько допросить?

— Да, скажет он тебе правду, дожидайся! — перервал лысый старик.

— Погодите, братцы! — заговорил крестьянин в синем кафтане,— коли этот полоненник доподлинно не русский, так мы такую найдем улику, что ему и пикнуть неча будет. Не велика фигура, что он баит по-нашему: ведь французы на все смышлены, только бога-то не знают. Помните ли, ребята, ономнясь, как мы их сотни полторы в одно утро уходили, был ли хоть на одном из этих басурманов крест господень?

— Ни на одном не было, Терентий Иваныч! — отвечал сотник,— я сам видел.

— Так и на этом не будет, коли он француз; а если православный, так носит крест — не правда ли?

— Правда, Терентий Иваныч, правда! — повторили все присутствующие.

— Так давайте же его сюда. Посмотрим, есть ли у него на шее-то отцовское благословение?

Два крестьянина, вооруженные топорами, ввели Рославлева в избу.

— Ваня! — сказал Терентий одному из них,— расстегни-ка ему ворот у рубахи — вот так!

— Что вы делаете, ребята? — перервал Рославлев.— Я точно русский!

— Ладно, брат! увидим-ста, русский ли ты. Ну что, Ваня, есть ли на нем крест? — спросил сотник.

— Нет, Пахомыч! ни креста, ни образа!

— Видите, православные! — сказал рыжий Ерема.— Чего же вам еще?

— В колодезь его! — завопили почти все крестьяне.

---

* Лучше посоветоваться... *(лат.)*

— Послушайте, братцы! — вскричал Рославлев,— видит бог, на мне был крест, да меня ограбили французы.

— Что с ним растабарывать! — подхватил сотник.— Тащите его! в колодезь!

— Да что вам дался колодезь? — перервал Ерема.— И так все колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня, что ты смотришь басурману-то в зубы? Обухом его!

— И то правда! — закричали другие мужики.— Пришиби его!

Один из крестьян, которые караулили Рославлева, вынул из-за пояса свой топор.

— Постойте, детушки! — перервал сержант.— Эк у вас руки-то расходились! Убить недолго. Ну, если его в самом деле ограбили французы?..

— И он действительно русский офицер? — примолвил семинарист.

— А это что? — вскричал Ерема, вынимая из бокового кармана Рославлевой шинели кошелек с деньгами.— Что, брат? видно, они тебя грабили, да не дограбили? Смотрите, православные! И деньги-то не наши.

— Эта шинель не моя,— сказал Рославлев.— Один из французов поменялся со мной насильно.

— А деньги-то дал в придачу, что ль? — закричал Ерема.— Ах ты, проклятый басурман! Что мы тебе, олухи достались? Да что с тобой калякать? Ваня! хвати его по маковке!.. Что ж ты?.. Полно, брат, не переминайся! а не то я сам...— примолвил Ерема, вынимая из-за пояса свой широкий нож.

— Погоди, кум, не торопись! — сказал Иван.— Послушай-ка, молодец: ты баишь, что с тебя сняли крест французы. Ну! а какой он был? деревянный или серебряный?

— Нет, золотой! — отвечал Рославлев.

— Ладно. А на каком он висел гайтане — на черном или красном?

— Нет, на зеленом шелковом снурке.

— Что, ребята, ведь он баит правду: вот и крест; я вынул его из кармана у одного убитого француза.

— Да поверьте мне, братцы! — сказал Рославлев,— я вас не обманываю: я точно русский офицер.

— И впрямь, православные! — примолвил Терентий,— уж не русский ли он?

— Точно русский! — подхватил семинарист.

— А если русский,— возразил отставной солдат,— так он изменник!

— Изменник! — повторил с негодованием Рославлев.

— Вестимо, изменник! — закричал Ерема.— Ради чего ты ехал с французским офицером — а?

— Мой товарищ также русский офицер, а нарядился французом для того, чтоб выручить меня из Москвы.

— Эк с чем подъехал! На вас пошлюсь, православные, ну станет ли русский офицер петь эти басурманские песни?

— Вестимо, не станет! — закричали крестьяне.

— Клянусь вам богом, ребята! — продолжал Рославлев,— я и мой товарищ — мы оба русские. Он гусарский ротмистр Зарецкий, а я гвардии поручик Рославлев.

— Рославлев! — повторил с необычайною живостию сержант.— А как звали вашего батюшку?

— Сергеем Дмитричем.

— Не припомните ли, сударь! где он изволил служить капитаном?

— Он служил капитаном при Суворове, в Фанагорийском полку.

— Ну, так и есть! — воскликнул с радостию сержант, вскочив со скамьи.— Ваше благородие! ведь батюшка ваш был моим командиром, и мы вместе с ним штурмовали Измаил.

— Слышите ль, братцы! — сказал семинарист.

— Слышим-ста! — отвечал Ерема,— да нам-то что до этого?

— Как что? — перервал сержант,— да разве сын моего командира может быть изменником? Ну, статочное ли это дело? Не правда ли, детушки?

Все крестьяне встали с своих мест, поглядывали друг на друга; один почесывал голову, другой пожимался, но никто не отвечал ни слова.

— Что это, братцы? — продолжал сержант,— неужели-то вы и мне, старику, верить не хотите?

— Верить-та мы тебе верим,— отвечал Ерема,— да ведь не все сыновья в отцов родятся, Пахомыч!

— Всяко бывает, конечно,— примолвил Терентий,— да ведь недаром же и пословица: недалеко яблочко от яблони падает. Ну, как вы думаете, православные?

— Как ты, Терентий Иваныч? — отвечали сотник и старики.

— А по мне, вот как: уж если Кондратий Пахомыч

за него порукою, так нам и баить нечего. Поклон его благородию, да милости просим в передний угол! Так ли, православные?

— Ну, коли так, так так! — повторили в один голос крестьяне.— Милости просим, батюшка!

— Ваня! — сказал Терентий,— сбегай ко мне да принеси-ка жбан браги, каравай хлеба и спроси у Андревны пирог с кашею: чай, его милость проголодаться изволил.

— Забеги и к моей старухе,— примолвил сотник,— да возьми у нее штоф ерофеичу.

— Благодарю вас, добрые люди! — сказал Рославлев,— я хоть и не обедал, а мне что-то есть не хочется.

— Чу!..— вскричал сотник,— что это?

— Французы! Французы! — загремели сотни голосов на улице. Все бросились опрометью из избы, и в одну минуту густая толпа окружила колокольню.

— Эй, Андрюша! где французы? — спросил сотник.

— Вон там, у дальней засеки,— отвечал мальчик.

— Много ли их?

— Много, Пахомыч! и конных и пеших видимо-невидимо.

— Ну, ребята! — сказал сержант,— смотрите, стоять грудью за нашу матушку святую Русь и веру православную.

— Стоять-то мы ради,— перервал сотник,— да слышишь, Кондратий Пахомыч,— их идет несметная сила?

— Так что ж?

— Не одолеешь, кормилец! много ли нас?

— Да и французов-то, верно, не больше,— сказал Рославлев,— они растянулись по дороге, так издали и кажется, что их много.

— Ох, батюшка! — подхватил Терентий,— хитры они, злодеи! не пошлют мало. Ведь они, басурманы, уж давным-давно до нас добираются.

— Ну, православные! — сказал Пахомыч,— говорите, что делать?

Ни один голос не отозвался на вопрос сотника. Все крестьяне поглядывали молча друг на друга, и на многих лицах ясно изображались недоумение и робость...

— Эх, худо дело! — шепнул сержант.— Ваше благородие! — продолжал он, обращаясь к Рославлеву,— не принять ли вам команды? Вы человек военный, так авось это наших ребят покуражит. Эй, братцы, сюда! слушайте его благородия!

— Как так? Что такое? Да разве он не француз? — заговорили крестьяне.

— Нет, детушки! Его благородие — русский офицер, сын моего бывшего капитана.

— Ой ли? Вот те раз! Слышите, ребята!.. Вот что!..— загремели восклицания из удивленной толпы.

— Друзья! — сказал Рославлев,— чего хотите вы? Покориться ли злодеям нашим или биться с ними до последней капли крови?.. Ну, что ж вы молчите?

— Да вот что,— сказал один крестьянин,— Андрюха-то говорит, что их больно много.

— Так что ж, ребята? — подхватил семинарист,— хоть покоримся, хоть нет, а все нам от них милости никакой не будет: мало ли мы их передушили!

— Вестимо,— сказал отставной солдат,— мы им пардону не давали, так и они нам не дадут.

— А если б и дали,— возразил Рославлев,— так не грешно ли вам будет выдать руками жен и детей ваших? Эх, братцы! уж если вы начали служить верой и правдой царю православному, так и дослуживайте! Что нам считать, много ли их? Наше дело правое — с нами бог!

— А с ними черт! — заревел Ерема.— Что, в самом деле, драться так драться.

— Так за мной, православные! — воскликнул отставной солдат.— Ура! за батюшку царя и святую Русь!

— Ура! — подхватила вся толпа.

— Весь в покойника! — шептал потихоньку сержант, глядя на Рославлева,— как две капли воды!

— Теперь слушайте, ребята! — продолжал Рославлев.— Ты, я вижу, господин церковник, молодец! Возьми-ка с собой человек пятьдесят с ружьями да засядь вон там в кустах, за болотом, около дороги, и лишь только неприятель вас минует...

— Так мы вдогонку и откроем по нем огонь? Понимаю, господин офицер. Это вроде тех засад, о коих говорит Цезарь в комментариях своих de bello Gallico...

— Да полно, Александр Дмитрич! — закричал сержант.— Эк тебе неймется!

— Ты, служивый, и ты, молодец,— продолжал Рославлев, обращаясь к отставному солдату и Ереме,— возьмите с собой человек сто также с ружьями, ступайте к речке, разломайте мост, и когда французы станут переправляться вброд...

— То мы из-за деревьев пустим по них такую

дробь,— перервал солдат,— что им и небо с овчинку покажется.

— А мы с тобой, сослуживец моего батюшки,— примолвил Рославлев, взяв за руку сержанта,— с остальными встретим неприятеля у самой деревни, и если я отступлю хоть на шаг, так назови мне по имени прежнего твоего командира, и ты увидишь — сын ли я его! Ну, ребята, с богом!

Крестьяне, зарядив свои ружья, отправились в назначенные для них места, и на лугу осталось не более осьмидесяти человек, вооруженных по большей части дубинами, топорами и рогатинами. К ним вскоре присоединилось сотни три женщин с ухватами и вилами. Ребятишки, старики, больные — одним словом, всякий, кто мог только двигаться и подымать руку, вооруженную чем ни попало, вышел на луг.

В глубокой тишине, изредка прерываемой рыданиями и молитвою, стояла вся толпа вокруг церкви.

— Что, Андрюша? — закричал наконец сержант,— близко ли наши злодеи?

— Близехонько, крестный! — отвечал с колокольни мальчик,— на самом выгоне — вон уж поравнялись с нашими, что засели на болоте; да они их не видят... Впереди едут конные... в железных шапках с хвостами... Крестный! крестный! да на них и одежа-та железная... так от солнышка и светит... Эва! сколько их!!! Вот пошли пешие!.. Эге! да народ-то все мелкий, крестный! Наши с ними справятся...

— То-то ребячья простота! — сказал сержант, покачивая головою.— Эх, дитятко! ведь они не в кулачки пришли драться; с пулей да штыком бороться не станешь; да бог милостив!

— Кондратий Пахомыч! — закричал мальчик,— они подъехали к речке... остановились... вот человек пять выехало вперед... стали в кучку... Эх, какой верзила! Ну, этот всех выше!.. а лошадь-то под ним так и пляшет!.. Видно, это их на́больший...

Вдруг вдали раздался залп из ружьев, и вслед за ним загремели частые выстрелы по сю сторону речки, на берегу которой стояли французы.

— Помоги, господи! — сказал сержант, перекрестясь.

— Крестный! — закричал мальчик,— наша взяла! Длинный-то упал с лошади; вон и другие стали падать... Да что это? Они не бегут!.. Вот и они принялись стрелять... Ну, все застлало дымом: ничего не видно.

Минут двадцать продолжалась жаркая перестрелка; потом выстрелы стали реже, раздался конский топот, и мальчик закричал:

— Крестный, крестный! никак, наших гонят назад.

— Вперед, друзья! — воскликнул Рославлев; но в ту же самую минуту показались на улице бегущие без порядка крестьяне, преследуемые французскими латниками.

— За мной, ребята, на паперть! — закричал Рославлев.

Сержант и человек тридцать крестьян, вооруженных ружьями, кинулись вслед за ним, а остальные рассыпались во все стороны. Неприятельская конница выскакала на площадь.

— Ну, братцы! — сказал Рославлев,— если злодеи нас одолеют, то, по крайней мере, не дадимся живые в руки. Стреляйте по конным, да метьте хорошенько!

В полминуты человек десять латников слетело с лошадей.

— Славно, детушки! — вскричал сержант,— знатно! вот так!.. Саржируй! то есть заряжай проворней, ребята. Ай да Герасим!.. другова-то еще!.. Смотри, вот этого-то, что юлит впереди!.. Свалил!.. Ну, молодец!.. Эх, брат! в фанагорийцы бы тебя!..

— Старик! — сказал вполголоса Рославлев,— думал ли ты на штурме Измаила, что умрешь подле сына твоего капитана?

— Авось не умрем,— отвечал сержант,— бог милостив, ваше благородие!

— Да, мой друг! Он точно милостив! Страдания наши не будут продолжительны. Смотри!

Старик устремил свой взор в ту сторону, в которую показывал Рославлев: густая колонна неприятельской пехоты приближалась скорым шагом к площади.

— Ребята! — вскричал сержант,— стыдно и грешно старому солдату умереть с пустыми руками: дайте и мне ружье!

Вдруг дикий, пронзительный крик пронесся от другого конца селения, и человек двести казаков, наклоня свои дротики, с визгом промчались мимо церкви. В одну минуту латники были смяты, пехота опрокинута, и в то же время русское «ура!» загремело в тылу французов; человек триста крестьян из соседних деревень и семинарист с своим отрядом ударили в расстроенного неприятеля. С четверть часа, окруженные со всех сто-

рон, французы упорно защищались; наконец более половины неприятельской пехоты и почти вся конница легли на месте, остальные положили оружие.

В продолжение этого короткого, но жаркого дела Рославлев заметил одного русского офицера, который, по-видимому, командовал всем отрядом; он летал и крутился, как вихрь, впереди своих наездников: лихой горский конь его перепрыгивал через кучи убитых, топтал в ногах французов и с быстротою молнии переносил его с одного места на другое. Когда сраженье кончилось и всех пленных окружили цепью казаков, едва успевающих отгонять крестьян, которые, как дикие звери, рыскали вокруг побежденных, начальник отряда, окруженный офицерами, подъехал к церкви. При первом взгляде на его вздернутый кверху нос, черные густые усы и живые, исполненные ума и веселости глаза Рославлев узнал в нем, несмотря на странный полуказачий и полукрестьянский наряд, старинного своего знакомца, который в мирное время — певец любви, вина и славы — обворожал друзей своей любезностию и добродушием; а в военное, как ангел-истребитель, являлся с своими крылатыми полками, как молния, губил и исчезал среди врагов, изумленных его отвагою; но и посреди беспрерывных тревог войны, подобно древнему скальду, он не оставлял своей златострунной цевницы:

...Славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла.

— Это ты,— раздался знакомый голос на церковной паперти.— Ты жив, мой друг? Слава богу! — Рославлев обернулся — перед ним стоял Зарецкий в том же французском мундире, но в русской кавалерийской фуражке и форменной серой шинели.

ГЛАВА VIII

— Нет, братец, решено! ни русские, ни французы, ни люди, ни судьба — ничто не может нас разлучить.— Так говорил Зарецкий, обнимая своего друга.— Думал ли я,— продолжал он,— что буду сегодня в Москве, перебранюсь с жандармским офицером, что по милости французского полковника выеду вместе с тобою из Москвы, что нас разлучат русские крестьяне, что они

подстрелят твою лошадь и выберут тебя потом в свои главнокомандующие?..

— Прибавь, мой друг! — перервал Рославлев, — что с час тому назад они хотели упрятать своего главнокомандующего в колодезь.

— За что?

— А за то, что приятель, с которым он ехал, поет хорошо французские куплеты.

— Неужели?

— Да, братец; они верить не хотели, что я русский.

— Ах они бородачи! Так поэтому, если б я им попался...

— То, верно, бы тебе пришлось хлебнуть колодезной водицы.

— Вот, черт возьми! а я терпеть не могу и нашей невской. Пойдем-ка, братец, выпьем лучше бутылку вина: у русских партизанов оно всегда водится.

— Ты как попал сюда, Александр? — спросил Рославлев, сходя вместе с ним с паперти.

— Нечаянным, но самым натуральным образом! Помнишь, когда ранили твою лошадь и ты помчался от меня как бешеный? В полминуты я потерял тебя из вида. Проплутав с полчаса в лесу, я повстречался с летучим отрядом нашего общего знакомого, который, вероятно, не ожидает увидеть тебя в этом наряде; впрочем, и то сказать, мы все трое в маскарадных платьях: хорош и он! Разумеется, передовые казаки сочли меня сначала за французского офицера. Несмотря на все уверения в противном, они обшарили меня кругом и принялись было раздевать; но, к счастию, прежде чем успели кончить мой туалет, подъехал их отрядный начальник: он узнал меня, велел отдать мне все, что у меня отняли, заменил мою синюю шинель и французскую фуражку вот этими, и хорошо сделал: в этом полурусском наряде я не рискую, чтоб какой-нибудь деревенский витязь застрелил меня из-за куста, как тетерева. Проезжая недалеко от здешнего селения, мы услышали перестрелку; не трудно было догадаться, что это шалят французские фуражиры. Мы пустились во всю рысь и, как видишь, подоспели в самую пору. Жаль мне их, сердечных! Дрались, дрались, а не поживятся ни одним теленком.

— Да неужели это в самом деле фуражиры? Их что-то очень много.

— Целый батальон пехоты и эскадрон конницы.

— Кто ж посылает фуражировать такие сильные отряды?

— Кто? да французы. Ты жил затворником у своего Сезёмова и ничего не знаешь: им скоро придется давать генеральные сражения для того только, чтоб отбить у нас кулей десять муки.

У мирской избы сидел на скамье начальник отряда и некоторые из его офицеров. Кругом толпился народ, а подле самой скамьи стояли сержант и семинарист. Узнав в бледном молодом человеке, который в изорванной фризовой шинели походил более на нищего, чем на русского офицера, старинного своего знакомца, начальник отряда обнял по-дружески Рославлева и, пожимая ему руку, не мог удержаться от невольного восклицания:

— Боже мой! как вы переменились!

— Он очень был болен,— сказал Зарецкий.

— Это заметно. А запретил ли вам лекарь пить вино?

— Моим лекарем была одна молодость,— сказал с улыбкой Рославлев.

— О! так с этим медиком можно ладить! Эй, Жигулин! бутылку вина! Не знаю, хорошо ли: я еще его не пробовал.

— Я вам порукою, что хорошо,— сказал один смугловатый и толстый офицер в черкесской бурке.— Его везли в Москву для Раппа; а говорят, этот лихой генерал также терпеть не может дурного вина, как не терпит трусов.

— Да где наш сорвиголова? — спросил начальник отряда.

— Старик есаул? Он отправляет пленных в главную квартиру.

— Скажи ему, брат, чтоб он поторапливался: мы здесь слишком близко от неприятеля.— Офицер в бурке встал и пошел к толпе пленных, которых обезоруживали и строили в колонну.

— Ну, православные! — продолжал начальник отряда, обращаясь к крестьянам,— исполать вам! Да вы все чудо-богатыри! Смотрите-ка, сколько передушили этих буянов! Славно, ребята, славно!.. и вперед стойте грудью за веру православную и царя-государя, так и он вас пожалует и господь бог помилует.

— Ради стараться, батюшка! — закричали крестьяне.— Готовы и напредки.

— Да где у вас этот молодец, который с своими ре-

бятами отрезал французов от речки? Кажется, он из церковников? Что он — дьячок, что ль?

— Студент Перервинской семинарии, ваше благородие! — сказал семинарист, сделав шаг вперед.

— А, старый знакомый! — вскричал Зарецкий.— Ну вот, бог привел нам опять встретиться. Помните ли, господин студент, как я догнал вас около Останкина?

— Как не помнить, господин офицер!

— Ну что? помогают ли вам комментарии Кесаря бить французов?

— Как бы вам сказать, сударь? Странное дело! Кажется, и Кесарь дрался с теми же французами, да теперешние-то вовсе на прежних не походят, и, признаюсь, я весьма начинаю подозревать, что образ войны совершенно переменился.

— Неужели?

— Да, сударь, да! Кесарь говорит одно, а делается совсем другое; разумеется, в таком случае experientia est optima magistra — сиречь: опыт — самый лучший наставник. Конечно, ум хорошо, а два лучше: plus vident oculi...

— Полно, Александр Дмитрич, не срамись! — шепнул сержант, толкнув локтем семинариста.

— Вот и вино! — перервал начальник отряда, откупоривая бутылку, которую вместе с серебряными стаканами подал ему казачий урядник.— Милости просим, господа, по чарке вина, за здоровье воина-семинариста.

— Bene tibi! Доктум семинаристум! *— закричал Зарецкий, выпивая свой стакан.

— Respondebo tibi propinanti! ** — возразил семинарист, протягивая руку.

— То есть,— подхватил начальник отряда,— и ваша ученость хочет выпить стаканчик? Милости просим! Ну, что? — продолжал он, обращаясь к подходящему офицеру,— наши пленные ушли?

— Отправились,— отвечал офицер.— К ним в проводники вызвался один рыжий мужик, который берется довести их до нашего войска такими тропинками, что они не только с французами, но и с русскими не повстречаются.

— Приказал ли ты построже, чтоб их дорогой казаки и крестьяне не обижали?

---

* Твое здоровье! Ученому семинаристу! *(лат.)*

** Отвечаю тебе тем же! *(лат.)*

— Приказывал. Да ведь на них не угодишь. Представьте себе: один из этих французов, кирасирский поручик, так и вопит, что у него отняли — и как вы думаете что? Деньги? — нет! Часы, вещи? — и то нет! Какие-то любовные записочки и волосы! Поверите ли, почти плачет! А кажется, славный офицер и лихо дрался.

— Как! — вскричал начальник отряда,— у этого молодца отняли письма и волосы той, которую он любит? Ах, черт возьми! да от этого и я бы взвыл! Бедняжка! А знаете ли, какой он должен быть славный малый? Он любит и дрался как лев! Знаете ли, товарищи, что если б этот кирасир не был нашим неприятелем, то я поменялся бы с ним крестами? Да, господа, когда в булатной груди молодца бьется сердце, способное любить, то он брат мой! И на что этим пострелам его любовная переписка? Эй, Жигулин! узнай сейчас, кто обобрал пленного кирасирского офицера? Деньги и вещи перед ними; но чтоб все его бумаги были отысканы.

— Не извольте беспокоиться,— сказал семинарист, подавая начальнику отряда вышитый по канве книжник,— я захватил его из предосторожности — diffidentia tempestiva...*

— Давай его сюда! — перервал начальник отряда.

— Извольте хорошенько рассмотреть, ваше высокоблагородие! Между бумагами могут быть важные документы.

— О, преважные! но только не для нас,— перервал начальник отряда, рассматривая книжник.— Adorable ami... cher Adolphe...** А вот и локон волос...

— Какая прелесть! — вскричал Зарецкий,— черные как смоль!

— Портрет!.. Да она в самом деле хороша. Бедняжка! ну как же ему не реветь? Жигулин! садись на коня; ты догонишь транспорт и отдашь кирасирскому пленному офицеру этот бумажник; а постой, я напишу к нему записку.

Начальник отряда вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и написал следующее:

— «Recevez, monsieur, les effets qui vous sont si chers. Puissent ils, en vous rappelant l'objet aimé, vous prouver que le courage et le malheur sont respectés en

---

* военная предосторожность... *(лат.)*
** обожаемый друг... дорогой Адольф... *(фр.)*

Russie comme ailleurs»*. Жигулин! отдай ему эту записку да смотри не потеряй бумажника... боже тебя сохрани! Отправляйся! Ну, господа! — продолжал начальник отряда, обращаясь к нашим приятелям, — что намерены вы теперь делать? Я, может быть, подвинусь с моим отрядом к Вязьме и стану кочевать в тылу у французов; а вы, вероятно, желаете пробраться к нашей армии?

— Да, — отвечал Зарецкий, — я давно уже тоскую о моем эскадроне, а по Владимире, верно, вздыхает наш дивизионный генерал.

— Так отправляйтесь вслед за пленными. Потрудитесь, Владимир Сергеевич, выбрать любую лошадь из отбитых у неприятеля, да и с богом! Не надобно терять времени; догоняйте скорее транспорт, над которым, Зарецкий, вы можете принять команду: я пошлю с вами казака.

Наши приятели, распростясь с начальником отряда, отправились в дорогу и, догнав в четверть часа пленных, были свидетелями восторгов кирасирского офицера. Покрывая поцелуями портрет своей любезной, он повторял: «Боже мой, боже мой! кто бы мог подумать, чтоб этот казак, этот варвар имел такую душу!.. О, этот русский достоин быть французом! Il est Français dans l'âme!» **

Остальную часть дня и всю ночь пленные, под прикрытием тридцати казаков и такого же числа вооруженных крестьян, шли почти не отдыхая. Перед рассветом Зарецкий сделал привал и послал в ближайшую деревню за хлебом; в полчаса крестьяне навезли всяких съестных припасов. Покормив и своих и неприятелей, Зарецкий двинулся вперед. Вскоре стали им попадаться наши разъезды, и часу в одиннадцатом утра они подошли наконец к аванпостам русского авангарда.

ГЛАВА IX

Узнав на аванпостах, что полк Зарецкого стоит биваками в первой линии авангарда, наши приятели пустились немедля его отыскивать. Трудно было описать

---

* Примите, милостивый государь, вещи, которые для вас столь дороги; пусть они, напоминая вам о предмете любви вашей, послужат доказательством, что храбрость и несчастие уважаются в России точно так же, как и в других странах *(фр.)*.

** он француз в душе! *(фр.)*

радость и удивление сослуживцев Зарецкого и Рославлева, когда они явились перед ними в своих маскарадных костюмах. Выходцев с того света не закидали бы таким множеством вопросов, как наших друзей, которые были в Москве и видели своими глазами все, что там делается. Офицеры на радостях затеяли пирушку: самовар закипел, пошла попойка, явились песельники и грянули хором авангардную песню, сочиненную одним из наших воинов-поэтов. Постукивая стаканами, офицеры повторяли с восторгом первый куплет ее:

Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть — чем в рабстве жить!

Едва оправившийся от болезни, Рославлев не мог подражать своим товарищам, и, в то время как они веселились и опоражнивали стаканы с пуншем, он подсел к двум заслуженным ротмистрам, которые также принимали не слишком деятельное участие в шумной радости других офицеров.

— Ну что вы, господа, поделываете с французами? — спросил Рославлев.

— Да покамест ничего! — отвечал один из них, закручивая свои густые с проседью усы.— Мы стоим друг против друга, на передовых цепях от скуки перестреливаются; иногда наши казаки выезжают погарцевать в чистом поле, рисуются, тратят даром заряды, поддразнивают французов: вот и все тут.

— А никто так их не дразнит, как наш удалой авангардный начальник! — подхватил другой ротмистр, помоложе первого.— Он каждый день, так — для моциону, прогуливается вдоль неприятельской цепи.

— Да ему там только и весело, где свистят пули,— перервал старый ротмистр.— Всякий раз его встречают и провожают с пальбою; а он все-таки целехонек. Ну, правду он говорит, что его и смерть боится.

— Против нас командует Мюрат,— сказал другой ротмистр,— также молодец! Не знаю, каково он представляет короля у себя во дворце, но в деле, а особливо в кавалерийской атаке, дьявол! — так все и ломит. Нечего сказать, боек и он, а все за нашим графом не угоняется. Я слышал, что на этих днях Мюрату вздумалось под выстрелами русских часовых кушать кофе. На ту пору граф выехал также за нашу цепь; пули посыпались

на него со всех сторон, но не помешали ему заметить удальство неаполитанского короля. «Бог мой! — вскричал он,— что это? Уж не хочет ли Мюрат удивить русских?.. Стол и прибор! я здесь обедаю». Не знаю, правда ли, только это очень на него походит.

— А можете ли вы мне сказать, господа,— спросил Рославлев,— где теперь полковник Сурский?

— Здесь,— отвечал старый ротмистр.

— Так он уж не служит при главном штабе?

— Я думаю, он скоро нигде служить не будет.

— Как?

— Да, вчера он приехал с приказаниями к нашему авангардному начальнику, обедал у него и потом отправился вместе с ним прогуливаться вдоль нашей цепи; какая-то шальная пуля попала ему в грудь, и если доктора говорят правду, так он не жилец.

— Ах, боже мой! — вскричал Рославлев,— сделайте милость, господа, скажите, где мне его отыскать?

— Он должен быть в обозе, вон за этим лесом,— сказал старый ротмистр.— Да постойте,— продолжал он,— вас в этом наряде примут за маркитанта: наденьте хоть мою шинель.

Рославлев накинул шинель ротмистра и отправился к тому месту, где был расположен обоз нашего авангарда. Повстречавшийся с ним полковой фельдшер указал ему на низкую избенку, которая, вероятно, уцелела оттого, что стояла в некотором расстоянии от большой дороги. Рославлев подошел к избе в ту самую минуту, как выходил из нее лекарь.

— Что полковник? — спросил он. Лекарь пожал плечами.

— Итак, нет никакой надежды?

— Никакой! Впрочем, он в полной памяти и всех узнает — пожалуйте!..

Рославлев вошел в избу. В переднем углу на лавке лежал раненый. Все признаки близкой смерти изображались на лице умирающего, но кроткий взор его был ясен и покоен.

— Это ты, Рославлев? — сказал он едва слышным голосом.— Как я рад, что могу еще хоть раз поговорить с тобою. Садись!

— Но я думаю, вам запрещено говорить? — сказал Рославлев.

— Да, было запрещено вчера, а сегодня я получил разрешение.

— Поэтому вы чувствуете себя лучше?

— О, гораздо! я через несколько часов умру.

— Нет! — вскричал Рославлев,— не может быть... я не хочу верить...

— Чтоб старый твой приятель мог умереть? — перервал с улыбкою Сурский.— В самом деле, это невероятно!

— Но вы так спокойны?..

— Да о чем же мне беспокоиться? Ты, верно, знаешь, кто сказал: «Приидите вси труждающие, и аз успокою вас». А я много трудился, мой друг! Долго был игралищем всех житейских непогод и, видит бог, устал. Всю жизнь боролся с страстями, редко оставался победителем, грешил, гневил бога; но всегда с детской любовию лобызал руку, меня наказующую,— так чего же мне бояться? Я иду к отцу моему!

Сурский замолчал. Несколько минут Рославлев смотрел, не говоря ни слова, на это кроткое, спокойное лицо умирающего христианина.

— Боже мой! — вскричал он наконец,— что сказал бы неверующий, если б он так же, как я, видел последние ваши минуты?

— Он сказал бы, мой друг,— перервал Сурский,— что я в сильном бреду; что легковерное малодушие свойственно детям и умирающим; что уверенность в лучшей жизни есть необходимое следствие недостатка просвещения; что я человек запоздалый, что я нейду вслед за моим веком. О мой друг! гордость и самонадеянность найдут всегда тысячи способов затмить истину. Нет, Рославлев! один бог может смягчить сердце неверующего. Я сам был молод, и часто сомнение, как лютый враг, терзало мою душу; рассудок обдавал ее холодом; я читал, искал везде истины, готов был ехать за нею на край света и нашел ее в самом себе! Да, мой друг! что значат все рассуждения, трактаты, опровержения, доводы, все эти блестки ума перед простым, безотчетным убеждением того, кто верует? Все, что непонятно для нашего земного рассудка,— так чисто, так ясно для души его! Она видит, осязает, верует, тогда как мы, с бедным умом нашим, бродим в потемках и, желая достигнуть света, час от часу становимся слепее...

Сурский остановился; силы его приметным образом ослабевали.

— Несчастные! — продолжал он после короткого молчания,— если б они знали, чего им стоит их утешен-

ное самолюбие? Кто укрепляет их в бедствии? Кого благодарят они в минуту радости? Бедные, жалкие сироты! они отреклись добровольно от отца своего, заключили жизнь в ее тесные, земные пределы. Ах, их сердца, иссушенные гордостию и неверием, не испытают никогда этой чистой, небесной любви, этого неизъяснимого спокойствия души... ты понимаешь меня, Рославлев!.. Бездушный противник веры, отрицающий все неземное, не может любить; кто любит, тот верует; а ты любил, мой друг!

Сурский остановился; дыхание его сделалось чаще, прерывистее; он взял за руку Рославлева.

— Да, Владимир Сергеевич,— сказал он,— я умираю спокойно; одна только мысль тревожит мою душу...— И светлый взор умирающего помрачился, а на бледном челе изобразились сердечная грусть и беспокойство.— Что станется с нашей милой родиной? — продолжал он.— Неужели господь нас не помилует? Неужели попустит он злодеям надругаться над всем, что для нас свято, и сгубит до конца землю русскую? Ах, мой друг! если б непреклонное правосудие было прибежищем нашим, то я потерял бы всю надежду. Не сами ли мы хотели быть рабами тех, коим поклонялись, как идолам? Насмехаясь над добродушием наших предков — которые при всем невежестве своем были люди,— не добивались ли мы чести называться обезьянами французов? Вот они, наши образцы и наставники! Вот эти французы, у которых мы до сих пор умели перенимать только то, что достойно порицания! Нам ли прибегать к правосудию небесному? Нет! одно милосердие божие может спасти нас. Ах, Рославлев! для чего я не умер годом прежде! Я не унес бы с собою в могилу ужасной мысли, что, может быть, русские будут рабами иноземцев, что кровь наших воинов будет литься не за отечество, что они станут служить не русскому царю! О, эта мысль отравляет последние мои минуты! Чувствую, мой друг, что я грешу пред господом; что слишком еще привязан к моему земному отечеству. Желал бы победить это чувство, но оно так сильно, так связано с моею жизнию... а я жив еще! Отечество!.. Россия!.. Пусть судит меня господь! но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским.

Двери отворились, и полковой священник вошел в избу.

— Теперь ступай, Владимир Сергеевич! — сказал

Сурский,— зайди ко мне опять часа через два; быть может, ты меня не застанешь, но я все-таки не прощаюсь с тобою. Я знаю твою душу, Рославлев: рано или поздно, а мы увидимся. Итак, до свиданья, мой друг!

Случалось ли вам провожать приятеля, который после долгого отсутствия возвращается наконец на свою родину? Вам грустно с ним расстаться; но если вы точно его любите, то поневоле улыбаетесь сквозь слезы, воображая, как весело будет ему обнять жену и детей, увидеть снова дом отцов своих и отдохнуть в нем от всех трудов утомительной и скучной дороги. Точно то же чувствовал Рославлев, прощаясь с своим другом. Какое-то грустное и вместе приятное чувство наполняло его душу; слезы градом катились по лицу его, но сердце было совершенно спокойно. Отойдя от избы, он пустился прямо полем к тому месту, где чернелись биваки передовой линии. Когда Рославлев стал подходить к балагану, в котором офицеры праздновали его возвращение, ему попался навстречу Зарецкий.

— Ага, беглец! — закричал он, увидя Рославлева,— разве этак порядочные люди делают? Мы пьем за твое здоровье, а ты дал тягу!

— Ты знаешь, мой друг, я много пить не люблю.

— А я и люблю, да не могу: тотчас голова закружится. Я вышел немного проветриться. Да, кстати! Граф сейчас поехал на передовую цепь; пойдем и мы туда.

— Пожалуй, пойдем.

— Правда, по нас будут стрелять, да, верно, не попадут.

— Не беда, если и попадут, мой друг.

— А! да ты опять захандрил! Пойдем скорей, Владимир: я заметил, что под пулями ты всегда становишься веселее.

Миновав биваки передовой линии, они подошли к нашей цепи. Впереди ее, на одном открытом и несколько возвышенном месте, стоял окруженный офицерами русский генерал небольшого роста, в звездах и в треугольной шляпе с высоким султаном. Казалось, он смотрел с большим вниманием на одного молодцеватого французского кавалериста, который, отделясь от неприятельской цепи, ехал прямо на нашу сторону впереди нескольких всадников, составляющих, по-видимому, его свиту.

— Как я рад,— сказал Рославлев, смотря на русско-

го генерала,— что увижу наконец вблизи нашего Баярда. Представь себе, мне до сих пор не удалось ни разу хорошенько его рассмотреть!

— Да, его надобно видеть во время дела,— перервал Зарецкий,— а если так, то он покажется тебе весьма обыкновенным человеком. Он не красавец, не молодец собою и даже неловок, а взгляни на него, когда он в самом пылу сражения летает соколом вдоль рядов своего бесстрашного авангарда, когда один взгляд его, одно слово воспламеняет души всех солдат. Ученик и сослуживец Суворова, он обладает, подобно ему, счастливым даром увлекать за собою сердца русских воинов: указывает им на батарею — и она взята; дарит их неприятельскими колоннами — и они истреблены. Но что это? никак, парламентер? Видишь этих французов? Они едут прямо на нас. Пойдем поближе.

Рославлев и Зарецкий смешались с толпою офицеров, которые окружали начальника авангарда. Меж тем французы медленно приближались к тому месту, где стоял русский генерал. Впереди ехал видный собою мужчина на сером красивом коне; черные, огненные глаза и густые бакенбарды придавали мужественный вид его прекрасной и открытой физиономии; но в то же время золотые серьги, распущенные по плечам локоны и вообще какая-то *не мужская* щеголеватость составляла самую чудную противуположность с остальною частию его воинственного наряда, и без того отменно странного. Он был в куртке готического покроя, с стоячим воротником, на котором блистало генеральское шитье; надетая немного набок польская шапка, украшенная пуком страусовых перьев; пунцовые гусарские чихчиры и богатый персидский кушак; желтые ботинки и осыпанная бриллиантами турецкая сабля; французское седло и вся остальная сбруя азиатская; вместо чепрака тигровая кожа, одним словом: весь наряд его и убор лошади составляли такое странное смешение азиатского с европейским, древнего с новейшим, мужского с женским, что Зарецкий не мог удержаться от невольного восклицания и сказал вслух:

— Кой черт! что это за герольда выслали к нам французы? Уж нет ли у них конных тамбурмажоров?

— Что вы? — шепнул один из адъютантов русского генерала,— это Мюрат.

— Как? Неаполитанский король?

— Да.

— Хорошо же ему так дурачиться; вздумал бы этак пошалить наш брат, простой офицер...

— Так его бы посадили в сумасшедший дом, разумеется! Но тише: он слезает с лошади; вот и граф к нему подошел... Подойдемте и мы поближе. Наш генерал не дипломат и любит вслух разговаривать с неприятелем.

Зарецкий и Рославлев подошли вместе с адъютантом к русскому генералу в то время, как он после некоторых приветствий спрашивал Мюрата о том, что доставило ему честь видеть у себя в гостях его королевское величество?

— Генерал! — сказал Мюрат,— известны ли вам поступки ваших казаков? Они стреляют по фуражирам, которых я посылаю в разные стороны; даже крестьяне ваши при их помощи убивают наших отдельных гусар.

— Я очень рад,— отвечал русский генерал,— что казаки в точности исполняют мои приказания; мне также весьма приятно слышать из уст вашего величества, что крестьяне наши показывают себя достойными имени русских.

— Но это совершенно противно принятым повсюду обыкновениям, и если это продолжится, то я буду вынужден посылать целые колонны для прикрытия моих фуражиров.

— Тем лучше, ваше величество. Офицеры мои жалуются, что уже три недели ничего не делают: они горят желанием брать пушки и знамена.

— Но к чему стараться раздражать друг против друга два народа, достойные во всех отношениях взаимного уважения?

— Я и офицеры мои всегда готовы оказывать вашему величеству всевозможные знаки почтения; но фуражиров ваших всегда будем брать в плен и всегда разбивать колонны, которые вы станете посылать для их прикрытия.

Мюрат нахмурился и, помолчав несколько времени, сказал с досадою:

— Генерал! неприятеля не бьют словами; взгляните на карту: вы увидите занятые нами у вас провинции и то, куда мы зашли.

— Карл Двенадцатый заходил еще далее,— отвечал спокойно русский генерал,— он был в Полтаве.

— Но мы всегда оставались победителями,— сказал с гордым взглядом Мюрат.

— Всегда? Русские сражались только при Бородине.

— Да, и после этого сражения мы взяли Москву.

— Извините, ваше величество! Москва была оставлена.

— Как бы то ни было, но мы владеем вашей древней столицею.

— Так, ваше величество! и эта мысль мучительна для всякого русского! Это величайшая жертва, принесенная нами для спасения отечества, и мы начинаем уже пользоваться выгодами, происходящими от этого пожертвования.

— Выгодами? Какими?

— Мне известно, что Наполеон посылал генерала Лористона к нашему главнокомандующему для переговоров о мире; я знаю, что ваши войска должны довольствоваться в течение двух и более суток тем, что едва достаточно для прокормления их в одни сутки...

— Эти известия совершенно ложны,— перервал Мюрат.

— Я знаю,— продолжал хладнокровно русский генерал,— что король Неаполитанский приехал ко мне просить пощады своим фуражирам и завести род переговоров, чтоб успокоить хотя несколько своих солдат.

— Извините! — перервал Мюрат, стараясь скрывать свою досаду и смущение,— я посетил вас совершенно случайно: мне хотелось только открыть вам происходящие у вас злоупотребления; неустройство большое несчастие для армии: оно ослабляет ее.

— Но в таком случае,— возразил с улыбкою русский генерал,— вашему величеству надлежало бы поощрять нас к этому. Прекрасное неустройство, которым мы истребляем французских фуражиров!

— Впрочем, генерал! вы ошибаетесь насчет нашего положения. Москва всем достаточно снабжена; мы ожидаем бесчисленных подкреплений, которые к нам идут.

— Но неужели, ваше величество, думаете, что мы далее от наших подкреплений, чем вы от своих?

Мюрат снова замолчал. Смущение его становилось час от часу заметнее; он перебирал концы своего богатого кушака, поглядывал с рассеянным видом на все стороны и решился наконец объявить, что приехал жаловаться на наших аванпостных начальников.

— Я отдаюсь на ваше правосудие, генерал! — сказал он,— ваши солдаты дважды стреляли по нашим парламентерам.

— Да мы и слышать о них не хотим,— отвечал русский генерал.— Мы желаем сражаться, а не переговоры вести. Итак, примите ваши меры...

— Как, сударь? — вскричал Мюрат,— поэтому и я здесь не в безопасности?

— Ваше величество на многое отважитесь, если в другой раз захотите сюда приехать; но сегодня я буду иметь честь сам проводить вас до ваших аванпостов. Гей, лошадь!

— Признаюсь, я никогда не слыхивал о таком образе войны! — сказал с досадою Мюрат.

— А я думаю, что слышали,— возразил русский генерал, садясь на лошадь.

— Но где же?

— В Испании.

— Ну,— сказал Рославлев, смотря вслед за уезжающим Мюратом,— напрасно же его величество изволил трудиться...

— Знаешь ли, что он мне теперь напомнил? — перервал Зарецкий.— Лафонтень рассказывает об одной бесхвостой лисице...

— А ведь это хорошая примета,— сказал Рославлев,— когда волки становятся лисицами?..

— Так, видно, догадались, что попали в западню,— примолвил Зарецкий.— Ну что, Владимир,— продолжал он,— не отправиться ли нам пообедать чем бог послал?

— Ступай, мой друг! а я зайду на минуту проведать Сурского.

Рославлев застал еще в живых своего умирающего друга; но он не мог уже говорить. Спокойно, с тихою улыбкою на устах закрыл он навек глаза свои. Последний вздох его был молитвою за милую родину!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

Мы не можем и не должны описывать всех подробностей Отечественной войны 1812 года. Роман не история. Но порядок нашего повествования требует, чтоб мы, хотя в коротких словах, рассказали, что делалось в России до того времени, когда нам можно будет вывести снова на сцену и заставить говорить действующие лица этой повести. Всем известно, как Наполеон оставил Москву; но не все еще уверены, что он поневоле

должен был отступить по Смоленской дороге. Что ж могло заставить Наполеона идти назад, через места, совершенно опустошенные войною, и, следовательно, уморить наверное голодной смертию свое войско? Что?.. Все, что вам угодно. Наполеон сделал это по упрямству, по незнанию, даже по глупости — только непременно по собственной своей воле: ибо, в противном случае, надобно сознаться, что русские били французов и что под Малым Ярославцем не мы, а они были разбиты; а как согласиться в этом, когда французские бюллетени говорят совершенно противное? Но если мы никогда не били неприятеля, то отчего же погибла вся армия Наполеона? И, боже мой!.. а мороз-то на что? Так говорит сам Наполеон, так говорят почти все французские писатели; а есть люди (мы не скажем, к какой они принадлежат нации), которые полагают, что французские писатели всегда говорят правду — даже и тогда, когда уверяют, что в России нет соловьев; но есть зато фрукт величиною с вишню, который называется арбузом; что русские происходят от татар, а венгерцы — от славян; что Кавказские горы отделяют Европейскую Россию от Азиатской; что у нас знатных людей обыкновенно венчают архиереи; что *ниема глебониш попоиско рюскоф* — самая употребительная фраза на чистом русском языке; что название славян происходит от французского слова esclaves * и что, наконец, в 1812 году французы били русских, когда шли вперед, били их же, когда бежали назад; били под Москвою, под Тарутиным, под Красным, под Малым Ярославцем, под Полоцком, под Борисовым и даже под Вильною, то есть тогда уже, когда некому нас было бить, если б мы и сами этого хотели. Итак, не вступая по сему предмету ни в какие споры с людьми, которые стоят в том,

Что всякой логики сильнее
Француза милого слова! —

мы скажем только, что неприятель оставил Москву 10 октября, прогостив в ней месяц и восемь дней. Наполеон, прощаясь навсегда с древней столицею России, велел подорвать Кремль. Это варварское, достойное средних времен приказание было выполнено. В военном отношении Московский Кремль нельзя назвать не только крепостию, но даже простым укрепленным ла-

* рабы.

герем; следовательно, разорение его не могло ни в каком случае быть полезным для французов; а разорять что бы то ни было, без всякой пользы и для себя и для других, свойственно только варварам и сумасшедшим. Мы представляем безусловным обожателям Наполеона оправдать чем-нибудь этот вандальский поступок; вероятно, они откроют какие-нибудь *гениальные* причины, побудившие императора французов к сему безумному и детскому мщению; и трудно ли этим господам доказать такую безделку, когда они математически доказывают, что Наполеон был не только величайшим военным гением, в чем никто с ними и не спорит, но что он в то же время мог служить образцом всех гражданских и семейственных добродетелей, то есть: что он был добр, справедлив и даже... чувствителен!!!

Сделав несколько неудачных попыток, чтобы прорваться в богатейшие провинции России, расстроенный, сбитый с толку знаменитым фланговым маршем нашего бессмертного князя Смоленского, Наполеон должен был поневоле отступить по той же самой дороге, по которой шел к Москве.

Мы не станем исчислять всех неизъяснимых бедствий, постигших французов во время сего гибельного отступления. И какое перо опишет это быстрое и вместе медленное истребление нескольких сот тысяч воинов, привыкших побеждать или умирать с оружием в руках на поле чести, но незнакомых еще с ужасами беспорядочного отступления? Какое описание может дать хотя слабое понятие о целых тысячах людей, полузамерзших, не имеющих человеческого образа, готовых пожирать друг друга? Нет! надобно было слышать эти дикие вопли, этот отвратительный, охриплый вой людей, умирающих от голода; надобно было видеть этот безумный, неподвижный взор какого-нибудь старого солдата, который, сидя на груде умерших товарищей, воображал, что он в Париже, и разговаривал вслух с детьми своими. Надобно было все это видеть и привыкнуть смотреть на это, чтоб постигнуть наконец, с каким отвращением слушает похвалы доброму сердцу и чувствительности императора французов тот, кто был свидетелем сих ужасных бедствий и знает адское восклицание Наполеона: *«Солдаты?.. и, полноте! поговоримте-ка лучше о лошадях!»* *

---

* Так отвечал Наполеон одному из генералов, который стал ему докладывать о бедственном положении его *солдат*. Может

Переправа через Березину довершила гибель неприятеля: сам Наполеон едва успел спастись, но зато последняя надежда французской армии — корпус Нея был совершенно разбит. После сражения под Борисовым отступление французов превратилось в настоящее бегство. Целые колонны, побросав оружие, спешили спасаться от холодной смерти и казаков куда ни попало. Наши войска почти без всякого сопротивления заняли Вильну, и вскоре потом исполнились слова русского государя: *ни одного вооруженного врага не осталось в пределах его царства.* Но он не положил меча, а поднял его снова для спасения народов всей Европы. Наполеон, без войска, один, пробираясь беглецом во Францию, все еще был владыкою всей Германии. Наши летучие отряды, преследуя остатки бегущего неприятеля, перешли за границу. Их присутствие оживотворило все сердца; храбрые пруссаки восстали первые, и когда спустя несколько месяцев надменный завоеватель, с местью в сердце, с угрозой на устах, предводительствуя новым войском, явился опять на берегах Эльбы, то тщетно уже искал рабов, покорных его воле: везде встречали его грудью свободные сыны Германии, их радостные восклицания и наши волжские песни гремели там, где некогда раздавались победные крики его войска и вопли угнетенных народов.

Генерал, при котором служил Рославлев, перейдя за границу, присоединился с своей дивизиею к войскам, назначенным для осады Данцига, а полк Зарецкого остался по-прежнему в авангарде русской большой армии. С большим горем простились наши друзья.

— Послушай, Владимир! — сказал Зарецкий, обнимая в последний раз Рославлева,— говорят, что в Данциге тысяч тридцать гарнизона, а что всего хуже — этим гарнизоном командует молодец Рапп, так вы не скоро добьетесь толку и простоите долго на одном месте. Я буду к тебе писать, а ты не беспокойся. По всему видно, что наша большая армия не будет отдыхать на лаврах, а отправится прямой дорогой... Ах, братец! то-то бы славно, визит за визит! Какое бы письмо я написал тебе из Парижа! Ну прощай, мой друг! да смотри не хандри; сделайся по-прежнему нашим братом весель-

быть, этот анекдот несправедлив; но, прочтя со вниманием всю политическую и военную жизнь Наполеона, как не скажешь si non é vero é ben trovato <если неверно, то хорошо придумано *(ит.)*>.

чаком, влюбись в какую-нибудь немецкую Шарлотту, так авось русская Полина выйдет у тебя из головы.

— Несчастная! — сказал Рославлев,— где она теперь?

— Где? Если осталась в Москве, то, вероятно, жива, если же, на беду, потащилась за своим мужем...

— О, без всякого сомнения! Ты не знаешь, к чему способна эта необыкновенная женщина: она скорей рассталась бы с своим мужем, если б он был счастлив. Всем пожертвовать тому, кого она любит, делить его страдания, умереть вместе с ним мучительной смертию, одним словом: все то, что для другой женщины было бы высочайшей степенью самоотвержения,— так обыкновенно, так легко для Полины! Если ей удастся облегчить хотя на минуту мучения своего друга, то она станет благословлять судьбу — благодарить бога за все свои страдания! Ах, мой друг! для чего не суждено ей было принадлежать мне?

— Полно, братец! перестань об этом думать. Конечно, жаль, что этот француз приглянулся ей больше тебя, да ведь этому помочь нельзя, так о чем же хлопотать? Прощай, Рославлев! Жди от меня писем; да, в самом деле, поторопись влюбиться в какую-нибудь немку. Говорят, они все пресантиментальные, и если у тебя не пройдет охота вздыхать, так, по крайней мере, будет кому поплакать вместе с тобою. Ну, до свиданья, Владимир!

Начиная снова нашу повесть, доведенную нами до перехода русских за границу, мы должны предуведомить читателей, что действие происходит уже в ноябре месяце 1813 года, под стенами Данцига, осажденного русским войском, в помощь которому прикомандировано было несколько батальонов прусского ландвера, или ополчения.

ГЛАВА II

Немцы называют Нерунгом узкую полосу земли, которая, идя от самого Данцига, вдается длинным мысом в залив Балтийского моря, известный в Германии под названием *Фриш-Гафа.* Этот клочок земли, окруженный с трех сторон морем и покрытый зеленеющими садами, посреди которых мелькают красивые деревенские усадьбы, походит с первого взгляда на узорчатую ленту, которая, как будто бы опоясывая весь залив и ста-

новясь час от часу бледнее, исчезает наконец из глаз, сливаясь вдали с туманным горизонтом, на краю которого белеются высокие колокольни прусского городка Пилау. Небольшой артиллерийский парк и отряд русского войска, состоящий из одной сильной пехотной роты, расположены были на этом мысе в деревеньке, окруженной со всех сторон садами. Находясь позади всех наших линий и верстах в пяти от траншей, коими обхвачены были все передовые укрепления неприятельские, сей резервный отряд смотрел за тем, чтоб деревенские жители не провозили морем в осажденный город съестных припасов, в которых гарнизон давно уже нуждался.

В просторном доме одного богатого ландсмана *, посреди светлой комнаты, украшенной необходимыми для каждого зажиточного крестьянина старинными стенными часами, широкою резною кроватью и огромным сундуком из орехового дерева, сидели за налощенным дубовым столом, составляющим также часть наследственной мебели, артиллерийский поручик Ленский, приехавший навестить его уланский ротмистр Сборский и старый наш знакомец, командир пехотной роты капитан Зарядьев. Перед ними в нескольких красивых фаянсовых блюдах поставлен был весьма опрятно и разнообразно приготовленный картофель. Огромная кружка с пивом и высокие стеклянные стаканы занимали остальную часть стола.

— Не угодно ли покушать? — сказал, улыбаясь, Сборский, подвигая к Ленскому новое блюдо, которое хозяйка дома с вежливою улыбкою поставила на стол.

— Тьфу, пропасть! — вскричал с досадою Ленский.— Вареный картофель, печеный картофель! жареный картофель!.. Да будет ли конец этому проклятому картофелю?

— А тебе бы хотелось так, как у нас в Петербурге, у Жискара, кусок хорошего бивстекса?.. Не правда ли? Котлету с трюфелями?.. Соте-де-желинот? **

— Эх, полно, братец! не дразни. Да неужели и сегодня не приедут с провиантом из Дершау? Вот уж третий день, как мы здесь на пище святого Антония.

— Так что ж? — сказал хладнокровно капитан Зарядьев, который, опорожнив глубокую тарелку с вареным

* Зажиточный крестьянин, имеющий свою землю.
** Рагу из рябчиков? *(фр.)*

картофелем, закурил спокойно свою корневую трубку.— Оно и кстати: о спажинках на святой Руси и волею постятся.

— О спажинках? Что за спажинки? — спросил Сборский.

Зарядьев перестал курить и, взглянув с удивлением на Сборского, повторил:

— Что за спажинки?.. Неужели ты не знаешь?.. Да бишь виноват!.. совсем забыл: ведь вы, кавалеристы, народ модный, воспитанный, шаркуны! Вот кабы я заговорил с тобой по-французски, так ты бы каждое слово понял... У нас на Руси зовут спажинками успенский пост.

— А все это проклятые французы! — перервал Ленский.— В последнюю вылазку кругом нас обобрали, разбойники! По их милости во всей нашей деревне не осталось двух куриц налицо.

— Да! был на их улице праздник,— примолвил Сборский,— побуянили порядком! Зато теперь притихли, голубчики: не смеют носа показать из крепости.

— Не смеют? а проходит ли хотя одна ночь, чтоб они не тревожили наши аванпосты?

— Да это все проказит... тот... как бишь его? ну вот тот... черт его побери...

— Шамбюр?

— Да, да! Шамбюр. Говорят, что он изо всего гарнизона выбрал себе сотню таких же сорванцов, как он сам, и назвал их la compagnie infernale...

— Как? — спросил Зарядьев.

— La compagnie infernale, то есть: адская рота.

— Ах они самохвалишки! Адская рота!.. Помнится, они называли гренадерские полки, которыми командовал Удинот, также адскою дивизиею; однако ж под Клястицами, а потом под Полоцком...

— Что? чай, дурно дрались? — спросил насмешливо Сборский.

— Дрались-то хорошо, а все-таки Полоцка не отстояли. Что они, запугать, что ль, нас хотят? Адская рота!..

— А нечего сказать,— перервал Сборский,— этот Шамбюр молодец! И черт его знает, как он всегда вывернется? Откуда ни возьмется с своей ротою, накутит, намутит, всех перетревожит, да и был таков!

— А кто такой этот Шамбюр? — спросил Ленский.

— Разумеется — французский офицер.

— Пехотинец?

— И! что ты? верно, кавалерист.

— А почему не пехотный? — спросил Зарядьев.

— Почему?.. почему?.. Во-первых, потому, что Рославлев, которого посылали из главной квартиры парламентером в Данциг, видел его в гусарском мундире...

— Так поэтому он и кавалерист? — возразил Зарядьев.— Да разве у этих французов есть какая-нибудь форма? Кто как хочет, так и одевайся. Насмотрелся я на эту вольницу: у одного на мундире шесть пуговиц, у другого восемь; у этого портупея по мундиру, у того под камзолом; ну вовсе на военных не походят. Поглядел бы я на их ученье — то-то, чай, умора! А уж как они ретировались из Москвы — господи боже мой!.. Кто в дамском салопе, кто в лисьей шубе, кто в стихаре — ну сущий маскарад!

— Хороши были и мы! — сказал Ленский.

— Конечно, и у нас единообразия не было, а все-таки, бывало, хоть в нагольном тулупе, а шарфом подвяжешься... Чу!.. что это?.. выстрел!

— Это Двинский с своим рундом,— сказал Ленский, взглянув в окно.— Я слышу его голос.

— Как же он смел делать тревогу?.. Разве я не отдал в приказе по роте...

— У них ружья заряжены, так, может быть, кто-нибудь из солдат не остерегся... Ну, так и есть!.. Я слышу, он кричит на унтер-офицера.

Через несколько минут Двинский вошел в комнату.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев,— что значит этот беспорядок?.. Стрелять по пробитии зари!..

— Это случилось нечаянно, Василий Иванович! — отвечал почтительно Двинский.— Унтер-офицер Демин стал спускать курок...

— Вот я его выучу спускать курок... Завтра, как пробьют зорю...

— Василий Иванович! — перервал вполголоса Двинский,— вы, верно, не забыли, что в прошлом месяце, когда неприятель делал вылазку...

— Извольте, сударь, молчать! Или вы думаете, что ротный командир хуже вас знает, что Демин унтер-офицер исправный и в деле молодец?.. Но такая непростительная оплошность... Прикажите фельдфебелю нарядить его дежурить по роте без очереди на две недели; а так как вы, господин подпоручик, отвечаете за вашу команду, то если в другой раз случится подобное происшествие...

— Тьфу, дьявольщина! какой ты строгий начальник, Зарядьев! — сказал, улыбаясь, Сборский.

— Прошу не погневаться! Мы не кавалеристы и лучше вашего знаем дисциплину; дружба дружбой, а служба службой... Рекомендую вам вперед быть осторожнее, господин подпоручик! а меж тем садись-ка, брат! Ты, чай, устал и хочешь что-нибудь перекусить.

Ласковые слова капитана в одну минуту развеселили Двинского, который хотя почтительно, но с приметным неудовольствием выслушал строгий выговор своего взыскательного начальника.

— Нет, господа! — сказал он, снимая свою саблю,— позвольте мне вас попотчевать: я захватил целую лодку с провиантом, и если вам угодно разговеться...

— Как не угодно! — вскричал Ленский.— Однако ж послушай! Уж не одним ли картофелем нагружена твоя лодка?..

— Не бойтесь! Найдется кой-что и на бивстекс.

— Брависсимо!.. Вели же скорей варить и жарить... Эй, хозяйка!.. Мадам!.. Либе фрау!.. * Сборский! скажи ей по-немецки, что мы просим ее заняться стряпнею.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев,— для чего вы не отрапортовали мне, что взяли лодку с правиантом?

— Да разве ты глух? — вскричал Сборский.— Какого еще надобно тебе рапорта?

— Извольте, сударь, рапортовать по форме,— продолжал Зарядьев, вставая важно с своего места.

— Честь имею донести,— сказал Двинский, опустя руки по швам,— что я, обходя цепь, протянутую по морскому берегу, заметил шагах в пятидесяти от него лодку, которая плыла в Данциг; и когда гребцы, несмотря на оклик часовых, не отвечали и не останавливались, то я велел закричать лодке причаливать к берегу, а чтоб приказание было скорее исполнено, скомандовал моему рунду приложиться.

— Хорошо!

— Гребцы не слушались. Я приказал фланговому солдату выстрелить.

— Хорошо!

— Пулею сшибло одному гребцу шляпу...

— Хорошо! А кто был фланговым?

— Иван Петров.

---

* Сударыня!.. *(нем.)*

— Хороший стрелок!

— Лодка остановилась, и когда я закричал, что открою по ним батальный огонь, гребцы принялися за веслы, причалили к берегу...

— Довольно! — вскричал Сборский, — остальное мы знаем.

— Я не слышал и не знаю ничего: извольте продолжать.

— По обыску в лодке нашлись съестные припасы; гребцы объявили, что везли их в Данциг для стола французского коменданта генерала Раппа...

— Ага! — вскричал Ленский, — так его превосходительство будет завтра постничать!..

— Вот вздор! — перервал Сборский, — они еще не всех лошадей переели. Рославлев сказывал, что видел в городе целый взвод конных егерей.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев, — завтра чем свет извольте отправить гребцов за крепким караулом в главную квартиру, а под захваченный вами неприятельский провиант потребуйте — также завтра — из ближайшего парка нужное число форшпанок.

— Зачем? — спросил Сборский.

— Я при рапорте представлю его в главную квартиру.

— С ума ты сошел! — вскричал Ленский, — иль ты думаешь, что в главной квартире нечего есть?

— Это не мое дело.

— Помилуй, братец! Мы умираем здесь с голоду.

— Неправда! у нас есть картофель.

— Черт возьми твой картофель и тебя с ним вместе! Послушай, Зарядьев! оставь здесь хоть половину!

— Не могу. Все захваченное у неприятеля должно доставлять при рапорте в главную квартиру.

— Голубчик! душенька!.. пожалуйста! хоть на сегодняшний и завтрашний день.

— Ну, добро, так и быть! ешьте сегодня вдоволь, а завтра... вы слышали мое приказание, господин подпоручик.

— Слышишь, Двинский? — закричал Ленский. — Вели же поскорей отпустить хозяйке все, чего она потребует. Эй, мадам!.. мутерхен!..* мы хотим эссен!..** много, очень много — филь! Сборский! скажи ей, чтоб она

---

* матушка!.. *(нем.)*
** есть!.. *(нем.)*

готовила на десятерых: может быть, кто-нибудь заедет, а не заедет, так мы и завтра доедим остальное.

— Кому теперь заехать? — сказал Зарядьев, посмотрев на свои огромные серебряные часы,— половина десятого, и когда поспеет вам ужин?

— Долго ли приготовить несколько кусков бифштекса: это минутное дело.

— Постойте-ка! — сказал Ленский,— мне кажется, кто-то въехал к нам в ворота. Посмотрите, если к нам не нагрянут гости: чай, теперь на всех аванпостах знают, что мы захватили обед господина Раппа. Ну, не отгадал ли я? Вот уж из главной квартиры стали к нам наезжать.

— Здравствуйте, господа! — сказал Рославлев, войдя в комнату.— Насилу я выбрал время, чтоб с вами повидаться. Ну что, как поживаете?

— Здорово, Владимир! — вскричал Сборский.— Милости просим! Ты ужинаешь с нами?

— И даже ночую.

— Ну, садись и рассказывай, что слышно нового? Что у вас делают? Долго ли нам кочевать вокруг Данцига? Не поговаривают ли о сдаче? Ведь мы здесь настоящие провинциалы: не знаем ничего, что делается в большом свете. Ну, что ж молчишь? Говори, что нового?

— Во-первых, новое то, что вы видите меня живого.

— Как так?

— Да так. Вчера вечером меня послали в траншеи с приказаниями к отрядному начальнику. Исполнив данное мне поручение, я стал в промежутке пушечных выстрелов кой о чем болтать с артиллерийскими офицерами. Меж тем на дворе смерклось; наши выстрелы стали реже; влево на Гагельсберге * французы продолжали отстреливаться, а против нас, на Бишефсберге, вдруг все замолкло; мы подошли поближе к турам, выглянули, и я в первый раз увидел вблизи этот грозный Бишефсберг, который, как громовая туча, заслонял от нас город. При каждом взрыве наших бомб и гранат освещались неприятельские батареи; но солдат не было видно; французы сидели спокойно за толстым бруствером и отмалчивались. «Кой черт? — сказал артиллерийский капитан, который стоял возле меня,— что они — заснули, что ль?» Не успел он это выговорить, как вдруг...

---

* Гагельсберг и Бишефсберг — две укрепленные горы подле самой крепости города Данцига.

господи боже мой!.. мне показалось, что весь Бишефсберг вспыхнул; народ закипел на неприятельских батареях, ядра посыпались, и поднялась такая адская трескотня!.. Ну поверите ль? до сих пор еще гудит в ушах. Одно ядро попало в амбразуру, подле которой я стоял; меня с ног до головы осыпало землею, и пока я отряхался и ощупывал себя, чтоб увериться, на своем ли месте моя голова и руки, справа в траншеях раздался крик: «En avant!» Засверкали огоньки, и две или три пули свистнули у меня под самым носом... «Французы, французы!..» — «Где?» — спросил артиллерийский капитан. «Здесь! В траншеях!..» — «Становись!.. стрелки, вперед!» — закричал отрядный начальник и с простреленной головой повалился на меня; на него упало еще человека два. Тут я ничего невзвидел, а слышал только, что надо мной визжали пули и раздавался крик французского офицера, который ревел как бешеный: «Ferme!.. feu de peloton!» * Я стал выдираться из-под убитых и лишь только высвободил голову, как этот проклятый крикун стал одной ногой мне на грудь и заревел опять: «En arrière! feu de fil! bien, mes enfants!» ** Задыхаясь от боли и досады, я собирался уже укусить за ногу этого злодея; но он закричал: «Repliez — vous!» ***— отскочил назад, в один миг исчез вместе с своими солдатами; и я успел только заметить при свете выстрелов, что этот крикун был в богатом гусарском мундире.

— Так это молодец Шамбюр? — перервал Сборский.

— Да, он. Мы узнали от двух захваченных в плен солдат, что они принадлежат к адской роте, которою командует этот сорвиголова.

— Ну, право, я дорого бы заплатил,— вскричал Ленский,— за то, чтоб взглянуть на этого удалого малого!

— А я бы не дал за это ни гроша,— сказал Зарядьев.— Дело другое, если б я мог размозжить ему голову... Неугомонный! буян!.. Ну что прибыли, что он ворвался в траншеи с сотнею солдат?.. Эка потеха!.. терять людей из одного удальства!..

— Он делает свое дело,— возразил Сборский.— Шамбюр как партизан должен нас всячески тревожить.

---

* Смелей!.. стрелять повзводно! *(фр.)*

** Назад! стрелять цепью! хорошо, ребята! *(фр.)*

*** Отступайте! *(фр.)*

— Партизан!.. партизан!.. Посмотрел бы я этого партизана перед ротою — чай, не знает, как взвод завести! Терпеть не могу этих удальцов! То ли дело наш брат фрунтовой: без команды вперед не суйся, а стой себе как вкопанный и умирай, не сходя с места. Вот это служба! А то подкрадутся да подползут, как воры... Удалось — хорошо! не удалось — подавай бог ноги!.. Провал бы взял этих партизанов! Мне и кабардинцы на кавказской линии надоели!

— В том-то, брат, и дело! — сказал Сборский.— Надо почаще надоедать неприятелю. Как не дашь ему ни на минуту покоя, так у него и руки опустятся. Вот, например, этот молодец Шамбюр, чай, у всех наших аванпостных как бельмо на глазу.

— Тьфу, пропасть! — вскричал Зарядьев, бросив на пол свою трубку,— наладил одно: молодец да молодец! Давай сюда этого молодца! Милости просим начистоту: так я с одним взводом моей роты расчешу его адскую сотню так, что и праха ее не останется. Что, в самом деле, за отметный соболь? Господи боже мой! Да пусть пожалует к нам сюда, на Нерунг, хоть днем, хоть ночью!

— Сюда? — повторил Рославлев.— Как это можно? Позади всех наших линий, за пять верст от своих аванпостов,— что ты! Разве он сумасшедший!

— Смотри, Зарядьев,— сказал Сборский, мигнув потихоньку другим офицерам,— не накличь беды на свою голову! Теперь ты храбришься, а как вдруг он нагрянет...

— Так что ж? Добро пожаловать! Не испугаемся.

— Ну, не ручайся, брат: не ровна минута. Скажи-ка правду: неужели ты во всю свою жизнь никогда и ничего не пугался?

— Никогда.

— Я про себя этого не скажу,— продолжал Сборский.— Я однажды так трухнул, что у меня волосы стали дыбом и язык отнялся.

— В деле? — спросил Зарядьев.

Сборский покраснел, провел рукою по своим черным усам и, помолчав несколько времени, сказал:

— Слушай, Зарядьев: мы приятели, но если ты в другой раз сделаешь мне такой глупый вопрос, то я пущу в тебя вот этой кружкою. Разве русский офицер и кавалерист может струсить в деле?

— Не знаю — кавалерист, а наш брат пехотинец...

— Послушайте-ка, господа,— перервал Ленский, стараясь замять разговор, который мог дурно кончиться,— если говорить правду, так вот нас здесь пятеро: все мы народ обстрелянный, хорошие офицеры, а, верно, каждый из нас хотя один раз в жизни чувствовал, что он робел.

— Признаюсь,— сказал Рославлев,— со мною что-то похожее недавно было.

— И я месяца два тому назад,— прибавил Двинский,— испугался не на шутку.

— Что грех таить,— продолжал Ленский,— и я однажды больно струсил. А ты, Зарядьев?

— Я уж сказал, что никогда и ничего не боялся.

— Право? А не случилось ли тебе ошибаться во фрунте перед твоим бригадным командиром?

— Перед бригадным командиром? Да нет, я никогда не ошибался.

— Как вы думаете, господа! — подхватил Рославлев,— мы еще не скоро ляжем спать; пусть каждый из нас расскажет историю своего испуга: это должно быть очень любопытно.

— И вовсе не обыкновенно,— прибавил Сборский.— Верно, не было примера, чтоб четверо храбрых и обстрелянных офицеров, вместо того чтоб говорить о своих подвигах, рассказывали друг другу о том, что они когда-то трусили и боялись чего бы то ни было.

— А чтоб нам веселее было болтать,— продолжал Рославлев,— так велите-ка нести кулечек, который я привез с собою: в нем полдюжины шампанского.

— Ай да приятель! — вскричал Сборский.— Шампанское! Давай его сюда!.. Тьфу, черт возьми!.. Хорошо вам жить в главной квартире: все есть.

Вино принесли, пробки полетели в потолок, шампанское запенилось, и Рославлев, опорожнив одним духом свой стакан, начал:

ПАРЛАМЕНТЕР

— Вы слышали, я думаю, господа, что генерал Рапп запретил принимать наших парламентеров. Тому назад недели две посылали для переговоров, в предместье Лангфурт, майора Ольгина; его встретили на неприятельских аванпостах ружейными выстрелами, убили лошадь и сшибли пулею с головы фуражку. Из этого лас-

кового приема нетрудно было заключить, что господин Рапп не на шутку изволил на нас дуться и что всякий русский парламентер будет угощен не лучше Ольгина. Но так как его превосходительство не в первый уже раз изволил отдавать и отменять подобные приказы, то дня через три после этого велели мне отвезти к нему письмо, в котором наш корпусный командир убеждал его принять обратно в город высланных им жителей. Вы, верно, знаете, что Рапп выгнал из Данцига более четырехсот обывателей, в том числе множество женщин и детей. Дабы предупредить эти эмиграции, которые, уменьшая число жителей крепости, способствовали гарнизону долее в ней держаться, отдан был строгий приказ не пропускать их сквозь нашу передовую цепь: и эти несчастные должны были оставаться на нейтральной земле, среди наших и неприятельских аванпостов, под открытым небом, без куска хлеба и, при первом аванпостном деле, между двух перекрестных огней.

В провожании драгунского трубача я выехал за нашу передовую цепь. Надобно вам сказать, что с этой стороны дорога к неприятельским аванпостам идет по узкому и высокому валу; налево подле него течет речка Родауна, а по правую сторону расстилаются низкие и обширные луга Нидерланда, к которому примыкает Ора, городское предместие, занятое французами. Получив приказание отправиться парламентером рано поутру, я не успел напиться чаю и потому в деревне, занимаемой нашей передовой линиею, купил у булошника несколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытом воздухе, во время переезда моего от наших аванпостов к неприятельским. Погода была ясная, но сильный ветер дул мне прямо в лицо и доносил до меня стон и рыдания умирающих с голода данцигских изгнанников. Лишь только они завидели приближающегося к ним русского офицера, как весь их стан пришел в движение: одни ползком спешили добраться до вала, по которому я ехал,— другие с громким воем бежали ко мне навстречу... Ах, любезные друзья! Есть минуты, в которые наш брат военный проклинает войну! Не ядра неприятельские, не смерть ужасна: об этом солдат не думает; но быть свидетелем опустошения прекрасной и цветущей стороны, смотреть на гибель несчастных семейств, видеть стариков, жен и детей, умирающих с голода, слышать их отчаянный вопль и из сострадания затыкать

себе уши!.. Вот что истинно ужасно, товарищи! Вот отчего и у русского солдата подчас заноет и кровью обольется ретивое!

По невольному и совершенно безотчетному движению я придержал мою лошадь. В одну минуту столпилось человек двадцать около того места, где я остановился; мужчины кричали невнятным голосом, женщины стонали; все наперерыв старались всползти на вал: цеплялись друг за друга, хватались за траву, дрались, падали и с каким-то нечеловеческим воем катились вниз, где вновь прибегающие топтали их в ногах и лезли через них, чтоб только дойти до меня. Я поспешил бросить им мои крендели; в одну секунду их разорвали на тысячу кусков, и в то время, как вся толпа, давя друг друга, торопилась хватать их на лету, одна молодая женщина успела взобраться на вал... Нет! во всю жизнь мою я не забуду этого ужасного лица!.. Мертвец с открытыми неподвижными глазами приводит в невольный трепет; но, по крайней мере, на бесчувственном лице его начертано какое-то спокойствие смерти: он не страдает более; а оживленный труп, который упал к ногам моим, дышал, чувствовал и, прижимая к груди своей умирающего с голода ребенка, прошептал охриплым голосом и по-русски: «Кусок хлеба!.. ему!..» Я схватился за карман: в нем не было ни крошки! Не могу описать вам, что происходило в эту минуту в душе моей! До сих пор еще этот ужасный голос, в котором даже было что-то для меня знакомое, раздается в ушах моих. Я помню только, что зажмурил глаза, ударил нагайкою мою лошадь и промчался не оглядываясь с полверсты вперед. «Полегче, ваше благородие! — сказал трубач.— Вон французский пикет!» В самом деле, я был уже почти у въезда в предместие Ора. Шагах в тридцати от меня, перед одним полуобгорелым домом, ходил неприятельский часовой; закутавшись в синюю шинель и опустя вниз ружье, он мерными шагами двигался взад и вперед, как маятник; иногда поглядывал направо и налево, но как будто бы нарочно не смотрел в мою сторону. «Труби!» — закричал я драгуну. Он принялся трубить, но сильный ветер относил назад все звуки, и неприятельский часовой продолжал расхаживать перед домом, не обращая на нас никакого внимания. Я подъехал ближе, остановился; драгун начал опять трубить; звуки трубы сливались по-прежнему с воем ветра; а проклятый француз, как на смех, не подымал головы и, остановясь на

одном месте, принялся чертить штыком по песку, вероятно, вензель какой-нибудь парижской красавицы.

— Ах он ротозей! — вскричал Зарядьев.— Да я бы этого часового на ногах уморил!.. Сохрани боже! У меня и в мирное время попробуй-ка махальный прозевать генерала, так я...

— Полно, братец! — сказал Сборский,— не мешай ему рассказывать. Ну что ж, Рославлев, ты подъехал к нему под нос?..

— Почти. Шагах в пятнадцати от часового вал оканчивался глубокой канавою, через нее переброшены были две узенькие дощечки. Я взъехал на этот живой мост, который гнулся под моей лошадью, и велел драгуну трубить что есть мочи. Лишь только он затянул первый аккорд, как вдруг часовой встрепенулся, отпрыгнул два шага назад и схватился за ружье. «Parlementaire, camarade! — сказал я громким голосом.— Parlementaire!» * Но француз, не говоря ни слова, взвел курок и прицелился в мою лошадь. «Труби, разбойник! — закричал я моему драгуну,— труби!» — и мой драгун затрубил так, что у меня в ушах затрещало; но часовой продолжал целиться, только уже не в лошадь, а прямо мне в грудь. Ах, черт возьми! В пятнадцати шагах и плохой стрелок не даст пуделя; я же на этом проклятом мостике не мог повернуться ни направо, ни налево и стоял неподвижно, как мишень. Меж тем часовой, как будто бы желая вернее отправить меня на тот свет, приподнял немного ружье и уставил дуло прямехонько против моего лба. «Finissez, finissez!..» **— закричал я, махая белым платком,— не тут-то было! Как видно, этому бездельнику показалось забавно расстреливать меня понемногу: он повернул ружье и прицелился мне в висок; я осадил лошадь, француз спустил курок — осечка! Все это происходило в течение какой-нибудь полуминуты, и, честию клянусь, не могу сказать, чтоб я был совершенно спокоен, однако ж не чувствовал ничего необыкновенного; но когда этот злодей взвел опять курок и преспокойно приложился мне снова в самую средину лба, то сердце мое сжалось, в глазах потемнело, и я почувствовал что-то такое... как бы вам сказать?.. Да тьфу, пропасть! что тут торговаться: я струсил. К счастию, мой драгун, видя беду неминучую,

* Парламентер, товарищ! Парламентер! *(фр.)*
** Прекратите, прекратите!.. *(фр.)*

пустил на своей трубе такую чертовскую трель, что караульный офицер опрометью выскочил из дома, закричал на часового и, дав мне знак рукою съехать с мостика, подошел ко мне. Подлинно — у страха глаза велики: когда неприятельский офицер выбежал из караульни, то показался мне и красавцем и молодцом, а когда подошел ко мне поближе, то я увидел, что он дурен как смертный грех и по росту годился бы в бессменные форейторы. Этот уродец объявил мне на дурном французском языке, что парламентеров не принимают, что велено по них стрелять и что я должен благодарить бога за то, что он не француз, а голландский подданный и всегда любил русских. Распрощавшись с ним, я отправился обратно и, признаюсь, во весь тот день походил на человека, который с похмелья не может ни о чем думать и хотя не пьян, а шатается, как будто бы выпил стаканов пять пуншу.

ГЛАВА III

— История моего испуга,— сказал Сборский, когда Рославлев кончил свой рассказ,— совершенно в другом роде. Тебя этот бездельник расстреливал как дезертёра, приговоренного к смерти по сентенции военного суда, а я имел причину думать, что сам сатана со всем причетом изволил надо мною потешаться.

— Что за вздор? — вскричал Рославлев.

— А вот, если угодно,— продолжал Сборский,— я расскажу вам со всеми подробностями этот эпизод из «Удольфских таинств, или Знаменитого монаха», в котором черт играет такую интересную ролю. Ну, слушайте, господа!

ТРИ КВАРТИРЫ

— Прошлого года, после сражения под Борисовым, в одном жарком аванпостном деле мне прострелили правую руку, и я должен был в то время, как наши армии быстро подвигались вперед, прожить полтора месяца в грязном и разоренном жидовском местечке. Не могу описать вам, до какой степени было мучительно мое положение. Во всем этом жидовском кагале, кроме меня, не было ни одного раненого офицера, и хотя, сбираясь в поход, я захватил с собой дюжины две книг, но, на беду, за несколько дней до сражения верный и трез-

вый мой слуга Афонька заложил их за полштофа вина какому-то маркитанту, который отправился вслед за войском. Я умирал от скуки; но делать было нечего. Все мои забавы состояли только в том, что поутру я дразнил моего хозяина, запачканного жида с рыжей бородою, а вечером принимал гостей, от которых подчас нельзя было повернуться в моей комнате. Через местечко проводили ежедневно целые колонны пленных неприятелей, и лишь только начинало смеркаться, я высылал на улицу Афоньку приглашать ко мне всех отсталых французов, которые, не находя нигде приюта, бродили как тени взад и вперед по улице. Честные евреи, осыпая их всеми жидовскими клятвами, отгоняли от своих дверей и, несмотря на жестокий мороз, не дозволяли им входить даже в сени своих домов, чтоб хотя несколько обогреться. Разумеется, эти несчастные спешили воспользоваться приглашением моего слуги. Сначала они молча лезли все к печке; потом, выпив по стакану горячего сбитня, начинали понемногу отогреваться, и через полчаса в комнате моей повторялась, в малом виде, суматоха, бывшая после потопа при вавилонском столпотворении: латники, гренадеры, вольтижеры, конные, пешие — все начинали говорить в один голос на французском, итальянском, голландском... словом, на всех известных европейских языках. Бывало, обыкновенно французы переговорят всех, и тут-то пойдут россказни о большой армии, о победах Наполеона, о пожаре московском. «Ah, monsieur! au commencement nous avions tout: provisions de bouche, vins, liqueurs, et puis tout d'un coup... Sacristie!.. Comme c'est dommage! brûler une si belle ville!» * Признаюсь, господа, люблю этот беспечный и веселый народ! Француз умирает с голода, до половины замерз, и лишь только начнет оттаивать, съест кусок хлеба, заговорит о своей *прекрасной* Франции — и все забыто. Сколько раз я слышал: «Oui, mon officier, j'ai beaucoup souffert, mais une fois de retour à Paris... Diable! ce n'est pas comme chez vous: on se divertit, on dépence gaiement son argent et vive la joie»! ** Бедняж-

---

* Ах, сударь! сначала у нас было все: провизия, вина, ликеры — и вдруг!.. какая жалость!.. сжечь такой прекрасный город!.. (*Перев. автора.*)

** Да, господин офицер! я много терпел; но только бы добраться до Парижа — черт возьми! там не так, как у вас!.. Тешут себя, тратят на забавы свои деньги и — да здравствует веселость! (*Перев. автора.*)

ка!.. а через несколько часов... но что говорить об этом. Мне каждый раз становится грустно, когда подумаю, каким ужасным образом сгибли, исчезли с лица земли целые сотни тысяч этих ветреных, но храбрых и любезных французов. Полно хмуриться, Зарядьев! ведь они такие же люди, как мы.

— А черт их просил к нам в гости! — сказал Зарядьев, вытряхая свою трубку.

— Эх, братец! ругай того, кто их привел с собою. Солдат идет туда, куда ему прикажут.

— Оно бы и так! Я сам ротный командир, и если скомандую моей роте идти вперед...

— Вот то-то же! По-моему, бей неприятеля, пока он стоит, а об лежачем не грешно и пожалеть; но не о том дело — где бишь я остановился?

— Покамест еще в жидовском местечке,— сказал Ленский.

— Да!.. Ну вот, прошло уж шесть недель, мне стало получше, и хотя я не владел еще рукою, но решился наконец, не дожидаясь совершенного выздоровления, отправиться догонять мой полк, который был уже за границею. Не стану вам рассказывать, как я доехал до Вильны: благодаря нашим победам меня по всей дороге принимали ласково, осыпали вежливостями и даже иногда вполголоса бранили вместе со мною Наполеона. На пятый день, под вечер, я спустился, или, лучше сказать, скатился с гор, которые окружают Вильну. Нет! никогда не изгладится из моей памяти ужасная противуположность, поразившая мои взоры, когда я въехал в этот город; противуположность, которая могла только встретиться в эту народную войну, поглотившую целые поколения. За версту от городских ворот, по обеим сторонам дороги, начинались, без всякого прибавления, две толстые стены, сложенные из замерзших трупов. Я не раз видел и привык уже видеть землю, устланную телами убитых на сражении; но эта улица показалась мне столь отвратительною, что я нехотя зажмурил глаза, и лишь только въехал в город, вдруг сцена переменилась: красивая площадь, кипящая народом, русские офицеры, национальная польская гвардия, красавицы, толпы суетливых жидов, шум, крик, песни, веселые лица, одним словом: везде, повсюду жизнь и движение. Мне случалось веселиться с товарищами на том самом месте, где несколько минут до того мы дрались с неприятелем; но на поле сражения мы видим убитых,

умирающих, раненых; а тут смерть сливалась с жизнию без всяких оттенок: шаг вперед — и жизнь во всей красоте своей; шаг назад — и смерть со всеми своими ужасами!

Вильна была наполнена русскими офицерами: один лечился от ран, другой — от болезни, третий ни от чего не лечился; но так как неприятельская армия существовала в одних только французских бюллетенях и первая кампания казалась совершенно конченою, то русские офицеры не слишком торопились догонять свои полки, из которых многие, перейдя за границу, формировались и поджидали спокойно свои резервы. Хотя в продолжение всей зимней кампании, бессмертной в летописях нашего отечества, но тяжкой и изнурительной до высочайшей степени, мы страдали менее французов от холода и недостатка, и если иногда желудки наши тосковали, то зато на сердце всегда было весело; однако ж, несмотря на это, мы так много натерпелись всякой нужды, что при первом случае отдохнуть и пожить весело у всех русских офицеров закружились головы. Придумывая различные способы, как бы в короткое время убить поболее денег, наша молодежь составила общество и назвала его лейб-шампанским; все члены разъезжали по приятельским балам и редутам *, посещали ежедневно театр, сыпали деньгами, играли с поляками, любезничали с полячками и, чтоб оправдать свое название, пили шампанское как воду. Меня хотели было также завербовать в лейб-шампанцы; но я не мог долго оставаться в Вильне: непреодолимая страсть влекла меня за границу...

— Как? — вскричал Ленский,— ты любишь? а я до сих пор не знал этого!

— Да, мой друг! — продолжал Сборский,— любил, люблю и буду любить без памяти мой эскадрон, с которым я тогда почти два месяца был в разлуке. Повеселясь порядком и оставя половину моей казны в Вильне, я на четвертый день отправился далее, на пятый переехал Неман, а на шестой уверился из опыта, что в эту национальную войну Пруссия была нашим вторым отечеством.

— Что правда, то правда! — перервал Рославлев,—

* Публичные балы, на которых каждый может быть за определенную цену, объявленную в особой афишке.

добрые и честные пруссаки принимали нас как родных братьев.

— И побратались с нами после на ратном поле,— сказал Ленский.— Молодцы! лихо дерутся!

— И славно знают фрунтовую службу,— примолвил Зарядьев.— Как я поглядел в Кенигсберге на их развод, так — нечего сказать — засмотрелся! Конечно, наш брат, старый ротный командир, мог бы кой-что заметить в ружейных хватках; но зато как они прошли церемониальным маршем, так — я тебе скажу — чудо!

— Да, Василий Иванович! я думаю, и в этом они нам не уступят. Однако ж прошу не перерывать меня, а не то я никогда не доскажу вам моего приключения à la madame Radcliffe *.

Привыкнув видеть одни запачканные жидовские местечки, я не мог довольно налюбоваться в первые два дня моего путешествия по Пруссии на прекрасные деревни, богатые усадьбы помещиков и на красивые города, в которых встречали меня с ласкою и гостеприимством, напоминающим русское хлебосольство; словом, все пленяло меня в этой земле устройства, порядка и благочиния. Начальники квартирных комиссий и бургомистры городов, в которых я останавливался, отводили мне всегда спокойные и даже роскошные квартиры; но в семье не без урода, говорит русская пословица. На третий день моего путешествия я опоздал несколько выехать из деревни, в которой господин шульц **, ревностный патриот и большой политик, вздумал угощать обеденным столом в моем единственном лице все русское войско. Этот деревенский дипломат осыпал меня вопросами, рассказывал о тайных намерениях своего правительства, о поголовном восстании храбрых немцев, о русских казаках, о прусском ландштурме и объявил мне, между прочим, что Пруссия ожидает к себе одного великого гостя. «Вы меня понимаете? — сказал он значительным голосом.— Я пью за здоровье этого спасителя Пруссии и всей Европы — гура!.. И за здоровье отца нашего, Фридриха — гура! А знаете ли вы? — продолжал он, понизив голос,— что при свите сего августейшего посетителя едет инкогнито турецкий султан?.. За здоровье высокой особы, едущей инкогнито... гура!»

---

* в стиле мадам Радклиф *(фр.)*.
** староста *(Примеч. автора.)*

Я смеялся, но кричал от всей души с добрым моим хозяином, который почти с слезами простился со мною, когда я под вечер пустился снова в дорогу. Доехав часу в одиннадцатом до небольшого городка, в котором мне должно было ночевать, я отправился к бургомистру. Стукнул, сначала довольно тихо, медной скобою в толстую дубовую дверь: ответа не было; я застучал громче: никто не шевелился в целом доме. Ночь была холодная; я прозяб до костей, устал и хотел спать; следовательно, нимало не удивительно, что позабыл все приличие и начал так постукивать тяжелой скобою, что окна затряслись в доме, и грозное «хоц таузент! вас ист дас?» * прогремело наконец за дверьми; они растворились; толстая мадам с заспанными глазами высунула огромную голову в миткалевом чепце и повторила вовсе не ласковым голосом свое: «Вас ист дас?» — «Руссишер капитен!» — закричал я также не слишком вежливо; миткалевый чепец спрятался, двери захлопнулись, и я остался опять на холоду, который час от часу становился чувствительнее. Спустя несколько минут я принялся было снова за скобу; но двери наконец отворились, и та же толстощекая барыня впустила меня в сени, взвела на две лестницы и почти втолкнула в небольшую комнату, освещенную двумя сальными огарками. Перед столом, накрытым зеленым запачканным сукном, сидел прегордый мусью с красным носом; бесконечные, журавлиные его ноги, не умещаясь под столом, тянулись величественно до половины комнаты; белый халат, сшитый балахоном, и превысокий накрахмаленный колпак довершали сходство этого надменного градоначальника с каким-то святочным пугалом. По левую его сторону, в изношенном сюртуке, с видом глубочайшего смирения, сидел человек лет пятидесяти; в зубах держал он перо, а на длинном его носе едва умещались... как бы вам сказать?.. не смею назвать очками эти огромные клещи со стеклами, в которых был ущемлен осанистый нос сего господина. Когда я вошел в комнату, гер бургомейстер приподнялся на свои ходули и, показав мне молча порожний стул, принял снова положение, приличное своему высокому сану.

— Что вам угодно? — спросил он важным голосом.

— Квартиру,— отвечал я.

— Кто вы?

---

* проклятье! что это такое? *(нем.)*

— Русский офицер.
— Ваш чин?
— Штаб-ротмистр.
— Гм, гм! Штаб-ротмистр? Не более?.. Писарь, пиши к Готлибу Фрейману.

Писарь снял свои огромные очки, протер их своим носовым платком, но за перо не принимался.

— Что ж ты не пишешь? — спросил бургомистр сердитым голосом.

— Не ошиблись ли вы? — сказал писарь.— К Готлибу Фрейману?

— Да.

— Но если я осмелюсь вам заметить...

— Гальц мауль *,— закричал бургомистр,— делай, что приказывают.

Писарь замолчал, написал квартирный билет и, проводя меня до самой улицы, растолковал фурману, куда ехать. Минуты через три мы остановились у небольшого дома, в котором нижний этаж был освещен довольно ярко, а второй и третий казались вовсе необитаемыми. «Ого! — подумал я, входя в просторную комнату,— да мой хозяин, как видно, живет весело!» В самом деле, за тремя столами пировало человек двадцать по большой части дурно одетых и полупьяных людей. Хозяин принял меня очень вежливо; но, казалось, смотрел с удивлением на мои эполеты и офицерскую саблю с серебряным темляком.

— Где же моя комната? — спросил я.

— Вот здесь, гер капитан! — отвечал хозяин, показывая на дверь.

— Как! за этой перегородкой?

— Да! за этой перегородкой, гер майор.

— Дайте мне другую комнату.

— Извините; у меня нет другой.

— А долго ли будут здесь пировать ваши гости?

— Может быть, всю ночь.

— Как, черт возьми! — закричал я,— что ж это значит? Где я?

— В кабаке, гер гауптман! ** — отвечал с низким поклоном хозяин.— Не прикажете ли чего покушать?

Вместо ответа я накинул мою шинель, отправился назад к бургомистру и поднял такой ужасный стук, что

---

* Заткни глотку *(нем.)*.

** господин начальник! *(нем.)*

перебудил всех соседей. Опять за дверьми закричали: «*Хоц таузент!*» Та же мадам прежним порядком ввела меня к господину бургомистру, который, выслушав мои жалобы, поправил свой колпак и сказал: «Пиши к Адаму Фишеру». Писарь хотел было опять что-то возразить, но упрямый бургомистр закричал громче прежнего: «Гальц мауль!» — и я с новым билетом пустился отыскивать другую квартиру. На этот раз вояж мой был продолжительнее.

— Кой черт! скоро ли мы доедем? — спросил я наконец моего фурмана.

— Сейчас, господин офицер! — отвечал фурман, рисуя по воздуху вензеля длинным своим бичом.

— Но мы уж, кажется, выехали из города?

Фурман, не отвечая ни слова, взъехал на длинную плотину, остановился и, приподняв свою шляпу, сказал:

— Вот ваша квартира, господин офицер!

— Где? — спросил я, глядя во все стороны.

— Вот здесь! — продолжал ямщик, указывая бичом на высокую водяную мельницу.

Я соскочил с телеги; напудренный с ног до головы работник принял мой билет, и я вслед за ним вскарабкался по узенькой лестнице в небольшую светелку, устроенную почти над самыми жерновами. Говорят, что приятно дремать под шум водопада: этого я не испытал; но могу вас уверить, что, несмотря на мою усталость, не мог бы никак заснуть в этой каморке, в которой пол ходил ходуном, а стены дрожали и колебались, как будто бы от сильного землетрясения. Признаюсь, я рассердился не на шутку и принялся кричать так громко, что сам хозяин мельницы спустился ко мне из другой светлицы, которая, вероятно, была подалее от жерновов, и, увидя, что постоялец его русский офицер, принялся шуметь громче моего и ругать без милосердия бургомистра.

— Погодите, господин офицер! — вскричал он, отпустив дюжины две швернотов, — погодите! Я сбегаю к бургомистру, я растолкую этому дураку!.. да, дураку! Адам Фишер не заикнется сказать правду... швернот! Я скажу ему, что русский офицер — доннер-веттер! — должен иметь лучшую квартиру в городе — сакремент!..* Небось он не смел сажать французских офицеров на мельницу — хоц таузент! Гей, трость! шляпу!..

* проклятье!.. *(нем.)*

Я поговорю с этим бургомистром!.. Я с ним поговорю! Подождите, господин офицер, подождите!.. Крейц-веттер * баталион!..— Вспыльчивый мельник, ухватя свою шляпу и трость с серебряным набалдашником, бросился как бешеный вон из комнаты, зацепил за что-то ногою, скатился кубарем с лестницы и через минуту бежал уж по тропинке, крича во все горло: — Я поговорю с ним — саперлот!.. ** Я с ним поговорю!

Через полчаса он возвратился с торжествующим видом, держа в руках новый билет.

— Вот, господин офицер,— сказал он,— извольте! Я говорил вам, что бургомистр от меня не отделается. Мы, пруссаки, должны любить и угощать русских как родных братьев; Адам Фишер природный пруссак, а не выходец из Баварии — доннер-веттер!

— Куда ж мне теперь ехать? — спросил я.

— В самую средину города, на площадь. Вам отведена квартира в доме профессора Гутмана... Правда, ему теперь не до того; но у него есть жена... дети... а к тому же одна ночь... Прощайте, господин офицер! Не судите о нашем городе по бургомистру: в нем нет ни капли прусской крови... Черт его просил у нас поселиться — швернот!.. Жил бы у себя в Баварии — хоц доннер-веттер!

Вот я отправился снова странствовать по городу. У дверей высокого каменного дома встретила меня с фонарем молодая служанка и повела вверх по устланной коврами лестнице. Необыкновенная чистота и приметный во всем порядок мне очень нравились; одно только казалось мне странным: служанка на все мои вопросы отвечала с каким-то смущенным видом, вполголоса и как будто бы к чему-то прислушивалась. Когда мы взошли во второй этаж, выскочила на лестницу высокая и бледная женщина; она отвела к стороне служанку и начала с нею шептаться. Вдруг громкий вопль раздался в соседственном покое; дверь была до половины растворена; я не мог удержаться и заглянул в комнату. Молодая девушка, испуская пронзительные крики, в сильном нервическом припадке каталась по полу; около нее суетились две старухи в черном платье. Я поспешил к ним на помощь и, пособляя положить на диван больную, не заметил сначала, что посреди комнаты в открытом гробе

---

* проклятый *(нем.)*.

** черт возьми!.. *(нем.)*

лежит усопший. И сам не знаю, почему мне вздумалось посмотреть на покойника. Он был роста необыкновенного и чрезвычайно худ; но на бледном лице его не заметно было ничего смертного; казалось, он спал крепким сном и готов был ежеминутно пробудиться: это был хозяин дома, умерший поутру, а молодая девушка — дочь его. Пока мы хлопотали около больной, горничная, войдя в комнату, пригласила меня идти за собою и повела опять вверх по лестнице. Насчитав еще ступеней тридцать, я начинал уже опасаться, что после кабака и мельницы попаду на чердак; но в третьем этаже служанка остановилась, отворила дверь и, введя меня в просторный покой, засветила две восковые свечи.

С первого взгляда я удостоверился, что эта комната никогда не служила спальнею. Шкапы с книгами, ландкарты, глобусы, бюсты древних мудрецов, большой письменный стол, заваленный бумагами,— все доказывало, что я нахожусь в кабинете ученого человека. Узнав, что я не хочу ужинать, проворная служанка в две минуты приготовила мне на широком диване мягкую постель, а для моего Афоньки постлала матрац — вероятно, для разительной противуположности — между двух шкапов с латинскими и греческими мудрецами. Я разделся; Афонька погасил свечи, повалился на свой матрац и запыхтел, как кузнечный мех. Несмотря на мою усталость, я не мог долго заснуть: мне беспрестанно мерещился покойник; все черты лица его так живо врезались в мою память, что казалось, я видел его пред собою. Как я ни старался думать о другом, но напрасно: мой хозяин не выходил у меня из головы и мешал мне заснуть. Не видя прока лежать с закрытыми глазами, я принялся от нечего делать рассматривать мою комнату. Ночь была лунная; вполовину освещенные шкапы, на которых стояли вазы, походили на какие-то надгробные памятники: из одного угла смотрел на меня Сократ, из другого выглядывал Цицерон. Казалось, все эти гипсовые головы готовы были заговорить со мною; но пуще всех надоел мне колоссальный бюст Демокрита: вполне освещенный луною, он стоял на высоком белом пьедестале, против самой моей постели, скалил зубы и глядел на меня с такою дьявольскою усмешкой, что я, не видя возможности отделаться иначе от этого нахала, зажмурил опять глаза, повернулся к стене и наконец хотя с трудом, но заснул. Проклятый Демокрит не хотел и тут со мной расстаться: мне снилось, что он на том же вы-

соком пьедестале стоит по-прежнему против меня, что глаза его вертятся ужасным образом, что он щелкает на меня зубами... Вот, гляжу — он зашевелился... медленно стал ко мне подходить... зашатался... упал мне на грудь... Я вскрикнул, проснулся — и что ж увидел перед собою? Человека... нет! чудовище в белом саване, положа мне на грудь, как свинец, тяжелую руку и нагнувшись надо мною, смотрело мне прямо в лицо. Оно было гигантского роста; глаза его сверкали. Я хотел вскочить с постели; но в эту самую минуту страшилище повернуло головою, и луна осветила лицо его. Волосы мои стали дыбом, я обмер... это был покойник! С полминуты, не имея силы тронуться ни одним членом, смотрел я молча на этого ужасного гостя, в груди моей не было голоса, язык мой онемел. Наконец с величайшим усилием я прокричал кой-как имя моего слуги. Афонька приподнялся, заговорил вздор, почесал в голове и захрапел громче прежнего; а покойник, как будто бы рассердясь за мою попытку, заскрипел зубами и, продолжая одной рукой давить мне грудь, схватил другою за горло, стиснул: вся кровь бросилась мне в голову, в глазах потемнело — и я обеспамятел.

Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, только когда пришел в себя, то увидел, что мертвец, крепко обхватив меня руками, лежит подле меня лицом к лицу; как лед холодная щека его прикасается к моей щеке; раскрытые глаза его неподвижны... он не дышит. Я рвусь, хочу высвободиться из этих адских объятий — невозможно!.. Меня обнимает бездушный труп, и руки, которыми я обхвачен, замерли, окостенели. Не приведи господи испытать никому того, что было со мною в эту ужасную минуту! Я чувствовал — да, господа! — я чувствовал, как кровь застывала понемногу в моих жилах, как холод смерти переливался из бездушного трупа во все оледеневшие мои члены... Я снова лишился чувств. На этот раз беспамятство мое было гораздо продолжительнее: я очнулся уже на другой день поутру. Подле меня сидели доктор и хозяйка дома с своей дочерью. Мне пустили кровь, и когда я несколько пообразумился, вдова с горькими слезами объяснила мне все приключение. Муж ее был болен сильным воспалением в мозгу; поутру, в день моего приезда в их город, с ним сделался летаргический припадок, обманувший даже медика; никто не сомневался в его смерти, но он был еще жив. Ночью, в то время как все его домашние, утомленные

бессонницей, заснули, он встал и, хотя в совершенном беспамятстве, но по какой-то машинальной привычке, отправился прямо в свой кабинет и пришел умереть на моей постели.

— Черт возьми! — вскричал Ленский,— это подлинно эпизод из «Удольфских таинств»!

— И весьма поучительный,— продолжал Сборский.— Этот случай сделал меня снисходительнее к слабостям других. Бывало, я смеялся над трусами и презирал их, а теперь... знаете ли, что я о них думаю? Страх есть дело невольное, и, без сомнения, эти несчастные чувствуют нередко то, что я, за грехи мои, однажды в жизни испытал над самим собою; и если ужасные страдания возбуждают в нас не только жалость, но даже некоторый род почтения к страдальцу, то знайте, господа, что трусы народ препочтенный: никто в целом мире не терпит такой муки и не страдает, как они.

— И я скажу то же самое,— примолвил Зарядьев, закуривая новую трубку табаку.— Мне случалось видеть трусов в деле — господи боже мой! как их коробит, сердечных! Ну, словно душа с телом расстается! На войне наш брат умирает только однажды; а они, бедные, каждый день читают себе отходную. Зато уж в мирное время... тьфу ты, пропасть! храбрятся так, что и боже упаси!

— Ну, Двинский! — сказал Рославлев,— теперь очередь за вами — рассказывайте!

— Мое приключение,— сказал Двинский,— и коротко и обыкновенно: я струсил не смерти; напротив, я испугался того, что мне не удастся умереть.

— Как так? — спросил Сборский.

— А вот слушайте!

ГЛАВА IV

АВАНПОСТ

— Месяцев шесть тому назад я был прикомандирован, по недостатку наличных офицеров, к М...му пехотному полку, стоявшему со стороны разлива, которым затоплены все низкие места вокруг Данцига. В то время, как мы еще не храбровали, как теперь, Данцигский гарнизон был вдвое сильнее всего нашего блокадного корпуса, который вдобавок был растянут на большом про-

странстве и, следовательно, при каждой вылазке французов должен был сражаться с неприятелем, в несколько раз его сильнейшим; положение полка, а в особенности роты, к которой я был прикомандирован, было весьма незавидно: мы жили вместе с миллионами лягушек, посреди лабиринта бесчисленных канав, обсаженных единообразными ивами; вся рота помещалась в крестьянской избе, на небольшом острове, окруженном с одной стороны разливом, с другой — почти непроходимой грязью. Для прогулки мы имели одну большую и несколько проселочных дорог, но редко пользовались этим удовольствием по той причине, что, ходя через день в караул, имели случай и без того вязнуть довольно часто по пояс в грязи и почти вплавь переправляться в тех местах, которые были поняты водою. Однажды рано поутру, отправляясь для смены на передовой аванпост, я вздумал понежиться и выпросил у нашего хозяина лошадь. Пока мне оседлывали превысокую клячу, я приказал старшему вести людей, а сам, в полной уверенности, что на борзом моем коне догоню их в несколько минут, остался позавтракать.

— Эх, Двинский, нехорошо! — перервал Зарядьев.— Караульный офицер не должен пяди отставать от своих солдат. Ты поступил совершенно против дисциплины и военного порядка.

— За это-то, видно, грех меня и попутал,— продолжал Двинский.— Я позавтракал, лихо вскочил на моего аргамака, приударил его нагайкою и выехал молодцом на большую дорогу. Сначала все шло довольно хорошо; мой огромный конь, на котором я сидел, как на каланче, сделал даже два или три курбета и обрызгал меня с ног до головы грязью. «Держитесь крепче!» — кричал мне хозяин, провожая меня за ворота. Я взглянул на него с презрением, гордо поправил фуражку, подбоченился и вместо ответа перескочил на моем верблюде с удивительною ловкостию лужу аршина в два шириною; но этим и кончились все блестящие подвиги моего парадера. При первой новой луже он призадумался, а при второй — я должен был минуты две работать нагайкою, чтоб заставить его идти вброд. Наконец кой-как я дотащился до поворота дороги; гляжу вперед — не тут-то было: мои солдаты ушли из виду. Тут вспомнил я, что за несколько дней, именно в этот же час, небольшой отряд французов, вышедший из города для фуражировки, чуть-чуть не вырезал наш аванпост: он спасся только

тем, что подоспела смена; то же самое могло случиться и во второй раз. От одной этой мысли волосы стали у меня дыбом; я принялся погонять мою клячу и почти выбился из сил, когда подъехал к другому повороту, где начиналась сносная дорога, проложенная по низенькому валу; в конце его за небольшим леском расположен был наш аванпост. По правую сторону вала тянулись низкие поля, изрытые канавами, а по левую — разлив и бесконечный ряд ветряных мельниц. Я стал смотреть вперед; вижу в стороне казачий ведет, но вдали не блестят штыки моих солдат: все пусто и по всему валу до самой рощи не видно ни души. Вдруг по ветру долетают до меня какие-то глухие звуки... что-то похожее... знакомое. Я боюсь верить... прислушиваюсь... боже мой! меня бросает в холодный пот! Мне кажется... так точно!.. я не ошибаюсь! перестрелка!.. Солдаты мои дерутся, а я — начальник их!.. Вся кровь застыла в моих жилах, страх придает мне необычайные силы, и я начинаю колотить с таким ожесточением мой лошадиный остов, что он после нескольких траверзов пускается рысью. Вот уже я на половине дороги; пальба становится ежеминутно слышнее: я могу считать выстрелы; но это не простая аванпостная перестрелка, а ровный батальный огонь — итак, дело завязалось не на шутку. Боже мой! Боже мой! Отчаяние мое доходит до высочайшей степени! Как дикий зверь, впиваюсь я в беззащитную мою клячу; казацкая плеть превращается в руке моей в барабанную палку, удары сыплются как дождь; мой аргамак чувствует наконец необходимость пуститься в галоп, подымается на задние ноги, хочет сделать скачок, спотыкается, падает — и преспокойно располагается, лежа одним боком на правой моей ноге, отдохнуть от тяжких трудов своих. Я стараюсь высвободить мою ногу — не могу. Кричу, зову на помощь — напрасно: отчаянный вопль мой теряется в воздухе; все тихо кругом, и только впереди раздаются беспрестанные выстрелы... Мне кажется, что они приближаются... Так точно!.. может быть, караульный офицер убит... люди остались без начальника... Вдруг я почувствовал — да, господа! клянусь вам честию — мне показалось, что пахнет порохом. О, так нет сомнения!.. Французы сбили наш аванпост; они близко — мои солдаты бегут!.. Как описать вам, что происходило тогда в душе моей? Я видел себя обесславленным, погибшим — да, погибшим навеки! Кого мог бы я уверить, что не трусость, а один несчастный случай и

неосторожность разлучили меня с моими солдатами в ту самую минуту, когда я должен был драться и умирать вместе с ними? Я видел уже себя отданным под суд, я слышал уже неизбежный приговор судей моих... в ушах моих раздавались ужасные слова: «По сентенции военного суда, подпоручик Двинский, за самовольную отлучку от команды во время сражения с неприятелем...» Милосердый боже!.. А отец мой!.. этот заслуженный, покрытый ранами и крестами дряхлый старик, который, прощаясь со мною, говорил мне: «Ну, друг мой! пришло горе и на святую Русь! Бог с тобой — ступай, умирай за царя и веру православную. Ваня! ты у меня один, как порох в глазе; но так и быть — его святая воля! Если ты умрешь с честию, то я поплачу, а все-таки увижусь с тобою; но если ты... боже тебя сохрани... тогда и *там* не смей мне на глаза казаться». И что же? Я, сын этого почтенного воина, обесславленный, заклейменный вечным позором... Ах! все это представилось так живо моему воображению... голова моя пылала... Если б я мог, по крайней мере, остановить моих солдат, подраться с неприятелем — нет, проклятая лошадь лежала как мертвая! Я не мог ни привстать, ни пошевелиться и хотя продолжал кричать, но никто не спешил ко мне на помощь. Отчаяние, страх, беспрерывные усилия довели меня наконец до такого расслабления, что я начинал уже терять чувства, как вдруг вижу — ко мне бегут: это был казак, который услышал наконец мой крик. Он принялся тащить с меня лошадь, а я закричал охриплым голосом:

— Где французы, где?

— Французы? — отвечал спокойно казак,— вон там!

— Где?..

— За нашим аванпостом.

— Как, наши еще отстреливаются?.. Слава богу!

— Нет, ваше благородие! все смирно. Ну, бес тебя дери, вставай! — прибавил он, стащив с меня лошадь.

— Как смирно? — вскричал я, вскочив на ноги,— да разве ты не слышишь?

Казак вздрогнул, повернулся назад и стал прислушиваться.

— Что ты — оглох, что ль?.. Разве не слышишь, перестрелка?

— Никак нет, сударь! ничего не слышно.

— Да что ж это такое?

— Вот это, что стучит-то? Это толчея.

— Как?

— Да, ваше благородие! вот в этой мельнице, подле которой я стою.

Ух! какая свинцовая гора свалилась с моего сердца! Я бросился обнимать казака, перекрестился, захохотал как сумасшедший, потом заплакал, как ребенок, отдал казаку последний мой талер и пустился бегом по валу. В несколько минут я добежал до рощи; между деревьев блеснули русские штыки: это были мои солдаты, которые, построясь для смены, ожидали меня у самого аванпоста. Весь тот день я чувствовал себя нездоровым, на другой слег в постелю и схлебнул такую горячку, что чуть-чуть не отправился на тот свет.

— Поделом, брат! — перервал Зарядьев,— вперед наука!

— И могу вас уверить,— продолжал Двинский,— что эта наука пошла мне впрок. Теперь, когда я веду смену, то иду всегда впереди, как на ученье, перед моим взводом.

— Да так и должно: когда офицеры при своих местах, так и солдаты делают свое дело. Ну что? зачем? — спросил Зарядьев, обратясь к вошедшему ефрейтору.

— Я прислан, ваше благородие, с пикета,— ответил ефрейтор.

— Зачем?

— На плесе показались две лодки, ваше благородие!

— Две лодки?.. с народом?

— Не могу знать, ваше благородие! Темновато; а должно быть, народу немало: лодки большие.

— Верно, опять пробираются с провиантом, в город.

— Никак нет, ваше благородие! они идут прямо на нас от Гданска.

— Что б это значило? Ступай скажи сейчас караульному офицеру, чтоб у людей все ружья были заряжены!

— Слушаю, ваше благородие!

— Постой! часовым окликать каждые две минуты друг друга.

— Слушаю, ваше благородие!

— И полно, братец! — перервал Сборский,—что тебе за радость по пустякам всех тревожить. Тут и спрашивать нечего: это наши сторожевые баркасы или канонерские лодки.

— А почему ты это знаешь?

— Потому, что они беспрестанно разъезжают по взморью, чтоб не пропускать никого с провиантом; это

их дело, а ваше перехватывать только тех, которые пробираются вдоль берега.

— А если это французы? Нет, брат, в военное время дремать не надобно. Ефрейтор! скажи также дежурному по роте, чтоб люди были на всякий случай в готовности и при первой тревоге выходили бы все на сборное место.

— Слушаю, ваше благородие!

— Ступай!

Ефрейтор сделал налево кругом, притопнул ногою и вышел вон из избы.

— Ну, Зарядьев! — сказал Сборский, захохотав во все горло,— как Рославлев пугнул тебя своим Шамбюром: ты, никак, в самом деле думаешь, что он едет к нам в гости.

— А черт его знает! — отвечал Зарядьев, набивая спокойно свою трубку.— Он ли, не он ли, по мне — все равно; главное в том, чтоб нас никто врасплох не застал.

— Добро, добро! Тебя ведь ничем не переуверишь. Ну что ж, Ленский? Теперь твоя очередь каяться. Покорно просим рассказать, где, когда и чего ты изволил струсить.

— Из моей истории,— сказал Ленский,— можно сделать что хочешь: и забавный водевиль, и престрашную мелодраму, только должно признаться, что в обоих случаях роля моя была бы вовсе не завидная; но делать нечего: хоть и стыдно, а пришлось рассказывать. Прошу прислушать.

ГЛАВА V

НОЧЛЕГ В ЛЕСУ

— В сражении под Чашниками я получил сильную контузию ядром и так же, как ты, Сборский, промаялся месяца два в жидовском местечке; но только не дразнил жида, оттого что моим хозяином был польский крестьянин, и не беседовал с французами, потому что квартира моя была в глухом переулке, по которому не проходили ни французы, ни русские. По выздоровлении моем я отправился догонять мою роту и так же, как ты, встречал везде ласковый прием, то есть меня кормили, поили и называли подчас ясновельможным паном. На третий

день моего путешествия мне пришлось, под вечер, ехать дремучим сосновым лесом; на дворе было погодно, попархивал мелкий снежок, и холодный ветер продувал насквозь мой плащ, который некогда был подбит ватою, но протерся так на биваках, что во многих местах был *ожур*. Часа полтора я зябнул молча; наконец вышел из терпения и закричал своему проводнику:

— Да скоро ли мы доедем до ночлега, разбойник!

— А вот как выедем из лесу, пане! — отвечал проводник.

— А скоро ли мы выедем из лесу?

— А вот как переедем длинный мост, пане!

— Да скоро ли мы доедем до моста?

— А вот как подымемся на гору, пане!

— Черт тебя возьми! Да где ж эта гора?

— Не близко, пане! Не то две, не то четыре добрых мили.

Я ужаснулся. И одна *добрая миля* в Польше стóит наших семи верст, а четыре!..

— Да нет ли где-нибудь поблизости господской мызы? — спросил я.

— Як же, пане! вон в стороне, бачишь, бьялу муравянку? *

Я обернулся в ту сторону, на которую проводник указывал своим кнутом, и увидел, что в конце узкой просеки что-то белелось и мелькал огонек.

— Что это? Господской дом? — спросил я.

— Так есть, пане!

— Вези нас туда.

Поляк поворотил в просеку, и чрез несколько минут мы въехали на обширный двор. С полдюжины всякого рода собак подняли ужасный лай, а на крыльцо длинного оштукатуренного флигеля высыпало человек пять или шесть дюжих лакеев. Один из них принял меня под руку из саней и, введя в просторную и весьма чисто убранную столовую, побежал доложить хозяину, что приехал русский офицер. Судя по вежливому приему слуг, я должен был надеяться, что хозяин обойдется со мною очень ласково,— и не ошибся. Двери в гостиную растворились; небольшого роста худощавый старичок выбежал ко мне навстречу с распростертыми объятиями. «Милости просим, дорогой гость! — закричал он по-

---

* Видишь, белый каменный дом? *(пол.)*

русски, обнимая меня с изъявлениями живейшей радости.— Милости просим! Для меня всегда истинный праздник, когда русский офицер заедет в мой дом. Прошу покорно садиться. Да скиньте вашу саблю, отдохните, успокойтесь!» Я стал было извиняться, но ласковый хозяин не дал мне выговорить ни слова, осыпал меня приветствиями и, браня без милосердия французов, твердил беспрестанно: «Защитники, спасители наши! Как нам вас не любить? Если б не вы, мы вовсе бы погибли! Эти злодеи, французы, грабители! Ползлота в кармане не оставили; все обобрали: скот, деньги, вещи; ну верите ль богу! — примолвил он, вынимая из кармана золотую табакерку рублей в шестьсот,— хоть по миру ступай по милости этих варваров: в разор разорили нас бедных!»

«Все это хорошо,— думал я,— но нищий, который нюхает табак из золотой табакерки, верно, найдет, чем покормить своего защитника и спасителя». Прошло около часа, хозяин не унимался хвалить русских офицеров, бранить французов и даже несколько раз, в восторге пламенной благодарности, прижимал меня к своему сердцу, но об ужине и речи не было. Наконец, я решился намекнуть, что русский офицер также может и устать и проголодаться. «Так вы хотите ужинать? — вскричал хозяин.— Что же вы не говорите? Помилуйте! вы здесь у себя дома — приказывайте! Для кого другого, а для вас у меня все найдется. Гей, хлопец!» Вошел слуга; хозяин пошептал ему что-то на ухо и принялся снова осыпать меня вежливостями. Прошло еще с полчаса, и, признаюсь, это словесное угощение начало мне становиться в тягость, тем более что в прищуренных и лукавых глазах хозяина заметно было что-то такое, что совершенно противоречило кроткому его голосу и словам, исполненным ласки и чувствительности. Вошел слуга и доложил, что ужин готов. Мы вышли в столовую. Небольшой круглый стол был накрыт для одного меня; на нем стояла дорогая серебряная миска, два покрытых блюда, также серебряных, два граненых графина с водою, и на фарфоровой прекрасной тарелке лежал маленький ломтик хлеба, так ровно, так гладко и так красиво отрезанный, что можно было им залюбоваться, если б он не был чернее сапожной ваксы. «Не погневайтесь! — сказал хозяин, садясь насупротив меня,— я сам никогда не ужинаю, а признаюсь — люблю смотреть, когда у меня кушают другие. Прошу покорно! — продолжал он, подавая мне глубокую тарелку с супом.— Вы человек военный,

вам не всегда удастся хорошо поужинать. Милости просим! это немецкий васер-суп» *.

Я хлебнул одну ложку... Владыко живота моего! Что это!.. Подогретая мутная вода, в которой не варился даже и картофель. «Кушайте, мой дорогой гость! — повторял хозяин,— подкрепляйте ваши силы — на здоровье! Этот суп отменно питателен». Я не знал, что думать; в голосе этого злодея было такое добродушие, в улыбке — такая простота; но глаза — о, глаза его блистали и вертелись, как у демона! «Я вижу,— продолжал он,— вы не охотники до горячего, так милости прошу нашего польского ростбифа». Он открыл одно блюдо, придвинул его ко мне, и что ж... в нем лежала фунта в три огромная кость, около которой не было и двух золотников мяса. Я вспыхнул от досады; но, поглядев вокруг себя и видя, что я один-одинехонек посреди десяти рослых слуг, которые как истуканы стояли неподвижно вокруг стола, скрепился и промолчал.

— Что ж вы не кушаете, мой почтеннейший? — сказал хозяин.— А, понимаю! Надобно прежде выпить? Конечно, конечно! Хотелось бы мне попотчевать вас хорошим венгерским, да проклятые французы — черт бы их взял! — все до капельки вытянули, но зато у меня есть домашнее пивцо... Не хочу хвастаться — попробуйте сами. Эй, малый! бутылку мартовского пива! — Принесли закупоренную бутылку; хозяин налил большой серебряный стакан и подал мне. Желая знать, как долго будет продолжаться эта мистификация, я выпил полстакана какой-то микстуры, которая походила на русский, разведенный водою квас. Между тем хозяин, наскобля около кости кусочек мяса с грецкий орех, поставил передо мною. Я так был голоден, что, несмотря на злость мою, проглотил этот прием ростбифа и пропустил вслед за ним кусок черного хлеба в одну секунду. «Теперь,— сказал хозяин,— я попотчую вас рыбою из моих прудов. Французы и тут мне наделали пакостей: всех крупных карасей выловили. Что делать? Чем богаты, тем и рады! прошу покорно!» Он открыл последнее блюдо и с дьявольскою улыбкою пододвинул ко мне... нет, черт возьми! это уже из меры вон! один жареный пескарь!.. Я не вытерпел и выскочил из-за стола. «Что это, мой почтеннейший! вы не хотите кушать? А все, чай, от усталости. Когда подумаешь, что вы, господа военные, для нас,

* суп из воды (*нем.*).

мирных граждан, терпите!.. И холод, и голод, и всякую нужду: подлинно, мы не должны и сами ничего для вас жалеть. Но вижу, вы точно устали и хотите отдохнуть».

— Да, сударь! — сказал я прерывающимся от бешенства голосом,— прошу покорно показать мне мою комнату.

— Я сам буду иметь честь проводить вас. Гей, малый! свети!

Мы прошли длинным коридором на другой конец дома; слуга отпер дверь и ввел нас в нетопленую комнату, которую, как заметно было, превратили на скорую руку из кладовой в спальню.

— Помилуйте! — вскричал я,— да здесь замерзнешь!

— Извините, почтеннейший! — отвечал хозяин.— Не смею положить вас почивать в другой комнате: у меня в доме больные дети — заснуть не дадут; а здесь вам никто не помешает. Холода же вы, господа военные, не бойтесь: кто всю зиму провел на биваках, тому эта комната должна показаться теплее бани.

— Но позвольте вам сказать...

— Не хочу мешать вам отдохнуть. Доброго сна, господин офицер! Покойной ночи!

Сказав эти слова, хозяин хлопнул дверью, и я остался один с слугой моим Андреем, у которого постная рожа была еще длиннее моей.

— Что это, сударь? — сказал он, поглядев вокруг себя,— куда это мы попали? Помилуйте! ведь я еще ничего не ел.

— Убирайся к черту! Я сам умираю с голода.

— Как, сударь! так и вас не лучше моего угостили? Меня в кухне все потчевали водою да снесли от вас говяжью кость, на которой и собака ничего бы не отыскала. Это, дискать, твой барин шлет тебе подачку. Разбойники! Эх, сударь, если б мы были здесь с вашей ротою!..

— Если б!.. если б!.. Молчи, дурак!

Андрей замолчал, а я стал раздеваться и, поглядывая на приготовленную для меня постель, думал про себя: «Однако ж этот палач хочет, по крайней мере, чтоб я соснул хорошенько. Тонкое, чистое белье, прекрасное одеяло из белого пике; правда, одна маленькая подушка, но с красивыми кисейными оборками. Так и быть!.. Хоть я и голоден, да зато дам славную высыпку!» Я поторопился лечь; со всего размаха бросился на постелю и так закричал, что Андрей присел от страха.

Представьте себе: под тонкой простыней одни голые доски! Я схватился за бок — слава богу! все ребра целы. Ну, так и быть! Военный человек не привык спать на пуховике: делать нечего — авось как-нибудь засну; к тому ж одна ночь пройдет скоро. Андрей погасил свечу и улегся на высоком окованном сундуке. Не прошло двух минут, как вдруг целое стадо огромных крыс высыпало из всех углов; пошла стукотня, возня, беготня взад и вперед; одна укусила за ногу Андрея, две пробежали по моему лицу.

— Нет! это уже слишком! Андрюшка! — вскричал я как бешеный,— ступай отыщи моего извозчика, вели закладывать: я еду сейчас из этого омута.

— Помилуйте, сударь! Теперь полночь, а мне люди говорили, что здесь в лесу неловко — мародеры... беглые солдаты...

— Вздор! ступай спроси свечу, и чтоб в полчаса нас здесь не было!

В самом деле, чрез полчаса я сидел в санях, двое слуг светили мне на крыльце, а толстый *эконом* объявил с низким поклоном, будто бы господин его до того огорчился моим внезапным отъездом, что не в силах встать с постели и должен отказать себе в удовольствии проводить меня за ворота своего дома; но надеется, однако ж, что я на возвратном пути... Я не дал договорить этому бездельнику.

— Скажи своему господину,— закричал я,— что если мне случится быть в другой раз его гостем, то это будет не иначе как с целою ротою русских солдат. Пошел!

Проводник ударил по лошадям, мы выехали из ворот, и вслед за нами пронесся громкий хохот. «Ах, черт возьми! Негодяй! осмеять таким позорным образом, одурачить русского офицера!» Вся кровь во мне кипела; но свежий ветерок расхолодил в несколько минут этот внутренний жар, и я спросил проводника: нет ли поблизости другой господской мызы? Он отвечал мне, что с полмили от большой дороги живет богатый пан Селява.

— Вези ж меня к этому пану! — сказал я. Поляк повернул в сторону, и мы проселочной дорогой, проложенной сквозь частый лес, который становился все темнее и темнее, выехали через несколько минут на перекресток. Проводник остановил лошадей, призадумался и наконец, пробормотав себе что-то под нос, пустился по узенькой дорожке, которая шла с полверсты влево и потом, поворотя круто в противную сторону, делилась на-

двое. Поляк остановил опять лошадей, снял шапку, почесал в голове и, оборотясь ко мне, спросил: по какой дороге ему ехать?

— Как по какой? — сказал я,— да разве я знаю?

— И я не знаю, пане!

— Вот те раз! — вскричал Андрей,— мы заплутались. Экий болван! не знает сам, куда едет.

— Дали бук так! Цо робить, пане? *

— Ну, делать нечего! — сказал я,— ступай прямо по дороге, авось куда-нибудь выедем.

Мы снова двинулись вперед, лес становился все гуще, дорожка у́же, кругом нас выли волки, я дрожал от холода и, признаюсь, жалел от всей души о прежнем ночлеге. Правда, моя спальня была холодновата, но в лесу еще было холоднее и вместо крыс нас могла атаковать целая стая голодных волков, а все оружие мое состояло в одной сабле. Я начинал уже не на шутку беспокоиться, как вдруг мелькнул между деревьями огонек. Слава богу! вот и приют! Поляк обрадовался, замахал кнутом, и мы выехали на обширную луговину, посреди которой стоял низенький домик, обнесенный высоким частоколом. Ворота были отперты; мы подъехали к крыльцу, и я в провожании моего слуги вошел в переднюю. На простом деревянном столе догорала сальная свечка и слабо освещала стены, увешанные ружьями, пистолетами и ножами. На широкой скамье храпел огромный мужичина в запачканном нагольном тулупе. Свет от пылающего огарка падал прямо ему на лицо. Во всю жизнь мою я не видывал физиономии столь отвратительной и безобразной. Представьте себе красную рожу, изрытую глубокими рябинами, рот до ушей, плоский нос, немного уже рта, невыбритую бороду и рыжие усы, которые, несмотря на величину свою, покрывали только до половины глубокий рубец, или, лучше сказать, яму на правой щеке его, против самой челюсти. Все это вместе составляло такой верх безобразия, что даже мой Андрей, толкая его под бок, не мог удержаться от невольного восклицания: «Экой леший... дьявол!.. Ай да красавец!» При третьем толчке красавец потянулся, зевнул и поднялся на ноги. «Слушай-ка, любезный! — сказал Андрей,— мы с барином заплутались; нельзя ли нам здесь переночевать?»

---

* Ей-богу, так! Что делать, барин? *(пол.)*

Вместо ответа урод вытаращил на нас свои заспанные глаза и промычал, как годовалый бык.

— Ну, проснись, брат! — продолжал Андрей.— Что ты свои буркалы-то на нас вытаращил? Иль не видишь, что барин мой русский офицер?

Поляк кивнул головою и замычал громче прежнего.

— Да полно мычать-то! Тебя спрашивают толком: можно ли нам здесь переночевать?

Поляк раскрыл свою огромную пасть и, показывая на небольшой остаток языка и на свой рубец, провыл жалобным голосом.

— Разве не видишь, что он нем! — сказал я.— Но если он не может говорить сам, то, кажется, понимает, что говорят с ним другие. Послушай, голубчик, нет ли здесь, кроме тебя, кого-нибудь?

Немой кивнул головою и вышел вон. Минуты через три дверь во внутренние комнаты стала понемногу растворяться, и к нам заглянула новая харя, под пару прежней, только без усов и в спальном женском чепце. Я сделал шаг вперед, рожа спряталась, дверь захлопнули, и мы остались опять вдвоем с Андреем. Подождав несколько времени, я решился добиться толку и растворил дверь, которую так невежливо заперли у меня под носом. Слабый свет из передней отразился в одном углу темной комнаты, и я хотя с трудом, но рассмотрел, что он завален рогатинами. Вошел опять немой и, дав нам знак рукою идти за ним, провел через сени в небольшую горенку, в которой стояла кровать и накрытый стол. Наш молчаливый проводник, показав мне на графин с водкою, большое блюдо с холодным жарким, поставил на стол свечу и вышел. «Ого,— подумал я, принимаясь за жаркое,— здесь, видно, лучше прежнего моего хозяина знают русскую пословицу: соловья баснями не кормят».

— Но что за странность? — продолжал я вслух,— куда ни взглянешь, везде оружие. Этот дом настоящий арсенал! Вот и здесь висят пистолеты.

— Только без кремней,— прибавил мой слуга,— а в передней все ружья в исправности. А ножей-то, ножей!.. Ох, сударь!.. мне это что-то подозрительно. Куда это мы с вами запропастились?

— Трус! тебе все мерещатся разбойники. На, ешь да ложись спать; вон, кажется, там и для тебя подкинута постеленка.

— А разве вы не изволите раздеваться?

— Нет! я завернусь в шинель; сосну часика три, а там и в дорогу.

Глаза мои смыкались от усталости; и прежде, чем Андрей окончил свой ужин, я спал уже крепким сном. Не знаю, долго ли он продолжался, только вдруг я почувствовал, что меня будят. Я проснулся — вокруг все темно; подле меня, за дощатой перегородкой, смешанные голоса, и кто-то шепчет: «Тише!.. бога ради, тише! Не говорите ни слова». Это был мой Андрей, который, дрожа всем телом, продолжал мне шептать на ухо: «Ну, сударь, пропали мы!..»

— Что ты говоришь?

— Тише! ради Христа тише!.. Мы у разбойников.

— Как у разбойников?..

— Молчите и слушайте!

Я замолчал и, едва переводя дух, стал внимательно прислушиваться.

— Да, брат, поработали мы сегодня порядком! — говорил кто-то за перегородкой на чистом польском языке.— Нех его вшисцы дьябли везмо!..* Как он возился с нами — насилу угомонили!

— Справились бы вы с ним без меня! — перервал охриплый, отвратительный бас.— Да, да, ребята! если б я не подоспел в пору, так вам бы жутко пришло. А что? каково я хватил его рогатиною? Небось — не промахнулся.

— Воля ваша,— заговорил кто-то довольно приятным голосом,— смейтесь надо мной, если хотите, а я, право, досадую, что пошел к вам в товарищи. Эй, господа! поверьте мне, рано ли, поздно ли, а нам беды не миновать, и что за радость? прибыли мало...

— Да зато потехи много!..— пропищал кто-то тоненьким голоском.

— Хороша потеха! Десятеро на одного. Вспомнить не могу — бедняжка! как он застонал, когда повалился наземь.

— Вот еще какой сердечкин! — перервал охриплый бас с громким хохотом.— Небось ты по головке бы его погладил?

— Да я таки и приласкал его по головке прикладом! — подхватил первый голос.— Экой живущо́й — провал бы его взял! Две пули навылет, рогатина в боку, а

* Чтоб его черти взяли!.. *(пол.)*

все еще шевелился. Е, пан Будинский! посмотри-ка на себя! у тебя руки и все платье в крови! Поди умойся.

— Постой, дай прежде выпить,— отвечал грубый голос.— Гей, водки!

Можете себе представить, каково мне было слушать этот зверский разговор. После минутного молчания тот же бас заревел:

— Что ж водки-та! Гей, панна Казимира! Панна Казимира! ну, поворачивайся проворней!

— Тише, пан! — заговорил женский голос,— вы этак разбудите проезжих.

Меня обдало с головы до ног холодом. «Ну! — подумал я,— доходит и до нас дело».

— Каких проезжих? — спросил тонкий голос.

— Какой-то русский офицер с слугою. Они заплутались и заехали сюда.

— Добро пожаловать! — сказал вполголоса охриплый бас.— Да где же они?

— Вот здесь — за стеною.

Тут голоса притихли. Я приложил ухо к перегородке и с трудом вслушался в несколько отрывистых фраз. Казалось, тот же охриплый бас говорил вполголоса:

— Да, да, Казимира, скажи, чтоб фурмана с лошадьми отпустили; наш гость завтра не поедет.

— Слышите ль, сударь? — шепнул Андрей дрожащим голосом.

— Мы угостим его по-своему! — продолжал бас.— Пойдемте отсюда, братцы. Ян! как съедут со двора, ворота запереть и спустить собак.

«Хорошо угощенье!» — подумал я, чувствуя во всем теле что-то похожее на лихорадочный озноб.

— Ну, сударь! — сказал Андрей, когда все утихло за перегородкою.

— Да, мой друг! нет сомненья: мы у разбойников.

— Что нам делать?

— Спасаться, пока еще можно.

— Но как, сударь? Весь дом набит людьми.

— Подождем, пока все улягутся.

— А если ворота будут заперты?

— Мы перелезем через забор. Но молчи! если догадаются, что мы не спим...

— Боже сохрани! тут нам и карачун.

Прошло с полчаса; наш проводник съехал со двора, ворота заперли, и, казалось, кругом нас все затихло.

Андрей отворил потихоньку дверь, заглянул в сени: в них не было никого. Я надел шинель, подпоясался шарфом и, держа в руках обнаженную саблю, вышел вместе с ним на крыльцо. Начинало уже светать; окинув быстрым взглядом весь двор, я заметил, что в одном углу забора недоставало нескольких частоколин и можно было без труда пролезть в отверстие. Кругом дремучий лес; если успеем до него добраться — мы спасены. Потихоньку, почти ползком, мы прокрались вдоль стены к углу дома. Забор от нас в пяти шагах... еще несколько минут, и мы на свободе!.. Вдруг две огромные меделянские собаки бросаются к нам навстречу... Я был впереди и успел выскочить в отверстие. Но бедный Андрей — ах! я слышал его отчаянный крик, который сливался с лаем собак и громкими голосами людей, выбегающих из дома. Я мог остаться, мог умереть вместе с ним; но спасти его было невозможно. А если мне посчастливится уйти от разбойников, то в первой деревне я найду помощь, ворочусь с вооруженными людьми и, может быть, застану его еще в живых. Вот что думал я, спеша добежать до лесу. Я был уже на половине дороги, как вдруг слышу позади себя близкий лай; оглядываюсь — о ужас!.. За мной гонится одна из собак. Я собираю все мои силы — не бегу, а лечу... страх — да, господа, признаюсь — страх придает мне крылья. Вот уже я в лесу — бегу куда глаза глядят, перепрыгиваю через кусты, колоды, валежник... Проклятая собака как тень следует за мною; она уже в двух шагах; я слышу ее удушливое дыхание... Принужденный защищаться, я останавливаюсь и, прислонясь к толстому дереву, начинаю отмахиваться моею саблею. Злобная собака вертится, прыгает вокруг меня. Ужасный рев ее раздается по всему лесу, и пена бьет клубом из ее открытой пасти. Несколько раз я пытался нападать на нее сам, но всякий раз без успеха; казалось, она отгадывала вперед все мои движения: то бросалась в сторону, то отскакивала назад, и все сабельные мои удары падали на безвинные деревья и кусты. Наконец зло взяло и меня... Я бешусь, рублю сплеча во все стороны: кругом меня справа и слева летят щепы, а проклятая собака целехонька и час от часу становится неотвязчивее.

— Постой-ка! — прервал Зарядьев.— Посмотрите, господа! Что это такое — вон там за кустами?

— Где? — спросил Сборский, взглянув в окно.

— Ну, вон! против нашей квартиры.

— Я ничего не вижу.

— И я теперь не вижу ничего, а право, мне показалось, что там мелькнуло что-то похожее на штык.

— И полно, братец! Тебе все чудятся штыки да ружья! Нужно было перервать Ленского в самом интересном месте. И тебе охота его слушать? Рассказывай, братец!

Зарядьев, не отвечая ничего, продолжал смотреть в окно, а Ленский начал снова:

— Более четверти часа продолжался этот неравный бой; я начал уставать, сабля едва держалась в ослабевшей руке моей. Вдруг послышались шаги поспешно идущих людей; собака, почуяв приближающуюся к ней помощь, ощетинилась, заревела, как тигр, и кинулась мне прямо на грудь. Я опустил саблю, но удар пришелся плашмя и не сделал ей никакого вреда; а собака, вцепясь зубами в мою шинель, прижала меня плотно к дереву. Вокруг меня загремели голоса: «Сюда! сюда! он здесь!.. вот он!» — и человек шесть с фонарями выбежали из-за кустов. Сердце у меня замерло, руки опустились, и я должен вам признаться, что в эту решительную минуту страх был единственным моим чувством. Но прошу не очень забавляться на мой счет: погибнуть на поле чести, среди своих товарищей, или умереть безвестной смертию, под ножами подлых убийц... Да, господа, кто не испытал этой чертовской разницы, тот не может и не должен смеяться надо мною.

Разбойники, вместо того чтоб воспользоваться беззащитным моим положением, стащили с меня собаку. Чувство свободы возвратило мне всю мою бодрость.

— Злодеи! — закричал я,— чего вы от меня хотите? Все, что я имею, осталось у вас; а если вам нужна жизнь моя...

— Господин офицер! — перервал кто-то знакомым уже для меня хриплым басом,— вы ошибаетесь: мы не разбойники.

— Не разбойники?.. А мой несчастный слуга?..

— Я здесь, сударь! — закричал Андрей, выступя из толпы.

— Да, господин офицер! — продолжал тот же басистый незнакомец,— мы точно не разбойники; а чтоб вернее вам это доказать, честь имею представить вам здешнего капитан-исправника.

«Плохое доказательство!» — подумал бы я в другое время, но в эту минуту мне было не до шуток.

— Позвольте мне рекомендовать себя,— сказал тоненьким голосом сухощавый и длинный мужчина.

— Что ж значит,— спросил я, не выпуская из рук моей сабли,— этот уединенный дом, оружие?..

— Это мой охотничий хутор,— подхватил толстоголосый господин,— а я сам здешний поветовый маршал, помещик Селява; мое село в пяти верстах отсюда...

— Возможно ли?.. Но разговор, который я слышал: убийство... кровь...

— О! в этом уголовном преступлении мы запираться не станем,— запищал исправник,— мы нынче ночью били медведя.

— Медведя?..

— Да, господин офицер! — прибавил пан Селява,— и если вам угодно на него взглянуть... диковинка! Медведище аршин трех, с проседью...

— А для чего вы услали моего проводника?

— Для того, чтоб иметь удовольствие удержать вас завтра у себя, а послезавтра на своих лошадях доставить на первую станцию.

Не знаю сам, какое чувство было во мне сильнее: радость ли, что я попал к добрым людям вместо разбойников, или стыд, что ошибся таким глупым и смешным образом. Я от всей души согласился на желание пана Селявы; весь этот день пропировал с ним вместе и не забуду никогда его хлебосольства и ласкового обхождения. На другой день...

— Что это? — вскричал Зарядьев.

Вдруг раздался выстрел; ружейная пуля, прорезав стекло, ударила в медный подсвечник и сшибла его со стола.

— Что это значит? — спросил Сборский.— Еще!..

— Французы! Французы!..— закричала хозяйка, вбегая в комнату.

Офицеры бросились опрометью вон из избы. Хозяйка кинулась вслед за ними, заперла ключом дверь и спряталась в погреб. Все это сделалось в течение какой-нибудь полуминуты и прежде, чем Зарядьев успел выдраться из-под стола, который во время суматохи опрокинулся на его сторону. Меж тем французы зажгли один крестьянский дом, рассыпались по улице, и пальба беспрестанно усиливалась. Зарядьев старался выломать дверь, как полоумный бросался из угла в угол, каждый выстрел попадал ему прямо в сердце. «Боже мой! Боже мой!..— кричал он,— если б я мог!..» Он схватил стул,

вышиб раму и кинулся в окно. Но бедный капитан забыл в суетах о своем майорском чреве: высунувшись до половины в окно, он завяз и, несмотря на все свои усилия, не мог пошевелиться. Пули с визгом летали по улице, свистели над его головою, но ему было не до них; при свете пожара он видел, как неприятельские стрелки бегали взад и вперед, стреляли по домам, кололи штыками встречающихся им русских солдат, а рота не строилась... «К ружью! выходи! — кричал во все горло Зарядьев, стараясь высунуться как можно более.— Я вас, негодные!.. Завтра же фельдфебеля в солдаты — я дам ему знать!.. Ну, слава богу!.. Залп! другой! Живей, ребята!.. живей! вот так! Стрелки, вперед!.. Катай их, разбойников!»

Но не один Зарядьев кричал как сумасшедший: французский офицер, в гусарском мундире, с подвязанной рукой, бегал по улице и командовал во весь голос, как на ученье: «Feu, mes enfants — feu! visez bien!.. aux officiers! En avant!..» * Несколько минут продолжалась эта ужасная суматоха; наконец большая часть роты выстроилась на сборном месте; Двинский и другие офицеры ударили с нею на французов, и началась упорная перестрелка. Неприятели стали подаваться назад, вдруг сделали залп и бросились в кусты. Двинский скомандовал вперед; но из-за кустов посыпались пули, и он должен был снова приостановиться. Перестрелка стала утихать, наши стрелки побежали в кусты; мимоходом захватили человек пять отсталых неприятелей и, добежав до морского берега, увидели две лодки, которые шли назад, в Данциг, и были уже вне наших выстрелов. Офицеры поспешили возвратиться скорей в деревню, помочь обывателям тушить пожар.

— Ах, черт возьми! — сказал Сборский, подходя к деревне,— какой нечаянный визит, и, верно, это проказит Шамбюр. Однако ж, господа! куда девался наш капитан?

— Я слышал его голос,— отвечал Двинский,— а самого не видал.

— Уж не убит ли он?.. Но что это за крик?

Офицеры и человек десять солдат побежали на голос, и что ж представилось их взорам? Зарядьев, в описанном уже нами положении, бледный как смерть, кри-

---

* Огонь, ребята, огонь! цельтесь хорошенько!.. по офицерам! Вперед! *(фр.)*

чал отчаянным голосом: «Помогите, помогите!.. горю!» Офицеры кинулись в избу, выломили дверь, и густой дым столбом повалил им навстречу. Позади несчастного капитана пылал опрокинутый стол; во время тревоги никто не заметил, что свеча, которую сшибло пулею с стола, не погасла; от нее загорелась скатерть; а как тушить было некому, то вскоре весь стол запылал. Тотчас залили огонь; но гораздо труднее было протащить назад в избу Зарядьева, который напугался до того, что продолжал реветь в истошный голос даже и тогда, когда огонь был потушен. Кой-как толстый капитан выдрался из окна; минуты две смотрел он на всех молча, хватал себя за ноги и ощупывал подошвы, которые почти совсем прогорели.

— Тьфу, батюшки! — сказал он наконец,— ну оказия! ух! опомниться не могу!.. Эй, трубку!

— Что, брат? — сказал Сборский,— не за тобой ли теперь очередь рассказывать историю твоего испуга?

— Чего тут рассказывать: разве вы не видели? Провал бы его взял! Ведь это был разбойник Шамбюр.

— Пленные говорят, что он,— сказал Двинский.

— И, дурачье! не умели его подстрелить — ротозеи!.. Где мой кисет?

— Спасибо Шамбюру,— перервал Сборский,— теперь не станешь перед нами чваниться. Что, чай, скажешь, не струсил?

— Не струсил! — повторил Зарядьев сквозь зубы, набивая свою трубку.— Нет, брат; струсишь поневоле, как примутся тебя жарить маленьким огоньком и начнут с пяток. Что ты, Демин? — продолжал капитан, увидя вошедшего унтер-офицера.

— Дежурный по роте, ваше благородие! Сейчас делали перекличку: убитых поднято пять, да ранено двенадцать рядовых и один унтер-офицер.

— Кто? — спросил Зарядьев.

— Я, ваше благородие!

— Во что?

— В правую руку.

— Ах, боже мой,— вскричал Сборский,— у него вся кисть раздроблена, а он даже и не морщится!

— Верно, сгоряча не чувствуешь? — спросил Ленский.

— Никак нет, ваше благородие! больно мозжит.

— Что ж ты нейдешь к лекарю? — закричал Зарядьев.— Пошел скорей, дурак!

— Слушаю, ваше благородие! — Демин сделал налево кругом и вышел вон из избы.

— А где Рославлев? — спросил Сборский.

— Я его не видел, — ответил Ленский.

— И я, — прибавил Двинский.

— Ах, боже мой! — вскричал Сборский, — теперь я вспомнил: мы ушли задними воротами, а он прямо выскочил на улицу.

— Уж не убит ли он? — сказал Зарядьев.

— Сохрани боже!.. Но, может быть, он тяжело ранен и лежит теперь где-нибудь без всякой помощи. Эй, хозяйка! фонарь! За мной, господа! Бедный Рославлев!

Все офицеры выбежали из избы; к ним присоединилось человек пятьдесят солдат. Место сражения было не слишком обширно, и в несколько минут на улице все уголки были обшарены. В кустах нашли трех убитых неприятелей, но Рославлева нигде не было. Наконец вся толпа вышла на морской берег.

— Вот где они причаливали, — сказал Ленский. — Посмотрите! второпях два весла и багор забыли. А это что белеется подле куста?

Зарядьев наклонился и поднял белую фуражку.

— Кавалерийская фуражка! — закричал Сборский. — Она была на Рославлеве, когда мы выбежали из избы; но где же он?

— Если жив, — ответил Двинский, — так недалеко теперь от Данцига.

— Он в плену! Бедный Рославлев!

— Эх, жаль!.. — сказал Ленский, — в Данциге умирают с голода, а он, бедняжка, не успел и перекусить с нами! Ну, делать нечего, господа, пойдемте ужинать.

ГЛАВА VI

Данцигские жители, а особливо те, которые не были далее пограничного с ними прусского городка Дершау, говорят всегда с заметною гордостию о своем *великолепном* городе; есть даже немецкая песня, которая начинается следующими словами: «О Данциг, о Данциг, о чудесно красивый город!» * И когда речь дойдет до главной площади, называемой Ланг-Газ, то восторг их превращался в совершенное исступление. По их сло-

* «O Danzig, o Danzig, o wunderschöne Stadt». *(Примеч. автора.)*

вам, нет в мире площади прекраснее и величественнее этой, потому что она застроена со всех сторон отличными зданиями, которые хотя и походят на карточные домики, но зато высоки, пестры и отменно фигурны. Конечно, эта обширная площадь не длиннее ста шагов и гораздо уже всякой широкой петербургской или берлинской улицы, но в сравнении с коридорами и ущелинами, которые данцигские жители не стыдятся называть улицами и переулками, она действительно походит на что-то огромное, и если б средину ее не занимал чугунный Нептун на дельфинах, из которых льется по праздникам вода, то этот Ланг-Газ был бы, без сомнения, гораздо просторнее московского Екзерцир-гауза!

Над дверьми одного из угóльных домов сей знаменитой площади красивая вывеска с надписью на французском языке извещала всех прохожих, что тут помещается лучшая кондитерская лавка в городе, под названием: «Café Français»*. Внутри, за налощенным ореховым прилавком, сидела худощавая мадам в розовой гирлянде и крупном янтарном ожерелье. Она с приметным горем посматривала на пустые шкапы своей лавки, в которых, вероятно также вроде вывески, стояли два огромные паштета из картузной бумаги. При входе каждого нового посетителя мадам вежливо привставала и спрашивала с нежной улыбкою: «Ке фуле-фу, монсье? — Чего вам угодно, сударь?» Обыкновенно требования ограничивались чашкой кофея или шоколада; но о хлебе, кренделях, сухарях и вообще о том, что может утолять голод, и в помине не было.

В одном углу комнаты, за небольшим столом, пили кофей трое французских офицеров, заедая его порционным хлебом, который принесли с собою. Один из них, с смуглым лицом, без руки, казался очень печальным; другой, краснощекой толстяк, прихлебывал с расстановкою свой кофей, как человек, отдыхающий после сытного обеда; а третий, молодой кавалерист, с веселой и открытой физиономиею, обмакивая свой хлеб в чашку, напевал сквозь зубы какие-то куплеты. Поодаль от них сидел, задумавшись, подле окна молодой человек, закутанный в серую шинель; перед ним стояла недопитая рюмка ликера и лежал ломоть черствого хлеба.

— Перестанешь ли ты хмуриться, Мильсан? — сказал, допив свою чашку, краснощекий толстяк.

---

* «Французское кафе» *(фр.)*.

— Да чему прикажете мне радоваться? — отвечал безрукий офицер.— Не тому ли, что мне вместо головы оторвало руку?

— Ну, право, ты не француз! — продолжал толстый офицер,— всякая безделка опечалит тебя на несколько месяцев. Конечно, досадно, что отпилили твою левую руку; но зато у тебя осталась правая, а сверх того полторы тысячи франков пенсиона, который тебе следует...

— И за которым мне придется ехать в луну? — перервал Мильсан.

— Нет, не в луну, а в Париж. Император никогда не забывал награждать изувеченных на службе офицеров.

— Император! Да! ему теперь до этого; после проклятого сражения под Лейпцигом...

— Да что ты, Мильсан, веришь русским? — вскричал молодой кавалерист,— ведь теперь за них мороз не станет драться; а бедные немцы так привыкли от нас бегать, что им в голову не придет порядком схватиться — и с кем же?.. с самим императором! Русские нарочно выдумали это известие, чтоб мы скорей сдались. Ils sont malins ces barbares! * Не правда ли, господин Папилью? — продолжал он, относясь к толстому офицеру.— Вы часто бываете у Раппа и должны знать лучше нашего...

— Да,— отвечал Папилью,— я и сегодня обедал у его превосходительства. Черт возьми, где он достал такого славного повара? Какой бивстекс сделал нам этот бездельник из лошадиного мяса!.. Поверите ли, господин Розенган...

— Не об этом речь,— перервал кавалерист,— что говорит генерал о лейпцигском сражении?

— Он говорит, что это может быть неправда, и велел даже взять под арест флорентийского купца, который дней пять тому назад рассказывал здесь с такими подробностями об этом деле.

— Как! Вот этого чудака, который ходил со мною на Бишефсберг для того только, чтоб посмотреть, как русские действуют против наших батарей?

— Да, его.

— Эх, жаль! он презабавный оригинал. Мы, кажется, с Шамбюром не трусы; но недолго пробыли на верхней батарее, которую, можно сказать, осыпало неприятельскими ядрами, а этот чудак расположился на ней

---

* Они хитры, эти варвары! *(фр.)*

как дома; закурил трубку и пустился в такие разговоры с нашими артиллеристами, что они рты разинули, и что всего забавнее — рассердился страх на русских, и знаете ли за что?.. За то, что они мало делают нам вреда и не стреляют по нашим батареям навесными выстрелами. Шамбюр, у которого голова также немножко наизнанку, без памяти от этого оригинала и старался всячески завербовать его в свою адскую роту; но господин купец отвечал ему преважно: что он мирный гражданин, что это не его дело, что у него в отечестве жена и дети; принялся нам изъяснять, в чем состоят обязанности отца семейства, как он должен беречь себя, дорожить своею жизнию, и кончил тем, что пошел опять на батарею смотреть, как летают русские бомбы.

— А знаете ли,— сказал толстый офицер,— что этот храбрец очень подозрителен? Кроме одного здешнего купца Сандерса, никто его не знает, и генерал Рапп стал было сомневаться, точно ли он итальянский купец; но когда его привели при мне к генералу, то все ответы его были так ясны, так положительны; он стал говорить с одним итальянским офицером таким чистым флорентийским наречием, описал ему с такою подробностию свой дом и родственные свои связи, что добрый Рапп решился было выпустить его из-под ареста; но генерал Дерикур пошептал ему что-то на ухо, и купца отвели опять в тюрьму.

— Жаль, если надобно будет его расстрелять,— сказал кавалерийский офицер.

Вдруг раздался ужасный треск; брошенная из траншей бомба упала на кровлю дома; черепицы, как дождь, посыпались на улицу. Пробив три верхние этажа, бомба упала на потолок той комнаты, где беседовали офицеры. Через несколько секунд раздался оглушающий взрыв, от которого, казалось, весь дом поколебался на своем основании.

— Гер Иезус! — закричала мадам.

— Проклятые русские! — сказал кавалерийский офицер, стряхивая с себя мелкие куски штукатурки, которые падали ему на голову.— Пора унять этих варваров!

— Тише, Розенган! — шепнул Мильсан, — зачем оскорблять этого пленного офицера?

Кавалерист оборотился к окну, подле которого сидел молодой человек в серой шинели; казалось, взрыв бомбы нимало его не потревожил. Задумчивый и неподвиж-

ный взор его был устремлен по-прежнему на одну из стен комнаты, но, по-видимому, он вовсе не рассматривал повешенного на ней портрета Фридерика Великого.

— Что вы так задумались? — спросил его кавалерийский офицер.— Не хотите ли, господин Рас... Рос... Рис... pardon!.. никак не могу выговорить вашего имени; не хотите ли выпить с нами чашку кофею?

— Да, да, monsieur Рославлев,— подхватил толстый Папилью,— милости просим к нам поближе.

Рославлев отвечал учтивым поклоном на приглашение офицеров, но остался на прежнем месте.

— Мне кажется, он мог бы быть повежливее,— сказал вполголоса и с досадою кавалерист,— когда мы делаем ему честь... l'impertinent! *

— Фи, Розенган! — перервал безрукий офицер,— как тебе не стыдно! Надобно уважать несчастие во всяком, а особливо в пленном неприятеле. Неужели ты не чувствуешь, как ему тяжело слушать наши разговоры, а особливо когда ты примешься описывать бессмертные подвиги императорской гвардии? Вчера он побледнел, слушая твой красноречивый рассказ о нашем переходе через Березину. По твоим словам, на каждого французского гренадера было по целому полку русских солдат. Послушай, Розенган! когда дело идет о нашей национальной славе, то ты настоящий гасконец. Конечно, нам весело тебя слушать; а каково ему?

— А, Рено! bonjour, mon ami! — закричал Папилью, идя навстречу к жандармскому офицеру, который вошел в кофейную лавку.— Ну, нет ли чего-нибудь новенького?

— Покамест ничего,— отвечал жандарм, окинув беглым взором всю комнату.— А! он здесь,— продолжал Рено, увидев Рославлева.— Ведь, кажется, этот пленный офицер говорит по-французски?

— Да! — отвечал Папилью,— так что ж?

— А вот что: мне дано не слишком приятное поручение — я должен отвести его в тюрьму.

— В тюрьму? за что?

— По городу распространились очень невыгодные для нас слухи; говорят, что большая армия совершенно истреблена. Это может сделать весьма дурное впечатление на весь гарнизон.

— Да что ж общего между этим ложным известием и этим пленным офицером?

* нахал! (*фр.*)

— Его превосходительство генерал Рапп уверен, что эти слухи распространяют пленные офицеры; а как всего вероятнее, что те из них, которые говорят по-французски, имеют к этому более способов...

— А, понимаю! Впрочем, кажется, этого пленного офицера нельзя упрекнуть в многоречии: он почти всегда молчит.

— Быть может, но я должен отвести его в тюрьму. Впрочем, на это есть и другие причины,— прибавил жандарм значительным голосом.

— Право? не можете ли вы мне сказать?

— Вот изволите видеть: это небольшая хитрость, придуманная генералом Дерикуром; и признаюсь — выдумка прекрасная! Она сделала бы честь не только начальнику штаба, но даже и нашему брату жандарму. Вы знаете, что по приказанию Раппа сидит теперь в тюрьме какой-то флорентийский купец; не знаю почему, генерал Дерикур подозревает, что он русский шпион. Чтоб как-нибудь увериться в этом, он придумал запереть вместе с ним этого пленного офицера, а мне приказал подслушивать их разговоры. Если купец действительно русский, то не может быть, чтоб у него не вырвалось в течение нескольких часов слова два или три русских. Желание поговорить на своем природном языке так натурально; а сверх того, ему в голову не придет, что в одном углу тюрьмы сделано отверстие вроде Дионисьева уха и что каждое их слово, даже шепотом сказанное, будет явственно слышно в другой комнате.

— Вот что? Ну, в самом деле прекрасная выдумка! Я всегда замечал в этом Дерикуре необычайные способности; однако ж не говорите ничего нашим молодым людям; рубиться с неприятелем, брать батареи — это их дело; а всякая хитрость, как бы умно она ни была придумана, кажется им недостойною храброго офицера. Чего доброго, пожалуй, они скажут, что за эту прекрасную выдумку надобно произвесть Дерикура в полицейские комиссары.

— Неужели? Знаете ли, что это отзывается каким-то либерализмом, который совершенно противен духу нашего правления, и если император не возьмет самых строгих мер...

— Император! Да известно ли вам, как эти господа о нем поговаривают? Конечно, они и теперь готовы за него и в огонь и в воду; но, признаюсь, я уж давно не замечаю в них этой безусловной покорности, этого все-

гдашнего удивления к каждому его действию. Представьте себе: они даже осмеливаются иногда осуждать его распоряжения. Вот несколько дней тому назад один из них — я не назову его; я не доносчик — имел дерзость сказать вслух, что император дурно сделал, ввезя в Россию на несколько миллионов фальшивых ассигнаций, и что никакие политические причины не могут оправдать поступка, за который во всех благоустроенных государствах вешают и ссылают на галеры.

— Тише! Бога ради тише! Что вы? Я не слышал, что вы сказали... не хочу знать... не знаю... Боже мой! до чего мы дожили! какой разврат! Ну что после этого может быть священным для нашей безумной молодежи? Но извините: мне надобно исполнить приказание генерала Дерикура. Милостивый государь! — продолжал жандарм, подойдя к Рославлеву,— на меня возложена весьма неприятная обязанность; но вы сами военный человек и знаете, что долг службы... не угодно ли вам идти со мною?

— Куда, сударь? — спросил спокойно Рославлев, вставая со стула.

— Некоторые ложные слухи, распускаемые по городу врагами французов, вынуждают генерала Раппа прибегнуть к мерам строгости, весьма неприятным для его доброго сердца. Всех пленных офицеров приказано держать под караулом.

— Для чего не в цепях? — прибавил с горькою улыбкою Рославлев,— это еще будет вернее; а то, в самом деле, мы можем перепрыгнуть через городской вал и уйти из крепости.

В ту самую минуту, как Рославлев сбирался идти за жандармом, вбежал в комнату молодой человек лет двадцати двух, в богатом гусарском мундире и большой медвежьей шапке; он был вооружен не саблею, а коротким, заткнутым за пояс трехгранным кинжалом; необыкновенная живость изображалась на его миловидном лице; небольшие закрученные кверху усы и *эспаниолетка* придавали воинственный вид его выразительной, но несколько женообразной физиономии. С первого взгляда можно было заметить, что он действовал одной левой рукою, а правая казалась как будто бы приделанною к плечу и была без всякого движения.

— Здравствуйте, monsieur Волдемар! — сказал он, переступя через порог.— Куда вы?

— Куда вы, верно, со мной не пойдете, Шамбюр! —

отвечал Рославлев, приостановясь на минуту.— Меня ведут в тюрьму.

— Как! — вскричал Шамбюр,— в тюрьму? зачем?.. за что?..

— Спросите у этого господина.

— Что это значит, Рено? — сказал Шамбюр, остановя жандарма.— Что такое сделал Рославлев?

— Надеюсь, ничего, за что бы он мог отвечать, это одна мера осторожности. Какие-то ложные слухи тревожат гарнизон, а как, вероятно, их распускают по городу пленные офицеры...

— Почему вы это думаете?

— Так думает генерал Рапп; я исполняю только его приказание.

— Неправда, сударь, не его! Генерал Рапп бьет без пощады вооруженных неприятелей, но никогда не станет тиранить беззащитных пленных. Говорите правду, от кого вы получили приказание посадить его в тюрьму.

— Я не обязан вам давать отчета, господин Шамбюр!

— Однако ж дадите! — вскричал гусар, и глаза его засверкали.— Знаете ли вы, господин жандарм, что этот офицер мой пленник? я вырвал его из средины русского войска; он принадлежит мне; он моя собственность, и никто в целом мире не волен располагать им без моего согласия.

— Что вы, Шамбюр! — перервал Папилью,— господин Рославлев военнопленный, и начальство имеет полное право...

— Нет, черт возьми! Нет! — вскричал Шамбюр, топнув ногою,— я не допущу никого обижать моего пленника: он под моей защитой, и если бы сам Рапп захотел притеснять его, то и тогда — cent mille diables! * — да, и тогда бы я не дал его в обиду!

— Успокойтесь, любезный Шамбюр, —сказал Рославлев,— вы не должны противиться воле вашего начальства.

— Так пусть же оно докажет мне, что вы виноваты. Вы живете со мною, я знаю вас. Вы не станете употреблять этого низкого средства, чтоб беспокоить умы французских солдат; вы офицер, а не шпион, и я решительно хочу знать: в чем вас обвиняют?

— Это может вам объяснить его превосходительство господин Рапп, а не я,— сказал Рено,— а между тем про-

* сто тысяч чертей! *(фр.)*

шу вас не мешать мне исполнять мою обязанность; в противном случае — извините! я вынужден буду позвать жандармов.

— Жандармов! Sacré mille tonnerres! * Стращать Шамбюра жандармами! — проговорил прерывающимся от бешенства голосом Шамбюр.

— Не дурачься, Шамбюр,— подхватил Розенган, заметя, что вспыльчивый гусар схватился левой рукой за рукоятку своего кинжала. Папилью и Мильсан подошли также к Шамбюру и стали его уговаривать.

— Хорошо, господа, хорошо! — сказал он наконец,— пускай срамят этой несправедливостию имя французских солдат. Бросить в тюрьму по одному подозрению беззащитного пленника,— quelle indignité! ** Хорошо, возьмите его, а я сейчас поеду к Раппу: он не жандармский офицер и понимает, что такое честь. Прощайте, Рославлев! Мы скоро увидимся. Извините меня! Если б я знал, что с вами будут поступать таким гнусным образом, то велел бы вас приколоть, а не взял бы в плен. До свиданья!

Рославлев и Рено вышли из кафе и пустились по Ланг-Газу, узкой улице, ведущей в предместье, или, лучше сказать, в ту часть города, которая находится между укрепленным валом и внутреннею стеною Данцига. Они остановились у высокого дома с небольшими окнами. Рено застучал тяжелой скобою; через полминуты дверь заскрипела на своих толстых петлях, и они вошли в темные сени, где тюремный страж, в полувоинственном наряде, отвесив жандарму низкий поклон, повел их вверх по крутой лестнице.

— Чтоб вам не было скучно,— сказал Рено,— я помещу вас вместе с одним итальянским купцом; он человек умный, много путешествовал, и разговор его весьма приятен. К тому ж вам будет полная свобода; в вашей комнате все стены капитальные: вы можете шуметь, петь, кричать — одним словом, делать все, что вам угодно; вы этим никого не обеспокоите, и даже, если б вам вздумалось,— прибавил с улыбкою Рено,— сделать этого купца поверенным каких-нибудь сердечных тайн, то не бойтесь: никто не подслушает имени вашей любезной.

Тюремщик отворил дубовую дверь, окованную железом, и они вошли в просторную комнату с одним окном.

---

* Гром и молния! *(фр.)*

** какая гнусность! *(фр.)*

В ней стояли две кровати, небольшой стол и несколько стульев. На одном из них сидел человек лет за тридцать, в синем сюртуке. Лицо его было бледно, усталость и совершенное изнурение сил ясно изображались на впалых щеках его; но взор его был спокоен и все черты лица выражали какое-то ледяное равнодушие и даже бесчувственность.

— Вот ваш товарищ,— сказал жандарм Рославлеву,— познакомьтесь!

Рославлев сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но слова замерли на устах его: он узнал в итальянском купце артиллерийского офицера, с которым готов был некогда стреляться в Царскосельском зверинце.

— Я очень рад, что буду иметь такого любезного товарища,— сказал купец, устремив свой неподвижный взор на Рославлева.— Может быть, мы где-нибудь и встречались; но я уверен, что вы меня теперь не узнаете: в тюрьме не хорошеют.

Рославлеву нетрудно было понять настоящий смысл этой фразы; он отвечал вежливо, что, кажется, видел его однажды в французском кафе, и, не продолжая разговора, расположился молча на другом стуле.

Рено, сказав Рославлеву, что он надеется скоро видеть его свободным, вышел из комнаты; дверь захлопнулась, и через несколько секунд глубокая тишина воцарилась кругом заключенных. Рославлев хотел начать разговор с своим товарищем; но он прижал ко рту палец и, помолчав несколько времени, сказал по-французски:

— Если не ошибаюсь, вы офицер прусской службы?

— Извините! — отвечал Рославлев, не понимая причины этой чрезмерной осторожности,— я русский офицер.

— Русский? И недавно в плену?

— Более двух недель.

— Следовательно, известие о лейпцигском сражении пришло после вас, и вы не знаете ничего достоверного?

— Ничего.

— Это жаль. Если действительно сражение проиграно французами, то курс должен упасть; следовательно, дела моих лейпцигских корреспондентов в худом положении. Впрочем, это, может быть, одни пустые слухи. Наполеон не мог сражаться с стихиями; но там, где они не против него, где ничто не мешает движениям войск, может ли победа остаться на стороне его неприятелей? Не подосадуйте на мою откровенность, а мне кажется,

что русские напрасно не остались дома: обширные степи и вечные льды — вот что составляет истинную силу России. Ваше дело обороняться, а не нападать. Но извините: мне необходимо кончить небольшой коммерческий расчет, который я делаю здесь на просторе. Надобно быть готовым на всякий случай, и если в самом деле курс на итальянские векселя должен упасть в Лейпциге, то не худо взять заранее свои меры.

Купец вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и принялся писать. Рославлев глядел на него с удивлением. Он не мог сомневаться, что видит перед собою старинного своего знакомца, того молчаливого офицера, который дышал ненавистию к французам, но в то же самое время не постигал причины, побуждающей его изъясняться таким странным образом.

— Потрудитесь взглянуть,— сказал этот чудак, подавая Рославлеву клочок бумаги,— я не слишком на себя надеюсь, голова моя что-то очень тяжела; если б вы сделали мне милость и проверили мои итоги?

Рославлев бросил быстрый взгляд на исписанную кругом бумажку и прочел следующее: «Будьте осторожны: нас, верно, подслушивают. Рапп подозревает, что я русский; одно слово на этом языке может погубить меня. Я не боюсь смерти, но желал бы умереть, не доставя ни одной минуты удовольствия французам; а эти негодяи очень обрадуются, когда узнают, кто у них в руках. Во сне я всегда брежу вслух и, разумеется, по-русски. Вот уж три ночи я не сплю; чувствую, что не в силах долее бороться с самим собою; при вас я могу заснуть. Лишь только вы заметите, что я хочу говорить,— зажмите мне рот, будите меня, толкайте, бейте, только бога ради не давайте выговорить ни слова. Вас, верно, прежде моего выпустят из тюрьмы. Ступайте на Театральную площадь; против самого театра, в пятом этаже высокого красного дома, в комнате под номером шестым, живет одна женщина, она была отчаянно больна. Если вы ее застанете в живых, то скажите, что итальянский купец Дольчини просит ее сжечь бумаги, которые он отдал ей под сохранение».

Когда Рославлев перестал читать, товарищ его взял назад бумажку, разорвал на мелкие части и проглотил; потом бросился на постелю и в ту же самую секунду заснул мертвым сном.

Более трех часов сряду сидел Рославлев подле спящего, который несколько раз принимался бредить. Рос-

лавлев не будил его, но закрывал рукою рот и мешал явственно выговаривать слова. Вдруг послышались скорые шаги по коридору, который вел к их комнате. Рославлев начал будить своего товарища. После нескольких напрасных попыток ему удалось наконец растолкать его; он вскочил и закричал охриплым голосом по-русски:

— Что, что такое? Французы? Режь их, разбойников! — Глаза его блистали, волосы стояли дыбом, и выражение лица его было так ужасно, что Рославлев невольно содрогнулся.

— Опомнитесь! что вы? — сказал он,— сюда идут!

— Сюда? Кто?.. Ах, да!..— прошептал купец, проведя рукою по глазам.— Нет, господин офицер! нет! — заговорил он вдруг громким голосом и по-французски,— я никогда не соглашусь с вами: война не всегда вредит коммерции; напротив, она дает ей нередко новую жизнь. Посмотрите, как англичане хлопочут о том, чтоб европейские государи ссорились меж собою! В одном месте жгут и разоряют фабрики, в другом они процветают. Товары становятся дороже, капиталы переходят из рук в руки; одним словом, я не сомневаюсь, что вечный мир в Европе был бы столь же пагубен для коммерции, как и всегдашняя тишина на море, несмотря на то что сильный ветер производит бури и топит корабли.

В продолжение этих слов лицо ложного купца приняло свой обыкновенный холодный вид, глаза не выражали никакого внутреннего волнения; казалось, он продолжал спокойно давно начатый разговор; и когда двери комнаты отворились, он даже не повернул головы, чтоб взглянуть на входящего Шамбюра вместе с капитаном Рено.

— Вы свободны! — вскричал Шамбюр, подбежав к Рославлеву,— я доказал Раппу, что он не имеет никакого права поступать таким обидным образом с человеком, за честь которого я ручаюсь моей собственной честию.

— Благодарю вас,— сказал Рославлев,— впрочем, вы можете быть совершенно спокойны, Шамбюр! Я не обещаюсь вам не радоваться, если узнаю что-нибудь о победах нашего войска; но вот вам честное мое слово: не стану никому пересказывать того, что услышу от других.

— Более этого я от вас и требовать не могу,— сказал Шамбюр.— А! господин Дольчини! — продолжал он, обращаясь к товарищу Рославлева,— и вы здесь?

— Да, сударь! Обо мне, кажется, всё еще думают, что я русский... Русский! Боже мой! да меня от одного этого имени мороз подирает по коже! Господин Дерикур хитер на выдумки; я боюсь, чтоб ему не вздумалось для испытания, точно ли я русский или итальянец, посадить меня на ледник. Вперед вам говорю, что я в четверть часа замерзну.

— Ага, господин Дольчини! — вскричал с громким хохотом Шамбюр,— так есть же что-нибудь в природе, чего вы боитесь?

— Хорошо, что вы не делали русскую кампанию,— подхватил Рено.— Представьте себе, что когда у нас от жестокого мороза текли слезы, то они замерзали на щеках, а глаза слипались от холода!

— Santa Maria! * Что вы говорите? Знаете ли, что наш Данте в своей «Divina comedia» **, описывая разнородные мучения ада, в числе самых ужаснейших полагает именно то, о котором вы говорите. И в этой земле живут люди!

— И даже очень любезные,— перервал Шамбюр, подавая левую руку Рославлеву.— Пойдемте, Волдемар; вы уж и так слишком долго здесь сидели.

— Прощайте, господин офицер! — сказал Дольчини Рославлеву,— не забудьте вашего обещания. Если когда-нибудь вам случится быть в Лейпциге, то вы можете обо мне справиться на площади против театра, в высоком красном доме, у живущего под номером шестым. До свиданья!

Шамбюр и Рославлев вышли из тюрьмы.

— Знаете ли,— сказал французский партизан,— какой необыкновенный человек был вашим товарищем? Не понимаю, как мог этот Дольчини изменить до такой степени своему назначению? Во всю жизнь мою я не видывал человека бесстрашнее этого купца. Поверите ли, что я, Шамбюр, основатель и начальник адской роты, должен уступить ему первенство если не в храбрости, то, по крайней мере, в хладнокровии. Он точно с таким же равнодушием смотрит на бомбу, которая крутится у ног его, с каким мы глядим на волчок, спущенный рукою слабого ребенка. А если б вы знали, какой он оригинал! Я предлагал ему место старшего сержанта в моей роте в ту самую минуту, как он стоял добровольно под гра-

---

* Святая Мария! *(ит.)*

** «Божественной комедии» *(ит.)*

дом неприятельских ядер; он решительно отказался, и именно потому, что он отец семейства и должен беречь жизнь свою. Avouez que c'est délicieux! * Но вот ваша квартира. Я думаю, вы сегодня не расположены прогуливаться. Ступайте домой; а мне надобно взглянуть на мою роту. Может быть, сегодня ночью я побываю вместе с нею за городом.

— От всей души желаю,— сказал Рославлев, принимаясь за дверную скобу,— чтоб вы...

— Чтоб я наконец сломил себе шею? — перервал с улыбкою Шамбюр.

— Нет, чтоб вас оставили погостить подолее в нашем лагере.

— Покорно благодарю! Я люблю сам угощать; и если завтра поутру вы не будете пить у меня кофей, то можете быть уверены, что я остался на вечное житье в ваших траншеях.

ГЛАВА VII

На другой день, часу в девятом утра, Шамбюр, допивая свою чашку кофею, сказал с принужденною улыбкою Рославлеву:

— Ну, вот видите! желание ваше не сбылось: я не остался гостить в русском лагере.

— Но, кажется, не привели и гостей с собою,— отвечал Рославлев.— Если правда, что мне говорили, то ваша рота...

— Да! ее надобно укомплектовать,— перервал Шамбюр, и что-то похожее на грусть изобразилось на лице его.— Черт возьми! — продолжал он,— как эти русские стали осторожны! Из ста пятидесяти человек только тридцать воротились со мною; но зато все эти тридцать солдат — герои... да, герои! Бедный Леклер!.. Вы знали этого героя, этого Баярда моей роты? Его убили подле меня! Видите ли эти пятна на груди моей? Это его кровь! Но вы расплатитесь со мною, господа русские! Его похороны будут дорого вам стоить!.. Клянусь этим кинжалом, что целая сотня русских...

— Не угодно ли вам начать с меня? — перервал, улыбаясь, Рославлев.

Шамбюр засмеялся.

---

* Согласитесь, это прелестно! *(фр.)*

— Нет! — сказал он, — я никогда не нарушал прав гостеприимства; но не советую и вам встретиться со мною в русских траншеях. Я вас люблю, а непременно зарежу, если вы вздумаете со мною церемониться и не постараетесь меня предупредить. Ну, что вы намерены теперь делать?

— Я пойду гулять.

— А я отправлюсь к Раппу. Мне сказывали, что у него сегодня военный совет; и хотя я не приглашен, но это все равно: где толкуют о военных действиях, там Шамбюр лишним быть не может. Прощайте!

Шамбюр и Рославлев вышли из дома в одно время; первый пустился скорым шагом к квартире генерала Раппа, а последний отправился на Театральную площадь. Рославлев тотчас узнал красный дом, о котором говорил ему накануне Дольчини. Взойдя в пятый этаж, который у нас в России назвали бы просто чердаком, он увидел на низенькой двери прибитую дощечку с номером шестым. Дверь была только притворена. Рославлев должен был согнуться, чтоб взойти в небольшую переднюю комнату, которая в то же время служила кухнею; подле очага, на котором курился догорающий торф, сидела старуха лет пятидесяти, довольно опрятно одетая, но худая и бледная как тень.

— Что угодно господину? — спросила она, увидя входящего Рославлева.

— Я прислан от господина Дольчини, — ответил Рославлев.

— От господина Дольчини! — повторила радостным голосом старуха, вскочив со стула. — Итак, господь бог не совсем еще нас покинул!.. Сударыня, сударыня!.. — продолжала она, оборотясь к перегородке, которая отделяла другую комнату от кухни. — Слава богу! Господин Дольчини прислал к вам своего приятеля. Войдите, сударь, к ней. Она очень слаба; но ваше посещение, верно, ее обрадует.

Рославлеву нередко случалось видеть все, что нищета заключает в себе ужасного: он не раз посещал убогую хижину бедного; но никогда грудь его не волновалась таким горестным чувством, душа не тосковала так, как в ту минуту, когда, подходя к дверям другой комнаты, он услышал болезненный вздох, который, казалось, проник до глубины его сердца. В небольшой горенке, слабо освещенной одним слуховым окном, на постели с изорванным пологом лежала, оборотясь к стене, больная

женщина; не переменяя положения, она сказала тихим, но довольно твердым голосом:

— Скажите, что сделалось с Дольчини? Скоро ли я его увижу?

Лихорадочная дрожь пробежала по всем членам Рославлева; он хотел что-то сказать, но онемевший язык его не повиновался. Этот голос!.. эти знакомые звуки!.. Нет, нет! он не желал, не смел верить...

— Бога ради, скажите скорее,— продолжала больная, повернясь лицом к Рославлеву,— скоро ли я его увижу?

— Полина!..— вскричал Рославлев.

Больная содрогнулась; приподнялась до половины и, устремив свой полумертвый взгляд на Рославлева, повторила:

— Полина!.. Кто вы?.. Я почти ничего не вижу... Полина!.. Так называл меня лишь он... но его нет уже на свете... Ах!.. так называл меня еще... Боже мой, боже мой! О, господь правосуден! Я должна была его видеть, должна слышать его проклятия в последние мои минуты... это он!

— Полина! — вскричал Рославлев, схватив за руку больную,— так это я — друг твой! Но бога ради, успокойся! Несчастная! я оплакивал тебя как умершую; но никогда — нет, никогда не проклинал моей Полины! И если бы твое земное счастие зависело от меня, то, клянусь тебе богом, мой друг, ты была бы счастлива везде... да, везде — даже в самой Франции,— прибавил тихим голосом Рославлев, и слезы его закапали на руку Полины, которую он прижимал к груди своей.

Больная молча смотрела на Рославлева; взоры ее понемногу оживлялись; вдруг они заблистали, легкий румянец пробежал по бледным щекам ее; она схватила руку Рославлева и покрыла ее поцелуями.

— Итак, я могу умереть спокойно! — проговорила она, рыдая,— ты простил меня! Но ты должен проклинать... Ах, не проклинай и его, мой друг!.. его уж нет на свете...

— Несчастная!

— Но я скоро с ним увижусь — да, мой друг! — продолжала больная, понизив голос,— вот уж третью ночь, каждый раз, когда на городской башне пробьет полночь, он является вот здесь — у моего изголовья — и зовет меня к себе.

— Это один бред, Полина! Ты больна; твое расстроенное воображение...

— Нет, нет! Это уж не в первый раз, мой друг! Он точно так же приходил и за моим сыном: они оба ждут меня.

— За твоим сыном?

— Да! у меня был сын. Ах, как я его любила, мой друг! Я называла его Волдемаром.

— И твой муж...

— Тс! тише! Бога ради, не называй его моим мужем: над тобой станут все смеяться. Что ты на меня так смотришь? Ты думаешь, что я брежу?.. О нет, мой друг! Послушай: я чувствую в себе довольно силы, чтоб рассказать тебе все.

— Нет, Полина! зачем вспоминать прошедшее. Бог милостив; здоровье твое поправится, ты возвратишься в отечество...

— В отечество? Но разве у меня есть отечество?.. Разве несчастная Полина не отказалась навсегда от своей родины?.. Разве найдется во всей России уголок, где б дали приют русской, вдове пленного француза?.. Отечество!.. О, если бы прошедшее было в нашей воле, я не стала бы тогда заботиться о моем спасении! С какою б радостию я обрекла себя на смерть, чтоб только умереть в моем отечестве. Безумная! я думала, что могу сказать ему: твой бог будет моим богом, твоя земля — моей землею. О нет, мой друг! кто покидает навсегда свою родину, тот рано или поздно, а умрет по ней с тоски... Но пока я еще могу — я должна тебе рассказать все.

— Зачем, Полина?..

— Ах, не мешай мне: это облегчит мою душу. Я хочу, чтоб ты знал, как я была наказана за мое вероломство. Ты читал письмо мое; ты знаешь, как он встретился опять со мною. Рука его была свободна, сердце принадлежало мне; ты сам прислал его в наш дом. Все это казалось мне волею самих небес; я думала, что не изменяю тебе, но покоряюсь только какому-то предопределению, от которого ничто не могло спасти меня, или, лучше сказать, я ничего не думала. Моя свадьба, первый шаг от алтаря, свадебный подарок, который ожидал меня у самого церковного порога... Ах, Рославлев! я едва не потеряла рассудок; но ты уехал; меня уверили, что горесть твоя уменьшилась, и я стала спокойнее. Скоро французы заняли нашу деревню. Муж мой сделался свободным, и мы отправились в Москву. Первый месяц

прошел довольно спокойно. Сеникур любил меня. Ужасные бедствия моих сограждан, пожар Москвы, беспрестанные слухи о покорении всей России — все это казалось мне каким-то смутным, невнятным сновидением! Я жила только для него, видела одного его и, точно так же, как человек в сильной горячке воображает себя здоровым, думала, что я счастлива. К концу месяца нрав моего мужа приметно изменился: он стал задумчив, беспокоен, иногда поглядывал на меня с состраданием, и когда я спрашивала о причине его грусти, он отвечал всякий раз: «Дела наши идут дурно». Поверишь ли, мой друг! до какой степени рассудок мой был ослеплен? Я не понимала даже настоящего смысла этих слов: мне казалось, что он говорит о России. Одним утром он вбежал ко мне бледный, с отчаянием на лице. «Полина! — вскричал он,— наши дела идут час от часу хуже: Мюрат разбит!» — «Так что ж?» — спросила я, не понимая совершенно, какое участие я должна была принимать в судьбе Мюрата. Лицо Сеникура сделалось бледнее; помолчав несколько минут, он продолжал прерывающимся голосом: «Да, сударыня! мы погибли: русские торжествуют; но, извините! я имел глупость забыть на минуту, что вы русская». Вдруг как будто завеса спала с глаз моих. «*Мы* погибли! *Русские* торжествуют!» Эти слова раздавались беспрестанно в ушах моих. Праведный боже! Итак, с избавлением моего отечества неразлучна гибель того, кто был для меня всем на свете! Итак, в молитвах моих я должна была говорить перед господом: «Боже! спаси моего супруга и погуби Россию!»

Спустя несколько дней, в продолжение которых Сеникур почти не говорил со мною, он сказал мне одним утром: «Полина! через час меня уже в Москве не будет: отступление нашего войска не обещает ничего хорошего; я не хочу подвергать тебя опасности; ты можешь возвратиться к твоей матери, можешь даже навсегда остаться в России; ты свободна». Я не дала договорить ему. «Адольф! — вскричала я,— мое отечество там, где ты; я забыла его для тебя и должна терпеть все!.. Страдать, умереть вместе с тобою — вот одно, что может оправдать меня в собственных глазах моих». Адольф обнял меня с прежней нежностию, и я отправилась вслед за французским войском. Не стану рассказывать тебе, что я должна была переносить. Ах, мой друг! я не призывала смерти для того только, что не могла уже умереть одна. Голод, кучи мертвых тел, казаки — все это пере-

мешалось в моей голове... Я помню только, что при переправе через какую-то реку моя карета и множество других остановились на одном берегу, а на другом дрались; вдруг позади нас началась стрельба, поднялся ужасный крик и вой; что-то поминутно свистело в воздухе; стекла моей кареты разлетелись вдребезги, и лошади попадали. Не знаю, долго ли это продолжалось; одно только я не забыла: я помню, что гусарский офицер, приятель Адольфа, выхватил меня из кареты, посадил перед собою на лошадь и вместе со мною кинулся в реку. Мне помнится также, что вода была очень холодна, что мы долго плыли, что огромные льдины беспрестанно отталкивали нас назад; наконец мы выбрались на другой берег и через несколько минут догнали французскую гвардию. Потом, кажется, меня везли в санях, а там вдруг я очутилась в каком-то нерусском городе; из него мы проехали в другой, там в третий и наконец остановились в этом. Во все это время я была очень больна. Обо мне заботился все тот же гусарский офицер; но Адольфа я не видела. Долго скрывали от меня истину; наконец, когда и последний защитник мой занемог сильной горячкою и почувствовал приближение смерти, то объявил мне, что мужа моего нет уже на свете. Но к чему высчитывать тебе все мои несчастия? Я родила сына. Приятель моего Адольфа умер, и мы вместе с бедным сиротою остались одни в целом мире. Пока у меня были деньги, я жила весьма уединенно, почти никуда не выходила и ни с кем не была знакома; но когда русские стали осаждать город, когда хлеб сделался вдесятеро дороже и все деньги мои вышли, я решилась прибегнуть к великодушию единоземцев покойного моего мужа. Мне не отказывали в помощи; но я замечала, что жены французских чиновников и даже обывателей обходились со мною весьма холодно; а мужья их — с какою-то обидною ласкою, от которой я нередко плакала. Одним утром, когда у меня не оставалось уже хлеба, я вошла в дом, занимаемый французским генералом. Слуга пошел доложить обо мне его жене, и я через растворенную дверь могла ясно слышать разговор ее с другой дамою, которая была у нее в гостях. «Вдова полковника Сеникура! — вскричала хозяйка, выслушав слова слуги.— Какой вздор! Представьте себе, моя милая! — продолжала она,— это какая-то русская, которую граф Сеникур увез из Москвы. Она, конечно, жалка; но, признаюсь, я не могу видеть хладнокровно, с какою дерзо-

стию каждая нищая старается нас обманывать. Весь город знает, что эта русская была просто любовницею Сеникура, и, несмотря на то, она смеет называть себя его женою! Comme ces créatures sont impudentes!»* Боже мой!.. Я изменила тебе, оставила семью, отечество, пожертвовала всем, чтобы быть его женою, и меня называют его любовницею!.. О мой друг! у меня не было пристанища, мне нечем было накормить моего сына; но за минуту до этого я могла назваться счастливою!.. Без памяти, прижимая к груди плачущего ребенка, я выбежала на улицу. У ног моих текла река; но я не могла умереть: сын мой был еще жив! Не зная сама, что делаю, я вмешалась в толпу бедных жителей, которых французы выгоняли из Данцига. Когда я вышла из города, сердце мое несколько облегчилось. Нас выпроводили за французские аванпосты и сказали, что никого не пропустят назад в город. Вдали стояли русские часовые и разъезжали казаки. Вся толпа кинулась вперед, но к нам подскакал казак и объявил, что нас не велено пропускать на русскую сторону. Кругом меня поднялись громкие вопли и рыдания; я одна не плакала. Я видела русских и не жила уже с французами; но когда прошел весь день и вся ночь в тщетном ожидании, что нам позволят идти далее, когда сын мой ослабел до того, что перестал даже плакать, когда я напрасно прикладывала его к иссохшей груди моей, то чувство матери подавило все прочие; дитя мое умирало с голода, и я не могла помочь ему!..

Полина перестала говорить; щеки ее пылали; заметно было, что сильная горячка начинала свирепствовать в груди ее...

— Да, да!.. это точно было наяву,— продолжала она с ужасною улыбкою,— точно!.. Мое дитя при мне, на моих коленях умирало с голода! Кажется... да, вдруг закричали: «Русский офицер!» «Русский! — подумала я,— о! верно, он накормит моего сына»,— и бросилась вместе с другими к валу, по которому он ехал. Не понимаю сама, как могла я пробиться сквозь толпу, влезть на вал и упасть к ногам офицера, который, не слушая моих воплей, поскакал далее...

— Возможно ли? — вскричал с ужасом Рославлев,— это была ты, Полина? и я не узнал тебя!..

---

* Как бесстыдны эти твари! *(фр.)*

Больная остановилась, устремив дикий взор на Рославлева; она повторила:

— Я не узнала тебя!.. Так это был ты, мой друг? Как я рада!.. Теперь ты не можешь ни в чем упрекать меня... Неправда ли, мы поравнялись с тобою?.. Ты также, покрытый кровию, лежал у ног моих — помнишь, когда я шла от венца с моим мужем?..

— Бога ради, Полина! — перервал Рославлев,— не говори об этом.

— Да, да! Ты прав, мой друг! Голова моя начинает кружиться... а я не все еще тебе рассказала... Кажется... точно!.. Я помню, что очутилась опять подле французских солдат; не знаю, как это сделалось... помню только, что я просилась опять в город, что меня не пускали, что кто-то сказал подле меня, что я русская, что Дольчини был тут же вместе с французскими офицерами; он уговорил их пропустить меня; привел сюда, и если я еще не умерла с голода, то за это обязана ему... да, мой друг! я просила милостину для моего сына, а он умер... Дольчини сказал мне однажды... Но что это?.. тс! тише, мой друг, тише!.. Так точно — гром!

— Это не гром, Полина,— перервал Рославлев,— а сильная пушечная пальба...

— Нет, нет!.. это гром,— повторила с беспокойством больная.— Чувствуешь ли, как дрожит весь пол?.. Это всегда бывает за несколько минут перед его приходом... Ах, как время идет скоро! Вот уж и полночь!.. первый удар колокола!.. Ступай, мой друг, ступай!..

— Успокойся, Полина! ты ошибаешься...

— О, бога ради! оставь меня... еще... еще!.. Беги, мой друг, беги!.. Нет! я не могу, я не хочу вас видеть вместе. Это было бы ужасно... да, ужасно!.. Ступай, Рославлев, ступай!.. Прошу тебя, заклинаю!..

Полина хотела приподняться, но силы ей изменили, и она почти без чувств опустилась на свое изголовье. Рославлев вышел из ее комнаты и послал к ней старуху, сказав, что через несколько часов зайдет опять навестить больную. Сердце его было так растерзано, он так был расстроен этой неожиданной встречею, что когда вышел на улицу, то не заметил сначала необыкновенного движения в народе. В русских траншеях открыли новую батарею в самом близком расстоянии от города: двадцатичетырехфунтовые ядра с ужасным визгом прыгали по кровлям домов; камни, доски, черепицы сыпа-

лись как град на улицу; и все проходящие спешили укрыться по домам. Не заботясь нимало о своей безопасности, Рославлев шел подле самых стен домов — вдруг один каменный отломок, оторванный ядром, ударил его в голову; кровь брызнула из нее ручьем, он зашатался и упал без памяти на мостовую.

ГЛАВА VIII

Более двух недель Рославлев был на краю могилы; несколько раз он приходил в себя и видел, как сквозь сон, то приятеля своего Шамбюра, то какого-то незнакомого человека, который перевязывал ему голову. Раза два ему казалось, что подле его постели сидит Дольчини; но все это представлялось ему в таком смешанном и неясном виде, что когда воспаление в мозгу, от которого он едва не умер, совершенно миновалось, то все прошедшее представилось ему каким-то длинным и беспорядочным сном. В ту самую минуту, как Рославлев старался припомнить, когда он лег спать, и изъяснить себе, отчего он спал так долго, вошел в комнату Шамбюр.

— Ах! как я рад, что вас вижу! — сказал Рославлев.— Растолкуйте мне, что со мной делается? Мне кажется, я спал несколько суток сряду.

— Так вы наконец проснулись? — перервал Шамбюр, садясь подле постели Рославлева.— Слава богу! Поглядите-ка на меня. Ну вот и глаза ваши совсем не те, и цвет лица гораздо лучше.

— Но отчего я так долго спал?

— Да, чуть было вы не заснули таким крепким сном, что не проснулись бы и тогда, если б мы взорвали на воздух весь Данциг. Вспомните хорошенько — недели две тому назад...

— Две недели... постойте!..

— То есть на другой день, как вас выпустили из тюрьмы...

— Из тюрьмы... помню! точно; я был в тюрьме...

— Вы пошли прогуляться по городу — это было поутру; а около обеда вас нашли недалеко от Театральной площади, с проломленной головой и без памяти. Кажется, за это вы должны благодарить ваших соотечественников: они в этот день засыпали нас ядрами. И за что они рассердились на кровли бедных домов? Поверите ль,

около театра не осталось почти ни одного чердака, который не был бы совсем исковеркан.

— Подле театра! — повторил Рославлев.— Постойте!.. Боже мой!.. мне помнится... так точно, против самого театра, красный дом...

— Красный дом? выше всех других?

— Да, да!

— Третьего дня,— продолжал спокойно Шамбюр,— досталось и ему от русских: на него упала бомба; впрочем, бед немного наделала — я сам ходил смотреть. Во всем доме никто не ранен, и только убило одну больную женщину, которая и без того должна была скоро умереть.

— Больную женщину!..

— Да, мне сказывали, что она называла себя вдовою какого-то французского полковника; да это неправда... но что с вами делается?

— Несчастная Полина! — вскричал Рославлев.

— Так вы были с ней знакомы? Ах! как досадно, что я не знал этого! Впрочем, много грустить нечего; я уж вам сказал, что она и без этого была при смерти; минутой прежде, минутой после...

— Да, Шамбюр, вы правы: кто знал эту несчастную, тот должен не горевать, а радоваться; но, несмотря на это, если б я мог воскресить ее...

— Да ведь это невозможно, так о чем же и хлопотать? К тому ж, если в самом деле она была вдовою французского полковника, то не могла не желать такого завидного конца — être coiffé d'une bombe * или умереть глупым образом на своей постели — какая разница! Я помню, мне сказал однажды Дольчини... А кстати! Знаете ли, как одурачил нас всех этот господин флорентийский купец?..

— А что такое?..

— Да только: он вовсе не купец, не итальянец, а русский партизан.

— Что вы говорите!.. Итак, все открылось, и он?..

— Расстрелян, думаете вы? Вот то-то и беда, что нет. Вскоре после вас и его выпустили из тюрьмы, и в несколько дней этот Дольчини так поладил с генералом Дерикуром, что он поручил ему доставить Наполеону преважные депеши. Рено, который также с ним очень подружился, взялся выпроводить его за наши аванпосты.

---

* погибнуть от бомбы *(фр.)*.

Когда они подошли к Лангфуртскому предместью, то господин Дольчини, в виду ваших казаков, распрощавшись очень вежливо с Рено, сказал ему: «Поблагодарите генерала Раппа за его ласку и доверенность; да не забудьте ему сказать, что я не итальянский купец Дольчини, а русский партизан...» Тут назвал он себя по имени, которое я никак не могу выговорить, хотя и тысячу раз его слышал. Бедный Рено простоял полчаса разиня рот на одном месте и когда, возвратясь в Данциг, доложил об этом Раппу, то едва унес ноги: генерал взбесился; с Дерикуром чуть не сделалось удара, а толстый Папилью, вспомня, что он несколько раз дружески разговаривал с этим Дольчини, до того перепугался, что слег в постелю. Дом, в котором жил ci-devant * итальянский купец, обшарили сверху донизу, пересмотрели все щелки, забрали все бумаги, и если б он накануне не отдал мне письма на ваше имя, то вряд ли бы оно дошло когда-нибудь по адресу.

— Как! У вас есть ко мне письмо?

— Да, есть. И хотя по-настоящему мне как партизану должно перехватывать всякую неприятельскую переписку,— примолвил с улыбкою Шамбюр,— но я обещался доставить это письмо, а Шамбюр во всю жизнь не изменял своему слову. Вот оно: читайте на просторе. Мне надобно теперь отправиться к генералу Раппу: у него, кажется, будут толковать о сдаче Данцига; но мы еще увидим, кто кого перекричит. Прощайте!

Рославлев не отвечал ни слова; все внимание его было устремлено на адрес письма, написанный рукою, которая некогда была ему так знакома и мила. Он распечатал пакет; первый предмет, поразивший его взоры, был локон светло-русых волос. Рославлев прижал его к губам своим. «Бедная Полина! — сказал он, всхлипывая,— вот все, что от тебя осталось!» Когда душа его несколько поуспокоилась, он начал читать следующее: «Друг мой! Дольчини сказал мне, что ты болен и не можешь меня видеть. Итак, я умру, не простясь с тобою! Я не думаю дожить до будущего утра. Выслушай последнее мое желание. Сестра моя тебя любит — да, мой друг! Оленька любит тебя так же пламенно, как я люблю его... Ах! для чего не она была твоей невестою? Тогда я была бы одна несчастлива! Друг мой! она достойна быть твоей женою — твоей женою! О, эта мысль так уте-

* Здесь: мнимый *(фр.)*.

шительна! Когда-нибудь и ты переселишься в тот мир, в котором мы отдохнем от наших земных бедствий! Тогда и я могла бы видеть его и тебя вместе — любить в одно время; ты был бы моим братом, Волдемар!.. Еще одна просьба: в этом письме ты получишь мои волосы. Прошу тебя, мой друг! зарой их под самой той черемухой, где некогда твоя доброта и великодушие едва не изгладили его из моего сердца. Может быть, ты назовешь меня мечтательницей, сумасшедшей — о мой друг! если б ты знал, как горько умирать на чужой стороне! Пусть хоть что-нибудь мое истлеет в земле русской. Прощай, Волдемар! Я боюсь, что проживу долее, чем думаю; русские ядра летают беспрестанно мимо, и ни одно из них не прекратит моих страданий! Ах! я почла бы это не местию, но знаком примирения и умерла бы с радостию. Прощай, мой друг!..»

Рославлев едва мог дочитать письмо: все прошедшее оживилось в его памяти. «Бедная Полина! несчастная Полина!..— повторил он, рыдая.— О! как сердце твое умело любить! Да, я свято исполню твои последние желания — я буду твоим братом... Но если Оленька принадлежит уже другому? Если Полина принимала любимые мечты свои за истину? Если сестра ее чувствует ко мне одну только дружбу...» Тут вспомнил Рославлев невольное восклицание, которое вырвалось из уст Оленьки, когда ему удалось спасти ее от смерти. Да!.. в этом порыве благодарности было что-то более простой, обыкновенной дружбы... но кто желал с таким нетерпением, чтоб он женился на Полине? Кто употреблял все способы, чтоб склонить ее к этому браку?..

Рославлев терялся в своих догадках: он не знал, к чему способно сердце женщины, истинно доброй и чувствительной. Каких жертв не принесет она, чтобы видеть счастливым того, кого любит? Может быть, мы умеем сильнее чувствовать, но мы слишком много рассуждаем, слишком *положительны,* везде ищем здравого смысла и можем быть подчас *больны чужим здоровьем*; * но очень редко бываем счастливы благополучием других. Любить всю жизнь, без всякой надежды; наслаждаться не своим счастием, но счастием того, кого выбрало наше сердце; любить с таким самоотвержением — о, это умеют одни только женщины!.. и если эта бескорыстная, неземная любовь бывает иногда недоступна, то,

* Выражение одного русского поэта.

по крайней мере, она всегда понятна для души каждой женщины.

Рославлев несколько раз перечитывал письмо; каждое слово, начертанное рукою умирающей Полины, возбуждало в душе его тысячу противуположных чувств. Он попеременно то решался выполнить ее волю, то вечно не принадлежать никому. Иногда образ кроткой, доброй Оленьки являлся ему в самом пленительном виде; но в то же время покрытое смертною бледностию лицо Полины представлялось его расстроенному воображению, и мысль о будущем счастии сливалась беспрестанно с воспоминанием, раздирающим его душу. Приход Шамбюра перервал его размышления; он вбежал в комнату как бешеный и сказал прерывающимся голосом:

— Прощайте, Рославлев! я сейчас иду вон из города.

— С вашей ротою? — спросил Рославлев.

— Нет, один.

— Одни? Что ж вы хотите делать?

— Дезертировать.

— Дезертировать! — повторил с удивлением Рославлев.

— Да! mille tonnerres! Я не хочу ни минуты остаться с этими трусами, с этими подлецами, с этими... Представьте себе! Я сейчас из военного совета: весь гарнизон сдается военнопленным.

— В самом деле! — вскричал с радостию Рославлев.

— Да, сударь, да! И как вы думаете, отчего? — оттого, что у нас осталось на один только день провианта — les misérables! * Но разве у нас нет оружия? Разве восемнадцать тысяч французов не могут очистить себе везде дорогу и пробиться, если надобно, до самого центра земли?.. Мнения моего никто не спрашивал; но когда я услышал, что генерал Рапп соглашается подписать эту постыдную капитуляцию, то встал с своего места. Мерзавец Дерикур хотел было помешать мне говорить... но, черт возьми! Я закричал так, что он поневоле прикусил язык. «Господа! — сказал я,— если мы точно французы, то вот что должны сделать: отвергнуть с презрением обидное предложение неприятеля, подорвать все данцигские укрепления, свернуть войско в одну густую колонну, ударить в неприятеля, смять его, идти на Гамбург и соединиться с маршалом Даву».— «Но,— возразил Дерикур,— осаждающие вдвое нас сильнее».— «Что

---

* презренные! *(фр.)*

нужды! — отвечал я,— они не французы!» — «Мы окружены врагами,— прибавил Рапп,— вся Пруссия восстала против Наполеона».— «Какое дело! — закричал я,— мы пойдем вперед; при виде победоносных орлов наших все побегут; мы раздавим русский осадный корпус, сожжем Берлин, истребим прусскую армию...» — «Он сумасшедший!» — закричали все генералы. «Молчите или ступайте вон!» — заревел Рапп. «О! если так, черт возьми! — отвечал я весьма спокойно,— я пойду — да! cent mille diables! я пойду; но только не домой, а в неприятельский лагерь. Пусть, кто хочет, сдается военнопленным, пусть проходит парадом мимо этих скифских орд и кладет оружие к ногам тех самых солдат, которых я заставлял трепетать с одной моей ротою! Что ж касается до меня, то объявляю здесь при всех, что не служу более и сей же час перехожу к неприятелю».— «Убирайтесь хоть к черту! Только ступайте вон»,— сказал Рапп. Я посмотрел на него с сожалением, бросил презрительный взгляд на толпу трусов, его окружающих, и побежал проститься с вами. Впрочем, надеюсь, мы скоро увидимся: если капитуляция подписана, то вы свободны и найдете меня в своем лагере. Прощайте!

В самом деле, когда через несколько дней Рославлев выехал из города, то повстречался с Шамбюром на наших аванпостах; они обнялись как старинные приятели. Дежурным по аванпостам был Зарядьев. Он очень обрадовался, увидя Рославлева.

— Ну, братец! — сказал он,— мы было отчаялись тебя и видеть! Как ты похудел!.. Да полно, отцепись от этого француза! Поди-ка сюда!..

— Что, Зарядьев? — перервал Рославлев с улыбкою,— видно, ты еще не забыл, как он пугнул тебя на Нерунге?

— Пугнул!.. Эка фигура! подкрался втихомолку; а как моя рота выстроилась да пошла катать, так и давай бог ноги! что за офицер? дрянь! Прежде был разбойником, а теперь беглый.

— Ну что, как вы с ним ладите?

— С ним? Да не приведи господи! Этот Шамбюр надоел нам всем как горькая редька — этакой безрукой черт! покою нет! Лепечет, шумит, кричит с утра до вечера. До него дошел слух, что в Данциге все его пожитки продали с публичного торга — да и как иначе? Ведь он дезертёр. Что ж ты думаешь? Рвется теперь опять в Данциг — пусти его, да и только! Хочет там всех прико-

лотить до смерти! Эх! не умеют с ним справиться! Дали бы мне его недельки на две, так я бы его вышколил! У меня б он не сошел с палочного караула; а чуть забурлил, так на хлеб, на воду. Небось стал бы шелковый!

Через неделю Рославлев совсем выздоровел, и когда наступил день сдачи крепости, то он отправился вместе со всем штабом вслед за главнокомандующим к Оливским воротам, которыми должны были выходить из Данцига военнопленные французы. Шестнадцать тысяч наших и прусских войск были поставлены в две линии, вдоль по гласису Гагельсбергских укреплений. Сперва явился, в зеленой бархатной шубе, надетой сверх богатого мундира, генерал Рапп; на лице его изображалась глубокая горесть. Этот храбрый воин Наполеона, один из героев Аустерлицкого сражения, в первый раз еще преклонял отягченную лаврами главу свою перед мечом победителя. Вскоре показались французские колонны; наблюдая глубокое молчание, они проходили дивизиями посреди наших линий. Рославлев не мог без сердечного соболезнования глядеть на этих бесстрашных воинов, когда при звуке полковой музыки, пройдя церемониальным маршем мимо наших войск, они снимали с себя всё оружие и с поникшими главами продолжали идти далее. Многие из французских офицеров плакали; другие, стараясь показывать совершенное равнодушие, курили трубки, идя перед своими взводами. Это последнее обстоятельство не укрылось от зорких глаз капитана Зарядьева. Когда кончилось сие торжественное шествие, напоминающее блестящие похороны знаменитого военачальника, которому у самой могилы отдают в последний раз все военные почести, наш строгий [illegible]тный командир подошел к Рославлеву и спросил его: как ему кажется, хорошо ли прошли церемониальным маршем французы?

— Я, право, этого не заметил,— отвечал Рославлев.

— Так я тебе скажу: они понятия не имеют о фрунтовой службе. Все взводы заваливали, замыкающие шли по флангам, а что всего хуже — заметил ли ты двух взводных начальников, которые во фрунте курили трубки? Ну, братец! Я думал всегда, что они вольница,— да уж это из рук вон!..

— Эх, Зарядьев! до того ли им, чтоб думать о порядке? Посмотрел бы я на тебя, если бы ты должен был проходить мимо неприятеля церемониальным маршем для того, чтоб положить оружие?

— Оно, конечно, братец, кто и говорит — обидно! Статься может, что и я не повел бы в ногу мою роту, а все-таки не стал бы курить трубки во фрунте — воля твоя, любезный... Как хочешь, а нехорошо: дурной пример для солдат.

Мы не станем описывать торжественного входа наших войск в Данциг; * не будем также говорить о следствиях этой колоссальной войны всей Европы с французами. Кому неизвестны даже все мелкие происшествия этой чудной эпохи, ознаменованной падением величайшего военного гения нашего времени? Мы предуведомим только читателей, что различные обстоятельства не допустили Рославлева увидеться с приятелем его Зарецким. Во вторую французскую кампанию полк, в котором служил этот последний, попал в число войск, которые должны были остаться до известного времени во Франции. В течение этого времени остальная часть армии возвратилась в Россию, и Рославлев вышел опять в отставку.

Несколько лет уже продолжался общий мир во всей Европе; торговля процветала, все народы казались спокойными, и Россия, забывая понемногу прошедшие бедствия, начинала уже пользоваться плодами своих побед и неимоверных пожертвований; мы отдохнули, и русские полуфранцузы появились снова в обществах, снова начали бредить Парижем и добиваться почетного названия — обезьян вертлявого народа, который продолжал кричать по-прежнему, что мы варвары, а французы первая нация в свете; вероятно, потому, что русские сами сожгли Москву, а Париж остался целым. В тысяче политических книжонок наперерыв доказывали, что мы никогда не были победителями, что за нас дрался холод, что французы нас всегда били, и благодаря нашему смирению и русскому обычаю — верить всему печатному, а особливо на французском языке — эти письменные ополчения против нашей военной славы начинали уже понемножку находить отголоски в гостиных комнатах большого света. Мы стали несколько постарее, поумнее, но все еще не смели ходить без помочей, которых концы держали в своих руках господа французы. Кажется, те-

* Он описан весьма подробно в книге под названием: «Записки касательно похода С.-П. бургского ополчения».

перь благодаря бога мы вступили уже в юношеский возраст и начинаем чувствовать, что можем прожить и без этих наставников, которые не хотели даже никогда ни приласкать, ни похвалить своих покорных учеников, а всегда забавлялись на их счет, несмотря на то что улучшение наших фабрик, быстрые успехи народной промышленности, незаметные только для тех, которые не хотят их видеть, все доказывает, что мы ученики довольно понятные. Теперь мы привыкаем любить свое, не стыдимся уже говорить по-русски, и мне даже не раз удавалось слышать (куда, подумаешь, времена переходчивы!) в самых блестящих дамских обществах целые фразы на русском языке без всякой примеси французского.

В 1818 году, ровно через шесть лет после нашествия французов, в один прекрасный майский вечер, в густой липовой роще, под тению ветвистой черемухи, отдыхал после продолжительной прогулки с гостями своими помещик села Утешина. За большим чайным столом сидела хозяйка, молодая, прекрасная женщина. В исполненных неизъяснимой любви голубых глазах ее, устремленных на двух прелестных малюток, которые играли на ковре, разостланном у ее ног, можно было ясно прочесть все счастие доброй матери и нежной супруги. Муж ее, молодой человек лет тридцати, разговаривал с стариком, который, опираясь на трость с прекурьезным сердоликовым набалдашником, смотрел также не спуская глаз на детей. Их слушал, по-видимому, с большим вниманием, пожилой человек в сером ополченном кафтане с золотыми погончиками; немного поодаль, развалясь на широкой дерновой скамье, курил из огромной пенковой трубки мужчина лет за сорок, высокий и дородный, в полевом кафтане и зеленом кожаном картузе. Подле самого стола, прислонясь спиною к дереву, стоял в форменном сюртуке кавалерийский штаб-офицер с веселым румяным лицом и видный собою; он перелистывал небольшую книжку и беспрестанно улыбался.

— Как хочешь, племянник,— сказал старик, приставив к дереву свою трость и вынимая из кармана резную табакерку из слоновой кости,— я не согласен с тобою: мне кажется, не сын походит на тебя, а дочь; а сын весь в матушку. Не правда ли, Оленька?

— Нет, дядюшка,— отвечала молодая женщина,— они оба походят на Волдемара.

— Так, так, сударыня! — продолжал старик, улы-

баясь.— Как бишь у вас эта песня-то поется: *Во всем я вижу образ твой?..* Да что это за новая игрушка у твоего Николеньки? Ба! ружье с штыком!

— Это подарок нашего доброго городничего.

— Зарядьева? Ну что, Ильменев, ты вчера был в городе — здоров ли он?

— Слава богу, батюшка Николай Степанович! — отвечал господин в ополченном кафтане,— здоров, да только в больших горях. Ему прислали из губернии, вдобавок к его инвалидной команде, таких уродов, что он не знает, что с ними и делать. Уж ставил, ставил их по ранжиру — никак не уладит! У этого левое плечо выше правого, у того одна нога короче другой, кривобокие да горбатые — ну срам взглянуть! Вчера, сердечный! пробился с ними все утро, да так и бросил.

— Полно читать, Зарецкий,— сказал хозяин, обращаясь к кавалеристу, который продолжал перелистывать книгу,— в первый день после шестилетней разлуки нам, кажется, есть о чем поговорить.

— Сейчас, mon cher, сейчас! Ты не можешь себе представить, какие забавные вещи я нашел в этой книжке.

— Да что это такое?

— «Guide des voyageurs», тысяча восемьсот семнадцатого года.

— А! книга для путешественников. Я вынул ее сегодня из шкапа, чтобы посмотреть, сколько считается жителей в Лондоне. Да что ж ты нашел забавного в этой статистике?

— Кто ж виноват, если ты не читал в ней ни особенных замечаний, ни наставлений, например, как обращаться с русскими дамами... А! вот несколько слов о Москве... Ого!.. вот что! Ну, видно, мои друзья французы не отстанут никогда от старой привычки мешаться в чужие дела. Послушай: Enfin Moscou renaît de sa cendre, grâce aux Français qui président à sa reconstruction *.

— А по-нашему-то, сударь, что это значит, осмелюсь спросить? — сказал гость в полевом кафтане, приостановясь курить свою трубку.

— Это значит, сударь, что по милости французов и под их надзором Москва начинает отстраиваться.

— Что, что, батюшка? по милости французов!.. Как

* Наконец Москва возрождается из пепла благодаря французам, которые руководят ее восстановлением *(фр.)*.

так? и это тут написано? Ну, исполать этим французам!.. Ах они хвастунишки, черт их возьми! Да вот хоть мой дом на Пресне — что я, на их деньги, что ль, его выстроил?

— Может статься,— сказал хозяин,— сочинитель разумел под этим французских архитекторов?

— Французских? Да есть ли хоть один французский архитектор в Москве? Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! мало ли у нас своих, доморощенных архитекторов? Что вы, сударь?

— Конечно, Буркин прав,— перервал старик,— да и на что нам иноземных архитекторов? Посмотрите на мой дом! Что, дурно, что ль, выстроен? А строил-то его не француз, не немец, а просто я, русский дворянин — Николай Степанович Ижорский. Покойница сестра, вот ее матушка — не тем будь помянута,— бредила французами. Ну что ж? И отдала строить свой московский дом какому-то приезжему мусью, а он как понаделал ей во всем доме каминов, так она в первую зиму чуть-чуть, бедняжка, совсем не замерзла.

— Действительно так,— примолвил Ильменев,— мало ли у нас своих архитекторов: и губернских, и уездных, и всяких других. Вот кабы, сударь, у нас развели также своих мусьюв да мадамов, а то ищешь, ищешь по всей Москве — цену ломят необъятную; а что будешь делать? Народ привозный, а ведь известное дело: и товар заморский дороже нашего.

— По милости французов...— повторял Буркин, вытряхивая свою трубку.— Видишь, какие благодетели! Да врут они! Мы без них жгли Москву, так без них и выстроим.

— А что, Владимир? — спросил Зарецкий.— Москва в самом деле поправляется?

— Да, мой друг; но на каждом шагу заметны еще следы ужасного опустошения.

— Вспомнить не могу,— перервал Зарецкий,— в каком жалком виде была наша древняя столица, когда мы — помнишь, Рославлев, я — одетый французским офицером, а ты — московским мещанином пробирались к Калужской заставе? помнишь ли, как ты, взглянув на окно одного дома?.. Виноват, мой друг! Я не должен бы был вспоминать тебе об этом... Но уж если я проболтался, так скажи мне, что сделалось с этой несчастной?.. Где она теперь?

— Где она? — повторил Рославлев, взглянув печаль-

но на белый мраморный памятник, почти закрытый ветвями развесистой черемухи. На глазах Оленьки навернулись слезы, а старик Ижорский, опустив задумчиво голову, принялся чертить по песку своей тростью.

— Где она? — продолжал Рославлев.— Ах, Александр! Участь ее была почти предсказана. Шесть лет тому назад, в этот же самый час, в ту минуту, когда она на самом этом месте сказала мне: «Мы будем счастливы, да, друг мой, совершенно счастливы!» — сумасшедшая Федора...

Охриплый дикий смех перервал слова Рославлева. Густые ветви черемухи разодвинулись, из-за мраморной урны выглянуло худое, отвратительное лицо Федоры, и громкий хохот ее раздался по всему лесу.

КУЗЬМА РОЩИН

I

РАЗБОЙНИК

Говорят, что нет ничего прекраснее и разнообразнее уединенных берегов реки Свири, которая, соединяя Онежское озеро с Ладогой, перерезывает поперек всю западную часть Олонецкой губернии. Я не думаю, однако ж, чтобы берега ее были живописнее нагорной стороны широкой Оки, особливо на пространстве тридцати или сорока верст в окрестностях одного уездного города, которого название, без сомнения, отгадают читатели, если я скажу, что некогда, с обширным своим округом, он составлял отдельное государство и был столицею царя, но только не православного. Лет восемьдесят тому назад верстах в восьми от этого, прежде бывшего престольного, града, на высокой горе, которая почти отвесно опускается до самой Оки, стоял обширный господский дом вовсе не красивой наружности — об этом старики наши мало думали,— но сложенный на прочном кирпичном фундаменте, из толстых сосновых брусьев, с дощатою плотною кровлею, с огромными печами, с маленькими окнами — словом, дом, построенный так, как строили в старину свои дома богатые помещики, которые не знали английского слова comfortable *, но любили жить тепло и спокойно, не прорубали больших итальянских окон, не имели понятия о

* удобный, комфортабельный *(англ.)*.

цельных стеклах, не украшали лепными барельефами своих деревянных домов, но зато и не строили их из лучинок; пореже нашего кашляли и почаще оставляли дома в наследство своим внучатам.

В полуверсте от барского двора начинался, также по гористому берегу реки, длинный порядок крестьянских изб; он оканчивался большим лугом, посреди которого стояла обшитая тесом деревенская церковь; позади нее выстроены были белые избы для священника и всего причта. Деревенское кладбище было расположено поодаль от церкви, вниз по крутому скату горы, но два или три надгробных камня и несколько деревянных голубцов возвышались на самом церковном погосте. Тут было место вечного успокоения дворян Ильменевых, родовых помещиков села Зыкова и прилежавших к нему двух деревень, что все вместе составляло душ до восьмисот и давало право Сергею Филипповичу Ильменеву, тогдашнему помещику Зыковской волости, полагать себя в числе первых дворян Ка.........го уезда.

В один ненастный вечер — это было в конце шестой недели Великого поста — Сергей Филиппович Ильменев, добрый старик лет шестидесяти, в широком калмыцком тулупе и красных сафьянных сапожках, сидел за небольшим дубовым столиком против своего соседа, мелкопоместного дворянина и пожилого вдовца, Ивана Тимофеевича Зарубкина; они играли в шахматы. В одном углу комнаты супруга хозяина, в белом пудреманте и преогромном накрахмаленном чепце, вязала чулок; подле нее, при свете двух сальных огарков, Машенька, миловидная девушка лет семнадцати, единственная дочь Ильменевых, вышивала в пяльцах; позади ее, облокотясь на высокую спинку стула, стоял молодой видный офицер в драгунском мундире. Поодаль от них три краснощекие сенные девушки, с длинными косами, в мухояровых кофтах, сидели за круглыми подушками и плели кружева; у дверей переминался с ноги на ногу вооруженный свечными щипцами мальчик в байковом казакине; а в самом темном углу комнаты, прислонясь спиной к большой изразцовой печи с лежанкою, стоял человек лет тридцати пяти, высокого роста, с окладистой русой бородою. По платью можно было его принять за богатого мещанина или купца.

Если действительно наружные формы и выражение лица служат вывескою душевных наших качеств, то, конечно, лицо этого человека было исключением из обще-

го правила. Приятная наружность, простодушная веселая улыбка и в то же время пара серых глаз, которые по временам сверкали из-под густых бровей, как сверкают глаза тигра, когда он крадется к своей добыче,— все это вместе составляло такую чудную смесь добра и зла, что сам красноречивый Лафатер, который с таким разнообразием описал и разгадал тысячи две человеческих физиономий, задумался бы, взглянув на лицо этого купца. Казалось, он смотрел с большим участием на играющих в шахматы, но лишь только замечал, что никто не обращает на него внимания, беспокойный и быстрый взор его облетал всю комнату и вспыхивал, как порох, останавливаясь на небольшом железном сундуке, который помещался в переднем углу под образами.

— Как я погляжу на тебя, Владимир Иванович,— сказала драгунскому офицеру хозяйка дома, не переставая вязать свой чулок,— так, видит бог, и верить-то не хочется, чтоб такой бравый молодец был тот самый Володя, которого я десять лет тому назад за уши дирала! Да надолго ли ты нам достался, батюшка?

— Я думаю, Варвара Дмитриевна,— отвечал офицер,— что наш полк прогостит у вас до самой зимы. Моей роте приказано заготовить фуражу на шесть месяцев.

— А где ты, мой отец, квартируешь с твоими солдатами?

— Я живу у батюшки, а рота моя стоит в полуверсте от меня, в большом экономическом селении... Как, бишь, его зовут?

— А, знаю, знаю! Село Воскресенское. Да это близехонько. Ахти-хти-хти!.. То-то горько будет твоему батюшке, когда ему придется опять с тобою расстаться!

— Да авось не расстанемся, матушка Варвара Дмитриевна,— сказал Зарубкин, подвинув вперед одну пешку.— Я хочу взять его в отставку; пора. Послужил царю-государю, будет с него. А то, пожалуй, уедет опять куда-нибудь лет на десять, так некому будет меня похоронить. Легко вымолвить: десять лет мы не видались; а последние три года, как началась война с пруссаком и угнали их в эту Неметчину, так и слуху об нем вовсе не было. Эх, матушка, матушка! Я уж на ладан дышу, плох стал; где мне одному хозяйничать! То проглядишь, того недосмотришь...

— И, полно, Иван Тимофеевич! Да ты еще такой хозяин, что и нам бы не худо у тебя поучиться; мы только что концы с концами сводим, а ты, батюшка, живешь не по-нашему и копеечку зашибить умеешь; с каждым годом становишься богаче: то купишь деревеньку, то прихватишь землицы. Да вот и у нас почти две пустоши сторговал! Откуда что берется! Года три тому назад у тебя и двадцати душ не было, а теперь, чай, под сотню идет?

— Слава богу, матушка, найдем и побольше. Да в том-то и дело: чтоб все это прахом не пошло, так надобно мне помощника, а Володе моему помощницу. Не правда ли, ваше благородие?.. А?.. Ну, что молчишь? Чай, скажешь, что дочка моего соседа, Фаддея Карпыча Побирашкина, тебе не приглянулась?

— Да я ее только однажды и видел, батюшка,— отвечал офицер с приметной досадою,— и вовсе не имею желания увидаться с нею в другой раз.

— Полно, полно, молодец! — продолжал Зарубкин, подвинув вперед еще одну шашку.— А об чем же ты по ночам вздыхать изволишь? Верите ль, матушка, с того самого часу, как он ее увидел,— а это был тот день, как я в первый раз привез его к вам,— он вовсе не тот стал: все задумывается; люди добрые спят, а он бродит как шальной по лесу; не позовешь обедать — так сам не пойдет; да и за обедом-то ест словно ребенок; вовсе хлеба лишился! А, кажется, всем здоров; и городской наш лекарь, Иван Фомич, то же говорит. Ну, что ж это значит?

— Да, да! — сказала хозяйка, взглянув с лукавою улыбкою на офицера.— По этим приметам и я начинаю думать... Что ты, Машенька, все нагибаешься?

— Ничего, маменька! — отвечала девушка, не сводя глаз с своей работы,— клубок упал.

— Да разве девка не могла поднять? Смотри, как ты покраснела; вся кровь в лицо бросилась.

— Что, Сергей Филиппович! Надумались ли, батюшка? — спросил Зарубкин хозяина, который несколько раз уже брался попеременно то за ту, то за другую шашку.

— Эх, братец, не торопи! Разговаривай с женою, а мне думать не мешай!

— Ну, что, матушка? — продолжал Зарубкин, обращаясь снова к хозяйке.— Ведь я, точно, прав. Владимир

у меня малый совестливый, стыдливый; от него правды, как от красной девушки, не скоро добьешься, а чему быть, тому не миновать.

— Да помилуйте, батюшка,— сказал с нетерпением драгунский офицер,— что вам вздумалось на меня клепать?..

— Добро, добро, любезный! Разве я не видел, как ты на нее поглядывал?.. Потерпишь, потерпишь, да смолвишь когда-нибудь. И я так же в старину тосковал о моей покойнице; точно так же таил от всех, что она пришлась мне больно по сердцу; и у меня так же сна не было, и кусок в горле останавливался; а уж тоска-то была какая, тоска! ах ты, господи боже мой! два раза из петли вынимали! зато как подослал сваху да пошло дело на лад, так, верите ль, чуть было не спился от радости, совсем ошалел! Подумаешь, как все на свете мудрено устроено! Вот, например, хоть эта любовь: курьезное дело! Любого молодца с ног срежет!

— Ох, эта пешка! — закричал Сергей Филиппович, потирая левой рукой лоб.— Ну, точно бельмо на глазу! Нельзя вывести коня, ладья стоит без дела... Ах, черт возьми!.. Уж добро бы шашка, а то эта дрянь, пешка проклятая!

— Да так-то всегда и бывает, Сергей Филиппович,— сказал Зарубкин, улыбаясь с довольным видом,— не бойся боярина, а бойся слуги. Не велик человек секретарь нашего воеводы, а все ему в пояс кланяются. Я прошлого года попытался не послать ему на именины барашка в бумажке, так он чуть меня совсем не погубил. Выдумал, окаянный, что будто бы по зимам этот злодей Рощин держит у меня на хуторе свою разбойничью пристань, и если бы вы, мой благодетель и милостивец, не вступились в мое горе да не оправдали перед начальством, так меня бы, горемычного, как липку облупили. Я себе и думать не думаю; вдруг прислали ко мне сыщиков. Господи боже мой, как пошли они кур душить! А там нагрянула ко мне целая ватага подьячих из суда, принялись бражничать; давай им вина, наливки, того-сего; а уж как жрут-то проклятые, жрут!.. Ключница моя, Никитишна, подаст им, бывало, для фриштика жареного гуся да окорок ветчины или бараний бок; глядь-поглядь, одни косточки остались! Так, бедная, и всплеснет руками. Да что и говорить, вконец было разорили! Ну что, Сергей Филиппович, изволили пойти слоном?

— Пошел, братец.

— Напрасно, батюшка, напрасно! Шах королю.

— Как так?..

— Да так! Укрыться-то нечем: шах и мат.

— Подлинно шах и мат! — раздался грубоватый голос позади Зарубкина,— да только вам, сударь, а не Сергею Филипповичу.

Зарубкин обернулся: позади него стоял купец.

— Полно, так ли, любезный? — сказал хозяин, взглянув с удивлением на купца.— Конечно, со стороны виднее, но, воля твоя...

— Посмотрите хорошенько.

— Смотреть-то я смотрю, да ничего путного не вижу.

— Попытайтесь, сударь; извольте-ка заслонить вашего царя конем.

— Так что ж? Он возьмет его ферзью.

— Некогда будет, Сергей Филиппович; ведь, тронув с места коня, вы откроете вашу ладью и скажете ему шах и мат.

— Ах, батюшка, подлинно так! — вскричал Ильменев.— Точно, точно! Его царю нельзя двинуться с места!.. Что, брат, Иван Тимофеевич, а!

— Постойте, постойте! Дайте подумать!

— Чего тут думать? Мат, да и только!

— Тьфу ты, пропасть! В самом деле! Ах, я дурак, дурак! Увязил ферзь, припер сам царя... слона не вывел!.. А игра-то какая была!

— Ай да купец, молодец! — сказал хозяин.— Да ты, видно, любезный, мастер в шахматы играть.

— Маракую, батюшка. У нас, в Астрахани, персиян довольно; я часто с ними игрывал; так около них и понаторел немного.

— А ты едешь из Астрахани?

— Да, сударь; я тамошний купец.

— И, верно, пробираешься в Москву?

— Статься может, и до Питера доеду.

— А что, любезный, не прогневайся, имени твоего и отчества не знаю...

— Алексей Артамонов, батюшка.

— А по прозванью?

— Выдыбаев.

— Послушай, Алексей Артамонович: ты едешь издалека, так, верно, и коней своих измучил, и сам умаялся; останься-ка у меня, отдохни порядком да разговейся вместе с нами; а там и с богом.

— Всенижайше благодарю, батюшка, за вашу ласку,— отвечал купец с низким поклоном.

— Ну что? Остаешься?

— И рад бы радостью, Сергей Филиппович, да никак нельзя: завтра надо чем свет опять в дорогу. Будет, батюшка, и того, что вы, по вашей милости, изволили сегодня укрыть меня, дорожного человека, от темной ночи и непогоды.

— Ей, брат, останься! Мы будем с тобой в шахматы биться, а лошадки твои меж тем отдохнут. Ведь Христов день не за горами.

— Знаю, сударь, знаю; да об страстной мне надо быть неотменно в Муроме. Вот как я там все дела свои исправлю, так, если вашей милости угодно, к празднику опять вернусь сюда. В Москву торопиться нечего: мне надо быть там после Фоминой. Так, чем ехать муромскими лесами, я лучше поеду на Рязань. Да и крюку-то почти не будет; чай, от вашего поместья дней в пять легонько до нашей кормилицы белокаменной доедешь?

— Я и в третьи сутки поспеваю. Смотри же, любезный, коли так, так так! Милости просим! Приезжай нашим куличом разговеться. Э! да скажи-ка мне, братец, ты человек дорожный: что поговаривают об этом чертове сыне, разбойнике Кузьме Рощине? Ока давно уже прошла, а о нем что-то вовсе не слышно. Уж не поймали ли его где-нибудь?

— Дай-то господи! Теперь он, как слышно, тешится с своими молодцами по Волге и, говорят, близь Макарья уж три села выжег.

— Вот что! Так он на Волгу перебрался? Что, видно, здесь жутко пришло?

— Да, батюшка; теперь по Оке стоят везде воинские команды, так он и бросился вниз по матушке по Волге, а шайка-то у него, как видно, пребольшая. Мне сказывали, что он на трех косных лодках разъезжает.

— Да что ему, прости господи, уж не сам ли сатана помогает? Два года по Оке разбойничал, теперь грабит на Волге, и все ему с рук сходит! Ну, дорого бы я дал, чтоб хоть раз взглянуть на этого Рощина.

— А я так и даром его видел,— сказал с улыбкою купец.

— Неужели, батюшка? — вскричала Варвара Дмитриевна.— Когда?

— Дней семь тому назад. Верстах в десяти от Нижнего я вместе с ним ужинал и ночевал на постоялом дворе.

— Как, вместе с Рощиным? — прервал Сергей Филиппович.— И ты остался цел?

— А вот, как видите. Он был один-одинехонек, и я узнал уж после, кто со мною ужинал,— мне на другой день сказал об этом хозяин постоялого двора.

— Так чего же смотрел этот бездельник? Ему бы надобно было кликнуть народ да связать этого разбойника.

— Связать? Нет, батюшка, это легко вымолвить; не только хозяин постоялого двора, да и все село знало, что у них ночует Рощин, а, небось, никто не сунулся.

— Да неужели он так страшен, что к нему и приступиться-то никто не смеет?

— А как бы вам сказать, сударь?.. Повыше меня целой головой. Вот господин офицер молодец собой, плечист, а тот вдвое плотнее будет. А рожа-то какая! Не приведи господи и во сне увидеть! Борода по пояс...

— И, верно, рыжая,— сказала робким голосом Варвара Дмитриевна.

— Нет, сударыня, как смоль черная.

— Да что за вздор! — прервал хозяин.— Ведь этот Рощин не Полкан же богатырь какой. Ну, может ли статься, чтоб целое село не справилось с одним человеком?!

— Как не справиться! Да ведь мужички-то себе на уме. Его схватят, так товарищи останутся, а в селе-то не останется ни кола ни двора. Слыхали ли вы, сударь, поговорку: как подпустят красного петуха, так запоешь и курицей.

— Правда, правда! Да чего же нижегородский воевода смотрит! У меня бы этот разбойник давным-давно сидел в остроге. Да милости просим, пускай пожалует ко мне в гости!

— Эх, батюшка, не напрашивайтесь! — перервал Зарубкин.

— А что ж? — продолжал хозяин.— Приму, угощу и в бане выпарю, да так, что он до новых веников не забудет. Ведь я не кто другой: свистну только, так у меня пятьдесят молодцов хоть сейчас под ружье станови. Конечно, ты, Иван Тимофеевич, дело другое, тебе как не бояться! У тебя что за дворня! Чай, душонок

пять-шесть. А я двести душ держу на мещине, любезный!

— Так, сударь, так, вестимо: большому кораблю большое и плаванье; да ведь и он, батюшка, не сам-друг выходит на грабеж.

— Так что ж? Эка фигура! Чтоб я не справился с этой сволочью! Да у меня любой псарь на пятерых разбойников пойдет.

— Эх, батюшка, не хвалитесь. Не ровен час. Знаете ли вы, какую шутку выкинул третьего года этот Рощин с князем Владимиром Павловичем Зашибаевым?

— А что такое? — спросил с любопытством Ильменев.

— И я об этом не слыхала,— сказала Варвара Дмитриевна.— Расскажи нам, батюшка.

Она положила на стол свой чулок. Машенька перестала вышивать. Все сдвинулись в кружок, поближе к Зарубкину, и он начал:

— Вот, изволите видеть: года два тому назад этот Рощин был вовсе не страшен; теперь у него целая шайка, а тогда он один-одинехонек промышлял по большим дорогам. Все окружные дворяне и вы, Сергей Филиппович, не раз изволили досадовать на местное начальство, которое не могло справиться с одним разбойником; но пуще всех кричал князь Владимир Павлович и так же, как вы, батюшка, хвалился перед всеми и в грош не ставил Рощина. «Да что это плут не вздумает меня ограбить! — сказал он однажды на отъезжем поле.— Уж то-то бы я потешился! Да будь он хоть семи пядей во лбу, а от меня бы не отвертелся; уж я бы привел его на аркане к нашему ротозею воеводе, у которого этот мошенник скоро голову с плеч украдет. И что он за разбойник! Так, воришка, шишимора!» Вот, видно, эти речи и дошли до Рощина. Однажды, около Петрова дня,— вы изволили быть тогда со всем вашим семейством в Москве,— князь Владимир Павлович собрался на богомолье в Ольгов-Успенский монастырь, что верст двадцать отсюда, на самой Оке. Рощин проведал об этом. Вы, верно, знаете, что его сиятельство изволит ездить всегда очень людно; так одному разбойнику нельзя остановить его на большой дороге. Прошу отгадать, что этот вражий сын, Рощин, придумал? Он отправился ранехонько вперед и догнал целую ватагу нищих, которые шли также в Успенский монастырь, всё чающие движе-

ния воды, калеки, увечные старики и старухи. С этим народом ему не трудно было справиться; как пристрастил их ружьем да зыкнул «сарынь на кичку», так все они, как овсяные снопы, и повалились ничком наземь. «Слушай, нищая братия! — заревел Рощин страшным голосом.— Сейчас с дороги долой! ложись в кусты, да никто ни гугу; пошевелиться не смей! Вы, старухи, лежать смирно, а вы, старики и увечные, слушайте мой приказ: лишь только я закричу: «Гей, вы, сорванцы, вставай!» — так вы все привстаньте немного и высуньте из-за кустов головы. Закричу: «Ложись!» — мигом припадай опять в кусты. Да смотрите вы, убогие! если из вас кто без приказу пошевелится или голос подаст, так тут ему и карачун!» Как сказано, так и сделано. Нищая братия улеглась в кустах, а Рощин вышел на середину дороги и стал поджидать проезжих. Вот князь Владимир Павлович едет в своем четвероместном рыдване; впереди скачут вершники, на запятках стоят гусары, а позади, на двух тройках, везут всяких челядинцев; и все с оружием: кто с пистолетом, кто с саблею, кто с охотничьим ножом. «Стой!» — закричал Рощин, когда рыдван с ним поравнялся. Кучер, в которого он уставил конец своей длинной винтовки, остановился, гусары спрыгнули с запяток, передовые вернулись назад, остальные холопы повыскакали из телег, окружили со всех сторон Рощина, а князь высунулся из рыдвана и закричал: «Бейте этого мошенника в мою голову!» — «Ни с места! — заревел удалой разбойник.— Я Рощин; здесь вся моя шайка, и если кто из вас хоть руку отведет, хоть одним пальцем пошевелит, так я вас всех, как баранов, перережу... Смотрите! — продолжал он, показывая на кусты,— гей вы, сорванцы, вставай!» Господи боже мой! Так у княжеских холопей руки и опустились: из каждого куста высунулось голов по пяти, и бедному князю со страстей показалось, что в засаде лежит человек двести. «Ну, что, видите? — сказал Рощин.— Ложись, ребята! А вы, сарынь проклятая, стоять смирно, а не то как гаркну, так праху вашего не останется! Здравствуйте, батюшка, ваше сиятельство,— продолжал Рощин, отворяя дверцы рыдвана.— Вы изволили похваляться, что приведете меня на аркане к нашему воеводе; вот я сам налицо, и веревку припас. Милости прошу, попытайтесь, батюшка!» Бедный князь хотел что-то сказать да поперхнулся первым словом. «Что, ваше сиятельство,— молвил Рощин,— иль язычок онемел? Слу-

шай, князь! — прибавил он грозным голосом.— Мне бы надобно было за твое хвастовство удавить тебя этой веревкою, да так уж и быть; счастлив ты, что у меня обычай первую вину прощать. Добро! выкладывай все, что у тебя есть в карманах; я знаю, ты всегда возишь с собою денежки!» Делать было нечего: князь отдал ему свои заветные часы, черепаховый рожок с табаком, в серебряной оправе, да пятьдесят крестовиков. Когда Рощин очистил совсем его карманы, он поклонился ему низехонько и сказал: «Прощай, князь, благодарствуй за твое жалованье; не забывай Кузьмы Рощина, да помни коренную русскую пословицу: не хвались, а прежде богу помолись! Что стали, ребята? Садись по местам. Ну, трогай лошадей! Да, чур, не оглядываться, а не то пошлю вдогонку такого свинцового гонца, что от него и шестериком не ускачешь». Проезжие помчались без оглядки, а Рощин юркнул в лес — да и был таков. Нищие пролежали в кустах до самой ночи. Вот один колченогий, посмелее других, выполз на большую дорогу и как увидел, что никого нет, закричал своим товарищам, и вся ватага поплелась опять вперед. На другой день — я сам был тогда в монастыре — посмотрели бы вы, что сделалось с князем, когда он узнал, на какую штуку поддел его этот сорванец Рощин. Он совсем взбеленился, принялся колотить своих челядинцев, перепорол десятка два нищих и до того кричал и бесновался, что его хотели было отчитывать.

— В самом деле штука! — сказал Сергей Филиппович.— Ну, хитер он, разбойник! Да и то сказать, что за народ у этого князя Владимира Павловича: дворецкий соня, людишки — дрянь! Да их не только разбойник с ружьем, а простой мужик с рогатиною на большой дороге ограбит. Я помню, однажды на отъезжем поле князевы собаки остановили волка. Как вы думаете? Ведь никто из его охотников приступиться к нему не смел; и если бы не мой стремянный, так они наверное бы его упустили; кричат издалека: тю-лю-лю-лю-лю, а никто спéшиться не хочет. Хуже баб! Ну вот, ни дать ни взять как людишки двоюродной моей сестры, Авдотьи Павловны Хлестовой; да и те, чай, бойчее стали с тех пор, как побывали в переделке у Рощина. Ну, эта штука была также славная.

— А что это, сударь, за случай был такой? — спросил Зарубкин.

— Да такой-то случай, что когда сестра стала мне

об этом рассказывать, так я, видит бог, расцеловал бы этого разбойника. Вот послушай, любезный, какая была оказия. Прошлого лета сестра поехала, из каширской деревни, повидаться с родственником своим, пронским воеводою. Она ехала в четырех повозках, и с нею было человек десять людей, ребята все молодые и не с пустыми руками: у троих были даже ружья. Верстах в пятидесяти от города Пронска остановил их на большой дороге Рощин. Он был только сам-четверть; но лишь крикнул на сестриных людей, так эти плюгавцы тут же и повалились ему в ноги. Рощин велел их всех перевязать, а сам подошел к сестре, снял шапку и начал просить, как будто бы из милости, чтоб отдала ему все деньги, которые с нею были. Разумеется, сестра не стала с ним торговаться, и когда он обобрал ее кругом, так, видно, с испугу и, не понимая сама, что говорит, сказала: «Батюшка! что ты со мною сделал! ведь мне не с чем будет доехать до Пронска!» — «Да, боярыня,— отвечал Рощин,— тебе еще раза два покормить придется, а кормы ныне дорогие. Нечего делать, на тебе, сердечная, рублевик взаймы».— «Да как же я тебе отдам?» — сказала сестра, которая все еще не могла порядком образумиться. «Все равно, матушка, отдай нищим; пусть молятся за Кузьму Рощина». «Теперь я поговорю с вами, слуги верные,— продолжал он совсем уже другим голосом, обращаясь к связанным людям.— Так-то вы, негодяи, бережете вашу добрую боярыню! Экие болваны! Десять человек дали себя перевязать четырем разбойникам! А еще с ружьями! Вы только хлеб-то барский есть умеете, хамы проклятые, небось, никто из вас руки не отвел, чтоб оборонить вашу кормилицу. Да уж не изволь беспокоиться, матушка,— прибавил он, обращаясь опять к сестре,— я задам им добрую баню; не станут вперед выдавать тебя руками первому встречному разбойнику. Эй, молодцы! в плети их! Перебирай всех поодиночке! Да у меня, смотри, чур, не мирволить!» Что ж ты думаешь, братец: ведь в самом деле он так их всех отодрал, что они и теперь еще спины у себя почесывают!

— Ну, молодец,— вскричал Зарубкин,— и придет же в голову пересечь людей за то, что они ему без драки покорились? Ай да Рощин!

Вошел слуга и доложил, что кушанье готово.

— Жена,— сказал Сергей Филиппович, вынимая из камзольного кармана свои огромные серебряные часы,—

что мы сегодня так рано ужинаем?.. Эге, да как же мы заболтались! — продолжал он, вставая,— девять часов, десятый. Иван Тимофеевич! Алексей Артамонович! милости прошу. Жена, веди Владимира Ивановича — ведь он твой гость, да смотри не больно с ним перемигивайся — я и так уж давно за вами примечаю.

После ужина все разошлись по своим комнатам. Зарубкину и купцу отвели ночлег в одном из флигелей дома, а драгунскому офицеру, по собственному его желанию, приготовили постель в садовой беседке, которая одной стороной обращена была к сосновой роще, а другой к господскому дому и соединялась с ним длинною, обсаженною липами, дорожкою. Во время ужина небо совершенно прочистилось; затих холодный северный ветер; и, когда офицер вошел в сад, легкий южный ветерок повеял на него ароматом от сосновой рощи и обдал своею весенней теплотою. Войдя в беседку, он сказал мальчику, который дожидался его со свечою, что не имеет никакой надобности в его услугах. Мальчик ушел, а офицер, оставшись один, вышел на крыльцо беседки. В господском доме светились еще кой-где огоньки. Вот они стали тухнуть понемногу. Через полчаса все окна потемнели, и только сквозь одно, задернутое белой гардиною, проникал слабый, едва заметный свет лампады, которая горела перед образами в спальной Варвары Дмитриевны Ильменевой. Прошло еще около часу, и вдруг в самом крайнем окне замелькал яркий огонек. Офицер встрепенулся; как в минуту отчаянного боя, забилось его ретивое; он спрыгнул с крыльца и, пробираясь подле самых деревьев, пошел по дорожке, ведущей к дому. Ночь была темная, и не только под кровом ветвистых лип, но даже и на открытом месте нельзя было в двух шагах различать предметы; однако ж он робко посматривал вокруг себя и как будто прислушивался к собственным шагам. Не дойдя до конца дорожки, он повернул в сторону, продрался сквозь куртину плодовитых деревьев, перемял несколько кустов смородины, развел голыми руками два куста колючего крыжовника и вышел к самому дому; потом, прокравшись вдоль стены, подошел к открытому окну, против которого на небольшом столике стояла зажженная свеча.

— Вы ли это, Владимир Иванович? — раздался едва слышный шепот.

— Да, это я,— отвечал офицер прерывающимся от сильного чувства голосом.

— Тише, бога ради, тише!

Огонь погас, и через минуту послышался опять прежний шепот.

— Подойдите ближе к окну!.. Вот так! Боже мой, как на дворе светло!.. Ни одного облачка.

— Не бойтесь! Теперь уж поздно, ночь темная...

— О нет!.. Посмотрите, как эти звезды блестят... От них светло как днем! Ну, если садовник вас видел?

— Успокойтесь! Кругом все тихо, все спят.

— Ах, Владимир Иванович! я чувствую, что делаю очень дурно; но мне нужно было переговорить с вами; мне кажется, я не пережила бы этой ночи, если б не высказала вам всего, что у меня на душе. Послушайте! Для чего сегодня вечером ваш батюшка говорил о дочери этого Побирашкина? Почему он думает, что она вам нравится?.. Где вы с ней виделись?.. Когда?.. Не правда ли, она очень хороша собою?..

— Что вы, бог с вами, Марья Сергеевна! Да она только что не урод.

— Нет, нет, она лучше меня; у нее большие черные глаза...

— Но можно ли их сравнить с вашими?

— Прекрасный рост...

— И одно плечо ниже другого.

— Так вы заметили...

— Да, это в глаза бросается!

— Но зато она так мила, так умна!

— Помилуйте! Двух слов не умеет сказать сряду.

— Неправда, она умней меня. Но только знайте, что она презлая.

— Какое мне до этого дело!

— Ваш батюшка, как видно, очень хочет, чтоб вы на ней женились.

— Может быть, да я не хочу.

— Но если он станет вас упрашивать, будет каждый день говорить одно и то же?

— Не беспокойтесь; я завтра же ему скажу, что терпеть не могу этой Побирашкиной.

— О, как вы облегчили мое сердце! — сказала Машенька, прижавши к груди свою руку.— Если б вы знали... если б ты знал, Владимир, что я чувствую!

Слезы прервали слова ее. Она отошла от окна и, рыдая, упала на колени пред иконой божией матери.

— Что вы, Марья Сергеевна? Что с вами? — вскричал с беспокойством офицер.

— Ничего,— сказала она, подойдя опять к окну и подавая Владимиру свою руку, которую он покрыл пламенными поцелуями.— Мне теперь так весело, так легко! — говорила Машенька, а между тем крупные слезы капали из-под ее густых ресниц.

Бедная девушка, доверчивая, как дитя, не думала о будущем; она была счастлива в эту минуту, и, как тихое весеннее утро, в которое и дождь и солнышко беспрерывно сменяют друг друга, она и плакала и улыбалась почти в одно время.

— Так вы не послушаетесь вашего батюшки,— шепнула она наконец,— не женитесь на ней?

— Ни за что на свете!

— Милый Владимир! Но если ваш батюшка потребует, чтоб вы непременно на ком-нибудь женились... В нашем соседстве так много молодых девушек...

— Я вам клянусь, что ни одна из них не будет моей женою.

— Я верю вам, Владимир Иванович! Но, несмотря на то... Ах, эта неизвестность так мучительна! Один раз легче умереть, чем умирать каждый день... Откройтесь во всем вашему батюшке; пусть он поговорит...

— С отцом вашим? — прервал Владимир.— И вы думаете, что он спокойно его выслушает? И вы надеетесь, что ваш отец, богатый родовой дворянин, отдаст за меня дочь свою?

— Да чем же вы хуже других? Вы офицер, ваш батюшка человек благородный...

— Но отец его... Нет, нет! Зачем себя обманывать? Не бывать этому никогда; не судил нам господь в этой жизни быть счастливыми! Божий рай на небесах, Марья Сергеевна, а мы с вами живем на земле.

— Но для чего же вам отчаиваться? Я уверена, добрая матушка с радостию благословит меня, а батюшка... Да вы не знаете, как он меня любит! Он тысячу раз говорил, что отдаст меня только за того, кто будет мне по сердцу.

— О, в этом я уверен: он не станет принуждать вас! Но и вы также не пойдете замуж против его воли, а он никогда не согласится назвать меня своим сыном. Тре-

тьего дня, разговаривая с батюшкой, он сказал: «Видно, мне придется на старости перебраться в Москву; дочь у меня невеста, а во всей нашей округе нет по ней ни одного жениха». И лишь только батюшка намекнул ему о старшем сыне здешнего воеводы, как он закричит: «Что, что? Да не с ума ли ты сошел? Мой дед служил царю окольничим, а прадед сидел в боярской думе, и я выдам дочь свою за внука какого-нибудь подьячего с приписью? Да по мне, она лучше век в девках оставайся! Господи боже мой! Чтоб я, последний в роде Ильменевых, породнился с каким-нибудь щелкопером?.. Нет, любезный, ему и во сне это не привидится». Ну, Марья Сергеевна, неужели и после этого вы можете надеяться?

— А почему знать? Бог милостив. Вы очень нравитесь батюшке. Матушка вас любит; а сверх того, если вы не имеете никакой надежды, так чего же вам и бояться? Ведь уж хуже этого быть не может.

— А чего боится приговоренный к смерти преступник? — сказал мрачным голосом Владимир.— Он знает, что гибель его неизбежна, а, если б мог, отдалил бы хоть на полминуты казнь свою. Неужели вы думаете, что нам позволят видеться и тогда, когда любовь наша не будет уже тайною? Не видеть, не быть подле вас, не говорить с вами без свидетелей! Да разве такая жизнь лучше смерти? Ах, Марья Сергеевна, не мешайте мне пожить еще хоть несколько дней!

— Нет, Владимир Иванович, эти тайные свидания должны кончиться. Я люблю вас, вы это знаете; но вы честный, благородный человек и, верно, не захотите сами, чтобы та, которая желала навсегда принадлежать вам, была недостойна уважения вашего. Если вы не можете быть моим мужем, то мы должны непременно расстаться.

— Расстаться! — повторил с отчаянием Владимир.

— Да! это необходимо,— продолжала сквозь слезы, но твердым голосом Машенька.— Я не могу быть с вами вместе и стараться убегать вас. О, Владимир! будьте моим защитником против самих себя! Если ваши чувства совершенно сходны с моими, то я не требую от вас невозможного, не хочу, чтоб вы меня забыли; но расстаться мы должны непременно.

— Так вы желаете, чтобы жизнь мне опостылела, чтоб я стал проклинать минуту, в которую увидел вас в первый раз?

— Нет, Владимир Иванович,— сказала тихим голосом Машенька,— я хочу, чтоб мы и в несчастии нашем имели какое-нибудь утешение. Если мы расстанемся теперь, то можем не краснея вспоминать друг о друге. Вам не в чем будет упрекать себя, а мне можно будет молиться о вас с надеждою, что господь услышит мою молитву. Я сказала все. Делайте что вам угодно; только знайте, что я или в последний раз вижусь с вами без свидетелей, или навсегда буду принадлежать вам... Но что это?.. Мне кажется, сюда идут... Боже мой!.. Так точно... Ах, Владимир Иванович, если кто-нибудь нас слышал?.. Уйдите! ради бога, уйдите скорее!

Машенька затворила окно, Владимир спрятался позади большого рябинового куста; шаги приближались, кто-то говорил с большим жаром, но так тихо, что Владимир не мог понять ни одного слова. Вдруг разговаривающие поворотили в сторону и вышли из куртины на небольшую поляну. Их было двое. Несмотря на темноту, Владимир не мог ошибиться и принять их за караульщиков; он заметил также, что один из них по своему видному росту весьма походил на проезжего купца, с которым он ужинал. В другое время эта ночная прогулка возбудила бы его любопытство, но теперь ему было не до того, и когда эти полуночники, продолжая разговаривать между собою, исчезли за деревьями, он вышел опять на дорожку и, наблюдая по-прежнему всю возможную осторожность, добрался наконец до своей беседки.

По-видимому, не нужно сказывать читателям, что Владимир не мог заснуть ни на минуту. Последние слова Машеньки беспрестанно раздавались в ушах его, и когда ему приходило на мысль, что через несколько часов участь его должна навсегда решиться, сердце в нем сжималось и замирало от ужаса. По временам слабый луч надежды проникал в его растерзанную душу; но почти в то же время жестокий, неумолимый рассудок обдавал ее холодом; ему казалось, что какой-то неотвязчивый злой дух шептал над его изголовьем: «Безумный! и ты можешь надеяться, ты, сын бедного помещика и внук отпущенника, что богатый и родовой боярин выдаст за тебя единородную дочь свою! Конечно, он любит ее и, верно, желает видеть счастливою; но эта барская спесь!.. Нет! ты напрасно стараешься себя обманывать. Ты хочешь испытать своего счастия? Испытай! Но знай заранее, тебя ждет не радость, а горе и по-

зор, не ласковый привет, а презрение и обидные насмешки». Несколько раз Владимир решался не говорить ничего отцу своему и упросить начальство перевести его роту куда-нибудь подалее за Рязань; но, несмотря на это, кончил тем, что вскочил чем свет с постели и побежал к Ивану Тимофеевичу, который ночевал в одном из флигелей дома. Он так перепугал спросонья бедного старика, что тот не мог долго понять, о чем идет дело. Владимир объявил отцу, что он должен непременно сватать за него дочь хозяина, и, не дав ему образумиться, прибавил, что если просьба его не будет исполнена, то он сам подымет на себя руки или, по крайней мере, уйдет служить за тридевять земель в тридесятое государство и никогда уже не воротится на свою родину.

— Я сейчас отправлюсь домой,— продолжал он,— и стану там дожидаться решения моей участи; какой бы ответ вы ни получили, поспешите меня уведомить. Я солдат и привык сносить без ропота все, что ни пошлет на меня господь; но неизвестность... Ах, батюшка, это не земное мучение, не пытка, а мука адская, с которой ничто сравниться не может!

Владимир обнял отца, побежал на конюшню, оседлал персидского жеребца своего и помчался вихрем вон из села Зыкова.

Было уже около шести часов утра. Варвара Дмитриевна Ильменева почивала еще крепким сном; но супруг ее давно обошел все деревенские свои заведения, побывал на псарне; завернул на конный двор; надавал тузов одному лентяю конюху, который не продирал еще глаз; покричал с своим управителем и, выпив добрую чарку домашней настойки, трудился около жирного балыка и отличной паюсной икры, которую накануне получил из Астрахани. В эту-то самую интересную минуту двери потихоньку растворились, и Иван Тимофеевич Зарубкин вошел на цыпочках в столовую. Багровый нос его казался не столь красным, как обыкновенно, волосы были растрепаны, левая рука почтительно засунута за камзол, а правою он перебирал машинально свои кисейные манжеты.

— А, сосед любезный,— закричал Ильменев,— милости просим! Я думал, что ты еще спишь богатырским сном, так же как и моя барыня. Ну-ка, Иван Тимофеевич, попробуй икорки; прямо из Астрахани получил от приятеля. Уж нечего сказать, икра!.. Диво! и настойка

хоть куда. Налей себе чарку да посмакуй хорошенько, так скажешь спасибо моей Варваре Дмитриевне; что и говорить, мастерица!.. Да подойди, братец! что ты, как пень, стоишь на одном месте? Закуси чего-нибудь.

— Всепокорнейше вас благодарю,— сказал Зарубкин, перегнувшись почти вдвое.— Кушайте себе, батюшка, на здоровье, а мне есть не хочется.

— Так ты, видно, брат, уж позавтракал?

— Никак нет, сударь.

— Так что ж ты не кушаешь?.. Да кой прах! что это тебя коробит? Здоров ли ты, братец?

— Телом, славу богу; да на сердце-то у меня, батюшка...

— И, полно, любезный! Хвати-ка добрую красоулю, так и на сердце легко будет. Прошу покорно!

— Нет, Сергей Филиппович, не трапезою душа живится; конечно, и я чарочку-другую в день выпью ради стомаха, но теперь мне вовсе не до питья, батюшка.

— Кой черт! Да что с тобой случилось?

Зарубкин всплеснул руками и так жалко искривил рожу, что Ильменев повторил с беспокойством свой вопрос.

— Ох, батюшка,— сказал Зарубкин,— недаром говорят: дети радость, дети и горе! А у кого всего-навсего одно только детище...

— И, любезный! и мало, и много детей — все равно. Ведь и десять сыновей как десять пальцев: любой отрежь, все больно. Да что тебе вздумалось говорить об этом? Уж не занемог ли твой Владимир?

— Хуже, Сергей Филиппович, хуже.

— Как хуже?

— Да, батюшка; мой Володя... О, господи, и выговорить страшно!.. С ума сошел.

— Как так? — вскричал Ильменев, вскочив со стула.

— Совсем рехнулся; того и гляжу, что сам на себя руки подымет.

— Что ты говоришь?

— Наладил одно: хочу, батюшка, жениться, да и только.

— Так вот что! — сказал Ильменев, садясь на прежнее место.— Ах ты, шут нарядный!.. Перепугал меня до смерти! Эко диво, подумаешь: малому двадцать семь лет, а он жениться захотел!

— Да знаете ли на ком, батюшка?

— Неужели, в самом деле, на дочери этого жидомора Побирашкина?

— И, сударь, да об чем бы мне тогда горевать? Сегодня посватался, а завтра и сговор. Нет, Сергей Филиппович, Володя мой влюблен по уши, да только не в нее.

— Так что ж? и всякая другая девушка за него пойдет. Ведь нынче, любезный, женихи-то в сапожках ходят, а невестами хоть пруд пруди.

— Так, батюшка, так! да не равна невеста.

— И, полно, братец! такой молодец, как твой Владимир, кому не жених!

Лицо Зарубкина просияло; побледневший нос покрылся снова обычным румянцем, и он, целуя в плечо Ильменева, сказал радостным голосом:

— Ах ты, отец мой родной! Дай бог тебе много лет здравствовать! Утешь тебя господь, как ты утешил меня на старости!

— Что ты, что ты? — прервал Ильменев.— Да разве я в первый раз это говорю? Вестимо, такого жениха, как твой Владимир, никто не забракует.

— В самом деле, батюшка?

— Конечно, братец; за него пойдет девушка и не Побирашкиной чета.

— Ну, а если б он, сударь,— продолжал Зарубкин, говоря с расстановкою и не смея глядеть прямо в глаза Ильменеву,— примером будучи сказать, вздумал посвататься, то есть влюбился... сиречь, пожелал бы себе в сожительницы... Не ради чего-нибудь другого прочего!.. Боже сохрани, станет он о приданом думать!.. Душ триста, четыреста, так и за глаза; а там воля господня... Два века никто не живет... Да и то сказать, дай бог вам прожить несчетные годы; не им, так деткам их достанется.

— Да что ты за околесную несешь? — сказал Ильменев, поглядев с удивлением на Зарубкина.— Каким детям достанется? Что достанется?.. Тьфу, черт возьми! Да на ком же ты хочешь женить своего сына?

— Не я, Сергей Филиппович, видит бог, не я! Когда бы не он, так мне бы это и во сне не приснилось, и если б не ваши ласковые речи, язык бы не повернулся сказать, что мой Володя желает вступить в законный брак...

Тут Иван Тимофеевич заикнулся, да и было отчего:

глаза его встретились с глазами Ильменева, и он прочел в них что-то очень неласковое.

— Желает вступить в законный брак,— повторил Сергей Филиппович, оттолкнув от себя тарелку с икрой.

— Да, батюшка! — продолжал робким голосом Зарубкин,— мой сын желает... вступить в законный брак...

— С кем? — заревел хозяин.

У бедного свата ноги подкосились, и он промолвил, захлебываясь на каждом слове:

— С предостойною... прекрасною... и многолюбезною дочкою вашею...

Ильменев вскочил со стула; глаза у него засверкали.

— С моею дочерью! — вскричал он, ударив так сильно по столу кулаком, что глиняная перечница слетела на пол и разбилась вдребезги.

— С моею дочерью! — повторил он, сделав шаг вперед.

Зарубкин попятился назад; но, заметив, что в передней никого не было, остался в комнате. Между тем гневный взгляд хозяина смягчился.

— Скажи мне, братец,— спросил он наконец почти хладнокровно,— когда ты успел наклюкаться?

— Кто, я?.. Помилуйте! маковой росинки во рту не было!

— Пошел, пошел, проспись!.. Ах ты, полоумный старичишка! Да как тебе в голову пришло, что я выдам мою Машеньку за твоего сына? Уж не потому ли, что он официи добился?.. Велико дело!.. Драгунский офицер!.. Прошу покорно, с чем изволил подъехать! Куда в родню нарохтится! Да ты, видно, вовсе забыл, что твой отец служил псарем у покойного моего батюшки?

— Не извольте гневаться, ваше высокородие. Видит бог, я этому не причиною; я и сам толковал Володе: «Что ты, глупый, затеял? Ну, по плечу ли тебе такая невеста? Что ты страмиться-то хочешь? перекрестись!» Уж я говорил, говорил! что толку: слышать не хочет, и, поверите ль, батюшка, как шальной, вот так на стену и лезет.

— Чтоб духу его не было в моем доме! Слышишь?

— Да он, сударь, и так чем свет ускакал к себе в деревню.

— Ага! догадался! Видно, брат, он умней тебя.

— Эх, батюшка, Сергей Филиппович, когда бы вы сами не польстили меня...

— Польстил? Чем?..

— Да как же! Не вы ли изволили говорить, что моего сына никто не забракует!

— Да я то же самое сказал третьего дня сыну моего старосты, Андрюшке Рыжему: так и ему бы надо посвататься за мою дочь? Дурачина! Знай сверчок свой шесток, а залетит ворона в высокие хоромы, так ей и шею свернут. Покойный мой батюшка — дай бог ему царство небесное! — велел бы тебя дубьем с двора проводить, а может статься, и на конюшне выдрать; я не в него, посмеюсь над этим сватовством с женою да с дочерью...

— Батюшка! — перервал Зарубкин, сложив униженно руки,— не извольте только гневаться, так я всю правду скажу: ведь мой Володя не смел бы и посвататься за вашу дочь, когда бы не было на это собственной ее воли.

— Как?! — закричал Ильменев.— Возможно ли?!.. Дочь моя осмелилась?!. Без моего ведома?!. Ты лжешь!.. Быть не может!

В эту самую минуту двери гостиной растворились, и Машенька вошла в столовую. Она была бледна, как смерть; грудь ее сильно волновалась, но покрасневшие от слез глаза выражали не страх, а какую-то твердую решимость и даже спокойствие.

— Ты здесь, мой друг?! — вскричал Ильменев.— Поди сюда. Как ты думаешь, что говорит этот старый дуралей? Он уверяет меня, что сын его, с твоего согласия и воли, осмелился за тебя свататься.

— Это правда, батюшка,— сказала Машенька.

Румяное лицо Сергея Филипповича помертвело; он остолбенел и, молча, как безумный, устремил свои неподвижные глаза на бедную девушку.

— Как?.. Что? — прошептал он наконец, задыхаясь от гнева.

— Да, батюшка, это правда,— повторила Машенька кротким, но твердым голосом.

— Ну вот, изволите видеть? — сказал Зарубкин.

— Молчи! — закричал Ильменев так грозно, что Иван Тимофеевич с одного прыжка очутился в передней.— Вон отсюда, холоп! Вон! Эй, люди, люди!..

Зарубкин исчез.

Минут пять продолжалось молчание. С видом глубочайшей покорности, но в то же время и с утешительным чувством подсудимого, которого обвиняет все, кроме собственной совести, смотрела Машенька на разгневанного отца. Ильменев, не говоря ни слова, ходил скорыми шагами взад и вперед по комнате; румянец то исчезал, то выступал багровыми пятнами на бледном лице его; губы дрожали; казалось, он употреблял все силы, чтобы удержать первый порыв своего гнева. Вдруг Ильменев остановился против своей дочери, ласково взял ее за руку и почти умоляющим голосом сказал:

— Машенька! друг мой! не правда ли, ведь ты смеялась?.. Ты шутила над этим полоумным стариком?

Слезы брызнули из глаз бедной девушки. Этот ласковый голос, этот нежный взгляд отца поразили ее сильнее, чем гнев и все упреки, к которым она приготовилась.

— Ты плачешь?! — вскричал Ильменев.— Так это правда? Так ты осмелилась?..

— Выслушайте меня, батюшка! — сказала Машенька, которой суровый вид отца возвратил всю прежнюю твердость.— Я никогда не выступлю из вашей воли, и без родительского благословения никто не поведет меня к венцу; но я не хочу скрывать от вас ничего. Да, батюшка, я люблю Владимира Ивановича, и если не могу быть его женою, то останусь навсегда с вами. Вы, верно, не захотите, чтобы дочь ваша, любя одного, сказала другому пред престолом божиим, что желает вечно принадлежать ему. Людей можно обмануть, батюшка, но бога не обманешь.

— Машенька! друг мой! — сказал Ильменев, устремив на дочь свою взоры, исполненные удивления,— что сделалось с тобою?!. Куда девался твой девичий стыд?!. И кто дал тебе волю располагать собой? Дочь влюбилась без ведома отца и матери!.. Девчонка говорит, что не выйдет замуж ни за кого, потому что ее не выдают за офицерика, у которого отец с приписью подьячий, а дед был псарем! Слушай, дочь: если ты не выкинешь этой дури из головы, если я услышу когда-нибудь, что ты назовешь по имени этого негодяя, то я навсегда отрекусь от тебя; забуду, что у меня была дочь, и разве только умирая вспомню об этом, но не для того, чтоб оставить ей мое благословение. Нет! я унесу его с собой в могилу...

— Батюшка! — вскричала с отчаянием бедная девушка.

— Да, да! — продолжал Ильменев час от часу с большим жаром,— если и на том свете отец может благословлять детей своих, так не жди этого благословения, не приходи плакать над моей могилою; ты ничем его не вымолишь!

Машенька хотела что-то сказать, хотела подойти к отцу, но ноги ее подкосились, и она упала без чувств на землю.

— Дочь моя, дочь моя! — закричал Ильменев, бросившись к ней на помощь,— что с тобой, дитя мое?.. Она без памяти!.. Эй, кто-нибудь!.. Девка, девка!.. Бедняжка, что ты наделала с своей головою!.. Проклятый Зарубкин!.. Уж попадешься же ты мне когда-нибудь... Возьмите вашу барышню,— продолжал он, обращаясь к горничным девушкам, которые вбежали в столовую,— уложите ее на постель и позовите ко мне Варвару Дмитриевну.

Через несколько минут вошла жена Ильменева.

— Поди сюда, матушка! — сказал он, идя к ней навстречу.— Так-то ты смотришь за своею дочерью? Знаешь ли ты?..

— Ох, батюшка Сергей Филиппович, все знаю! Машенька сегодня поутру во всем мне призналась!

— Ну, что скажешь, сударыня?

— Что тут сказать! Наслал господь горе, так делать нечего.

— Как делать нечего?

— Да не гневайся, батюшка! Мы все люди, все человеки, все под богом ходим. Конечно, Владимир Иванович жених не богатый, не чиновный, да уж если такая судьба нашей Машеньке...

— Судьба! — повторил Ильменев.— Ах ты, глупая! Да с чего ты это вздумала? Прошу покорно!.. Судьба!.. Так, по-твоему, первый пострел, который приглянется твоей дочери, ей и жених? Судьба! А мы-то что с тобою? Что я, отчим, что ль, а ты мачеха?

— Так, батюшка Сергей Филиппович, так! да ведь суженого-то конем не объедешь, и чему быть, тому не миновать.

— Чтоб я породнился с этим отпущенником! Чтоб меня, родового дворянина, называли сватом какие-нибудь подьячие!..

— Помилуй, Сергей Филиппович! да ведь у Влади-

мира Ивановича, кроме старика отца, никого родных нет.

— Право?.. А не хочешь ли, я в моей дворне найду ему внучатых братцев?! Полно вздор говорить, жена! Пока я жив, этому не быть. Слышишь ли, не бывать! И если кто-нибудь вперед мне об этом заикнется...

— А если, батюшка, дочь наша зачахнет с горя? Посмотрел бы ты на нее! Господи боже мой!.. Словно река льется.

— Вздор, сударыня, вздор! Девичьи слезы — роса утренняя; проглянет солнышко — росы как не бывало. Подари ей свои изумрудные сережки или сделай новое объяринное платье, так дело и с концом!

— Смотри, батюшка, чтоб не пришлось вместо объяринного платья сшить ей белый саван! Ведь ты не знаешь, как она любит Владимира Ивановича.

— Полно, матушка. Скоро полюбила, так скоро и разлюбит.

— Не говори так, Сергей Филиппович! Сохрани господь и помилуй, а уж если, божьим попущением, эта лиходейка любовь заберется в девичье сердце, так ее ничем не выживешь. Ведь любовь, батюшка, на взгляд и красна и преизрядна, как махровый цвет; а на самом-то деле и горька и цепка, как репейник.

— Эге! да это целиком из гистории об Аленкурте и Флориде!.. Вот то-то и есть! Начитались вы обе с дочерью этих дурацких книг, набили вздором свои головы. Да и чему быть путному! Вчера я приказал Малашке принести мне из спальни календарь; гляжу, тащит ко мне... Что такое?.. «Повесть о княжне Жеване», дочери какого-то мексиканского царя Фирдедондака! Господи боже мой! Вот до чего довела нас эта грамота! Как, дескать, русской барышне не уметь читать, когда в Неметчине простые мещанки читают?.. Читают! А на что? Знали бы да знали свои пяльцы, так не пошла бы эта заморская дурь в голову; не стали бы без ведома отца и матери сами выбирать себе женихов и влюбляться в каждого встречного и поперечного. Да что об этом говорить! Слушай, жена, я люблю дочь не меньше тебя, но никогда не соглашусь на этот срам: не бывать внуку псаря моим сыном!

— Но подумай, батюшка!

— Нечего тут думать. Как пройдет эта дурь, так сама скажет мне спасибо.

— А если не пройдет, Сергей Филиппович!

— Да что ж ты, в самом деле! — закричал грозным голосом Ильменев.— Иль учить меня вздумала? Слышишь ли, чтоб об этом вперед и речи не было!

— Воля твоя, Сергей Филиппович,— сказала робким голосом покорная жена,— только смотри, чтоб не пришлось после пенять на самих себя.

— Добро, добро! Умны вы с дочкой-то больно стали! С тех пор, как побывали со мной в Питере да наслушались там всяких басурманских речей, так с вами и ладу нет. И то сказать: я сам дурак! зачем пускал к себе в дом эту книжную чуму, этого краснобая Тредьяковского? Ведь он-то всему злу и корень. Святочное пугало! вспомнить не могу! придет, бывало, в своем дурацком парике, торчит, как рожон; под мышкою книга, в кармане тетрадь, начнет говорить виршами и занесет такую околесную, что сам черт его не разберет.

— Напрасно, батюшка! Василий Кириллович Тредьяковский человек очень хороший.

— Хороший! А кто приучил вас к этим вздорным книгам? Бывало, то принесет к вам какую-то героическую повесть «Аргениду», то разные стиходейства да всякие другие лихие болести. Из меня было хотел сделать такого же, как сам, книжника и фарисея. Помнишь, однажды вытащил из-за пазухи маленькую книжонку, прижал меня к стене, да и ну на фандарах: «Не подумайте, ваше высокородие, что я, ради какого высокомерного надмения, про сию книжицу, «Езда на остров Любви» именуемую, продерзностно доложить вам осмелюсь, что в оной, так сказать, закрасневающаяся с честного устыдения речь, есть как беспорочна, так и не напыщенна, но некоторою природною красотою возносится». Я было на попятный двор. Куда! прихватил меня за кафтанную петлю, надулся, как индейский петух, да как примется читать... Царю мой небесный!.. И теперь еще мороз по коже подирает. Уж он пытал, пытал меня! А ты-то, мать моя, уши развесила, да так и надседаешься! «Ах, батюшки мои! что за вирши такие!.. Господи, как хорошо! Куда, дескать, вы, сударь Василий Кириллович, сладко писать изволите!» Ан вот тебе и сладко! Небось, горько стало. Бывало, каждый день только и слышишь: тоска сердечная, любовь бесконечная, игры да смехи, любовные утехи; так что за диво, коли у девчонки голова кругом пошла?! Да вот постой, а приберу

к рукам все эти скверные книжонки! видишь, грамотницы какие!.. Ну, что стоишь, матушка? Чай, все утро ничего не делала? Пошла, пошла, задавай уроки свои кружевницам, да у меня смотри, чтоб об этом дурацком сватовстве и в помине не было!

Варвара Дмитриевна ушла к Машеньке, которая слегла в постель, а Ильменев велел оседлать себе лошадь, надел полевой кафтан и до самого обеда проездил кругом своего села. К столу явилась одна Варвара Дмитриевна.

— Что Машенька? — спросил Ильменев, не глядя на свою жену.

— Плачет, батюшка.

— Плачет! — повторил сквозь зубы Сергей Филиппович.— Плачет! ну, пусть себе плачет: уймется когда-нибудь.

После обеда весь вечер Ильменев бился в шашки с своим дворецким, и как ни старался сметливый Фома поддаваться своему барину, а не мог проиграть ни одной игры. Он ужинал один. Варвара Дмитриевна не выходила из комнаты своей дочери. Ильменеву очень хотелось взглянуть на больную, но он укрепился и, как следует разгневанному отцу, ушел спать, не простясь с женою и не перекрестя на сон грядущий своей дочери. На другой день за обедом он спросил опять у Варвары Дмитриевны:

— Что Машенька?

— Плачет пуще прежнего,— отвечала бедная старушка, утирая глаза.

— Пуще прежнего! — сказал вполголоса Ильменев.— Глупая девчонка!.. Пуще прежнего!.. Ну, видно, слезы-то у нее не покупные!

Так прошла целая неделя. Вот наступил великий годовой праздник. Машенька не могла еще подняться с постели. Ильменев и жена его сходились за столом и в церкви: одна плакала, другой прикидывался сердитым; но давно уже сердце его не вмещало другого чувства, кроме сострадания и любви: он грустил не менее своей дочери и даже по временам приходил в отчаяние, не видя никакого средства пособить ее горю. Ему казалось точно так же невозможным выдать дочь свою за Зарубкина, как желать, чтоб старший сын его, который умер еще в ребячестве, встал из могилы и явился к нему цветущим двадцатилетним юношею. Несколько ночей сряду приходил он украдкою к дверям комнаты, в ко-

торой жила Машенька, чтоб послушать, спокойно ли она спит.

— Авось пройдет! — говорил он, если ему казалось, что сон ее спокоен.— Разбойник Зарубкин! — шептал он с бешенством, когда замечал по неровному ее дыханию, что она плачет.

Накануне светлого воскресенья Машенька вышла в первый раз к столу. Грустно было взглянуть на бедную девушку: она была так бледна, так слаба, что не только отец и мать, но даже слуги не могли без слез ее видеть. Молча, но почти с ласковым видом, Ильменев дал ей поцеловать свою руку. Машенька не плакала, она глотала свои слезы; но могла ли она скрыть на полумертвом лице эти глубокие следы безотрадной горести и томительных ночей, проведенных без сна?

— Проклятый драгун! — прошептал Ильменев.— И кто его угораздил быть сыном этого Зарубкина? Бедняжка совсем извелась... А что делать?.. Хоть бы дедушка-то его не был псарем у покойного моего батюшки!

После самого молчаливого обеда Машенька поцеловала опять руку у отца и пошла в свою комнату. Варвара Дмитриевна отправилась вслед за нею, а Сергей Филиппович с горя прилег на постель и заснул.

Что делал между тем Зарубкин? Несколько дней сряду он употреблял все средства, чтоб утешить своего сына; но, видя наконец, что его красноречие гибнет даром, махнул рукою и сказал то же, что Ильменев:

— Ну, делать нечего, пускай себе тоскует: уймется когда-нибудь!

Деревня Ивана Тимофеевича Зарубкина отделялась только одним выгоном от большого экономического селения, в котором стояла рота драгун под командою его сына; несколько черных, до половины вросших в землю лачужек окружало господский дом, который мы называем домом потому, что из соломенной его кровли выглядывала кирпичная труба и что обширный двор его обнесен был не плетнем, а забором. На этом барском дворе вместе с индейскими петухами и курами преважно расхаживал ручной журавль, спокойно валялись в грязи домашние свиньи и несколько уток плавало в огромной луже, которая, как Средиземное море, стояла, не пересыхая, круглый год на самой середине двора. Во всем доме было только два покоя и одна пристроен-

ная сбоку светелка; в ней жил Владимир; сзади к дому примыкали обширный огород и коноплянник, а за ними начиналась дубовая роща, которая доходила почти до самых гумен казенного селения.

В последний день страстной недели, часу в седьмом вечера, Владимир сидел на крыльце перед домом своего отца. С этого места вид на все окрестности был прекрасный, но Владимир смотрел не на величественное течение широкой Оки, не на крутые ее берега, усыпанные селами; взоры его не останавливались на отдаленной и живописной группе городских домов, из среды которых подымалась высокая башня татарской мечети, которая и до сих пор существует. Нет, он глядел прямо перед собою на темный сосновый бор, за которым, как сквозь туман, виднелась тесовая кровля господского дома; под этой кровлею жила Машенька Ильменева, в этом доме он увидел ее в первый раз. Вот что-то вдали, как неподвижное облачко дыма, стоит над самою кровлею дома... Так точно! это вершина сибирского кедра, посаженного в саду дедом Ильменева. Давно ли Владимир вместе с *нею* любовался этим великаном дремучих лесов Сибири? Давно ли *она,* переносясь мыслию в этот пустынный и безлюдный край, говорила ему: «О! как были б мы счастливы, если бы могли жить там, вдали от всех, одни с нашей любовью!» Давно ли и мысль о вечной разлуке с нею казалась ему невозможною? А теперь!..

— Опять ты нос повесил, Володя! — сказал Зарубкин, подойдя к своему сыну.— Да полно грустить! Завтра светлый праздник, все православные должны веселиться, а ты, смотри-ка, словно в воду опущенный... Грех, Володя, право грех!

— Я не грущу, батюшка.

— Не грустишь? Погляди-ка на себя, на что ты стал похож? кости да кожа! Вчера, в пятницу, ты не хотел обедать: «Я, дескать, батюшка, в этот великий день до звезды не ем». А сегодня что?

— Сегодня я обедал.

— Хорош обед: две ложки пустых щей да корочку хлеба... Эх, Володя, Володя! Напустил ты на себя дурь!.. Да что, в самом деле: иль на всем белом свете для тебя только и есть одна невеста? И что тебе в ней полюбилось?.. Ни дородства в теле, ни румянца в лице; так, взглянуть не на что! Ресницы длинные, да глаза по ложке — эка невидаль! Посмотри-ка дочку воеводского

секретаря, Говоркова; ты еще не видал; она гостит в Рязани у своей крестной матери. Вот уж подлинно есть чем полюбоваться. Что и говорить, царь-девица! Ростом с тебя будет, черноглазая, чернобровая, в щеках румянец так и пышет. А уж обычай-то какой! девка веселая, затейница, на месте не посидит. А голос-то, голос! Как зальется: «Ах ты, море, море синее», так за версту слышно. И эта не придет по сердцу — найдем другую. Ведь тебя, Володя, любая невеста с руками оторвет; не все такие чваны, как этот гордец Ильменев,— чтоб ему, проклятому, целый век внучат не дождаться! Он бригадир, у него восемьсот душ, так уж ему с нашим братом, ординарным помещиком, и породниться нельзя! Эка спесь, подумаешь!.. Велико дело — ваше высокородие; нам и превосходительные кланяются. Да если пошло на то, так хочешь ли, Володя, я сосватаю тебе дочь соседа нашего, князя Беркутова? Хоть он и татарского отродья, а все-таки сиятельный и в табели о рангах не ниже стоит этого высокородного скареда. Что, Володя, хочешь ли?

— Нет, батюшка, я хочу служить.

— Да что тебе служба далась? Вот пошел бы лучше по гражданской части...

— Не хочу, батюшка. Но вот уж, кажется, смеркаться начало... Прощайте, батюшка, я пойду сосну; ведь в полночь надо быть у заутрени.

— Погоди, Володя,— сказал Зарубкин,— поболтаем еще кой о чем. Иль нет,— продолжал он торопливо,— ступай, голубчик, ступай... сосни, в самом деле!

— Что это, батюшка? — сказал Владимир.— Мне кажется, у наших ворот кто-то дожидается, вон там, видите, за забором, в высокой меховой шапке?

— Какой-нибудь прохожий или проезжий, бог с ним! теперь нам не до гостей. Ступай, Володя, ступай!

Владимир вошел в дом, а Зарубкин с приметной робостию подбежал к воротам, отпер калитку и впустил на двор человека высокого росту, в синем купеческом кафтане.

— Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич,— сказал гость, не приподнимая своей шапки.

— Тише, бога ради, тише! — прошептал Зарубкин, посматривая с ужасом вокруг себя.— В уме ли ты, Кузьма Степаныч! На дворе светлехонько, и народ еще порядком не угомонился, а ты лезешь прямо ко мне в дом.

— Небось, меня никто не видел.

— Как никто? Да мой Владимир сейчас здесь был; ну, если б он тебя узнал?

— Так назвал бы меня Алексеем Артамонычем Выдыбаевым. Ведь у меня на лбу не написано, что я...

— Тише, тише!.. Что ты горланишь!

Гость засмеялся.

— Ну, брат Иван Тимофеевич! — сказал он, — трусоват ты. Видно, в воеводской-то канцелярии тебя путем припугнули. Да вот, постой, скоро ты совсем окуражишься; как покину навсегда вашу сторону, так и все концы в воду. Я зашел к тебе, Иван Тимофеевич, проститься.

— Проститься?

— Да, любезный. Вишь, нагнали сюда этих сухарников драгунов, чтоб им передохнуть, окаянным. Теперь по всей Оке ходу нет нашему брату.

— Да, Кузьма Степаныч, держи ухо остро!

— Когда б их не так людно было, то я бы и «ох» не молвил; у меня ребята все удалые, любому из них по два солдата мало на закуску; да вот беда: придется не по два, а десятка по три на брата, так, знаешь ли, и невмоготу.

— Ты сбираешься отсюда подалее?

— Да, голубчик! Делать нечего: сила солому ломит. Завтра спущусь по Оке вплоть до самой Волги, а там погляжу: есть пожива около Нижнего — ладно; нет — так вниз по матушке, к Царицыну; там есть к чему руки приложить: и стругов много, и купцов немало, а всякой вольницы и беспашпортных счету нет. Что, в самом деле, Иван Тимофеевич, не целый же век шмольничать да по рублевикам сбирать; хватил разом — а там и шабаш!

— То-то же, Кузьма, видно, уж и самому надоело?

— Не то чтоб надоело: кому волюшка не люба? Житье разгульное, промысел удалой; да два-то столбика с перекладинкой мне больно не по сердцу, любезный.

— Кому они по сердцу! Ну, Кузьма Степаныч, если так, прощай, приятель; доброго пути, счастливой дороженьки!

— Постой, постой, Иван Тимофеевич! иль ты думаешь, что я на прощанье с моей родимой стороной не захочу по себе памяти оставить?

— Небось, тебя не скоро забудут.

— И, любезный! у народа память коротка. Да не мешает и хлебцем запастись на дорогу. Послушай, голубчик, сослужи уж мне последнюю службу. Вот тебе пятьдесят крестовиков; мало — так еще десяток накину; а дело-то все для тебя гроша не стоит.

— Что ты еще затеваешь?

— Вот, изволишь видеть...

— Тс!.. Тише, тише!..— перервал Зарубкин, поглядывая с робостию на отдаленный угол двора.— Смотри, смотри, кто это там крадется подле забора?

— Где?

— Вот прямо против нас.

Гость опять засмеялся.

— Ну, правду говорят,— сказал он,— пуганая ворона и куста боится. Эк тебе с страстей-то мерещится! Да разве не видишь, что это твой журавль?

— Журавль? Тьфу, батюшки! в самом деле!.. Проклятый... как он меня напугал! Однако ж, знаешь ли что: здесь место прохожее, а людишки мои не все еще улеглись; пойдем-ка лучше в рощу.

— Да не шатается ли в ней твой полуночник?

— Кто? Владимир? Нет! он пошел спать. Пойдем, Кузьма Степаныч, пойдем! — продолжал Зарубкин, таща за собою гостя.— Володя прошлую ночь глаз не смыкал, так, верно, спит теперь мертвым сном.

Но Владимир не спал. Он ушел в свою светелку для того только, чтоб пробраться из нее в рощу, где мог на свободе грустить и мечтать о протекших минутах мимолетного счастия; о погибшей навсегда надежде; о верном, неизменном друге всех злополучных — о своем последнем смертном часе, который так ужасен для счастливца и так утешителен, так радостен для того, кто испил до дна всю чашу земной горести. Смерть — конец тяжкого изгнания, берег родной земли, о, как мила ты для усталого бедняка! С каким восторгом, устремив к небесам взоры, утомленный страданием, он повторяет неизъяснимо утешительные слова: «Приидите ко мне вси труждающие и обремененнии, и аз упокою вы». С каким веселием спешит он сбросить с себя тяжелое бремя земной жизни, грехов и горя, болезней, житейских забот и грустного воспоминания, всегда минутных радостей и вечно постоянных бед!

Владимир с полчаса ходил уже по роще; все было тихо, и даже неугомонные грачи, которых шумный крик

с утра до вечера раздавался по лесу, замолкли и приютились на вершинах ветвистых дубов и высоких берез. Вдруг ему показалось, что шаги его повторяются в близком от него расстоянии... Это не отголосок! Нет!.. Так точно, он не один гуляет по роще... Вот хрупнула сухая ветка... раздался шорох между кустов... и несколько невнятных слов долетело до его слуха, Владимир остановился, шаги послышались ближе, кто-то назвал его по имени. Голос показался ему знакомым. Владимир прислонился к дереву и, почти совсем закрытый высоким кустом жимолости, стал прислушиваться.

— Полно, Иван Тимофеевич! — продолжал тот самый голос,— ну, что ты ломаешься? Эка важность, припереть часика на три светелку, в которой живет твой сын! Пусть проспит заутреню... Эх, брат, зазнался ты! Бывало, из двух рублей сбегал бы на рысях до самой Рязани, а теперь дают тебе пятьдесят крестовиков за такое плевое дело, а ты еще кочевряжишься!

— Да для чего ж ты хочешь, чтоб я продержал Володю взаперти до самого утра?

— Какое тебе до этого дело?

— Нет, воля твоя, Кузьма Степаныч, прежде скажи.

— Ну, слушай, любезный! Да только знай наперед: если я тебе все выскажу, так уж хочешь не хочешь, а делай по-моему. Я сбираюсь сегодня поздравить с праздником соседа твоего, Сергея Филипповича Ильменева.

— Помилуй, Кузьма, что ты затеваешь?

— Как что? Да разве ты забыл? Ведь я при тебе дал слово приехать разговеться его куличом. Правда, я не сказал ему, что привезу с собой гостей; да у него дом как полная чаша, про всех будет, всего вдоволь. Мои молодцы в полуверсте от его дома вышли на берег и ждут только меня, чтоб приняться за работу. Вот как ударят в колокол и все сберутся в церковь, так они с двух концов и зажгут село, а сами тотчас на сборное место, то есть в дом его высокородия, да и гуляй, молодцы! Мужички и дворовые станут хлопотать около пожара, а мы на просторе поочистим барские кладовые, кинемся на лодки, а там и поминай как звали. Ну, понимаешь ли теперь, зачем мне надо, чтобы твой сын до утра не выходил из своей светелки?

— Нет, не понимаю.

— Ах ты, голова, голова! да, разве, ты не заметил, что твой сынок засматривается на дочку Ильменева?

Ну, как он увидит, что Зыково горит, да нагрянет с своею командою прежде, чем мы успеем убраться подобру-поздорову, так дело-то будет плоховато; а если ты его продержишь взаперти, так и бояться нечего: без командирского приказа ни один драгун не посмеет отлучиться от своей квартиры. Ну, что, смекнул ли теперь, любезный?

— Понимаю, Кузьма Степаныч, понимаю. На-ка твои пятьдесят крестовиков, возьми их назад!

— Я уж тебе сказал, что еще десять прибавлю.

— И пятисот не возьму.

— Что так?

— Да так, не надо. Я тебе, Кузьма Степаныч, не указ! Делай что хочешь, а на меня не надейся. Хоть Ильменев и больно меня разобидел, но я никогда не забуду, что ел его хлеб и соль. Нет, любезный, бери один этот грех на свою душу, а я с тобой делиться не стану. Да и ты нашел время! в Христов день!.. Эх, брат Кузьма, бога в тебе нет!

— А давно ли, батюшка Иван Тимофеевич, вы стали так совестливы? Уж не хотите ли покаяться и раздать нищим свое имение? Слушай, брат! через неделю ты волен каяться; но если ты прежде с кем заикнешься об этом, вымолвишь хоть полслова, так не будь я Кузьма Рощин, если не издохнешь вот на этом ноже. Видишь что выдумал! Нет, голубчик, не хочешь делать, что я приказываю, не делай; но только знай, что если хоть один драгун будет на пожаре, так читай себе заранее отходную. Прощай!

— Постой, постой, Кузьма Степаныч. Что ты! перекрестись!.. Ну, сам ты рассуди: за что мне быть в ответе, ежели с тобой какая ни есть беда случится? Сам лезешь в петлю, а я отвечай!

— Уж там думай как хочешь; было бы сказано.

— Да выслушай: ты боишься драгунов, а Сергей-то Филиппович Ильменев, чай, отпору тебе не даст? Ведь он не кто другой; у него дворовых человек пятьдесят, и все молодец к молодцу, оружия всякого вдоволь; да и сам-то он за себя постоит. Эй, Кузьма, смотри, чтоб оглядок не было!

— Да разве ты не знаешь, что врасплох один десятерых прибьет?

— Так, любезный, так, а если кто-нибудь даст ему весточку?..

— Весточку?.. Ой ли? Послушай, Иван Тимофее-

вич! Бог весть, что у тебя на уме, но если я попаду в западню, так не прогневайся. Пошел со мной за одним, так одну чашу и пей. Нарочно живой в руки отдамся, чтоб объявить на суде, у кого я по зимам держу мою пристань.

— Что ты, что ты, Кузьма Степаныч! да не ты ли божился?..

— Да, я божился, что не выдам тебя ни за что, когда ты станешь служить мне верой и правдою.

— Да что ж тебе надобно?

— Теперь ничего; делай что хочешь. До свиданья, товарищ!

— Постой, постой!.. Экой ты задорный! Ну, ну, добро! быть по-твоему.

— Что, надумался? То-то же! Прощай, приятель, мне болтать с тобою некогда.

— А пятьдесят-то рублей!

— На вот, бери.

— Ох, Кузьма, Кузьма, несдобровать нам с тобою... Да ты хотел еще десять рублевиков накинуть.

— На, на, возьми, крапивное семя! Да только смотри, брат, не сатани! Не сдержишь своего слова, так я сдержу мое. Прощай покамест.

Голоса умолкли. Опять раздался шорох по роще. Вот он слился вдали с тихим шепотом ветра. Прошло еще несколько минут. Владимир стоял все на том же месте. Неподвижный как истукан, он с трудом переводил дыхание, которое вместе с глубоким стоном вырывалось из груди его. Под темным сводом небес, усыпанных яркими звездами, казалось, все покоилось кротким и тихим сном, но в душе несчастного юноши ревела буря. Праведный боже! И это был не сон? И голос, который он слышал, был голос его отца! И тот, кому он обязан жизнию, кто называет его сыном,— товарищ презренных убийц, наемник и слуга разбойника Рощина!

— Зачем я, горемычный, вернулся на родину! — сказал Владимир прерывающимся голосом.— Матушка, матушка! зачем я пережил тебя! О, родная, зачем ты умолила господа! для чего я не сложил на чужой стороне своей злосчастной головы! Теперь я был бы с тобою!

Бедный Владимир залился слезами: в эту минуту он думал только о своем вечном позоре, о бесчестном имени, которое передаст ему отец, умирая под рукою палача, как сообщник и товарищ Рощина. Вдруг мысль о

том, что через несколько часов шайка разбойников будет пировать в доме Ильменева, мелькнула в голове его: он вспомнил в то же время все угрозы Рощина: если этот злодей спасется, то гибель отца его неизбежна; если он или один из разбойников его будет захвачен живым, то правительство узнает все, и тогда — что ожидает Владимира? Презренье товарищей, вечный срам и позор...

— Боже мой, боже мой, вразуми меня! — прошептал Владимир.

— Володя, Володя! где ты? — раздался в близком расстоянии голос Зарубкина.

Владимир вздрогнул. Этот голос возвратил ему всю твердость: отец ищет его, чтобы исполнить свой договор с разбойником, чтоб сделать и его участником своего гнусного заговора.

— Нет, нет, лучше смерть, чем вечный позор! — вскричал Владимир, пустившись бегом по тропинке, которая вела в село, где стояли его драгуны.

В несколько минут он достиг противуположной опушки леса; тропинка оканчивалась высоким плетнем. Владимир перелез через него и очутился на старом, давно покинутом гумне, которое соединялось с обширными деревенскими огородами. Он не успел еще сделать двадцати шагов, как вдруг оступился и полетел стремглав в глубокую овинную яму; разбросанные на дне ее снопы полусгнившей соломы спасли его от ушиба, но прошло несколько минут, прежде чем Владимир очнулся от сильного потрясения. Он встал. Слабый ночной свет, который проникал сверху, помог ему рассмотреть, что не было даже и остатков лестницы, по которой спускались некогда в яму. Владимир пытался сначала выбраться на поверхность земли, цепляясь за стену, но все усилия его остались тщетными: земля осыпалась под его руками, ноги скользили, он обрывался и падал снова на дно ямы. Более двух часов прошло в этих напрасных попытках; он не смел просить помощи: за плетнем, шагах в пятидесяти от него, раздавались голоса, между которых Владимир ясно различал голос своего отца. Наконец мало-помалу голоса стали отдаляться, затихли, опять настала глубокая тишина... Вдруг раздался вдали и прогудел первый удар колокола. Вся кровь застыла в жилах Владимира.

— Милосердый боже! — вскричал он, — это условный знак; еще полчаса — и все погибло...

Вот в селе, от которого отделяли Владимира одни огороды, начался также благовест; народ зашевелился по улицам, и надежда вспыхнула снова в душе несчастного юноши; он начал кричать, громкий отголосок повторял его отчаянные вопли, но никто не спешил к нему на помощь. Измученный беспрерывными усилиями и в совершенном изнеможении, Владимир упал на сырую землю. Как живой мертвец в открытой могиле, лежал он неподвижно и смотрел с мрачным отчаянием на безоблачные небеса. Он не молился, нет! в голове его не было никаких мыслей; ни один вздох не вылетал сквозь стиснутых зубов, даже сердце, казалось, застыло и перестало биться в одеревеневшей груди его... Но что это?.. Неужели утро?.. Звезды бледнеют; вот побелели небеса; вот они становятся все светлее и светлее; вот на них ложится какой-то кровавый отблеск... Так точно, это зарево пожара... Все кончено. В доме Ильменевых раздаются буйные крики убийц. Несчастный старик и жена его под ножами разбойников; а дочь... дочь!.. Быть может, в эту минуту она лежит без чувств в позорных объятиях злодея; быть может, ее чистое, девственное чело, заклейменное поцелуем гнусного разбойника... О, какой ад закипел в душе Владимира! Он вскочил, как безумный, впился руками в рыхлые стены своей темницы, хватался зубами за осыпающуюся землю; окровавленные его пальцы вонзались в нее, как когти дикого зверя. Напрасные усилия! Целые глыбы влажной земли отрывались, падали на дно ямы, и утесистые стены становились еще круче и неприступнее.

— Помогите, бога ради, помогите! — закричал наконец Владимир, выбившись совершенно из сил.

— Кто тут орет? — раздался вверху голос на самом краю ямы.

— Это ты, Жегулин? — спросил Владимир, узнав по голосу своего ротного трубача.

— Ах ты господи боже мой... Ваше благородие! Как это вас угораздило?

— Скорей, скорей, вытащи меня из этой ямы!

— Сейчас, ваше благородие. Разом сбегаю за лестницей.

— Нет, нет; прежде беги на ротный двор; труби тревогу: седлать лошадей, карабины зарядить, все на коня!

— Слушаю, ваше благородие.

— Постой!.. Ты видишь пожар?

— Как не видеть, ваше благородие! Так и пышет. Должно быть, Зыково горит.

— Так, нет сомнения!.. Скорей, бога ради, скорей!

Жегулин побежал. Через четверть часа вся окрестность дрогнула и земля застонала от конского топота. Владимир впереди своих драгунов промчался по дороге в село Зыково.

Теперь нам должно вернуться несколько назад и посмотреть, что делается в поместье Сергея Филипповича Ильменева.

Было уже близко полуночи. Тихо струилась широкая Ока; луговая сторона ее, покрытая разливом, представляла вид необозримого озера, посреди которого чернелись местами не совсем потопленные кусты и до половины залитые водою деревья. Ничьи шаги не раздавались ни на барском дворе, ни на широкой улице села. Деревня — не город, в ней полуночный час — час общего отдохновения. Но отчего же в это позднее время мелькали по всем избам огоньки, в господском доме освещены были все окна? Чего ожидали эти красные девушки и разряженные в пух молодцы? Зачем выбегали они беспрестанно за ворота и посматривали с таким нетерпением на колокольню своей приходской церкви? Для чего во всем селе Зыкове, от старика до малого ребенка, никто не ложился спать? Для чего?.. Всякий, кто живал в деревне, без труда будет отвечать на этот вопрос: последний час великой субботы был уже на исходе; еще несколько минут — и, вместе с первым ударом колокола, все закипит жизнию, все дома опустеют и божий храм наполнится народом.

На завалине одной из крайних изб села Зыкова сидел худощавый старик лет осьмидесяти; он также поглядывал с нетерпением на колокольню, которая подымалась из-за соломенных кровель на противуположном конце улицы.

— Ну, видно, кум Герасим прилег соснуть,— промолвил наконец старик, покачав головою,— вот уж первые петухи пропели, так чего ж он дожидается? Хи-хи-хи! Нет, старый наш дьячок Парфен не в него был; уж тот бы не задремал перед заутреней!

— Дедушка, а дедушка, ты здесь? — спросил молодой парень, выглянув из полурастворенных ворот.

— Что ты, Ванюша? Подь сюда.

— А что, дедушка,— сказал Иван, подходя к старику,— ты пойдешь аль нет к заутрене?

— Вестимо пойду! Ведь бог весть, доживу ли еще до другого светлого праздника.

— Да коли ты пойдешь, дедушка, так дома-то никого не останется.

— И, Ванюша, да чего нам беречь-то? что у нас, аль казна какая?

— Казна не казна, дедушка, а все-таки лошадка, скотина, да то, да се. Слава тебе, господи, есть и от нас чем ворам поживиться!

— Да что те, Иван, все воры мерещатся? вчера, повечеру, ты баил, что на Оке какие-то лодки с народом разъезжают.

— Да, дедушка! Я сам видел две косные лодки и, кажись, не с бурлаками, а теперь слышишь, как Жучка-то на огороде лает?

— Так что ж?

— Как что? уж я унимал, унимал ее, и хворостиной раза два огрел по боку, так нет, вот так и рвется! Видно, что-нибудь да есть.

— И, парень! чему быть!

— То-то, дедушка, уж не забрался ли к нам кто-нибудь на зады?

— На зады? Зачем? Вязанку-другую соломки снести?.. Так что ж? Бог с ним! Он не разбогатеет, а мы не обедняем... Чу!

На колокольне раздался первый удар колокола.

— Слава тебе, господи! — сказал старик, перекрестясь.— Вот ударили и к заутрене. Ух, батюшки, так сердце и запрыгало от радости... Да что ж он?.. Иль опять заснул? Хорош звонарь! ударит да домой сходит. Ну, так ли надо благовестить в Христов день?.. Эх, кум, кум; поучился бы ты у покойника Парфена! Бывало, тот приударит — так что твой набат!.. А этот... Эка мямля, подумаешь!.. Ну!.. Затянул.

— Смотри-ка, дедушка, никак, уж с барского двора народ идет?

— Зашевелились! Вот и шабры наши вышли за ворота... Ну, что, Ваня, стоишь? Как все православные соберутся в церковь, так не продерешься. Ступай, посылай жену.

— Постой-ка, постой: слышишь, как Жучка опять залаяла? ей, дедушка, останься дома!

— Эх, полно! Наладил одно да одно: Жучка лает! Эко диво! Ну, заяц пробежал по огороду, так вот она и надседается.

— Власть твоя, дедушка, а у меня сердце что-то недоброе чует. Ну, да воля твоя господня! Вот и Груня идет. Пойдем, родимый.

Старик встал с завалины и, опираясь на свой посох, поплелся вместе с внучатами к заутрене.

Не прошло еще и десяти минут от первого удара колокола, а в церкви уже невозможно было пошевелиться от тесноты; вновь приходящие становились на паперти; вскоре и на самом погосте начал толпиться народ. Все ожидали с нетерпением своих господ; вместе с их приходом должна была начаться заутреня. Вот пробежал тихий шепот по всей церкви; народ заколыхался, и, несмотря на тесноту, от самых дверей до амвона, посреди густой толпы, образовалось пустое место.

— Посторонись, посторонись! — заговорили со всех сторон.— Господа идут!

И Сергей Филиппович Ильменев с женою и дочерью вошли в церковь.

— Родная-то наша как похудела! — шептали между собой крестьянские бабы, посматривая с горем на Машеньку,— вовсе схизнула! Ах ты господи боже мой, кровинки в лице не осталось!

Семейство Ильменевых, пройдя всю церковь, поместилось на левом клиросе, и служба началась. Вот стали подымать хоругви и местные образа; народ вслед за ними потянулся шумным ходом из церкви; но лишь только священник, окруженный своим причетом, и крестьяне с образами вышли на паперть, послышался сначала невнятный говор,— и вдруг сотни голосов слились в одно общее восклицание ужаса.

— Пожар! пожар! — раздалось на паперти.

— Горим! Батюшки, горим! — закричали в церкви.

Народ заволновался, все крестьяне хлынули толпою к дверям и, давя друг друга, высыпали на погост. Ильменевы вышли из церкви последние. На дворе было светло как днем. Несколько изб пылало на противуположном конце улицы. Вдруг пламя показалось посреди села, а через минуту вспыхнул огонь против самой церкви. Быстро, как огненная река, разлился пожар от одного конца селения до другого, и черные тучи дыма улеглись над пылающими кровлями домов.

Если вам не удавалось никогда видеть пожара в деревне, то, конечно, вы имеете только одно слабое понятие об этом ужасном бедствии; в городе так близка всякая помощь, там есть полиция, которая смотрит за по-

рядком и сберегает имущество обывателей в то время, как хорошо устроенная пожарная команда работает дружно, без замешательства, имея в руках своих все средства, чтобы действовать с успехом; но в деревне, особливо лет сорок тому назад, когда еще начальство не обращало внимания на то, чтобы сельские жители строились просторнее, пожар являл самую ужасную картину разрушения, гибели и беспорядка. Выстроенные без всяких промежутков сотни полторы изб и клетушек, составлявших село Зыково, казались в эту минуту одним обширным костром. Пылающие отрывки соломенных кровель летали и крутились по воздуху; крестьяне, как безумные, бросались в огонь, спасали детей, вытаскивали свое имущество, выгоняли лошадей на улицу; никто не слушал друг друга; каждый думал только о себе. Крик и плач ребятишек, вопли отчаянных матерей, треск от разрушающихся строений — все заглушало голос Ильменева, который, с хладнокровием старого солдата, хотел было сначала распоряжаться и отдавать приказания, но, видя, что никто его не слушает, он велел всем дворовым остаться в деревне и помогать крестьянам тушить огонь, а сам отправился с женою и дочерью домой.

— Не бойся! — говорил он Машеньке, которая дрожала от страха,— до нас огонь не доберется; от нашей усадьбы до деревни с полверсты, да и ветер не в ту сторону.

— Господи, господи! — сказала с ужасом бедная Варвара Дмитриевна, когда, пробираясь задами, она увидела, что почти все селение охвачено огнем,— за что ты нас наказуешь? Чем мы провинились перед тобою? Вот грех какой!.. И в самый светлый праздник!

— И загорелось в трех местах разом! — шептал Сергей Филиппович, покачивая головою.— Ну, это недаром!.. Я провожу вас до дому, а сам пойду опять на пожар! Тут что-нибудь да есть. Уж не по насердкам ли кто-нибудь?.. Уж не сосед ли наш Кочерышкин, с которым мы в тяжбе?.. Чего доброго! от этого негодяя все станется. Что это? — продолжал Ильменев, взглянув на ярко освещенные окна своего дома, до которого оставалось уж не более двухсот шагов,— иль мне мерещится!.. Да у нас в доме суетятся люди!.. Видишь, жена... как будто бы таскают что-то... Ну, так и есть! Дурачье! Я велел им всем остаться на пожаре; так нет, прибежали как прибежали! И, верно, выносятся!

— Ох, батюшка Сергей Филиппович, право, не худо, что они выбираются! Ну, если ветер повернет в нашу сторону?

— Так успели бы и тогда... Скоты!.. Пройдемте вот здесь, садом; тут будет ближе... Да ступайте скорее! Ведь они, пожалуй, сдуру-то весь дом поставят вверх дном!

Сергей Филиппович отворил калитку, и лишь только он вошел в сад, как вдруг тяжкий стон раздался у самых ног его.

— Что это такое? — вскричал Ильменев, отскочив с ужасом назад.

Перед ним лежал человек, весь в крови, с разрубленной головою.

— Вы ли это, батюшка барин? — прошептал умирающий.

— Ах, боже мой, садовник Кудимыч! Что с тобой сделалось?

— Разбойники!

— Врешь! — раздался подле грубый голос,— не разбойники, а удалая вольница рязанская! Милости просим, хозяин; принимай дорогих гостей.

И прежде, чем Ильменев успел очнуться, его окружили, схватили, вместе с женою и дочерью, и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили по дорожке, ведущей к дому.

Если вам случалось когда-нибудь, гуляя в праздничный день за городом, войти поневоле в питейный дом или какую-нибудь харчевню, чтобы укрыться от внезапной грозы, то вы, верно, видали, как пирует и веселится низший класс нашего общества. Без всякого сомнения, эта буйная, неистовая радость, эти безумные восклицания пьяной черни, это скотское и срамное веселие возбуждало в высочайшей степени ваше отвращение, и вы, несмотря на проливной дождь, спешили выйти опять на воздух, чтобы не задохнуться в заразительной атмосфере разврата, чтобы не видеть гнусного порока во всей безобразной наготе его. Теперь представьте себе сборище людей, в сравнении с которым эту беседу налитой вином сволочи можно было бы назвать почти хорошим обществом, и тогда вы будете иметь понятие о том, что происходило в доме Сергея Филипповича Ильменева в то время, когда он со всей своей дворней был на пожаре.

В обширной столовой его барских хором пировали

человек тридцать разбойников; одни — в нарядных плисовых полукафтаньях, забрызганных кровью, запачканных грязью; другие — в лохмотьях, в серых зипунах, в красных рубашках с засученными рукавами; у одного за поясом заткнуты были пистолеты, у другого торчал широкий нож; по углам стояли длинные винтовки и рогатины, а посредине комнаты — бочка вина с выбитым дном. Кругом ее валялись стеклянные бутыли и наливки разных цветов стояли лужами на полу. У самых дверей лежал зарезанный старик, дворецкий Ильменева, а подле — внук его, грудной ребенок, с размозженною головою был брошен на кучу разбитых бутылок. По всей комнате валялись узлы с платьем, серебряная посуда, ларцы и окованные железом сундуки. На одном из них сидел человек лет тридцати, в зеленой куртке, небольшого роста, плечистый, с отвратительной красной рожей и обритым лбом. Это был известный есаул Рощина, беглый солдат по прозванью Филин, самый кровожадный зверь из всей этой стаи голодных волков.

— Эй ты, Еж! — закричал он сиповатым голосом одному из разбойников,— подай-ка мне еще стаканчик винца: что-то на сердце невесело. Да куда девался атаман?

— Вон, в том покое; все возится около железного сундучка,— отвечал разбойник, подавая есаулу серебряную чару с вином.

— Да что он ему, словно клад, не дается?

— Ну, вот поди ты! Вишь, так прикован к полу, что и лом не берет.

— Так половицу вон!

— Пытались отодрать, да нет, не поддается; видно, ерши в балку пропущены.

Два разбойника вошли в столовую, волоча за собой огромный дубовый сундук.

— Ну, что ж вы стали? — закричал Филин.— Тащите проворнее.

— Да вот этот мешает,— отвечал один из разбойников, указывая на убитого старика,— вишь, растянулся поперек дороги.

— Постойте, ребята, я подсоблю.

Есаул встал, оттолкнул ногою убитого и помог им втащить сундук.

— Ну, что? — продолжал он,— совсем очистили барскую кладовую?

— Да, почитай, совсем; так, кой-какой хлам остался.

— Так вы бы огоньку подложили; по мне, уж грабить так грабить; чего сам не захватил, так то огнем гори.

— Оно бы, кажись, и так; да разве ты не слышал приказа атамана?

— Какого приказа?

— Да чтоб не жечь барских хором.

— А почему так?

— Про то он знает.

— Он знает, а я не знаю да и знать не хочу.

— Ой ли? Эй, Филин, смотри! ты что-то крупно поговариваешь! услышит Кузьма...

— Так что ж? Что я, холоп, что ли, его? Велика фигура атаман! И кто его атаманом-то поставил? Кого он спрашивался! Дери его горой!.. Да чем мы хуже его!

— Ну, полно, не шуми, осиновое яблоко, не мешай грибам цвести! — проревел один мужичина, аршин трех росту, с огромной курчавой головою.

— А тебя, Каланча, кто спрашивает? — сказал есаул, взглянув исподлобья на разбойника.— Хочу шуметь, так и шумлю!

— Смотри, чтоб у тебя в голове не зашумело! — продолжал великан, зачерпнув ковшик вина из бочки.

— Что, что? — закричал, подойдя к нему, Филин.— А крепко ли твоя-то башка на плечах держится?

— Да что ж ты, в самом деле, хорохоришься! — сказал Каланча, приостановясь пить.— Много ли тебя в земле, а на земле-то немного. Вишь, богатырь какой! Завалился за маковое зерно да думает, что ему и черт не брат.

— Слушай, ты, долговязый! — заревел есаул,— да как ты смеешь?..

— Полно же, полно, не суйся мне под ноги! неравно наступлю, так и поминай как звали.

— Ах ты, жердь проклятая! — вскричал Филин, стараясь схватить за ворот колоссального разбойника.

— Да полно тянуться-то, не достанешь! — сказал Каланча, оттолкнув Филина.— Эй, брат, отстань; дам раза, так другого не попросишь!

— Тише, тише, ребята! — закричали разбойники.— Атаман идет!

Рощин вошел в столовую.

— Что вы тут развозились? — сказал он, взглянув сердито на Каланчу и есаула,— чем бы торопиться все к

рукам прибрать, они схватились драться, дурачье!.. Филин! возьми с собой человек десяток да перетаскай все на лодки! Ну, что стоишь? поворачивайся!

Есаул, ворча сквозь зубы, как цепная собака, принялся с товарищами за работу.

— Носите все садом,— продолжал Рощин,— прямо вниз к Оке; да проворней! ведь нам не сутки здесь гостить. А это что? — прибавил он, указывая на убитых.— Старик и ребенок?.. Ах вы, мясники, мясники! Что, они с вами в драку, что ли, лезли?.. Кто их зарезал?

— Да старика-то я хватил,— сказал, почесывая в голове, Каланча.— Он чуть было не улизнул на село. А парнишку пришиб есаул: визжать больно стал.

— Эка бешеная собака!.. Кровопийца!.. Ну да теперь некогда об этом толковать. Эй, ты, Цапля!.. Поди-ка сюда. Ты, бывало, мастер без ключа отпирать чужие замки; не ухитришься ли как ни есть отпереть железный сундучок вон в том покое? Уж мы около него попотели; хоть тресни, не отдерешь от полу... Иль нет! постой-ка на минутку, авось и без тебя дело обойдется.

Четверо разбойников ввели в комнату связанного Ильменева и почти внесли на руках жену его и дочь, которые от страху едва могли держаться на ногах.

— Милости просим, ваше высокородие! — сказал Рощин, поклонясь вежливо Ильменеву.— Я сдержал мое слово и приехал к вам разговеться.

— Возможно ли? — вскричал Ильменев,— Алексей Артамонович!

— Да, сударь, и Алексеем бывал. Что делать, Сергей Филиппович; не погневайтесь, на том стоим!

— Так поэтому ты...

— Кузьма Рощин, которого вы изволили величать Кузькою и хотели принять, угостить и в бане выпарить.

— Ну, боишься ли ты бога? — воскликнула Варвара Дмитриевна, всплеснув руками,— есть ли в тебе совесть?.. За нашу хлеб-соль...

— Молчи, жена! — сказал Ильменев,— захотела ты совести в разбойнике!

— И у нас есть, барин, своя совесть,— прервал Рощин,— у другого бы помещика не осталось ни кола ни двора, а твои хоромы целехоньки; от другого бы хозяина мы огоньком допытались, где лежат его денежки, а тебя я с поклоном прошу: «Пожалуй, батюшка Сергей

Филиппович, ключ от своего сундука!» Не пожалуешь, так бог с тобой! И сами поищем. Только не погневайся, матушка Варвара Дмитриевна, ежели мы тебя обшарим немножко; мне помнится, что ключи-то у тебя в кармане побрякивали.

— На, злодей, возьми! — проговорила Ильменева, подавая ему связку ключей.

— Покорнейше благодарим, матушка! будьте спокойны, вас никто ничем не обидит. Эй вы, пострелы, шапки долой! Да у меня смотри, не лаяться при барынях; дело делом, а почет почетом.

Вдруг в близком расстоянии от дома раздался выстрел.

— Что это? — вскричал Рощин,— кто смеет?.. Разве я не приказывал?.. Еще!.. Проклятые! переполошат все село!.. Эй, Каланча, беги скорей, скажи этим дуракам...

— Где атаман? — загремели голоса в передней, и несколько разбойников с испуганными лицами вбежали в столовую.

— Что вы? — сказал Рощин, идя к ним навстречу.

— Драгуны!..

— Возможно ли?.. Анафема Зарубкин! это его дело... Где они?

— Близехонько; сейчас выехали из-за рощи.

— Много ли их?

— Видимо-невидимо.

— Эй, ребята! — закричал громовым голосом Рощин,— живо! забирай что полегче да садом на Оку! Филин, сбери сторожевых и беги туда же!.. Двери в передних сенях на запор! Вы все задним крыльцом наутек, а я покамест побуду здесь... Один челнок оставить у берега... Лодкам отчаливать да вниз по Оке... Ступай, ребята!.. А ты, Сергей Филиппович,— продолжал Рощин, запирая изнутри двери в прихожую,— изволь стоять смирно. Вы также, барыни, смотрите ни гугу — как будто бы никого в покое нет! А если кто-нибудь из вас подаст голос, так не прогневайтесь,— прибавил он, вынимая из-за пояса пистолет.— Чу!.. Нахлынули.

На дворе послышался конский топот.

— Изменник! — прошептал Рощин,— иуда! предатель! Да погоди: не тебя, так сына!

Он подошел к окну, из которого виден был весь двор, открыл форточку и взвел курок у своего пистолета.

— Спе́шились!.. Вот он... впереди своих драгун... Милости просим!.. Подходи, подходи, голубчик!.. Вот так... Владимир Иванович! — закричал громким голосом Рощин,— отнеси это своему батюшке...

Вместе с выстрелом Машенька вскрикнула и упала без чувств на пол.

— Сюда, за мной! — загремел на крыльце голос Владимира.

— Что за дьявольщина! — сказал Рощин,— неужели промахнулся?.. Ну, делать нечего; авось, разочтусь с батюшкою... Чу!.. Ворвались в сени... мешкать нечего.

— Ломайте дверь! — закричали голоса в передней.

— Ты не уйдешь, злодей! — сказал Ильменев.

— Бог милостив, Сергей Филиппович! А не уйду, так вот моя оборона,— прибавил Рощин, подбежав к лежащей без чувств Машеньке.

Он схватил ее, взбросил, как перышко, на плечо и кинулся вон из комнаты.

— Дочь моя, дочь! — вскричала с отчаянием Варвара Дмитриевна,— помогите, бога ради, помогите!

Крепкая дубовая дверь затрещала под ударами ружейных прикладов, и через минуту Владимир с драгунами ворвался в столовую.

— Сергей Филиппович! — вскричал он, подбегая к Ильменеву,— вы живы? где дочь ваша?

— Батюшка, спаси! — завопила Варвара Дмитриевна.

— Где она?.. бога ради, говорите! Скорей, скорей!

— Ее унес разбойник Рощин.

— Куда?

— Батюшка, не знаю! верно, садом к Оке.

— Спаси мою дочь — и она твоя! — вскричал Ильменев.

— За мной, ребята!

И прежде, чем драгуны успели выйти вслед за ним на заднее крыльцо, он бежал уже по саду.

Рощин, несмотря на свою ношу, был уже далеко. В несколько минут он выбрался из сада и сосновой рощи; ему оставалось только спуститься с горы к небольшому заливу реки, где меж потопленных кустов причалены были лодки разбойников. Вдруг внизу, на Оке, загремели выстрелы.

— Неужели,— прошептал он,— их успели отхватить? Да не может статься! Они, верно, отстреливаются,— промолвил он, начиная спускаться по крутой тропинке...

Дорожка вилась между кустов, которые мешали ему видеть ближний берег реки.

— Да что ж они не выплывают на середину? — проговорил Рощин, поглядывая вдаль.— Дурачье! нашли время держаться берега.

Он продолжал идти, прислушиваясь к ружейным выстрелам, до того места, где тропинка поворачивала круто в сторону и огибала небольшой песчаный холм, который стоял почти отвесно над самою рекою. Рощин вбежал на него, и в первый еще раз бесстрашное сердце разбойника дрогнуло от ужаса: налево под его ногами расстилался небольшой залив; три косные лодки вытащены были на берег, и человек пятьдесят драгун встречали из-за них ружейными выстрелами прибегающих разбойников; вся пристань была устлана их трупами.

— Ну, плохо дело! — сказал Рощин, опуская наземь Машеньку, которая начинала приходить в себя.

Он окинул быстрым взором всю окрестность: направо, шагах в пятидесяти от него, подле рыбачьей хижины, понятой водою, причалена была лодка.

— Авось, успею! — шепнул он.

— Владимир! — вскрикнула Машенька слабым голосом.

Быстро обнял разбойник одной рукой Машеньку, выхватил из-за пазухи широкий нож и занес его над грудью полумертвой девушки, но Владимир был уже подле; поднятая рука разбойника замерла в его руке, и нож выпал на землю. Рощин бросил Машеньку и отвел левою рукою направленный на него пистолет; выстрел раздался; пуля свистнула мимо. Сильным порывом разбойник освободил свою правую руку, обхватил обеими Владимира, прижал его к груди, и смертельная борьба началась. Она была непродолжительна: отчаянное мужество, гибкость, необычная мощь Владимира — ничто не устояло против колоссальной силы Рощина: он задушил его в своих объятиях, сшиб с ног, придавил коленом к земле и, поднимая свой нож, сказал вполголоса:

— Это тебе! а батюшке честь впереди!

С воплем отчаяния кинулась Машенька на грудь Владимира под самый нож разбойника; он остановился и устремил свои сверкающие глаза на бедную девушку.

— О, ради твоего последнего часа, ради самого господа! — произнесла умирающим голосом Машенька.

В неумолимых взорах разбойника мелькнуло что-то похожее на жалость.

— Сюда, братцы, сюда! — загремели вблизи голоса, и человек десять драгунов выбежали из-за кустов.

— Молись за нее богу! — сказал Рощин.

Он вскочил, отступил шага два назад и со всего размаха бросился в реку.

— На берег, ребята! — вскричал вахмистр, который бежал перед драгунами,— и лишь только он вынырнет...

— Стойте! — сказал Владимир, подымаясь с трудом на ноги.— Пусть он умирает своею смертию: мы не палачи.

— И то правда, ваше благородие! — отвечал вахмистр, войдя с своими товарищами на песчаный холм,— река в разливе, не переплывет.

— Вот он, вот он! — закричали драгуны.

В нескольких шагах от берега Рощин показался на поверхности воды; он плыл с неимоверной быстротою.

— Смотри, смотри, куда пробирается! — сказал вахмистр.— Вон там, на воде, подле той избенки, видите, причалена лодка?.. Зброк, собака!

Рощин доплыл до рыбачьей хижины, прыгнул в лодку, в полминуты выбрался на быстрину и помчался стрелою по течению реки.

— Эх, ваше благородие,— сказал один драгун,— прозевали мы его!

— Молчи, дурак! — прервал вахмистр.— Видно, ему так на роду написано; кому быть повешену, тот не утонет.

— Дочь моя! Дочь моя! Она жива! — раздались позади голоса, и Машенька бросилась на шею к Ильменеву.

— Теперь поцелуй жениха своего,— сказал Сергей Филиппович, подводя ее к Владимиру.

— И да благословит вас господь! — прошептала Варвара Дмитриевна, обнимая их обоих.

На другой день, около вечерен, Ивана Тимофеевича Зарубкина нашли зарезанным в лесу, в двух шагах от его усадьбы. Вся шайка Рощина была истреблена, но он сам пропал без вести. Владимир женился на Машеньке, вышел в отставку и вместе с Ильменевыми отправился на житье в Москву. Прошло лет двадцать; имя удалого разбойника почти совсем изгладилось из памяти при-

брежных жителей Оки; одни зыковские крестьяне пугали еще Кузьмою Рощиным детей своих и рассказывали им, как он выжег их село, как разграбил барский дом, как молодой их барин, Владимир Иванович, нагрянул на его шайку с своими драгунами и перерубил всех дотла, кроме самого Рощина, который обернулся серым волком и, как слышно, убежал в Брынские леса, где и теперь рыскает по ночам и воет так, что кругом его верст за десять по всему сырому бору стон идет, земля дрожит и птица со страстей гнезда не вьет.

II

СУД БОЖИЙ

Тысяча семьсот семьдесят первый год памятен для московских жителей: он был одним из самых тяжких годов для нашей древней столицы; и теперь еще старики, рассказывая про былое, говорят: «Это случилось года два до московской чумы; это было в самый чумный год». Выражаясь таким образом, они уверены, что определяют с бóльшею точностию время происшествия. До сих пор московские старожилы вспоминают с ужасом об этой «године бедствия», с которой, по словам их, едва ли может сравниться французский «погром» 1812 года. Я почти согласен с этим: в 1812 году, смотря на необъятное пепелище Москвы, на тысячи разрушенных и сгоревших домов, вы могли думать, что те, которые в них жили, зажгли их собственною своей рукою, что они утратили часть своего достояния, но спаслись сами и, может быть, спасли сим пожертвованием славу, могущество и самобытность своей родины. Эта утешительная мысль, эта мысль, возвышающая душу, накидывала какой-то очаровательный покров на развалины Москвы; вы смотрели не с горем, но с благоговением и гордостию на эти священные груды камней, на эту обширную могилу врагов России. Пусть скажет тот, кто вскоре по изгнании французов был в Москве, не была ли эта мысль для него ангелом-утешителем даже и тогда, когда он сидел на развалинах собственного своего дома?

В 1771 году Москва не горела, по улицам не дымились остовы домов: дома стояли по-прежнему на своих местах, но эти заколоченные двери, забитые досками окна, эти вывески смерти — красные кресты на воротах зачумленных домов, которые, как два ряда огромных

гробов, тянулись по обеим сторонам улицы,— не во сто ли раз ужаснее всякого пожара? Прибавьте к тому почти совершенное безначалие, безмолвие могильное в предместиях, неистовые крики бунтующей черни в средине города — этой безумной толпы, которая, упившись кровию тех, кои заботились о ее же спасении, грабила, разбивала кабаки и устилала своими зараженными трупами опустелые улицы Москвы. Представьте себе все это, и вы, верно, согласитесь, что бедствие 1771 года было гораздо тяжелее для московских жителей, чем то, которое в 1812 году сделалось началом, а может быть, и главною причиною спасения всей Европы.

Восточная чума, которую простой народ так выразительно называет *мором,* показалась в Москве еще в 1770 году; она свирепствовала тогда в Молдавии и Валахии, где в то время расположены были наши войска. Частые сообщения московских жителей с действующею армиею, вероятно, были причиною появления язвы сначала в Малороссии, а потом и в самой Москве. Меры, принятые начальством, казалось, прекратили ее совершенно, но в следующем, то есть в 1771 году, в марте месяце, она открылась снова и усилилась до того, что в сентябре число ежедневно умирающих доходило до тысячи человек. Все старания для прекращения моровой язвы были безуспешны.

Чернь негодовала на учреждение карантинных домов, запечатание бань, а более всего на запрещение погребать умирающих при городских церквах. В смутные времена обманщики и плуты всегда пользуются легковерием народным. Один фабричный из суконного двора начал разглашать, будто бы видел во сне, что это бедствие постигло Москву за то, что никто не только не пел молебна, но даже и свечи не хотел поставить образу божией матери, находящемуся у Варварских ворот. Несмотря на нелепость этой сказки или, лучше сказать, потому именно, что в ней все противоречило истинной вере и здравому смыслу, безумная чернь кинулась толпою к Варварским воротам; начались беспрерывные молебны, здоровые и больные стекались со всех концов Москвы, заражали друг друга и, разнося смерть по домам своим, гибли целыми семействами.

В это-то бедственное время, рано поутру 15 сентября тащилась шагом по большой Ярославской дороге телега, запряженная тройкою лошадей; в ней сидел купец в синем кафтане тонкого сукна, сверх которого набро-

шена была дорогая лисья шуба. С первого взгляда на его белую как снег бороду и высокий лоб, покрытый морщинами, можно было подумать, что он доживает осьмой десяток, но жизнь, которая горела в его глазах, по временам грустных и задумчивых, его прямой и видный стан, не совсем поблекшие щеки — все доказывало, что не лета, а горе провело эти глубокие морщины на лице и покрыло преждевременной сединою его голову.

— Вот уж солнышко и пригревать стало,— сказал проезжий, спуская с плеча свою шубу.— Эй, друг сердечный! — продолжал он, обращаясь к ямщику.— Ты уж версты четыре едешь шагом. Не пора ли рысцой?

— Постой, хозяин,— отвечал ямщик,— выберемся на горку, так и рысью поедем. Да что ты больно торопишься? Теперь все норовят из Москвы, а в Москву охотников мало.

— А ты давно ли был в Москве? — спросил купец.

— Да вот ономнясь, дней пяток назад, возил ростовского купца.

— Ну, что, полегче ли стало?

— Куда легче? Такой мор, что и сказать нельзя! Так, слышь ты, варом и варит. Гробов не успевают делать.

— Боже мой, боже мой,— прошептал купец,— не накажи меня по грехам моим!

— Прогневали мы господа,— продолжал ямщик.— А слышал ли ты, хозяин: на Варварских воротах явился образ Боголюбской божией матери?

— Нет, не слышал.

— Я в прошлый раз ходил сам ему свечу поставить. Господи боже мой, народу-то, народу!.. Так друг друга и давят! А, говорят, стали мереть пуще прежнего.

— И не диво, любезный! ведь эта болезнь пристает. Ну, теперь дорога пошла под горку,— продолжал купец,— приударь-ка, голубчик!

— Погоди, хозяин! выберемся из этого села, так поедем; вишь, по улице-то грязь какая; вовсе дороги нет.

Проезжие въехали в село Пушкино. Кое-где лаяли тощие собаки, и заморенные голодом телята бродили по улице; но нигде не слышно было голоса человеческого, ни одна труба не дымилась; все было мертво и тихо, как в глубокую полночь.

— Что это, любезный,— спросил купец,— иль еще по домам все спят? кажись, солнышко высоко.

— Какой спят! — отвечал ямщик, покачивая головою,— все Пушкино вымерло.

— Возможно ли? неужели все до одного?

— Все, от мала до велика; во всем селе живой души не осталось.

— Все до одного! — повторил купец вполголоса.— Быть может, в этой избе дня три тому назад отец любовался своей семьею... мать нянчила детей своих...

— А теперь,— прервал ямщик,— и ворот-то притворить некому; тут жил мой кум Фаддей, мужик богатый; а семья-то какая была! шестеро сыновей, молодец к молодцу! Недели две тому назад все были здоровехоньки, а как в последний раз я проезжал, так, гляжу, горемычный старик один как перст сидит на завалинке. Он что-то хотел мне сказать вдогонку, да вдруг покатился, застонал и тут же при мне богу душу отдал.

Миновав длинный порядок крестьянских дворов, проезжие стали приближаться к деревенской околице. Из крайней избы, высунувшись до половины в окно, смотрела на улицу крестьянская баба, повязанная белым платком.

— Слава тебе, господи! — сказал проезжий.— Насилу-то увидели живого человека.

Ямщик покачал головою.

— Да разве ты ослеп? — продолжал купец.— Вон в крайней-то избе!

— Вижу, хозяин; да она уж пятые сутки смотрит из окна. Видно, голубушка, хотела перед смертью взглянуть на свет божий. Сердечная!.. и прибрать-то ее некому.

Купец невольно содрогнулся, когда они поравнялись с избою, из которой выглядывала эта ужасная хозяйка. Он закрыл руками глаза, чтоб не видеть ее обезображенного и покрытого черными пятнами лица, на котором замерло выражение нестерпимой муки и адского страдания.

Когда проезжие выехали из села, ямщик тронул лошадей и поехал небольшой рысью.

— Да прибавь немного ходу! — сказал купец,— этак мы целый день протащимся.

— Как еще ехать-то? — пробормотал извозчик, пошевеливая вожжами.— И куда спешить, хозяин? Ведь не на радость едешь.

— Почему ты это знаешь? — спросил торопливо купец.

— Да что теперь веселого-то в Москве?
— У меня там жена и дети.
— Вот что! Да постой-ка,— продолжал ямщик, оборачиваясь к своему седоку,— никак ты московский гость, Федот Абрамыч Сибиряков?
— Да, это я.
— То-то, я слышу, голос знаком. Ах ты господи боже мой, насилу признал!
— Да почему ты меня знаешь?
— Как не знать. Я прошлую осень возил тебя со всей семьею в Ростов. Ведь у тебя свой дом на Варварке, в приходе Максима Исповедника? Такие знатные каменные палаты.
— Постой, постой! — сказал купец,— а тебя не Андреем ли зовут?
— Андреем, батюшка. Я и сожительницу, и деток твоих знаю. Ну, уж хозяюшка у тебя, что за добрый человек! Дай бог ей много лет здравствовать! И две дочки, нечего сказать, такие ласковые, пригожие... Вот сынок-то у тебя...
— У меня нет сына.
— А кто ж это был с вами? Так, парнишка рыженький, некошной собою, Терешей зовут?
— Это мой приемыш.
— Да на что ж тебе приемыш, коли у тебя свои родные дочки есть?
— Я взял его тогда, когда еще у меня детей не было.
— Вот что! ну, не погневайся, хозяин: навязал ты на себя лихую болесть. Ведь этот пострел Тереша вовсе озорник. Да какой злющий!.. Помнишь, в Больших Мытищах мы остановились дать вздохнуть лошадям. Вы пошли чайку напиться, а я забежал на царское кружало винца хлебнуть. Что же, ты думаешь, этот рыжий без меня наделал? Возьми да и разнуздай потихоньку всех лошадей! Еще хорошо, что я спохватился, а то беда, да и только: кони у меня лихие — косточки бы живой не оставили. Вот я стал на него браниться, так он же, чертенок, лукнул в меня камнем да чуть-чуть глаз не вышиб.
— Да! — сказал со вздохом купец,— видно, по грехам наказал меня господь.
— И, хозяин! да что он, родной, что ль, тебе? На порог, да и в шею!
— Нет, друг сердечный; когда господь бог от меня, окаянного грешника, не вовсе еще отступился, так мне

ли покинуть без призрения этого круглого сироту! Придется терпеть от него горе: что делать, любезный! видно, на это была воля божья, и если бы только господь помиловал жену мою и детей...

— Небось, хозяин,— перервал ямщик,— авось, все ладно будет. Бог милостив... Ну, вот теперь дорога пойдет скатертью; потешить, что ль, твою милость?

— Пожалуйста, любезный! Поспеешь в Москву к обедням, так я тебе рубль на водку дам.

— Спасибо, хозяин! Да крепка ли у тебя повозка-то? — сказал ямщик, подбирая вожжи.— Эй вы, други! Смотри, Федот Абрамыч, держись! — продолжал он, вытаскивая из-за пояса свой ременный кнут.— Ну, что стали?.. Ударю! Эй ты, Серко, замялся!.. Али ножки болят?

Удалой ямщик свистнул, гаркнул, и телега вихрем помчалась по широкой дороге. Тарасовка, Большие Мытищи, Ростокино, село Алексеевское с своим царским домом и зеркальными прудами замелькали мимо проезжих, и благовест еще не начинался в городе, когда ямщик, осадив с трудом свою лихую тройку, остановился близ креста у Троицкой заставы. К ним подошел, как будто нехотя, старый инвалид и, узнав, что купец едет из «благополучного» города Ярославля, без дальних расспросов отворил рогатку.

— Ну, счастлив ты, хозяин! — сказал ямщик, тронув лошадей.— Меня в прошлый раз от самых полудень продержали за рогаткою почитай вплоть до вечерен; расспросов-то сколько было!..

— А вот обоз, что перед нами идет,— сказал купец,— его вовсе не останавливали.

— Да, да! — подхватил ямщик,— что за притча такая?

— Видно, любезный, и караулить-то уж некому нашу матушку Москву.

— Что ты, хозяин! мало ли здесь всяких команд?! одних выборных да десятских тьма-тьмущая. Нет, знать, в Москве-то полегче стало.

— Дай-то, господи! — произнес с глубоким вздохом купец.

Обоз, который ехал перед проезжими, вдруг стал торопливо сворачивать в сторону, и впереди раздался отвратительный сиповатый голос:

— Сворачивай проворней! господа едут.

В одну минуту вся середина улицы опустела, и купец

увидел перед собою такой страшный поезд, что сердце его оледенело от ужаса. К заставе тянулся длинный ряд роспусков, нагруженных гробами; некоторые из них были так плохо сколочены, что, казалось, при каждом потрясении готовы были развалиться; иные были даже вовсе без крыш, и безобразные, едва прикрытые циновками трупы выглядывали из них на проходящих. Живые люди, которые окружали эту похоронную процессию, показались проезжему еще ужаснее самих мертвецов, не потому, что они были одеты какими-то пугалами, в вощаные балахоны и колпаки, но их пьяные, развратные физиономии, их зверские лица, их безумный хохот при виде проезжих, которые торопились сворачивать с дороги,— все придавало им вид настоящих демонов. Несколько поодаль шли гарнизонные солдаты с ружьями и ехал полицейский чиновник верхом.

— О господи! — сказал купец,— что это за люди!.. В них нет и образа человеческого.

— Разве не видишь, хозяин, что они в кандалах? — прервал ямщик.— Это разбойники.

— Разбойники? — повторил робким голосом купец.

— Ну да. Сначала вывозили покойников за город казенные погонщики, да больно стали мереть, так теперь наряжают из острога колодников.

— Эй ты, хозяин! — закричал один каторжный,— почни кубышку-то, дай что-нибудь! Нечем помянуть покойников.

— Да полно, не скупись! — примолвил другой,— ведь завтра, может статься, и тебя туда же потащим.

Купец бросил им горсть мелких денег; все разбойники, как голодные собаки, кинулись подбирать медные гроши; один только колодник, аршин трех росту, не подражал их примеру. Он стоял неподвижно на своем месте и пристально смотрел на купца.

— Ну, что ты, Каланча, глаза-то выпучил! — закричал один из его товарищей,— иль захотел плети отведать? ступай!

— Проезжай скорее, любезный,— шепнул купец,— на этих людей и глядеть-то страшно!

— Поживешь здесь денька два, так привыкнешь,— пробормотал ямщик, погоняя лошадей.

Они проехали от заставы до самой Сухаревой башни, не встретив ни одного прохожего. Мертвая тишина, изредка прерываемая глухими воплями, которые проникали сквозь стены домов; кой-где на церковных погостах

окостенелые трупы нищих; заколоченные двери, окна с выбитыми стеклами и везде, почти на каждом шагу, красные кресты на воротах... За Сухаревой башней проезжие стали обгонять сначала людей, идущих поодиночке, потом целые толпы мужчин и женщин, и когда выехали к Никольским воротам, поворотили налево мимо городской стены, то должны были беспрестанно останавливаться, чтобы не передавить народа.

— Смотри-ка, хозяин,— сказал ямщик,— как все православные бегут помолиться Боголюбской божией матери! Глядь-ка, глядь! Вон там, у Варварских ворот!.. Ах ты, господи! эва народу-то! словно в котле кипят!

— Да что это? — сказал купец, прислушиваясь к каким-то невнятным звукам, которые, как отдаленные перекаты грома, раздавались посреди бесчисленной толпы народа,— это не походит на обыкновенный людской говор... Слышишь, как кричат?

— Слышу, Федот Абрамыч. В прошлый раз народу не меньше было, а так не шумели... уж не фабричные ли?

— Избави господи!..

— А вот постой, хозяин; подъедем ближе, так увидим.

Не доезжая шагов трехсот до Варварских ворот, проезжие должны были остановиться. Все пространство между городской стены и приходской церкви Всех святых было усыпано народом.

— Ну, делать нечего,— сказал купец, вылезая из телеги,— ступай назад; авось Ильинскими воротами проедешь на Варварку, а я уж как-нибудь добреду пешком до дому.

Ямщик поворотил лошадей, а купец смешался с народом и попеременно, то продираясь медленно вперед, то быстро увлекаемый бегущими толпами, очутился в несколько минут у самых Варварских ворот. Прежде всего кинулся ему в глаза стоящий на высокой скамье небольшого роста человек с растрепанными волосами, запачканный, оборванный — одним словом, похожий на убежавшего из тюрьмы колодника; он кричал от времени до времени охриплым и протяжным голосом: «Порадейте, православные, богоматери на всемирную свечу». К образу Боголюбской божией матери, вделанному саженях в двух от земли в стену башни, приставлена была лестница; народ лез по ней беспрерывно вверх: одни прикладывались, другие ставили свечи; нижние цепля-

лись за верхних, стаскивали их вниз, падали сами; их топтали в ногах, давили; клятвы, крики, женский визг, стоны умирающих — все заглушалось общим ропотом народа, который волновался и шумел, как бурное море. Прислушиваясь к разговорам некоторых лиц, приезжий купец был поражен именем преосвященного Амвросия и намеками на опасность, угрожающую добродетельному пастырю. Он хотел узнать подробнее в чем дело, расспрашивал многих; ответы были темны или заключались в общих угрозах, и он не стал обращать на них внимания.

Когда толпа начала редеть, купец снова пошел вперед. Миновав церковь Георгия Победоносца, он выбрался на простор; позади его кипели толпы народа, но впереди вся улица была пуста, и только кой-где из окон домов выглядывали украдкою жены богатых купцов, которые жили взаперти и не смели выходить на улицу. Вдруг купец, который шел скорыми шагами, остановился; он увидел вдали кровлю своего дома; сердце его сжалось, холодный пот выступил на бледном лице. До этой решительной минуты он не вовсе был несчастлив: он мог надеяться, мог думать: «У меня есть жена, у меня есть дети!» Но теперь... еще несколько шагов, еще полминуты — и, быть может, он давно уже один в целом мире; горький сирота, с седыми волосами, быть может, он станет искать и не найдет могилы, над которою мог бы поплакать.

— Милосердый боже! — прошептал бедный старик,— не мне просить тебя о милости; но чтоб искупить их жизнь, нашли на меня болезни, страдания, дозволь мне живому лечь в могилу, и я стану прославлять твое милосердие!

В эту самую минуту оборванный и безобразный собою мальчишка, который бежал, оглядываясь беспрестанно назад, наткнулся на купца.

— Тереша! — вскричал он, схватив его за руку,— ты ли это?!

— Вестимо, я,— пробормотал мальчишка, стараясь вырваться.

— Да постой! куда ты бежишь?!. Ну, что, скажи: все ли у нас здоровы? Что моя жена?.. Что дочери?

— А что им делается! — сказал мальчик, поглядывая с нетерпением вперед.

— Так они живы?

— А кто их знает!

— Да разве ты живешь не с ними?

— Вестимо, нет! мне колотушки-то надоели... да пусти меня!

— Возможно ли! — вскричал купец,— ты покинул мой дом?! Да как ты смел...

— А вот как! — сказал мальчик, высвободив свою руку и пускаясь бегом к Варварским воротам.

— Он жив! — прошептал купец, глядя вслед за своим приемышем.— А быть может, этот ангел во плоти, жена моя, мои дети... О, скорей, скорей! — продолжал он, торопясь идти вперед.— Что будет, то будет; а лучше один конец!

И вот уж он подле своего дома; глядит, ставни заперты, двери с улицы заколочены досками, он спешит к воротам.— Праведный боже! На них красный крест!.. Но, кажется?.. Так точно: на дворе залаяла собака. Так дом не совсем еще покинут! Купец стучит в калитку; ответу нет; одна лишь собака, почуяв хозяина, лает пуще прежнего. Проходит несколько минут — все та же мертвая тишина. Вот в соседнем доме медленно отворилось окно, и человек с бледным, больным лицом сказал купцу:

— Не стучи, любезный; в этом доме никого нет.

— Никого? — повторил бедный старик прерывающимся голосом.— А хозяйка дома?

— Третий день как умерла.

— А ее дочери?

— Вчера последнюю отвезли на кладбище.

— Последнюю!!.— прошептал купец.

Он прислонился к стене своего дома. Несчастный не лишился памяти: он чувствовал, он понимал, что у него нет ни жены, ни детей. Есть горе, которое мы, бог знает почему, называем горем: оно не имеет и не может иметь имени на языке человеческом. Это чувство непродолжительно, как последний вздох умирающего, но полжизни беспрерывных болезней, целый век страданий телесных ничто пред этой минутной смертию души. Старик-сирота молчал; в глазах его не было слез, в груди ни одного вздоха; он взглянул на небеса; они были ясны, чисты, но так же безответны, так же мертвы, как душа его. Ему казалось, что кто-то шептал над его ухом: «Не стучись и там, старик; и там тебе никто не откликнется». Безжизненные взоры купца остановились на притворе церкви, против которой он находился. Вдруг они вспыхнули.

— Итак,— вскричал он, заскрежетав зубами,— ни раскаяние, ни теплые молитвы, ни кровавые слезы мои — ничто не могло смягчить тебя!

В эту минуту кто-то вышел из церкви: в ней служили молебен, и через растворенные двери послышались тихие голоса; на клиросе пели: «Царю небесный, утешителю души истинный!» Слова отчаяния замерли на устах купца, кроткое смирение, как благотворный дождь, пролилось в его душу, слезы брызнули из глаз, и он упал во прах пред карающей десницею своего господа.

Усердная молитва облегчила сердце несчастного. Он чувствовал всю великость своей потери; он мог сказать: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти», но не роптал уж на того, кто дает и отнимает.

— Да будет твоя святая воля! — сказал он, устремив глаза на икону Спасителя, которая висела над притвором церкви,— твой праведный суд свершился надо мною. Ты видишь мои страдания!.. Господи, господи! примирился ль я с тобою?

Скоро нагрянула толпа людей, шедших от Варварских ворот, и он услышал снова имя Амвросия. Купец задрожал; он стал страшиться за безопасность почитаемого архипастыря, которого знал лично.

С горестью в сердце должны мы упомянуть о происшествии, которого ужас не позволяет нам раскрывать все подробности.

Кроме бедствий, которые претерпела Москва в это время, ей суждено было еще прибавить черную страницу к своим летописям. Ужасное злодеяние совершилось в ее стенах: архиепископ Амвросий пал, как известно, под ножом шайки гнусных злоумышленников. Накинем скорее завесу на это святотатственное событие, о котором московские старожилы доселе не могут вспомнить без содрогания, и скажем только, какое участие принимал в нем наш приезжий купец панского рода Федот Абрамович Сибиряков.

Удостоверившись в действительности замысла злодеев, этот несчастный человек решился спасти Амвросия. На другой день, 16 сентября, рано поутру он поскакал в Донской монастырь, где тогда жил архиерей. Он застал у ворот обители одного молодого послушника и келейника Амвросиева и требовал от них настоятельно, чтобы они убедили достойного пастыря тотчас уехать подальше от Москвы. Преосвященный не успел еще вы-

полнить его совета, как уже убийцы были у ворот монастыря. Он искал убежища в церкви. Злодеи вломились в храм, и тот самый приемыш Сибирякова, змея, воплощенная в человеческом теле, открыл его на хорах и указал разъяренным изуверам. Разбойники стащили преосвященного с хор. Один из них, в котором Сибиряков узнал фабричного, собиравшего у Варварских ворот деньги «на всемирную свечу», бесновался более других. Истощив все бранные слова, он заносил уже широкий нож над грудию жертвы. Сибиряков схватил его за руку и остановил удар.

— А этот что вступается? — заревели голоса разбойников,— бейте его.

— Что вы, братцы?! — принужден был сказать купец,— ведь я с вами! Пригожее ли дело осквернять храм господен? Выведем его из монастыря, а там допросим, увидим...

— Правда, правда! — вскричали разбойники,— ведь он не уйдет!

Сибиряков надеялся, что он между тем успеет усовестить извергов, но все его усилия были тщетны. Амвросий погиб. Злоумышленники не избегли заслуженного наказания. Петр Дмитриевич Еропкин, единственный тогда начальник в Москве, успел собрать несколько рот Великолуцкого полка, который стоял верстах в тридцати от города, и при помощи этой горсти солдат рассеял скопище и переловил зачинщиков. Вслед за этим прибыли в Москву главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков, гражданский губернатор Юшков и обер-полицеймейстер Бахметьев. Вскоре спокойствие было совершенно восстановлено и учреждена особая комиссия для произведения следствия об убиении архиепископа Амвросия. Великость преступления и собственная безопасность столицы требовали необычайных мер строгости; из числа участвовавших в убиении архиерея двое были повешены, а остальных, которых было весьма много, приговорили наказать, по жеребью, десятого кнутом.

В конце сентября месяца в судебную палату, в которой заседала следственная комиссия, вошел чиновник пожилых лет; он был очень бледен и, казалось, с трудом передвигал ноги.

— А, это вы, Афанасий Кириллович! — вскричал

председатель комиссии, привставая со своего места.— Милости просим! Что, как ваше здоровье?

— Слава богу! брожу понемножку,— отвечал Афанасий Кириллович, садясь наряду с другими членами комиссии за присутственный стол.

— А мы уж начинали беспокоиться,— сказал один из его товарищей,— с первого дня открытия комиссии вы занемогли, и вот третья неделя, как об вас не было ни слуху ни духу.

— Да, батюшка! чуть было не умер. Ну, что у вас делается?

— Я думаю, скоро все кончим,— сказал председатель.— Двое главных убийц приговорены уж к смертной казни, а сегодня те, которые также участвовали в преступлении, будут вынимать жеребья; из них десятый, по приговору комиссии, должен быть наказан, как уголовный преступник.

— Смотрите, господа, чтоб кто-нибудь не пострадал напрасно; вы знаете волю нашей милосердой царицы: лучше десятерых виновных простить, чем одного невинного наказать.

— О! что касается до этого, мы можем быть покойны! — прервал один из членов, старинный наш знакомый, Владимир Иванович Зарубкин.— Подсудимые добровольно и без всякого пристрастного допроса сознались в своем преступлении, выключая одного, который запирается; но все обстоятельства и показания очевидцев его уличают.

— Я прикажу прочесть вам список их имен,— сказал председатель.— Потрудитесь, Кондратий Прохорович,— продолжал он, обращаясь к секретарю.

Секретарь взял со стола лист исписанной бумаги и начал читать:

— Десяток первый: московский купец гостиной сотни Федот Авраамов Сибиряков...

— Что, что? — прервал Афанасий Кириллович.— Как ты его называешь?

— Федот Авраамов, то есть, в простонародье, Федот Абрамов Сибиряков.

— Этот богатый купец, который лет десять тому назад выехал в Москву из Иркутска?

— Точно так, ваше высокородие.

— Не может быть! — вскричал Афанасий Кириллович.— Это ошибка! Я знаю Сибирякова; он человек умный, набожный, достойный всякого уважения...

— И несмотря на то,— подхватил председатель,— он точно был в числе убийц покойного Амвросия.

— И сам признался в этом?

— Напротив, он стоит в том, что не виновен, но доказательства его преступления так очевидны...

— О, бога ради, не торопитесь! — перервал с жаром Афанасий Кириллович.— Я повторяю еще раз, это должна быть ошибка. Подумайте, господа, если впоследствии откроется, что он невинен...

— Позвольте доложить, ваше высокородие,— сказал секретарь,— вот показание полицейского чиновника, Кочеткова, который, переодевшись фабричным, был вместе с разбойниками в монастырском соборе в то самое время, как архиерея стащили с хор. Он слышал своими ушами, как купец Сибиряков приказывал вывести преосвященного Амвросия из церкви и казнить его за монастырскою оградою!

— Но если этот Кочетков не видал его никогда прежде и, обманутый сходством лица...

— Вот то-то и беда, Афанасий Кириллович,— сказал председатель,— полицейский чиновник, который на него донес, знает его лично и даже не раз хлеб-соль с ним важивал.

— Да это еще не все, ваше высокородие,— продолжал секретарь,— приемыш вышереченного купца Сибирякова добровольно и по чистой совести показал, что оный Сибиряков, выводя, при помощи своих клевретов, за монастырские ворота покойного архиепископа Амвросия, один из первых наложил на него свою святотатственную руку, а таковое уважительное и согласное показание двух очевидцев, по силе законов, обращается в явную и неоспоримую улику.

— Воля ваша, господа,— сказал Афанасий Кириллович,— я уверен в его невинности, и, несмотря на показания очевидцев, которые, впрочем, могут быть следствием личной вражды...

— Да об чем вы так хлопочете? — перервал председатель.— Пусть этот Сибиряков вынет свой жребий; быть может, ему посчастливится; а если нет, так успеем и тогда об этом поговорить. Прикажите ввести сюда купца Сибирякова,— продолжал он, обращаясь к секретарю.

Через минуту двери отворились, и знакомый нам купец вошел в присутствие.

— Федот Абрамович! — вскричал его защитник,— тебя ли я здесь вижу?!

— Здравствуйте, батюшка Афанасий Кириллович! — сказал купец, помолясь иконе и низко поклонившись своим судьям.

— Все обстоятельства тебя обвиняют,— продолжал Афанасий Кириллович,— но я не могу поверить, чтоб ты был в числе злоумышленников и убийц покойного архиерея.

— Дай бог вам много лет здравствовать! — сказал купец, и на болезненном лице его изобразилась унылая радость.— Вот первое слово утешения, которое я слышу с тех пор, как нахожусь в числе преступников.

— И твой приемыш, эта змея, которую ты отогрел на груди своей...

— Что делать, батюшка Афанасий Кириллович! И добрые дела грешника обращаются на главу его.

— Сибиряков! — сказал председатель,— подойди к присутственному столу. Ты должен вынуть сам свой жребий. Вот десять свернутых бумажек: одна только из них отмечена крестом; авось не она тебе попадется.

Купец перекрестился и взял один из жеребьев; руки его дрожали; он хотел передать его секретарю.

— Нет! — сказал председатель,— разверни сам.

Сибиряков развернул; вся кровь бросилась ему в лицо, которое почти в то же время снова покрылось смертною бледностью.

— С крестом,— сказал хладнокровно секретарь, взглянув на развернутую бумажку.

— Боже мой! — вскричал Афанасий Кириллович, вскочив со своего места и подойдя к Сибирякову.— Так точно!

— Господа судьи,— сказал купец дрожащим голосом,— мне нечего сказать в мое оправдание, я уж все переговорил, но повторяю еще раз, и бог видит, что говорю истину: я невинен.

Председатель подал знак, чтоб вывели купца из присутствия.

— Не теряй надежды, Федот Абрамович,— шепнул его заступник.— Бог милостив.

— Ну, теперь делать нечего,— сказал один из членов,— видно, ему на роду было написано...

— Послушайте, господа товарищи,— перервал Афанасий Кириллович, пробежав несколько бумаг, которые подал ему секретарь,— я готов положить руку на Еван-

гелие и присягнуть, что он невинен. Вот его допросные пункты. Показание полицейского чиновника опровергается самым признанием купца: он не запирался, а с первого слова объявил, что точно подал совет злодеям, которые хотели убить архиерея в церкви, вывести его за монастырскую ограду. Но для чего он это сделал? Для того, чтоб дать время убийцам образумиться и почувствовать всю гнусность их преступления. В его допросе видно также, что, в доказательство своей невинности, он ссылается на архиерейского келейника.

— Которого нигде не нашли,— заметил секретарь.

— Афанасий Кириллович,— сказал председатель,— мы все вас уважаем и охотно верим словам вашим; но вы не были свидетелем этого несчастного происшествия, а в уголовном деле показания очевидцев служат главным основанием для судейского приговора.

— Но все другие преступники сознались...

— А он не признается! Так что ж? Быть может, это доказывает только то, что он не способен даже и к раскаянию. И где была бы справедливость, если бы мы оправдали преступника, которого все уличает, потому только, что он не сознается в своем преступлении?

— Прошу вас об одном,— сказал, помолчав, Афанасий Кириллович,— позвольте его перевести в другой десяток, и пусть он еще один раз вынет жребий. Господа товарищи,— продолжал он, обращаясь ко всем членам,— ради меня, из уважения к дружбе, которую я имел всегда к этому несчастному, не откажите в моей просьбе!

— В самом деле,— сказал Владимир Иванович Зарубкин,— теперь я вспомнил, я слыхал много хорошего об этом купце; он был истинный отец всех бедных.

— И я то же слышал,— прибавил председатель.— Конечно, это не дает нам права, вопреки всем доказательствам, признать его невинным, но если вы, господа, согласны, из уважения к просьбе почтенного нашего товарища, я прикажу перевести его в другой десяток. Пускай еще раз испытает свое счастие.

Члены комиссии, поговорив несколько минут между собою, согласились на предложение своего председателя, и купца ввели опять в судейскую.

— Сибиряков,— сказал председатель,— до твоего преступления ты вел себя как примерный гражданин, делал много добра, был честию всего московского купечества. Из уважения к прежнему твоему поведению и к просьбе благодетеля твоего, Афанасия Кирилловича,

мы переводим тебя в другой десяток и дозволяем еще раз вынуть жребий.

Купец молча поклонился, медленно подошел к столу и взял из второго десятка одну из свернутых бумажек. Когда он стал ее развертывать, Афанасий Кириллович не усидел на своем месте; он подошел к Сибирякову и спросил торопливо:

— Ну, что?

— Посмотрите сами,— сказал с горькой улыбкою купец, подавая ему жребий.

— Опять крест! — вскричал почти с отчаянием его защитник.

— Опять! — повторил председатель.— Ну, это несчастливо.

— Келейник покойного архиерея желает войти в присутствие,— сказал громким голосом присяжный, отворяя дверь.

— Введи его скорее! — закричал Афанасий Кириллович.— Ну, видишь ли, Федот Абрамович, сам бог посылает тебе защитника.

— Да! — прошептал купец,— теперь я вижу, как бог спасает грешника.

— Что тебе, любезный, надобно? — спросил председатель у келейника, когда он вошел в присутствие.

— Слава тебе, господи! — сказал он, увидев купца Сибирякова,— кажется, я поспел вовремя. Господа судьи, я келейник покойного архиепископа Амвросия; сегодня только возвратился в Москву из Воскресенского монастыря и услышал, что купец Сибиряков по какому-то ложному извету попал в число преступников, судимых за убиение нашего преосвященного владыки. Я не знаю, что на него доказывают, но объявляю здесь пред зерцалом и готов присягою подтвердить мое показание, что этот самый купец прибежал в Донской монастырь за несколько времени до прихода убийц, что он уведомил через меня его преосвященство об их богомерзком намерении, умолял нас оставить немедленно Донской монастырь, и если бы не вышло остановки в лошадях, покойный архиепископ, по милости этого доброго человека, остался бы в живых и управлял бы доселе своей духовной паствою.

— Ну, господа! — вскричал с радостию Афанасий Кириллович,— можете ль вы теперь сомневаться в его невинности? Нельзя же в одно время и желать спасти, и быть убийцею одного и того же человека!

— Да! — сказал председатель,— это показание совершенно его оправдывает.

— И если бы нашелся еще другой свидетель,— прибавил секретарь.

— Я могу вам его представить,— прервал келейник.— Когда этот купец объявил мне об угрожающей нам опасности, я был вместе с одним из послушников Донского монастыря; теперь он не мог прийти со мною, потому что больно избит злодеями и вчера только в первый раз встал с постели.

— Ну вот, любезный друг! — вскричал Афанасий Кириллович,— не говорил ли я тебе — бог милостив, не теряй надежды? Видишь ли теперь, как милосерд и справедлив суд божий?

— Вижу,— прошептал купец, но лицо его, то бледное, то покрытое багровыми пятнами, выражало не радость, а внутреннюю тяжкую борьбу.

— Господин Сибиряков! — сказал председатель,— я не сомневаюсь, ты будешь оправдан, но судебный порядок не дозволяет мне сейчас освободить тебя из-под ареста.

— Я беру его на поруки,— перервал Афанасий Кириллович.

— Так и дело с концом. Поздравляю тебя, Федот Абрамович! ты свободен.

— Свободен! — повторил купец, и глаза его заблистали необычайным огнем.— Да! я скоро буду свободен... Господа судьи: я преступник.

— Что ты, что ты?! — вскричал Афанасий Кириллович.

Все присутствующие молча взглянули друг на друга.

— Возможно ли? — сказал с удивлением председатель.— Ты сам сознаешься, что был в числе убийц покойного Амвросия?

— Нет,— отвечал Сибиряков,— этого тяжкого греха я не прибавил к прочим; священная кровь его не восстанет против меня в страшный час суда божия; я желал не погубить, а спасти его. Но эти преступные руки не раз обагрились в крови христианской, и суд божий должен свершиться надо мною... Безумный! — продолжал купец, не обращая внимания на удивление всех присутствующих,— я думал, что, избегнув наказания земного, могу примириться с богом и моею совестью. Несколько дней назад у меня была добрая жена, милые дети: бог взял их к себе. Он видел мое сердце. Он слы-

шал мои стоны и не простил меня! Сирота, призренный и вскормленный мною, оклеветал меня; зло было мне наградой за добро, но я не сетовал на неисповедимые судьбы божии и молча покорился его воле; а совесть, совесть, как голодный коршун, продолжала терзать мое сердце!.. Ни раскаяние, ни молитва, ни слезы — ничто не облегчало его. Меня осудили как преступника; я не роптал, а сказал из глубины души: «Да будет его святая воля!» И все тот же тяжелый камень лежал на груди моей. Нет, нет!.. Пора его сбросить, пора вздохнуть свободно. Господа судьи, я преступник!

— Да в чем же ты себя обвиняешь? — спросил старинный наш знакомец Зарубкин.

— Владимир Иванович,— сказал купец,— посмотрите на меня хорошенько! Я узнал вас с первого взгляда: двадцать лет почти совсем вас не изменили,— и не диво! сон ваш был спокоен, вас не терзала совесть, не мучило позднее и бесплодное раскаяние; на вас не гневался господь...

— Но кто же ты? — спросил Владимир Иванович.

— Кузьма Рощин! — отвечал тихим, но твердым голосом купец.

КОММЕНТАРИИ

Настоящий двухтомник является наиболее полным в советское время собранием произведений М. Н. Загоскина. Тексты печатаются по последним прижизненным изданиям в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации, кроме тех случаев, когда необходимо передать особенности языка эпохи. Все подстрочные примечания, за исключением перевода иноязычных слов, принадлежат Загоскину. В комментариях дано объяснение исторических событий и имен, литературных реалий, мифологических названий, слов, употребленных в специфическом значении. Большинство малоупотребительных, устаревших и заимствованных слов объяснено в словаре, приложенном к т. 2 наст. изд. Даты указаны по старому стилю.

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ,

или

РУССКИЕ В 1612 ГОДУ (стр. 35)

Впервые роман вышел отдельным изданием в Москве в 1829 году с подзаголовком: *Исторический роман в 3-х частях.* При жизни автора выдержал 8 изданий, подвергаясь незначительной стилистической правке. Печатается по последнему прижизненному изданию (М., 1851).

Важнейшие отклики на 1-е издание романа: Литературная газета, № 5 (А. С. Пушкин); Московский вестник, 1830, № 1, с. 75—90 (С. Т. Аксаков); Московский телеграф, 1829, ч. XXX, № 24, с. 462—467 (Н. А. Полевой), Вестник Европы, 1830, № 3, с. 236—242; Отечественные записки, 1830, ч. 41, 166—170; Северная пчела, 1830, № 7—9; Московский вестник, 1830, ч. 1, № 4; Телескоп, 1831, ч. III, № 9, с. 126—129; Русский инвалид, 1831, № 152; Северные цветы на 1831 год, с. 61—62; Денница на 1831 год, с. XVII—XVIII.

В конце XIX — начале XX века новая волна внимания к Загоскину у массового читателя породила ряд переделок романа: Юрий Милославский, или Нечаянная свадьба его. Исторический рассказ. СПб., изд. 1-е — 1873; Юров И. Юрий Милославский, или Нижегородцы в семнадцатом столетии. Исторический роман в трех частях. М., 1876; Морозов А. П. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Драматическое представление из жизни наших предков в 5-ти действиях. М., 1892; Юрий Милославский. По роману М. Н. Загоскина изложила Тихомирова Е. Н. М., изд. 1-е — 1903; Орлова П. Ф. Смутное время в России. Историческая пьеса в 5-ти действиях. СПб., 1907; В смутное время. Переделано для детей из романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский». СПб., 1909; Юрий Милославский. Исторический роман М. Н. Загоскина. В обработке Елича Е. М., 1915.

Стр. 35. *Юрий Милославский.*— Фамилия главного героя романа должна была вызвать у читателей «исторические» ассоциации: род Милославских — один из самых древних боярских родов в России, особенно возвысившийся в середине XVII в., после женитьбы царя Алексея Михайловича на дочери одного из Милославских. Вместе с тем фамилия главного героя имеет и литературные истоки, напоминая прежде всего о герое исторической повести Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (1792) — Любославском. Ряд эпизодов восходит к этой повести (см. коммент. к с. 72, 282). Вынесение в заголовок и имени и фамилии главного героя — романная традиция; цель именного заглавия — создать впечатление подлинности происходящего. Подобные заглавия — отличительная черта исторической литературы первой трети XIX в. (Скотт В. Роб Рой, Айвенго, Квентин Дорвард; Пушкин А. С. Борис Годунов; Рылеев К. Ф. Димитрий Донской, Борис Годунов, Иван Сусанин и др.).

Русские в 1612 году.— Второе заглавие как бы анонсировало содержание произведения (ср.: Ричардсон С. Кларисса, или История молодой леди; Вольтер. Кандид, или Оптимизм; Карамзин Н. М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода). Двойное заглавие в романе Загоскина указывало вместе с тем и на два сюжетных аспекта: частный и исторический. Название романа восходит также к первому историческому роману В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад». Подобная оглядка на В. Скотта ориентировала читателя не только на содержание произведения, но и на литературную традицию, с которой оно связано. Подзаголовок «*Исторический роман в трех частях*» (в первом изд.) был необходим не столько чтобы обозначить жанр произведения,

сколько для того, чтобы подчеркнуть его новизну. Последущие исторические сочинения Загоскина или вовсе не имели подзаголовка, или жанр их определялся иначе (см. вступ. статью).

Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале 17-го столетия... — Начало XVII в. в России — Смутное время. Уже годы царствования Бориса Годунова (1598—1605) были отмечены неурожаями, приведшими к голоду, и крупными народными восстаниями (1603 г.— восстание под предводительством Хлопка). В 1603 г. в Польше объявился самозванец, назвавший себя царевичем Димитрием (Димитрий, сын Ивана Грозного, был возможным наследником престола, но во время царствования своего старшего брата Федора Иоанновича при неясных обстоятельствах погиб в Угличе; согласно версии, официально заявленной в царствование Василия Шуйского, организатором убийства царевича был назван Борис Годунов). Высшая польская знать поддержала Лжедмитрия. В 1605 г. он воцарился в Москве. Однако в результате восстания 17 мая 1606 г. самозванец был убит. Царем был выбран Василий Шуйский. В эти же годы (1606—1607) началось крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова. Политика правительства Шуйского привела к еще большему ослаблению страны и открыла доступ иноземному вмешательству. Речь Посполитая стремилась подчинить Россию, сначала поддерживая нового Лжедмитрия, затем путем открытой интервенции. Войско Лжедмитрия II было остановлено под Москвой и в 1610 г. разгромлено. Польские интервенты осадили Смоленск, взяли ряд городов и заняли Москву. Шведы захватили новгородские земли. После свержения в результате заговора Василия Шуйского (1610) власть перешла к Боярскому правительству («семибоярщина»). По договору бояр с польским королем Сигизмундом III русским царем был признан его сын Владислав. 21 сентября 1610 г. правительство тайно разрешило польским войскам вход в Москву. С октября того же года фактическая власть перешла от бояр к начальникам польского гарнизона С. Жолкевскому, а после его отъезда из Москвы — А. Гонсевскому. В 1611 г. было организовано Первое земское ополчение для борьбы с интервентами. Инициаторами его выступили жители Рязани, где воеводой был Прокопий Петрович Ляпунов. К ополчению присоединились также бояре и воеводы из лагеря Лжедмитрия II, казацкие отряды. В марте 1611 г. ополчение выступило из Коломны в сторону Москвы. Главные силы вошли в Москву (24 марта) и расположились у Яузских и Тверских ворот. Но вскоре в ополчении начались разногласия между дворянством и казачеством. В июле казаками был убит Ляпунов. После этого многие дворяне покинули ряды ополчения, и под Москвой остались преимущественно казацкие отряды. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина на-

чался сбор средств для создания нового ополчения. Военным руководителем был приглашен князь Д. М. Пожарский. В марте 1612 г. Второе ополчение выступило из Нижнего Новгорода в сторону Москвы и в начале апреля прибыло в Ярославль, куда подошли отряды из других русских городов.

Загоскин нарушает в романе хронологию событий. Действие начинается в апреле 1612 г., и в апреле же Юрий Милославский участвует в совете нижегородских бояр по поводу организации ополчения, хотя ополчение к этому времени уже находилось в Ярославле. См. *историческое замечание 3* (с. 283).

Круг литературы по русской старине рекомендовал Загоскину по его просьбе журналист М. Н. Макаров, сам интересовавшийся «древностями русскими» и время от времени публиковавший свои находки в журналах. «Искать требуемой вами от меня старины, милостивый государь Михаил Николаевич,— писал Макаров Загоскину,— присужу и присоветую вам читать примечания к «Истории государства Российского», да и самое «Историю», том 8, 9, 10 и 11. Там много любопытного, много говорится, по желанию вашему, и об одежде и об обычаях наших предков. Скучно, сбивчиво, или, яснее сказать, довольно будет труда, может быть, для нетерпения вашего — как же быть: терпением все преодолевается! Менее, нежели в «Истории» Карамзина, однако ж с любопытством, можно прочитать кое-что о желанных вам предметах в Успенском» (Письмо М. Н. Макарова к М. Н. Загоскину, вторая половина 1827 г.— Отдел рукописей ГПБ (Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), ф. 291, архив М. Н. Загоскина, № 105, л. 1. Успенский Г. П.— автор книги «Опыт повествования о древностях русских» (Харьков, 1818). Кроме того, Макаров советовал Загоскину просмотреть «Московский вестник» и «Вестник Европы» за 1827 г., где публиковались материалы о старинном русском быте и традиционных обычаях и обрядах. В архиве М. Н. Загоскина сохранился также альбом писателя (Отдел рукописей ГПБ, ф. 291, № 27), частично отражающий процесс начальной работы над «Юрием Милославским». Здесь имеются выписки о «древностях русских» с указанием страниц из книги Г. П. Успенского и из «Древней российской вивлиофики» (периодического издания начала 1770-х годов, посвященного отечественной старине). Выписки эти касаются главным образом описаний быта и озаглавлены: «О строении», «О экипаже, одежде и обуви», «Столовая посуда, кушанья и напитки» и т. п.

Бóльшую часть исторических сведений Загоскин почерпнул из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (главным образом из двенадцатого тома «Истории...», посвященного событиям 1608—1611 гг. и вышедшего как раз в период работы над «Юрием Милославским» — в 1829 г.). Труд Карамзина был самым

авторитетным источником для писателей, бравшихся за исторические сюжеты (см., например, «Думы» К. Ф. Рылеева, «Борис Годунов» А. С. Пушкина). Однако Карамзин не успел довести повествование далее середины 1611 г. (он умер в 1826 г.). Поэтому Загоскину приходилось пользоваться, особенно при рассказе об освобождении Москвы, материалами летописей — видимо, «Новым летописцем» (изд. 1771 или 1788 гг. под названием «Летопись о многих мятежах» или «Русская летопись по Никонову списку. Осьмая часть». СПб., 1792; современное изд.: «Полное собрание русских летописей», т. XIV (1-я половина. М., 1965) и «Сказанием Авраамия Палицына» (изд. 1784 или 1822 г.; современное изд.: Сказание Авраамия Палицына. М.— Л., 1955).

Помимо указанных источников, сведения об исторических событиях и лицах, о ежедневном быте «русских в 1612 году». Загоскин мог почерпнуть из исторических очерков своего времени, посвященных началу XVII столетия (см., например: Краткое изображение бессмертных подвигов нижегородского гражданина Козьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского. М., 1817), из книг Г. П. Успенского, Г.-Ф. Миллера, Адама Олеария, с которыми он определенно был знаком (см. коммент. на с. 711), из журнальных статей по истории русского быта (например, статьи в «Московском вестнике» за 1827 г.: «Домашняя жизнь царя Федора Иоанновича» (пер. с англ.); «О старинных русских свадьбах» и др.). Анализ некоторых исторических источников «Юрия Милославского» см.: Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, т. II. СПб.— М., 1913.

Михайло Борисович Шеин (ум. в 1634 г.) — воевода, возглавлявший оборону Смоленска (16 сентября 1609 г.— 3 июня 1611 г.). Так как польские войска заняли в сентябре 1610 г. Москву, положение Смоленска было очень тяжелым. Когда Смоленск был взят, Шеин попал в плен. Оборона Смоленска сыграла большую роль в борьбе с интервентами, так как отвлекала на себя значительную часть войск. До осады Смоленск был крепостью, защищавшей западные границы России. После взятия был присоединен к Польше и возвращен России лишь в 1654 г.

Сигизмунд III (1566—1632) — король польский; сам он в походе 1610—1611 гг. не участвовал.

Жолкевский Станислав (конец 1540-х гг.— 1620) — польский гетман, один из наиболее деятельных участников интервенции. Хотя первого самозванца он и не признал царевичем Димитрием, а затем выступал против похода 1610 г. под Смоленск, тем не менее сражался во главе польских войск; позднее требовал от «седьмочисленных бояр» избрать королевичем Владислава на русский престол; во главе польских войск вошел в Москву.

...прозванного Тушинским вором...— Лжедмитрий II получил

такое прозвище в связи с тем, что его войска располагались лагерем в селе Тушине, под Москвой.

Стр. 36. *Понтиус де ла Гарди* — Делагарди Якоб Понтус (1583—1652), начальник отряда, направленного по договору с Василием Шуйским шведским королем Карлом IV. В марте 1610 г. русские войска под командованием М. И. Скопина-Шуйского (см. коммент. к с. 144) и шведский отряд под началом Делагарди разбили войско Лжедмитрия II и освободили Москву от осады. Однако в июле 1610 г. Делагарди заключил перемирие с поляками, захватил Новгород и ряд других городов.

Низовые города — расположенные в низовьях Волги.

Сергиевская лавра — Троице-Сергиев монастырь, осада которого (сентябрь 1608 г.— январь 1610 г.; в ней участвовали наряду с поляками отряды казаков) так и не принесла успеха неприятелю.

Сапега Ян Петр Павел (1569—1611) — крупный литовский магнат. С навербованным войском прибыл в стан Лжедмитрия II, затем начал самостоятельное завоевание северной Руси. Возглавлял осаду Троице-Сергиевой лавры.

Лисовский Александр Иосиф (ум. в 1616 г.) — участник польской интервенции. Сформированный им отряд наездников совершал опустошительные набеги на русские земли. Вместе с Сапегой возглавлял осаду Троице-Сергиевой лавры.

Дионисий (ок. 1570/1571—1630) — архимандрит Троице-Сергиева монастыря с 1610 г. Участвовал в составлении и рассылке грамот по русским городам с призывом идти на освобождение Москвы.

Авраамий Палицын (Аверкий Иванович; родился не позднее 1550-х гг.— 1626) — с 1608 г. келарь (хранитель припасов и казны) Троице-Сергиева монастыря. Автор «Сказания», посвященного Смутному времени; он отводит себе значительную роль в освобождении Москвы в 1612 г. В сознании людей первой трети XIX в. Палицын, наряду с Мининым и Пожарским, представлялся одним из центральных деятелей своей эпохи (ср.: Пушкин А. С.: «...смутные времена Минина и Авраамия Палицына» — Литературная газета, 1830, № 5; Надеждин Н. И.: «...исторические подвиги Мининых, Палицыных и Пожарских...» — Телескоп, 1831, № 14, с. 224). Во время нашествия французов на Россию в 1812 г., когда раздались патриотические призывы к единению всех сословий в борьбе с врагом, своеобразным символом такого единения служили имена князя Пожарского, посадского Минина и монаха Палицына.

...Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни... — Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) — один из руководителей нижегородского ополчения. С начала 1610 г.— воевода в

Зарайске. Участник Первого ополчения и сражений в Москве 19—20 марта 1611 г. В бою в районе Лубянки Пожарский был ранен, переправлен в Троице-Сергиеву лавру, а затем в свое имение Мугреево, недалеко от Нижнего Новгорода.

...бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.— Кузьма Минич Захарьев-Сухорук (ум. в 1616 г.) — нижегородский посадский человек. В сентябре 1611 г. был избран земским старостой и возглавил организацию Второго ополчения.

Стр. 37. *Гонсевский* Александр Корвин (ум. в 1645 г.) — польский воевода, один из организаторов похода в Россию. В 1610 г. вошел в Москву вместе с гетманом Жолкевским во главе польских войск и стал начальником польского гарнизона в русской столице. Во время осады Кремля Гонсевский бежал из Москвы.

Стр. 38. *...поклониться Печерским чудотворцам.*— То есть побывать в Киево-Печерской лавре.

Стр. 41. *Гой ты море, море синее!* — Начиная с пятой строки песни цитируется отрывок из «Старинной русской песни», напечатанной в «Московском вестнике» (1827, ч. VI, № XXIV, с. 390).

Зовут меня Киршею...— Имя «народного» героя (полностью — Кириллом — он назван лишь несколько раз в 3-й части романа), по всей вероятности, было выбрано Загоскиным по ассоциации с именем составителя первого сборника русских былин, баллад и песен, опубликованного в начале XIX в.— «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Во втором издании сборника (1818) издатель К. Ф. Калайдович сообщал в предисловии, что Кирша Данилов — «вероятно, козак, ибо он нередко воспевает подвиги сего храброго войска с особенным восторгом». Словосочетание «козак Кирша Данилов» стало устойчивым (например: Невский зритель, 1820, ч. I, № 2, с. 54).

Стр. 42. *...и мы кутили порядком в Чернигове...*— Рассказ Кирши вполне историчен. Многие казаки в конце царствования Бориса Годунова участвовали в крестьянском движении на северной Украине; некоторые выступали в союзе с самозванцами. Несколько казачьих отрядов были отправлены Лжедмитрием II на осаду Троице-Сергиевой лавры (ниже Кирша упомянет о том, что «сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицей»).

...избрали на царство сына короля польского.— Сын короля польского — Владислав (1595—1648). В 1610 г. между боярским правительством и гетманом Жолкевским, действовавшим от имени Сигизмунда, был заключен договор, согласно которому русским царем должен быть Владислав. По договору (невыполненному) Владислав обязывался принять православие, а Сигизмунд — вывести войска из России и снять осаду со Смоленска.

Стр. 44. *Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего...*— Мысль о неизменно-

сти в течение многих веков быта и образа жизни русского народа была характерна для первой трети XIX в. Еще Карамзин писал, что «трудолюбивые поселяне... и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали» («Наталья, боярская дочь», 1792). В рецензии на «Юрия Милославского» С. Т. Аксаков писал, что по роману Загоскина тот, кто не знает своего отечества, «вместе с иностранцами познакомится с жизнью наших предков и теперешним бытом простого народа» (Московский вестник, 1830, № 1, с. 79). Считалось также, что и мировоззрение народа оставалось устойчивым и неизменным на протяжении многих веков. Так, Н. И. Надеждин говорил: «...православные русские мужички сохраняют то же нерушимое благоговение к имени русскому и ту же заклятую ненависть ко всему иноземному» (Телескоп, 1831, № 14, с. 225). Между тем идея исторической изменчивости в это время уже имела распространение. Карамзин еще в 1794 г. писал: «...мы не найдем в истории повторений. Всякий век имеет свой особливый нравственный характер,— погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз» (Карамзин Н. М. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2. М.— Л., 1964, с. 259).

«Шемякин суд», «Мамаево побоище» — лубочные картинки, бывшие украшением постоялых дворов в первую треть XIX в. Лубки вошли как описательный компонент в изображение постоялых дворов и почтовых станций и в литературные произведения. Сюжет «Шемякина суда» восходит к повести XVII в. (перешедшей в фольклор) о неправедном судье, судящем в пользу того, кто даст большую взятку. Мамаево побоище — Куликовская битва (см. с. 719 наст. тома).

Стр. 45. *...убрался в свою Пурецкую волость...* — Пурех — село в Нижегородской губернии, пожалованное Д. М. Пожарскому за освобождение Москвы. В данном случае упоминание Пурецкой волости — анахронизм.

Стр. 46. *День святого угодника Хрисанфа* — 19 марта. В этот день в 1611 г. произошло столкновение между интервентами и жителями Москвы, которое закончилось опустошительным пожаром.

Сам гетман нагрянул на нас со всем войском... — Имеется в виду гетман Жолкевский. Сведения о событиях 19 марта даны в репликах беседующих. Предполагалось, что эти немногие факты должны наслаиваться на те знания об эпохе, которыми располагал читатель. Собственно исторические справки вообще занимают немного места в романе. Лишь в начале первой и третьей частей скупо пересказаны события и обрисована общая обстановка в России 1612 г. Более же конкретные исторические сведения вводятся попутно, по мере развертывания действия, а также в разговорах персонажей. Этого требовали условия жанра, представляющего

историю «в лицах» и «домашним образом». К тому же Загоскин ожидал встретить в своем читателе человека сведущего: незадолго до появления «Юрия Милославского», в 1829 г., вышел двенадцатый том «Истории государства Российского» Карамзина, в котором как раз освещались события 1608—1611 гг.

Стр. 47. *...он... ест по постам скоромное?* — Изменничество Шалонского проявляется и в том, что он, пренебрегая благочестивыми обычаями предков, нарушает пост.

Стр. 48. *Юрьев день* — 26 ноября. В XVI в. в течение недели до Юрьева дня и после него крестьянин имел право переходить от одного хозяина к другому. Юрьев день был отменен в 1580—1590-х гг.

Стр. 53. *Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?* — Считается, что самозванцем был беглый инок Чудова монастыря (в московском Кремле) Григорий, в миру галичский сын боярский Юшка Богданов, сын Отрепьева. Так полагал и Карамзин. Эта версия оспаривалась: «Имя Гришки, очевидно, было поймано как первое подходящее, когда нужно было назвать не Димитрием, а кем бы то ни было того, кто назывался таким ужасным именем» (Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия, т. I. СПб., 1868, с. 170).

...прыгнул в окно. — По преданию, Лжедмитрий I покончил с собой, выбросившись из окна.

...у жены своей, Маринки... — Марина Мнишек — дочь польского воеводы Юрия Мнишека, поддерживавшего обоих самозванцев, жена Лжедмитрия I, впоследствии — Лжедмитрия II.

Стр. 55. *Есаул* — здесь в смысле: адъютант.

...разбойничьего атамана Хлопки... — Восстание под предводительством Хлопка произошло в 1603 г. Летом часть восставших сосредоточилась около Москвы. В сентябре отряды Хлопка были разбиты, сам Хлопка ранен и взят в плен. О дальнейшей судьбе его ничего не известно.

Стр. 61. *...однажды поутру, на монастырском капустном огороде?..* — О вылазке защитников Троице-Сергиевой лавры на капустном огороде (находился близ северной стены монастыря) упомянуто Палицыным: «приидошя литовские люди на огород капусты имати. Из града же увидевше, яко немного людей литовских, и не по воеводскому велению, но своим изволением, спустившеся с стен градным по ужищем, и литовских людей побили, а иных переранили» («Сказание Авраамия Палицына», с. 142).

Стр. 71. *Цербер* — трехглавый пес, стороживший вход в подземное царство бога Аида (греч. миф.); в переносном смысле: бдительный страж.

Стр. 72. *Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка — рудомета, что ль?..* — Досужий — знающий, умеющий лечить.

Рудомет лечил, по правилам медицины того времени, пусканием крови (руды).

Никола зимний — зимний праздник Николая-чудотворца (6 декабря).

...слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил.— Спас на Бору — церковь внутри Московского Кремля. Встреча героев в церкви и мгновенно вспыхнувшая любовь их друг к другу одним из ближайших источников имеют повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь», герои которой также впервые встречаются в церкви.

Стр. 73. *Дока* — «так называются в деревнях те люди, которые всякое чародейство или порчу отговорить, то есть отвратить могут, а сами чародейство производить не в силах» (<Чулков М. Д.> Словарь русских суеверий. СПб., 1782, с. 156—157).

...начнет ли молодица выкликать...— Кликушество было одним из распространенных психических заболеваний женщин среди простого народа.

Стр. 79. *...под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов.*— В конце XVIII — начале XIX в. в России стал проявляться интерес к народной старине. В частности, в журналах публиковались заметки о народных обычаях и обрядах (в том числе свадебных). Какой-либо из этих заметок, очевидно, и воспользовался Загоскин в данном случае. Использование медвежьего и лисьего меха (на мех сажали молодых) связано со свадебной символикой плодородия и богатства. Однако использование шкуры *белого* медведя в свадебном крестьянском обряде среднерусской полосы вряд ли было возможно.

Стр. 85. *...вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом... подожгли сами себя и все сгибли до единого.*— Андрей Дедешин, «беглец смоленский, указал полякам на слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили... и в полночь (3 июня) ляхи ворвались в крепость... Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух, с детьми, имением — и славою!» (Карамзин Н. М. История..., т. XII, с. 302). У Карамзина, однако, фамилия изменника пишется по-другому: Дедишин. Написание через «е» (Дедешин) восходит, вероятно, к «Новому летописцу».

Стр. 90. *Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад...*— События в романе происходят ранней весной, еще лежит снег; описание же сада боярина Шалонского дано без

учета времени года как самостоятельная этнографическая зарисовка.

Стр. 103. *Гермоген* (ок. 1530—1612) — с 1606 г. русский патриарх, сторонник В. И. Шуйского. С декабря 1610 г. грамотами, рассылаемыми по стране, способствовал организации Первого земского ополчения. Гермоген был взят под стражу после оккупации Москвы польскими интервентами и умер в заточении.

Игнатий (ум. ок. 1640 г.) — рязанский епископ, первым признавший Лжедмитрия I русским царем. Лжедмитрий и поставил его на патриарший престол. После смерти самозванца был заключен в Чудов монастырь. Освобожден в 1611 г. и снова признан патриархом, вместо Гермогена. Вскоре бежал в Польшу.

Не сиди, мой друг, поздно вечером...— Песня была опубликована в «Московском вестнике» (1828, ч. 11, № XVIII, с. 108—109).

Стр. 112. *...известного Санхо-Пансу... не напоминал собою Рыцаря Плачевного Образа.*— Имеются в виду Санчо Панса и Дон-Кихот (Рыцарь Печального Образа) — герои романа М. Сервантеса «Дон-Кихот».

Стр. 113. *...его убил перекрещенный татарин Петр Урусов...*— Крещеный татарский князь Петр Урусов был начальником татарской стражи при самозванце; убил Лжедмитрия II во время охоты, отомстив ему за убийство одного из татарских князей.

...провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна Дмитриевича, царем русским.— Иоанн — сын Лжедмитрия II и Марины Мнишéк.

...служить внуку сандомирского воеводы...— то есть сыну Лжедмитрия II. Сандомирский воевода — Юрий Мнишек, отец Марины Мнишек.

Стр. 117. *...блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!* — Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых (начальные строки I псалма Давида).

Стр. 118. *...вещает премудрый Соломон...*— Цитата, приведенная Замятней-Опалевым, взята из ветхозаветной книги «Екклесиаст, или Проповедник». Авторство этой книги приписывалось царю Соломону (965—928 гг. до н. э.), отличавшемуся, по преданию, мудростью и красноречием. Соломону приписывается, помимо «Екклесиаста», также «Книга притчей Соломоновых», «Песнь Песней», «Книга Премудростей Соломоновых».

Недаром говорит Сирах: «Касаяйся смоле очернится, а приобщаяйся безумным, точен им будет».— Изречение из ветхозаветной «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»: «Кто прикасáется к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему». Йешуа бен-Сира (в славянской транскрипции —

Иисус, сын Сирахов) — палестинский книжник, автор сборника сентенций и афоризмов, получившего название «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова» (неканонической книги Ветхого завета), переведенной на греческий язык его внуком.

Стр. 120. *В граде крепкий вниде премудрый...*— Из «Книги притчей Соломоновых».

...сказано бо есть: «Не упивайся вином».— Послание к Ефесянам св. апостола Павла.

Стр. 121. *Не красна похвала в устах грешника.*— Из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова».

Стр. 125. *Побывай у Сергия...*— в Троице-Сергиевой лавре. Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) — церковный и политический деятель XIV в., основатель этого монастыря.

Сеявый злая, пожнет злая.— Из «Книги притчей Соломоновых».

Стр. 126. *...премудрый Соломон, глаголет...*— Вероятно, Загоскин приводил изречения из Библии по памяти. В данном случае цитата взята не из книг Соломона, а из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»; *...не имаши пожати ю с седмерицею* — не будешь в семь раз более пожинать с них.

Стр. 127. *Жена доблия веселит мужа своего...*— Жена добродетельная радует своего мужа («Сирах»).

Пища и жезлие и бремя ослу.— Там же.

Стр. 128. *...без суда не сотвори ни чесо же.*— Ничего не делай без рассуждения.

Стр. 132. *Черт ли в этих заводских клячах!* — Заводские лошади — выращенные в заводах — правильно организованных хозяйствах. Противопоставление «вольного» аргамака и заводских «кляч» — анахронизм: конные заводы появились позднее.

Стр. 144. *Скопин-Шуйский* Михаил Васильевич (1587—1610) — князь, московский воевода. В 1609 г. русские войска под его командованием освободили из-под власти Лжедмитрия II Ярославль и ряд других городов, весной 1610 г.— Москву от тушинской осады. Молодой полководец после победы над самозванцем был значительно популярнее своих родственников — главного воеводы Д. И. Шуйского и царя В. И. Шуйского. Его внезапную смерть современники считали насильственной и объясняли завистью к славе племянника Шуйских-дядьев.

Стр. 162. *Бывало, как схватится с Кривым-Салтыковым...*— Салтыков Михаил Глебович (ум. ок. 1613 г.), по прозванию Кривой — дьяк в царствование Феодора Иоанновича и Бориса Годунова. В годы Смуты действовал изменнически.

Стр. 166. *...при пострижении в иноки Василья Шуйского...*— Шуйский Василий Иванович (1552—1612) — после свержения с престола в 1610 г. был насильственно пострижен в монахи, затем

выдан гетману Жолкевскому, который отправил его в Польшу, где он и умер в заточении. Во время обряда пострижения Шуйский оказывал сопротивление, и монашеский обет произносил за него князь Василий Туренин (по другим источникам — Тюфякин). Патриарх Гермоген посчитал такой обряд неправильным и объявил иноком Туренина, а не Шуйского (Карамзин Н. М. История..., т. XII, с. 231).

Стр. 171. *Образ Владимирския божия матери и честныя многоцелебныя мощи...* — Владимирская икона богоматери — одна из древнейших и наиболее чтимых в XVI—XVII вв. московских икон, писанная, по преданию, евангелистом Лукой. Помещалась в Успенском соборе Московского Кремля. Там же находились мощи святителей Петра, Ионы и др.

Стр. 172. *Архимандрит Феодосий* — настоятель Печерского монастыря, расположенного близ Нижнего Новгорода.

Стр. 179. *По правую руку его сидели...* — Участники собрания нижегородских бояр наделены реально-историческими именами. Князь Д. М. Черкасский — один из видных деятелей Смутного времени. Воеводы М. С. Дмитриев и Ф. Левашов были руководителями первого из отрядов, отправленных Пожарским к стенам Москвы. Одним из военачальников следующего посланного к Москве отряда был дьяк Семен Самсонов.

Стр. 181. *...под тяжким игом свейского воеводы Понтуса...* — Имеется в виду шведский воевода Понтус Делагарди (см. коммент. к с. 36).

Стр. 183. *...подобно святому граду Киеву...* — Киев в это время принадлежал Речи Посполитой.

Стр. 189. *Романов Михаил Федорович* (1596—1645) — сын Федора Никитича Романова (патриарха Филарета; ум. в 1633 г.), избранный на царство в 1613 г., после освобождения Москвы.

...подкупленные злодеем Заруцким, убийцы... — Заруцкий Иван Мартынович (ум. в 1614 г.) — атаман донских казаков. В условиях неразберихи Смутного времени неоднократно менял политическую ориентацию. Служил Лжедмитрию II, затем — Сигизмунду, потом присоединился к Первому земскому ополчению; после убийства П. П. Ляпунова казаками и распада ополчения остался со своими казаками под Москвой; в июле 1612 г. был организатором покушения на жизнь Пожарского, затем бежал на юг вместе с Мариной Мнишек и ее малолетним сыном Иоанном. В 1614 г. был схвачен, отправлен в Москву и казнен.

Стр. 190. *Ходкевич* Ян Карл (ум. в 1621 г.) — литовский гетман. В сентябре 1611 г. был прислан Сигизмундом III в Москву на помощь польскому гарнизону.

Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (ум. в 1625 г.) — князь, командовал казачьими полками; поддерживал Лжедмитрия II; по-

сле разгрома тушинского лагеря М. И. Скопиным-Шуйским ушел вместе с самозванцем в Калугу; после смерти Лжедмитрия принимал участие в посольстве к Сигизмунду по поводу подписания договора о выборе на царство Владислава; затем во главе казачьих отрядов был одним из руководителей Первого ополчения, после распада которого оставался под Москвой; вместе с войсками Пожарского казаки Трубецкого принимали участие в освобождении столицы от иноземцев.

...и 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре... — О целях прибытия ополчения в Троице-Сергиев монастырь летопись сообщает следующее: «Князь Дмитрий же Михайлович Пожарский и Кузьма, да с ним вся рать, поидоша из Переяславля к Живоначальной Троице и приидоша к Троице... для того, чтобы укрепиться с казаками, чтоб друг на друга никакова бы зла не умышляли» (Новый летописец.— Полн. собр. русских летописей, т. XIV. М., 1910, с. 123).

Стр. 191. *Он был ангел во плоти!* — Ср. с характеристиками врагов и изменников в романе: земский ярыжка «с рожи-то очень похож» на сатану; у Лисовского «такое демонское лицо, что он и на человека не походит»; у Кручины-Шалонского — улыбка и взгляд, «в котором отражалась вся злоба адской души его»; взор Истомы-Туренина «напоминал так живо *соблазнителя,* что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы»; вотчину Шалонского Кирша называет адом («вырвался из ада»), а замысел пленить Милославского — «адским заговором».

Стр. 193. *Вешний Никола* — весенний праздник Николая-чудотворца (9 мая).

Малюта Скуратов — Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (ум. в 1573 г.) — приближенный Ивана Грозного, руководитель опричного террора, участник многочисленных убийств и казней. Тот, кого Малюта обносил чашей на пиру, вскоре попадал в опалу.

Стр. 196. *...а зовут его, помнится, отцом Еремеем.*— Еремей Афанасьевич Покровский, живший, по преданию, около 130 лет, священствовал в селе Кудинове с 1600 по 1696 г.; «во время лихолетья он доблестно предводительствовал против поляков и крамольников» (см. об этом: Сперанский М. Н. Поп-разбойник Емеля.— Slavia, Ročnik II, sešit 4. Praha, 1924, с. 655—659; за указание данной статьи выражаем признательность А. Л. Осповату).

Стр. 200. *Этот хутор прозывается Теплым Станом...*— «Радклифский замок в Муромском лесу»,— назвал изображение хутора Шалонского Н. А. Полевой (Московский телеграф, 1831, № 8, с. 541). «Радклифский» — по фамилии английской писательницы А. Радклиф (1764—1823), чьи произведения, популярные в России начала XIX в., изобиловали таинственными ужасами.

Стр. 205. *...уж не будет ли какого демонского наваждения?* — В народных поверьях выкапывание клада связано с противоборством нечистой силы: «...в то время, как вынимают котел, выбегают из лесу черти и кричат: «Режь, бей, губи»; при таком случае берут всегда в помощь колдуна» (<Чулков М. Д.> Словарь русских суеверий, с. 183—184).

Стр. 208. *Жилищем ведьм, волков, // Разбойников и злых духов.*— Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1794).

...романтические разбойники... вовсе перевелись на святой Руси; и бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты...— Романтический разбойник — герой многих романтических поэм 1820-х гг. Ирония Загоскина над путешественником не вполне заслуженна: Муромские леса и в его время еще имели дурную славу. По словам одного из современников, в путешествие «для обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи, особенно при неизбежном переезде через страшные леса Муромские, были взяты с собой два ружья, пара пистолетов, а из холодного оружия — сабля» (Селиванов В. В. Предания и воспоминания. СПб., 1881, с. 147).

...разве иногда может похвастаться мужественным своим нападением на станционного смотрителя...— Путешественники, едущие не по казенной надобности, получали лошадей всегда во вторую очередь. Жалобы на станционных смотрителей, не дающих лошадей,— одно из общих мест при изображении почтовых станций в литературе первой трети века.

Стр. 209. *...благодарственный молебен... князю Петру и княгине Февронии.*— Петр и Феврония — муромские святые, канонизированные в 1547 г. В «Повести о Петре и Февронии» говорится, что Петр княжил в Муроме. В летописях такой князь не упоминается.

Стр. 212. *Сенька Жданов* (или Жвалов) — один из казаков, подосланных Заруцким в Ярославль для убийства Д. М. Пожарского.

Стр. 223. *Неразумие мужа погубляет пути его.*— Из «Книги притчей Соломоновых».

От плодов устен твоих насытишь чрево свое.— Из «Книги притчей Соломоновых».

Стр. 225. *Не буди правдив вельми и не мудрися излишне...*— Из «Екклесиаста».

Прещение его подобно рыканию львову... и яко же роса злаку, тако тихость его.— Гнев царя — как рев льва, а благоволение его — как роса на траву («Книга притчей Соломоновых»).

Стр. 226. *...а в Москве остался старшим пан Струся.*— Николай Струсь вместе с Гонсевским командовал польским гарнизоном, осажденным в Кремле.

Стр. 228. ...*этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда... явным доказательством могущества и милосердия божия.*— Авраамий Палицын в своем «Сказании...» не единожды утверждает, что монастырь выдержал осаду благодаря помощи святых заступников — Сергия, Никона, богородицы.

Тридцать тысяч войска польского...— Цифра взята у Карамзина («История...», т. XII, с. 99), который использовал сведения Палицына: «всего войска с Сопегою и Лисовским до 30 000» («Сказание...», с. 145). Историки полагают, однако, что Троице-Сергиеву лавру осаждали около 13—15 тысяч человек (см.: Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троице-Сергиева лавра. М., 1909, с. 362—363).

Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца...— Н. М. Карамзин приводит в своем повествовании об осаде Троице-Сергиевой лавры слова Авраамия Палицына в неточном пересказе: «Князь Долгорукий с Голохвастовым первые, над гробом св. Сергия, поцеловали крест в том, чтобы *сидеть в осаде без измены...* все люди ратные и монастырские... готовились к *трапезе кровопролитной,* пить чашу смертную за отечество» («История...», т. XII, с. 100; курсивом Карамзин выделил слова, принадлежащие «летописцу» — Палицыну: «Народ во обители к мукам уготовляется: трапеза бо кровопролитная всем представляется и чаша смертная всем наливается» — «Сказание...», с. 134). Голохвастов А. И., Долгорукий Г. Б.— воеводы, руководившие защитой Троице-Сергиева монастыря (см. коммент. к *историческому замечанию 13*).

...*который недаром называли в речах своих каменым гробом...*— Курсивом выделена цитата из Карамзина, пересказывающего Палицына («История...», т. XII, с. 98): «Доколе,— говорили Лжедмитрию ляхи,— доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их каменном гробе?» — Ср. в «Сказании...» с. 131.

...*подле Святых ворот лавры.*— Святые, или Красные, ворота — главные ворота Троице-Сергиева монастыря, расположенные с восточной стороны его.

...*смотрел пристально вдоль ростовской дороги...*— Точнее: вдоль Переяславской дороги (как она тогда называлась), проходившей от монастыря на северо-восток.

Стр. 229. *Суета* — один из «даточных людей», участвовавший в защите лавры («даточные люди» — крестьяне, находившиеся в зависимости от монастыря). О нем говорится и у Карамзина, и у Палицына: «велик возрастом и силен вельми», отличался «бесстрашием и храбростью» и «никто же против его стати не возможе» («Сказание...», с. 159).

Архимандрит — Дионисий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря (см. коммент. к с. 36).

Стр. 230. ...*изменник Заруцкий ушел в Коломну...* — После неудавшегося покушения на Пожарского Заруцкий двинулся к югу, в 1613 г. в Астрахани пытался создать особое государство под покровительством иранского шаха.

...*да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно...* — Одной из главных целей казаков, находившихся под началом князя Трубецкого, была нажива.

Мартьяш — глухонемой польский воин, перешедший на сторону защитников монастыря, «зело яростен и силен бе и послужи в дому пресвятыя троица, яко же истиннии христиане» («Сказание...», с. 173). Карамзин в примечаниях к тексту своей «Истории...» приводит выписку из «Сказания...» Палицына о том, как Мартьяш (другое имя его — Немко) обличил польского разведчика, который проник во время осады в лавру и стремился «пакость содеяти». Этот исторический эпизод и послужил Загоскину для выделения главной черты Мартьяша в романе — бдительности, которую он проявляет, несмотря на природный физический недостаток.

Стр. 232. *В сей бо день...* — Измененная цитата из «Сказания» (см. с. 173).

Стр. 235. *Мы не иноки западной церкви...* — Согласно уставу католического монашества, помимо обетов нестяжания, целомудрия и повиновения (необходимых и в православном монашестве), иноки должны были соблюдать также обет постоянства, обязывающий к пожизненному пребыванию в звании. В православии пострижение не пожизненное: иноческий обет может быть снят и бывший монах снова отпущен в мир.

Пересвет и Ослябя — иноки Троице-Сергиева монастыря, отправленные Сергием Радонежским в войско Дмитрия Донского. Погибли в Куликовской битве.

Ступай в стан князя Пожарского... — Посвящение Милославского Авраамием Палицыным задумано Загоскиным с «исторической» перспективой: подобно Сергию Радонежскому, отсылающему иноков на поле битвы (Ослябю и Пересвета), Палицын отправляет героя романа на защиту отечества.

Стр. 253. *Хотьковский монастырь* — в нескольких верстах от Троице-Сергиевой лавры в сторону Москвы.

Стр. 256. ...*в безумии моем я молился — не на лики святых угодников...* — Мотив этот, восходящий к теме дьявольского соблазна во время молитвы, был переосмыслен в литературе конца XVIII — первых десятилетий XIX в. (см., например, легенду о монахе, влюбившемся в монахиню, пересказанную Карамзиным в «Письмах русского путешественника»: «Образ нежной монахини

всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: *люблю! люблю! люблю!* (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 82). Любовь монаха (священника, монахини) — основа коллизий ряда романтических произведений 1820—1830-х гг. (Гюго В. Собор Парижской богоматери, 1831; Козлов И. И. Чернец, 1825: «Не пред крестом я слезы лью, // Я вяну, мучуся, люблю»; Лермонтов М. Ю. Демон, 1839: «Святым захочет ли молиться, // А сердце молится ему»). Влюбленный Юрий Милославский также собирается постричься в монахи.

Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой!.. — Эпизод объяснения Анастасии и Юрия показался критикам романа неправдоподобным, нарушающим историческую иллюзию, не соответствующим «характеру того времени»: «Анастасия могла взять руку мужа и поцеловать. Также прощаясь с ним у ворот Хотьковского монастыря, по нашему мнению, следовало бы ей поклониться в ноги своему спасителю, супругу и *господину*» (из рецензии на «Юрия Милославского» С. Т. Аксакова). «Любовь всегда была самою слабою стороною в романах Загоскина»,— замечал Аксаков по другому поводу (Аксаков С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 189).

Стр. 260. *...но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал...* — Согласно евангельскому повествованию, один из разбойников, распятых вместе с Иисусом Христом, просил помянуть его в царствии небесном, на что «сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» (Евангелие от Луки).

Стр. 261. *Я еду с требою к умирающему...* — Треба — отправление церковного обряда. Здесь речь идет о соборовании и причащении — обрядах, совершающихся у постели умирающего.

Стр. 262. *Блаженна часть твоя...* — то есть участь.

В первый день решительной битвы русских... — Сведения о сражениях 22—24 августа 1612 г. почерпнуты Загоскиным скорее всего из «Нового летописца».

Крымский брод — место, где сейчас Крымский мост.

Стр. 263. *Ново-Девичий монастырь* — находился тогда за пределами Москвы. При вступлении в столицу Жолкевский потребовал, чтобы его войску разрешено было занять монастырь, который служил хорошим укреплением на ближайших подступах к Москве со стороны Смоленской дороги.

Стр. 269. *...Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого...* — По словам самого Палицына, Пожарский и Минин «в недоумении быша», обратились 24 августа к нему за содействием. Авраамий же, «забыв старость, скоро пойде» в «станы казачьи» и, восхвалив казаков за прошлое «дело доброе», за большую их храбрость и мужество, «молив... со многими слезами» идти на

бой против поляков. Вняв мольбам Авраамия, «все многочисленное воиньство казаков, внезапу устремившеся... ко врагом на бой» («Сказание...», с. 225—226). В Псковской летописи Минин, а не Авраамий уговаривает казаков Трубецкого помочь ополчению (см.: «Сказание...», с. 26).

Стр. 270. *...по взятии... Китай-города...* — Китай-городом называлась часть московского посада, расположенная между реками Москвой и Неглинной к востоку и северо-востоку от Кремля, окруженная рвом и стеной. Китай-город был одной из наиболее населенных частей Москвы после Кремля.

...доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга... — О том, что среди осажденных в Кремле царили такой «глад велик и мор», что они «плоти человеческиа начаша ясти» («Сказание...», с. 226), упоминается и в «Новом летописце».

Стр. 272. *Димитрий Петрович Пожарский-Лопата* — двоюродный брат Д. М. Пожарского; руководитель одного из отрядов нижегородского ополчения.

Арсений, епископ Галасунский — грек по происхождению, числился при Архангельском соборе в Кремле.

Стр. 274. *...лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского.* — Стефан Пермский (ок. 1340—1396) — епископ Пермской земли, миссионер; обращал в христианство коми (зырян), создал письменность для них. В церкви Спаса на Бору находились мощи Стефана Пермского.

Стр. 278. *...как старцы в общине?* — Одним из важнейших монашеских обетов является целомудрие.

Стр. 279. *...венец Мономахов.* — Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) — русский князь, с 1113 г. великий киевский князь. Согласно легенде, византийский император прислал Мономаху для его венчания на великое княжение знаки царского достоинства: венец и бармы (драгоценные оплечья). Русские государи венчались венцом, который называли венцом Мономаховым (или шапкой Мономаховой).

Стр. 280. *Троицын день* — христианский праздник (седьмое воскресенье после пасхи).

...молодец Селява... — Монастырский слуга Данило Селявин, брат которого перешел на сторону поляков, во время осады Троице-Сергиевой лавры, по словам Авраамия Палицына, «не хотяше изменничья имени на себе носити и рече пред всеми людьми: «Хочу за измену брата своего живот на смерть пременити!» («Сказание...», с. 153).

Стр. 282. *Лета 7130-го...* — то есть в 1622 г. Летосчисление «от сотворения мира» разнится на 5508 лет с летосчислением «от рождества Христова». Одновременная смерть героев-влюбленных (ге-

роев-супругов) — распространенный в европейской литературе финал произведения. Нередко один из них, не в силах перенести разлуку, лишает себя жизни («Тристан и Изольда» и др.). Загоскин, разумеется, имел в виду версию «благочестивой» смерти, как, например, в «Повести о Петре и Февронии» (см. коммент. к с. 209). Вместе с тем финал «Юрия Милославского» восходит и к заключительным строкам повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», где повествователь, «прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки», обнаруживает надгробный камень, на котором читает надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою».

Современники не обратили особенного внимания на сходство «Юрия Милославского» с «Натальей, боярской дочерью». В главном герое романа Загоскина видели скорее перевоплощение доблестных предков «шотландского барда», чем карамзинского боярина Любославского. А. А. Бестужев (Марлинский) прямо писал, что Юрий Милославский — «метампсихоза Вальтер Скоттова Веверлея» (т. е. Уэверли) (Московский телеграф, 1833, ч. LIII, № 18, с. 218). В целом же характер главного героя загоскинского романа был оценен современной критикой сурово. «Надобно признаться, — писал С. Т. Аксаков, — что хотя Юрий предобрый, и благородный, и храбрый человек, но слишком горячо к нему не привязываешься. Как скоро он действует с кем-нибудь вместе, он уже играет второклассное лицо; в нем ничего нет славного, сильного, увлекательного, самобытного. Его спасают, посылают, освобождают, не слушают, разрешают и венчают. В своем роде Кирша нравится гораздо более» (А к с а к о в С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 91). Кирша больше нравился всем читателям, и Милославский выглядел на его фоне невыразительно. Такая «второклассность» главного героя связана не только с трудностями создания положительного характера и обусловлена не одним воздействием В. Скотта, у которого главные герои нередко обрисованы слабее второстепенных. «Второклассность» главного героя порождена самой структурой «русского» романа, где особую роль выполняли фольклорные элементы. Описание быта, народных обычаев и суеверий, пословицы и поговорки, которыми усыпана речь персонажей из народа, песни, стилизованные сказки и былины, фольклоризация самого стиля (народно-поэтические выражения: «шея лебединая», «сердце молодецкое» и др.), — все это должно было создавать русский колорит. Фольклор играет немаловажную роль и в структуре сюжета «Юрия Милославского».

Многое в сюжетных положениях романа восходит к народной сказке. Сходство со сказкой было замечено уже современниками, правда, не для похвал. Н. А. Полевой среди ошибок Загоскина выделял ту, что «вместо изображения души человеческой» автор за-

нимает читателя «сказочными случайностями» (Московский телеграф, 1831, № 8, с. 540). Связь со сказкой обнаруживается уже в расстановке персонажей. Так же, как в волшебной сказке, не столько герой действует самостоятельно, сколько за него — его *помощники*, способствующие ему в борьбе с недругами (антагонистами; о сюжетной структуре волшебной сказки см.: Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969). Героя волшебной сказки как раз чаще всего «спасают, посылают, освобождают» и т. д. В романе Кирша, так же как и сказочные помощники, по-фольклорному трижды выручает героя из беды за то, что тот в свое время спас ему жизнь. Загоскин и объясняет-то помощь Кирши сказочным аргументом — «непреодолимым желанием во что бы то ни стало соединить двух любовников» (Юрия и Анастасию): главной задачей сказочного помощника является добывание невесты герою. Другие помощники — Авраамий Палицын, освобождающий Милославского от присяги польскому королевичу; поп Еремей, спасающий его возлюбленную и венчающий героев; юродивый Митя, дающий Милославскому иносказательные советы. По-сказочному перед Юрием и Алексеем, едущими в отчину Шалонского, возникает на распутье дорог мужичок с хворостом. В «инишном царстве» (Теплый Стан боярина Кручины-Шалонского), куда можно попасть по одной-единственной дороге, оказывается пленный Милославский.

Ряд сказочных мотивов романа непосредственно связан с Киршей, характер которого изобилует качествами ловкого и находчивого персонажа, но уже не волшебной, а социально-бытовой сказки. Чтобы удобно устроиться на ночлег, он запугивает выдумкой о разбойниках проезжих, остановившихся на постоялом дворе. Подслушав разговор колдуна Кудимыча с пришедшей поучиться у него старухой, Кирша обоих одурачивает. Одурачивает он своих сторожей, удирая из отчины боярина Кручины; одурачивает жадную старуху, продавшую по неслыханной цене крынку молока; одурачивает слуг боярина Кручины, добывая для них мнимый клад. Более всего напрашивается аналогия Кирши с солдатом и вором — героями социально-бытовой сказки (вор в русской сказочной традиции, в отличие от разбойника, трактуется положительно). В одном из сказочных сюжетов солдат выведывает у колдуна секреты колдовского искусства и затем побеждает его (см.: Народные русские сказки Афанасьева А. Н. М., 1957, № 354). В другой сказке — подслушивает разговор о заговоре против царя или узнает о нападении разбойников (см.: Сравнительный указатель сказочных сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979, № 951—В, 952). Кирша подслушивает разговор Омляша с земским ярыжкой о предстоящем нападении на Юрия Милославского. Одурачивание солдатом, хитроумным мужиком или вором глупой старухи — ситуация,

частая в социально-бытовой сказке. Так, в одном из сказочных сюжетов солдаты подкладывают старухе в печь лапоть, выкрав оттуда жареного петуха (см.: Сравнительный указатель сказочных сюжетов, № 1544—А*). С Киршей связан и такой явный сказочный эпизод, как похищение чудесного коня, на котором, как говорит приказчик Кручины-Шалонского, «не усидел бы и могучий богатырь Еруслан Лазаревич» (ср.: Народные русские сказки Афанасьева А. Н., № 136, 138, 159). В соответствии со сказочными сюжетами ведет себя и колдун Кудимыч: в одном из сюжетов колдун, сам спрятав предмет, обнаруживает его потом как бы колдовским способом (см.: Сравнительный указатель сказочных сюжетов, № 1641); в другом сюжете «дока» отводит беду от свадебного поезда (см.: Народные русские сказки Афанасьева А. Н., № 378).

Стр. 283. *Исторические замечания.*— Примечания к собственным литературным текстам были одним из важных компонентов не только исторического романа, но в принципе любого художественного текста в русской литературе последней трети XVIII — первой трети XIX в. В комментариях к тексту, помимо объяснения малоупотребительных, иноязычных и т. п. слов, автор пояснял свой замысел, давал этнографические, исторические, географические, литературные справки. Большинство лингвистических примечаний Загоскин приводит по ходу повествования, под строкой. Необходимость специально вынесенных в конец романа пояснений была вызвана прежде всего стремлением расширить собственно исторический план романа и обратить внимание читателя на его документальную основу.

Историческое замечание 1.— Маскевич Самуил (ок. 1580—1642) — участник похода против России. С 1594 по 1621 г. вел дневник, откуда и извлечена цитата. Записки Маскевича обильно цитирует Н. М. Карамзин в примечаниях к тексту «Истории государства Российского». Отрывки из дневника публиковались в журнале «Северный архив» (1825). Полностью дневник Маскевича в русском переводе был опубликован в изд.: Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. V. СПб., 1834.

Историческое замечание 2.— Толкование слова *гостиная сотня* почерпнуто Загоскиным из «Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского» (ч. 1—3. СПб., 1793; совр. изд.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979, с. 243). *Татищев* Василий Никитич (1686—1750) — автор первой русской «Истории Российской с самых древнейших времен» (5 книг; изд. 1768—1848). Ко времени написания «Юрия Милославского» были опубликованы лишь четыре тома этого труда Татищева (до 1462 г.).

***Их можно сравнить с нынешними купцами первой гильдии.*—**

Гильдии — корпорации купцов. Манифестом 17 марта 1775 г. купеческое сословие было разделено на привилегированное гильдийское купечество (три гильдии, определяемые количеством объявленного капитала, высшая из них — первая гильдия, затем — вторая и третья) и мещан.

Историческое замечание 5.— Сочинитель розыскания о древности русских монет...— Имеется в виду Круг Филипп Иванович (Иоганн-Филипп; 1764—1844), автор «Критического разыскания о древних русских монетах» (русский перевод — СПб., 1807).

Историческое замечание 7.— Миллер Герард Фридрих (1705—1783) — русский историк. Сведения о степенях дворянства взяты Загоскиным из книги Миллера «Известие о дворянах российских. О их древнем происхождении; о старинных чинах, и какия их были должности при государях, царях и великих князьях; о выборе доказательств на дворянство; о родословной книге; о владении деревень; о службе предков и собственной, и о дипломах» (СПб., 1790).

Историческое замечание 8.— Сведения о том, почему Лжедмитрия считали еретиком, взяты Загоскиным из книги немецкого путешественника и ученого XVII в. А. Олеария (полное изд. на русском языке: О л е а р и й А д а м. Описание путешествия в Московию и чрез Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с. 207—208). Олеарий посетил Россию в составе посольства Шлезвиг-Гольштейнского герцогства в 1633—1634 гг. и по пути в Иран в 1635—1639 гг. Отрывки из книги Олеария публиковались в русском переводе в «Благонамеренном» (1822, ч. 18, № 26), «Русском зрителе» (1828, ч. 4, № 15—16).

Историческое замечание 9.— Бобыль, по толкованию Татищева...— См.: «Лексикон российской...» (Т а т и щ е в В. Н. Избранные произведения, с. 191). Татищев — см. коммент. *к историческому замечанию 2.*

Историческое замечание 11.— Успенский Гаврила Петрович (ум. в 1820 г.) — профессор Харьковского университета, автор книги «Опыт повествования о древностях русских» (в 2-х томах, Харьков, 1818). О колымагах он писал: «Дорожные экипажи наших предков были сколько просты, столько же и малочисленны... Самые древнейшие у нас были для лета *телеги,* а для зимы *сани.* В течение времени находим по истории названия: *возок, колымага* и *карета,* кои все были почти одно и то же и употреблялись единственно для двора. В них запрягали по шести, иногда же более или менее, лошадей» (т. 1, с. 47—48). В возражение Успенскому Загоскин намекает на слова из «Описания путешествия...» Олеария: «Князей, бояр и знатнейших людей жены летом ездят в закрытых каретах, обтянутых красной тафтою, которою оне зимою

пользуются и на санях» (Олеарий А. Описание путешествия..., с. 218). Олеарий — см. коммент. к *историческому замечанию 8*.

Историческое замечание 13.— Иосиф Девочкин, казначей Троице-Сергиева монастыря, без достаточных оснований был обвинен в измене и расхищении монастырской казны. Воевода Голохвастов защищал Девочкина, за что и был назван «потаковником» преступника и обвинен в попустительстве.

Историческое замечание 14.— Загоскин почти дословно пересказывает Олеария (см.: Олеарий А. Описание путешествия..., с. 301—303).

РОСЛАВЛЕВ, или РУССКИЕ В 1812 ГОДУ (стр. 287)

Впервые роман вышел отдельным изданием в Москве в 1831 году. При жизни автора издавался трижды. Печатается по последнему прижизненному изданию (М., 1851).

Важнейшие отклики на роман: Телескоп, 1831, ч. IV, № 13—14, с. 216—235 (Н. И. Надеждин); Московский телеграф, 1831, № 8, с. 539—543 (Н. А. Полевой); Русский инвалид, 1831, № 147—148; Северная пчела, 1831, № 129, 130, 139. Полемический по отношению к роману Загоскина отрывок (не опубликованный при жизни) сочинил А. С. Пушкин. Герои пушкинского «Рославлева» носят те же имена, что и персонажи Загоскина, но резко отличаются своими воззрениями на жизнь, и в частности на события войны 1812 г.

Стр. 287. *Не требовать от меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествие...—* Завершая работу над «Рославлевым», Загоскин писал: «...кровавый пот каплет с чела моего. За трудное дело я взялся — с современниками ладить нелегко — того и гляди, то кого-нибудь обидишь — а судей-то будет, судей! — что читатель, что критик — «зачем он описал то-то, а не то-то» — «вывел того-то, а не этого»,— «я сам это видел — я сам тут был... следовательно, видел все и лучше и вернее автора и проч. и проч.»— как подумаю — мороз по коже подирает» (Письмо М. П. Лобанову от 23 мая 1830 г.— См. т. 2 наст. изд.).

Стр. 288. *Тем, которые в русском молчаливом офицере узнают историческое лицо тогдашнего времени...—* Имеется в виду Фигнер Александр Самойлович (1787—1813) — организатор одного из партизанских отрядов во время Отечественной войны 1812 г., «столь же хитрый, сколько и храбрый, был один из тех русских офицеров, кои наиболее причиняли вреда французской армии» (Русский инвалид, 1834, № 207). Фигнер был отправлен секретным распоряже-

нием М. И. Кутузова в осажденный Данциг, куда проник под видом итальянского купца, и добыл важные для русского командования сведения.

Интрига моего романа основана на истинном происшествии... когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной... — История любви героини романа к французу Сеникуру восходит к реальным эпизодам такого же рода: «Достоверные свидетели сказывали нам, что в разных губернских городах, где пленные находятся, не токмо они в пище, платье и в прочем нужном содержании ни малейшего недостатка не имеют, как то несомненно и должно быть согласно человеколюбивым християнским правилам, которые в сих случаях русскими весьма твердо наблюдаются; но сии свидетели сверх того утверждают: что не бывает ни одного собрания, ни одного бала, куда бы французы преимущественно приглашены не были, что они имеют вход во все домы, что некоторые русские дворяне с ними о России рассуждают, слушают их, любуются их красноречию и даже берут их в учители к детям своим; и уверяют, и без ужаса повторить сего не можно!.. что несколько благородных девиц сбираются вытти за них замуж; что, забыв честь, долг родства и любви к отечеству, не погнушались они руку свою предложить — кому? Тем, у которых кровь свойственников или ближних, несчастным сим девицам принадлежавших, не успела еще на руках обсохнуть! тем, от которых, может быть, вкусили тяжкую смерть отцы, братья, сродники их, друзья, не говоря уже о соотечественниках, ибо для мудрых космополиток, или обитательниц вселенной, ни сего звания, ни сей связи не существует. Говорят, даже утвердительно, называя и по имени, что две из сих несчастных уже вступили в таковый отвратительный союз... И после содеяния нынешними пленными в отечестве нашем неслыханных святотатств и насилий русские благородные девицы не постыдятся вступать в супружество с участниками сих злодейств? О горе! О вечный стыд и срам!» (Сын отечества, 1813, ч. 6, № XXVI, с. 301—304). Ср. со стихами С. Т. Аксакова:

И вот прелестные российские девицы,
Руками обхватясь, уставя томны лицы
На разорителей отеческой страны
(Достойных сих друзей, питомцев сатаны),
Вертятся вихрями, себя позабывают,
Французов — языком французским восхищают.
Иль брата иль отца на ком дымится кровь —
Тот дочке иль сестре болтает про любовь!..

(«А. И. Казначееву», 1814)

...красноречивый сочинитель «Писем русского офицера...» — Имеются в виду «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода

россиян противу французов в 1805 и 1806, а также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год, с присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии».— Сочинение Федора Николаевича Глинки (1786—1880), поэта, участника войны 1812 г., будущего декабриста (ч. I—VIII. М., 1815—1816). Цитата, с которой начинается роман Загоскина, является началом IV части «Писем...», посвященной военным событиям 1812 г.

Стр. 289. *...несмотря на турецкую войну...*— Речь идет о русско-турецкой войне 1806—1812 гг.

...на Петербургской стороне или в Измайловском полку...— Район Петербурга, где дислоцировался Измайловский полк (ныне район Измайловского проспекта).

Стр. 290. *Известный роман «Матильда, или Крестовые походы»...* — «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов» — роман французской писательницы Коттен (Софи Ристо; 1773—1807), изданный в 1805 г. Герой романа Малек-Адель — молодой предводитель мусульманских войск.

Здравствуй, Рославлев!..— Фамилии большинства героев Загоскина, как и у многих его современников, литературны по своему происхождению. Так, фамилия *Рославлев* одним из источников имеет одноактную комедию А. С. Грибоедова и А. А. Жандра «Притворная неверность» (первая постановка в Петербурге — 11 февраля 1818 г.; издана — СПб., 1818). Загоскин наделил этой фамилией героя своей комедии «Добрый малый» (1820). Братья Рославлевы — действующие лица комедии А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (1824). Другие действующие лица романа — *Радугины, Ладушкин, Зарецкий, Блесткин, Сурский* — однофамильцы персонажей комедий Загоскина: «Вечеринка ученых», «Богатонов в деревне», «Деревенский философ», «Провинциал в столице», «День первого представления новой пьесы». Такие фамилии, как *Ленский, Зарецкий, Радугин,* встречаются в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, у А. С. Грибоедова, в комедиях А. А. Шаховского и т. д. В ходу были также фамилии, происходившие от названий рек *(Двинский, Онегин, Печорин)*, озер *(Ильменев)*, городов *(Ижорский)*, женских имен *(Лидин, Ольгин)*.

Стр. 293. *«Отчаянье Жокриса»* — водевиль французского драматурга Л.-А. Дорвиньи (1734—1812). Жокрис — тип простака в старинных французских фарсах.

Стр. 295. *...офицер в мундирном сюртуке с черным воротником.*— То есть в форме артиллериста. Прототипом артиллерийского офицера был А. С. Фигнер (см. коммент. к с. 288).

...что-то дикое, бесчувственное и даже нечеловеческое изображалось в серых глазах его.— Характер артиллерийского офицера

обрисован Загоскиным в соответствии с тем, как описывал Фигнера Д. В. Давыдов в своем письме к автору «Рославлева» от 6 марта 1829 г.: «Когда входил в чувства... тогда в нем открывалось что-то сатаническое, так как и в средствах, употребляемых им для достижения определенной им цели, ибо сие сатаническое столько же оказывалось в его подлой унизительности пред людьми, ему нужными, сколько в надменности его против тех, от коих он ничего не ожидал, и в варварстве его, когда, ставя рядом до 100 человек пленных, он своей рукой убивал их из пистолета одного подле другого» (Библиографические записки, 1861, № 18, с. 552—553). Товарищ Фигнера по партизанскому отряду Н. В. Неведомский оставил следующий его портрет: «Бесстрастное лицо его походило на стертый временем, ничего не показывающий часовой циферблат: ни взглядом, ни движением не давал знать, что это презрение и к своей и к чужой жизни стоит ему какого-либо усилия над самим собою» (Современник, 1838, т. IX, с. 21). Загоскин противопоставляет артиллерийскому офицеру (Фигнеру) зачинателя партизанского движения 1812 г.— Д. В. Давыдова, который появится в романе позднее и проявит свою гуманность по отношению к пленному французу (см. с. 524 и коммент. к ней).

Стр. 299. *Когда под Кагулом он разбил визиря...*— В сражении при реке Кагул во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. русская армия под командованием П. А. Румянцева (1725—1796) одержала победу над войсками турецкого визиря.

Стр. 302. *...Веллингтону удалось взять обманом Бадаиос?* — Герцог Артур Уэлсли Уэллингтон (1769—1852) — английский полководец, командовавший в 1808—1813 гг. союзными войсками на Пиренейском полуострове против Наполеона. При поддержке испанских повстанцев его войска освободили город Бадахос.

...не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу...— Осада Сарагосы длилась почти год (1808—1809).

Сен-Клу — городок под Парижем; замок Сен-Клу, роскошно отделанный Наполеоном, служил ему резиденцией.

...по милости бунтовщиков англичан у вас не осталось ни одной лодки.— В октябре 1805 г. в битве при мысе Трафальгар (южное побережье Испании) английская эскадра разбила франко-испанский флот.

Стр. 303. *...при первом появлении французских орлов на берегах Гангеса...*— Ганг — самая крупная река Индии. Завоевание Индии — неосуществленная мечта Наполеона.

Половина Испании покрыта пеплом...— Наполеон рассчитывал завоевать Испанию так же легко, как и другие европейские страны, однако испанцы оказали решительное сопротивление, и благодаря действиям испанских партизан французские войска в Испа-

нии вплоть до падения Наполеона несли огромные потери.

Стр. 306. *...называли ее Коринною...* — Коринна — героиня романа французской писательницы Жермены де Сталь (1766—1817) «Коринна, или Италия» (1807). Имя Коринны, поэтессы и импровизатора, порою прилагалось (с оттенком преклонения или иронии) к пишущим дамам.

Стр. 307. *...которая и в древни времена...* — Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудница» (1794).

Стр. 308. *«Торжество Траяна»* — опера Ж.-Ф. Лесюэра (1760—1837), поставленная в Париже в октябре 1807 г. в честь возвращения Наполеона из победного похода в Пруссию. Траян (53—117 гг.) — римский император, полководец. Под торжеством Траяна здесь подразумевалось торжество Наполеона.

Стр. 309. *Рейнский союз* (1806—1813) — объединение ряда германских государств (Бавария, Лихтенштейн, Вюртемберг, Баден и др.) под протекторатом Наполеона; эти государства вступили в военный союз с Францией, став фактически ее вассалами.

Стр. 310. *Это вид Аустерлица.* — Аустерлиц — деревня в Моравии (Чехословакия). Под Аустерлицем союзные русские и австрийские войска в декабре 1805 г. проиграли сражение Наполеону.

...с видом Прейсиш-Ейлау или Нови. — Под Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. произошло кровопролитное сражение между русской и французской армиями, в котором Наполеон не сумел одержать победу. Нови — город в Северной Италии, где в августе 1799 г. русско-австрийская армия под командованием Суворова разгромила армию французов.

Стр. 312. *...принятая всей Европою континентальная система...* — Континентальная блокада, запрещающая торговые отношения с Великобританией, была навязана Наполеоном России в 1807 г. Ее целью было защитить французскую экономику от торговой конкуренции с Великобританией.

Стр. 315. *...прическу à la Titus...* — Прическа римского императора Тита Флавия Веспасиана (39—81 гг.): завитые и начесанные на лоб волосы.

Стр. 319. *Казалось, она завидовала жребию Матильды...* — Матильда — героиня одноименного романа Коттен (см. коммент. к с. 290). История трагической любви мусульманского полководца Малек-Аделя и английской принцессы Матильды проецируется Загоскиным на любовный конфликт его романа. Трагизм ситуации усиливается тем, что Полина не только, подобно Матильде, преступает законы веры (она — православная, Сеникур — католик), но и предает отечество, связав свою жизнь с врагом России — французом.

Стр. 320. *И ты, рыцарь Амадис...* — Имеется в виду герой одного из самых популярных в XIV—XVI вв. испанских рыцарских романов «Амадис Гальский», совершающий многочисленные рыцарские подвиги и сохраняющий пылкую любовь к единственной избраннице.

Стр. 328. *...прибитые по стенам почтового двора — и Шемякин суд, и Илью Муромца, и взятие Очакова...* — Речь идет о лубочных картинках, популярных в народной среде. Упоминание лубков — стереотипный компонент описания почтовых станций и постоялых дворов в русской литературе 1820-х гг. (см. коммент. к с. 44).

Стр. 340. *«Мысли вслух на красном крыльце Силы Андреевича Богатырева».* — Имеется в виду антифранцузская брошюра Ф. В. Ростопчина (см. коммент. к с. 437) «Мысли вслух на Красном крыльце с приложением письма Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве» (М., 1807).

...их-де отечество на Кузнецком мосту... — Кузнецкий мост в Москве с его многочисленными магазинами был средоточием французской моды и в этом смысле являлся объектом критики французомании в литературе. Характерно осмысление моды как кумира, заменившего духовные ценности. Ср. с рассуждением Ф. Н. Глинки. «Вопрос: что́ есть мода? Ответ: мода есть нечто... трудно объяснить что, и что такое... Обитель ее — все большие города, ее храмы — близ Кузнецкого моста, жрицы ее — модные торговки» (Декабристы, т. 2. Л., Художественная литература, 1975, с. 34).

Стр. 351. *...«Дианина древа»!* — Речь идет о комической опере «Диянино древо, или Торжествующая любовь» (текст Л. Да Понте; переделка с итальянского И. А. Дмитревского; музыка В. Мартина-и-Солера). После первой постановки в 1789 г. неоднократно шла в Петербурге (до 1819 г.) и Москве (до 1814 г.).

Стр. 356. *Чтоб совесть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю.* — Самоубийство влюбленного героя, не получившего взаимности, или героини, обманутой возлюбленным, — одно из общих мест в западноевропейской и русской литературе конца XVIII — начале XIX в. (Гете И.-В. Страдания молодого Вертера; Карамзин Н. М. Бедная Лиза; Баратынский Е. А. Бал).

Стр. 362. *Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский ученый-натуралист, автор «Естественной истории», сыгравшей значительную роль в естествознании XVIII в. В России начала XIX в. Бюффон особенно ценился за красноречивый слог.

Стр. 370. *Елисейские поля* — в античной мифологии место загробного пребывания «блаженных», избранных душ.

Стр. 371. *...у знаменитой певицы Мары...* — Г. Э. Мара (1749—

1833) — немецкая певица, в начале XIX в. гастролировала в Петербурге и Москве.

Стр. 372. ...*«выду я на реченьку»*...— русская народная песня.

...*«гром победы раздавайся!»* — полонез для оркестра и хора (слова Г. Р. Державина, музыка О. А. Козловского); написан для праздника, данного Г. А. Потемкиным в 1791 г. в честь взятия Измаила.

Стр. 378. *Что ж делать, мой друг? Все народы имеют свои национальные слабости; и если говорить правду, то подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства.*— Рассуждения Сурского о преклонении русского дворянского общества перед Европой — выражение взглядов самого Загоскина, который всю жизнь неутомимо боролся против «подражания иностранному» как главного общественного порока дворянства. Приводим заметку от 11 октября 1849 г., сохранившуюся в архиве писателя: «В числе достоинств русского народа есть одно, о котором весьма мало говорят наши писатели. Это достоинство исключительно принадлежит нашему высшему обществу — называют по-русски: «смирением». Ну, скажите сами, кто сносит с таким смирением и покорностью все ругательства и обиды, которыми осыпает нас благословенный Запад? и кто лучше исполняет христианскую заповедь: «любить врагов наших»? Наши соседи называют нас варварами, каждый западный журналист считает обязанностию бросать в нас грязью — а мы кланялись и благодарили. Есть даже русские, которые до того простирают свое христианское смирение, что, по примеру святых отцов наших, сами уничтожают себя и говорят: «Мы же варвары, невежды, ни на что не годились — и западные народы поделом нас презирают!» — Подлинно святые люди!.. Жаль только, что они, обыкновенно, говорят об этом во множественном числе — то есть употребляют слово «мы». Говори они об этом в единственном числе,— так и я... грешный человек, с ними согласился» (Рукописный отдел Пушкинского дома, ф. 105, оп. I, № 2; архив М. Н. и С. М. Загоскиных).

Стр. 386. *Я помню милицию...*— В конце 1806 г. после нападения Наполеона на Пруссию в России было сформировано временное ополчение.

Стр. 387. ...*южный ветер лелеял русских орлов на берегах Дуная...*— Здесь речь идет о русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 гг.

...*наши волжские песни раздавались в древней Скандинавии...*— Имеются в виду войны России со Швецией 1741—1743, 1788—1790 гг.

...*среди цветущих полей Италии и на вершинах Сен-Готарда...*— В период войны России (в коалиции с Англией, Австрией, Турцией и Неаполитанским королевством) против республиканской Фран-

ции Суворов совершил свой победоносный итальянский поход 1799 г. и знаменитый переход из Северной Италии в Швейцарию через Альпы. Сен-Готард — перевал в Альпах.

Стр. 388. *Так! французы в России!..* — Слова из манифеста Александра I, объявленного в начале Отечественной войны 1812 г.

...в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина... — См. коммент. на с. 694—695.

...и уже могила его была назначена на уединенной скале безбрежного океана! — Речь идет об острове Святой Елены в Атлантическом океане — месте последней ссылки Наполеона.

Стр. 389. *Витгенштейн Петр Христианович* (1768—1843) — фельдмаршал, в период Отечественной войны 1812 г. командовал корпусом, прикрывавшим подступы к Петербургу, успешно противостоял корпусу наполеоновского маршала Ш.-Н. *Удино* (1767—1847). Удино был ранен под Полоцком.

Стр. 421. *Рославлев вынул часы, подавил репетицию...* — механизм для боя в карманных часах.

Стр. 425. *Он жив еще?..— Нет, умер!* — Ситуация явления жениха на пороге церкви, где его невеста венчается с другим, восходит в русской литературе к повести Н. М. Карамзина «Сиерра-Морена» (1792). У Карамзина жених закалывается на пороге церкви, а его невеста, за мгновение до этого готовая обвенчаться с новым возлюбленным, в знак памяти к первому избраннику отказывается от брака и уходит в монастырь.

Стр. 436. *К Иверской, православные!* — Иверская икона божьей матери названа по имени Иверского монастыря на Афоне. В 1648 г. в Москву была доставлена ее копия, которая хранилась в часовне (у Воскресенских ворот Китай-города). Икона, считавшаяся чудотворной, незадолго перед вступлением французов в Москву в 1812 г. была увезена во Владимир.

Стр. 437. *...и в сегодняшней афишке напечатано...* — Афиши военного губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина (1763—1826) распространялись в июле — августе 1812 г.; язык их был стилизован под речь простонародья; некоторые из них представляли собой лубочные картинки с пространными подписями.

Мамаево побоище, или Куликовская битва — сражение русских под предводительством Дмитрия Донского (1350—1389) с монголо-татарскими войсками, во главе с ханом Мамаем. Битва произошла 8 сентября 1380 г. и закончилась полной победой русских. Отечественная война 1812 г. в сознании современников ассоциировалась с нашествием монголо-татар. Так, М. И. Кутузов на предложение наполеоновского маршала Лористона прекратить «варварскую» партизанскую войну, ведущуюся не «по военным правилам», отвечал, что «сие относится не к армии, а к жителям нашим» и что,

«ежели бы я и желал переменить образ мыслей сей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспитание» (Донесение М. И. Кутузова Александру I о мирных предложениях Наполеона от 23 сентября 1812 г.— Кутузов М. И. Сборник документов, ч. I, т. IV. М., 1954, с. 368). Характерны в этой связи сравнения Наполеона с Чингисханом, Мамаем, Батыем. Например, в «Эпитафии завоевателю» Г. Р. Державина:

Под камнем сим лежит Батый-Наполеон,
Величье было их — ужасный сон!
(«Сын отечества», ч. 1, 1812, № IV, с. 270)

Стр. 439. *...молодцы из Каретного ряда...*— Ср. в книге Ростопчина «Правда о пожаре Москвы: «В Москве есть целая улица с каретными лавками и в которой живут одни только каретники. Когда армия Наполеона вошла в город, то многие генералы и офицеры бросились в этот квартал и, обошедши все заведения оного, выбрали себе кареты и заметили их своими именами. Хозяева, по общему между собою согласию, не желая снабдить каретами неприятеля, зажгли все свои лавки» (Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823, с. 21).

Стр. 441. *Это шпион, изменник!..*— Реальной основой для этого романного эпизода послужили события, связанные с распространением «Письма Наполеона к прусскому королю» и «Речи Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». В официальной версии Ростопчина по этому поводу сообщалось: «...в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим вздором сказано, что французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, от коего вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою... Верещагин же сочинитель и губернский секретарь Мешков переписчик, по признанию их, преданы суду и получат должное наказание за их преступление» (Ростопчинские афиши. СПб., 1904, с. 12). М. Верещагин (1790—1812) был обвинен в переводе из «Гамбургских известий» и распространении «Письма Наполеона к прусскому королю» и «Речи Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». П. Мешков (род. в 1780 г.) переписал у Верещагина «дерзкие бумаги». Мешков был приговорен к отдаче в солдаты, Верещагин — к бессрочной каторге, но был публично убит по приказанию Ростопчина.

Стр. 448. *Ну, прошу после этого быть всемирным гражданином!* — Понятие «гражданин мира», или космополит, было выдвинуто в XVIII в. философами-просветителями, проводившими мысль

об общности интересов и нравственных ценностей всего человечества, о единой природе всех людей независимо от их национальности. Здесь — в ироническом контексте.

Стр. 449. *...Наполеон, сей новый Аттила...*— Аттила (ум. в 453 г.) — предводитель гуннов (кочевого народа Центральной Азии), совершавших опустошительные набеги на Восточную Римскую империю. Сопоставление французов-завоевателей с дикими ордами, а Наполеона — с вождем гуннов характерно для эпохи. При этом подчеркивалось, что дикие и бесчеловечные поступки совершались в 1812 г. одним из просвещеннейших народов Европы: «Орда диких более возымела бы чувства, нежели они, образованные и просвещенные французы» (Житель Москвы к своим соотечественникам в октябре 1812. СПб., 1812, с. 5); «Французы показали себя гнуснее всех диких и непросвещенных народов» (Наполеон и французы в Москве, с подробным описанием всех достопамятных и незабвенных для России происшествий нынешней войны... М., 1813, с. 108).

Стр. 450. *...хоть светлейший смотрит и не в оба, а ведь он... себе на уме!* — Светлейший князь, главнокомандующий русской армии М. И. Кутузов, в одном из сражений был ранен и потерял глаз. Высказывание студента риторики отражает следы размолвок Кутузова с Ростопчиным в августе 1812 г., когда Кутузов тщетно добивался от Ростопчина подкрепления. Ростопчин в афише от 31 августа 1812 г., за три дня до оставления Москвы, призывал жителей готовиться к новому сражению (хотя и знал, что никакого сражения под Москвой не будет) и писал в заключение: «И я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба» (Ростопчинские афиши, с. 58). Ростопчин имел в виду здесь не столько свою болезнь, сколько метил в Кутузова, который не мог «смотреть в оба» и потому «проглядел» Москву. Позиция Ростопчина была следствием недовольства царского двора Кутузовым, так и не давшим генерального сражения под Москвой.

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — римский полководец, государственный деятель и историк. Его военно-исторические мемуары «Записки о галльской войне» посвящены покорению римлянами Галлии. Галлия — территория, включающая нынешнюю Францию, Швейцарию, Северную Италию и Бельгию,— была населена в древности галльскими племенами. Галлами в начале XIX в. нередко называли французов.

...не Александром ли вас зовут...— Намек на Александра Македонского (356—323 гг. до н. э.), царя Македонии, знаменитого полководца древнего мира, который, завоевав Персидскую державу, создал огромное государство, после его смерти распавшееся.

Македонская фаланга — ядро македонского войска; тяжело вооруженная пехота, организованная македонским царем Филиппом II

(ок. 382—336 гг. до н. э.). Была предназначена для атаки наступающего противника.

Стр. 452. *...сантиментальный путешественник...* — В русской литературе конца XVIII — первой трети XIX в. был популярен жанр *путешествия,* представлявшего собою, как правило, дневник путешествия, в котором особое внимание автор уделял чувствам и размышлениям в связи с увиденным в пути. Начало русским сентиментальным путешествиям положил Н. М. Карамзин «Письмами русского путешественника» (1791—1792).

Стр. 453. *Пале-Рояль* — дворец с садом, окруженный арками, под которыми помещались рестораны и магазины, излюбленное место прогулок парижан.

Стр. 458. *...я привез с собой афишку...* — Далее цитируется афиша Ф. В. Ростопчина от 31 августа 1812 г. С. Н. Глинка рассказывал об этой афише следующее: «Граф присел к столику и летучим пером написал *воззвание на Три горы.* Подавая мне его для напечатания в типографии Семена Аникеевича Селивановского, граф прибавил: «У нас на *трех горах* ничего не будет; но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву» (Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, с. 55). Три горы — Трехгорная застава в Москве.

Стр. 468. *...смешаться с толпою своих неприятелей, ходить вместе с ними...* — «Почти каждый день, каждую ночь Фигнер переодевался то крестьянином, то городским жителем... брал толстую палку, которую надобно было долго рассматривать, чтобы догадаться, что она духовое ружье, и отправлялся за передовые цепи своего отряда» (Неведомский Н. Последнее сражение Фигнера.— Современник, т. IX, 1838, с. 22).

Стр. 470. *...ни одной трубы в городе не осталось.* — Накануне вступления французов в Москву оттуда были вывезены все пожарные трубы и эвакуирована пожарная команда.

Стр. 471. *...покинул своих французов в Египте...* — Во время неудачной экспедиции французских войск в Египет (1798—1801) Наполеон тайно покинул армию, находившуюся в бедственном положении, и вернулся в Париж.

Герцог Ангиенский — Энгиенский Луи-Антуан де Бурбон-Конде (1772—1804), принц французского королевского дома. По приказу Наполеона был тайно вывезен с территории пограничного Франции Бадена и расстрелян по приговору военного суда. Казнь герцога Энгиенского вызвала возмущение во всей Европе.

Стр. 479. *Сегюр* Филипп Поль (1780—1873) — французский генерал, находившийся в 1812 г. в составе свиты Наполеона; впоследствии написал воспоминания о походе Наполеона на Москву.

Стр. 481. *...сказал Наполеонов мамелюк Рустан...* — Телохрани-

тель Наполеона, вывезенный им из Египта. Мамлюки — гвардейцы египетской конницы, разбитой Наполеоном.

Делор (Дюлор) Жак Антуан (1755—1835) — французский политический деятель и писатель.

Стр. 482. *...взыскательность некоторых критиков...* — Намек на Н. А. Полевого (1796—1846), редактора журнала «Московский телеграф». В рецензии на «Юрия Милославского» Полевой отмечал, что в основе романа лежат «несколько частных, не из целого развивающихся событий, но *случайностей,* и вдали великие события 1612 года, о которых автор *говорит* более, не представляя оных в живых картинах, не рисуя и героев, в них действовавших» (Московский телеграф, ч. XXX, 1829, № 24, с. 465). С Полевым у Загоскина в начале 1830-х гг. были недружественные отношения («Злейший мой враг»,— писал о нем Загоскин.— Исторический вестник, 1880, № 8, с. 703). Полевой весьма скептически отозвался и о «Юрии Милославском» и о «Рославлеве», а в 1832 г. поместил в своем журнале язвительное «Объявление», прямо метившее в Загоскина: «Нижеподписавшийся, русский литератор, сим имеет честь известить, что по заказу принимает он на себя поставку оригинальных исторических романов, романтических трагедий и переделанных на русские нравы водевилей, переведенных с французского, и проч. За оригинальный исторический роман, в 4-х томах, с любовью, русскими и мужицкими фразами, множеством собственных имен и, по крайней мере, пятьюдесятью выписками из «Истории» Карамзина и двадцатью описаниями нравов, обычаев и одежд, взятыми из книги Успенского — цена 300 рублей ассигнациями» (Московский телеграф, 1832, № 8, с. 163). В отзыве на романтическое представление Шаховского «Рославлев» (по роману Загоскина) Полевой писал: «Ничего нового не ожидали мы от театра собственно и ничего нового не увидели: ни одно замечательное дарование не прибавилось к сиротеющим дарованиям Мочалова и Щепкина; никакого улучшения в распределении ролей; никакого усовершенствования в общности игры, в костюмах, в декорациях... С одной стороны, это очень хорошо. Что за радость, скажите, хлопотать об улучшениях, усовершенствованиях, когда и без того дело идет своим порядком?.. Ведь зрители всегда собираются? Ведь в положенные часы всегда что-нибудь играется? Ведь на афишах всегда что-нибудь напечатано? Если не хлопают в креслах, зато хлопает раек. Если кто-нибудь из зрителей зевает, сердится — спрашиваем: кто просит этих взыскательных господ ходить в театр? Как будто без них дело не обойдется!» (Московский телеграф, 1832, № 13, с. 118—119). Загоскин сочинил антикритику, но московская цензура не пропустила ее, на что Загоскин, бывший в это время директором московских театров, жаловался министру просвещения К. А. Ливену в письме от 20 ноября 1832 г. Ливен,

отвечая Загоскину 16 декабря 1832 г., отклонял его жалобу как необоснованную, объясняя появление критики Полевого недоразумением, нарушающим официальное запрещение печатать критики на спектакли императорских театров (Русская старина, 1902, т. 111, с. 623).

Критическая «взыскательность» Полевого связана с его собственными историческими интересами: в это время он пишет шеститомную «Историю русского народа» (1829—1833), исторический роман «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV-го века» (1832).

Стр. 483. *Нет! мы не уступим никому чести московского пожара...* — В 1810—1820-е гг. выдвигалось несколько причин московского пожара. По свежим следам — в конце 1812 и в 1813 г. виновниками пожара русские объявили французов и Наполеона: «...неистовые солдаты его, офицеры и даже генералы пошли по домам грабить. К дополнению сего злодейства назначили дни и часы, в которые зажигать улицы и предместья московские» (Наполеон и французы в Москве, с подробным описанием всех достопамятных и незабвенных для России происшествий нынешней войны... М., 1813, с. 110; см. также: Глас истины. СПб., 1812, примеч.). Французы, в свою очередь, обвиняли в сожжении Москвы русских «поджигателей» и военного губернатора Москвы Ростопчина: «Показания полицейских солдат, признания полицейского офицера, которого задержали в день нашего вступления в Москву,— все доказывало, что пожар был подготовлен и осуществлен по приказу графа Ростопчина» (Коленкур де Арман. Поход Наполеона в Россию. М.— Л., 1943, с. 151). Ростопчин отрицал свою причастность к пожару, но не отрицал того, что жители Москвы зажигали свои дома: «Главная черта русского характера есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору сими словами: *не доставайся же никому*» (Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823, с. 20). К концу 1820-х гг. версия о сожжении Москвы русскими утверждалась уже с гордостью: «...*пожар Московский произведен был русскими.* И будем ли мы отрекаться от того, что составляет нашу славу и что, как сам Наполеон после признавался, всего более способствовало к его погибели?» (Историческое известие о пожаре Московском 1812 года.— Московский телеграф, 1828, ч. XXIV, № 24, с. 388). Этой точки зрения придерживается и Загоскин. Вместе с тем уже в конце 1810-х гг. высказывалось мнение о самозарождении пожара в Москве: «Вообще пожары суть зло, которое и без особых больших причин если не всегда, то весьма часто нераздельно сопряжено с войною» (Ахшарумов Д. И. Описание войны 1812 года. СПб., 1819, с. 140).

Стр. 484. *...Наполеон подписывал в Кремле новые постановле-*

ния для парижских театров...— Этот факт, действительно имевший место, использовался современниками (в ряду других) для ниспровержения мысли о гениальности Наполеона. С. Н. Глинка писал: «...в России он был не *полководцем Бонапартом, а Наполеоном — человеком суда божьего...* Что делал в Москве умный законодатель, политик, дипломат, что делал в Москве преобразователь царств? Он рассматривал в стенах Кремля и подписал новый устав французского театра. И когда же? Тогда, когда по определению судеб провидения он сходил с того исполинского театра, на который обращены были взоры вселенной» (Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, с. 168).

Лористон Александр Жак Бернар (1768—1828) — французский маршал, был адъютантом Наполеона, выполнял дипломатические поручения; во время отступления из России командовал арьергардом французской армии. В конце сентября 1812 г. был направлен Наполеоном к Кутузову с предложением заключить мир. Предложение было отклонено. Кутузов отвечал Лористону, что «сам он подвергнулся бы проклятию потомства, если б сочли его первым виновником какого бы то ни было примирения» (цит. по кн.: Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году, ч. 2. СПб., 1838, с. 11).

Стр. 487. *...где нам таскать с собою пленных.*— В основу данного эпизода Загоскин положил реальный случай из жизни Фигнера, о котором рассказал ему Д. В. Давыдов в письме от 6 марта 1829 г. (Библиографические записки, 1861, № 18).

Стр. 488. *Гильемино* Арман Шарль (1774—1840) — французский генерал, в 1812 г.— начальник одного из корпусных штабов французской армии.

Стр. 504. *Радклиф* — см. коммент. к с. 200.

Там был не Гименей — Мегера там была...— Цитата из трагедии В. А. Озерова (1769—1816) «Эдип в Афинах» (1804). Противоестественность соединения Полины и Сеникура приравнивается к кровосмесительному союзу: у Озерова слова «Там не был Гименей — Мегера там была...» произносит царь Эдип, вспоминая об убитом им отце и о том, как он венчался с собственной матерью. Гименей (греч. миф.) — бог брака. Мегера (греч. миф.) — одна из богинь мести и гнева (эвмениды, эринии), карающих человека.

Фурии — богини мести в римской мифологии (то же, что эвмениды в греческой); Зарецкий ошибочно сравнивает сумасшедшую Федору с *греческой* фурией.

Стр. 513. *Вот как мы с батюшкой, графом Суворовым, штурмовали Измаил...*— Во время русско-турецкой войны в 1790 г. русские войска под командованием Суворова штурмом взяли турецкую крепость Измаил, считавшуюся неприступной.

Стр. 516. ...*Егорей с гвоздем да Никола с мостом...* — Имеются в виду церковные праздники Георгия Победоносца (26 ноября по старому стилю) и Николая Чудотворца (6 декабря).

Стр. 523. ...*в фанагорийцы бы тебя!..* — Фанагорийский гренадерский полк, образованный в 1790 г., участвовал в штурме Измаила.

Стр. 524. ...*начальник отряда, окруженный офицерами...* — Денис Васильевич Давыдов (1784—1839), поэт, офицер, организатор первого в 1812 г. партизанского отряда.

...*певец любви, вина и славы...* — Из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812):

Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы.

Последние две строки были широко известны. Ср. начало «Послания к Д. В. Давыдову» (1819) А. Ф. Воейкова:

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы.

...*ангел-истребитель...* — Образ, восходящей к Библии. Ср. в «Певце во стане русских воинов» Жуковского:

Уж ангел истребленья
Горé подъял ужасну длань,
И близок час отмщенья.

...*Славил Марса и Темиру...* — Строки из послания А. С. Пушкина «В. Л. Пушкину» (1817):

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру...

Марс — бог войны (римск. миф.). Темира — условное имя возлюбленной в русской поэзии XVIII — начала XIX в.

Стр. 526. *Рапп* Жан (1772—1821) — французский генерал; в 1807—1809 гг. — губернатор Данцига. При отступлении французской армии был вновь направлен Наполеоном в Данциг, где сосредоточились остатки отступающей армии. В течение года крепость была осаждена русскими войсками и в январе 1814 г. сдана.

Стр. 530. *Вспомним, братцы, россов славу...* — Первый куплет песни Ф. Глинки (Глинка Ф. Н. Письма русского офицера, ч. IV. М., 1815, с. 21: «Сидя у полевых огней, я написал солдатскую песню, которую в некоторых полках пели»).

...наш удалой авангардный начальник!.. — Прототип этого героя — генерал Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825), участник итальянского и швейцарского походов русских войск под командованием Суворова («ученик и сослуживец Суворова» — так ниже охарактеризует авангардного начальника Зарецкий). В сентябре 1812 г. он командовал арьергардом, прикрывая им тарутинский маневр русской армии (у Загоскина — авангард), во время наступления русских войск был во главе передовых частей. Милорадович отличался, по свидетельствам современников, отменной храбростью. Ф. Н. Глинка рассказывает об одном из моционов Милорадовича: «Отличаясь от всех шляпою с длинным султаном и сопровождаемый своими офицерами, заехал он очень далеко вперед и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Паскевич: «в вас целят, ваше превосходительство!» — и пули засвистели у нас мимо ушей. Подивись, что ни одна никого не зацепила. Генерал, хладнокровно простояв там еще несколько времени, спокойно поворотил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемый пулями» (Глинка Ф. Н. Письма русского офицера, ч. V. М., 1815, с. 114).

Мюрат Иоахим (1771—1815) — французский генерал, выдвинувшийся во время итальянского похода Наполеона в 1796 г.; впоследствии маршал империи; участвовал во всех военных походах Наполеона; был пожалован короной неаполитанского короля.

Стр. 532. *«Приидите вси труждающие, и аз успокою вас».* — Цитата из Евангелия от Матфея.

Стр. 535. *Баярд* Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский полководец, отличавшийся особенным мужеством.

Стр. 536. *Карл Двенадцатый заходил еще далее...* — Карл XII (1682—1718), шведский король, вел в начале XVIII в. войну против России, дошел до Украины, но потерпел поражение под Полтавой (1709).

Стр. 538. *Лафонтень рассказывает об одной бесхвостой лисице...* — Жан Лафонтен (1621—1695) — французский баснописец. Имеется в виду его басня «Лис с оторванным хвостом»: лис, попавшись в ловушку, спасся, но лишился хвоста, однако стал потом убеждать других лисов, что без хвоста лучше, чем с хвостом.

Стр. 539. *...ниема глебониш попоиско рюскоф* — бессмысленный набор искаженных русских и польских слов, которыми Загоскин желает подчеркнуть невежество иностранцев в отношении к России. Это автоцитата из раннего произведения Загоскина «Путешественник» (1820), герой которого, приехав в Париж, попадает на представление комедии в театре. Его сосед француз, узнав, что

он русский, говорит: «В этой комедии выходит на сцену русский офицер... постойте, он сейчас заговорит, слушайте: *Ниема глебониш попоиско рюскоф...* Скажите, что значит по-французски?» Герой Загоскина отвечает: «Это, я думаю, ни на каком языке ничего не значит... Что не по-русски — в этом могу я вас уверить». Сосед француз удивляется и уверяет «*попоиско глебониш* — настоящие русские слова, я сам тысячу раз слышал от казаков, когда русские были в Париже» (Загоскин М. Н. Полн. собр. соч. в 2-х томах, т. 2. СПб., 1814, с. 1484—1485).

Стр. 540. *...гениальные причины, побудившие императора французов к сему безумному и детскому мщению...* — В «Войне и мире» Л. Н. Толстой разовьет мотив «детского мщения» Наполеона: «Подведение мин под Кремлем только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок... Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» (т. IV, ч. II, гл. X).

Стр. 541. *Ней* Мишель (1769—1815) — французский маршал, командовавший арьергардом при отступлении Наполеона из Москвы.

Стр. 543. *...мы здесь на пище святого Антония.* — Св. Антоний — основатель монашества в Египте (ок. 250 — ок. 356 гг.); во время своей монашеской жизни питался, по преданию, только хлебом и водой.

Стр. 544. *Успенский пост* — пост перед праздником успения богородицы с 1 по 15 августа старого стиля.

Стр. 555. *«Удольфские таинства»* — роман А. Радклиф (см. коммент. к с. 200). Загоскин в нижеследующей новелле Двинского использует один из главных приемов поэтики Радклиф: загадочные приключения героев и таинственная атмосфера, их окружающая, в конце концов рационально объяснены.

Стр. 559. *...Пруссия ожидает к себе одного великого гостя.* — Имеется в виду Александр I.

Фридрих Вильгельм III (1770—1840) — прусский король (с 1797 г.).

Стр. 563. *...Адам Фишер природный пруссак, а не выходец из Баварии...* — Бавария входила в Рейнский союз и помогала Наполеону в его походе 1812 г. на Москву.

Стр. 564. *Сократ* (ок. 469—399 гг. до н. э.) — греческий философ.

Цицерон (106—43 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

Демокрит (ок. 460—370 гг. до н. э.) — греческий философ.

Стр. 571. *Ночлег в лесу.* — Рассказ Ленского о мнимых разбой-

никах перекликается с эпизодом из повести Антония Погорельского «Монастырка», первая часть которой вышла в 1830 г. Герой повести «Монастырка» Блистовский, блуждая по лесу, случайно подслушивает разговор незнакомых людей об убийстве какого-то Васьки. Блистовский принимает их за разбойников. На него так же, как на Ленского, нападают собаки, и он ждет расправы. В результате выясняется, что перед ним — мирные цыгане, а Васька — зарезанный для уплаты подати козел.

В сражении под Чашниками... — Бой у Чашников (местечко в Витебской губ.) в октябре 1812 г., закончившийся победой русских войск.

Стр. 587. *...московского Екзерцир-гауза!* — Экзерцир-гауз — здание манежа, в котором проходило обучение солдат.

Стр. 588. *...ехать в луну?* — Дословный перевод французского фразеологизма aller dans la lune, чему соответствует русское: *уноситься в заоблачные дали, за тридевять земель.*

...после проклятого сражения под Лейпцигом... — Битва под Лейпцигом произошла 16—19 октября 1813 г. и закончилась разгромом наполеоновских войск.

Стр. 610. *Выражение одного русского поэта.* — Загоскин имеет в виду слова П. А. Вяземского о журналисте и историке 1810—1820-х гг. М. Т. Каченовском, который выступил в 1819 г. с критикой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, чем Вяземский возмутился:

Всегда он ближнего довольством недоволен
И, вольный мученик, чужим здоровьем болен.

(«Послание к М. Т. Каченовскому»).

Стр. 612. *...если капитуляция подписана, то вы свободны и найдете меня в своем лагере.* — История с переходом капитана «адской роты» Шамбюра после решения Раппа о капитуляции — факт достоверный.

Стр. 614. *Он описан весьма подробно в книге под названием «Записки касательно похода С.-П.бургского ополчения».* — Речь идет о сочинении участника Отечественной войны 1812 г. и заграничной кампании 1813—1814 гг., декабриста В. И. Штейнгеля (1783—1862): «Записки касательно составления и самого похода санкт-петербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 1813 годах, с кратким обозрением всех происшествий, во время бедствия и спасения нашего отечества случившихся, и с подробным описанием осады и взятия Данцига» (СПб., 1814).

КУЗЬМА РОЩИН (стр. 619).

Впервые: Библиотека для чтения, 1836, т. XVI. Печатается по изд.: Повести Михаила Загоскина, ч. 2. М., 1837.

О затруднениях, вызванных публикацией «Кузьмы Рощина», писал Загоскину (вероятно, преувеличивая) редактор «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский: «...я спас вашего Рощина»... *вся вторая часть* «Рощина» была обречена ценсурою запрещению. Без второй части первая не могла быть напечатана, и сочинение, все, пропадало. Давай я торговаться с этими господами. Некоторые места отстоял; пропустили; но все-таки весь конец хотят отрезать, потому что это описание бунта. Я сделал им такое предложение: пропустите ли вы вторую часть, если в ней не будет даже слова *бунт, мятеж* и т. п.? После долгих колебаний согласились пропустить с этим условием. Режьте же все места, которые вам не нравятся. Они и сделали это. Статья возвратилась ко мне в ужасном состоянии: я провел целые сутки над склеиванием остальных обломков, так, чтобы они представляли правильный, логический рассказ. Опять в ценсуру. Мы возились таким образом целую неделю, споря до слез за каждое выражение, за каждое обстоятельство. Уже несколько раз, с досады в этой мучительной борьбе с ценсорским упрямством, я хотел приказать разослать набор и решился не печатать вашей были: до того они мне надоели своими щепетильными придирками! Наконец, я победил все трудности, и статья вышла в том виде, как вы ее читали» (Письмо от 1 июля 1836 г.— Русская старина, 1902, т. 111, с. 91).

Стр. 619. *...одного уездного города...*— Город Касимов, с середины XV в. до 1681 г. центр Касимовского царства; выделялся московскими князьями татарским «царям» и «царевичам», переходившим на русскую службу.

Стр. 621. *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор трактата «Физиогномические фрагменты» (1775—1778), в котором излагалось учение о выявлении черт характера человека по его лицу.

...в большом экономическом селении...— Экономическими (государственными, казенными) назывались крестьяне, жившие на землях, переведенных из ведения монастырей и церквей в ведение государства. У Загоскина анахронизм: действие первой главы повести происходит около 1760 г., а указ о секуляризации монастырских и церковных сел и передаче их государству вышел в 1764 г.

...война с пруссаком...— Имеется в виду начало Семилетней войны в 1757 г.

Стр. 622. *...то за другую шашку...* — Шашка — здесь: шахматная фигура.

Стр. 624. *...вашего царя конем.* — Царь — здесь: шахматный король.

Стр. 625. *...близь Макарья...* — Имеется в виду уездный город Макарьев на Волге, знаменитый своими ярмарками.

Стр. 626. *...не Полкан же богатырь какой.* — Полкан-богатырь — герой лубочной сказки о Бове-королевиче; Полкан — русское переосмысление имени Pulican, героя итальянского романа, попавшего в Россию в XVI—XVII вв., распространявшегося в списках и перешедшего затем в лубочные издания.

Стр. 627. *Чающие движения воды* — ищущие исцеления в церкви; фразеологизм, восходящий к Евангелию от Иоанна, где говорится о купальне, к которой стремилось «множество больных, слепых, хромых, иссохших». В эту купальню по временам сходил ангел и «возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью».

Стр. 628. *Сарынь на кичку!* — призывный клич волжских разбойников. Сарынь — толпа, сброд, бурлаки. Кичка—здесь: нос судна.

Стр. 629. *...его хотели было отчитывать.* — То есть исцелять чтением Евангелий или молитв.

Стр. 644. *...этого краснобая Тредьяковского?* — Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768) — поэт и теоретик поэзии, в XVIII в. имел репутацию плодовитого, но бездарного писателя.

«Аргенида» (СПб., 1751) — перевод Тредиаковским романа английского писателя Д. Барклая (1582—1621).

...да и ну на фандарах... — Далее пародируется стиль Тредиаковского.

«Езда на остров Любви» — «Езда в остров Любви» (СПб., 1730) — перевод Тредиаковским романа французского писателя Поля Тальмана (1642—1712).

Стр. 645. *Великий годовой праздник* — Пасха.

Стр. 648. *Велико дело — ваше высокородие; нам и превосходительные кланяются.* — Высокородие — почетный титул дворян 5-го класса (Ильменев — бригадир). Превосходительство — почетный титул дворян 3-го и 4-го классов.

Стр. 650. *Приидите ко мне вси труждающие...* — См. коммент. к с. 532.

Стр. 668. *Тысяча семьсот семьдесят первый год памятен...* — С весны 1771 по январь 1772 г. в Москве была эпидемия чумы, во время которой начались народные волнения; восставшие заняли Кремль, убили главу московской церкви Амвросия.

...те, которые в них жили, зажгли их собственною своей ру-

кою... — О понимании Загоскиным причин московского пожара 1812 г. см. с. 483 и коммент. к ней.

Стр. 669. *...совершенное безначалие...* — Московский главнокомандующий П. С. Салтыков уехал из Москвы во время эпидемии.

Стр. 678. *Амвросий* (Зертис-Каменский Андрей Степанович; 1708—1771), архиепископ московский с 1768 г.; убит во время Чумного бунта 16 сентября 1771 г. в Донском монастыре.

Стр. 679. *Еропкин Петр Дмитриевич* (1724—1805) — осуществлял правительственные мероприятия по борьбе с чумой в 1771 г.

Салтыков Петр Семенович (1696—1772/1773) — генерал-фельдмаршал (с 1759 г.), главнокомандующий русской армией в Семилетнюю войну (1759—1760), московский генерал-губернатор (1764—1771); во время эпидемии уехал в свое имение.

Юшков Иван Иванович (ум. в 1781) — московский гражданский губернатор.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Песков. Михаил Николаевич Загоскин . . . 5

Юрий Милославский,
или
Русские в 1612 году

Часть первая 35
Часть вторая 129
Часть третья 189
Исторические замечания 283

Рославлев,
или
Русские в 1812 году

<От автора> 287
Часть первая 288
Часть вторая 361
Часть третья 445
Часть четвертая 538

Кузьма Рощин

I. Разбойник 619
II. Суд божий 668

Комментарии 689

Загоскин М. Н.

З-14 Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Историческая проза / Сост., вступ. статья, коммент. А. М. Пескова; Худож. Ю. Игнатьев.— М.: Худож. лит., 1988.— 733 с., портр., ил.

ISBN 5-280-00869-9 (Т. 1)
ISBN 5-280-00871-0

В том входят исторические романы М. Н. Загоскина (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году» и повесть «Кузьма Рощин».

З $\frac{4702010100-396}{028(01)-88}$ 8-87 ББК 84Р1

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор Г. Колосова. Художественный редактор Г. Масляненко. Технический редактор Е. Полонская. Корректоры С. Колганова, Н. Усольцева

ИБ № 5615

Подписано к печати с матриц 12.02.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64+2 нак.+вкл.=39,11. Усл. кр.-отт. 40,84. Уч.-изд. л. 42,33 + 2 нак.+вкл. = 42,8. Тираж 150 000 экз. Изд. № II-2414. Заказ № 957. Цена 3 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

В 1988 ГОДУ В РАЗДЕЛЕ «СОЧИНЕНИЯ» ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

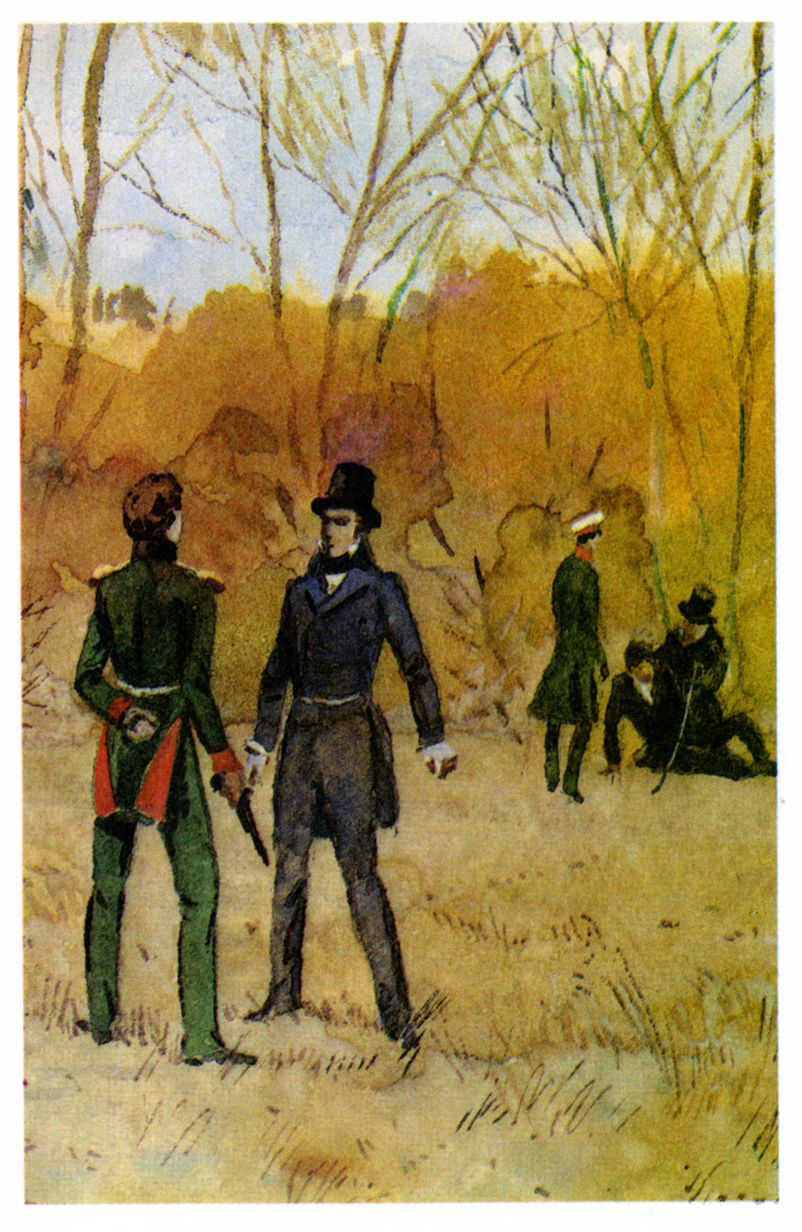
Д. В. ГРИГОРОВИЧ. Сочинения в трех томах.
Н. С. ЛЕСКОВ. Сочинения в трех томах.
И. С. ТУРГЕНЕВ. Сочинения в трех томах.
Г. И. УСПЕНСКИЙ. Сочинения в двух томах.

*«Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году»*

*«Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году»*

*«Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году»*

«Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году»



«Рославлев, или Русские в 1812 году»

«Рославлев, или Русские в 1812 году»

«Рославлев, или Русские в 1812 году»

«Кузьма Рощин»